ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

ВЕЧЕР ОКНА ЛЮДИ

SHOUT
SHARE
IT

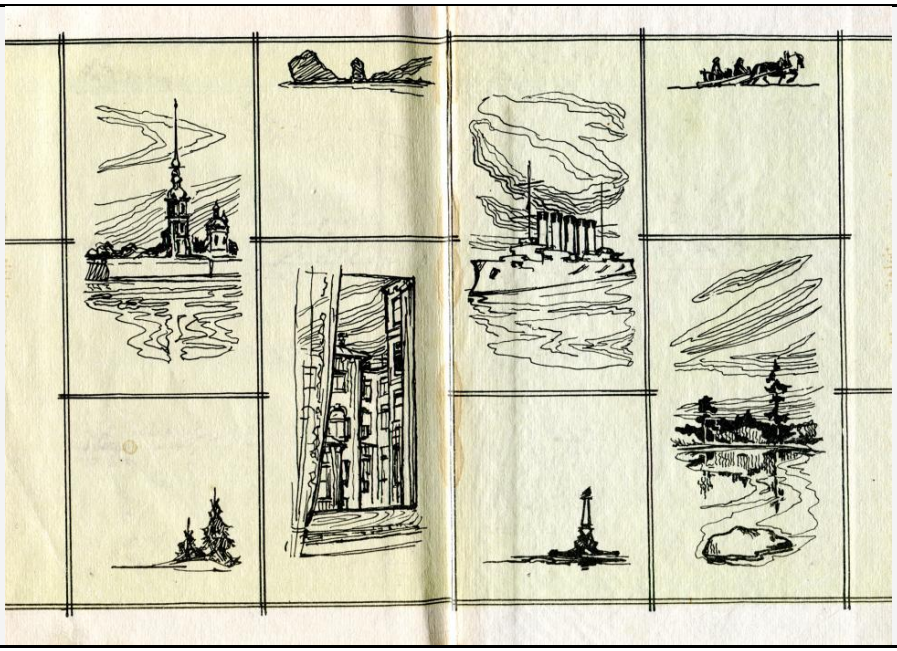
Annotation

Сам автор называет свое новое произведение книгой «о времени и людях», взрастивших ее, комсомолку 20-х годов, как человека и писателя. Эта книга — путешествие через 50 лет в короткое детство, суровое отрочество и беспокойную комсомольскую юность, это рассказ о первоначальном опыте и характерах людей той уже отдаленной от нас эпохи на Мурмане и в Карелии, это путешествие по местам юности и раздумья о жизни, о творчестве, о современной молодежи.

- Вечер. Окна. Люди
  -
  - МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ
  - Часть первая
    -
    - В БЕЛУЮ НОЧЬ
  - Часть вторая
    -
    - ПРИЧАЩЕНИЕ СВЯТЫХ ТАЙН
    - ГОД ОТКРЫТИЙ
    - ВОЙНА И МИР
    - ВТОРЖЕНИЕ ПОЭЗИИ
    - ОДНАЖДЫ СЕВЕРНЫМ ЛЕТОМ
    - ЖИТЬ! НО КАК?..
    - ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
    - ПЕРВЫЙ ВЗРОСЛЫЙ ДРУГ
    - ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
    - ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ (В ИСТОРИЮ)
    - ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ
  - Часть третья
    -
    - В ГУБЕРНАТОРСКОМ ДОМЕ
    - «ПУСТЬ КОМСОМОЛКА УЙДЕТ!»
    - НАДО СТАТЬ КЕМ-ТО?..
    - ПУТЬ В ОЛОНЕЦ
    - САМА СЕБЕ ГОЛОВА
    - ВЕСНА
    - ПУТЬ В ВИДЛИЦУ
    - ВИДЛИЦКИЕ УРОКИ
    - ОТГОЛОСКИ НОВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
- notes

○ 1

Вечер. Окна. Люди



Yours Kéfmundlap

ВЕРА
КЕТЛИНСКАЯ

ВЕЧЕР
ОКНА
ЛЮДИ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
1974

МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Книга, которую вы взяли в руки и, надеюсь, дочитаете до конца, — необычная для меня книга. Но кто сказал, что новое произведение писателя должно быть похоже на предыдущее?! Это было бы попросту скучно, а кроме того, означало бы, что автор остановился в своем развитии, топчется на одном месте, то есть произошло худшее, что может случиться с писателем!

С первых же страниц вы, наверное, почувствуете настроение и ход мыслей автора, потому что в этой несколько странной книге я говорю с читателями «в открытую», ввожу их в круг своих раздумий и колебаний, борьбы с самой собой и с напором новых веяний, в существо внутренних споров и решений, которые сопровождают наш труд, но обычно остаются за пределами наших книг. В старину писателей называли сочинителями, однако мы не просто «сочиняем» сюжеты и образы, а пишем, когда не можем не писать, когда тема жжет душу. У меня была душевная потребность написать книгу именно так, как я написала, а решиться на это мне помогли сами читатели. Сколько я ни встречалась с ними, особенно с молодыми читателями, я всегда ощущала их интерес к тому, как работает писатель, почему он выбирает именно таких героев, а не других, почему и как возникает та или иная тема — короче говоря, как рождается книга. А рождается она из внутреннего мира автора, из его мироощущения и жизненного опыта. Даже при общности мировоззрения и задач восприятие людей и событий, интересы и опыт у каждого писателя индивидуальны и неповторимы.

В одной из глав вы прочитаете такие строки:

«Пока молод, за твоими удалыми плечами — никого и ничего. Тебе мало дела до прошлого, мир населен молодыми, время начинает свой отсчет сегодня. Чувство истории дается зрелостью и причастностью к событиям истории. Начинаешь понимать усилия тех, кто был до тебя, и видишь место своего поколения в общей цепочке движения…»

Прожила я уже немало, а выпало на долю моего поколения предостаточно больших и потрясающих событий, это и определило, каковы мы и чем дышим. Это определило и конструкцию моей книги — сочетание прошлого с сегодняшним, путешествия в историю и откровенный рассказ о том, что я чувствую и думаю за своим рабочим столом.

Некоторые люди допытываются — как определить жанр этой книги. Право, не знаю, да и значения таким определениям не придаю. Даже главы, в которых я рассказываю о годах, когда

формировалось мое поколение, и о собственной ранней юности, я не могу назвать ни мемуарами, ни автобиографическим романом. Я старалась написать о времени и людях, меня взрастивших, благодаря им сложилась и моя писательская сущность. Я ввела в центр повествования девочку, начинавшую жить в те удивительные годы, потому что я ее хорошо знаю, хотя и вглядываюсь в нее издалека, сама порой удивляясь. Но что было, то было.

Нужно ли такое повествование сегодняшним читателям? Заинтересует ли оно нынешних молодых людей, во многом совсем иных? Ответят на эти вопросы сами читатели. Я же уверена, что нельзя жить «Иванами, не помнящими родства». Нельзя и нам, вступившим в жизнь в первые годы революции, когда наши корни непосредственно уходили в дореволюционное прошлое. Тем более нельзя сегодняшним молодым людям, что бы они о себе ни думали — их корни уходят в советскую почву, насыщенную всеми соками небывалых по напряженности десятилетий, и они обеднят, обокрадут самих себя, если не разберутся, что же они наследуют, что призваны продолжить, а что — улучшить, изменить, наполнить новым современным содержанием…

В юности от отцов легко отмахиваются, о них часто забывают, потому что смотрят вперед, в собственное будущее. Но бывает, что такое отмахивание становится неблагородным, а благородство — одна из тех непреходящих ценностей, что человеку нужней любого благополучия. Только с чистой совестью дышится полной грудью.

Хотелось бы донести до молодых читателей и такую лукавую мысль: время летит быстро, только что, кажется, ты был молод а уже теснятся за тобою новые молодые, для них ты дяденька или тетенька, ты уже сам — отец (или мать), подрастает у тебя самостоятельный человечек, ты его только что кормил с ложечки а вот он уже в школе, и оторвался от дома, и другим говорит — мои предки… Взаимопроникновение и взаимосвязь поколений — великая тайна, как переливается из взрослой души в детскую понимание или неосознанное, но твердое ощущение «что такое хорошо и что такое плохо», объяснить трудно, в каждом случае это происходит по-своему. Но в любом случае тебе хочется чтобы юные восприняли те духовные ценности, которыми ты владеешь не отмахнулись от тебя с молодым самодовольством, если надо, защитили тебя от напраслины, если ты отдаешься душой любимому делу — не предали его, не забросили, а продолжили… Но, для того чтобы вложить все это в души тех, кто идет за тобою вслед присмотрись к самому себе: ну а сам-то ты каков? Сам —

воспринимаешь, не отмахиваешься, защищаешь, не предаешь, бережно подхватываешь сделанное до тебя?..

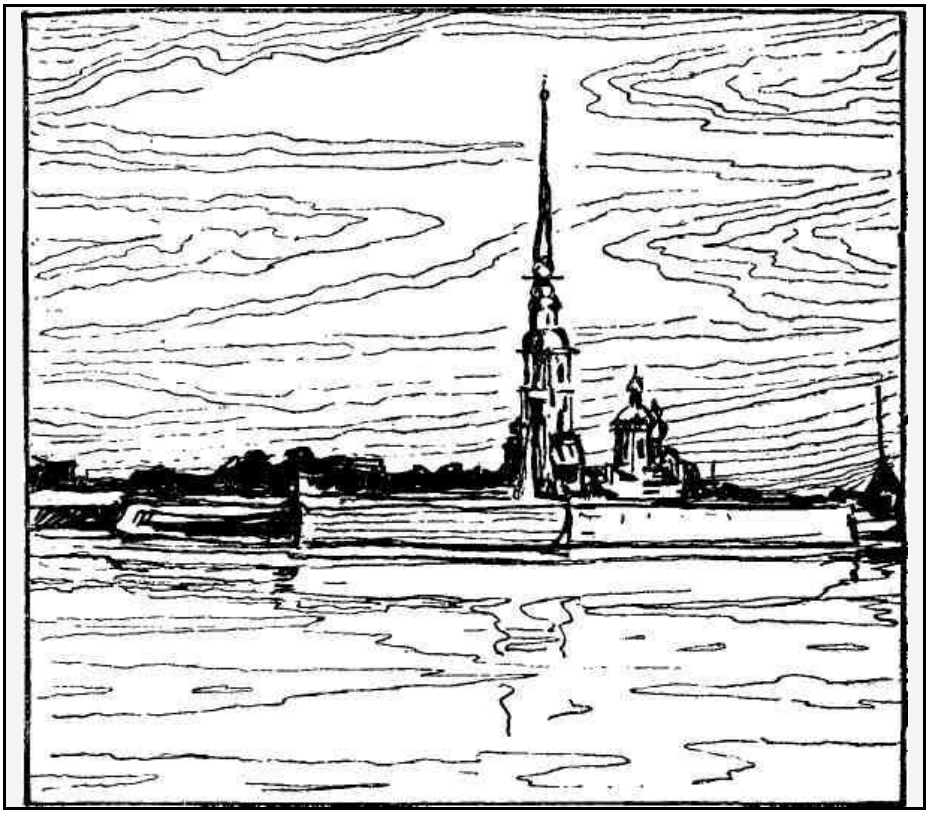
Вот, указывается, как можно повернуть разговор о еще не прочитанной книге! А теперь я прошу читателей обо всем этом забыть и просто читать, если покажется интересно.

Вера Кетлинская

Часть первая
НАСТАЕТ ВЕЧЕР

часть первая

НАСТАЕТ ВЕЧЕР



Как бы ни был ярок и долог день, настает вечер.

…Мальчуган в матроске стоит на каменном спуске к воде и смотрит, как огненно сияют слоистые, вытянутые в длину облака за Петропавловской крепостью. «Ну пойдем, — тянет его мать, — вот и солнышко спать пошло». Мальчуган топает сапожком, мальчуган кричит: «Не надо! Пусть не уходит! Не хочу!»

…Сколько людей собралось в зале, все улыбаются и рукоплещут, когда из почетного кресла, где он сидел у всех на виду, неловко поднимается седой человек, обходит на негнущихся ногах подаренный ему телевизор и останавливается у трибуны. Впервые он слушал о себе только хорошее, его благодарили за многолетний труд, за энергию, за подготовку смены; он слушал, и вспоминал, и заново переживал то одно, то другое… Теперь надо благодарить самому и прощаться, а он смотрит на знакомые лица и вдруг представляет себе завтрашнее утро, когда незачем будет вставать, и бездельный день, и вечер у телевизора, и за этим днем — вереницу таких же дней… Он стоит онемелый, сразу ссутулившийся, тоненький вопль так и рвется: не хочу! — рвется и не вырывается наружу, а звенит где-то внутри, пока седой человек коротко и достойно говорит нужные слова…

…Женщина идет быстро и легко, с работы пешком — конец немалый, зато надышалась вволю, щеки горят от свежести ветра, наверно, так же, как у встречных девушек, — такие у них освеженные, раскрасневшиеся лица! Придя домой, она спешит к зеркалу, но застывает, удрученная: щеки желты, на обветренной коже резче обозначились морщины… «Не хочу! — беззвучно стонет женщина. — Не хочу стареть, во мне так много сил, зачем?!»

Но вечер наступает — не остановить.

Земля прокручивается как заведенная, переводя нас из праздника света в быстро наплывающую тьму, земля мчится по своей эллиптической орбите, отщелкивая годы, и последовательно неизменен круговорот жизни, сколько ни взывай: остановись, мгновение! Мгновения отлетают в прошлое, годы, десятилетия, века отлетают в прошлое, благодатное солнце, вытягивая в рост новые побеги, безжалостно высушивает старые ветви, молодому поколению наплевать на житейскую умудренность старших, они, самоуверенные первожители, заново проделают путь счастливых заблуждений и ошибок, а за ними уже нетерпеливо топают мальчишки и девчушки, жаждущие подрасти скорей, как можно скорей, потому что уверены — солнце сияет для них и вся жизнь принадлежит им…

Но что толку понимать неудержимый ход времени? Или это и есть мудрость, смиряющая готовый сорваться крик «не хочу»?.. Как ни грустно, настает пора итогов — пусть не самых последних, но все же…

Я сижу над заправленным в машинку листом. Начинать всегда трудно, а может, самое трудное — сегодняшняя страница, завтра самой трудной покажется другая. Не знаю, какая получится у меня книга и получится ли вообще, знаю только, что не могу не написать ее.

За окном вечер. Не аллегорический, а самый обыкновенный вечер. Мглистый сумрак медленно расползается по городу, сгущаясь в узких переулках и под арками ворот. Мое окно высоко. С высоты я вижу дома, дома, дома, и в каждом доме, сколько видит глаз, светлыми четырехугольниками обозначаются окна, с каждой минутой все больше освещенных окон. Город переходит на домашний, на вечерний ритм, он переводит дух, он глубоко и успокоенно дышит после дневного напряжения. Родной мой город, исхоженный вдоль и поперек, мое пристрастие, моя судьба! Иногда мне кажется, что в этом городе я своя, куда бы ни зашла, что в его домах нет для меня секретов. Разве я не пережила вместе с городом все, что выпало ему пережить за четыре с лишним десятилетия? И в пору самой лютой беды — разве не

знала, какими помыслами и чувствами держатся мои сограждане? Разве мы не одно целое? С девчоночьих лет я знала твои фабрики и заводы, мой город, приглядывалась к твоим людям и писала о них как умела. Видела твоих людей работающими и думающими, идущими на подвиг и упрямо сопротивляющимися смерти, гневными и торжествующими. Я писала о них просто — и это была правда. Писала о них высокими словами — и это тоже была правда, ни об одном таком слове не жалею. Я старалась предугадать их поступки — и угадывала. Иной раз хвастала ими и своей причастностью к ним — и не стыжусь.

Отчего же меня охватывает такое беспокойство и неуверенность, и жажда еще не найденных слов, и трепет перед неведомым, когда я сижу за своим рабочим столом, а потом вскакиваю, мотаюсь из угла в угол, застываю у окна — и вижу дома, дома, дома…

Днем они маловыразительны и скрытны. Какие взрывы страстей, какую семейную бестолочь, какие взлеты мыслей, чью беду или удачу они укрывают молчаливыми фасадами и блеском бездушных стекол? Но вот смеркается — и в тысячах окон загораются лампы: обнаженно яркие или упрятанные под абажуры, одиночные или собранные в созвездия под потолком, скромные настольные — четкий круг зеленоватого света, причудницы-модерняги об одной ноге, разбрасывающие многоцветные блики то вверх, то вниз, то вбок… Мелькают размытые расстоянием силуэты, иногда видны склоненные над работой головы, и больше всего замечаются руки — пишущие или шьющие, ласкающие, отдыхающие, наводящие порядок, нервные или спокойные, ленивые или деятельные… У человеческих рук даже издали есть определенность характера и действия.

Я не подсматриваю, нет. Я вхожу в чье-то существование как в кино, где по облику, по жесту домысливаешь целую жизнь и на полтора часа входишь в мир отношений и обстоятельств, далеких от тебя еще несколько минут назад.

Ряды светящихся окон — ряды вопросов, где ответы дают только картины счастья, — счастье наглядней. Темные окна загадочны: кто, почему, надолго ли ушел или уехал? А может быть, спит? Или мучается бессонницей? Или бодрствует в темноте от избытка мечтаний, от тоски, а может быть — чтобы остаться наедине с самим собой?..

Уплывающие в глубь улиц окна почему-то всегда напоминают мне одно и то же — Новороссийск, где совсем юной я провела несколько вечерних часов. Лето. Теплынь. Черная вода бухты повторяет все береговые огни. Набережная полна народу — прогуливаются, толпятся у ларьков с напитками и фруктами,

пьют и закусывают, собираются стайками, отделяются парами, где-то поют «Джим, подшкипер с английской шхуны», из открытого окна рвется «Карамболина», многоголосый шум перекатывается по набережной и выплескивается наверх по улочкам, всползающим в гору, а над городом деловые цепочки фонарей всползают еще выше, к цементным карьерам. Очень заметно, что бухта — это дно большой чаши, чьи крутые откосы обламываются у самых молов, ограждающих бухту, круговая линия прерывается лишь в одном месте, между двумя молами, за которыми — море, невидимое во мраке ночи, но ощущаемое по веющей оттуда прохладе, по запаху водорослей и соли, по мерному движению воды. И вдруг в черноте за молами возникает сияние — белый пароход входит в бухту, его палуба залита праздничным светом, по его округлому борту, как двойное ожерелье, светятся все до одного иллюминаторы. Разом обрывается и песня о подшкипере, и заклинание Карамболины, и многоголосье толпы — вместе с белым пароходом в бухту вплывает музыка, музыкой там ведает лирик, звучит один из ноктюрнов Шопена. Под небом в огромных звездах, на черной воде, повторяющей все огни, очень хороши и белый пароход, и Шопен, и необременительное мое одиночество в незнакомом порту. Каждой клеточкой своего существа я впитываю прелесть этого кусочка жизни, прекрасной жизни, которой так много впереди, которая так много и щедро сулит мне… А двойное ожерелье сверкающих бусин уже распалось, пассажиры покинули каюты, заполонили палубу, и только успел пароход ошвартоваться, только перекинули на причал сходни — вся эта легкомысленная толпа устремилась на набережную, смешалась с местной, осадила ларьки, загомонила, заметалась — отдыхающий, любопытный курортный люд. Лишь несколько светящихся кружков осталось на борту — кто пренебрег стоянкой? Кому там, в каютах, так скучно, что и выходить не хочется, или так хорошо, что ничего иного не нужно?.. А по опустевшей палубе кругами вышагивает человек. Воротник поднят, голова втянута в плечи, руки вдвинуты в карманы плаща — ходит и ходит, не поднимая головы, может, и не взглянул на город, такой красивый в вечернем убранстве, может, и Шопена не слышит?.. И еще человек одиноко стоит на корме — женщина. Издали не разглядеть, молода ли, хороша ли собой. Легкий белый шарф вьется вокруг нее, а она стоит неподвижно, лицом к набережной, все видит и слышит, но невесело ей, ох невесело, и что-то важнейшее не решается и не отпускает…

Почему впечатался в память именно тот вечер, и свет, который так и не погас в нескольких каютах, и две фигуры на

опустевшей палубе? Тогда впервые мою беспечную душу поразила мысль о неохватности множества человеческих жизней, которые проплывают, проплывают мимо меня, и острота все оттеснившего желания — заглянуть в каждую из них, и сказать что-то обнадеживающее вон тому нахохленному угрюмцу, и отыскать недающееся решение женщине…

Уплывающие в глубь улиц дома напоминают мне тот корабль. А их так много! Я смотрю на них с тем же юношеским ощущением неохватности жизни и неповторимости судеб, проплывающих мимо. За светящимися и темными окнами бродят мысли и сны, живут страсти и боли. К скольким из этих судеб я не успела прикоснуться! Мимо скольких из них я прошла сама, не заметив, потому что искала другое?.. К скольким из них я обращалась, пытаясь — быть может, наивно или самонадеянно — вмешаться в трудные судьбы, открыть выход из тусклого тупика, одних уберечь, а других удержать от зла и пошлости, подсказать недающиеся решения… но они не услышали меня, до них попросту не дошло?..

Люди, люди, люди… такие разные! Моя профессия не только трудна, она существует не сама по себе, а в людях и для них, но связующие нити так непостоянны и так подвластны тысячам воздействий и причин. От мировых потрясений до минутной моды. Каждый раз — стена и стекло. Отделенный мир. И надо достучаться.

Окна и люди, множество множеств людей, о которых я не успела и, быть может, уже не успею написать…

Морщинистая рука подправила фитилек лампады, выключила электрический свет. Зыбкий огонек подсветил темный лик на иконе и позеленевшую оправу. Волоча ногами шлепанцы, женщина добрела до широкой кровати, взбила подушки и легла, поплотней укутав ноги — леденеют они к ночи, не согреть. Подоткнула со всех сторон одеяло — видно, и оно состарилось, свалялась вата, не греет. Только под стиснутыми у груди руками — уголок нестойкого тепла. Ох, господи, господи! Глаза ее не мигая смотрят на темный лик, на неверный огонек и стараются не видеть слишком большой, тонущей во мгле комнаты, слишком большого стола, натыканных повсюду тяжелых

стульев, громоздкого буфета…

Заснуть бы! Согреться и заснуть…

Но как только сон начинает тяжелить веки, вспышкой ослепляющего сияния возникает зеленая луговина над речкой, по луговине скачет на ломких ножках жеребенок-сосунок, она громко смеется и бежит с ним наперегонки, зная, что на дороге остановил свой трактор Петюшка Хлопов. Петюшка прикидывается, что нелады в моторе, а сам глядит на нее, и от этого до дрожи весело, и хочется выманить его к себе, и страшно выманивать. Но он сам идет через луговину к речке — руки отмыть, а потом набирает воду в пригоршни и пытается обрызгать ее, она увертывается, он догоняет… догнал… поцеловал — голова кругом. «Подрастай, невеста, и жди меня, слышишь?» Она знает, что ему скоро в армию, и знает, что готова ждать, но по правилам девичьей игры отнекивается: «Что загадывать на три года!» — «А я тебя на всю жизнь загадал». Правда ли? Мать сердилась: «У Хлоповых вся семья непутевая, что толку в его трахторе, если в избе одни тараканы?!» Подружка Варька наставляла: «До армии все клянутся, а еще вернется ли в деревню? Насмотрится за три года, как люди живут, осядет в городе, а ты в девках останешься!» Поверила. И вышла замуж. А Петюшка вернулся… Походил «смурной», а спустя год на Варьке и женился.

У нее и сейчас зашлось сердце от той, от давней досады. Подружка! Нет коварней советчиц!.. Усмехнулась — ну чего, чего вспомнила?! Плохо ли прожила с Максимом? Любви не было? Так одной любовью не проживешь. Поначалу все чего-то не хватало, а потом привыкла. Жаловаться не на что. Даже в войну нужды не знали. Богато жили. Еще и в деревню посылки посылала, пока живы были маманя да сестренка. Тайком от Максима и от свекрови посылала колбаски, конфет, пряников. И деньги переводила. Правда, надрожишься, пока на почте у окошка стоишь, вдруг знакомый кто зайдет, скажет свекрови…

Сна как не бывало. Сухие глаза оглядывают слишком большую, тонущую во мгле комнату, слишком большой стол, натыканные повсюду тяжелые стулья, громоздкий буфет, забитый ненужной посудой, наборами рюмок и бокалов, массивными супницами и блюдами, — все это давно запылилось, рисунка не разглядеть, да и куда оно, зачем?..

Когда помер свекор, а потом и свекровь, вторую комнату забрали, всю мебель Максим перетаскал сюда. А теперь и не продашь, люди ищут малогабаритную в новые-то дома, а такие громоздкие, с вырезными завитушками, никто не хочет, куда их, пыль копить! Да и правда — под буфетом мусору набилось, а не сдвинешь и с-под него не выгребешь. Стол тоже не сдвинешь,

ножки дубовые будто приросли к паркету. Что с ними со всеми п о т о м сделают? На свалку? Ох-хо-хо… вот ведь мысли какие… Спать надо.

Смежила глаза, потуже закуталась. Уже и голову задурманило сном, а неведомо зачем всплыло из прошлого, из давнего: вот приехал на побывку к своим теткам Максим — городской, форсистый, и от теток пошел слух — жениться хочет на своей, на деревенской. Бабы прямо с ума сошли — неженатый, а такой степенный, говорят — мясником в самом большом гастрономе работает, денег гребет без счету. Маманя тоже взволновалась: «Иди, дуреха, на танцы, повеселей гляди, ведь не хуже других!» Все девушки наперебой красовались перед завидным женихом, только она одна пугалась, жалась в сторонке. А Максим почему-то ее приметил, сам вытащил за руку на круг. И не осудил, что танцует плохо. Незадолго до отъезда заслал сватов. Маманя радовалась — счастье негаданное привалило! А она как в тумане была, отказать не посмела, но и не радовалась. Чинно гуляя с Максимом вдоль деревни, спросила, почему он ее выбрал, вон сколько тут невест. А Максим ответил: «Мне финтифлюшки ни к чему, я человек серьезный, мне нужна жена скромная, тихая». И еще она спросила, полюбит ли ее свекровь, ведь без нее дело сделалось, может, она против будет? «А чего ж не полюбить? — сказал он. — Будешь ласковой и услужливой, полюбит. Ей с хозяйством одной не управиться!» Она не удивилась такому ответу: пошла замуж — готовься работать по дому, свекру и свекрови угождать, как же иначе! Но внутри будто похолодало, каких-то других хотелось слов. Вот у Петюшки они находились: «Да как же тебя, такую славную, не полюбить!»

Ее вдруг подкинуло в постели, так неожиданно и отчетливо представилось, что она могла сказать: не хочу! не люблю, и все тут! Могла выгнать жениха, как бы ни сердилась маманя, как бы ни дивились соседки. Дождалась бы Петюшку. И вот он приехал, и незачем ему ходить «смурным», как писала та же Варька-утешительница, не нужны Варькины утешения, сама встретила бы и поженились бы в ту же осень, и вся жизнь… Вся бы жизнь!..

Она заплакала и сама себя обругала — чего надумала, старая дура! Перевернула подушку мокрой наволочкой вниз, затихла, призывая сон. И тут вспомнилось, как щедро накупил ей Максим и платьев, и туфель, и ботики фетровые, и два пальто — осеннее и зимнее, и белья (куда нам твое деревенское, смех один!), и даже ночные сорочки с кружевами. Гулять или в гости выходили разодетые, степенные. Да, но стоило вернуться домой, не свекровь, а сам Максим говорил: «Чего дома-то щеголять, переодень платье!» Не успеешь снять, сам на плечиках

расправит — и в шкаф.

И еще вспомнилось, что не хотел Максим ребеночка — ну его, спать не даст, у меня работа тяжелая.

А у Петюшки с Варькой трое…

Уже заболел Максим, уже и сам догадывался, какая страшная у него болезнь, а доброты не прибавилось, нет, лютый стал, жадный, каждую копейку проверял. А когда взяли его в больницу, когда бегала она кормить его самым вкусненьким, лишь бы поел, он и тут придирался, не много ли тратит, и требовал, чтоб ничего не продавала, вещей не трогала, и еще — чтоб поливала его любимый столетник, берегла, не сронила с подоконника.

Сквозь слезы зло рассмеялась — любил он его, как же!.. Уже после того как схоронила Максима, она все поливала и оберегала жирный лапчатый куст… пока однажды, раскрывая весною окно, не задела локтем. Разлетелся горшок на черепки, она охнула и, чуть не плача, начала подбирать — да так и обмерла: из мокрой земли повыскакивали золотые рубли и кольца… Свекровь?! Нет, Максим, он же и пересаживал купленный кусточек в большой горшок, сам и землю принес, и обминал ее… От нее он скрывал свои потайные богатства! И откуда они? С каких пор? Для чего захоронил под столетником?..

Купила она тогда новый горшок, посадила куст заново и опять все богатство под него запихала. Ни для чего, от растерянности. Так и лежит в земле. Куда понесешь? Как объяснишь?..

Она скосила ненавидящий взгляд на этот проклятущий куст. Вон он, торчит на подоконнике, за ним — свет уличных фонарей и чужих окон, на свету зловеще топорщатся его жирные лапы. Остаток жизни съел…

При Максиме соседи чуждались их, да и Максим сторонился, опасался, что будут просить то мясца получше, то печенки, то косточек для своего Бобика. И ей приказывал с соседями не якшаться. А когда она осталась одна, без средств, соседи подобрели к ней, звали пошить что попроще, за это платили, а главное — кормили. То одна семья, то другая. Отвыкшая от воли, от общения с людьми, она потянулась к соседям, будто плотину прорвало — говорит не наговорится. И они вроде полюбили ее. До одного случая…

Ну зачем, зачем она так?!

Села в постели, обхватила руками иссохшие плечи, качаясь как от боли. И ведь хороший мальчишка-то! Внучек. Сиротинка. Всей деревней решили послать его к двоюродной бабке, пусть поступит в трудовые резервы, получит хорошую специальность, а бабушка присмотрит, чтоб не баловался. Куда ж ему деваться,

если только и осталась на свете родная душа — бабка?.. И ведь не баловной был, любил столярничать, из ничего разные забавные фигурки вырезал — часами сидит, осторожненько стругает плашку и напевает себе под нос тоненьким голоском. А позовешь, мигом вскочит: «Что вам, бабушка?» Ну жить бы да жить! А она испугалась. Чего испугалась-то? Что мебель изрежет ножиком, что посуду перебьет, что на вещи на Максимовы позарится?.. Пуще всего испугалась, когда пришла из магазина домой, а Сеня стоит у окна и ножичком колупает землю под столетником. «Что ты делаешь, хулиган?!» — «Да что вы, бабушка, — пролепетал Сеня, — я землю рыхлю, чтоб лучше росло. За что вы — хулиганом?..» Может, и вправду только рыхлил?.. Нет, следить стала, надо выйти — и его на улицу гонит. Встанет он рано утром — глазами провожает. По карманам украдкой шарила. Сеня замечать стал, насупился, примолк. А однажды свои вещички собрал: «До свиданья, бабушка, мне в общежитии койку дали, не буду вас беспокоить». И вышел. С соседями прощался — с каждым по-хорошему, за ручку. И вдруг заплакал, так и выскочил на лестницу. И больше не пришел. А с соседями вся дружба кончилась.

Год назад увидела на улице молодого человека — ну Сеня вылитый! Конечно, на десять лет старше, изменился, но узнать можно. Идет, коляску голубую толкает перед собой, а рядом женщина — молоденькая совсем, симпатичная. Идут, улыбаются человечку в коляске, гугукают. Сеня или не Сеня? А если Сеня — узнал ли ее? Может, и узнал бы, да не вгляделся, ни к чему Сене какая-то старуха.

А старухе и воды подать некому.

Без слез, беспощадно смотрит она на опадающий огонек лампады. Масла подлить нужно, да не встать. Или задуть совсем, на что он, где он, бог-то? А может, задуешь — и самой конец?.. Согреть бы ноги, заледенели совсем. Грелку бы. Встать, пойти на кухню, вскипятить воды, налить полнешеньку, чтоб долго не остывала…

Вздрагивает огонек, никнет, снова вспыхивает, тихонько потрескивая, не горит и не гаснет.

Внизу, во дворе, — сумерки, а тут, под самой крышей,

вечерняя заря причудливо расцвечивает беленые стены, развешанные по комнате пеленки и льняные волосы молоденькой женщины, что кормит у окна ребятенка. Ребятенку не больше полугода, маме — от силы двадцать; она придерживает сынишку и рожок девчоночьими тонкими руками — пальцы размыты стиркой, ногти без лака коротко острижены. Ей улыбаться бы, любуясь своим несмышленышем, сосущим молоко, а она плачет и даже не замечает этого — выкатится слеза, повисит на щеке, сорвется на пеленку, а на ее место уже катится другая. И не ласковые слова, на которые так щедры матери, — нет, она бормочет запомнившиеся стихотворные строки: «Брошена. Придуманное слово. Разве я цветок или письмо?» Как дальше — забыла, но в этих двух строках уже все. Все?.. И ведь предупреждали ее — куда торопишься? Какой это муж — первокурсник?! Папа и мама, когда она привезла к ним в Воронеж своего Игоря, так и ахнули: двое детей! Опомнитесь, какие из вас супруги?! Потом папа проводил разъяснительную работу: создание семьи — ответственность, а есть ли у вас чувство ответственности? Игорь весело сказал: есть! И она подтвердила: конечно, есть! Тогда все казалось несомненным.

Маленький Игорек сосет вяло, еле-еле, темные реснички сомкнулись. Она потряхивает рожок, Игорек нехотя втягивает рожок влажными губешками и вдруг принимается сосать с удвоенной силой, блаженно урча. Она невольно улыбнулась, так это мило и смешно, но Игорек, проснувшись от внезапной жадности, широко раскрывает большущие серые глаза — отцовские глаза! — и от этого сходства слезы хлынули неудержимо.

А несмышленыш уже отвалился от рожка и спит. Разве он понимает, что у папы ненадолго хватило ответственности!

Малышок мой, я-то тебя не брошу и не разлюблю!

Она бережно перекладывает его с онемевшей руки в кроватку и храбро озирается. Дел невпроворот: рожок вымыть, мокрые пеленки простирнуть, подсохшие снять и прогладить, пока они вохкие, протереть две морковки и отжать сок, купленное во время прогулки мясо разделать, вымыть, мякоть пропустить через мясорубку на котлеты, остальное поставить вариться… Пока греется утюг, она берется за мясо, но ее пронзает мысль, что все старания уже ни к чему, все равно Игорь придет поздно, как все последние дни, будет отговариваться делами, а про записку… да, что он скажет про записку? Какое у него будет лицо, когда она молча, без единой слезы швырнет ему эту гнусную записку?!

Утром она решила встряхнуть куртку, которую он вечно бросает куда попало, нарушая гигиену. Из кармана на пол

выпорхнул белый листок. Она не собиралась проверять Игоря, но подумала, может, что-то нужное. В глаза бросились первые слова — «Крошка, цыпленок, кисонька…» Еще ничего не подозревая, только удивившись, потому что почерк был Игоря, она дочитала — «Кисонька, мое терпение на исходе. Когда же?!!» А снизу нелепым почерком с расхлябанными буквами, склоняющимися то вправо, то влево: «Не злись, котик! Завтра после работы и до л ю б о г о часа!» Пошлячка, еще подчеркнула «до любого»!.. Распутная девка, позволяющая обращаться к ней с дурацкими нежностями — «крошка», «цыпленок», «кисонька»! А сама пишет «котик»! Как в рассказе Мопассана, чтоб не спутать имя! Какая мерзость!.. И с нею Игорь пропадает вечерами! То понадобилось стенгазету выпустить, то «секрет, Лидок, секрет!» — а дура жена верит, ждет…

И это Игорь, ее Игорь!

В комнате запахло каленым — перегрелся утюг. Она отключает его, срывает с веревок пеленки да так и замирает посреди комнаты. Нужно решать! Немедленно! Жить с ним, терпеть обман, безвольно плакать, когда он где-то развлекается?! Нет, этого он не дождется!

Уехать к маме. Так, чтобы он даже не знал куда. Пусть поймет, что потерял!

Глянув на часы — малыш проспит по крайней мере час, — она бежит вниз к автомату. Только бы застать Соню.

— Сонечка, вот хорошо, что ты дома! У меня к тебе огромная просьба. Можешь заказать мне билет до Воронежа? На самый ближайший день!

— Ради бога, что случилось?!

— Ничего особенного! Ухожу от Игоря.

— С ума сошла!

— Нет, не сошла. Можно, я к тебе приеду с малышом? Он тихий, мы не помешаем, я буду почти все время гулять с ним.

— Ты рехнулась! Вы что, поссорились?

— Я тебе сказала — ухожу. Совсем. Поможешь мне или нет?

— Ну конечно. Только я уверена, что ты…

Она шлепнула трубку на рычаг не дослушав. Теперь надо собираться — скорей, скорей, пока нет Игоря. Вызвать такси? Но денег только-только хватит на билет, если ничего не оставить Игорю. А что он будет есть до стипендии? А-а, все равно! Тут супу на три дня, сделаю котлеты…

Пока доваривался суп и жарились котлеты, она успела достать с антресолей чемодан, он был весь в пыли и паутине, пришлось вымыть его снаружи и внутри, а потом поставить на подоконник просушиваться. Представив себе, как она увезет в нем

свои платьишки и весь приклад сынишки, она разревелась — и дала себе волю: выплакаться всласть, чтобы потом никто не увидел ни слезинки!

Соня, конечно, разнесет сенсацию по институту: «Вы подумайте, Игорь и Лидка!..» Надо прийти к ней спокойной, насмешливой: разлюбила, и все тут, ошибка молодости! А в Воронеже?.. Папа скажет: вот она, нынешняя молодежь! А мама наверняка поймет, что никакая я не спокойная и не равнодушная… Но тем более надо держаться — ни слезинки! А уж при Игоре… Да что я?! С Игорем — все, уйду, пока его нет, и Соне велю молчать. Быстро собраться, снести вниз коляску, Игоречка в коляску, в ногах пристроить чемодан — и никакого такси не нужно, тут и километра не будет, обычная прогулка…

Она лихорадочно складывает вещи — свои и детские. Но в это время просыпается Игорек, приходится перепеленывать его, тереть морковку, отжимать сок, потом поить его соком — а Игорек не хочет, он любит яблочный, апельсиновый, клюквенный, а морковный набирает в рот и выплевывает…

И как раз в это время, когда она все же понемножку скармливает ему морковный сок, в комнату врывается Игорь — возбужденный, галстук набок, из битком набитого портфеля торчит горлышко бутылки, у локтя болтается сетка со свертками.

— Привет семье!

Он выкрикивает это громким шепотом, чтобы не испугать малыша, и, еще не освободившись от ноши, целует в лобик обоих, — о-о, только этого не хватало, от него пахнет вином!..

Стиснув губы и склонив лицо над малышом, она не отвечает и не смотрит на Игоря, но сквозь опущенные ресницы все же видит его руки — торжественными движениями он ставит на стол бутылку шампанского и выкладывает из пакетов колбасу, плавленые сырки, помидоры, огурцы, добрый килограмм красноватых от спелости абрикосов… Откуда? На какие гроши, когда из стипендии он оставил себе всего два рубля?..

— Лидочек, реагируй сейчас же! — с хмельным восторгом возглашает он. — Я жажду признания и восхищения!

Лидочек непримиримо молчит. И тогда он с испугом склоняется над сынишкой:

— Заболел?

Но розовая мордашка сына, перепачканная морковным соком, успокаивает его, а неясная улыбка приводит в восторг:

— Смотри-ка, узнал меня! Узнал и улыбнулся!

В другое время он заметил бы отчужденность своего Лидочка, но сегодня его переполняет радость и гордость — вон сколько всего внес в их скудное хозяйство!

— Ты потеряла дар речи?! — Он расставляет принесенные яства. — Закатим пир горой! Гляди, какие я достал абрикосы!

Ей начинает казаться, что приснился дурной сон — или с этой гнусной запиской, или вот сейчас, когда он старается внушить ей, что ничего худого не произошло. И вдруг она вспоминает разговор двух женщин на бульваре. Покачивая коляску с ребенком, одна говорила другой: «Напрасно радуешься! Если носит подарки, значит, виноват и пускает пыль в глаза. Они все такие! Когда ухаживают и добиваются — цветочки и что угодно, а когда вышла замуж да родила, тут уж ты на якоре, куда денешься? Тут сама гляди да в руках держи. А начал колбаситься вокруг тебя, не иначе — завел кралю на стороне!» — «А если он любит меня?!» — «Конечно, любит и ребенка не бросит, если честный человек, но семья семьей, а все равно мужику среди пеленок скучно!» Вот и Игорь так же?..

— Да ты что такая — не такая? — наконец с обидой замечает Игорь. — А это что? — Он увидел чемодан.

— Естественный вывод, — ею овладело злое спокойствие, — вот из этой мерзости.

Записка брошена на стол. Он долго, удивленно рассматривает ее, вертит в руках:

— Что это?

— Ах, ты не знаешь!

Ребенок мешает ей, она распеленывает его и укладывает в кроватку, Игорек удовлетворенно сучит ручками и ножками. А за ее спиной раздается хохот.

— Откуда ты ее выкопала? Это же было месяц назад!

— Тем хуже.

— Дурешка, это же записка Тумбе, Циплаковой, что́, ты не помнишь ее? Она никак не могла собраться оформить стенгазету.

Тумбе?.. Стенгазету?.. Конечно, кто же не знает эту верзилу Циплакову, коренастую, некрасивую, но славную и деятельную, студенты вечно дразнили ее цыпленком, и малюткой, и тумбой, и еще бог знает как… Да, месяц назад Игорь жаловался, что Циплакова никак не соберется сделать заголовок и карикатуры для стенгазеты. Но что за манера писать своему товарищу такие записки!..

— Если хочешь знать, это подло — давать дурацкие прозвища девушке оттого, что она некрасива!

— Ты из-за этого и собралась уезжать?!

Она поворачивается к нему и прямо-таки с ненавистью смотрит в его смеющееся лицо.

— Нет, потому что мне надоело; приходишь к ночи, болтаешься неизвестно где и являешься пьяным!

— Я — пьяным?!

— Да, пьяным! Воображаешь, не заметила?! От тебя разит водкой!

Он все еще смеется:

— Угу, пьян вдребезги и в пьяном виде обокрал магазин! Сперва гастроном, а потом «Чулки, трикотаж». Угадай, что в этом пакете?

Он вытягивает из похудевшего портфеля фирменный пакет и помахивает им перед нею, он все еще весел, а она уже понимает, что попала впросак, но целый день страданий душит ее, обида душит, и все же он приходит слишком поздно! И все же он где-то выпил, пока она мучалась!

— Мне противно разговаривать с пьяным!

И она включает утюг, раскладывает на столе подстилку для глажки.

Игорь перестал смеяться.

— Во-первых, выпить две рюмки «Саперави» — пьян не будешь. Во-вторых, все, что я делал, «болтаясь неизвестно где», я делал для тебя, для вас. Что, вот это я покупал для себя?!

Он вытряхивает из пакета капроновые чулки и голубую ночную сорочку, такую точно, какую они видели в витрине, тогда она никак не могла оторвать взгляда и вздыхала, понимая, что такое чудо еще долго будет не по карману.

Ох, надо бы завизжать от радости и кинуться на шею к Игорю, но сейчас она не может, никак не может откинуть все, что пережила и передумала. А Игорь, обиженный, начинает распаляться:

— Демонстрации устраиваешь?! А я, как идиот, вкалываю три недели! Думаешь, очень интересно по шесть часов в день вбивать в тупые мозги математику?! Трех обалдуев вытянул к переэкзаменовке, сегодня сдали. Все трое! И если родители, расплачиваясь, на радостях усадили меня обедать и угостили вином!.. Если я прямо оттуда помчался в магазины покупать все, что ты любишь!.. Конечно, самое время устраивать мне сцену!

— Как бы там ни было, ты мог сказать, — бормочет она, — а то месяц приходишь все позже и позже…

— Вот и делай после этого сюрпризы!

— И эта пошлая записка… Кисонька! Котик!..

— Ничего пошлого в ней нет. Товарищеская шутка. И вообще, если хочешь знать, Циплакова прекрасная девчонка, во всяком случае без истерик и дешевой амбиции.

— Очень рада, что у тебя такой прекрасный член редколлегии.

— Я тоже.

— Ну и чудесно.

Она с остервенением наглаживает пеленку за пеленкой, и пусть с запиской оказалась ерунда, и пусть он заработал уроками и принес такую прелесть в подарок — все равно она чувствует себя непоправимо обиженной, несчастной, все заколебалось, все рушится, он уже ставит ей в укор других, он груб и нечуток, разве он понимает, как ей трудно одной с Игорьком, он-то живет прежней, вольной студенческой жизнью!..

Игорь переоделся в домашнее, загремел кастрюлями. Ага, ставит воду для стирки. Ну и что из того, что он по вечерам стирает пеленки? А сколько я их стираю до него?!

Игорь вдруг с остервенением выключает утюг. Она тут же включает его снова, но Игорь перехватывает штепсель и сжимает его в кулаке.

— Нет, погоди. Я должен понять. Ты что же, всерьез думала, что я тебе лгу? Что я завел пошлый романчик? Значит, ты жила со мной — а про себя считала меня подонком?!

Еще не поздно броситься ему на шею, рассмеяться или зареветь… Но она выпрямляется, непримиримая и озлобленная, и на бурный поток ее упреков и обид он отвечает таким же, встречным, они кричат наперебой, а то и в два голоса сразу, и уже не разберешь всего, а только отдельные выкрики:

— …как рабыня в четырех стенах!..

— …а что я мечусь в поисках заработка, гоняюсь за грошовыми уроками!..

— …я тебе не цветок и не письмо!..

— …господи! Какое еще письмо?! Ты просто ополоумела! Домашний шпион!..

— …даже в кино не была уже полгода!..

— А я был?! С кисонькой, втихаря, да?!

— …ни одной книги!.. Академический кончится, и я останусь домохозяйкой, а тебе наплевать!..

— А кто ночью вскакивает к ребенку? Ты только в бок пихаешь — вставай!..

— …когда ни придешь: «Чего бы пожевать?» Управляйся как можешь! А чего мне это стоит!..

— Конечно, деспот и подонок, зачем и жить с таким?!

— Тебе легко говорить, я на якоре, никуда не денусь!

— Что за слова?! Обывательщина так и прет!

— …а кто меня запер тут одну? Жизни не вижу!

— Что ж, тогда в самом деле лучше разойтись.

— Да! Лучше! Сегодня же!..

Слишком громкие голоса пугают Игорька, он ревет истошным басом. Оба оторопело смотрят друг на друга и кидаются к

ребенку, Игорь первым выхватывает его из кроватки и прижимает к себе.

— Ну куда? Он же мокрый, — примирительно говорит она и отнимает ребенка, ловко подменяет пеленку и, не глядя, протягивает мокрую: — Брось в таз.

Игорек полулежит на руке у матери и таращит глаза на отца. Отец присаживается на корточки и делает ему козу-козу, а ладонью другой руки не очень уверенно, как бы случайно, касается колена жены. Колено не шелохнулось, и ладонь ложится на него уверенней. А маленький властитель вдруг издает какие-то восторженные, клокочущие звуки, широко раскрывая ротик с двумя одинокими зубками.

Они растроганно переглядываются, потом она смотрит на будильник, ахает, потому что весь режим полетел к черту, и говорит властно, удерживая пробивающуюся улыбку:

— А ну быстренько согрей кефир… «котик»!

Пять окон по фасаду празднично сияют, и кажется, даже с улицы можно услышать застольное многоголосье, всплески смеха и всплески музыки. Тут праздник, тут хозяин дома богат всем, что дороже денег: умом, талантом, умением трудиться, нелегкими успехами, помощниками и друзьями. Он весел, строен и моложав, даже седина его молодит, даже проблески коронок и слишком ровных зубов молодят; а может, это только сегодня, когда пришел большой долгожданный успех, открывающий перед ним широченную перспективу? Не есть ли это главное, что определяет молодость, — ощущение перспективы, когда многое-многое впереди, и не есть ли старость — независимо от календарных лет! — утрата завтрашнего дня?..

А если это так, то сегодня он заново молод, и жена ему под стать, она оживлена, пригожа, щедро гостеприимна, первоначальная тревога хозяйки уже отпустила ее, все покатилось само собою, гости сами выносят опустошенные блюда и бутылки, серьезные и пустяковые разговоры возникают, перекатываются из конца в конец длинного составного стола, то всех объединяя, то дробя на группы и группки; когда кто-либо надумает произнести шутливый тост, прочитать стихи-здравицу или стихи-эпиграмму, заранее заготовленные как экспромт, сам постучит вилкой,

добиваясь внимания… Да, все уже завертелось. А сколько было хозяйственных забот и возни, как долго обдумывался список приглашенных — чтобы вместить всех, кто помогал, и всех, кого н у ж н о позвать, как много выдумки ушло на такой пустяк, чтоб рассадить всех наилучшим образом, как говорил муж: правильно перетасовать… А теперь гости перетасовываются дополнительно, пересаживаясь кому куда хочется, незнакомые перезнакомились и вроде бы сдружились, вот и самый почтенный, самый знаменитый из гостей, академик и большой руководитель, от которого так или иначе зависят все присутствующие, произнес тост «за Виктора Андреевича, проявившего еще один талант — великолепного хозяина!», да и не сел больше на свое место, а перебрался под бочок к тихонькой белокурой лаборантке, рассказывает ей что-то смешное, а других отмахивает: «Нечего прислушиваться, не вам предназначено, хотите отвлечь мою даму — придумайте что-нибудь еще смешней!» А лаборантка хохочет и победно озирается — да, да, придумайте посмешней, если можете!.. И ведь откуда что берется — такая незаметная тихоня обернулась кокетливой красавицей, что смотрела лаборатория?!

— Ну как, Витюша, все хорошо?

— Очень!

Сквозь гул голосов пробивается телефонный трезвон. Жена спешит в кабинет, он прислушивается, но разве тут расслышишь! Только по лицу жены, поманившей его от двери, Виктор Андреевич понимает, что звонок некстати, а подойти нужно. В дверях жена сообщает без выражения: Ибрагимов. И тотчас он слышит в телефонной трубке вибрацию слишком громкого, как на ветру, надтреснутого голоса:

— Витюха, привет! Узнаешь старого бродягу?

— Как же тебя не узнать! Откуда на этот раз?

— Салехард знаешь? Ну так намного дальше.

Сколько лет прошло, сколько фронтовых друзей-товарищей растерялось, а Ибрагимов хоть и бродяжит дальше всех, а не теряется, видно не может забыться та черная ночь, когда они двое, оба раненные, тащили друг друга по ничьей земле к своим, временами теряя сознание, взбадривая друг друга, горячечно шепча ругательства пополам с мольбой: потерпи, поднатужься… Демобилизация развела их, писем не писали — некогда, но спустя три года Ибрагимов ввалился прямо в дом с ящиком коньяка, и с тех пор каждые несколько лет вдруг откуда-то «сваливался», всегда без предупреждения, однако научился звонить по телефону из уважения к хозяйке дома: «Не помешаю?» Что у него случилось с женой, Ибрагимов никогда не рассказывал, но что-то сломалось навсегда, женщин он презирал,

только для жены друга делал исключение: «Надюша, вы — Женщина! — говорил он, поднимая тост за ее здоровье. — Если бы другие женщины были похожи на вас, я был бы покорный раб, я бы взял свое сердце и положил к их ногам как ягненка!» Надюша улыбалась, выставляла на стол все, что нашлось в холодильнике, и уходила спать, зная, что час за часом они будут чокаться, понемногу пить и помногу говорить, и через две комнаты до нее будет доноситься: «а помнишь…» — «нет, ты разве забыл!..» — и у мужа к утру набрякнут мешки под глазами, а настроение будет размягченное и счастливое, и вечером все начнется сначала, будут говорить, говорить и петь фронтовые песни, и так трое суток, всегда трое суток, так повелось у Ибрагимова, на третий день он говорил: пора! — и куда-то улетал, то в Ухту, то под Норильск, а теперь вот куда-то за Салехард. Он был механиком по приборам для аэрогеоразведки, год за годом летал над тайгой, над тундрой, над горными хребтами, другой судьбы не искал, не боялся ни лишений, ни гибели, постепенно грузнел и седел, но был все таким же шумным, простодушным и верным.

— Во-первых, спешу поздравить, — кричал он в трубку, на радостях особенно раскатывая звук, — читал, Витюха, читал, Виктор Андреич, какой ты теперь выдающийся человек! Еще в дороге начал пить за твое здоровье, всех пассажиров напоил, про тебя рассказывал, все за тебя пили!

— Да ты откуда говоришь? — соображая как быть, спросил Виктор Андреевич и неожиданно для себя самого задал второй вопрос: — Ты где остановился?

Пауза была недолгой, но до ужаса беззвучной, и как раз в это время кто-то открыл дверь и в тишину ворвался гул застолья, ворвался и втиснулся в черное ухо трубки.

— В тайге не пропадал, в горах не пропадал, в большом городе тем более не пропаду, — сказал Ибрагимов, — ну, приятно праздновать!

Сухой щелчок. И беспокойно частые гудки: все! все! все!

Рядом оказалась Надя.

— Придет?

— Да нет, понимаешь…

— Ой, — сказала Надя. Она всегда немного тяготилась наездами Ибрагимова, но теперь сказала: ой! — и чужая обида проступила на ее лице.

— Так глупо получилось. Я не успел…

За стеною начали хором выкликать: «Хо-зя-е-ва! Хо-зя-е-ва!»

— Пойдем. — Он обнял жену за плечи и повел к двери: — Мороженое не растает?

— В морозильнике? Не думаю.

— А может, пора скормить его?

Оттого ли, что их продолжали хором выкликать, оттого ли, что хмель уже туманил голову, но он быстро вернулся в счастливое настроение праздничного вечера и забыл горькую минуту у телефона, когда в мембране сухо щелкнуло и вслед за тем нудно зачастили гудки. Гости, как дети, приветствовали мороженое, раскупорили еще шампанского, пили за хозяйку и за Виктора Андреевича, благодаря которому всем так хорошо и весело, кто-то из молодежи принес спрятанную до времени гитару, завели песни — сперва пели два-три человека, потом все больше и больше, академик подхватил лаборантку и подсел поближе к поющим, подсказывая, какую выбрать песню, и сам запел уютным баском, он весь отдавался песне и подталкивал под локоток лаборантку, та старательно открывала рот и краснела, голоса у нее не было. Виктор Андреевич тоже пел, как мог, одну мелодию, потому что слов не помнил, и соображал, что делать: взять такси и мчаться на аэродром? Но не будет Ибрагимов сидеть на аэродроме! В Аэрофлот? Но и там он сидеть не будет, не тот человек, его приютит любой летчик, стюардесса и даже уборщица, которая гоняет метлой опилки по залу ожидания. Ибрагимов везде свой. И ничего неуместного не было бы, если б он ввалился сюда: «Знакомьтесь, мой фронтовой друг, вместе погибали и вместе спаслись!» Ибрагимов произнес бы витиеватый восточный тост, и пел бы со всеми, в упоении закатывая глаза и дирижируя двумя руками так, как всегда дирижировал песней, даже когда пели вдвоем, и под конец хлопал бы академика по плечу: «Прекрасно поешь, друг, с душой поешь!» И академик радовался бы и смеялся, он же умный человек, он бы оценил Ибрагимова…

— Нет, при чем здесь академик?!

Он выскользнул из комнаты, закрылся в ванной и под холодной струей освежил лицо. Трезвым глазом оглядел себя в зеркале — немолодого, бледного, с припухшими нижними веками, с тусклыми глазами человека, недовольного собой. «Как же это со мной случилось? Когда незаметно вкралось? И что же теперь делать, куда мчаться, чтоб снять с души эту тяжесть?..»

…Ночь была черная, ни зги не видно. Только справа вспышки дальних выстрелов изредка подцвечивали край неба, земля была холодная, мокрая и каждой пядью — опасная, черт те что в ней напихано и нашими и немцами. Ползли плечом к плечу, одни в этой ночи на неверном поле, истекая кровью, теряя сознание, и, когда он изнемог, Ибрагимов, пятясь, тащил его за край шинели, припадая к земле, если в небе зависала осветительная ракета…

Он отогнал облегчающую мысль о том, что и он тащил Ибрагимова, когда тот ткнулся лицом в землю: к черту, не могу! Он отогнал ее: «Нет, нет, при чем тут я, об этом пусть вспоминает Ибрагимов, где бы он сейчас ни пригрелся, он и вспоминает, конечно, с недоумением и горечью, а я помню, как он тащил меня, тащил за край набухшей шинели, и зависшая в небе проклятая лампа на миг осветила его серое лицо в потеках грязи и крови, лицо мертвеца, решившего выжить, да не в одиночку, а вдвоем…»

— Вик-тор Ан-дре-е-вич! — скандировали гости.

Вечер длился. Он ладонями помассировал щеки и, с трудом вернув себе всегдашнюю моложавую осанку, пошел к гостям.

Распирая голые стены узкой комнаты несоразмерным звучанием, гудит-дудит труба: тру-ту-ту, тру… трру-ти-та-та! Дудит в трубу паренек, раздувая щеки, а ноты пристроены поверх раскрытых книжек и тетрадей, на спинке стула — женская кофта с продранным на локте рукавом, лампа висит косо, словно отвернулась от надоевшей трубы, на тахте кучей — кое-как собранные одеяла и подушки, да и на кровати за ветхой, в поблекших цветочках занавеской — будто ветер зарябил покрывало, небрежно накинутое на постель.

«Тру-ту-ту, тру… тру… тру-ти-та-та!» — выпевает труба, спотыкаясь все на той же недающейся ноте, и снова: тру… тру-ти-та-та!

Большая коммунальная квартира дергается в ритме нехитрого марша, раздраженно подскакивая на каждой запинке: ох, сфальшивил! сфальшивил!.. ну же, Леша, ну!.. опять сфальшивил!..

Живущая за стеной закройщица повязала голову махровым полотенцем и ушла на кухню, плотно закрыв дверь, но где там! — в этот вечерний час хозяйки снуют взад и вперед, руки у них заняты, не ногой же открывать-закрывать! А труба настигает их над кастрюлями и посудомойкой. Только самой молодой из жиличек, Люсе, все нипочем, она еще и подпевает трубе, еще каблучком такт отбивает и в такт помешивает суп. Ее муж, веселый аспирант-иранолог, недавно обил дверь войлоком и повесил глухую портьеру, но войлок и портьера тоже не спасают

от трубы, иранолог пытается читать, зажав уши ладонями, потом выскакивает в коридор и кричит:

— Больше смелости, Лешка! Перескочи и шпарь дальше!

Лешкина мать, женщина размашистая и громкоголосая, одна из всех ходит на цыпочках и говорит вполголоса — сын занимается. Она и картошку жарит на самом малом огне — пусть подольше, не отрывать же сына!

— Голова разрывается! — нарочито стонет закройщица и глотает таблетку, запивая спитым чаем.

— Может, моего возьмете, у меня покрепче? — виновато предлагает Лешкина мать и уже в который раз объясняет всем, кто возится у газовых плит, кто входит и выходит, не важно, что кто-то недослушал, а кто-то услышит с середины: — Конечно, пока удовольствия мало, но ведь научится! Главное — хоть какое-никакое, а занятие, все лучше, чем по улицам шлендрать. Я и в кружок плачу, и за прокат трубы плачу. Другие денег жалеют, из дому гонят, чтоб шуму не было, — себе же на погибель! За ворота выйдет, разве угадаешь, что ему на ум взбредет?!

В квартире ее зовут Тосей. И в доме зовут Тосей — дворник Тося. Убирать улицу и двор она выходит до света, потом спешит на вторую работу — мыть лестницы в научном институте. Кроме того, обстирывает соседей и безотказно ходит, куда бы ни позвали, делать большую уборку. Сама она по многу лет таскает одно и то же платьишко, но на детей денег никогда не жалела и не жалеет — и не потому, что распластывается перед ними, как укоряет ее закройщица, а потому, что у нее своя педагогическая точка зрения.

— Пожалеешь — больше потеряешь! Молодым-то всего хочется! Вот Борьке взбрендило поролоновую куртку, ну дурь не дурь, а ведь он не хуже других и не круглый сирота! Каково мне было троих ро́стить, это они поймут, когда поумнеют, а пока глупый, кого ж ему просить? Маму! Ну и купила. Откажи я, мало ли на улице темных компаний! Вон со склада бутылки таскали, недавно шестерых пареньков зацапали на месте. А все эти длинноволосые парни да раскосые девки, что целый вечер углы подпирают, — чему они научат? Нет, я своим что могу — все делаю, но глаз не спускаю, хоть пляши, хоть на дуде дуди — дома! Зато и Верку замуж выдала честной, и Борька, мало того что механик по радио, дальше учится! И Лешка из-под моего начала не выйдет. Мою руку они знают.

Ее руку все в квартире знают: помнят, каких пощечин она надавала дочке, когда Верочка пришла домой после полуночи; как она «отвалтузила» Борьку, когда он в первый и последний раз заявился пьяным; как она грозила Лешке, вздумавшему отрастить

длинные волосы, что сама обкорнает его, — и ведь обкорнала, ночью, сонного, тупыми ножницами — тут клок, там клок отхватила, пришлось ему вместо школы мчаться в парикмахерскую и стричься ежиком.

«Тру-ту-ту, трру… трру… тру-ти-та-та!» — с усилием преодолевает проклятую ноту стриженный ежиком Лешка.

— Легко ли по этим закорючкам сыграть, — вздыхает Тося, — зато полезно, для легких развитие, отец-то от легких умер, и нас по диспансерам сколько лет таскают на проверки. Это и докторша сказала — пускай дудит. А может, профессия выйдет? Пойдет в армию, могут и в военный оркестр взять… Вот ведь ансамбль Советской Армии по всем странам ездит…

Соседки переглядываются за ее спиной — что-то непохоже, чтобы Лешка додуделся до ансамбля! Случись эта напасть год назад, вся квартира ополчилась бы против Тосиной педагогики — хоть плачь, хоть беги вон из дому, житья нет от Лешкиной трубы! А теперь терпят, стискивая зубы. Раньше, бывало, схлестывались с Тосей из-за мелочей — дверью стукнула чуть свет, перебудила всех, посуду бьет свою и чужую… А с лета все пошло иначе. Летом Тося выдала замуж Верочку и собиралась ехать с парнями в деревню, но денег на троих не хватило, парней она отправила, а сама осталась — подзаработать во время отпуска: как раз ремонтировали фасад, пыли-грязи хватало, каждый день кто-либо упрашивал — Тосенька, приди убрать. Никто не заметил, как оно началось, хватились, когда Тося уже напропалую крутила любовь с водопроводчиком домового хозяйства Гришей. Они целовались на самой верхней площадке лестницы, а то и в лифте — дверца приоткрыта, а внизу жильцы неистовствуют: опять лифт испортился! Потом Гриша стал приходить поздно вечером чинить у Тоси батарею — якобы потекла ни с того ни с сего среди лета! Самая любопытная из жительниц квартиры, тетя Дуня, хоть и старуха, а караулила в коридоре половину ночи — да и не дождалась ухода Гриши, сон сморил. А Тося купила новое платье в голубую полоску и накручивала на бумажках кудерьки.

Этот нежданный роман неумолчно обсуждался на кухне — какая там любовь, обыкновенное безобразие! Он и моложе ее, на что позарился, того и гляди бабушкой станет! А чего ему зевать, сама на шею вешается, стыд и срам! Вот прознает его жена, даст Тоське выволочку да ославит на весь дом, а ведь у нее дети! Тетя Дуня настаивала на том, что общественность дома не может молчать. Молоденькая Люся презрительно фыркала — краткосрочный жэковский роман!

Как случилось, что никто не услышал стука входной двери? Тосю увидели уже на середине кухни — встала, откинув назад

голову в растрепавшихся кудерьках, платье в голубую полоску не прикрывает колен, чулки капрон, лицо распалено гневом.

— Что ж замолчали? — закричала она высоким голосом. — Помешало кому? Завидно стало? Или сплетничать больше не о ком? Еще и детей приплели! Мало я перед ними распластывалась, над корытом, над чужими полами спину гнула! — И вдруг набросилась на Люсю: — И ты, чистюля, туда же?! Думаешь, только молодым сладко? Думаешь, Тоська только и годна, чтоб вашу грязь отмывать, когда ты с бельем доведешь, что мужу надеть нечего?!

Люся испуганно проскользнула мимо нее и закрылась у себя в комнате. Даже за чайником не вышла, хотя Тося давно умчалась, отсалютовав всеми дверьми по очереди. Чайник кипел-выкипал, пока не пришел за ним Люсин муж, веселый иранолог. Взял чайник, оглядел возбужденных женщин и мирно спросил:

— Сколько лет нашей Тосе, не знаете?

— Да уж сорок стукнуло, — вызывающе сказала закройщица.

— А муж у нее когда умер?

— Под сретенье двенадцать лет будет, — дала справку тетя Дуня, — я каждый год в поминанье записываю. Скромный был человек, ведь так болел! — а хоть бы пожаловался…

— Болел. И детей трое, — сказал веселый иранолог без всякой веселости. — Значит, овдовела, когда еще и тридцати не было. И-и-эх, жен-щи-ны!

И ушел.

А в кухне стало тихо, каждая молча делала свое дело, про себя впервые вдумываясь не в свойства, не в поступки — в судьбу.

И вот теперь молчат, стиснув зубы, терпят.

«Тру-ту-ту! Трру… трру-ти-та-та!» — выпевает труба, спотыкаясь все на той же ноте.

Тося дожарила картошку, прикрыла сковороду крышкой, закутала газетами, да так и осталась стоять у плиты, давая себе минутную передышку. Но стоило ей остановиться, как на ее померкшем лице отпечаталась такая давняя и уже непреодолимая усталость, что соседки смущенно отвели глаза.

«Тру-ту-ту!» — гудит-дудит труба.

Лешке — шестнадцать, он низкорослый и тщедушный, сквозь редкий белобрысый ежик видна покрасневшая от его усилий кожа, а веснушки на носу и висках задиристо рыжи. Но, когда он дудит в трубу, он ощущает себя высоким и широкоплечим, как Генка из десятой квартиры, он видит себя в черном костюме и с черной бабочкой на белой рубашке, блестящие черные волосы зачесаны назад и нависают на воротник, как у Генки, а над губой черная ниточка усиков — тоже как у Генки. И во всем этом

великолепии видит себя Лешка в клубном оркестре под ослепительными лучами софитов, а за софитами, во мраке — ряды смутно белеющих лиц, он солирует на трубе, и ему хлопают, отбивая ладони, а когда после концерта он спускается в фойе, с ним даже незнакомые здороваются, а девчонки вертятся вокруг него — совсем как возле Генки.

«Тру-ту-ту тру-ти-та-та!» — вдохновленный честолюбивыми мечтами, Лешка лихо выдувает трудную ноту и, ошеломленно помолчав, победоносно и фальшиво дует дальше: «Трам-пам-пам, тра-та-та-там!»

Тося встрепенулась, по-хозяйски огляделась и, до отказа отвернув кран, подставила чайник под такую тугую струю, что чайник чуть не вырвало из ее усталых рук.

В этой комнате не нуждаются в свете. В этой комнате бродят лишь нескромные отсветы покачиваемого ветром уличного фонаря, и в этих бродячих отсветах тахта плывет, плывет, как белая ладья, белеют простыни, вспыхивают искрами откинутые на подушку волосы, два лица — глаза в глаза, два тела — как одно, «люблю!» — «люблю!».

Мимо! Мимо! Им сейчас никого не нужно.

Им хорошо, их ничто не тревожит.

Эта комната с белой ладьей еще три месяца — целых три месяца! — будет их наемным приютом.

Еще не завтра, нет, только через две недели приедет с юга его жена — похорошевшая, загорелая, и перевезет с дачи сынишку — бесконечно милого, лучшего в мире парнишку… Он будет сидеть перед ним, в отчаянии сцепив пальцы, сбивчиво объяснять, что случилось непоправимое, он этого не искал и не хотел, но разлюбить уже не может, и не может семья держаться на фальши, пойми, ну пойми, ты же молода, красива, ты еще встретишь настоящую любовь, только не лишай меня парнишки, это жестоко, я же честно пришел и сказал… А жена не поверит, что такая уж любовь, глупости, увлекся, пройдет, разве можно так бездумно разрушать, а уж если разрушишь — все! Ни меня, ни сына! Он еще мал, он тебя забудет, я ему дам другого отца, а тебя на порог не пущу, не пущу! — приходящий папа? — нет, не дам травмировать ребенка!.. И я тоже не каменная, уходишь к

другой — уходи насовсем!

А она, та самая «другая», разлучница и распутница в глазах всех, кто знает, она не завтра, а только через месяц, когда вернется из плавания муж, придет в свой бывший дом, под недоуменные взгляды его родителей, добрых, заботливых стариков, и скажет с отчаянной решимостью: ухожу! И выслушает брань, и упреки, и слезы, и ей будет очень жаль этих добрых стариков и очень жаль хорошего, немудрящего человека, в которого она опрометчиво влюбилась пять лет назад… Без оглядки выскочила замуж, с ним легко и удобно устроилась жизнь, — «захочешь птичьего молока — скажи, достану!» — пошучивал он, но родным, близким человеком так и не стал, два мира не соединились… И вот, жалея его, потому что в чем же он виноват, она будет терпеливо объяснять ему, не понимающему, что целый год работала с тем, любимым, над одним проектом, и ничего такого не было, клянусь тебе — ничего! — просто день за днем, вечер за вечером работали вместе, с полуслова понимая друг друга, болтали о чем придется, пили крепкий кофе, чтоб одолеть усталость, иногда убегали в кино, чтобы развеяться, много смеялись и ни о чем не догадывались, пока не сдали проект, пока совместная работа не прекратилась, а тогда вдруг оказалось, что мир опустел, что друг без друга они уже не могут, и оба сопротивлялись, оба долго гасили в себе, непрошеное чувство, но погасить не могли, и что же делать, когда они, оказывается, созданы друг для друга, им хорошо только вдвоем, а врозь жить нечем, дышать нечем. Пойми, прости, если тебе поможет — возненавидь и прокляни, но я ухожу, не думай, что на легкое, мне будет трудно, очень трудно, но врозь ни жить, ни дышать…

Они знают, конечно, знают, как все будет. Что же, настанет время — они пройдут через все терзания, а пока им хорошо, они вместе, и будут вместе, что бы ни было — вместе!

Но они еще не знают, что завистливый шепот уже ползет от стола к столу, от кульмана к кульману, из кабинета в кабинет. «Да что вы говорите?» — «Руководитель проекта с конструктором?» — «Этого нельзя допускать!» И вызовут его, заговорят осторожно, уважительно, дескать, мы понимаем, всякое бывает, «но какой пример молодежи! Придется ее перевести в другую мастерскую, а вас попросим… э-э-э… прекратить, сами понимаете…» Побледнев, он скажет: «Нет! И на новый проект я ее возьму, потому что понимаем друг друга с полуслова, потому что с нею у нас хорошо получается». А когда начнут настаивать, он закричит: «Если плох — снимайте!» — и хлопнет дверью… Тогда вызовут ее, и будет присутствовать Марья Васильевна, во всем

такая правильная, что не верится в ее искренность даже тогда, когда она искренна, и прозвучат слова р а с п у т с т в о и р а з л о ж е н и е, и будет сказано, что она сама должна попроситься в другую мастерскую или уйти по собственному желанию, у нее будут слезы на глазах, на миг всем покажется — уступит, подчинится, но она упрямо наклонит голову и скажет: никакого распутства тут нет, я его люблю. А собственное желание у меня одно — быть рядом с ним, другого нет!

Им будет очень трудно, ни постоянной крыши над головой, ни друзей — и с одной и с другой стороны друзья осудили, отшатнулись… На них будут коситься, будут разбирать ее по косточкам — подумаешь, этакая пигалица, ни красоты, ни талантов, невзрачное лицо, ноги короткие, ну что он в ней нашел?! От красивой жены, от ребенка, — ффу, какая гадость!.. И еще старший конструктор! Воспользовался служебным положением, соблазнил, совратил сотрудницу, увел от хорошего мужа, от прекрасной семьи — куда? В случайные комнаты, чемоданы в руках, сегодня тут, завтра там. И что смотрят общественные организации?! Как хотите, попустительство, гнилой либерализм!..

Все это будет. И через доброхотов будет докатываться то до нее, то до него. Она будет плакать украдкой и ходить, заносчиво вскинув голову. А он будет неистовствовать, огрызаться, дерзить, и еще он будет как вор красться по улицам и скверам, чтобы взглянуть на своего парнишку, и снова, и снова умолять жену — хоть раз в неделю!.. Любимая будет утешать его, пусть пройдет время, утрясется! — и вместе они поверят, что утрясется, и будут счастливы всем чертям назло, и шалая счастливость их лиц будет смущать окружающих, будто они узнали что-то неведомое другим и таят про себя…

Утихни, ветер, не раскачивай фонарь, пусть ничто не мешает им сейчас, когда они плывут, плывут на белой ладье — навстречу бедам и счастью.

Прежде чем выйти из почтового отделения, где она целый день штемпелевала конверты, принимала бандероли и заказные, Настя быстрым движением натягивает вокруг кушака резинку и вздергивает юбчонку повыше. Начальница выговаривает, если

юбка чересчур мини, — «у нас клиенты, мы боремся за звание…» И мама прямо-таки с ума сходит, «мы тоже короткие носили, но не до пупа же!». От почты до дому — можно, и она храбро шагает по бульвару, поблескивая круглыми коленками в капроне, и юбчонка где-то высоко над коленками, еще задираясь на шагу. Сердце заранее екает, потому что возле ее парадного переминается этот странный Капочка, жуя сигарету и встречая ее неотрывно-пристальным взглядом. Вот уже неделю он стоит там как на часах, а сегодня еще и на почту зашел — стал в очередь к окошку и глядел, а у нее валилась из рук сдача. Подал бы письмо, что ли, или спросил до востребования, а то всунулся в самое окошко и молчит, а когда она, вся красная, спросила: «Вам что, гражданин?» — ответил: «Гражданину ничего, просто так!» — и отошел…

На бульваре, на скамейке и возле нее, скучилась целая компания ребят, всем им по шестнадцать-восемнадцать, не больше, кто еще в школе, кто в техникуме, некоторые уже работают. Настя знает почти всех еще по школе, они живут и в ее доме, и рядом, и напротив, а один, Витька, сосед по квартире. От Витьки она и узнала, что того парня зовут Капочка, живет он за углом, в переулке. Капочка гораздо старше этих ребят, но водится с ними и верховодит в их «кодле». Где он работает или учится, Витька не знает. О Капочке он отзывается — «мировой парень», или «ох и парень!», или еще «ну, этот не теряется!» И все. Без объяснений.

Настя проходит мимо них и салютует им ручкой, они лениво задевают ее: «Куда торопишься, Нэлли?» — «Ну разве ты не видишь, куда торопится Нэлли?» — «Ах, вот куда торопится Нэлли!» — и все посматривают в сторону парадного, где стоит, жуя сигарету, Капочка.

Мальчишек она не боится, но под взглядом Капочки ее походка напрягается и чужим, неуправляемым становится лицо — стягиваются будто замороженные губы, тяжелеют веки — не поднять. Третий вечер она ждет, что он заговорит с нею, а он только смотрит и посапывает сигаретой. Она старается убедить себя, что ничего в нем нет интересного — низкорослый, коренастый, одет мешковато, на локте болтается порядочных размеров сумка с надписью «Аэрофлот» и голубыми крыльями — для пижонства! Лицо как лицо, нос картошкой, усики над губой, под глазами припухлости, а когда он всунулся в окошко на почте, видно было, что у глаз прорезались морщинки — «смешинки», так их называет мама, когда смотрится в зеркало и разглаживает морщинки у глаз.

Проходя мимо него, Настя все же поднимает пудовые веки и

встречает пристальный взгляд и загадочную улыбочку. Ноги тоже отяжелели, каждый шаг — усилие, только бы не споткнуться!

— Девушка, — вдруг окликает ои, — неужели вы живете в этом доме?

Сердце уходит куда-то вниз, к желудку.

— Да, — лепечет она и останавливается.

— Такая чудесная девушка — и в таком сером, скучном доме?! Не может быть! Не верю!

Теперь они стоят лицом к лицу, совсем близко. Она могла бы заметить: лицо у него несвежее, даже потертое, с вялой и нечистой кожей, — но она не может рассматривать его беспристрастно, потому что он загадочен, и ей нравится эта загадочность, и хочется стоять вот так и слушать его странные слова, хотя спиной она чувствует взгляды мальчишек от скамейки, и улавливает их настороженное внимание, и ей стыдно, что там Витька, который потом будет делать при домашних разные намеки…

Капочка тоже чувствует любопытное ожидание ребят, многозначительно поглядывает на них и разжигает завязавшийся разговор с девушкой, подбрасывая шутку за шуткой, и в каждой загадка, недоговоренность. Ему нравится эта глупыха, вид у нее совсем ошалелый, кроме своих школьных шкетов, ни с кем, наверно, не водилась, а на рожице написано — невтерпеж попробовать. Надо бы для начала свести ее с Нинкой, пусть обкатает немного. У Нинки здорово получается: «Бабушкины предрассудки в век атома и сверхзвуковой авиации — бред!» Надо сказать Славке, чтоб вызвал Нинку…

Он сам себе не признается в том, что ему важно добиться быстрого успеха, чтобы утвердиться в глазах ребят. На днях, когда они допоздна засиделись на бульваре с гитарой, мама самого младшего из парней, Толика, налетела как ведьма и обрушилась не на сына, а на Капочку: «Обалдуй великовозрастный, сам умом не вышел, так хоть ребят не сбивай с панталыку! Тебе что, пей да гуляй, папаша прокормит, а у Толика переэкзаменовка!» Он кое-как укротил ее, даже обещал проверить Толика по-немецкому (ох!), но, придя домой, загрустил. Обалдуй великовозрастный? Папаша прокормит?.. Как-то незаметно пролетели годы — и вот уже двадцать семь. В школе считался способным, на всех вечерах, в школьных кружках — активист! Вокруг него собирались и в школе, и на бульваре: Капочка, спой, Капочка, расскажи. Ни у кого не было такого запаса шуток, анекдотов и песенок. Капочка — симпатяга, Капочка — душа компании. Даже директор школы, вызывая за провинность, не мог удержаться от улыбки: экий ты, Капочка, лоботряс! А уж девчонки сами на шею

вешались, еще в школе началось… После окончания школы загуляли на свободе как взрослые. Но вскоре друзья начали отсеиваться — одни пошли зарабатывать трудовой стаж, другие засели готовиться к экзаменам в институты. Сдавали, поступали. Капочка провалился. Мать плакала, отец пугал — возьмут в армию, там узнаешь дисциплинку! — но и сам пугался. С детства, после смерти братишки, Капочка у них единственный свет в окошке. Поворчав и повздыхав, отец устроил его к себе на завод и в вечерний институт. Там экзамены полегче, под неусыпным оком отца и матери подготовился и сдал. Получив справку, поработал учеником слесаря, потом проспал раз, проспал два и три, прогулял… Уволили. В зимнюю сессию провалил два экзамена… Клятвенно обещал родителям «подтянуть хвосты», но никак не мог усидеть над учебниками, загулял и убедил отца, что техника не его призвание, осенью будет поступать на истфак. Подал документы, провалился по истории и пошел в армию. В армии узнал кое-какие оптические приборы, решил поступать в оптический. Завел роман с дочкой командира, даже жениться хотел, а уж поблажек получал немало, да и вообще в полку его все знали и любили — Капочка, расскажи, Капочка, спой… Отслужив, забыл командирскую дочку и уехал домой, кое-как сдал экзамены, демобилизованных принимали и с тройками. Но учебу в оптическом не осилил — сплошная математика, сложнейшие предметы, черчение… Пришлось опять вкалывать на заводе, затем он был продавцом в хозмагазине, грузчиком на книжном складе, разносчиком телеграмм — и все с перерывами и не подолгу. А компании на бульваре сменялись, он переходил из одной в другую — с теми же песенками и байками… И вот — великовозрастный, да еще и обалдуй?! Ну чья-то мамаша — полбеды! А если и у ребят, что теперь слушают его раскрыв рты, вдруг заколеблется его непререкаемый авторитет?.. Вдруг и девчонки, присмотревшись, отвернутся и захихикают — подумаешь, старик, а туда же!..

Юмор и загадочность — его оружие.

— Как вас зовут, такую прелесть? Нет, нет, не говорите, я отгадаю сам! Ирина… Нина… нет-нет!.. Стелла?.. Женя?.. Нэлли! Вот имя, которое вам к лицу! Нэлли! Угадал?

Девчонка тает на глазах. А он уже хвастается, что у него исключительный набор пластинок и магнитофонных лент с самыми последними новинками и как раз сегодня родители отбыли на свой садовый участок, а он отвертелся, соберется небольшая компания послушать музыку и потанцевать, если бы Нэлли согласилась прийти на часок…

— Не знаю… Я…

— Мама не пустит?

Она мнется. Пойти к парню вот так, с улицы? Даже фамилию не знает — Капочка и Капочка. Кто он? С кем он живет? А может, его квартира — то, что мальчишки называют «хазой»? Что за компания соберется?.. И что сказать маме? Конечно, ускользнуть можно. Всего-то на часок! Ну на два… Послушать музыку, новые записи — что тут такого?..

— Нэлли, вы работник связи, у вас не может не быть телефона! Сейчас угадаю номер. Терпение!.. Так, номер кончается семеркой… угадал?

Телефон общего пользования висит в коридоре, сколько себя помнит Настя. И номер телефона, конечно, он знает от Витьки. Но игра в угадывание забавна, и сам Капочка такой веселый и занятный.. Она смеется, пока он угадывает, ошибаясь и исправляя ошибку, цифру за цифрой. И вот все шесть цифр выстроились в нужном порядке.

— Угадываю дальше: у вас есть подруга без телефона и живет она не близко. Вот только имя не могу отгадать на таком расстоянии. Есть такая?

— Есть. На Васильевском. Лилька.

— Превосходно! Значит, так: вам позвонили на работу, что Лилька заболела и очень просит приехать, потому что она одна. Я буду здесь. Как штык.

— Ой, нет. Увидят.

— Тогда за тем углом. Только без обмана! Я нервный, я не переживу.

Она бежит вверх по лестнице, он слушает торопливое цоканье ее подковок. И медленно, подволакивая ноги, направляется к скамейке. Любопытство ребят дошло до предела.

— Славка, высвистывай Нинку, — говорит он старшему из парней. — И давай ко мне. Музыка, пластинки, ясно? Потом смоетесь.

— Склеил? — как можно равнодушней спрашивает Витька.

— А как же.

Витька краснеет пятнами, даже уши запылали.

Капочка выворачивает карманы, извлекает из них два смятых рубля и немного мелочи.

— А ну, мужики, скиньтесь на закусь.

Ребята не очень охотно шарят по карманам, некоторые медлят, надеясь на других.

— Значит, купишь портвейну. Фауст. И чего-ни-будь похрустеть — печенье или пряники, — Он подсчитывает деньги. — Маловато. Кто жмотничает? Витька, ты?

Витька молчит, руки в карманах, кровь отхлынула от его

лица, теперь оно бледно и напряжено.

— Да ты что, заинтересован?

— Еще чего! — Витька искренен, никаких видов на эту девчонку у него нет, но с детства они росли в одной квартире, ссорились, дрались, одалживали один у другого мелочь и выгораживали друг друга перед родителями. — Дуреха она еще, — выговаривает он с кривой улыбкой.

— Ну мне с нею не в шахматы играть.

Кто-то захохотал, кто-то подхватил, стараясь говорить цинично и многоопытно:

— Конечно, интеллект не просвечивает, но тут и тут все как надо.

— Серого вещества не хватает, но это даже лучше!

— Почему не хватает? Просто оно очень серое.

— Зато ножки!..

Витька все-таки выгреб из кармана все, что там было. И говорит, как бы по-мужски предупреждая:

— Имей в виду, она с норовом. Обидишь, не оберешься скандалов.

— Я никогда не обижаю девочек, — строго обрывает Капочка, — что я, кретин? Надо уметь.

Пареньки разом смолкли, они слушают жадно, похихикивая и поддакивая, а Капочка посвящает их в свою систему:

— Бросать девчонку, когда она надоела, — фу, банально! Она должна бросить тебя сама. Ты опаздываешь, а потом — тысячи предлогов и извинений! Не приходишь на свидание — сто тысяч предлогов и извинений! Ты нежен, она чувствует себя прынцессой и решает проучить тебя за прогулы и опоздания — понятно? Она нарочно опаздывает сама, она задирает носик и пробует сердиться… «Ах так?» Ты обижен, тебя не поняли, уж не нашла ли она другого! Да, ты видел ее на улице с каким-то конопатым типом. «Ну что же, я не навязываюсь!» — и ты удаляешься с гордо поднятой головой. А она чувствует себя виноватой. Пытается успокоить твою ревность, объясниться… «Нет, я не позволю играть мною!» — а дальше дело техники: пропасть из виду и не попадаться навстречу.

Парнишки завистливо восхищаются… и разом смолкают: из парадного выпорхнула Настя. Успела переодеться и подчернить уголки глаз. Украдкой поглядела на компанию у скамейки и пошла вдоль домов в своих новых туфельках подрагивающей походочкой. Капочка хмыкнул и не спеша пошел в ту же сторону по бульвару.

Витька судорожно дернулся вслед за Настей — и остался на месте.

Не глядя друг на друга, стоят кучкой пареньки и недобро следят за тем, как идет Настя, как идет Капочка… вот свернула за угол Настя… вот Капочка пересек проезжую часть улицы и скрылся за углом…

— Ну, что будем делать?

Без Капочки им скучно, он у них заводила.

— Может, в киношку?

— А на какие шиши? — огрызается Витька. — Ведь забрал все… сволочь! — И в этом неожиданно выскочившем слове прорывается наружу все, что он старательно подавлял, лишь бы не показаться салагой и дурачком, недостойным мужской компании.

Тук-тук, шарк… Тук-тук, шарк… Костыли постукивают бойко, а нога подтягивается тяжело, нога опухает к вечеру — погрузнела ноша. Марья Никитична переносит чайники с газовой плиты на кухонный стол — сперва заварочный, потом большой, с кипятком. Обычно кто-нибудь из соседей подсобит, но сегодня все разбежались кто куда. Марья Никитична неторопливо пьет чай, крепкий, умело заваренный, и заставляет себя думать только о том, как хорош чай со сдобными сухариками, которые она купила по дороге с работы, и как приятно будет после чая устроиться в кресле и дочитать «Ожерелье королевы» — вчера до двух ночи читала, еле оторвалась!

Она давно научилась отстраняться от всего непоправимого и ограничивать жизнь возможным, особенно с тех пор, как не стало маминых все успевающих рук, с тех пор, как нет рядом ее теплого плеча в шершавенькой кофте, щекочущей щеку. Теперь помогают строгие запреты: не думать! не переживать! Кроме главного, запрещенного навсегда, бывает и сегодняшнее, вот как услышанный ненароком разговор в коридоре домовой конторы. Уходя домой, она остановилась, повиснув на костылях, чтобы высвободить руку и открыть дверь, и услышала за дверью визгливый голос той женщины: «Проси не проси, разве эта безногая злючка посочувствует!» Выронила костыль, чуть сама не шлепнулась. Поднять костыль было некому, кряхтя, дотянулась до него, в голове зашумело, загудело, будто поезд прошел… «Безногая злючка!» Когда она, передохнув, открыла дверь, той

женщины уже не было. Ни отругать, ни втолковать дурьей башке, что бухгалтер не властен отдать ей освободившуюся в квартире комнату. «Безногая злючка»…

Запрещай не запрещай, он звучит в ушах, этот визгливый голос, заполняет кухню, бьет в виски. «Безногая злючка!» А может, я действительно говорила раздраженно, не выслушала, не посоветовала?.. Так ведь и она с криком влетела, саму себя только и слушала, свою беду только и видела, что ей докажешь? «Не уговаривайте, — закричала, — небось сами расселись одна на двадцати метрах, вам что!» Значит, ей это кажется счастьем — одна на двадцати метрах?! А что я чуть не бросилась в ту мокрую черную яму на мамин гроб — не жить мне без нее, куда я одна?!! Не поймет. У нее две ноги, две руки и еще такой ядовитый язык…

Хватит. Ко всем чертям! Не думать!

Она моет чашку и быстро, будто ее подгоняют, топает в комнату. На свои двадцать квадратных метров. Читать, скорее читать!

Под лампой кресло — мамино «персональное», она еще до войны, бывало, по вечерам вытягивалась в нем, положив на стул занемевшие ноги, и читала. Или болтала с папой, если папа был дома, тогда они смеялись, играли в щелчки, как ребята, а то начинали петь в два голоса и звали: «Муся, уроки кончила? Иди подтягивай!» Втроем еще лучше получалось — женские голоса, высокий и пониже, как бы аккомпанировали, а папа басил — прямо стены дрожали от его баса, он даже в заводском клубе пел со сцены «Прощай, радость…» и «Вдоль по Питерской…». И сам посмеивался: «Без пяти минут Шаляпин!» Когда в 42-м уцелевшие ополченцы зашли рассказать о бое под Гостелицами, где его убило, они вспоминали: «А как он пел! В нашу землянку полным-полно набивалось народу — Шарымов поет!»

Читать! Скорее читать!

Она вытягивается в кресле, пристраивает ногу на стул. Ох, какое блаженство расправить спину и плечи, дать отдых ноге! И раскрыть «Ожерелье королевы». Сто сорок страниц осталось. На вечер хватит.

Звонок.

— Ну и пусть. Ко мне некому, а других дома нет. Позвонят и уйдут.

Звонят все надсадней. Господи, кому там приспичило?!

Взять костыли. Приладиться и рывком подняться, отталкиваясь руками от подлокотников, и сразу перенести тяжесть на ногу. Перехватить костыли. И по коридору — в переднюю.

Кто там?

За дверью — детские голоса. Шушукаются, подталкивают: «Скажи ты! Ну говори же! А ты что, немая?» Потом девчоночий голос произносит громко и отчетливо:

— Простите, пожалуйста, нам к Шарымовой Эм Эн.

Она открывает дверь. Их там целая стайка, все — в пионерских галстуках, девчонки — с бантами в косичках, а мальчишки на диво причесанные.

— Ну я Шарымова Эм Эн, Чего вам?

Они сбились в кучку, а она стоит перед ними в дверном проеме, как в витрине. И они с испугом пялят на нее глаза, исподтишка косятся на костыли и на пустоту справа, где должна быть вторая нога.

— Насмотрелись? Ну зачем пришли?

Вся стайка колыхнулась, вытолкнув вперед девочку с рыжеватой челкой над строгими не по возрасту глазами.

— Мы красные следопыты, — отчеканила девочка, — мы устраиваем в школе музей. Изучаем блокаду. Героев блокады.

— Ге-ро-ев?..

— Героев! — подтверждает девочка. — Нам дали ваш адрес. Что вы ранены бомбой.

— Снарядом, — Марья Никитична еще колеблется, но и отнекиваться незачем. — Что ж, пройдемте, раз пришли.

В комнате она берет себе один из двух стульев — легче вставать-садиться, — но как рассадить всю стайку?

— Рассядемся, — твердым голоском говорит девочка с челкой и командует кому куда. Маленькая начальница. Трех девочек — в кресло, двух — к столу на второй стул, мальчиков — на подоконник. Один мальчишка не подчиняется и преспокойно устраивается на полу.

— Так что вы хотите узнать?

— Все! — говорит девочка с челкой, и остальные согласно кивают. — Если можете, расскажите с самого начала. Ну еще с до войны… вы кем работали?

— Ох-хо-хо! — Марья Никитична впервые улыбается. — В твоей должности я работала. Школьницей. Ты в каком классе?

— В шестом.

— Ну я постарше была. Десятый кончала. Дай-ка ту карточку с полки.

На фотографии — десятиклассница Муся Шарымова. Женька упросил, чтобы снялась, для него и улыбка — победоносная. Вот какая она была перед войной — и совсем-совсем не подозревала, что ее ждет. Ребята смотрят на карточку, потом на нее и снова — на карточку. Смущены.

— А как вы… когда вы воевать начали?

Это спрашивает мальчик, усевшийся на полу, — скрестив ноги, обхватил коленки руками, даже не поднялся смотреть фотографию. Ему та школьница неинтересна, ему — про войну.

— Так не была же я в армии! И воевать не думала, война сама пришла сюда. На нашу улицу. Что такое КБО, слыхали? Комсомольские бытовые отряды. Вот в таком бытовом отряде я и воевала. Зимой, когда голод был. А до того в пожарном звене была, в нашем же доме. На крыше стояли, зажигалки тушили.

Мальчишка заинтересовался зажигалками — сколько их упало на дом, как тушили. Что за горючая смесь растекалась из них, он объяснил сам, с химической формулой. А вот как тушили эту пылающую, растекающуюся по крыше смесь? Он был разочарован, что она сама не тушила, даже когда загорелось на чердаке — стояла здесь же в квартире, ванна была налита водой до краев (так полагалось!), и она черпала из нее ведро за ведром, а другие по цепи передавали на крышу. Черпать воду — героизма не много.

— У нас из-за тушения зажигалок даже ссорились. Всем хотелось потушить лично, вот и бросались кто скорей. Одна бабуся две потушила, а третью отфутболила вниз, на улицу, таким ударом, что чуть не полетела вслед за ней.

Она сама замечает свою необычную словоохотливость и даже упоение тем, что вот пришли к ней и слушают, и з у ч а ю т!.. Но, может, им нужно другое, более геройское, скажут: «Спасибо, товарищ Шарымова» — и уйдут, потому что им неинтересно?.. Торопясь, она припоминает разные смешные случаи — ребята же! А смешного, забавного, оказывается, случалось немало, в домовой группе самозащиты собрались подростки и домохозяйки, подростки искали шпионов и ракетчиков: если увидят кого с бородой или в необычной шляпе, сразу берут на подозрение; одного чудака с брелоками на цепочке схватили и отвели в милицию, выяснилось — поэт. Ну а домохозяйки каждая со своим самолюбием, со своими понятиями, две-три соберутся — быть спору.

Девочки, пристроившиеся возле стола, старательно все записывают. А девочка с челкой следит, не пропускают ли нужное, и задает вопросы — видно, за главную у них. Она же и повернула беседу на серьезный лад:

— Расскажите, пожалуйста, про бытовой отряд. Если можете.

Вежливая девочка, И строгая. Повернула правильно — за делом пришли, не за байками. А вот как передать им странное состояние, когда уж и голода не чувствуешь, но все становится зыбким вокруг и сама какая-то зыбкая, то ли жива, то ли уже не жива, и движения замедленные — так по телевидению повторяют

прыжок рекордсмена или удачный гол. Такими вот замедленными движениями ходишь из дома в дом, из квартиры в квартиру — где есть живые, — и находишь людей, которые еще слабей, чем ты, и делаешь вроде бы и невозможное: идешь получать для них по карточкам хлеб, воду носишь — ведро не втащить наверх, так хоть чайник или кастрюльку… дров нету, расколешь, что скажут, — стул или книжную полку, затопишь и сама присядешь у буржуйки, будто ждешь, чтоб разгорелось, а попросту сил нет подняться…

Разве такое передашь? Начала рассказывать скупо, сухими словами, так в отчетах писала: обошли стольких-то, сделали то-то… И вдруг в паузе услышала тишину. И увидела напрягшиеся детские лица с расширенными глазами. И для них, уже не сдерживая ни горечи, ни восторга, продолжала вспоминать о самых трудных случаях, о своих подругах по отряду — о Люське-веселой, которая пела своим подопечным, чтоб подбодрить их; о десятикласснице Сонечке Буровой, ушедшей потом в армию и убитой под Берлином; о Верочке Жуковой, которая спасла и усыновила восемь ребятишек… На миг запнувшись, рассказала и самое страшное: сообщили ей, что из одной квартиры давно никто не выходит, а живет семья, и она пошла в ту квартиру. Дверь не заперта, везде мороз и пустота, только в дальней комнате на кровати — один живой, а кругом него мертвецы. И по карточкам три дня хлеб не взят. Сходила за хлебом, раскололa дверцу шкафа, затопила печку, поставила чайник, а мертвецов одного за другим вынесла прочь.

— Сами?! — выдохнула девочка с челкой, и ничего в ней не осталось от маленькой начальницы — замирающий от ужаса ребятенок.

— Сама, конечно.

Тишина. И вдруг:

— Вас за это кормили?

Вопрос задает пухлая девчушка, сидящая в глубине кресла за спинами подруг.

— То есть как? Кто кормил?

Марья Никитична цепенеет — не в вопросе дело, а в том, что она улавливает несомненную уверенность девчушки, что не даром же все это делали, была же выгода. Остальные ребята навострились, наверно для героизма ждут ответа: «Нет, не кормили».

— Здорово кормили, до отказу, — сердито говорит она и неожиданно для самой себя прямо-таки кричит пухлой девчушке: — А ну встань! Тебе говорю, встань!

— Зачем? — пугается девчушка, но подруги раздвинулись,

выпуская ее из глубины кресла, и она встает, виноватая, как перед директором школы.

— Открой буфет. Вынь из полиэтилена хлеб. Тут полкило, пятьсот граммов. Разрежь на четыре части.

Марья Никитична говорит властно, как, бывало, говорила в отряде, когда подруги выбрали ее командиром, как, бывало, говорила в чужих квартирах, силой возвращая людей к жизни: «А ну нос выше, не умираете вы, а распустились! Кому ваша смерть нужна? Гитлеру! Выжить надо — Гитлеру назло, поняли?!»

Девчушка примеривается ножом так и этак, губа у нее дрожит.

— Ох и дура! — Мальчишка, сидевший на полу, одним движением вскакивает и берет нож. — Отойди.

Все следят за тем, как он ловко делит хлеб на четыре части.

— Где горбушка — меньше, — придирчиво отмечает Марья Никитична, — добавь от того ломтя довесочек. А крошки чего бросил? И крошки дели.

Она поднимает на ладони один ломоть, бережно собирает на него крошки.

— Вот они — «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам». Только хлеб не такой был, а влажный. И колючий, со жмыхом и черт те с чем. Вот наша норма на сутки. А потом нам рабочие карточки дали, кто не имел. Вот столько. — Она положила поверх первого второй ломоть и крошки. — «Ешь — не хочу!» — так, что ли?! Да еще проходивши до ночи по этажам… потаскавши на санках больных детей… воду из проруби, это к нам-то — с Невы!.. Нюра Астафьева тащила санки да и сама упала. И не встала… Когда нашли — холодная уже. Иной раз чужой хлеб несешь, прямо голова кружится, до того съесть его хочется.

Видимо, она чересчур разволновалась, потому что ребята шипят на пухлую девчушку: «Дура и есть! Всегда с глупыми вопросами!»

— Ну чего вы на нее напали? — справившись с собой, заступается она за девчушку. — Дайте-ка мешок. — И складывает в мешок ломти хлеба, по блокадной привычке собрав и отправив в рот крошки. Неповторимый, никогда не надоедающий вкус и запах хлеба успокаивают ее.

— Мы вам за новым хлебом сбегаем, — предлагает девочка с челкой, — а то разрезали, раскрошили…

— А этот куда? Выбросить?

— А она вообще хлеба не ест, только булку. С изюмом.

Это говорит мальчишка, резавший хлеб. Он снова сидит на полу, скрестив ноги. От чинной прически ничего не осталось,

волосы взъерошены, а на макушке стоят торчком, и Марье Никитичне он очень нравится таким, без показной чинности. А парень задает вопрос, который, вероятно, томил его с самого начала:

— Вас тогда и ранило? В бытовом отряде?..

Она понимает, чего он ждет. Подвига. Вот как у Фимы Боярской — тащила санки с осиротевшим, еле живым ребенком, начался обстрел, от близкого разрыва прикрыла ребенка собой, осколок впился в плечо, к счастью — осталась жива. А с нею было проще и нелепей, и не в ту страшную зиму, а в самом конце сорок третьего, уже и немцев разгромили под Сталинградом, и конца блокады ждали вот-вот… Она тогда работала на заводе, в отцовском цехе. Собралась домой. Немец всегда обстреливал во время смен, знал, подлец, когда и что! Но в тот день особой стрельбы не было, где-то поодаль грохнуло да просвистел снаряд, — ну, если слышишь свист, значит — мимо. Тоня сказала: «Пристреливается, гад, давай обождем!» Она ответила: «Еще чего!» — и побежала на остановку, как раз трамвай подходил… Странно, разрыва она не слышала, только встало перед нею дымно-желтое облако и волной толкнуло в грудь, ей казалось, что она не упала, а привычно бросилась на мостовую, при этом ушибла обо что-то колено…

Сколько она переживала заново тот миг — и наяву и во сне, — всегда представляла себе одно и то же, очень ярко представляла, будто так и было. Тоня говорит: «Давай обождем!» — она соглашается: «Давай!» — они стоят под каменными сводами проходной, а тот снаряд разрывается на остановке — слышен грохот, и тряхнуло пол. Если бы!.. Если бы она послушалась Тони… Если бы не побежала к трамваю…

— Ранило обыкновенно, — грубовато отвечает она, — шла с завода, бахнуло — и нету ноги. Могло и убить. Он тогда по трамвайным остановкам пристрелялся, их переносили то назад, то вперед, а все равно калечило многих. Как смена, так он и шпарит.

Ребята молчат. Трудно, наверно, воспринять, что так было — на улице, на трамвайной остановке…

— А насчет героизма — какие ж у меня подвиги? Вам бы найти Героев Советского Союза, орденоносцев…

Ребята зашевелились, поглядывая друг на друга и на девочку с челкой, и та встала, как на уроке, когда вызывают, и говорит назидательно, кому-то, видимо, бессознательно подражая:

— Нет, почему же. Нас специально интересуют самые рядовые, мирные жители. Которые пострадали в блокаду.

И тут как бы взметнулась с краешка стула другая девочка, все

время сидела неподвижно, не вздохнула, не охнула, одни застывшие глазища на побледневшем детском личике, — а тут взметнулась маленьким пылающим огоньком, руки сцепила и прижала к груди, глазища сверкают, а слова так и рвутся наружу:

— А по-моему, вы и есть герой! По-моему, вот такой героизм… Когда день за днем — девятьсот дней!.. Даже только прожить так! — а вы других спасали!.. Воду из Невы таскать!.. Не себе, а незнакомым людям, теперь скажут — чужим!.. Это, по-моему… Это!.. — И она вдруг, не докончив, садится на место, низко опустив голову.

— Люда совершенно права, — говорит мальчишка, сидящий на полу. — В общем, спасибо вам, от всех нас спасибо!

Ребята встают как по сигналу. Потом они стайкой идут по коридору, Марья Никитична бойко топает вместе с ними, уже не стесняясь увечья, даже подшучивает над собой: «Рупь с полтиной!» И тут снова вылезает с вопросом та, пухлая девчушка:

— А вам протез не дали? Должны дать. Бесплатно!

— Есть у меня протез, — неохотно отвечает Марья Никитична, — в шкафу лежит. Жарко летом. И засупониваться одной трудно.

— А вы совсем одна живете? — не унимается пухлая девочка, но сразу же взвизгивает и стушевывается, наверно, поддали ей в бок или дернули за косицу.

В передней они мнутся, не зная, как прощаться. Она сама, привалившись на костыль, протягивает руку всем по очереди. Ей жаль, что они уходят — будто распахнулось окошко, обдало весенним ветерком и снова — наглухо… И вдруг ударяет в душу мысль, что и у нее мог бы быть такой сын, как этот взъерошенный мальчишка, или еще лучше — дочка, вот такая, как этот огонек с глазищами. Только они были бы уже постарше, если б она вышла замуж за Женьку, когда он вернулся с фронта живой и упрашивал ее. И мама упрашивала: «Не упрямься! Ведь любит он тебя». Своя гордая правота кажется сейчас глупой: ну, школьниками бегали вместе лыжные кроссы, ну любили бродить по городу, а тут не бегали бы и не бродили… Ну со временем даже — можно допустить — стал бы он тяготиться женой-инвалидом… а может, и не стал бы? Но даже если бы стал, если б ушел… остались бы сын или дочка, а то и двое…

— Товарищ Шарымова! — Это девочка с челкой вступила в свои права. — Если мы вас пригласим прийти на сбор… сможете?

— А почему же не смогу? Приду.

Она выпускает их и стоит прислушиваясь. Тихо-тихо спускаются ребята по лестнице, не озорничают, не болтают. Вот обогнули одну площадку, дробно простучали еще два марша,

вышли на нижнюю площадку… уже и шаги еле слышны… А она все стоит у двери.

Стандартная люстра с тремя рожками вразлет ровно освещает комнату и выявляет все пятна на старых обоях, все трещинки на потолке. Русоголовый молодой человек в клетчатой бобочке навыпуск вдохновенно обмеряет стены, отец записывает цифры, а мать стоит, сложив руки на животе, и с удовольствием наблюдает за их действиями, хотя прекрасно знает, что обмеры ни к чему, нужно десять кусков семиметровых обоев, а если подгонять узоры — одиннадцать, слава богу, трижды ремонтировала без их помощи. Но вот птенец подрос и собирается вить гнездо, надо ж ему проявлять хозяйственность!

Она давно ждет, когда же Василек заговорит о женитьбе, ведь третий год дружат, вместе учатся, оба без пяти минут инженеры. Еще в прошлом году она намекнула, ставя вишневую настойку: «Может, к свадьбе?» Но Василек рассудительно сказал, что «сперва надо встать на ноги», а сам вспыхнул, просветлел. Любит же! На ее характер — тянуть не стала бы, всем поначалу трудно приходится, на то и молодость, а у Василька и Лили какие трудности? Хозяйство — на то есть мама, внучата появятся — опять же есть мама, теперь это редкость, чтоб мама не работала и соглашалась взять на себя заботы молодых! И отец готов помочь, он больше всего боится, что у Василька с Лилей разладится, а потом сын приведет какую-нибудь «фрю»…Но рассудительность сына ему нравится, он уж забыл, чертушка, как они сами начинали — ни кола ни двора, год в общежитии жили врозь, целовались по углам!.. А Василек и сегодня не сказал прямо, что решил жениться, а смущенно заговорил о том, что пора отремонтировать его комнату. Отец сразу засуетился, потащил обмерять стены. А ей, матери, хотелось определенности, она сказала, что отдаст свой зеркальный шкаф, «мне любоваться на себя срок вышел, а молодой — в самый раз!». Василек поцеловал мать в висок, шепнул «спасибо» — и все. Ну ладно подождем.

— Ты сегодня дома?

— Нет, к восьми уйду.

— Свидание?

— Вроде того, — Василек улыбается во весь рот, — с Лилей условились.

Отец и мать перемигиваются за его спиной.

— Может, сюда придете? Я бы тогда торт-скороспелку испекла, Лиля любит.

— А я не люблю? Или для меня не стоит возиться? — притворно ворчит отец.

Без двадцати восемь Василек заходит к родителям поглядеться в зеркало — в нейлоновой рубашке и наимоднейшем галстуке.

— Так заводить торт?

— Заводи, мамулька, заводи!

Мать и отец провожают его до двери, а когда дверь захлопывается за ним, они вдруг обнимаются, в обнимку идут в комнату и там тоже стоят не разнимая рук, и столько у них радости, и тревоги, и набежавших воспоминаний, и сожалений о чем-то, что промелькнуло слишком быстро…

Василек идет по улице не торопясь, потому что вышел из дому загодя. Хорошо бы купить цветов, в таких случаях полагается, и надо спросить Лилю, какого цвета обои ей хочется, а уж потом бегать и искать подходящие. Лиле очень понравились у Семиных занавеси на окне, в крупную клетку, кольца нанизаны на тонкую трубку, — ну, трубку он достанет, а материю на занавески лучше покупать вместе. Для трубки надо сделать маленькие кронштейны, кольца продаются пластмассовые, подберем под цвет занавески. Мама дает зеркальный шкаф, это здорово! А что там хранить, в таком объемистом шкафу? Ну его два костюма и две нейлоновые рубашки на белых распялках. А у Лили что есть? Она почти всегда ходит в брючках или в короткой черной юбчонке и свитере, иногда черном, иногда светло-зеленом. И еще у нее есть зеленое шерстяное платье… Да, мало у нее нарядов. Оно и хорошо — вместе наживем. Две зарплаты! И старики помогут, они Лилю любят.

Он спускается в метро, в переходах бывают цветочницы. В этот вечерний час он находит там только двух бабок — одна продает остатки привядших гвоздик, другая, видимо, только что приехала из-за города, в ведре у нее сияет охапка лиловых и желтых плетей. Он бежит мимо, может, дальше найдется что-нибудь получше, но вдруг вспоминает…

Прошлым летом он учил Лилю ездить на велосипеде, сперва двумя руками держал седло и бежал рядом, покрикивая: «Свободней! Не гляди на руль, гляди вперед! Чего вцепилась, держи легче!» — и Лиля покорно подчинялась, а потом дунула вперед так, что он уже не мог догнать ее, следил издали, как здорово у нее получается, но как раз в это время она полетела в канаву. Когда он прибежал, она была уже на ногах и как ни в чем не бывало велела ему сбегать за вторым велосипедом и догонять

ее: «Покатаемся как следует!» Когда он ее догнал, у нее на руке подсыхала основательная ссадина от кисти до локтя, видимо падала снова. «Больно?» — «Пустяки!» С непривычки у нее должны были болеть и ноги и спина, но она упрямо крутила педали. Они выехали на Выборгское шоссе и покатили рядом, отдыхая на гладком асфальте. Лиля была очень довольна, что «одолела» велосипед, она смеясь спросила, можно ли поцеловаться, когда едешь рядом, и они попробовали, чуть не полетели, но поцеловались. Потом бросили велосипеды на обочине и отдыхали на поляне, сплошь заросшей лиловым иван-чаем и желтыми цветами, которые Лиля назвала полевым львиным зевом, показывая, как они смешно разевают крошечные зевы, и они снова целовались, она была разгоряченная и необычно шалая, он чуть не потерял голову и она тоже, но в это время с неистовым жужжанием мимо них пронеслась по шоссе низкая открытая машина, чуть не перевернувшись на повороте, а вдали уже возникло новое жужжание… Он вспомнил, что сегодня автомобильные гонки, они вышли на обочину и стали наблюдать за тем, как проносятся машины. А потом пора было ехать обратно, чтобы не прозевать обед. Лиля послала его нарвать иван-чая и львиного зева для мамы, а сама с ним не пошла, стояла у велосипедов и все ждала, не пронесется ли еще какая-нибудь машина. «А женщины бывают гонщиками? — спросила она, привязывая букет к багажнику. — Я бы пошла. Такая скорость! А ты хотел бы?» Мчаться вот так и еще, чего доброго, кувырнуться в канаву? Нет, этого он не хотел, в тот день он захотел, чтобы Лиля стала его женой, про себя твердо решил — женюсь! Но сказал ей об этом в несколько неопределенной форме, дескать, лучше всего жениться незадолго да распределения, но она крикнула: «Догоняй, жених!» — и помчалась вперед уже совсем уверенно, будто век сидела на велосипеде, а он ехал сзади и смотрел, как мило обрамляют ее напряженную спину мотающиеся на ветру лиловые и желтые плети цветов…

Схватив у бабки все, что было в ведре, и заплатив ей больше, чем следует (за полевые-то!), он уже бегом взлетает по эскалатору и мчится на набережную, где ждет Лиля. Вспомнит она тот день?!

Набережная пуста. Две-три парочки маячат в отдалении, а Лили нет. Он чувствует себя глупо во всем параде, с чересчур большой охапкой цветов, кладет цветы на парапет и становится подальше от них — он сам по себе и они сами по себе. Откуда ни возьмись появляется Лиля, соскакивает с велосипеда и шлепает его по затылку:

— Ты что опаздываешь? Я уже два раза проехала от моста до моста.

Он раздосадован тем, что она прикатила на велосипеде, ни обнять, ни прогуляться, а если идти домой, куда его денешь? Тащить на себе по лестнице?.. Совсем это некстати!

Она оглядывает его с улыбкой:

— Ты чего таким франтом?

— Почему франтом? Обычно.

Она стоит за велосипедом, как за оградой, и дарить ей цветы кажется нелепым, но он все же подтягивает поближе всю охапку:

— Вот, тебе.

— Ты что, за городом был? И куда ж я их дену?

— На багажник. Помнишь?

Качнула головой. Неужели не помнит?..

— Ну на Выборгском шоссе. Еще гонки были.

— А-а, тогда… А ты знаешь, как я тогда расшиблась? Приехала домой, а у меня, кроме руки, весь бок в синяках.

Разговор не получается.

— Мама звала тебя к нам. Она какой-то торт затеяла, твой любимый.

— Ох, как соблазнительно! Но, понимаешь, я обещала девчонкам поехать с ними в Ольгино, у Татки сегодня день рождения.

— У какой еще Татки?

Он знает ее подружек, среди них нет никакой Татки. Оказывается, чья-то двоюродная сестра.

— Обойдется без тебя. Мне надо поговорить с тобой, Лиля. — И на ее нетерпеливое движение: — Серьезно поговорить!

— Ну?

— Да ты что такая… ершистая?

— Ну что ты, Василек. Совсем я не ершистая и очень рада видеть тебя, но сегодня я обещала…

— Троюродной тетке? И ты хочешь, чтобы я поверил?

Она оторопело смотрит на него — и начинает хохотать:

— Василек, ты говоришь тоном старого, ревнивого мужа!

Она хорошеет, когда хохочет, ему очень хочется поцеловать ее (если бы не этот дурацкий велосипед!), он верит, что она рада видеть его, ну конечно же, рада, они не виделись уже три недели, потому что она со своей группой ездила на какие-то Камни, пока он сдавал военное дело, он собирался поехать к ней, но его группа праздновала конец экзаменов, а потом уже не имело смысла, и он не знал, где там искать их… Ну теперь они не будут ездить врозь, точка!

— Почему старого? Может, молодого мужа?

Слово сказано, сейчас она должна спросить, что он имеет в виду… Но она, сузив глаза до щелочек, смотрит куда-то на

Петропавловку или еще дальше, а потом говорит:

— Жаль, что ты без велосипеда, мы бы немного покатались и ты проводил бы меня к девчонкам.

— Никаких девчонок! — Он решает идти напролом. — Мы поженимся, как только в моей комнате закончат ремонт, и будем всегда вместе, даже к девчонкам — вместе.

Он сам доволен, как это у него получилось.

— Васи-ле-ек! — нараспев говорит она и звякает велосипедным звонком. — Ты чудный парень, ты деловой парень, но ведь сначала надо узнать, хочу ли я выходить замуж. — И посмеиваясь: — Даже в отремонтированную комнату.

— Но как же, Лиля…

— Что как же?..

Любят же девчонки кокетничать и темнить!

— Ну при наших отношениях…

Теперь она низко склонилась над этим звякающим, хриплым звонком, крутит его и говорит быстро-быстро:

— Я знаю, я виновата, я была легкомысленная, и ты мог решить, что это серьезно, но это было детство, просто детство, у всех девчонок кто-то есть, а у меня не было, и мы дружили, ты славный парень, но для того, чтобы замуж… Нет, нет, это невозможно, это ненужно, ничего не выйдет, ты сам поймешь, что не выйдет, потому что… потому что…

— Ну почему не выйдет?

Ему все еще кажется, что она просто крутит, говорит «нет», прежде чем сказать «да», у девчонок это принято, но ведь они встречаются уже два года, и если он был сдержан, так только потому, что надо было кончить последний учебный год, очень ответственный, преддипломный, она ведь тоже постоянно отстраняла его: «Василек, зубри и не мешай!»

— Ну почему? Что ты вообразила?

— Ничего, — говорит она сухо, — понимаешь, дружбы мало, нужно любить, а я… а любви у меня нет. — И точно испугавшись: — Не сердись, Василек, я не хочу обижать тебя, я к тебе очень, очень хорошо отношусь. И давай не вспоминать этот разговор, ладно?

Он стоит оглушенный, приоткрыв рот.

Лиля разворачивает велосипед и прощально касается его локтя:

— Ну извини, Василек. Не обижайся. А мне пора, я уже и так…

По-мальчишески занеся ногу, она вскакивает на велосипед и уносится, вовсю нажимая на педали, будто боясь, что он ее задержит.

Охапка иван-чая и львиного зева лежит на парапете. Он одним пинком сбрасывает в воду всю охапку и тупо смотрит, как цветы качаются на крохотных волнах, торкающихся о гранит.

А Лиля мчится по набережной так, что пешеходы шарахаются и кричат вдогонку не очень-то лестные слова. На велосипеде не запоешь, но само это бешеное вращение колес — как дикарская песня: сказала, сказала, сказала! Нет, она не забывает, что ее жизнь теперь осложняется, Васильку обеспечена работа в Ленинграде, отец позаботится, а ее пошлют неведомо куда, может быть, к черту на рога или к дырявой бочке затычкой, ну и пусть, все равно, лишь бы все по-новому, по-новому, по-но-во-му!..

Ветер свободно влетает в раскрытое настежь окно и как бы цепенеет перед необычной преградой — длинный стол, длинный ящик, суживающийся от изголовья к подножию, и в нем среди белой пены кисеи и неяркой россыпи цветов — успокоившиеся, уложенные на вечный отдых, темные узловатые руки и тоже успокоившееся, заостренное и разглаженное смертью, старое и прекрасное лицо с гордо сомкнутыми губами.

Нет, нет, этого не может быть, ведь уже два года… Но тогда почему же эти двое юношей, склонившихся у гроба, так похожи на моих сыновей?.. Почему даже на таком расстоянии, в странном ракурсе, созданном воображением и догадкой, я так ясно вижу эти дорогие неутомимые руки, это прекрасное лицо с гордыми губами? Лина Прохорова, тетя Лина, чужая по всем законам и документам, самая родная из родных, это все же ты, хорошая наша, и кто бы ни была старая женщина, что лежит вон там, среди белой пены кисеи и неяркой россыпи цветов, — я вижу тебя и рассказываю о тебе, и разматывается в памяти прерывистая лента твоей простой и удивительной жизни.

Русоголовая девчушка из Тверской губернии, я вижу тебя бегущей по размытым проселкам в неблизкую школу, где ты старательно учишься грамоте и счету, вымаливая дома копейки на тетради. У тебя одно богатство — сапоги старшей сестренки, из которых она, на твое счастье, выросла. Как ты их берегла! До морозов, только отойдешь от дома, снимешь, свяжешь за ушки — да на плечо, и бежишь, бежишь по лужам и вязкой глине, пусть мокро и холодно, только бы продержались подольше, других тебе

не купят, в доме голодно и пусто, от зари до темна надрываются на нескончаемой крестьянской работе отец, мать и старшие сестры, но из долгов не вылезти, с середины зимы ссужает им муку главный деревенский богатей, что живет наискосок в большом доме под железной крышей, — безотказно и ласково ссужает, сколько ни попроси, а из урожая надо отдавать вдвойне, и еще мать ходит туда делать перед праздниками уборку, стирать, чистись хлев… А ты бегаешь в школу, тебя хвалит учительница — «обязательно надо учиться и кончить школу, слышишь?» Но беда уже подступает и никак не отвратить ее — растут ноги, хоть плачь, все теснее сапоги, уже немеют в них, а потом всю ночь болят пальцы… К осени перешли сапоги к младшему братишке, его и в школу послали, мальчику грамота нужней, а девчонке зачем она? Девчонку подрядили в няньки в тот дом наискосок, дитя там народилось, а Лине уже восемь лет, не заработает, так хоть будет сыта и одета.

…От побоев, от нужды, от обид ушла в город девушка не девушка, ребенок не ребенок, четырнадцатый год. Пешком, потом поездом — в Петербург. Адрес тетки, записанный на бумажку, в дороге потеряла. Бродила по большим, по страшным улицам, спрашивала какую-нибудь работу. Приласкала ее богатая и добрая тетенька, да хорошо, такая же безработная девчонка вовремя предостерегла — дура, в публичный дом зазывает, пропадешь! Убежала без памяти, потом кто-то указал контору по найму прислуги — и пошло! Чего только не натерпелась — сперва у скупых чиновников, потом у богатой немки (там разбила одну тарелку от сервиза на 24 персоны, немка через суд взыскала стоимость всего сервиза, больше года расплачивалась!). У генерала отъелась, приоделась, уже не девочка — девушка, но генеральский сын пришел к ней ночью, заорала на весь дом, надавала пощечин, расцарапала ему лицо — выгнали… На новое место поступила уже не горничной, а кухаркой, на лету научилась стряпать, «рука» у нее была, все получалось на редкость вкусно; гостей там бывало много, ходили в дом юнкера, шутили с красивой насмешливой Линой, водили ее на танцы и на американские горы, весело ей было с ними, и сама не заметила, как пришла любовь… Тетя Лина, бедная моя, и через сорок лет ты бледнела, вспоминая. Ведь ничего в жизни не было светлее той любви и ничего не было горше, потому что в первый же вечер, когда хозяева уехали на юг, тот юнкер пришел к тебе черным ходом, нагловатый и уверенный, как к своей добыче… Ну и загремел же он по той черной лестнице! Два пролета летел кувырком, а вслед ему летели его шинель и фуражка и все злые слова, какие попались на язык; из всех дверей повыскакивали на

крик и грохот… И через сорок лет гордостью и достоинством светилось, тетя Лина, твое несчастное лицо.

Незадолго до революции поступила к адвокату, с молодой хозяйкой дружили как подруги, жить бы да жить с ними! Но после революции (ничего в ней не поняла Лина, сердилась — беспорядки, магазины пустеют!) адвокат стал каким-то деятелем, почти не бывал дома, а приходил злющий, «дерганый», даже вилку однажды запустил в Лину, что не так или не то подала, но она не сердилась — не в себе человек! А вечером пришли матросы с винтовками — арестовали его. Ох и распалилась Лина, обругала матросов, вцепилась в хозяина — не дам уводить! — бежала за ними с такой злобной бранью, что и ее арестовали, привели в ЧК, сказали: «Хлопнуть тебя придется, буржуйка ты и контра!» Что такое контра, она не знала, а за буржуйку обиделась: «Это я-то? С восьми лет в прислугах, брат на фронте, а вы меня стрелять? Стреляйте, гады!» Рассмеялся кожаный начальник, стал расспрашивать ее, матросы тоже слушали, удивлялись ее горькой жизни и политической несознательности, а потом сказали: «Эх ты, сестренка! Ехала бы домой, ведь землю делят, а брат на фронте, смотри, не обделили бы!»

Помчалась в деревню — и как раз вовремя. Делили землю. Отец уже умер, мать болела, от брата никаких вестей, а мужики каждый себе тянет получше полосу да поближе. Лине — самый дальний участок, где и не пахали еще… Плакала, просила, они от нее отмахивались как от комара. И тогда распалилась еще пуще, чем с матросами, их же мужицкими дурными словами обложила: хлопнуть бы вас всех, кулачье вы, контра! Вырвала-таки хорошую землю. Слезами и потом удобряла ее — ведь не умела ни пахать, ни сеять, а надо! Два года работала за мужика, потом брат Степан вернулся живой, вместе с ним лес рубили, бревна обтесывали и возили, новый дом ставили вместо прогнившей халупы, вдвоем бревна поднимали — с каждым венцом все выше, казалось — тут тебе и конец. Построились. Женился брат. Невестка попалась славная, на диво спокойная, Лина разбушуется — а Маша уйдет с глаз долой, перетерпит, потом вернется как ни в чем не бывало, с улыбкой, с добрым словом. Можно бы жить, но не привыкнуть Лине к деревенской жизни, все тянуло в город. А тут подошла коллективизация. Но какой же это колхоз, если все кулачье во главе, а родичи главного богатея, у которого с восьми лет в няньках жила, — районное начальство! Раскулачивать они стали Степана — позавидовали его новому дому и сноровке, с какой Степан с молодой женой повели хозяйство. Неграмотна была Лина, что узнала за единственный год учения — все перезабыла, законов подавно не читала, но тут и грамота не требовалась.

Раскулачивать брата?! Степана?! Подняла соседей, кто победней и посмелей, в Тверь ездили, письма писали вплоть до Москвы, — она потом не могла ни рассказать, ни припомнить даже, как и где шумела, только кулачье выгнали, брату все вернули… а Лина, порадовавшись, поехала все-таки в город — в Ленинград. Поработала на фабрике, не понравилось — машины жужжат, от хлопка пыль столбом, жить негде. Устроилась уборщицей лабораторий в Политехнический институт, комнату получила. Профессора вежливые, студенты веселые, хорошо ей там работалось, душа отдыхала, а рукам было не до отдыха, бралась за приплату окна мыть, а в институте окна высоченные, однажды в актовом зале с самой верхотуры полетела, разбилась так, что еле выходили. В институте ахали, что она неграмотная, прикрепляли к ней от ликбеза то одного студента, то другого, а толку не было — уж очень они «прикреплялись», молокососы, приходилось гнать.

А годы шли, не сидеть же в старых девах! В хозчасти человек работал, лет на десять старше ее, дети уже взрослые. Жила с ним как жена, много лет жила, но свободу свою хранила: захочу — пущу, не хочу — иди прочь! Заботливый он был, добрый, а любить — не любила, загремела ее единственная любовь по той черной лестнице, другой не нашла. Да и есть ли на свете любовь? Наверно, выдумки, девичьи мечтанья… Не верила она в любовь, а вся ее жизнь была любовью — сестра приехала, замуж вышла, народился у них Юрочка. Племянница приехала, пожила, тоже замуж вышла, дочку родила. У Степана с Машей уже двое — девочка и мальчик, Ванечка. Всем нужно помочь, кому пальтишко, кому ботинки, да Маше на платье, брату на костюм, племяннице — денег в долг без отдачи, какая уж там отдача! Ванечка подрос, пусть приезжает, поступит в ФЗУ, у меня поживет. «Ты ешь, Ванечка, ешь, ведь растешь, вон какой худущий, ешь!..» Да еще студенты — принесет белье в стирку, а глаза голодные. «Садись, милый, поешь, небось в столовке такого не сготовят, садись, говорю!..»

А потом — война. Ревмя ревела, провожая своего нелюбимого, и студентов-ополченцев, и соседей, и совсем незнакомых… Еще не выплакала слез — саму послали на оборонительные. Копали сперва далеко от Ленинграда, потом близко, за Стрельной. Под бомбами. Под снарядами. Самолеты ихние чуть не над головами пролетали да по бабам — из пулеметов. Побежали от них куда глаза глядят — и немцам в лапы. Женщин было около ста, загнали их немцы в сарай, лопотали не поймешь что, намеки делали понятные, с подмигиваньем. А пока бой — закрыли на засов. Лина первая

сказала: «Если придут, бабы, не давайтесь, царапайте, кусайте, пусть лучше убьют!» Но кругом шла стрельба, о них забыли. Когда стемнело, женщины дружно навалились, высадили дверь — и через фронт (где он, этот фронт, не поймешь!) лесками да болотами добрались до Ленинграда. Но война шла за ними. Бомбежки сутки напролет. Обстрелы. Лине предлагали эвакуироваться, но Ванечка с фабзайчатами еще не вернулся с оборонительных, как же без Ванечки? А когда он вернулся — захлопнулось кольцо. Блокада. Голод… Ванечка ослабел, опух. Она шла через весь город на разбомбленные бадаевские склады, туда, где от пожара расплавился сахар, топором вырубала куски мерзлой земли, тащила на себе домой — сколько сил хватало унести, дома долго кипятила эту землю, давала отстояться, процеживала — и поила Ванечку сладковатой мутной водичкой. Она боялась, очень боялась бомб и снарядов, но продолжала ходить на работу — в институте развернули госпиталь, она убирала, мыла, носила раненых в бомбоубежище… Как мало ни перепадало ей еды, все берегла для Ванечки. Только открылась «Дорога жизни», забегала на ватных, распухших ногах, добиваясь эвакуации — Ванечку вывезти! Вывезла. Живого. Со станции до деревни на руках несла — легким он стал, кожа да кости, но для ее ослабевших рук тяжесть была непомерна, не она несла, великая ее любовь донесла мальчика до родного дома. Но не оправился Ванечка…

Про жизнь свою в деревне в военные годы говорила ты, тетя Лина, скупо, как все. Тракторы, грузовики, кони — все ушло на фронт. Мужиков — председатель да двое раненых. А хлеб стране давали, мясо и картошку давали. Маша — золотые руки и золотой характер — стала лучшим бригадиром в колхозе. А ты — и стряпухой, и на покос, и на жатву, и в своем огороде, и племянница Шурочка на тебе. Когда пришла похоронная на брата Степана — брякнулась на пол без сознания, отнялись ноги, месяц пролежала, а подняла все та же великая любовь — Маше помочь, Шурочку вырастить…

Когда ты появилась у нас, ты была независима и горда, решать не торопилась, ничего на обещала: погощу. Литфондовская дачка была мала, ветры продували ее насквозь, тебя пристроили в одной комнатке с детьми, с мальчишками двух и шести лет. Ты говорила: в спокойную бездетную семью пошла бы вести хозяйство, а с детьми не умею. Чем они взяли тебя, мальчишки? Как вышло, что так быстро отогрелось и потянулось к ним твое сердце?.. Ты растила их, бранила, шлепала сгоряча, потакала их капризам, прикрывала их проступки, затевала с ними возню и смеялась, сверкая озорными, помолодевшими глазами и

рядами белых зубов — очень тебе шло, когда ты смеялась, в такие минуты угадывалось, как ты была красива и как могла бы черпать и черпать радость, если б иначе сложилась жизнь. Мы с тобою вместе пережили много бед, многовато даже на двоих, и в беде ты прочно стала родной, своей, уже не отделить. Не Лина Прохоровна, а тетя Лина, для всех друзей и знакомых, ленинградских и иногородних — тетя Лина, хозяйка дома, щедрая, веселая и ворчливая, стержень, вокруг которого все вращается, вынь его — рассыплется семья. Ты бывала мнительной и сердитой, если что-то померещилось обидное, замыкалась в недобром молчании, и тогда все ходили притихшие, без вины виноватые, шепотом переговаривались: «Ты что-нибудь сказал?» — «Ну что ты!» — «А почему?..» — «Не знаю…» Ты потакала парням, когда они выросли, тишком давала им деньги, а потом отчитывала за гульбу, за девок, которые тебе мерещились распутными, жадными, готовыми вцепиться в завидных женихов. Все их приятели, хорошие и плохие, были у тебя на учете, ты их тоже ругала без стеснения, и подзатыльник иной раз отвешивала, и в долг давала, и наставляла на путь истинный — ворчливо, многословно, они посмеивались, перемигивались за твоей спиной, а потом выяснилось — все-таки слушали!.. Ты была бесконечно добра и отходчива, но бывала и дико несправедливой — от великой своей любви, от пристрастия к дому, ставшему родным. И тысячи дел успевала переделать незаметно, неведомо как, — иногда казалось, что сам собою держится порядок в доме, чисто и наглажено белье, всегда есть вкусная еда, и заштопаны носки, и пришиты пуговицы… Ты ревновала ко всем и гнала помощниц, если пытались облегчить твой труд, — не так стирает, плохо моет пол, пыль вытерла, а на шкафу — хоть рисуй!.. Ты не признавала прачечных — рвут белье, ты долго примеривалась к стиральной машине, расспрашивала продавца и покупательниц, восторгалась — надо же! как удобно! — а покупать не позволила: «Для лентяек придумали!» Ты была уже очень больна, но не хотела признавать ни болезни, ни старости, злилась на свою слабость, нарочно пересиливала ее, назначения врачей слушала почтительно, кивая головой, а только они за дверь — все по-старому: не приставайте ко мне, «и петь буду, и плясать буду, а смерть придет — помирать буду!». А когда валила тебя болезнь, хватала за руки: «Жить! Жить!» — и еще: «Только в больницу не отдавайте!» Когда «скорая» увезла в больницу, объявила там голодовку, пока не забрали под расписку домой.

Тетя Лина, тетя Лина, как же нам без тебя?!

…Ветер залетает в раскрытое настежь окно, тихо обтекает

смертное ложе, чуть шевелит белые волосы, строго обрамляющие прекрасное лицо с гордо сомкнутыми губами. Кто она, сложившая на вечный отдых темные узловатые руки?.. Кто эти молодые люди, стоящие у гроба с опухшими от слез глазами?.. Не знаю, но тише. Тише. Успокоилась великая труженица, стержень и душа чьей-то семьи. Тише…

Сверкают зеркальные окна ресторана, через прозрачные занавески видно, что там полным-полно, но пока что все в порядке, все в меру.

На улице тоже людно, в такие летние вечера тысячи людей выходят погулять или не спеша, пешком, идут домой. Группа длинноволосых парней стоит в углу — разглядывают проходящих девушек, иногда задевают их, но пока что ничего лишнего себе не позволяют. Вроде трезвые.

За углом, на бульваре, обычный хвост жаждущих возле пивного ларька. Ларек прозвали «Хмурое утро», там еще до открытия выстраивается очередь — опохмелиться. Толстуха, хозяйничающая в ларьке, увидев участкового милиционера, кивает ему как родному и с особой тщательностью нацеживает пиво в кружки — мол, недолива у меня быть не может, не из таковских.

В летнем кафе тоже полно. Тут нужен глаз да глаз, закажут кофе, а с собой приносят водку и распивают втихую, а то и при содействии официанток — тем выгодно, они и стаканы дадут, и закусочку. А потом пьяные начинают шуметь, ладно если обойдется без драки. Пока что там еще не разгулялись, хотя вот за тем столиком компания вряд ли пришла ради кофе.

Участковый медленно идет по своему участку, приглядываясь и прислушиваясь. Он молод, голубоглаз, курнос и был бы добродушен, если б воинская привычка и нынешние обязанности не заставляли его подтягиваться и напускать на лицо выражение строгое и мужественное. Сейчас его цель — бульвар, где под разросшимися деревьями смерклось и где уже который вечер бесцельно бродит какой-то подозрительный тип — немолодой, в плаще болонье и сером костюме, без особых примет, разве что сединка на висках и странная нерешительность: то сядет, то вскочит, крупными шагами пойдет прочь и вдруг вернется,

постоит, глядя куда-то вверх, опять сядет, а глаза скосит в сторону пивного ларька… Однажды подошел к ларьку, выстоял очередь и попросил большую кружку, а отпил совсем немного, выплеснул все содержимое, махнул рукой и ушел.

Два раза участковый видел его с женщиной. Довольно симпатичная женщина, но уже немолодая, под сорок. Пришли они на бульвар вместе, постояли неподалеку от ларька, о чем-то тихо поговорили, потом она быстро ушла, почти убежала, а он опять долго мотался под деревьями. Кто? Зачем? С какой целью? Делать ему нечего или?..

После того как в соседнем районе обокрали такой же ларек, молодому участковому особенно подозрительны этот странный гражданин и та женщина. Уж не высматривают ли они, как подобраться к ларьку и какие там запоры?..

Странный гражданин и сейчас тут — сидит на темной скамье, сжав голову руками. Может, ненормальный? Так или иначе выяснить нужно.

— Гражданин, не найдется ли у вас спичек?

Тот как-то взбрыкивается, будто спал или испугался, переспрашивает, что надо, шарит по карманам и, найдя спички, с чрезмерной жадностью просит папиросу. Вид у него определенно чокнутый.

Милиционер присаживается рядом, достает две беломорины. Закуривают. Когда вспышка жидкого пламени освещает лицо странного человека, участковый видит в его глазах две радужные блестки. Слезы?! Он так потрясен этим открытием, что некоторое время молча курит и слушает, как жадно затягивается незнакомец. И уже не верит, что тот подбирается к ларьку.

— Случилось у вас что? — наконец с хрипотцой смущения спрашивает он.

— Ни-че-го. — В голосе странного человека звучит отчаяние. — Ни-че-го не случилось.

Они снова курят, сидя бок о бок на темной скамье.

— Видно, живете здесь, поблизости?

— Нет. Далеко.

— А я вас часто тут вижу, — помолчав, как можно мягче говорит участковый, — хожу по участку туда, сюда, вот и вижу.

Странный человек кивает головой и молчит.

— Такая уж у меня служба. Хожу и смотрю.

Человек молча сосет погасшую папиросу. Участковый зажигает спичку, тот прикуривает и теперь сам пристально вглядывается в лицо милиционера. Так пристально, будто ему что-то очень нужно и он колеблется — спросить или не спросить. А спрашивает совсем постороннее:

— Женат?

— Нет пока.

— А девушка есть?

— Как не быть, — с широкой улыбкой говорит участковый. — Есть, конечно.

— Любишь ее?

— Дак как же. Нравится.

— Нравится! — Странный человек тихо смеется. — Люблю или нравится — это, дружок, как говорят, две большие разницы.

— Ну почему? Девушка самостоятельная. И семья у нее приличная, хорошие люди. Квартиру дадут, поженимся. Как полагается.

— Да, да, да, — быстро подхватывает странный человек, — раз люди любят друг друга — женятся! Как полагается. — И он снова тихо смеется, но уж очень невесело.

Молчат, курят.

— А у меня вот не выходит «как полагается». Хотя люблю.

— Вы?!

Вопрос вылетел непроизвольно, уж очень неожиданно признание. Пожилой человек, седина на висках…

— Я, дружок, я. А тебе кажется, только молодые любят? В моем возрасте, парень, любовь сильнее. И страшней.

Участковому пора бы идти, но уж очень интересно повернулся разговор, будет о чем рассказать товарищам. И Тоне. Но почему — страшней? Уже не замышляет ли он что-либо недоброе — убить себя или ее? Ту немолодую, симпатичную?.. Что в таких случаях надо делать?.. Вот еще нелегкая принесла!

Будто прочитав его мысли, странный человек показывает куда-то вверх, на светящиеся сквозь листву окна:

— Вон там она живет. Ну как магнитом притянуло. Глупо, конечно.

— Да уж не стоило бы, — убежденно говорит участковый, — вы еще не старый и, видать, не из пьяниц или там… ну, несерьезных. Специальность, наверно, неплохая?

— Отличная. Настройщик я. Рояли, пианино настраиваю.

— И заработок, наверно, подходящий?

— Сколько захочу, столько и заработаю. На части рвут, только приди.

— Вот видите. — Парень несколько озадачен, никогда еще он не давал советов таким почтенным людям, но что-то нужно подсказать этому ненормальному, раз уж он в откровенность пустился. — Женщин ведь хватает, — хрипловато, со смешком говорит он, — и на все согласных сколько угодно, еще и угощение, и пол-литра поставят. Не на одной свет клином.

— На одной.

Участковый вздыхает. И снова подступает тревога — не замышляет ли недоброе? От такого чего угодно ждать можно!

Странный человек докурил, тщательно гасит папиросу, вминая ее в землю, потом несет в урну, что стоит поодаль, возвращается и, схватив милиционера за рукав, начинает говорить быстро, возбужденно, заглатывая слова:

— Вот ты скажи, друг, почему?.. Люблю, и она любит, это знаю… Второй год мучаемся. Ну, замужем, так не любит. Почему же?!

Вынужденный отвечать, поскольку заданы вопросы, парень говорит как можно строже:

— Семья — семья и есть. Рушить семью — последнее дело.

— Так ведь не любит его, обрыдло ей там, понимаешь? Встретимся — вижу, тоскует! И детей нету. То есть есть дочь, но отрезанный ломоть, замужем за военным… Ну скажи, можешь ты это понять: не уходит, потому что стыдно в сорок лет, и квартира, и все нажитое, и соседи, и знакомые, — в общем, что будет говорить княгиня Марья Алексевна!

— Свекровь, что ли?

Странный человек снова тихо смеется:

— Да нет, из пьесы.

Он отпускает рукав собеседника, откидывается назад и смотрит сквозь листву на верхние окна:

— Спать легли. — И со стоном: — Ну не могу! Не могу!

Встает и, кое-как кивнув на прощание, быстрыми шагами идет прочь. Высокий, сутулый, одно плечо ниже другого. От профессии, наверно. И что он нашел в той женщине? Ну симпатичная, вроде бы ласковая, скромная, да вот характера нет. А может, мужа жалеет. И квартиру, конечно, жаль, все заведенное, а у этого чудака навряд ли. Из-за одной любви рушить?..

Сидит двадцатишестилетний парень в милицейской форме и, забыв о своих обязанностях, недоуменно и тревожно думает о любви — не дай бог мучиться вот так! — и в то же время томится невесть откуда взявшейся досадой, будто его чем-то обделили, и никак не разобраться, чем и почему.

Все реже хлопают дверцы машин, только такси подмигивают

зелеными глазками, медленно катя вдоль улиц. В такой час вечернего затишья к одному из домов подкатывает черная «Волга», красивый, но уже слегка обрюзгший человек, вылезая, бросает шоферу: «Завтра как всегда!» — и неторопливо входит в парадное.

— Наконец-то! — еще за дверью, возясь с запорами, восклицает жена. — Это невозможно, с утра до ночи! — Она вглядывается в лицо мужа, принимая от него шляпу. — На тебе лица нет, Виталий! Почему так поздно?

— Как всегда, пустили на худсовет прорву народа, ну и пошла говорильня!

Из столовой доносится безмятежный голос тещи:

— Виталий Алексеевич, чай на столе! И ваша любимая баклажанная икра!

— Вот это кстати, — говорит он, стараясь приободриться, но сегодня что-то мешает ему, что-то придавливает. Начинается грипп? Или попросту усталость? Он с облегчением скидывает узкие туфли, строгий темный костюм, душную нейлоновую рубашку с тугим галстуком. Мила подает ему пижаму, пододвигает тапочки. Вместе с переменой одежды меняется и его лицо: проще и скучнее черты, заметнее дряблость кожи и угрюмые складки по краям рта.

— Ужасно жаль, что ты меня не взял с собой, — говорит Мила, переходя за мужем в столовую, — мне так интересно!..

— Не дури, — цыкает на нее мать, — на работу с женами не ходят. Дотерпишь до премьеры. Виталий Алексеевич, чай сразу? С лимоном?

— Сразу и с лимоном, Ольга Петровна.

За столом властно хозяйничает теща, Мила — на подхвате. Накладывая зятю изрядную порцию баклажанной икры, Ольга Петровна не в силах сдержать любопытства, хотя и понимает, что лучше бы подождать:

— Ну как, приняли спектакль?

На сегодня разговоров о спектакле для него предостаточно, он отвечает сухо:

— В основном.

— А что вызвало… вы извините, но так как я спектакль посмотрела…

У Виталия Алексеевича удивленно взлетают брови.

— Утром, на репетиции.

— А-а…

Расспрашивать дальше теща не решается, но один вопрос все же слетает с ее губ:

— Глебов согласился с замечаниями?

— Все шло на основе широкой демократии, Ольга Петровна.

Они улыбаются друг другу. Отношения у них отличные, пожалуй, лучше, чем у Виталия Алексеевича с Милой. В институте Ольга Петровна учила его танцам и так дрючила за склонность сутулиться, что и теперь, стоит ей поглядеть с прищуром, как он расправляет плечи и подтягивает спину, будто она по-прежнему вправе крикнуть: «Виталик, спин-ку!» Подружились они во время студенческой шефской поездки, когда заболел администратор и Виталию пришлось заменить его. На обратном пути Ольга Петровна сказала: «Виталик, у вас есть организаторские способности и природная руководящая хватка, подумайте, не стоит ли вам развить именно эту сторону личности?» Он понял ее, но еще долго колебался: с первых выступлений в детдомовской самодеятельности ему захотелось стать актером; правда, только со второго захода он пробился в Театральный институт и с трудом переходил с курса на курс, но объяснял свои неудачи скованностью, порожденной тяжелым детством; по этой же причине преподаватели всячески вытягивали его, тем более что старательного студента с безукоризненной и трогательной биографией выбирали то старостой курса, то в комсомольский комитет, то председателем студкома… Он не отлынивал, честно тащил немалый груз обязанностей, привык выступать на собраниях, а когда его назначили руководителем шефских концертов, почувствовал вкус к административным делам и всяческому представительству. По распределению ему удалось попасть в театр, о котором он мечтал, к режиссеру Глебову, которого студенты боготворили. Целый сезон он был на мелких ролях, на второй год ему как будто повезло: возобновили «Горе от ума», и Глебов вдруг предложил ему: «Попробуйте подготовьте роль Молчалива, введу дублером». Как он старался! Но на первых же репетициях Глебов начал злиться, потом прервал вопросом: «Кого из актеров вы видели в этой роли?» Он сказал. «Понятно! Вы недурно копируете чужую работу, но здесь-то пусто! Пусто!» Молчалина он так и не сыграл. Глебов потерял к нему всякий интерес, но терпел, потому что и в театре Виталий уже заседал в партбюро и руководил шефской работой. Ольга Петровна дружила с Глебовым (с кем только она не дружила в театральном мире!) и была без пяти минут тещей Виталия. Как раз в это время раскрылись неблаговидные денежные махинации замдиректора, Глебов был в ярости и лично подыскивал надежного человека на его место. «А зачем рисковать с незнакомым! — так, кажется, сказала ему Ольга Петровна. — Почему не выдвинуть свой молодой кадр?» И «молодой кадр» стал энергичнейшим замдиректора, а спустя три года —

директором в другом, меньшем театре…

Виталий был польщен выдвижением и обрадован увеличением зарплаты — накануне свадьбы это было ой как нужно! Но даже самому себе он не признавался, что испытал еще и чувство избавления… впрочем, он скоро о нем забыл и даже любил иногда повздыхать, что вот оторвали от любимой актерской профессии, конечно, кому-то приходится тянуть бремя руководства, раз нужно, так нужно! В новой роли он был властен, приветлив и доступен, пока ему не передали слова, якобы сказанные Глебовым: «Из плохого администратора никогда не выйдет талантливый актер, а из бездарного актера, оказывается, может вылупиться отличный администратор!» Уязвленное самолюбие сделало его суше и мнительней, зато он получал горькое удовольствие от чужих ошибок и не щадил самолюбия виноватых… От жены он скрыл обидные слова Глебова, но в минуту откровенности пересказал их теще. «Зря сердитесь, — заявила Ольга Петровна, — лицедействовать на сцене может и дурак, а для руководства таким сложным организмом, как театр, нужны ум, и дипломатия, и еще многое, что у вас есть». — «У вас тоже, — сказал он, — вы у нас руководящая теща».

С тех пор многое изменилось, и «руководящая теща» с безупречным тактом приспособилась сама и научила дочь соответствовать положению супруги ответственного работника, быстро продвигавшегося на все более и более ответственные посты. Настало время, когда она прямо-таки выдернула Милу из театра, утверждая, что незаметная актрисуля на третьестепенных ролях ставит Виталия Алексеевича в ложное положение. Мила закатила истерику, но быстро удовлетворилась тем, что появляется рядом с мужем на премьерах, как верное эхо повторяя его оценки и суждения. Зато Ольга Петровна ходит в театры «сама по себе», через своих многочисленных учеников и друзей достает билеты на спектакли, куда и Виталию Алексеевичу попасть нелегко, обо всем имеет свое мнение, но с зятем держится подчеркнуто скромно, сохраняя дистанцию, не лезет в советчики и не только при посторонних, но и дома называет его по имени-отчеству. Виталий Алексеевич это ценит. Но за последнее время ему все чаще кажется, что о его действиях и указаниях она получает широкую (но не беспристрастную!) информацию и что она порой думает о нем как-то не так, как показывает. Вот и сейчас…

— Как хороша Максимова! — невинно восхищается Ольга Петровна. — Особенно во втором акте. Женщина до мозга костей — и какая женщина! А ведь ей далеко за сорок.

Ну конечно, уже прослышала, что его замечания касаются

сцены во втором акте!

Мила быстрым глазом примечает, что продолжать разговор мужу не хочется, и предлагает сыграть в «подкидного».

— Мне еще две пьесы читать… Разве что полчасика, для отдыха…

Скатерть снимается со стола, появляются карты. Виталию Алексеевичу всегда неловко заниматься таким несерьезным делом, поэтому он становится развязным, лихо тасует карты, с шиком сдает их и, объявляя козыри, нарочно по-детдомовски говорит «вини» и «крести», отчего у Ольги Петровны страдальчески закатываются глаза. Мила и в игре беспечна, забывает, какие карты вышли, часто ошибается. Ольга Петровна играет царственно, плавными движениями опускает на стол карту за картой и даже при явном проигрыше удерживает на лице хладнокровную улыбку. А Виталию Алексеевичу сегодня и выигрыш не в радость. Может, действительно начинается грипп?..

В спальной приглушенно звонит телефон. Виталий Алексеевич вскакивает, роняя карты, и, пока он идет к телефону, меняется его облик — несмотря на пижаму и тапочки, он снова бодр и благопристойно подтянут. И голос звучит внушительно:

— Добрый вечер, Георгий Сергеевич. Только что приехал. Нет, спектакль не затянут, но обсуждение!.. Конечно, настоятельно рекомендовал им сократить диалог в конце, о котором я вам рассказывал. Принижает образ и выглядит почти пародийно, во всяком случае, рождает какие-то аналогии. И потом любовная сцена во втором акте! Вообще героиня решена режиссером слишком… сексуально, что ли. Между нами говоря, у Максимовой это получается обаятельно… но для широкой публики! Для молодежи!

Торопясь к телефону, он не прикрыл за собою дверь, и теперь ему мешает тишина в столовой — Ольга Петровна наверняка прислушивается, надеясь услышать то, что он ей не расскажет. А Мила навострила ушки потому, что с институтских времен тайно ревнует к Максимовой: все студенты по очереди влюблялись в эту красивую длинноногую озорницу, своевольную и на редкость талантливую!

— Послезавтра снова будет закрытый прогон, — прикрывая трубку рукой, говорит Виталий Алексеевич, — не найдете ли вы времени? Пока не переделали, — хихикнув, добавляет он.

— А вы не боитесь, что я тоже испорчусь? — спрашивает собеседник.

Они смеются, потом Георгий Сергеевич задает вопрос, на который и без учета посторонних ушей ответить нелегко: кто и что возражал и как держался Глебов.

— Спорили, конечно, но я, мне кажется, сумел убедить их… во всяком случае, многих, — коротко отвечает он, — а Глебов…

Пауза совсем коротка, но перед ним мгновенно встает все, что связывает его и отталкивает от прославленного режиссера. Обожание, обида, благодарность за выдвижение и опять горькая обида на те оскорбительные слова… восторг и злое удовлетворение, когда почувствовал себя *над* Глебовым… О, как ему хотелось отомстить Глебову, разбирая его явно ошибочную, ущербную постановку! С каким наслаждением он критиковал его, унижал, понимая, что Глебов не решится ответить, боясь потерять театр и созданный им коллектив! А Глебов ответил — и бросил на стол заявление об уходе. Судьба Глебова была в его власти… Сколько сил ему стоило поступить разумно, в интересах дела! Нет, не потому, что вмешались сверху, не потому… Он сам — *сам* позвал Глебова, убедил порвать заявление, во всех инстанциях *сам* заявил, что Глебов учтет критику, что Глебова надо сберечь для театра. Он считал свое поведение высокой победой принципиальности и объективности, он даже заново полюбил Глебова, готов был по-приятельски отвести проявления благодарности… А Глебов принял его защиту как должное. Даже спасибо не сказал. По-прежнему упрям, язвителен, хитер. А сегодня…

Он как-то вдруг до конца понимает, что не в усталости дело и никакого гриппа нет, а душу саднят те самые как будто уважительные слова… Как он не понял сразу, что они пропитаны ядом?!

Но об этом незачем говорить Георгию Сергеевичу.

— А Глебов, как всегда, упирался, но в целом, по-моему, согласен, — сдержанно говорит он, — завтра будем беседовать без широкой аудитории. Он хочет повезти спектакль на гастроли и понимает, что без изменений…

Закончив разговор, Виталий Алексеевич опускается в кресло и старается восстановить в памяти все, что произошло в конце заседания.

— Виталий, доигрывать будем?

— Нет, Мила, извинись перед мамой, некогда.

Да, так что же произошло на худсовете?.. Может, он дал повод, в чем-то ошибся? Нет, с первых же слов он выразил уверенность, что спектакль будет хорошо принят на гастролях, это всех настроило на добрый лад. Конечно, сказал он, надо поработать над устранением отдельных недостатков, в частности в любовной сцене второго акта. Максимова, которая, как всегда, опоздала и пристроилась у двери, демонстративно прошла вперед и уселась на виду, выставив свои длинные ноги в прозрачных

чулках, — знает стервоза, что в свои сорок с гаком еще более соблазнительна, чем в юности! Про нее говорят: настолько талантлива, что не боится выглядеть на сцене ни старой, ни уродливой… да, это так, сам видел не раз. Но вот она дорвалась до роли, где может быть олицетворением соблазна!.. Говорить об этом напрямик неудобно, он нашел прекрасную мотивировку: сцена второго акта нарушает хороший вкус и цельность художественного восприятия, она будет мешать эмоциональному настрою зрителей. Кое-кто уже одобрительно кивал, но Максимова спросила звучным, хорошо поставленным голосом: «Интересно, Виталий Алексеевич, как бы ты отредактировал арию Далилы, будь твоя воля?» (На «ты»! Да, они учились вместе, да, на театральных банкетах их студенческое «ты» даже мило, но на заседании, где он официальное лицо, это вызывающе бестактно!) Ему удалось отшутиться: «Если бы ты была Далилой, а я Самсоном, я бы наверняка не заснул!» Все засмеялись, одна из актрис захлопала в ладоши и пискнула: «Два ноль в вашу пользу!» В такой непринужденной атмосфере он перешел к другим замечаниям и доказал, что диалог в последней сцене затягивает действие, его неудачный «лобовой» текст разжевывает то, что уже воспринято образно, зритель этого диалога не примет, потянется «за галошами»… Глебов молча дослушал до конца, спорить не стал, но вдруг заговорил со своей задумчивой повадочкой: «Завидую вашему безотчетному чутью, Виталий Алексеевич! Свыше четверти века работаю в театре, а до сих пор мучаюсь сомнениями, то ли и так ли делаю, что примет зритель, что не примет… а вы всегда точно знаете, что, как и почему…» В наступившей тишине раздался смешок Максимовой — впрочем, она, кажется, шепталась о чем-то с соседом. А Глебов тут же предложил встретиться завтра и «в рабочем порядке» все обговорить. Простились дружелюбно, по-хорошему… Но как можно было не понять сразу, что он откровенно насмехался, Глебов! И ведь все вокруг поняли, потому и притихли в ожидании, потому и засмеялась Максимова — ей что, она и в глаза рассмеется, не оробеет. А я как дурак проглотил, не понял, не ответил! Ой нехорошо!.. Некоторое время он сидит подавленный, обескураженный. Потом рождается спасительный гнев — Глебову легко, может и созорничать, и накрутить черт те что в спектакле, знает — заметят, поправят, тот же презираемый Виталий Алексеевич поправит! Еще и побахвалиться можно: я, мол, такого накрутил, так завернул, да начальство прижало. А либералов развелось много, пойдут ахи да охи, дескать, мешают творчеству!.. Их бы на мое место! Того же Глебова — пусть бы узнал, как отвечать за все их творческие выкрутасы! Пусть бы

повертелся, как я, с утра до ночи да еще по ночам читал пьесы, которые идут и идут потоком, кто только не берется сочинять их!..

Он с отвращением подтягивает к себе очередные пьесы. Комедия? Да еще и сатирическая! А это драма? Не просто пьеса, а драма! Не хватает трагедии — для полноты картины. Если читать, раньше трех не ляжешь…

— Ольга Петровна, вы еще не спите?

Нет, не спит. Он вручает ей обе пьесы:

— Прочтите завтра, хорошо? Мне интересно знать ваше мнение.

Польщенная теща уплывает к себе с двумя папками, а он потягивается, довольный. Сегодня все равно не успеть. Ждали столько времени — подождут еще. А теща как барометр, только «наоборот»; если говорит, что пьеса умная, — вчитывайся внимательно, а если восхищается, что смешно и остро, — тут уж смотри в оба. Что бы она там про себя ни думала, ему все же с тещей повезло!

На лестнице, над одной из площадок, перегорела лампочка. Женщина, медленно и устало поднимавшаяся по лестнице, выбрала именно эту темную площадку, чтобы передохнуть. Раскрыла створку окна, привалилась спиной к оконной раме и вдыхает посвежевший в ночи воздух.

— Вот хорошо, что я вас встретила, Анна Андреевна! — ударяет прямо в голову излишне громкий голос.

Помутившимися от головной боли глазами она видит жиличку соседней квартиры Беляеву. Беляева все так же громко жалуется ей на вчерашнее безобразие, удивляется ее терпению и напоминает, что есть товарищеский суд, и народный суд, и, наконец, милиция.

— Простите, у меня очень болит голова.

— Еще бы она не болела! У меня — и то!..

Беляева снова втолковывает про суд и милицию, потом предлагает порошки, потом все же уходит. Анна Андреевна сидит на подоконнике, прикрыв глаза и ловя ртом дуновение ветерка, который то живительно веет, то замирает. И боль то сдавливает голову, то отпускает. Если б можно было тихонько пойти к себе,

умыться горячей водой и сразу лечь в постель!.. Что ее ждет?.. Она сама себя убеждает, что ноги не держат после тяжелого дежурства, надо передохнуть, но медлит она потому, что боится идти домой… В свою уютную, светлую комнату с широким окном, возле которого покачивается верхушка старого тополя и по утрам на все лады гомонят разные пичуги. В чистенькую до блеска двухкомнатную квартиру, куда она въехала четыре года назад по обмену с замужней дочерью соседки, радуясь несомненной чистоплотности соседки и тому, что жильцов всего двое — низкорослая, коренастенькая Фрося («Просто Фрося, меня все так зовут!») и ее муж, Тимофей Степанович, высокий поджарый человек лет под шестьдесят («Мы с ним молодожены, всего полгода как поженились»…). Муж — шофер конторы дальних перевозок. И когда он возвращается из рейса…

Позавчера Фрося испекла пирог с треской, начистила селедки, сбегала за «поллитрой». На свою неизменную синюю кофточку выпустила белый воротничок, что очень шло к ее черным волосам с обильной проседью. В ее плотной фигурке и круглом лице с черными глазами в мохнатых ресницах появилось что-то детское, восторженное, словно она ждала светлого праздника и вот дождалась. А отсутствовал Тимофей Степанович всего неделю.

Днем забежала замужняя дочь Леокадия — попросить маринованных огурчиков, которые особенно хорошо получались у матери. Леокадия оглядела стол с красующейся в центре «поллитрой» и чуть не заплакала:

— Мама! Ты же обещала!

— Ну и обещала, так что? — огрызнулась Фрося, отводя глаза. — Рази ж это пьянка? С дальнего рейса да не угостить? — И вдруг рассердилась: — И чего ты мать позоришь перед людями? Тоже мне, госконтроль! Взяла огурцы? Ну и вали отсюда!

Тимофей Степанович приехал благостный, привез с Украины огромные сочные помидоры, угостил ими Анну Андреевну. Фрося обнимала его: «Приехал, любименький мой!»

Весь вечер Фросин патефон крутил старые хрипучие пластинки Вяльцевой, Вари Паниной и какого-то цыганского баритона. Фрося выбегала на кухню с грязной посудой, счастливо охала: «Слышите, как поют? Аж душу рвут!» — а глаза у нее стали дикие, волосы свисали, космами на мертвенно-бледные щеки.

— Ну и хватит, Фросенька, выпила и хватит.

— Тю-ю! Да мы только начали! Гу-уляет сегодня Фросенька!

Ночью они подрались. Анна Андреевна проснулась от Фросиного истошного крика:

— Убивает! Ой, люди, убивает!

Накинув халат, Анна Андреевна выбежала на крик. Фрося металась по кухне в одной рубахе, растрепанная, вместо рта с белозубой улыбкой — запавшая черная щель с одним сиротливым зубом. Выскочил в кухню и Тимофей Степанович — в голубых подштанниках, в порванной майке, по старому лицу с всклоченными усами текли слезы, он совал Анне Андреевне сплющенный подстаканник:

— Будьте свидетелем, она меня подстаканником! Подстаканником по ноге, коленку расшибла, я вам покажу, коленку расшибла!

Дрожа от волнения и холода, Анна Андреевна уговаривала обоих как маленьких, сердиться нельзя было, Фрося зверела, если в такие минуты ее ругали. Кончилось все неожиданно.

— Покалечила я тебя, старая пьянчуга! — запричитала Фрося. — Пойдем, миленький, компрессик на коленку положу, пойдем, любименький, рюмашечку дам, припрятан у меня малыш, запасливая у тебя женка!

Малыша они «раздавили» дружно, сидели в обнимку и пели про ямщика, замерзающего в степи, и еще про то, что «жалко только волюшки во широком полюшке, солнышка на небе да любови на земле»… Анна Андреевна прислушивалась и заснула, а когда встала, Тимофей Степанович густо храпел за стеной, а Фроси уже и след простыл — вскочила по будильнику, перемыла посуду, навела в кухне блеск и умчалась на работу — она никогда не опаздывала в свой торг, где работала экспедитором, гордилась тем, что она материально ответственное лицо: «Отчетность у меня как хрусталь! А если выпью, так на свои, на кровные!» Когда Анна Андреевна уходила на дежурство, Тимофей Степанович проснулся и, стыдливо отворачивая лицо, чтоб она не почуяла водочного запаха, сказал, что будет отдыхать дома три дня.

Ну чему быть, того не миновать! Анна Андреевна рывком поднимается и шагает вверх по лестнице. Так она идет на самые страшные вызовы — ножевые ранения в драке, убийства…

В квартире тихо, только в кухне бурчит вода в котле да где-то что-то странно поскрипывает. Что бы это могло быть?.. Она открывает дверь своей комнаты и с досадой останавливается на пороге — стол отодвинут от окна, стулья опрокинуты на него ножками вверх, а Фрося стоит на табурете, поставленном на подоконник, и протирает стекла.

— Фрося, зачем?

— Затем, что грязные были, — сверкая белыми зубами, отвечает Фрося и насухо трет стекло чистой тряпкой, оттого и скрип.

Так повелось с самого начала — Фрося входила в ее комнату

как в свою, скребла и мыла, ни денег, ни благодарностей не принимала: «Тебе руки беречь надо, а я привычная!» «Ты» она говорит всем.

— Задержали меня ироды с отчетностью, а то б успела до тебя, — поясняет Фрося, — устала небось? Да ты ложись, ложись, я мигом!

— Темно же сейчас окна мыть, — вяло сопротивляется Анна Андреевна.

— Когда Фрося моет, хоть черной ночью — чисто будет. А сейчас небо светлое. Ты снизу погляди — хрусталь!

Анна Андреевна валится на постель. Пусть скрип, пусть Фросина болтовня, все-таки лечь. Лечь.

Фрося ловко слезает с окна и через минуту приносит стакан крепкого чая и кусок пирога.

— Выпей и съешь, сразу оклемаешься. И не спорь! Докторица, должна понимать.

Пока Анна Андреевна сперва неохотно, а потом с аппетитом ест пирог и пьет чай, Фрося сидит напротив и с удовольствием смотрит. Как ни странно, Анне Андреевне это приятно. И головная боль стихает.

— Ну что, много ездила?

Фрося обожает рассказы о том, куда и зачем вызывали «скорую», что и где случилось. Когда беда происходит на улице с пьяным, Фрося безжалостно обвиняет потерпевшего: «Сам виноват, болван! Уже если я выпью, то из дому — ни в жисть!» Если пострадал ребенок, она плачет, всхлипывая, и потом помнит, расспрашивает, что с тем ребеночком, и как переживает мать, и хорошо ли в больнице лечат. Анна Андреевна не любит бередить душу рассказами о человечьих несчастьях — слишком их много прошло и проходит перед нею, профессиональное умение выработалось давно, еще на фронте, а спасительного очерствения души не произошло, чужая боль каждый раз будто полоснет по сердцу. Но сегодня ей самой хочется рассказать один случай, и, пожалуй, именно Фросе…

— Такой нелепый был вызов. Позвонила женщина, рыдает, слов почти не разобрать, только адрес: Кирочная, 19, «муж умирает, ради бога скорей, одни в квартире, я сама врач, понимаю — плохо, очень плохо, скорей!». И трубку бросила. Ни фамилии, ни номера квартиры. Диспетчер говорит: подождем, может, еще позвонит. А я говорю — поеду. Дом тот я знаю, огромный дом, несколько парадных, но приметы уже есть — вдвоем в квартире и жена — врач. Поехали. И ведь разыскали!

— Ну и что там? Помер?

— Да нет, отходили. Растерялась она, врачу хуже нет своих

лечить.

— Надо же! — вздыхает Фрося и встает, но не идет домывать окно, а мается подле кровати. — Ты уж прости, Анна Андреевна, сволочи мы, такому человеку спокою не даем! — Выпалив это, она молнией взлетает на подоконник, на табуретку, поскрипывает под сухой тряпкой стекло, подрагивает от ее энергичных движений табуретка.

Из-под тяжелеющих век Анна Андреевна смотрит, как все ладно получается у Фроси. Дотерла стекла, присела на корточки, чтоб на фоне нетемнеющего неба проверить, чисто ли, сбегала сменить воду в тазу и яростно трет подоконник… Полечиться бы ей: ведь уже переросло в болезнь. Убедить бы ее — в больницу…

Нечаянно дрему прерывает грохот. Фрося уронила стул, передвигая стол к окну. Пол уже вымыт, влажен и, кажется, дышит чистотой.

— Красота! — говорит Фрося, оглядывая комнату. — Ты уборки не касайся, сама все сделаю, ты у меня будешь жить как в хрустале!

Она стоит подбоченясь, над верхней губой поблескивают капельки пота.

— Я работы не боюсь, и лучше меня никто тебе не сделает, — хвастливо говорит она, — я с таких лет — к любой работе! За что Фрося ни возьмется — блеск!.. Не веришь? А ты знаешь, кто я была в войну? Управдом! Не говорила тебе? У-прав-дом! Это теперь жэки-мэки, конторы с фикусами, инженера да техники с дипломами, а тогда что? Фрося да Ирка с бабкой Капитолиной — вот и весь штат. Ты и начальство, и дворник, и водопроводчик, и отопленец — всё! А с карточками порядок держать? А грязищу заледеневшую на себе вывозить, чтобы эпидемии не было? Всё — Фроська с бабами своими, с Иркой да с Капой… А уж законность нарушать — ни-ни, не позволяла никому! Ты вот сама с фронту вернулась, а квартиру заняли, так? А у меня ни фронтовики, ни вакуированные такого не знали. Квартиры сохранила, вещи сохранила, у кого в закутке веник стоял — приехал, веник на месте! Кто сберег? Фрося!

Она придвинула к кровати стул, поколебалась.

— Ничего, я присяду? — Села, вздохнула. — Про меня как говорили? Фрося у нас министр. Если я во дворе шумлю — по всем этажам за двойными рамами слыхать! Зато ремонт сделала первая по району! С красной доски не слезала. А потом — прости-прощай, диплома нет. А что ихний диплом, если у них ни быстроты такой, ни сноровки, ни охоты? Вот у нас Валька-техник: маникюр наведет и чуть что — зовет дворника или слесаря. А мы с Иркой да бабой Капой на своих хребтинах кровельное железо на

всю крышу перетаскали. Плачем и тащим, тащим и плачем. А почему? Душа кипела. Дерьмо зимнее выгребаешь — ну, бабы, Гитлеру в морду! А вот это — Геббельсу! А теперь — Герингу в зад!.. Ну это я деликатно говорю. Сильней припечатывала. Такая злость трясла, не до выражениев. — Она вдруг спохватилась: — Заговорила я тебя? Уйти?

— Нет, нет, ничего.

— Не болит?

— Лучше стало. Высплюсь ночь спокойно — и все пройдет.

Фрося вскинула свои глаза-маслины и потупилась. Помолчали.

— Да рази ж я не понимаю! — вдруг страстно выкрикивает она. — Думаешь, пропащая?! Вот и дочь Лека что ни день прибегает, оки в потолоки, ладошки к грудям — алкоголик мама!.. Да рази ж я пила когда?! Муж непьющий был, детей нарожала, квартиру вот эту получили — только что языком не вылизывала. А потом что? Муж был — убили. Сыночки были, близняшки, я-то черная и Лека черная, а они рыженькие, в отца, по двенадцать годочков стукнуло… убили! Это ты можешь понять? В пионерлагерь — из пулеметов!.. Прибежала на Московский, на задние пути, встречать — вылезают из теплушек остатки лагеря, кто в бинтах, кто на палке прыгает, а моих нету! Как сказали мне — «насмерть!» — так и грохнулась, бьюсь головой и вою… Мужу на фронт написала: мсти до самого ихнего Берлина!..

— Верно написала, Фрося. Но пить — разве это помогает?

— Не помогает, — убежденно говорит Фрося, — я и не пила. Только зубами скриплю да подушку рву, все наволочки истрепала… — Она вдруг взрывается, глаза становятся дикими: — А ты, докторица, чистюля, херувим в халате, ты знаешь, что такое ремонт дома?! Ты пол подотрешь — душа заходится. А ремонт дома?!

— При чем же…

— А-а, ни при чем?! Бот и видно — ни черта ты не понимаешь, хоть и училась шестнадцать лет да всю жисть в придачу! Ремонт дома! Мы-то с бабоньками, с Иркой да Капой, на интузиазме что угодно делали. А к мужикам без водки не подступай! Да еще после войны — клади на весы на одну плашку чистое золото, а на другую — самого завалящего мужика, так ведь мужичонка перетянет! А тут маляры, кровельщики, штукатуры, плотники, отопленцы-паропроводчики — это при лопнувших трубах да текучих батареях!.. А еще снабженцы всякие! Краску достань, олифу, железо! Гвозди — и то!.. Рядишься с ними — ставь водку. Подгоняешь, потому сроки подпирают, —

водку! Закончили, расплатились — опять же водку на стол!.. Я по дурости поначалу на сознательность била, да и где мне водки напастись, так поверишь — ни тпру, ни ну! Подружка моя Клава, по соседству управдомом была, — «Без водки, — говорит, — не пойдет, поставь им как надо и сама с ними выпей, уважь людей». Попробовала — не могу. Веришь ли, не проглотить — от запаху выворачивает наизнанку. А Клавка советует: «Ты нос зажми и одним махом всю рюмку, дыхни и сразу черную корку пожуй…» И верно, пошло. — Фрося засмеялась, головой покачивает: — Вот ведь дура была. — И сразу, со страстью, даже с каким-то бешенством: — А когда возвращаться стали! Кажный благодарит, кажный зовет: тут встреча, там новоселье, что ни вечер — зовут люди, свои жильцы, как откажешься?! И кажный подносит рюмку побольше — спасибо тебе, Фросенька, выпей за победу, за мир, за счастье! Так что, не выпить?!

Она вскакивает, Анне Андреевне кажется, что сейчас же побежит за «поллитрой», но Фрося со стуком расставляет стулья, настилает на стол и оправляет скатерку, потом стремительно оборачивается, подбоченясь и выпрямив свою коротенькую, тугую фигурку:

— Ну ты скажи, баба я еще ничего?!

Анна Андреевна смущенно улыбается, как тут отвечать!

— Баба я! Какая ни есть — жен-щи-на! Вот ты, прости за слово, как старая дева, то ли тебе сорок, то ли все шестьдесят. А я без мужика не могу, лучше в петлю! — Она и без водки хмельно подмигивает и щерится. — Как я своего любимого зачаливала — чистый роман! Надо ж их знать, шоферов дальних рейсов! Хоть по шоссе, хоть по проселку — в каждом пункте невеста, сама набивается угостить да приветить! Бабья одинокого — о-о-ох!.. А мой-то — вдовец, он и рад, сегодня тут, завтра там, слыхала, как по радио поют!.. Три года я его приваживала, и обстираю, и напеку всего, это я умею, и огурчики маринованные в смородинном листе с чесночком, а уж поллитру на стол — завсегда! И что ты скажешь — от всех молодых отвадила, приворожила, в загсу потащила — всё честь по чести. Вот только ревную я, спасу нет. Исщипала всего!..

Из Фросиной болтовни Анна Андреевна выхватила одно — как старая дева! Не позавидуешь Фросе, дурно они живут, и этот ее Тимофей Степанович — дрянь мужичок… А тут вдруг зависть шевельнулась, боль давней утраты и злость на свою разборчивость — действительно чистюля, херувим в халате, вот и осталась одна. Самого близкого человека похоронила в братской могиле на подступах к Чешске-Будейовице, но ведь осталась жить, осталась! А сама себя высушила. Как старая дева стала…

Оттого, что эти мысли разом, душной волной, нахлынули на нее, говорит она суше и назидательней, чем обычно:

— Дуришь ты, Фрося. Мужа спаиваешь и сама спиваешься, облик теряешь. Бить тебя некому, вот и дуришь.

— А ты меня вдарь, если что! — азартно подхватывает Фрося. — Если еще хоть раз — вдарь как следует, не обижусь. А то больно уж ты мягкая, без характеру.

— У меня, Фрося, за дежурство весь характер сгорает.

— Понимаю, — кивает Фрося, — ну прости, наговорила я тут. Отдыхай. И не сумлевайся — шуму не будет. Как человек говорю.

Уже сквозь сон слышит Анна Андреевна, что вернулся Тимофей Степанович, пошебуршилась на кухне Фрося — и все стихло. А среди ночи она подскакивает на кровати: за стеной что-то загремело, что-то со звоном разбилось, и вдруг два голоса заорали во всю силу легких: «Любимый город может спать спокойно…», и опять что-то загремело и зазвенело, разлетаясь на осколки.

— Уйди!

Молоденькая женщина стоит посреди комнаты, тренировочные брючки и глухой черный свитер ладно обтягивают ее, светлые волосы схвачены на затылке тесемкой, чтоб не мешали. Ее простенькое лицо свободно от косметики и было бы прелестно своей юной чистотой, если бы его не искажало выражение гнева и даже отвращения. В комнате никого нет, но она повторяет: «Уйди!» — потом со слезами в голосе бормочет: «Не то! Все не то!» — и застывает в мрачном раздумье. Она ненавидит сейчас себя, пьесу, нелепый текст. Вот уже неделю она мучается и не находит того внутреннего состояния, которое наполнило бы жизнью эту сцену и текст ее роли. Вчера ей показалось, что нашла. Она ощутила обиду и гнев своей героини, ненависть к обманувшему ее человеку. С легким сердцем шла на репетицию и жалела, что режиссер провозился с другими и только в самом конце предложил начерно «проскочить» ее с Алексеем сцену. Но довести до конца не дал, захлопал в ладоши и сказал: «Все! Завтра с утра репетируем сцену Марина — Алексей, остальные свободны». И бросил уже на ходу — обоим, но взглянув на нее одну: «Подготовьтесь хорошенько».

Она ушла, униженная собственной бездарностью. У Алешки все получалось само собой, казалось, он не прилагает никаких усилий. Вбежал беззаботный, привычно ожидая встретить радость и ласку, и вдруг понял: она каким-то образом узнала то, что он тщательно скрывал. Попробовал неуклюже оправдаться, даже рассердился, но быстро сник… Рядом с его абсолютной естественностью все, что делала она, было неестественно, фальшиво, ужасно! Она сама не верила в свой гнев, в свое желание выгнать его. Она не прожила, а проиграла всю сцену с нелепой истеринкой в голосе, с ломанием пальцев — кошмар! Дремучая провинция прабабушкиных времен!.. Дешевый актерский наигрыш, который она безошибочно чувствует у других и люто презирает!..

Ей хочется зареветь от бессилия. Сдерживаясь, она снова и снова вникает в переживания своей героини. Ей мешает текст. В таком положении она сама, наверно, ревела бы в три ручья, надавала бы обманщику пощечин, выкричала бы разом все, что

она о нем думает, а уж потом сказала бы — уйди! Так и поступила Рита со своим журналистом, узнав, что он ей изменил: накричала так, что во всех уборных было слышно, распахнула дверь и крикнула: «Вон отсюда!» — и швырнула ему вслед, прямо в голову, его портфель и букет, с которым он к ней разбежался. А потом стояла в дверях и смеялась, глядя, как он вместе с пожарным подбирает с полу разлетевшиеся из портфеля бумаги…

Да, но Рита — другой характер, другое время, про нее не скажешь «обманутая девушка», она сама кого хочешь обведет.

Валерка!..

Шумы густо населенной квартиры она научилась отключать, будто их нет вовсе, но осторожный поворот ключа в замке и еле слышный хлопок входной двери она не пропустит — так входит только Валерка, потому что ключ у него «нелегальный», он тут не прописан, и они оба побаиваются квартуполномоченной, придирчивой дамы, которую они между собой называют Засохой. Правда, Засоха уже привыкла к Валерию и даже обращалась к нему с просьбой поставить жучка, когда перегорела пробка, но таиться от нее стало волнующей игрой, особенно по утрам, когда он скользил по квартире невидимкой.

Сразу повеселев, она готовится, как всегда, побежать навстречу и броситься к нему на шею, чтобы он подхватил ее и покружил, или поднял на руках, или прижал к себе и целовал, целовал… Но в последнюю минуту она решает разыграть его и проверить на нем свою роль, и не бежит навстречу, а застывает в глубине комнаты у стены, как застывала у воображаемой стены на репетиции. И вот он входит, она видит его ищущий взгляд и заранее проступившую улыбку (и тут же про себя отмечает, что вот так же удивительно естественно входил Алешка).

— Я все знаю, — произносит она, останавливая его вытянутой вперед ладонью, — у тебя есть жена и ребенок.

Валерка запнулся на миг — и подхватывает как ни в чем не бывало:

— У меня их четверо, Маришка, четверо в разных местах! — Он сгреб ее в объятия и поцеловал. — Если ты когда-нибудь родишь мне сына, это будет пятый. Да, еще есть дочка в… в Австралии, но это ведь не считается за дальностью расстояния?

Она не могла не расхохотаться, сама поцеловала его, но, когда он крепко обнимает ее и хочет продолжить это лучшее из занятий, решительно отталкивает:

— Погоди. Я в полном отчаянии. Не умею, не понимаю, на репетиции делала черт те что. Получила такую роль — и провалюсь.

— Провалишься, — весело соглашается он и тянет ее к

креслу, где они чудесно умещаются вдвоем, — как пить дать провалишься. И вкрадчивая кошка Рита добьется этой роли.

— Вполне возможно. Не понимаю, что тут веселого?

Она все-таки засмеялась, пошучивания по поводу Риты у них в ходу и доставляют ей удовольствие, она отлично помнит, как Рита начала заигрывать с новым осветителем, стремясь присоединить его к своей коллекции, но он, позубоскалив с нею, все-таки прилепился не к Рите, а к Маришке, совсем не знаменитой, начинающей актрисе. Заметив это, Рита бросила ей высокомерно: «И чего ты нашла в этой дылде?» Они обе любят повторять: и чего ты нашла, и чего я нашла в этой дылде?! Но сегодня, умостившись рядом с ним в кресле, она возвращается к тому, что ее мучает:

— Понимаешь, или пьеса — дрянь, или я ничего не понимаю. Они любили друг друга. Целый год!..

— Совсем как мы, — вставляет он.

— Как мы?.. — Она на миг поразилась сравнению, ноне захотела отвлекаться. — Как же она могла за целый год не почувствовать фальши?.. Ну хоть что-то уловить… заподозрить… — Поразившее ее сравнение выплывает снова: — Ну вот ты… мог бы ты не почувствовать, что я тебя обманываю?

— А кто тебя знает!

— Перестань, я серьезно. Мог бы?.. Я бы обязательно почувствовала. Если ты по мелочи соврешь или недоскажешь, я и то чувствую.

— Это как сказать. Я бываю очень хитрым.

— Не трепись. Утром репетиция, самая ответственная сцена, а у меня ничего не выходит. Алешка прибегает беззаботный, влюбленный, у него это здорово получается, как будто он тысячу раз обманывал и выкручивался. А у меня сразу эти дурацкие слова: «Я все знаю!..»

— А что, ты так сказала — прямо мурашки по коже. Мне почудилось, что у меня действительно где-то припрятана жена с ребенком.

— Можешь ты побыть серьезным… дылда чернобровая? — Она приглаживает пальцами его густые брови и, растолкав его руки, устраивается в его объятиях, но продолжает о своем: — И это трагедийное «уйди!», да еще дважды подряд! Разве она не хочет выслушать его? Найти оправдание? Нет, откажусь репетировать. Ну что я могу… когда я не верю, что именно так она себя поведет!.. Когда ни черта не понимаю в ней!

Помолчав, она говорит со злостью:

— Рита не стала бы мучиться! Она даже издевается — «правда чувств», «правда чувств»! Ей важно, чтоб дошло до

каждого идиота. И чтобы отбивали ладони. Она бы вскинула руку, как в античной трагедии, и гаркнула на весь зал: уйди!

— Рита работает на публику, — посмеиваясь, поддакивает Валерка.

— Пусть срывает аплодисменты, я за этим не гонюсь, — еще сердитей говорит Марина, потому что в глубине души знает, что ее главная соперница совсем не пренебрегает правдой чувств, но умеет с удивительной легкостью (или так кажется?) проникнуть в правду характера и зажить в роли подкупающе просто. Но сейчас ей приятно осудить Риту, потому что сама она растеряна и не верит в свои силы, и она повторяет: — Я не гонюсь за аплодисментами. Мне надо понять ее состояние… поверить…

— Это не так просто. — Валерий становится загадочным, смотрит в сторону. — Ты же пока щеночек с мокрым носом. У тебя никакого жизненного опыта. Зато самоуверенности!.. «Я бы почуяла»… «Я бы», «я бы»… Вот я к тебе год хожу, даже ключ доверила… а ты хоть видела мой паспорт, какие там штампы да записи? Ты хоть разок задумалась, почему я не схватил тебя за руку и не потащил в загс? И ни разу за весь год не заикнулся о женитьбе, что обычно делают порядочные джентльмены в подобной ситуации?

Удар прямо в сердце — не в переносном смысле, а физически она ощущает сильный и глухой удар в сердце, отзывающийся такой же глухой и сильной болью. И тут же догадывается, что он шутит, но, как бы он ни трепался, вопрос остается: почему?!

— Ты с первого дня поверила, что я живу в общежитии. А живу ли я в общежитии? Может, у меня дом и семья, жена и ребенок, и когда я ухожу ночевать в общежитие под предлогом, чтобы меня оттуда не выбросили совсем… может, я возвращаюсь домой? И пусть я не очень лажу с женой, но, как сказал Чехов, жена есть жена?

— Перестань! — Ее губы дрожат, глаза полны слез. — Перестань, такими вещами не шутят.

— А если я не шучу? — Увидав, как она побледнела, он притягивает ее на колени и крепко-крепко прижимает к себе. — Представила себе? А теперь попробуй заново продумать свою аварийную сцену.

Она рванулась из его рук, но он удержал ее, плачущую, злую, бормочущую сквозь всхлипывания, что так нечестно, такой ценой ей не нужно…

— Тогда пососи леденец. Вот этот, кисленький.

Он всовывает ей в рот леденец, она послушно сосет его, слышно, как он перекатывается у нее между зубами.

Она переводит дыхание и затихает, всем существом ощущая,

что он тут, рядом, любит и все, что он наговорил, — неправда. Но вопрос остается: почему? Она обращает этот вопрос и к себе самой. Она всегда исповедовала свободолюбие и независимость в любви. Театр — главное, искусство — вся жизнь, а любовь — дополнение, развлечение, разнообразие, пожалуй, и допинг, как говорит Рита. Ее первые краткие связи были приятны, но не оставили в ее душе особого следа. Когда появился Валерка, она тоже поначалу не придавала их отношениям особого значения, даже рисовалась этим. Летучая связь молодой актрисы со студентом, подрабатывающим в театре на должности осветителя, — почему бы нет? Но связь становилась все прочней, во время гастрольной поездки она тосковала без него и ходила потерянная, когда долго не было писем… Потом на вокзале его не было среди встречающих, и она пережила несколько минут горя, и страха, и ревности, пока не увидела его длинную фигуру — он несся, запыхавшийся, протаранивая вокзальную толпу и держа над головой связку растрепанных цветов, и она не удержалась, побежала навстречу, и они при всех целовались, так что потом в театре отбою не было от всяческих шуток… Но и тогда она все-таки не поняла, что Валерка для нее — та самая вторая половина, не разделишь. Радовалась, что он есть, и верила, что так и будет. А он может в один злосчастный день уйти из театра, не прийти к ней и вообще исчезнуть? Может даже не сказать «прощай», и останется от него только пара рубашек да зубная щетка… А он ей нужен. Нужен сегодня, завтра и всегда.

Валерка держит ее, притихшую, и поигрывает хвостиком ее волос, то пощекочет ей шею, то поводит им по своим губам. Ему не нужно спрашивать себя — почему? Он любил женщин, но вовсе не спешил жениться, а когда поступил в театр, тем более не спешил, ждал интересных приключений, и ему сразу повезло, сама премьерша Рита завела с ним увлекательный флирт, и уже было назначено решающее свидание (о чем никогда не узнает Маришка), когда в столовой, в очереди за сосисками с капустой… Да, он стоял в очереди, но как раз перед ним сосиски кончились, и остались одни биточки, он огорчился, а сзади раздался энергичный голос: «Ничего, и биточки пройдут!» Он оглянулся и увидел Маришку. Они дружно взяли биточки и компот, сели за один столик… Потом они говорили: счастливые биточки! Он довольно скоро понял, что с Маришкой не флирт и не приключение, но чем сильнее он любил, тем тщательней оберегал свою тайну, потому что Маришка в первые же дни посвятила его в свои теории, что искусство — все, а любовь… Он не хотел быть смешным и старомодным. Может, действительно талант должен быть свободен от всяких уз? Может, актрисе необходимо

разнообразие чувств, смена впечатлений?.. А Маришка, оказывается, самая обыкновенная девчонка, только нервная и впечатлительная (от таланта?), и никакая она не жрица свободной любви, вот он устроил сейчас довольно жестокую проверку ее чувств, и она расплакалась и до сих пор сопит как маленькая… Ведь и тогда, на вокзале, понял же он, что она любит! Потом снова не поверил… Но ведь любит! И надо решать, пока ее не увели, столько крутится вокруг нее всякого народу, тот же Алешка, которым она восхищается…

Маришка вдруг выскользнула из его рук, пробежала по комнате и остановилась перед ним, взяв в ладони лицо и глядя перед собой счастливыми глазами:

— Я дура! Дура! Никакой не гнев и не гордость надо играть, а любовь! Вся роль — любовь, и только! Она не могла подозревать, приглядываться, выслеживать, потому что любила! Любила — значит, доверяла. А когда все рухнуло… тут уже петля, тут такое отчаяние, до столбняка! И никакие объяснения уже не могут…

Взглядом она как бы наткнулась на Валерия, мимолетно улыбнулась ему, но он сейчас мешал, и она сказала с азартом, который он больше всего любил в ней:

— Ты чем-нибудь займись, ну почитай, что ли, только молчи и повернись лицом к стене, ладно? Я поработаю.

Женщина неторопливо гладит простыни. Движения однообразны, думать не мешают, и она думает о том, что скоро зайдет Степанида и надо будет идти с нею, раз согласилась, а зачем? Кто может ей помочь? Если бы раньше, может, вымолила бы, на коленях ползала бы… А сейчас — о чем?.. Глаза жжет как от слез, но слез нет. Прикрыв глаза от бьющего сверху света, она видит только белое полотно и поблескивающий утюг — вперед-назад, вперед-назад, — а в воображении встает все то же, все то же: солнечный пляж, солнечная вода озера, черное, изогнутое — будь оно проклято! — нависшее над водою дерево, от группы парней отделяется Лешенька, он ловко взбирается по изогнутому стволу, выпрямляется в рост — в одних плавках, мускулистый, загорелый, самый лучший на свете… Стой, стой! Не надо!! Но он не слышит, он весело кричит: «О-го-го-го-го!» — и, сдвинув ладони вытянутых рук, прыгает вниз головой. Зарябила и

сомкнулась вода. Тишина… Только на этот раз она сама тут, она бросается в воду гораздо раньше, чем его застывшие от ужаса приятели, она ныряет глубже всех и первою находит подводную корягу, о которую он стукнулся, и его бездыханное тело среди водорослей, у нее хватает сил вытащить его на поверхность, парни помогают, делают искусственное дыхание, они делают его долго, но недостаточно, можно еще! Нужно еще!! — все уже отступились, а она упрямо отгибает назад и пригибает к коченеющей груди безжизненные руки, и вдруг легкое трепетание жизни проходит по его запрокинутому лицу… Почему, почему ее не было там, рядом с ним?!

— Ты готова, Маша?

Степанида, как всегда без стука и без спроса, протискивается в комнату своим рыхлым, грудастым и бокастым телом. Неодобрительно оглядывает соседку, тянет вздернутым носом:

— Никак, спалила?

Маша отдергивает утюг — на том месте, где ее рука прервала движение, на полотне отпечатался коричневый след.

— Не дело и затеяла. Ведь идтить скоро.

Маша жалко улыбается:

— Ох, не знаю. К тому же Ирочка обещала забежать, да вот… Может, задержало что…

— Что девушек задерживает, известно, — язвительно перебивает Степанида, — говорила ж я, что видела ее! С парнем! У кино! Волосы что грива у лошади — на один бок, юбчонка еле-еле стыд прикрывает. Тьфу!

— Молодая же, — робко заступается Маша, распрямляя на подстилке белую блузку с множеством складочек. Пересохшие складочки не даются, морщат.

— Да ты-то, Марья, не молодая, — сурово говорит Степанида. — А все как девка неразумная: то пойду, то не пойду, то хочу, то не знаю. Небось за какой грех тебя бог наказал, знаешь? Отмоли! Истинно говорю тебе: на коленях да со слезами — отмоли! Может, господь бог в благости своей простит тебя за усердие твое и встретишься ты со своим Лешенькой у подножия его!

Маша ставит утюг на подставку и ошеломленно глядит на Степаниду. Ее крупное, с обвисшими щеками, буро-красное лицо сейчас строго и вдохновенно, будто она действительно и с т и н н о знает, что делать и что их ждет. Может ли это быть? И что она сказала о грехе и божьем наказании?.. За мой грех — Лешеньку?! И как же это — встретиться с Лешенькой у подножия… господа бога?..

Ей становится страшно. Десять лет они живут рядом, больше

двадцати работают на одном участке, по возрасту почти равны, только Маша худенькая и даже теперь выглядит моложаво, по-прежнему все зовут ее Машей или Машенькой, а Степаниду за глаза и даже в глаза величают Степанидой Гиппопотамовной, а то и просто Гиппопотамом. Пока был жив ее муж, Степанида была обычной бабой себе на уме, хитроватой и неряшливой, иногда сварливой («Ну понеслась!» — говорил ее муж), иногда бесшабашно веселой. Когда ее скромный, затюканный ею муж умер, она голосила так, что с улицы прибегали на крик, на похоронах кидалась на гроб и требовала, чтоб ее закопали вместе с мужем. Потом замкнулась: заговоришь — буркнет и отвернется. А с год назад появилась как бы новая Степанида, суровая, всезнающая и говорящая чужими, странными словами. Степанида, которая ходит в с е к т у. И теперь в одной квартире с Машей живут как бы две Степаниды, и если с первой, понятной, Маша никогда особенно не считалась и не считается, то вторая, загадочная, все больше забирает над нею власть, временами от этой власти хочется отряхнуться, как от кошмара, но все чаще наплывают мысли, что вот в безнадежности горя — какой-то огонек, проблеск надежды, спасение… Пусть соломинка, чтоб ухватиться… а вдруг?.. А вдруг?! Может, и правда, не в этой жизни, а где-то там, за гробом, что-то все же есть и как-то встречаются родные души?.. О, если бы! Если бы! Хоть разок, хоть на минуту!..

— Верно говорю, Марья: отмоли грех, заслужи — и снизойдет на тебя благодать господня! — грозно говорит Степанида и добавляет простецки: — Ну так пойдешь или нет?

— Пойду, пойду, вот только доглажу.

— Ну смотри!

Степанида уходит. Складочка за складочкой, складочка за складочкой. А мысли неспокойные, взъерошенные какие-то. Бог. Если он все видит и знает, как он мог за ее грех — Лешеньку? Лешенька-то в чем виноват? И почему — грех, если она любила и верила, и была война, и, может, погиб в бою тот лейтенант Толя, а вовсе не скрылся, как судачили бабы в деревне?..

Водя вперед-назад утюгом, она вспоминает своего лейтенанта Толю, как давно не вспоминала. Двадцати еще не было ему, новеньким погонам радовался как мальчишка, рвался на фронт — война шла к концу, успеть бы! И страх смерти или увечий трепетал в нем глубоко-глубоко, и жажда подвигов, и торопливое желание познать любовь, наглотаться нежности… С материнской проницательностью понимает она теперь то, что между ними было (всего-то за одну быструю неделю!). А лица не помнит, старается вызвать в памяти, но перед глазами встает не Толя, а

Лешенька… ведь похожи!..

Негромкий стук.

— Это я, тетя Маша! Можно?

Ирочка вошла — как скользнула в щелку. Обнять не посмела, только чуть приложилась щекой к Машиному плечу и сразу же перехватывает утюг:

— Давайте поглажу.

— Ну зачем ты? Я бы сама, — бормочет Маша и охотно садится, распрямляя спину. Что-то уставать стала и слабость находит, иной раз даже голова кружится. Не ходить бы никуда, посидеть с Ирочкой, попить чайку… И чего Степанида наговорила? Волосы распущены? — так мода такая. И идет ей. Юбчонки не короче, чем у других молоденьких, тоже мода, а у Ирочки ножки стройные, ей можно. И ведь какая хорошая оказалась девочка! Отчего же раньше-то невзлюбила ее? За что?

— Еле вырвалась к вам, — тихо говорит Ирочка, — я теперь за весь ОТК отвечаю, за обе смены.

— Повысили, значит?

Ирочка виновато улыбается:

— Прежний начальник на пенсию ушел, а больше некого.

Вот такою же тихонькой она и впервые вошла в дом. Леша привел, объяснил — вместе работают и в вечернем институте в одной группе. Ирочка все молчала, только украдкой приглядывалась, а потом поднялась: «Извините, пора идти заниматься». И ушла. И Леша пошел за нею как привязанный. Вечером рассказал, что она сирота, с шестнадцати лет работает браковщицей, теперь на инженера учится, на заводе ее очень уважают. «Ты не смотри, что тихая, она ух какая принципиальная! Хоть сгори план и премии, брака не пропустит!» — «У вас что же… серьезно?» Леша покраснел и сказал: «Очень!» Все бы ничего, даже мысль мелькнула: «Видно, скоро внуков нянчить!» — но душа просила отсрочки, сами собой пришли доводы: днем на заводе, вечером учеба, какая тут семья? Кончили бы сперва институт, стали бы на ноги, обзавелись, а то ведь ничего у них нет… «Как — ничего? — со смехом воскликнул Лешенька. — Четыре руки, две головы и два сердца! А у Ирочки еще и комната двенадцать метров!»

Еще и комната! Вот за комнату и невзлюбила девушку. Уведет Лешу на свои двенадцать метров и не оглянется, какое ей дело до того, что мать одна растила, берегла, могла забаловать сыночка — удержалась, через все мальчишеские соблазны провела, не давая споткнуться, сама от всего отказывалась ради сына!..

Теперь отпустила бы хоть за тысячи километров, лишь бы

знать — живой. А тогда показалось — жизнь рушится. И все вспоминала, как очертя голову удрала из родной деревни с четырехлетним сынишкой на руках, чтоб никогда не услыхал Лешенька злое слово «приблудный»… Ради общежития и прописки поступила чернорабочей на стройку; ох и намаялась! — работа тяжелая, утром спешишь отвезти Лешеньку в детсад, вечером с работы — забрать из детсада, да сготовить, постирать, поштопать, и всегда что-то на нем горит — то ботинки прохудились, то пальтишко тесно, то костюмчик порвался… Выучилась на маляра, заработок больше и квартиру обещают. В десятках новых домов белила потолки, оклеивала стены, красила окна и двери — и наконец, через десять лет сама получила комнату рядом со Степанидой и ее мужем — каменщиками того же стройтреста. Получила, а поставить туда нечего, ни кровати, на табуретки! Тогда и пошла она к пожилому маляру Еремееву в «халтурбригаду» — по вечерам ремонтировать частные квартиры. За все бралась, лишь бы заработать. «Маша у нас безотказная», — говорил Еремеев. И правда, безотказная! Мужчины сложатся на троих и уходят: «Докончишь, Маша?» И она кончает одна — иной раз за полночь. А сердце болит — Лешенька-то один, вдруг ключ потеряет? Или газ не выключит? Или пожар устроит?.. Ничего, вырос, семилетку кончил, поступил учеником монтера, при заводе вечернюю школу кончил, а немного погодя поступил в вечерний институт. Однажды поглядел на мать и сказал властно, как взрослый мужчина: «Кончу институт и сниму тебя с работы, хватит! А пока кончай с халтурками. Что, на две зарплаты не проживем?» И ведь настоял на своем! Да только… появилась сероглазая тихоня, где уж теперь о матери думать!..

И еще она вспомнила, стыдясь самой себя, что так и прожила без мужской ласки — ни вдова, ни девушка. Убеждала себя, что ничего ей и не нужно, кроме Лешеньки. А потом встал на ее пути Костя, крановщик. Влюбился, цветы приносил, со своей верхотуры записочки ей кидал. Сватался. Весь участок следил за их любовью, уговаривал Машу — выходи, человек самостоятельный, где другого такого найдешь, чтоб с ребенком брал?! И оказалось — все ей нужно, не кончается бабий век в двадцать восемь лет. Расцвела, повеселела, как увидит Костю — сердце колотится, губы немеют, к щекам жар приливает. Но не торопилась, пусть привыкнет к Лешеньке и Лешенька — к нему. Стал Костя приходить — то яблоко, то конфетку принесет, игрушку починит, в цирк обещает сводить. Привязался к нему Лешенька. Но однажды сидели они, чай пили и вели свой разговор, а Лешенька липнет — колесо у машины отлетело, почини. А Костя возьми и оттолкни мальчонку: «Да не лезь ты,

экой настырный!» На том и кончилось… И еще раз к ней сватался человек, когда Лешенька уже на завод поступил. Пожилой человек, вдовец. Померещилось Маше, что выпадет ей наконец облегчение, устала с работы на халтурку, с работы на халтурку, а по выходным — с одной халтурки на другую… Да и человек заботливый, встречает-провожает, придет — или пирожных принесет, или коробочку конфет, а то и сладкого вина. Степанидин муж сразу сдружился с ним, уговаривал Машу: «Чего думаешь? Выходи, чем одной всю жизнь маяться!» Степанида наскакивала на мужа: «Много ты понимаешь! Молодому — любовь, а старику что нужно? Бесплатную домработницу да сиделку при его хворях». Маша думала: был бы человек хороший, тогда и я ему помогу, и он мне, заболеет, так и поухаживаю, как же иначе?.. А решил вопрос Лешенька. Насупился, нахохлился: «Твое дело, мама, но если этот тип тебе нравится, я в общежитие уйду…» Так и жизнь прошла. Безмужняя вдова. Вся радость — Лешенька. Но вот женится — разве вспомнит, что ради него мать одна осталась!

Теперь бы она и не вздохнула, пусть любятся, пусть женятся, и они ко мне забегут, и я к ним. А тогда — наревелась втихомолку, чтоб Лешенька не заметил. От Ирочки глаза отводила, но через силу привечала ее — не ссориться же! В тот страшный день, когда они компанией поехали за город, она велела Леше привести Ирочку обедать — на пироги. «К шести поспеете?» — «На твои пироги да опоздать? Будем в шесть как из пушки!» Таким она и видела его в последний раз — веселым, с благодарной и счастливой улыбкой.

Тесто взошло легкое, пироги зарумянились в меру и к сроку. Шесть… половина седьмого… семь… четверть восьмого… Почему-то она не волновалась, только жалела, что пирог с капустой остынет. Полулежа на подоконнике, высматривала в воскресной толпе Лешину синюю с белым клетчатую рубашку… а увидела бегущую по улице девушку в Ирином сарафане, но с таким неузнаваемо страшным лицом, что кинулась ей навстречу и закричала еще прежде, чем узнала, как именно это случилось. А Ирочка припала к ней и не рыдала, а только дрожала крупной дрожью, и все повторяла: «Если б я не пустила его! Скажи я: не ходи без меня, не пошел бы. Ну зачем я пустила?!»

Первые дни горя они не разлучались. Кто кого поддерживал? То, что рядом был другой страдающий человек, вынуждало каждую из них как-то жить — готовить какую-нибудь еду, стелить постель, выходить за хлебом… Впервые не ревнуя и не стыдясь, они говорили о погибшем как о живом, узнавая, каждая по-иному, новые грани его личности и получая от этого горькую отраду.

Иногда им казалось, что они уже и не расстанутся. Но жизнь брала свое — обеим нужно было работать, Ирочка кончала институт, делала дипломную работу, потом на заводе ей дали путевку на юг, завелись у нее разные общественные дела… И все-таки она не забывала тетю Машу: прибежит, немногословно сообщит свои новости, вымоет пол или постирает замызганные малярные комбинезоны, а то просто посидят вместе, попьют чайку, помолчат. Проходили месяцы, прошел год, потом два года… Встречи становились реже, иногда Ирочка виновато рассказывала, что была в театре, или ездила «с ребятами» в Петергоф, или устраивали в клубе молодежный вечер… Маша одобряла — «ты молодая, жить-то надо!» — и потом, наедине, сама себя готовила к тому, что и любовь появится, не вековать же такой девушке одной. А в выходной приедет на кладбище — у могилки сидит Ирочка, сцепила пальцы, сжала губы, не плачет — молчит и думает, думает о своем…

Вот и сейчас гладит молча и невесть о чем задумалась. А Маша смотрит на нее и понимает, что ни с кем она не может ни поговорить, ни посоветоваться так, как с Ирочкой, что родней человека у нее нет, только Ирочка и привязывает ее к жизни, пусть тоненькой ниточкой, но привязывает…

— Ирочка!

— Что, тетя Маша?

Откликнулась ласково, а вид почему-то виноватый.

— Как думаешь, Ирочка… бог есть?

— Ой, ну что вы, тетя Маша! Был бы он… да и где ему быть?

Не знает Маша, где ему быть, но и мать с детства внушала ей, что где-то над ними, в небе, он есть и все видит, и Степанида тоже… А по радио говорили, что космонавты все небо насквозь пролетели и нигде ничего нет, кроме пустоты и невесомости, даже воздуха, чтоб дышать. Но если одна душа, может, и не нужен ей воздух и невесомость не мешает?..

— Ну а души… может быть, что души после смерти… встречаются?

Ирочка опускает утюг на подставку. Долго не отвечает, потом произносит чуть слышно:

— Если б это могло быть… я бы тогда — с того же дерева…

За стеной тяжело топает, громко ворчит, хлопает дверью Степанида. Напоминает, что пора идти. Что может знать Степанида? Но там, в молельне, есть, наверно, знающие и умеющие объяснить?..

— Я сама не знаю, Ирочка. Но говорят же люди, будто что-то есть… и, может, души не умирают…

Ирочка приоткрыла рот, чтобы возразить, но не возразила, а

как-то странно посмотрела, помолчала и задумчиво говорит:

— Так, наверно, легче.

И принялась доглаживать белье. Осталось всего две наволочки, но она их наглаживает еще тщательней, чем складочки на блузке. И вдруг громко, раздельно, как никогда еще не говорила:

— Тетя Маша, я пришла сказать вам. Я выхожу замуж.

Последняя тоненькая нить со звоном обрывается. И ничего уже нет, кроме холмика на Парголовском кладбище. Но надо сдержаться. Надо! Пусть не узнает Ирочка женского неизбывного, иссушающего одиночества.

— Кто же он?

— Наш, заводской Из отдела главного механика. — Помолчала. — Леша дружил с ним… — Всхлипнула, слезы одна за другой сбегают по щекам, капая на наволочку.

— Конечно, выходи. Что ж делать-то!..

Ирочка подходит, прижимается к плечу Маши мокрым лицом.

— Вы не думайте, тетя Маша, я никогда не забуду. И к вам приходить буду, как и раньше. Непременно буду.

И тогда Машина душа словно взмывает над образовавшейся пустотой, над лютым горем, над беспросветностью собственного существования, — взмывает и обретает мудрость и твердость.

— А вот это не нужно, Ирочка. Не приходи. Забудь. И начинай жить сначала. Так будет лучше. Правда, лучше!

У нее хватило сил поцеловать девушку на прощание, пожелать ей счастья и проводить до выхода, и, только вернувшись в свою вконец опустелую комнату, упала на стул, кинула руки на теплую еще подстилку, уткнула лицо в горку теплого, пахнущего глажкой белья и запричитала — не вслух, а сдавленно, шепотом, одно только слово: «О-ой, о-ой, о-ой…»

Степанида вошла неслышно, положила тяжелую ладонь на ее плечи и стоит, колышется над нею крупным, рыхлым телом, сострадая и жалея. Но, когда она своими дюжими руками каменщика отрывает Машу от стола, ее голос звучит как всегда, грубовато-напористо, обычные бабьи слова перемежаются чужими, заемными, пугающими и баюкающими Машу:

— Утри слезы да пойдем, а то и в моленную не пробьешься. Утешать не берусь, Марья, утешит тебя господь бог, если припадешь к стопам его и очистишь душу молением… Из-за чужой девки плакать, очень-то нужно!.. Тоскуешь ты, Марья, от безверия, истинно говорю тебе, сама закрываешь глаза от света истины! Ну зачем живешь, с чем помирать будешь? Подохнешь, и все! — а свет божьей истины направит и озарит тебя, и откроется тебе прощение и благодать, и за гробом — свидание с дорогой

душой… Ну пойдем, что ли? Сколько мне стоять над тобой?!

Маша послушно вытирает слезы и накидывает жакетку, затем, взглянув на Степаниду, берет темный головной платок и тоже повязывается им до бровей. И тогда, сжавшись, семенит за Степанидой, как слепая за поводырем.

Остановить!.. Удержать!.. Но как? Как дойти вот до этих двух душ?.. Стена и стекло. И не достучаться.

Вот они вышли из-под арки ворот и удаляются вдоль темнеющей улицы. Я вижу широкую спину и крупно шагающие массивные ноги Степаниды, семенящую за ней маленькую фигурку в черном платке… Вот они растворились в темноте…

Стою у окна, смежив веки. Меня душит бессилие. А когда открываю глаза, они сами тянутся — мимо множества окон — вон к тому неяркому, сосредоточенному свету.

Лампа-сгибайка с металлическим колпачком четко ограничивает круг света на рабочем столе. Раскрытые книги с карандашными подчеркиваниями и отметинами на полях, логарифмическая линейка, готовальня, лист бумаги с ползущими вкось столбиками цифр, большие руки, для которых карандаш маловат и хрупок, и склоненная над листом кудрявая голова с наморщенным лбом, закушенной в раздумье губой и прищуренными на что-то искомое глазами…

Все остальное, непричастное к работе, тонет в полутьме, оно не имеет значения, что есть — то есть, неважно. Человек думает. В тишине тикает будильник. Тикал бы медленнее, столько нужно успеть до ночи!

А в деловые размышления незаметно вклинивается нечто совсем постороннее. Человек откидывается на спинку стула, разминается, вот и улыбка пробилась — теперь видно, что человек-то совсем молод, ни морщин на лбу, ни сурово закушенных губ, — молод парень, от силы двадцать пять. Мальчишеским движением он стряхивает с верхней полки и подхватывает маленький атлас мира, находит там карту Индии и, хмыкая, разглядывает ее. Индия! Это все-таки здорово — б ы л о б ы — поехать в Индию. Что я знаю об Индии? Джа-ва-хар-лал Неру. Индира Ганди. Реки Брамапутра и Ганг. Бомбей и

Калькутта. Священные коровы или слоны? Кажется, слоны. Древнейшие храмы. Танцы, где особо выразительно действуют руки… Вот и все? А Миронову я смертельно надоел со своими идеями. Он впервые за два года был приветлив: «Поздравляю, есть мнение включить тебя в группу наладчиков оборудования — в Индию, на год!» Он, кажется, не сомневался, что перед таким соблазном я спасую. «Товарищ Миронов, спасибо, конечно, но я должен довести дело до конца». Ох и рассердился же он! «Ты просто чудак! Сумасшедший чудак!» Интонация была такая, что понимай — дурак. А потом кричали все по очереди. И все повторяли — чудак. Разными интонациями. Только тихий главинж Павел Васильевич не кричал, а уговаривал: «Ну пойми, Митя, идея у тебя толковая, но абсолютно невыполнимая в наших условиях. Преждевременная! Придет пора, дойдет и до такой автоматизации, тогда НИИ разработает, нам спустят деньги, учтут в плане… иное дело! И вообще этим НИИ занимается!» А когда он сказал, что именно для НИИ готовит материалы, потому что в научно-исследовательский институт не пойдешь с карандашными набросками и словесными объяснениями, Павел Васильевич только охнул: «Правду говорят — неисправимый ты чудак!»

…А ведь случалось в истории, что именно чудаки двигали прогресс. Это не значит, что я двину. Ничего нового я не открыл, просто нашел хорошую возможность механизировать и автоматизировать две канительные операции. Окупится же — и быстро! Не надо быть экономистом, чтоб сообразить это. А я и подсчитал. Вся беда в том, что техника развивается быстрей, чем техническое сознание производственников. Сегодня они боятся мороки, а когда отстанут — спохватятся. В технике всегда так: что сегодня преждевременно, завтра запоздало.

…А в Индию — здорово заманчиво.

…Я бездельник! Сижу и мечтаю. Вместо того чтобы работать. А мой железный график горит.

Железный график висит перед ним на одной кнопке. Рассчитанный на пять месяцев — впритык. Если не отвлекаться ни на какие соблазны — ни малые, вроде футбола, ни такие громадные (прямо Эльбрус соблазна!), как Индия. Пять месяцев недосыпа, недогула и вообще не до всего на свете. Пять в том случае, если ни в чем не заколодит. А то и больше. Значит, ни минуты зря!

Он энергично разминается и набрасывается на листок с цифрами. Считает. Ин-тер-ресно получается! Вникли бы лучше, чем обзывать чудаком!

За стеной, в коридоре, звенит телефон. Ну и пусть — дернулся, но усидел. Телефон звенит-заливается. Пойти? Нет,

кто-то уже подходит. «Кого? — лениво спрашивает соседка. — Сейчас позову». И неторопливо шаркает тапками. Сюда или мимо?.. Карандаш выпал из пальцев, все равно ни одной цифры не разглядеть, на лист с цифрами почему-то наплыл серебристый туман, этакая мерцающая пленка.

— Митюша, вас!

Стул отлетел в сторону, дверь отлетела в сторону, соседка тоже куда-то отлетела охнув. Схватил трубку — и глотает воздух, прежде чем откликнуться осевшим голосом:

— Алло.

— Митюшка? Здорово!

— Здорово.

Будто двое школяров говорят, без всяких там штучек-дрючек, а то само мерцающее сияние перебралось сюда и окружило черную коробку настенного аппарата, доносящего независимый голосок с придыханиями от робости:

— Ты что делаешь?

— Ну что, тружусь. Считать начал. Сбила.

Она молчит. То ли испугалась, что сбила его со счета, то ли хитрит. А вдруг разъединили?!

— Ленушка, ты слушаешь? Это ничего. Как сбился, так и вобьюсь. А ты откуда звонишь?

— Из автомата. Понимаешь, ребята зовут в кино. Может, пойдем?

— Ну ты же знаешь!

— Отдохнуть-то когда-нибудь можно? Всего два часика.

Ох! Голосок близок и вкрадчив, а за спиной что-то нарастает, нарастает…

— А кто из ребят?

— Петя с Ларкой. Демин со Светкой. И еще Виталька.

— Ага. Еще, значит, Виталька.

— А что-о?..

— Ничего. Просто так.

Она выжидает.

— Вас целая компания. Так зачем тебе я?

— По-моему, это твоя компания, твои друзья, — начинает она запальчиво и вдруг отчаянно: — Раз звоню, значит, нужен. Мне.

Теперь он молчит. Это надо переварить. Нужен. Мне. Если б увидеть сейчас ее лицо, этот ее взгляд искоса…

— Так пойдем, Митюш?

Он с тоской оглядывается на приоткрытую дверь своей комнаты, где висит на стене железный график, где оставлен стол и цифры, такие нужные цифры, множество очень важных для него цифр… но между ним и дверью успела нарасти прямо-таки глыба,

фосфоресцирующая глыба соблазна — хоть штурмуй ее по всем правилам воспитания железного характера, хоть беги мимо нее — на улицу. Но ведь это не два часа, а целый вечер, раз уж встретились, так пойдешь провожать… А если пропадет вечер, весь план к черту, и суббота, как назло, черная, и в воскресенье не выполнишь намеченное.

— Сегодня никак.

Сжав челюсти, он грозно вперился в расстояние между собою и дверью — и все! Никакой глыбы, никакой фосфоресценции, коридор как коридор.

— Если хочется, ты иди с ребятами.

— Ну-у…

Пауза становится затяжной. И все отвратительней думать, что она согласится и Виталька будет тут как тут со своими шуточками и анекдотами.

— А тебе чертить не нужно?

Сквозь черную коробку просвечивает ее неуверенная улыбка.

— В том-то и дело, что в воскресенье у меня намечено обязательно сделать один чертеж. А до того все просчитать!

— А если я тебе помогу? Ты же знаешь, у меня всегда была пятерка по черчению.

— Что ж тебе воскресный день терять, — мужественно говорит он и ждет, что она скажет. Но она гнет свое:

— Никто ничего не теряет. Ребята уже заняли очередь в кассу, ты подбежишь к началу, полтора часа — и все. Будешь считать завтра и в субботу, если не поспеешь — и утром в воскресенье, а я буду чертить хоть до ночи. И все быстро сделаем.

Он растерянно озирается. Он не может сказать, что при ней не до работы, какое там «быстро сделаем»! И что таких чертежей она не только не делала, но и не видала!.. А перед дверью его комнаты уже не глыба, а прямо-таки высочайшая гора с призывно сверкающей вершиной, с отвесными обрывами и глубокими расщелинами, соскользнешь — и крышка. Эверест или Джомолунгма — тоже где-то в Индии или около… А далеко за этим Эверестом или Джомолунгмой соблазна — стол и работа, его работа. Но от черной коробки телефона до того стола — не шагнуть.

— И фильм, говорят, очень хороший. С Банионисом.

— Вот и пойдем в воскресенье вечером, если успею с чертежом.

Он сам удивлен, как у него получился этот невероятный, непосильный шаг через Эверест. Перешагнул — и точка.

— Что делать, Ленок. Есть на свете гуляки и счастливчики, у которых на все хватает времени. А я трудяга. Ишак. Некоторые

еще обзывают чудаком.

— Есть немножко, — говорит она, — так я возьму в предварительной на последний сеанс. И позвоню в субботу вечером.

Потом он снова сидит за столом и считает. Очень интересно получается. Да, очень интересные, убедительные цифры! Он улыбается и подмигивает им, этим цифрам. И самому себе. И вдруг понимает, что она все же придет на все воскресенье (со своими пятерками по черчению!) и вечером они пойдут в кино. Что ей Эвересты! — она запросто мелкими шажками обошла его, этот Эверест со всеми его обрывами и расщелинами… Что ж, если он посидит подольше ночью и сделает чертеж в карандаше, она вполне справится с тушью. И вообще она молодец. Ребята, наверно, сейчас ее уговаривают. А Виталька? Пойдет он в кино или увяжется провожать ее домой?..

Он заново переживает весь разговор и мысленно спотыкается на собственных словах — трудяга, ишак, есть счастливчики… фу, какое жалкое вранье! Никакой я не ишак и не несчастненький. Я, может, и есть счастливый, потому что делаю то, что хочу и люблю, и Лена это понимает, и если ей рассказать про Индию, тоже, наверно, поймет. Есть ведь — должно быть! — в самом человеке нечто, что важнее и шире самого отменного благополучия, зарплат и квартир, развлечений и даже интересных поездок. Есть разные способы жить…

Да, но если ей надоест?..

Холодея от этой мысли, он не позволяет себе обманываться: то, что он хочет и любит, не на пять месяцев, а на годы, может и на всю жизнь, и от этого он не откажется, потому что ему скучно быть ишаком и смотреть себе под ноги, он видит будущее техники и будет биться за п р е ж д е в р е м е н н о с т ь, потому что, если не начать вовремя, будет запоздание, отсталость, рутина… Плохо, что пока один, нужна пропасть знаний, пропасть работы. Вместе бы! Но, когда он хоть как-то оформит свое предложение, найдутся же люди! Главное — не психовать. Пусть не сразу найдутся, а пока железно трудиться и плевать на препятствия, И ни в чем не отступать.

Да, но если ей надоест?..

Когда у кого-либо в доме случается беда или ссора с соседями, нет лучшей слушательницы, чем Евгения Кирилловна. Она всегда посочувствует, а то и вмешается. Найти ее легко — если погода мало-мальски сносная, она часами сидит во дворе, в зеленом садике, устроенном рядом с детской площадкой. Врачи велели Евгении Кирилловне побольше дышать воздухом, а ходить ей трудно — под тяжестью располневшего тела ноги стали прибаливать и пухнуть. Многие знают, что ее собственная жизнь не задалась, но Евгения Кирилловна не распускается, одета опрятно и даже кокетливо, на садовом столике перед нею одна-две книги и школьная тетрадка, в которой она бисерным почерком записывает свои замечания или понравившиеся мысли. На вопросы соседей она отвечает уклончиво:

— Должны же быть у человека духовные интересы!

Впрочем, она охотно отрывается от своих занятий, если кто-либо подсаживается к ней или проходит по двору. Она знает, кто с кем поссорился, кто в кого влюблен, у кого праздник и кто заболел. Боятся ее только мальчишки — будто нюхом чует, кто и как нашкодил, да неверные жены и загулявшие мужья — встретит и проводит таким взглядом, что деревенеют ноги, а при случае и предупредит кого следует.

— Я человек добрый, — говорит она, — но надо же бороться с безнравственностью.

Среди большого населения дома у нее есть подопечные, чьей судьбой она живо интересуется. Вот и сейчас она держит в руках книгу, а сама высматривает, не возвращается ли из магазина Ксения Федоровна, — три месяца назад эта женщина горько плакала у нее на плече, сын хочет жениться, а по всему видно — счастья не будет! С тех пор молодая невестка утвердилась в ее квартире, а Ксения Федоровна ежедневно проходит туда-сюда, но всегда спешит, поклонится — и мимо…

— Ксения Федоровна, ну можно ли вам таскать такую тяжелую сумку! Садитесь, передохните.

— Пошла за хлебом-булкой, а попались арбузы. Взяла два, с вырезом. Красные!..

Ксения Федоровна садится отдуваясь, но как-то не чувствуется у нее желания откровенничать. А ведь как плакала!..

— Я так тревожилась о вас, дорогуша, даже ночью проснусь и думаю: как там бедняжка Ксения Федоровна? И сама всплакну.

Ксения Федоровна удивленно смотрит, потом смущенно улыбается:

— Это вы о том? Ну поплакала по глупости, да и забыла! Такой уж народ матери, всего боимся. Не бедняжка я, Евгения Кирилловна, пожалуй — счастливая. Повезло мне. И Андрюше

повезло.

— Да что вы? — В голосе Евгении Кирилловны звучат недоверие и обида.

— Что мы знаем о человеке, пока в жизни, в поступках не увидим? Привел ее Андрюша — уж больно неожиданно! — а она смотрит дичком, исподлобья, спросишь — еле выжмет слово… как с такой ужиться? А теперь прямо посветлело в доме! Поверьте, только возьмусь полы мыть или стирать, Ася бежит: «Зачем вы, мама?! Я сделаю!» — тряпку и ведро отнимет, от корыта отставит, и все весело, быстро, с шуточками… А уж Андрюшу прямо не узнать!

— Очень, очень рада за вас.

Ксения Федоровна берется за сумку, чтобы уйти, Евгения Кирилловна придерживает ее за рукав:

— Не балуйте их, дорогуша. В первые месяцы все хороши, а потом… Вы знаете, как я вас уважаю. И уж кому-кому, как не вам, счастья бы хоть на старости лет, столько горя хватили!

— Всего было, и счастья, и горя, — неуступчиво отвечает Ксения Федоровна, — жизнь есть жизнь. Все вперемешку.

— И Андрюшу вашего я люблю, — продолжает Евгения Кирилловна, — ведь с таких лет знаю! Теперь ему, видимо, за тридцать?

— В сентябре будет тридцать.

— Уж больно молоденькую взял! Девчонки, конечно, за таких серьезных охотно выходят. Надежней, И баловства больше.

— Всего шесть лет разницы, — запальчиво возражает Ксения Федоровна. — И какая она девчонка? Инженер. Любит его, это же чувствуется. А что побалует ее, так какой же это муж, если не балует? Меня, бывало, муж на руках по лестнице вносил.

— Инженер-то инженер, — не отвлекаясь, продолжает свое Евгения Кирилловна, — а все на девчонку смахивает. Вчера, гляжу, идет из магазина, присела вон там, вынула кулек фиников да весь и усидела. Конечно, сама зарабатывает, чего ж не купить, если хочется.

— А я сроду не ела фиников.

— Отчего же, мне дочка иногда приносит. Вкусно.

— Кто что любит.

— Так-то так… А только в мое время — создала семью, так каждую копейку домой несешь. И уж если купишь вкусненького, так выбираешь, что и другие любят.

Ксения Федоровна тяжело поднимается со скамьи, радость в ее лице померкла, но говорит она добродушно-насмешливо:

— Ну какое такое ваше время? Девятнадцатый век, что ли? В нашу-то молодость мы деньги вообще презирали, есть они —

тратим, нету — невелика беда! Ни в своем, ни в чужом кармане не считали, — добавляет она уже без добродушия и, чуть кивнув, уходит.

Евгения Кирилловна оскорбленно сжимает губы. Сочувствуешь человеку, для ее же блага предупреждаешь, а она…

— Голубушка, Евгения Кирилловна, можно я около вас поплачу?

Эта соседка, с покрасневшими от слез глазами и носом, уже который год подкарауливает Евгению Кирилловну, чтобы поплакать всласть и пожаловаться — опять муж пришел пьяный, получку пропил да еще, похоже, ее сережки загнал…

Евгения Кирилловна охает, советует подать в суд и соглашается быть свидетельницей. Женщина поддакивает и благодарит, «только с вами и отведешь душу!» — но подавать в суд все-таки не хочет, «подожду, может и найдутся сережки, может и обойдется, он, когда трезвый — ласковый, прощения просит…»

— С твоей добротой дождешься, что он тебя бить начнет, — говорит ей вслед Евгения Кирилловна и прислушивается: за ее спиной в лестничной клетке гулко звучат чрезмерно оживленные голоса, басовитый и звонкий, и шаги — твердые мужские и мелкие, с пристуком, женские. Евгения Кирилловна откладывает книгу и садится вполоборота к тому парадному, чтоб увидеть, кто там спускается. А-а, красоточка Лера и высокий, по-южному загорелый молодой человек. Наверно, это и есть ее двоюродный. Лерина мать утром хвастала, что приехал нежданно-негаданно, откуда-то с южной границы, и навез пропасть фруктов. Везет же людям! Мой Витька тоже ведь не на севере, а хоть бы яблочко прислал!

Двоюродный не в форме, в светлых брюках и бобочке. Но тащит фанерный ящик — не иначе как фрукты! И уговаривает Леру:

— А то поедем вместе? Пацана поглядишь, такой мировой пацан!

— Не могу, — говорит Лера, — никак! — И глазами зирк-зирк по всем скамейкам, но вместо своего кучерявого очкарика натыкается взглядом на Евгению Кирилловну и небрежно кивает ей: «Здрасьте!»

— Здравствуй, Лера, — с нажимом на имя, чтоб поняла, как надо здороваться, отвечает Евгения Кирилловна и хочет спросить, кто да что и куда, но Лера и ее спутник уже умчались под арку ворот, с двух сторон подхватив ящик за обвязку.

Эта девушка раздражает Евгению Кирилловну — после школы провалилась на экзаменах в медицинский, другая

переживала бы, а она ушла в турпоход, потом поступила в клинику института санитаркой и еще хохочет: «Утки выношу, чем не специальность!» Ухаживал за нею кандидат наук, отдельная квартира в том же подъезде, свой «Запорожец» и гараж в соседнем дворе… так нет, отказала, и повадился к ней этот очкарик с рваным портфелем… А теперь вот двоюродный какой-то появился. Двоюродный ли? Если он и вправду пограничник, зачем вырядился в штатское? Не полагается. Сергей никогда не позволял себе…

Она роняет книгу. Этого еще не хватало! Сколько лет не вспоминала, очень-то нужно нервы дергать, а сейчас ожило в памяти такое, что и совсем ни к чему: как ходили за грибами в сосновый бор возле лагеря, она была беременна Сонькой, Сергей волновался, не устала бы, а когда попался на пути ручеек, поднял ее на руки, перенес и, покружив, сказал: «Вот она, моя тяжелая ноша!» Ведь было же! Было!.. Ей хочется припомнить еще что-нибудь хорошее, но в память лезут всякие дрязги, и ее жалобы по начальству, и особенно тот день, когда он стоял перед целой комиссией, почернелый, сгорбленный, и почему-то все тер ладонью седеющий висок, а потом тихо сказал: «Можете разжаловать, можете исключить, но жить с нею не могу и не буду!» Подбористый, сердитый генерал рявкнул на него: «Видно, вы совсем уж ничем не дорожите?!» — и другим, смягчившимся голосом предложил послушать жену; она тотчас заговорила, она хорошо подготовилась, вместе с подругой все обосновала, какой он есть, картина получилась яркая, генерал багровел и багровел, казалось, сейчас изничтожит Сергея… а он вдруг поднялся со стула и ка-ак хлопнет кулаком по стулу: «Слушайте, вы, жена! Если он такой подлец и развратник, зачем он вам нужен? Зачем вам около такого негодяя жизнь свою цветущую губить? Получаете от него по аттестату добрую половину жалованья, оставляет вам квартиру и все нажитое — ну и живите без забот и огорчений! Предлагаю разрешить майору развод и никаких взысканий не накладывать». И все, кто накануне обещал поддержку, все тотчас согласились — стадо бессловесное!..

Она прижимает руки к груди и старается размеренным дыханием пересилить начинающееся удушье. Вот так всегда, стоит позволить себе вспомнить… еще бы, такие переживания!.. Где-то в глубине сознания робко пошевеливается мысль, что она сама не то и не так делала, как надо бы, сама оттолкнула, упустила хорошего мужа, не был же он подлецом и развратником! Но мысли этой не пробиться сквозь многолетние напластования злобы и подозрений. И разве она была плохой женой? Дом держала в чистоте, каждую неделю пироги пекла, торты делала…

Детей его растила, обшивала… Знакомства поддерживала только самые лучшие, кого попало в дом не приваживала… Что он мог предъявить ей? Была требовательной? Так на то он муж и отец, да еще военный, требовала, что полагается. Иные жены, чуть что не так, начинают скандалить, а она сперва старалась объясниться, напомнить о своих правах и его обязанностях. Культурно. И вот благодарность! Еще и сына отнял! Надо было запретить им встречаться и переписываться, так боялась — вдруг меньше денег переводить будет. А он и сманил Витьку! Растила-растила одна, учила уму-разуму, прямо над душой висела, плохих товарищей всех отвадила, а мерзавец чуть подрос — и усвистал к отцу, в военное училище. Была бы поддержка в старости, так нет! Осталась одна дурища Сонька, тридцатилетняя девица, дальше продавщицы гастронома не пошла, да и там от нее проку мало. Женихов перебирала-перебирала — тот голодранец, тот без квартиры, а теперь что?!

— Долго вы играться намерены? — злым окриком спугивает она мальчишек, раскачавшихся на качелях. — Такие битюги, веревки перетрете!

Мальчишки хотели было нагрубить, но раздумали — себе дороже! — соскочили и с гоготом помчались на улицу. Теперь до ночи будут шататься неведомо где.

А из подъезда выходит морской офицер с мальчуганом Костиком. Оба курносые, оба светлоглазые, на Костике — морской костюмчик и бескозырка с гвардейской лентой. Люди говорят: сразу видно, отец и сын! Но Евгения Кирилловна знает, что мальчишка — ничей, Аленка из 63-й родила его неведомо от кого, в метрике был прочерк, а бравый моряк появился, когда Костику шел третий год, и вот ведь повезло девке! — взял с довеском, выправил усыновление… а что нашел в Аленке? Разве что на гитаре бренчит, а так — Сонька и та красивей.

Костик застывает перед свободными качелями, обычно они заняты ребятами постарше.

— Ой, папа, покачаюсь!

— Так ведь нас с тобой за булкой послали?

— Ну папа! — канючит Костик. — Я немножко, пока ты ходишь.

Моряк посматривает на окна своей квартиры, не выглянет ли Аленка, — надо же, без ее разрешения боится оставить мальчишку!..

— Идите, я присмотрю, — говорит Евгения Кирилловна.

— Вот спасибо! Главное, чтоб на улицу не выбежал. — Он подсаживает мальчика на качели. — Покачайся, матрос, но, если ты хоть шаг за ворота, голову отверну и ножки выдерну, ясно?

— Так точно, ясно! — выкрикивает Костик.

Принимается он храбро, но качели болтаются из стороны в сторону, свободный конец доски задирается. Евгения Кирилловна подходит и помогает Костику раскачаться. Костик пыжится изо всех сил и бормочет «я сам», поглядывая по сторонам — вдруг ребята увидят, что его качают как маленького.

— Ну сам так сам.

Костик чуть не падает, потом садится, потом ложится, лежа у него выходит лучше, доска идет ровней, но раскачать ее не хватает силенок. Евгения Кирилловна подталкивает доску и спрашивает:

— Часто он так грозится голову отвертеть и ножки выдернуть?

— Угу! — с восторгом отвечает Костик.

— Бьет тебя?

— Чего-о?

— Ну бьет тебя? Наказывает? Обижает?

— Кто? Папа?!

— Папа-то папа… — Она колеблется, медлит, но все же говорит: — Так ведь неродной он тебе.

— Папа?!

Доска еще качается по инерции, а Костик лежит плашмя, не двигаясь.

— То-то и оно, что неродной. Разве родной отец стал бы так грозиться? Голову оторву — это ж надо придумать!

Костик слетает с качелей, кое-как удерживается на ногах и кричит:

— Врете! Врете! Врете!

— Ты еще и грубишь. Дурной, невоспитанный мальчик!

Она возвращается на свою скамью и склоняется над книгой, краем глаза наблюдая за мальчуганом. Постоял… отошел к кустам, спиной ко всему миру и елозит каблуком по земле… Может, зря сказала? Пусть бы они сами, как хотят? Но должен же он знать! Рано или поздно все равно узнает, а привяжется сердцем — еще больнее будет. Надолго ли этот папа! Своих собственных и то бросают, не задумываются. А неродной — неродной и есть.

Вот и Лерин кучерявый очкарик! Шлепнул рваный студенческий портфель на скамейку, уселся рядом с ним и озирает интересующую его часть дома от верхних окон до выходной двери и обратно.

— Лерочку ждете?

Он вздрагивает, смущается, неопределенно двигает головой — то ли подтверждая, то ли отрекаясь.

— Она недавно ушла. С молодым человеком.

— С каким?!

— Новый какой-то. Видный собою, в белой бобочке.

После растерянного молчания кучерявый искусственно взбадривается и, спасая самолюбие, восклицает:

— А-а! Как я забыл! Мы же условились!

И торопливо уходит, налетев на низенький штакетник, ограждающий цветник, и на угол песочницы, а под аркой чуть не выбив бидон из рук идущего навстречу старичка.

— Ну и шалопут, — усмехается старичок и садится рядом с Евгенией Кирилловной, — за пивком ходил. Стариннейшего друга жду в гости. — Не вызвав интереса этим сообщением, он сочувственно спрашивает: — Ну как, не опубликовались?

Старичок пишет мемуары, поэтому Евгения Кирилловна чувствует в нем родственную душу и посвящает в свои дела. Несколько лет назад она послала очень резкий отклик на роман, который разругали в печати, и отклик напечатали в рубрике «Письма читателей». С тех пор ее охватила критическая страсть, и она пишет и пишет отзывы на разные книги, но их почему-то не печатают.

— Теперь без блата, Николай Иванович, не опубликуешься, — вздыхает она. — Смело скажу, мои рецензии не хуже тех, что печатают, но ведь у меня ни связей, ни знакомств!

В другое время она поговорила бы на эту тему обстоятельней, но сейчас ей мешает застывшая у кустов жалостная фигурка.

— Костик, хочешь, покачаю?

Молчание.

— Не смущайся, малыш, я не сержусь.

И снова молчание.

— Уж когда нет воспитания, так нет его! — дрожащим голосом говорит Евгения Кирилловна.

Ей очень хочется уйти, но ведь она обещала присмотреть за мальчуганом. Кто мог думать, что он так расстроится!

На минуту ее отвлекает появление Леры — запыхавшаяся Лера вбегает во двор и оглядывает все скамейки, даже, кажется, за скамейки и за кусты зыркнула глазом. Приоткрыла рот, чтобы спросить, но не решилась и неуверенно пошла в свое парадное.

— Уж не того ли шалопута ищет? — посмеивается старичок.

— Кто их знает. Дело молодое.

Сидеть бы и мирно болтать с приятным человеком, но невыносимо чувствовать, что в нескольких шагах странно молчит Костик, и страшно, что вот-вот появится этот его папа.

А папа уже идет, он издали выкликает:

— Матрос Костик, к приему пряника — товсь!

Встрепенулся мальчуган, но головы не повернул. До дрожи напряжены спинка, шея, опущенные руки.

— Не получается у него в одиночку качаться, — торопливо сообщает Евгения Кирилловна.

— Костик, ты что? Упал? Ушибся?

Моряк пытается повернуть мальчугана к себе, Костик ожесточенно сопротивляется, отпихиваясь локтями, головой, плечами… и вдруг с отчаянным плачем утыкается зареванным лицом в отцовский китель:

— Ты же мой папа! Ты папа!..

Моряк стоит неподвижно, только ладонью крепко прижимает к себе стриженую головенку. Его курносое добродушное лицо искажено яростью. Евгения Кирилловна сбивчиво, невпопад заговаривает со старичком, обдумывая, как бы незаметно уйти. Плача уже не слышно, но голос моряка до нее доходит, хотя он произносит совсем не громко:

— И зачем такие паскуды небо коптят?!

Старичок тоже услышал. Понял или не понял, но засуетился, схватил бидончик с пивом:

— Ну пойду до дому, до хаты.

Евгения Кирилловна вскакивает, хватает со стола книжки, тетрадь. Как нарочно, самопишущее перо выскальзывает из ее трясущихся пальцев и укатывается под скамейку. Она перегибается через спинку — никак! Становится на колени, шарит рукой…

Отец и сын проходят мимо, будто не видя ее.

— Дурачок, у нас с тобой носы, как два пятачка поросячьих, — говорит моряк, — тебя же под копирку сделали с меня, разве не видно? И какой же ты мужчина, если слушаешь сплетни? Как же мы с тобой к пингвинам поплывем?..

Шестилетний человек со всхлипом переводит дыхание.

— Господи, мама, что ты ползаешь тут? — раздается над головой Евгении Кирилловны.

Дочь отстраняет массивную фигуру матери и рывком поднимает перо. Ее миловидное лицо уже тронуто увяданием и бледно от усталости и раздражения.

— Сидишь тут, глупостями занимаешься… лучше бы ужин приготовила или хоть чайник поставила! Топчусь, топчусь с утра до вечера на ногах, а приду — даже чаю нет.

— Долго ли — чайник! А к чаю принесла чего-нибудь?

— А чего я принесу, когда в кармане ни копья?

— Господи, ну и тетеха!

Они рядом, но отчужденно шагают к своей лестнице.

Заглянуть туда? Войти вслед за ними — в их злую, душную скуку? Не хочу!..

А если они существуют, хочу я того или не хочу?!

Но я же не обязана и не могу — обо всех! А прикрыть глаза, будто их нет на свете… могу?..

И все же — мимо! Мимо! Прочь!

Темное окно. Чуть-чуть брезжит какой-то скрытый свет. Почему меня охватывает тревожное нетерпение перед этим темным окном? Почему меня томит ощущение, что я будто из долгого странствия возвращаюсь, как в родной дом, к удивительно знакомым и понятным людям, о которых знаю все?.. Откуда взялась уверенность, что сейчас я увижу в этой темной комнате — в кабинете, конечно же, в кабинете, заставленном книжными стеллажами! — хорошо знакомое, даже в страдании сдержанное, умное скуластое лицо ученого, с которым рассталась уже много лет назад… чтобы снова увидеть сейчас, в страшнейшие часы его жизни?!

Да нет же, не может быть!

В нижнем ящике моего стола лежит заброшенная, запылившаяся по краям папка с надписью: «К н и г а 2, п л а н ы и н а б р о с к и». Там почти все, что осталось от второй книги дилогии. Ее рукопись, такую любимую и далеко не законченную (еще бы работать и работать!), я спалила на дачном костре в отчаянную минуту, а когда ринулась спасать — пеплом рассыпались страницы. Уцелела одна глава, да вот эти наброски и планы, да еще родословные героев и особый, не без труда составленный «возрастной график» — кому в каком году сколько лет, — ведь два десятилетия должна была охватить дилогия!.. Мне не нужно заглядывать в график, и я так понимаю, что сегодня, в начале семидесятых годов, не может быть Русаковского, и совсем стара Ненаглядная, и намного старше Галинка… И все-таки я вглядываюсь в это темное окно с трепетным предчувствием встречи — зная и не зная, каких трудных часов свидетелем стану…

Или это мираж — и встречи не будет?

На зеленый колпак настольной лампы наброшены газетные листы, замкнутый круг света выделяет на темном сукне столешницы стопку книг и глыбу поблескивающего гранями угля, искусно обработанную под чернильный прибор. Стены сплошь укрыты стеллажами — книги, книги, книги. А на тахте неподвижно лежит человек — руки под голову, длинные ноги вытянуты за край тахты, глаза вперены в одну точку, в очень далекую, неразличимую точку.

Даже в полумраке я узнаю эти глаза, полные умной силы, узнаю крутые скулы, сейчас напряженно сжатые… Русаковский! Я вхожу в его жизнь и вместе с ним — нет, его глазами вглядываюсь в ту неразличимую точку, и мучаюсь его мукой, и его слухом воспринимаю звуки жизни, продолжающейся вокруг.

За стенами кабинета, то в одной комнате, то в другой, осторожно постукивают каблучки жены, иногда доносится ее приглушенный и все же мелодичный голос — второго такого он не встречал. Галинка тоже где-то там, пришлепывает разношенными тапками и молчит. Вот уже четыре дня как приехала — и молчит. Взвинченная, не похожая на себя, вернулась из своей первой экспедиции неожиданно и досрочно, а почему? «Так сложились обстоятельства». И своему дорогому Кузьмёнку не позвонила, а ведь почти год не виделись. Может, в письмах поссорились, а теперь страдает, оттого и примчалась?.. Или в экспедиции вышел какой-то конфликт, погорячилась — а теперь стыдно?.. До сегодняшнего утра это его волновало, он пробовал расспрашивать, но Танюша за спиной дочери подавала знаки — не надо. А сама пьет валерьянку и, кажется, вот-вот заплачет. Еще вчера готов был схватить дочь за плечи и потрясти как следует — признавайся, что натворила, и не смей волновать маму… Еще вчера.

Оказывается, один день, даже один час может все переиначить, перечеркнуть все, что было д о. Шел на прием, как все, пусть тревожась, но и в тревоге есть надежда, шанс. А потом — потом за один час он заглянул в такое черное н и ч т о, что вышел уже другим, уже не как все, уже за чертой обычной жизни с ее сменами тревог и надежд, забот и неприятностей, и стало странно, что можно принимать к сердцу всякую повседневную ерунду, плакать и глотать валерьянку из-за того, что своевольная девочка с кем-то поссорилась или напорола в данных, перепутав керны, или еще что-либо такое же пустяковое, отчего разгорелся сыр-бор, драма. Когда все так обнаженно просто: жизнь и смерть. Есть — и нет. Вот где драма, которой они не понимают. А может, и тут никакой драмы?.. Если тебя нет, совсем нет, все уже не важно, не видишь, не чувствуешь, даже смерть свою, наверно, не осознаешь, цепляешься остатками

сознания за спасительные признаки, за лживые посулы: «Вы еще плясать будете! Паникер! Какие там метастазы! Не метастазы у вас, а дуростазы! Язвочка, с какой живут по двадцать лет!»

Так говорил этот опытнейший, знаменитый хирург. «А еще геолог! Я не знал, что и геологи умеют труса праздновать!» И ведь почти успокоил, убаюкал хорошо отработанными шуточками. Только успокоенность была внешняя, волевая, а внутри все омертвело, как от местного наркоза перед удалением зуба — свое, а будто чужое. И произошло это в одну минуту… да, в ту минуту, когда хирург, ощупывая его живот жесткими, ищущими и что-то уточняющими пальцами, вдруг не совладал со своим лицом. И с голосом: «Что же вы так запустили?!» И сразу — маску на лицо, привычную маску всемогущего спасителя: «Теперь придется малость полежать. Исследуем вас. Вероятно, понадобится небольшая операция. Так что деньков пятнадцать-двадцать ассигнуйте».

Искусство психологического воздействия?.. А как же! Я тоже им владею. Хотя бы с новым нашим техником. Разбитной паренек… а впервые прошел на лодке через пороги, — видел же я, что глаза как у загнанного зайца… видел, а сказал: молодец, толк из тебя будет! — и тут же послал опять за старшего. И ведь привык, даже лихачил! А уж хирург без такого умения ноль. Ежедневно — день за днем, год за годом — болезни, страх, операции, смерть. Смерть… К этому привыкают. И надо настраивать на спокойствие себя, больных, родственников…

Он и меня настроил. «Деньков пятнадцать-двадцать…». А между прочим выяснял: «Женаты? Дети есть?.. О-о, такая большая дочь! И пошла по пути отца? Молодчина! А она здесь или где-нибудь на нехоженых тропах?» Этакая беспечная болтовня, а для чего выяснял — понятно. Нехоженые тропы! Если тропа, значит, хожено. Слова, слова! Потом с а м пошел устраивать место, «чтоб вам не маяться у окошек». Пришел улыбающийся, а глаза в сторону: «Вы, профессор, везунчик! Завтра освобождается койка в самой лучшей палате, так что будьте любезны послезавтра к девяти утра». Не подпуская страшную мысль, что операция нужна немедленно, он еще попробовал взять отсрочку: «Понимаете, через три недели день рождения жены, Танюша привыкла, что в этот день я с нею…» — «Учту! — беспечно воскликнул хирург. — Приведем вас в порядок и прямо на банкетик. Только с острыми закусками повремените и на водку не налегайте. А то вы, геологи, кажется, помалу не привыкли?» Экое банальнейшее представление: бесстрашный геолог топает по нехоженым тропам и дует водку стаканами!..

Простились по-приятельски. А потом — черное солнце.

Вышел на улицу, ослепительный полдень, мальчуганы в трусиках с визгом бегут за велосипедом, а на велосипеде, неумело вихляя, такой же мальчуган… Жасмин за решетчатой оградой клиники — полураспустившийся, а как пахнет… Жизнь!.. На той стороне улицы — несколько молчаливых женских фигур, у всех странно закинуты головы, глаза — куда-то вверх. Еще не осознав почему, тоже вскинул голову, взглянул на солнце, а оно черное, как сквозь закопченное стекло во время затмения… Читал в «Тихом Доне» про черное солнце над могилой Аксиньи — не поверил. А оно вот! В детстве побежал через темную столовую и налетел на приоткрытую дверь — искры брызнули из глаз, многоцветные, разлетающиеся во все стороны. Успел подумать: «Вот что такое — искры из глаз!» — а уж потом заревел от боли. Мама прикладывала к ушибленному надбровью серебряную ложку… Мама!

Из самой глубины, как в детстве, — мама!

Где и с кем это было?.. Да, на фронте, перед форсированием Шпрее, тот седой полковник-штабист, властный, придирчивый, сухарь сухарем, а когда его смертельно ранило в грудь и в живот, вдруг закричал: «Мама!..»

Значит, когда приходит последняя, смертная минута?..

Надо взять себя в руки. Остался вот этот вечер, ночь и еще сутки. Сказать Танюше — тем самым тоном, каким говорил со мною хирург?.. Заехать в институт, кто-то из начальства там оставлен, предупредить. Ай-яй-яй, послезавтра Володя Баев принесет последнюю главу диссертации! Без меня сдавать диссертацию?.. Нет, зачем же, вызову в клинику, успею прочитать до операции или через несколько дней после. А к его защите… А почему нет? Логинов через два месяца после такой операции вышел на работу, с тех пор прошло восемь лет. Бывает же! Но… «Что же вы так запустили!» Разрежут и зашьют — поздно. Тогда еще месяц, или два, или три…

Как подготовить Танюшу?..

Постепенно — было бы легче. Зачем я скрывал? Перемогался и скрывал, а в результате: «Что же вы так запустили?!» Да, это началось год назад, на изысканиях, — нежданная тягучая боль. Скорчился, губы кусал. А прошла — забыл. Старался забыть не боль, а страх, потому что ведь еще тогда заподозрил страшное!.. А затем это повторялось — сперва редко, потом чаще. Иногда думал — съездить в город, показаться врачам… но не хотел никому говорить, поднимать панику, и данные пошли такие обнадеживающие, обозначалось богатейшее месторождение, все работали как черти, а я уеду к докторам?.. Только Витя, преданный помощник и друг, однажды что-то заметил, но я

отмахнулся, отговорился… зачем? Может, тогда еще не было поздно?.. Потом возвращение с победой, поездки в Москву, доклады, поздравления, обработка материалов. А приступы все чаще и мучительней, и я все больше боялся, прижмуривался, чтобы не признаться самому себе. Если б не тот приступ боли при Вите — до испарины на лице, до обморока!.. Витя и забегал, и устроил прием у знаменитейшего…

Как же подготовить Танюшу?..

Всегда был для нее сильным, здоровущим, лелеял ее и опекал, чуть что — врачи, кардиограммы, путевки в лучшие санатории… Как же теперь оглушить ее — не ты, а я, не я о тебе, а ты обо мне!.. И как она будет п о с л е?..

Говорят, нельзя идти на операцию с мыслью о дурном исходе. А самообманываться — можно? Прожил человеком и кончать жизнь нужно человеком. Без слюнтяйства. Со всеми это случается, когда приходит срок. Только в детстве кажется, что твоя жизнь бесконечна. Те мальчуганы быстро научатся гонять на велосипеде и вдвоем, и стоя, и без руля, с форсом раскинув руки, потом станут взрослыми, сделают в жизни что-то ценное или не сделают, потом начнут стареть, потом конец. Так было и будет. Хорошо, если оставишь после себя добрый след. Что останется после меня? Книги и статьи, по которым учатся и еще не один год будут учиться. Новые месторождения — не одно поколение будет их разрабатывать! Ученики… Володю я в любом случае успею довести до защиты. Николаю надо дать встряску — ленив и не умеет сосредоточиться, а талантлив дай бог! Витя? Витю я держу при себе, потому что люблю, лучшего помощника нельзя вообразить, но он давно созрел для самостоятельной работы и, конечно, заменит меня. Значит, любя, я т о р м о з и л его рост?! Завтра же надо о нем поговорить в институте. И в Москву позвонить. И с ним объясниться без обиняков, уж очень он не честолюбив и слишком привык быть в т о р ы м.

И еще Галинка. Моя кровь. Скуластая и длинноногая, как я. Умница, что бы она там ни натворила по молодости лет. Ей бы не расстраивать маму, а сказать мне. Надо вызвать ее на откровенность и помочь распутать то, что запутала… Может, самому позвонить ее Кузьмёнку? Славный, серьезный юноша. Если б они поженились, я был бы спокойней за нее. И Танюше будет легче…

Танюша. Все можно себе представить, но Танюша — как ей сказать и что будет с нею?! Избалованная и изнеженная мною, все еще красивая и обаятельная, все мои аспиранты влюбляются в нее, а она и рада. Навек Любимая — называл немного насмешливо, потакая ее непреходящей потребности в

поклонении, а ведь так оно и есть!

— Ты надолго? — вдруг громко спрашивает за дверью Галинка.

— Тиш-ше!.. — Торопливо поцокивают каблучки Танюши из передней в столовую. — Тише, папа отдыхает.

— Раньше он никогда не спал днем, — немного тише говорит Галинка. Слышно, как слегка постукивает о пол задняя перекладина качалки, значит, Галинка уселась в качалку с книгой, это ее любимое место.

— Мне кажется, он нездоров, — говорит Танюша.

— Нездоров?!

В голосе дочери искреннее удивление. Танюша отвечает совсем тихо, до него доносятся отдельные слова:

— …из последней поездки… наравне с молодыми… он же не скажет…

Значит, она все же заметила?..

— Ты надолго? — снова нетерпеливо спрашивает. Галинка.

— Как всегда. На часок.

Щелкает замок входной двери. Танюша ушла на ежевечернюю часовую прогулку. Строго отмеренный моцион, в любую погоду. Для сохранения фигуры, для бодрости. Что бы ни было, этот час она выкроит… Что бы ни было?!

Перед ним встает видение, отчетливое как явь. Молчаливые женщины стоят напротив клиники, закинув головы и не отрывая глаз от широченных окон операционной, и среди них Танюша с таким же застылым, сразу постаревшим лицом, глаза прикованы к холодным стеклам, за которыми режут, режут, режут…

— Папа, ты спишь?

Свежий и смелый голос — как возвращение к милой, к обычной жизни. Он с удовольствием разглядывает Галинку, остановившуюся на пороге и готовую разбудить его, раз он ей понадобился, в этом можно не сомневаться. Свет из столовой освещает ее мальчишеский силуэт — стройные ноги в тренировочных брючках, небрежно выпущенную поверх синюю рабочую блузу с закатанными выше локтя рукавами, короткую стрижку. Танюша всегда изящна, подтянута, а дочь бравирует отсутствием кокетства, мальчишескими повадками, Танюша называет это «неглиже с отвагой». Впрочем, Галинке идет. Мать красива, а у Галинки скуластое, с резкими чертами, пожалуй, некрасивое, но такое незаурядное лицо! — мимо не пройдешь, захочешь приглядеться.

— Входи, раз пришла. Откинь с лампы газету.

— Не надо. Мне — поговорить. Пока нет мамы.

Она присаживается рядом с ним на край тахты.

— Ну выкладывай, что натворила.

— Натворить-то я натворила, — с легким смешком говорит Галинка, и сразу: — Дело в том, что я жду ребенка. А мужа нет и никогда не будет. Для ясности — не жалею, беды в этом не вижу и вздохов не хочу. Ни твоих, ни маминых.

У него перехватило дыхание, кровь тяжело ударяет в виски: тук, тук, тук, будто молотком. Ярый гнев отодвигает все, что случилось с ним самим.

— Кто этот негодяй?

Она быстро оборачивается к нему, такою он ее никогда не видел — блаженное, вдохновенно-веселое лицо, сияющие глаза.

— Лучший человек в мире, вот он кто!! Не обольщал и не обманывал, понимаешь? Наоборот, избегал, не хотел, нарочно перекинул на самый дальний участок! Я сама добивалась и обольщала так, что ангел и тот не устоял бы! И добилась! Потому что люблю и никого другого мне не нужно ни сейчас, ни когда бы то ни было, и ребенку я рада — его ребенок! — и мне хорошо, можешь ты-то понять меня?

— А что же о н?

— Он женат. И трое детей.

— Так…

Без гнева и горечи думает о том, что натворила, ох и натворила девчонка! Сейчас ей хорошо — если она сама себя не обманывает, но разве она знает, сколько трудного ждет ее впереди?.. И как ей еще захочется многого другого — ведь двадцать три года! Но это жизнь. Со всеми выкрутасами и бедами — жизнь. И каждый живет, спотыкается, ищет счастья по-своему. Кто может сказать наверняка — такое счастье тебе не нужно, жди иного!.. А может быть, по ее характеру именно такое и развернет все ее силы, ум, энергию?..

Он совсем забыл то, что случилось с ним самим, но оно не хочет отступать, оно тут, в его теле, оно властно напоминает о себе тянущей, протяжной болью. Он заглатывает стон, подавляет желание скорчиться, от этих усилий его прошибает пот.

— Ой, папа, — глянув на него, с досадой роняет дочь, — хоть ты-то не переживай.

— Когда это будет у тебя? — через силу спрашивает он.

— Через пятнадцать недель. — На ее губах светится незнакомая ему, обращенная внутрь улыбка. — Уже шевелится.

Они молчат, бок о бок, каждый прислушиваясь к своему. Боль медленно утихает, потягивая и подергивая, но утихает. Пот холодком стынет на лбу.

— Ты сказала — пятнадцать недель?

— Ага! Всего ничего тебе осталось до дедушки.

Осталось?.. Слова, криком рвущиеся с губ, надо удержать. Быть человеком до конца. Через пятнадцать недель она родит, а меня, возможно, уже не будет. Привычная смена поколений, закономерность, такая жестокая, когда коснется тебя.

Галинка вдруг счастливо смеется и припадает головой к его груди, локоть упирается в его живот, и он весь напрягается от страха, что боль вернется, и осторожно отодвигает ее острый локоток.

— Ты все-таки мировой папа! — восклицает Галинка. — Мама вздыхает и охает: «Папа с ума сойдет!», а я знала, знала, что ты у меня умный. Ой нет, вру, шла к тебе, думала — задушишь. Папка, ты самый замечательный отец в мире!

И тогда он без усилия говорит ей:

— Беда в том, что ты можешь остаться без меня. Вдвоем с мамой будет гораздо трудней.

— То есть как — без тебя?

Он дает ей полную справку, сухую и подробную, как те сведения, что он вычитал сегодня в библиотеке, в медицинских учебниках и справочниках, прежде чем идти домой. Говорит рассудительно, будто этот ужас относится к кому-то другому, постороннему. Но в конце сообщает: послезавтра к девяти утра, — и весь этот ужас наваливается на него, и надо удержаться, удержаться…

— Ты только не пугай себя, — строго говорит Галинка, — после таких операций живут и живут. Я знаю столько случаев…

— А я знаю статистику.

— Начитался? Плюй на статистику! Ты же крепкий, у тебя организм здоровый, поправишься и сам будешь подшучивать над своими страхами. Вот увидишь! Такой знаменитый хирург не взялся бы делать операцию, если б не видел, что можно вылечить, а раз он взялся…

— Не надо, Галинка. Мы должны подготовить маму. Но друг перед другом — можем мы не врать?

Галинка смолкла. Сжала губы, только скула подрагивает.

— Если назло статистике все обойдется, это будет подарок судьбы. А пока надо думать о том, чтобы оставить все в порядке. Маме облегчить. И теперь вот с тобой — надо же все как-то устроить.

Губы ее по-прежнему сжаты, но по дрожащей скуле быстро-быстро бегут слезы, срываются и падают поблескивающими каплями.

— Перестань!

Он берет и потряхивает ее будто закоченевшие пальцы.

— Родишь человека, вот и убыль покроешь. Все естественно,

Галинка. Я рад, что ты не боишься жизни.

Щелкает замок. Постукивают в передней каблучки.

— Мама.

Она ладонями стирает слезы. И оба настороженно ждут и собирают все душевные силы, как будто все, что они до сих пор говорили и думали, было лишь подготовкой, а сейчас наступает главное испытание.

В БЕЛУЮ НОЧЬ

Я бегу от них ото всех.

Бегу от сбивчивых мыслей, от зудящей тревоги, от настырной памяти, для которой никогда не погаснет тот дачный костер, рассыпающий пеплом исписанные листы… от наваждения лиц и слов, от невесть откуда взявшегося чувства долга перед всем множеством множеств знакомых незнакомцев, от их судеб, их алчущих глаз.

Как стучат каблуки белой ночью!

Может, оттого, что в и д и ш ь, как беззвучно спит твой город, как матово сияет вода канала, как огромно пронизанное неярким светом небо, а может, и оттого, что белая ночь, сколько ее ни объясняла наука, — колдовство… Идешь легкой походкой, стараясь не нарушить тишины, а каблуки стучат отчетливо, гулко, и откуда-то издалека, из каменных переулков, послушное эхо возвращает тебе их гулкий стук.

Хоть бы один прохожий!..

Горбатый мост у скрещения двух каналов выводит к Марсову полю. Огибаю угловой закругленный дом с белыми колоннами — кажется, именно в нем больше полутора веков назад собирались заговорщики перед тем, как избавить отечество от злого и безумного деспота Павла. Я не помню их имен, не видала их портретов, но будто вижу их — возбужденных и отчаянных, как все те, кто р е ш и л с я — пусть ценою жизни… Гораздо позже, в нашем веке, в подвале этого дома был устроен клуб-кабачок «Привал комедиантов», где вечерами собирались актеры и

писатели, — там актриса Любовь Дмитриевна Блок, жена поэта, читала его поэму «Двенадцать», а сам поэт, бледный до прозрачности, стоял у стены и ловил каждое движение немногочисленных слушателей, каждое шепотом оброненное слово. С маленького помоста там читали новые стихи — бормочущий, теряющий листки Хлебников и дерзкий от застенчивости Маяковский (как грохотал его голос под низкими сводами подвала!), молодая Ахматова с глазами пророчицы и совсем неожиданный здесь, странно беззащитный Есенин…

Я помню дом разбомбленным, с широченным провалом во все три этажа со стороны Мойки, и помню, как вскоре горестный провал затянули «декорацией» из раскрашенной фанеры, а потом, только погнали немцев от городских стен, этот дом одним из первых восстанавливали, бережно сохраняя его петербургский стиль. Сюда я прибежала с Володькой на руках счастливейшим вечером Дня Победы. Во всю длину белоколонных зданий были установлены пушки, и самые веселые в мире орудийные расчеты с показной строгостью и прибаутками отгоняли напирающую толпу… а потом начался салют, пушки ударили все разом, потом еще, еще, еще, и вдруг рухнула часть карниза на здании бывших Павловских казарм — ныне Ленэнерго; уж такой выдался счастливый день, что никого не зашибло, хотя народу было видимо-невидимо — вряд ли кто-нибудь усидел дома в тот вечер, все стремились на люди, обнимали и качали любого военного, целовались и плакали — шалые от восторга, пьяные от горя впервые полностью осознанных утрат, гордые своей причастностью к торжеству, раскрытые для дружеского общения всех со всеми…

Возле этого дома память неизменно раскручивает ленту самых разных воспоминаний, горьких и радостных. По кромке Марсова поля весь первый год блокады я ежедневно брела в Союз писателей и из союза голодной зимой несла для годовалого Сережи немного пшенной или чечевичной болтушки, и, если на тропке между сугробами возникала бредущая навстречу обмотанная платками и шарфами фигура, каждый раз обмирала от страха: вдруг отнимет судок, чем тогда накормить Сережу?! А вот тут мы шли однажды с писателем-моряком Александром Зониным лунной зимней ночью и, увлеченные разговором, машинально переступили через какое-то заграждение, потом переступили через второе и наткнулись на закутанного-перезакутанного часового, который закричал на нас, что мы сумасшедшие: «Куда прете, тут же огорожена неразорвавшаяся бомба!..»

После восстановления дом заселили писателями,

архитекторами, учеными. На самом закруглении, в квартире, похожей на раскрытый веер, живет Леонид Рахманов, человек тонкого таланта и исключительной скромности. Мы были почти незнакомы до войны, а в первый год блокады сдружились — тогда и люди и дружбы закалялись быстро и надолго. Темны его окна — все спят. А если постучать в окно? Если прийти и сказать: мне трудно, мне необходимо поговорить! Наверно, завернется в халат и будет слушать, и скажет, что без сомнений и тревоги нет литературного труда, я и сам… И во втором этаже, в большой квартире, затемненной колоннами, живут друзья — математик Александров, своеобычный, трудный и во всем талантливый человек, и его жена, искренняя, порывистая Марианна, — и к ним можно бы постучаться, они бы меня поняли, да нет их теперь, уехали в Новосибирск, в Академгородок, и все не едут назад, — Сибирь выиграла, а для Ленинграда утрата. И для меня тоже.

Вот на этот подъезд я стараюсь не смотреть, уж очень больно, что нет больше на свете Елены Катерли, журналистки и писательницы, веселой и энергичной нашей подружки Ленки-Леночки, до старости комсомолки, — редкий у нее был дар открытости и дружелюбия, жила она размашисто, взахлеб, не умела таить про себя ни радости, ни беды, зато и радость, и беду друга принимала всем сердцем, к ней-то уж наверняка можно было ворваться в любой час ночи, — заварила бы кофейку, села бы, закуталась в одеяло, поджав ноги, а потом, выслушав, нашла бы какие-то простые, утоляющие слова… Немного дальше на стене того же дома — мемориальная доска. Мне выпало открывать ее в первую годовщину слишком ранней смерти писателя, я говорила проклятые слова «был», «любило, писал»… но мне и сегодня дико видеть выбитые в камне даты «с 1948 по 1967 год», когда перед глазами — живой друг… Кажется, стоит зайти во двор, повернуть направо и подняться по крутой и круглой винтовой, как на маяке, лестнице, позвонить у двери третьего этажа — и откроет сам Юрий Герман, скажет что-нибудь шутливое и, прежде чем разговаривать, обязательно метнет на стол все, что найдется в холодильнике, откупорит какое-нибудь особенное, недавно открытое им вино, и уже не захочется выкладывать свое, а захочется утешить душу слушанием — таким уж был Юра, всегда оживленный и хлебосольный, переполненный отрадными впечатлениями, всегда влюбленный в какого-то нового, недавно открытого, совершенно исключительного человека удивительнейшей судьбы…

Однажды, в последние годы ее жизни, я навестила Ольгу Дмитриевну Форш. Ей шел девятый десяток, но она была по-прежнему остро и ясно умна, насмешлива, понятлива, увлекалась

рисованием, на здоровье не жаловалась.

— Все бы хорошо, — сказала она, вдруг погрустнев, — одно тяжело: современников не осталось.

Тогда я как-то не сразу поняла ее. А ведь мое поколение, познавшее все бури и грозы беспокойных десятилетий, начало редеть гораздо раньше, смолоду, и все редеет, редеет…

Как одиноко стучат каблуки!

Цок-цок, цок-цок! — вторят стены моим шагам.

И хоть бы один прохожий!..

Не поднимая глаз, прохожу мимо мемориальной доски. Справа — площадь, зеленая, душистая, с широкими, крепко укатанными аллеями, сходящимися к ее центру — к могилам Жертв Революции. Какая величавая ширь! Впервые я видела Марсово поле в раннем детстве, запомнился голый, замощенный булыжником плац, он не казался таким просторным, хотя я была мала, — он выглядел попросту скучным. А когда я переехала в Петроград, площадь уже стала почти такой, как теперь, массовыми субботниками ее благоустроили и озеленили, только кусты сирени еще не вытянулись, не разрослись, да по краям площади не было подстриженных лип. Но памятник героям революции уже поставили, сложив вокруг могил четыре угольника из плит темного гранита, положенных одна на другую, ступенями, а на концах этих суровых низких стен, у всех четырех проходов к могилам, установили массивные гранитные кубы с поминальными надписями, которые читаешь снова и снова, пленяясь их благородной скорбной красотой:

Не зная имен
всех героев борьбы
ЗА СВОБОДУ
кто кровь свою отдал,
род человеческий
чтит безыменных.
ВСЕМ ИМ В ПАМЯТЬ
и честь
этот камень
на долгие годы
поставлен.
. . . . . .
НЕ ЖЕРТВЫ — ГЕРОИ
лежат под этой могилой.
НЕ ГОРЕ, А ЗАВИСТЬ
рождает судьба ваша
в сердцах

всех благодарных
потомков…

Каменный реквием создал совсем еще молодой архитектор Руднев, слова поминальной славы написал Луначарский — оба с точным ощущением времени, стиля и традиции. Конечно же, Ольга Берггольц помнила о них, создавая свой блокадный реквием ленинградцам — «Никто не забыт и ничто не забыто» — на стеле Пискаревского мемориального кладбища. Отсюда же, от Вечного огня на могилах героев революции, факелом перевезли огонь туда, на Пискаревское… Неразрывность подвигов, жертв и памяти.

Я останавливаюсь. Когда бы я ни проходила здесь, я всегда хоть на минуту останавливаюсь и ловлю взглядом трепетание Вечного огня. Сейчас, белой ночью, он почти незаметен — ровный желто-голубой язычок пламени. «Славно вы жили и умирали прекрасно…» В каком бы настроении ни остановиться тут, душа будто омывается. И на Пискаревском тоже. Два огня нашей судьбы. Нашего поколения. Какие бы ни захлестывали нас беды и бури, как бы нас ни сгибало, ни ломало, они наши и в нас — два незатухающих огня, то ровных, прямых, то мятущихся, опадающих и взмывающих на ветру…

Цок-цок, цок-цок! — звонко стучат каблуки.

Ну хоть бы один прохожий! Чтоб улыбнуться или просто оглядеть друг друга скользящим, но внимательным взглядом, — какие тревоги или мечтания выгнали тебя, товарищ, из дому в призрачную тишь белой ночи?..

Никого.

Окунувшись в пряную духоту доцветающей сирени, разросшейся на углу улицы Халтурина, переулком — к Неве. Сколько раз выходила к ней этим же переулком, а все-таки снова — беззвучное а-ах! — и почти бегом через пустынный проезд набережной к холодящему ладони гранитному парапету.

Как нежно и каждый раз неповторимо окрашено все переменчивым светом двух зорь — вечерней, догорающей за Петропавловской крепостью, и утренней, зарождающейся над Выборгской стороной. Одна как бы переливается в другую. И обе осторожно касаются невских вод. Горбясь и пошевеливая упругими струями под пролетами Кировского моста, Нева замирает в широком разливе, перед тем как изогнуться вдоль Василеостровского каменного полукружья и лениво, от избытка полноводья, отмахнуть в сторону перетянутый мостами рукав Малой Невы. Течение неторопливо, только по играющим на всем

водном просторе отсветам зорь улавливается движение — на холодной стали нежнейше светятся розоватые, желтые, сиреневые и еще бог знает какие причудливые блики. А низкие стены крепостных равелинов и все здания, глядящие на Неву с Петроградской стороны и с Васильевского, глухо темны, лишь одно бессонное окошко висит как бы само по себе на стене университетского общежития, прозванного «утюгом», да белые колонны Биржи жемчужно сияют между двух темных, колючих силуэтов колонн Ростральных.

Много городов я повидала на нашей Земле, много рек, своим течением украшающих эти города. Отдаю должное и задумчивой Сене в Париже, и милой Влтаве, ласково отражающей старинные здания и мосты Праги, и мощи Дуная, разрезающего на две части прекрасный Будапешт и голубой границей омывающего уютную Братиславу; любовалась отражением ночных огней Каира в мутных водах Нила и своеобразием Жемчужной реки, испещренной парусами джонок, в Кантоне, и плавным изгибом Амура вокруг Хабаровска, и прелестью Днепра, открывшейся мне в лунную ночь с Владимирской соловьиной горки… все хороши, приманчивы, в каждую из рек хотелось бросить монетку, «чтоб вернуться», — и все же нет для меня города пленительней Ленинграда, а в нем нет места пленительней вот этого, с разливом Невы между расступившихся берегов. Так все здесь строго и соразмерно. Вглядишься в эту неяркую, неброскую красоту — и не оторваться.

Женский смех, легкий, еле слышный, возник и замер.

Откуда?

Неподалеку от меня на гранитном спуске к воде — две неподвижные фигуры под одним пиджаком внакидку, две головы, темная стриженая и светлая, с россыпью длинных волос, — висок к виску…

Чему она засмеялась? Кто они? Будут ли они еще когда-либо так счастливы, как сейчас, и понимают ли они это? Сколько чуткости, терпения и великодушия нужно, чтобы удержать, сберечь то, что так сильно и дорого им сегодня? Что их ждет, этих двух? Какие преодоления, какая житейская неразбериха, какая ломка двух воль, двух характеров? Сумеют ли они?

Я не вижу — и все же вижу их лица, не слышу — и слышу их шепот. Еще в дымке начинают проступать очертания их судеб… Люди, живущие рядом с нею и с ним, а потому обладающие такой властью вмешательства… И не с гранитного спуска, а из будущего доносятся до меня их отчаянные, их взвинченные голоса…

Ознобом, как при лихорадке, возникает предчувствие темы.

Нет, оказывается, ни от чего я не убежала, все тут, во мне. И

никого нет рядом. Стою одна — перед огромностью мира, со всеми своими желаниями и опытом, с ощущением громады несделанного и горечью оттого, что сделала меньше и хуже, чем могла бы, а наверстать не успеешь, впереди — меньше, чем позади, новые замыслы упираются, как в стенку, в неизбежные временные пределы. «Не хочу!» — кричи не кричи, не поможет. А ведь, кажется, только-только чему-то научилась в нашем беспощадном ремесле, где повторение удачного приема, даже своего собственного, уже неудача, где не существует ни всесоюзных, ни мировых «стандартов» и никто, кроме тебя самого, не может «поставить» твой голос!.. А я смогла? Безоглядно бросаясь в поток жизни, всегда в самую стремнину, то ли я делала? Так ли? Сумела ли сказать самое нужное и о самом важном людям, ради которых жила на свете, сама себе не давая отпуска?..

Глухо стучит сердце. Или это шаги? Нет, тихо-тихо вокруг. Сердце.

А возле меня беззвучно встал человек. Призрачный, как эта ночь. Незнакомый — и чем-то знакомый. Не решаясь вглядываться, чувствую — у него какие-то неведомые права на меня, он знает, о чем я думаю, и странной полуулыбкой сомкнутых губ отвечает на мою тревогу.

— Меня захлестывает, — говорю я, — они теснятся вокруг меня, отпихивая друг друга, и каждый требует: напиши! Раньше я часто проходила мимо, а сейчас томлюсь, что упустила многое и что я должна успеть, обязательно должна…

— Объять необъятное? — усмехается он. — Но ведь еще Козьма Прутков…

— Ну да, есть отбор. По пристрастию. У меня пристрастие было сильным — и на всю жизнь. Мы же росли такие целеустремленные! И цели прямо космические! Помню, еще девчонкой в Мурманске… был у меня друг Коля Ларионов…

Мой собеседник молча склоняет голову. Как, и это знает?

— Вышло так, что столкнулась со всяческой мерзостью, о какой понятия не имела. Конечно, выложила все Коле. А он говорит с этакой деловой озабоченностью: «Да, работы у нас много, не на одну жизнь!» Я тогда не поверила — жизнь казалась длинной-предлинной, все успеем переделать!

— Все не все, а переделали немало.

— Много! Вот у нас часто повторяют — замечательные советские люди. Но иногда не по адресу. А ведь их много, замечательных! Широкой души, самоотверженных, безотказных. Знаю, видела и в войну, и в труде, и в нелегком быту. Знаю, именно они о п р е д е л я ю т главное. Как бы тяжко ни было,

как бы им ни мешали. Но пристраиваются под эту марку и себялюбивые, корыстные, фальшивые!..

И, не глядя, вижу ту странную полуулыбку. А голос звучит жестко:

— Открытый враг менее страшен, его сокрушают. Но к любой победе сразу пристраивается мещанство. Ему нет дела до идей и жертв, оно спешит использовать результат. Оно увертливо и умеет менять окраску. Пристроится и гребет — себе! Себе! И давит на окружающих, травит душу, хуже всего — детей растит по своему подобию. Ты этого не знаешь?

— Знаю. Но не верю в его всесилие.

Он молчит, почти невидимый в крепчающем свете новой зари, охватившей уже добрую треть неба над моей родной Выборгской стороной. А вечерняя заря померкла, только за Петропавловской крепостью задержалась узкая лилово-желтая полоса. И бессонное окошко на «утюге» погасло. Кто там бодрствовал так долго? Студенты зубрили к экзамену? Или шла пирушка? Или страстный, бестолковый спор, когда все кричат вперебивку, не очень-то вслушиваясь в доводы товарищей?.. Кто бы они ни были, эти ребята, какая бы тина ни хлябала у них под ногами, они сами создадут свою жизнь, и те, кто честен, кто хочет жить, а не прозябать, неужели не сумеют разобраться и отмести все, что мешает?! Ведь и я создала свою жизнь так, как хотела, отшвырнув прочь все чуждое, и вокруг меня сколько молодых в чем-то себя ломали!..

— Время было другое, — говорит рядом тот же жесткий голос.

И это знаю.

— Далеко не все понимают, чего они хотят и что нужно отмести. Иногда, наоборот, сами заражаются равнодушием и цинизмом.

— Тем более! — У меня перехватывает горло, я снова слышу глухой стук своего сердца. — Тем более мы отвечаем. Я отвечаю. Не хочу ни на кого перекидывать ответственность. Как бы ни были малы мои силы — отвечаю!

— Так чего же ты маешься сомнениями?

Если б я умела ответить однозначно!

Оттого, что прямолинейность наивной веры давно сменилась пониманием всей противоречивости, многосложности и многоликости жизни?.. Оттого, что я все чаще думаю о косности человеческой природы, о страшной власти привычек и житейских неизбежностей?.. Человек прекрасен и могуч, он может черт те что сотворить и одолеть… почему же он бывает мерзок или слаб? И ни генетика, ни социология не могут до конца объяснить,

почему в одинаковых условиях вырастают такие разные… А искусство? Способно ли оно не только понять и объяснить, но и воздействовать?.. Хочется добраться до каждой человечьей души — иначе какой смысл в моем труде! — но как часто — стена и стекло! Отделенный мир. И надо достучаться. А если не слышат?..

Рядом — короткий, иронический смешок. Почему?..

Ну и колдунья эта белая ночь! Совсем другой человек стоит теперь рядом со мной, он молод, его пригожее лицо обрамлено мягкой бородкой, отнюдь не стиляжной, пожалуй старинной, такие бывали у разночинцев в прошлом веке. Но смотрит он на меня насмешливо и свысока.

— А ведь вы боитесь, что жизнь опередит вас, — говорит он, — боитесь отстать.

— Да, боюсь! — с внезапным отчаянием говорю я. — И времена, и люди, и запросы их — все меняется. Если какой-нибудь художник — будь то писатель, живописец или композитор, все равно! — скажет, что не думает об этом, не тревожится, или он врет, или грош ему цена. Каждое новое поколение чем-то отличается от предыдущего, к каждому надо стучаться сызнова. Изнутри поколения легче… — Я с гневом смотрю в насмешливые глаза, я узнала этого парня, который мог бы внести в литературу так много, а дает так мало. — А вы, вы, молодой и талантливый человече, вам бы плыть саженками, а вы топчетесь на мелководье!

— При чем тут мелководье? — сердито возражает он. — Вы поклоняетесь стремнине, но это не вся река!

Да, не вся. Река жизни имеет свои рискованные перекаты, где можно разбиться о камни, и приманчивые водовороты, которые могут незаметно закрутить-завертеть и утащить на дно, и резкие изгибы, где у берега, возле гниющих коряг, сбиваются пена и мусор, отхлестываемые течением, и тинистые заводи, где течение неощутимо. Разве я не думаю о них — чем шире жизненный опыт, тем чаще и горше?! И разве я чуралась для своих героев самых трудных путей?..

А мой нежданный собеседник продолжает запальчиво:

— Вы ищете сильных пловцов, зовете восхищаться их мужеством. Что ж, я не против, они есть. А меня занимает самый обычный человек, движения его души, тот особый глубинный мир личности, полный соблазнов, борьбы с самим собой, поисков внутреннего равновесия и смысла существования… мир, который не выявляется публично.

— Без душевного мира человека просто нет литературы! Но… душевный мир, который не выявляется?! Все выявляется! Через

поступок, через отношения с другими людьми, через д е я н и е — хорошее или скверное, но выявляется непременно. И отдельная судьба, и все человечество развиваются благодаря деяниям.

— Азбучная истина! — отмахивается он. — Но за большими деяниями легко забыть отдельную человеческую душу, такую, которая не вырвалась ни на какие стремнины, может, изнемогла, запуталась, растерялась…

Он это говорит — или во мне бьется второй, неспокойный голос?.. Ведь это я мучаюсь, а не он, у него-то жизнь впереди — все успеет! — это меня обступают множества множеств людей, мою душу ранят судьбы неустроенные и мятущиеся, убогие и злые, застрявшие на перекатах и в тинистых заводях… Хочется добраться до каждого человека и разглядеть — какой он и почему… Но не так, не так, как этот парень с его нервным и горьким пером!

А голос — его или мой?! — наступает:

— Проходить мимо? А потом мучиться, что прошел?!

— Нет! — говорю я. — Нет! Не проходите. Пишите. Но не будьте растерянным, когда пишете о растерявшемся человеке. Можно писать и о дураке и о подлеце, но автор-то должен быть умен и честен, сам понять и ответить читателям, к а к и п о ч е м у. Крупно, честно ответить.

— Зачем?

— Чтобы помочь людям осознать себя. Чтобы они становились лучше.

— Не много ли на себя берете?

Вопрос задан дерзко, Я знаю, почему он сердится, этот славный парень. После первых обольщений — неудача, противоречивые оценки и советы, он заметался, ищет свой путь, сомневается в том, что делает. Сейчас я верю в его талант, пожалуй, больше, чем он сам. Ему бы успех! Не тот иллюзорный успех, когда твое имя начинают упоминать в статьях и обзорах, а единственно подлинный — когда вдруг почувствуешь, что твоя книга нужна людям, когда полетят к тебе письма от читателей, письма-вопросы и письма-исповеди, когда поймешь, что, уже независимая от тебя, твоя книга ж и в е т среди людей, помогая им жить, находить решения, преодолевать беду… Большего счастья для писателя нет.

Но мой сердитый собеседник этого еще не испытал, он спрашивает о другом. И на его вопрос нелегко ответить — даже самой себе.

— Может, и много беру на себя. Может, и не по силам. Но почему нужно брать малые цели? Это же дело моей жизни, дело

вашей жизни, как же мы можем щадить себя и не ставить себе — с каждой книгой заново — наитруднейшую задачу?!

Я стараюсь высказать словами — для него так же, как и для себя, — то, что давно чувствую:

— Мы говорим о внутреннем мире человека, полном соблазнов, борьбы с самим собой, поисков душевного равновесия и смысла существования. Так вот, хорошая книга, если она написана увлеченно и убежденно, имеет прямой доступ в этот скрытый от глаз внутренний мир человека. Она может — и должна! — пробудить в его душе все лучшее, что в ней заложено, обогатить его мысли и чувства и развенчать все мелочное, дурное, пошлое, чтобы человек сам устыдился и подавил в себе недостойное. Если книга ничего не пробуждает в душе — это плохая книга, даже если она написана превосходным языком. Но такие книги не бывают написаны превосходно, ведь стиль — это выражение внутренней сути писателя, а холодная суть и выражается холодно.

Он долго молчит, потом начинает говорить негромко, сдерживая запальчивость:

— В общем, у меня нет возражений против того, что вы тут наговорили: пробудить, развенчать и все такое. И насчет честного, крупного ответа на вопрос: п о ч е м у? — понимаю ваш упрек. И принимаю. Хотите робость назвать мелководьем? Что ж, и это могу принять. Но вот о том, как пробуждать, развенчивать, помогать… не слишком ли вы прямолинейны? Когда вы ставите такую задачу — уже не от искусства, а от педагогики! — непосредственность восприятия жизни нарушается, сквозь образную ткань нет-нет да и выглянет заданность, рационализм. У вас в частности! — вызывающе добавляет он.

Хотела бы я, чтобы он был не прав! Но, может, он и прав? Ведь когда я снова и снова работаю над своими черновиками и в суровый час нарочно пишу на полях бескомпромиссные оценки (вроде «о-о-ох, длинно!», или «плохо!», или «скукотища!»), чтобы потом, подобрев к самой себе, не отступить и все написать наново, разве не бывает там и такой: «рацио!!» А если я не всегда замечаю это «рацио»?.. Разве не бывает, что я «додалбливаю» свою мысль в нетерпеливом стремлении, чтобы она дошла до каждого читателя?..

— Знаете, друг мой, если бы меня не раздирали всяческие сомнения и тревоги, я бы сейчас сладко спала в своей постели, а не бродила тут неприкаянной. Да и вы, будь вам все ясно, не маялись бы рядом.

Он улыбается своей милой, доброй улыбкой (когда он улыбается, особенно ясно, что он очень добр), но я все равно

чувствую, что он еще топорщится колючими иголками и не ищет согласия со мной, но всячески сопротивляется ему.

— Ваша беда, — говорит он снисходительно, — что вы не только исследуете людей, но и хотите воздействовать на них, навязать им свое понимание жизни.

— А как же?! Только не навязать, а… приобщить их, открыть им красоту того, что я люблю, и мерзость того, что ненавижу! Тут я тверда, тут у меня нет сомнений. Стоять наблюдателем-регистратором на бережку? Для писателя — наихудшее место! Я маюсь оттого, что хочу охватить больше, чем могу, но когда жизнь развивается так быстро — да еще в наш бурный век! — разве не главная цель искусства — уловить, запечатлеть, поторопить…

— Даже поторопить?!

— Даже! Высветить, выявить суть — значит, помочь развитию нового.

— Ну конечно, «новое»! — уже не сдерживаясь, восклицает он. — Маялись-маялись, а пришли к тому же: стремнина, пловцы, «главная цель»! Где уж приметить такие старые, вечные чувства, как любовь, или одиночество, или обида!

Той паре на спуске наши голоса мешают, они медленно уходят вдоль набережной, висок к виску, все так же под одним пиджаком внакидку. Воспоминание вдруг пронзает меня — будто удар током, — это ж то самое место набережной! Именно здесь, прижавшись друг к другу в предчувствии разлуки, мы ходили взад-вперед в ту давнюю-давнюю метельную ночь!..

— И любовь связана со своим временем, — говорю я сухо, — был человек, которого я очень любила. А его убили.

Тишина. Ему, наверно, неловко продолжать спор, и мне как-то не по себе от излишней откровенности. Слишком личная, вибрирующая нота еще звенит в тишине, и я пытаюсь приглушить ее:

— Искусство всегда выражало время и сегодняшний мир человека, главные дела и главные мысли, чувства, надежды. Иначе зачем бы оно?..

Я стараюсь представить себе нашего далекого прапрапрапращура. Своей задубелой рукой он брал камень поострей и вырубал на шершавой скале о б р а з зверя или охотника в действии — в беге, в схватке, в прыжке. Какой мощный творческий инстинкт толкнул его в п е р в ы е запечатлеть осознаваемую жизнь в образах?

Так пробивалось художническое начало, потребность осознать и выразить с е б я. А дальше шло лишь развитие и разветвление искусства, обогащение средств выражения,

осмысление опыта… но все ради того же: запечатлеть быстротекущую жизнь, понять и выразить самого себя — сегодняшнего.

— Если б это было не так, — говорю я, — после Бетховена и Толстого, Рембрандта и Достоевского искусство должно бы остановиться: сильнее не сделаешь! А оно все торит и торит новую дорожку. И мы с вами топаем по ней, спотыкаясь, маемся над словом, над строкой… И все для того же — чтобы выразить сегодняшний мир людей. Просто выразить? Бесцельно? Да нет же! С тех пор как человек научился мыслить, — для движения вперед, к цели.

— Вот тут и начинается ваша ошибка! Вести! Агитировать! Воспитывать! Это и делает ваши книги недолговечными!

Удар наотмашь. Чтобы обидеть? Я удерживаю ответный удар.

— Знаете, друг мой и противник, «Война и мир» создана спустя полвека после войны с Наполеоном, хотя и современники писали о ней немало. Может, так будет и с нашей эпохой? И будущий гений использует наши книги как свидетельства современников?..

— Вас устраивает роль удобрения?

Я пропускаю мимо ушей нарочито обидную формулировку.

— Предпочла бы роль гения, но… В общем, знаю: моя тропка — небольшая, а мой мир — большой. Громадный даже.

— Никак не можете без гигантомании! Мир громадный, герои выдающиеся… но ведь и ошибок наделали!

Почему ему так хочется задеть, обидеть меня?.. И как легко осуждать, когда тебе тридцать лет, когда все тяжелое и трудное произошло д о, разве что опалило детство!.. Что он знает о нашем поколении? Плоды трудов и боев — это он воспринимает как должное: строили и построили, воевали и победили, разрушенное отстроили заново, а как же?! Плоды ошибок? — тут есть за что уцепиться скептическому уму. А как оно было, почему, какой ценой мы расплачивались за ошибки…

— Не трогайте, — говорю я, — в крови и в поту оно, поколение.

Молчим. А небо над нами все светлей, хотя краешек солнца покажется еще не скоро, часа через полтора. Земля медленно поворачивается, подставив солнцу свое захолодавшее темя. Над водой покачивается предутренний туман. И в этом тумане возникают неясные черты — пока неуловимые, но еще немного… немного…

— Вега! — звучит далекий голос. — Ве-га!

Я вздрагиваю. Только один человек звал меня так. Но он же убит. Убит!..

Сквозь зыбкость тумана проступают очертания гладко выбритой головы, круглое лицо с таким знакомым выражением жизнелюбия и радостной энергии, а под сильными стеклами очков — щемяще ласковый взгляд светлых близоруких глаз… Друг, учитель, любимый, я и о тебе еще не сумела написать в полную силу!..

— Вы сказали: боюсь отстать? Так нет, не боюсь!! Изменить себе, отречься от своего прошлого, начать приспосабливаться, подлаживаться — куда страшней. Понимаете?!

А моего собеседника уже нет. Да и был ли он?

Стою одна, холодом тянет от воды, туман легкой влагой оседает на щеках. Зябко свожу плечи и накрест засовываю окоченевшие руки в рукава пальто, добираясь до теплой кожи под сгибами локтей. И бормочу строки Давида Самойлова, давно уже прижившиеся в моей душе:

Большую повесть поколенья
Шептать, нащупывая звук,
Шептать, дрожа от изумленья
И слезы слизывая с губ.

Если бы хватило сил!.. Ведь оно уходит, уходит вместе с людьми — ч т о было и к а к было, оно выветривается из нашей собственной памяти… Пусть все, написанное мною, будет удобрением для гениальной эпопеи нашего поколения… к черту честолюбие и расчеты, если тема стучится в сердце!

— Так напишите же о себе и своем поколении!

Эта странная белая ночь продолжает свое колдовское дело. Вот и еще кого-то подослала ко мне в непрошеные советчики… Не хочу, довольно, сама как-нибудь разберусь!

Оборачиваюсь с досадой, но мои глаза встречают глаза друга, серые с голубинкой под синью надвинутого на лоб берета. Лицо, тронутое мелкой рябью аккуратных морщинок, светится щедрой готовностью помочь, что бы ни потребовалось, рука друга раскрывает широкую ладонь навстречу моей… Как я могла забыть о нем в те муторные часы, когда так жаждала понимающих глаз и дружеского голоса?!

— Ох, как хорошо, что это вы!

А он говорит, будто прочитал мои мысли:

— Ведь стучится? Вы же давно подбираетесь, я знаю. Сколько набросков вы накопили в потрепанной папке с легкомысленной надписью «Р а с с ы п у ш к и»?

— Так они действительно врассыпную! Воспоминания вроде окон, только в прошлое. Что-то вдруг вспомнится, будто лампа

осветила давно забытые события и людей, я и записываю не мудрствуя лукаво. Для себя. Но собрать их в цельное повествование?.. Для читателей?..

— А почему нет? Это же путь духовного развития человека — да в такое неповторимое время. Для многих сегодняшних читателей история нашего поколения почти загадка.

— Но интересно ли им? Нужно ли?

— Да! — отвечает он с какой-то даже яростью. — Да, если искренне и честно, без позолоты и лака, да!

— История поколения — это и гению не одолеть. А рассказать свою жизнь, хотя бы не целиком, а пунктиром… К тому же моя жизнь не очень-то характерна для послереволюционного поколения — девочка из дворянской среды, адмиральская дочь!

Он, усмехаясь, покачивает головой, и я сама понимаю, что говорю ерунду, волной революции кого только не подхватывало, неожиданность моей судьбы как раз и характерна. И если цельное повествование сложится, оно пойдет по нарастающей, как бы раструбом — от камерности детских впечатлений — все шире, шире…

— В музыке это обозначается знаком крещендо, — вслух говорю я.

И он понимает без пояснений.

— Так что же вас держит?

Прямо-таки допрос с пристрастием! Но разве друг не имеет права?.. И я отвечаю:

— Во-первых, сомнения: не получится ли все о себе да о себе, слишком узко? А во-вторых… стала перебирать сделанное да оглядываться, и меня мучает множество людей, о которых я не написала, и я пишу их, как вижу, могла бы их всех столкнуть и связать в романе, иногда сами собой возникают связи и коллизии… Но нет, и этого не хочу, они мне интересны как есть, потому что необычны для меня.

— Это вам кажется, — возражает он, — разнообразия людей не исчерпаешь, но они такие же ваши, как все прежние. Ваш ракурс, ваши проблемы. Только подбор, может, несколько иной.

Прав ли он? Скольжу по страницам своих же книг… Ну да, там немало и таких, что плывут н е н а с т р е м н и н е, но они не были для меня главными. И пожалуй, я всегда нащупывала для них исходную точку поворота…

— Понимаете, я всю жизнь чувствовала себя бойцом и искала в душах то новое, что родила революция. Меня тянуло к натурам сильным, ищущим, к тем, кто не подчиняется обстоятельствам, а поворачивает их по-своему. В конце концов, они моя среда, что бы

я была без них?!

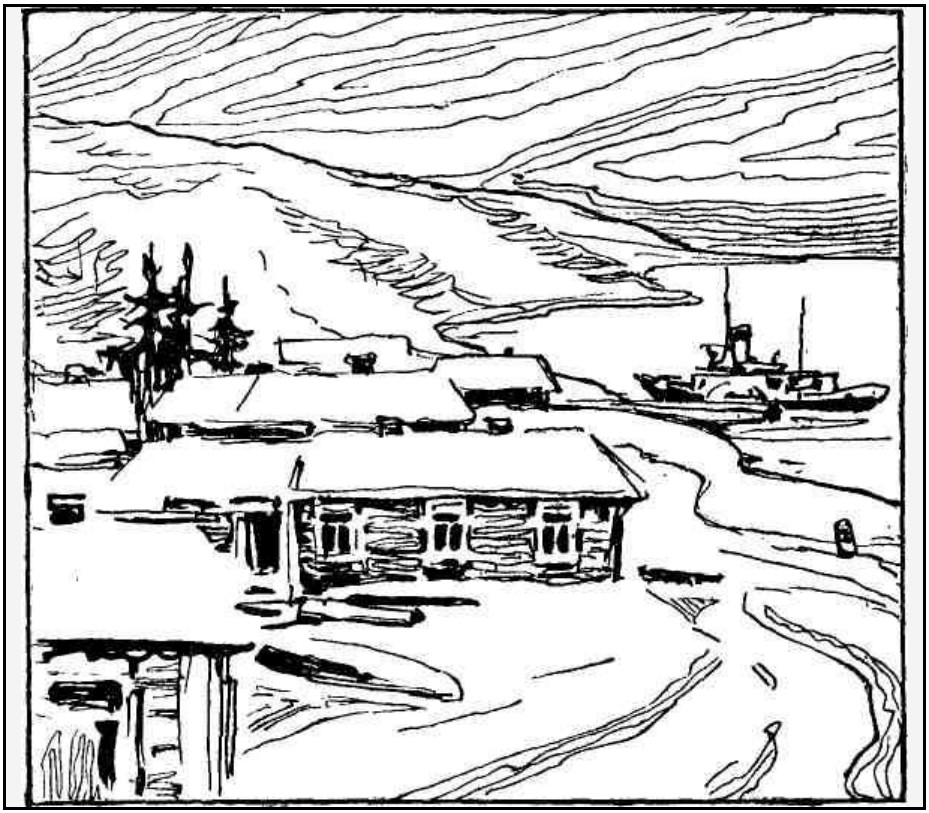
— Вот вам и ответ на сомнения. И ваше любимое к р е щ е н д о.

Когда я возвращаюсь домой и настежь раскрывало окно, впуская всю прелесть раннего утра, первый солнечный луч уже ощупывает крыши и тусклые стекла слуховых окон, я говорю ему: здравствуй, луч! — а себе приказываю: спать, немедленно спать! И все же, прежде чем лечь и кануть в благодатный сон, я вытягиваю из дальнего ящика потрепанную папку с легкомысленной надписью, удерживаюсь от желания развязать тесемки и не без торжественности кладу ее на рабочий стол.

Часть вторая
НАЧАЛО

часть вторая

НАЧАЛО



И все же — нет! Не хочу никакого связного повествования.

Память — работяга на редкость чуткая, она отбирает из беспорядочного мелькания всевозможных обрывков прожитого только то, что стало какой-то вешкой на пути духовного развития, только то, что оставило на древе человеческой жизни хотя бы малую зарубку.

Если потянуло записать — значит, именно это почему-либо важно?..

Пусть же все сохранится как написано, где отрывочней, где связней. Я только расположу рассыпанные главки так, чтобы рассказанное в них точно чередовалось во времени, ну и самую малость поправлю, где необходимо, или допишу, чтобы прояснить непонятное, но ничего не буду приглаживать или перестраивать ради стройности и занимательности.

Кому покажется неинтересно — отложит, а кому захочется — пройдем вместе по моим вешкам и зарубкам.

ПРИЧАЩЕНИЕ СВЯТЫХ ТАЙН

Мне четыре года. Веранда старого дома на Каче, у бабушки. Поужинали, теперь нам дается час посумерничать — успокоиться после длинного дня беготни и шалостей. Затем — хочешь не хочешь — придется всползать наверх по скрипучей лестнице (каждая ступенька скрипит по-своему), раздеваться, чистить зубы, мыть лицо, шею и уши — все как следует, под маминым всевидящим взглядом, а затем еще и ноги! — в тазу, с мылом, разъедающим свежие ссадины… Чтобы оттянуть эту ненавистную канитель, мы с сестрой забираемся на диван в темном углу и сидим тихо-тихо. Мама ходит по веранде, постукивая каблучками, поправляет фитиль в пузатой керосиновой лампе, меняет воду в кувшине с маками — два лепестка упали на пол и легли красными лодочками, вот-вот поплывут. Мама встряхивает и перестилает на обеденном столе скатерть с бахромой, я обмираю, потому что за ужином опять заплела бахрому косичками, но мама не замечает косичек, она переговаривается с бабушкой — и наконец-то подходит к роялю. Счастливая минута! Я вся напрягаюсь, чтобы н е п р о п у с т и т ь…

Мамины пальцы растопырились и ударяют по нескольким клавишам сразу, как бы пробуя, что получится — внутри черного ящика густо откликаются и протяжно гудят струны. Мама тоже слушает, как они гудят. Потом ее пальцы быстро-быстро пробегают по клавишам из конца в конец, по белым и черным, получается как ручеек в балке, бегущий по камням большим и маленьким, глухим и звонким… и вдруг возникает и переливается из-пед маминых рук прямо в мою душу — чудо, ни с чем не сравнимое чудо. Я каждый вечер пытаюсь поймать его начало — и не успеваю. Я уже знаю такие слова, как нота, аккорд, мелодия, пиано, форте, но разве они что-либо объясняют? Мама берет аккорды — тогда ее руки кажутся очень большими, и от запястья до локтя вздуваются мускулы; она касается клавиш кончиками пальцев — рука становится нежной и легкой; иногда каждая рука самостоятельна, правая нежна, а левая мощнее, шире… Это я замечаю, но как рождаются созвучия и звуки — каждый раз новые, о чем-то своем говорящие, что-то выпевающие,

о чем-то молящие?.. Я стараюсь понять и забываю об этом, я слушаю — и внутри у меня что-то сжимается и холодеет, как от мороженого.

Чудо? Их было много в маминых сильных, как у мужчины, руках. Иногда они повторялись, я узнавала знакомые сочетания звуков и в блаженном нетерпении ждала — вот сейчас будто гром загремит… а сейчас будто голос запоет… Все было так, гремел гром и пел голос, но каждый раз еще лучше, чем прежде, потому что оказывалось — под грозой певуче зашелестели тополя, а голосу вторят глухие созвучия, совсем глухие оттого, что мама ногой нажимает педаль с у р д и н ы… Иногда чудо было совсем новое, оно выходило из-под маминых пальцев ощупью, запинаясь в нерешительности — что дальше? Выбрав — что, оно возвращалось назад и повторяло уже нащупанное созвучие уверенней, а потом еще и еще, и вот уже не ощупью, а свободно и торжествующе…

— Что это, Оля? — спрашивала бабушка, встрепенувшись в соломенном кресле, где она подремывала.

— Так. Свое, — говорила мама и снова повторяла сыгранное, но теперь оно как бы расширялось и расцвечивалось новыми звуками, и красивое мамино лицо становилось еще красивей, глаза сияли в полумраке как две лампочки.

Иногда мама подпевала роялю — не своим, низким голосом, и пальцы ее брали широкие аккорды на басах.

— Хор разбойников, — бросала она бабушке, — вечером у костра. Отдыхают и грустят.

Мы уже знали, что мама когда-то, до нас, сочиняла оперу «Разбойники» и ее хвалил Скрябин. Имя Скрябина произносилось так, что было понятно — лучшей похвалы не бывает. Из отрывочных рассказов, услышанных нами в разное время, сложилась такая история: на каком-то э к з а м е н е Скрябин выбрал маму в ученицы, а мама плакала и не хотела, и все ее ругали, потом мама сочиняла оперу, а еще потом папа увез маму, а Скрябин очень рассердился и закричал: «Так я и знал, что вас уведут!» В этой истории была прелесть непонятности. Еще непонятней было, когда же мама с дедушкой попала к индейцам, которые уже приготовились их скальпировать? Хорошо, вовремя появился папа и спас их! Сам папа подробно, субботними вечерами, рассказал нам, как все произошло. Но где же в то время был Скрябин и почему его не схватили индейцы?.. Я попыталась свести воедино папины и мамины рассказы, но мама расхохоталась и отшутилась, как умеют отшучиваться взрослые от серьезных вопросов, а папа сказал: «Я же не сразу женился, мама еще поучилась у Скрябина — до свадьбы».

Слушая хор разбойников, я представляла себе разбойников полуголыми, с перьями на голове — таких я видела на картинке в книге. Мама и дедушка привязаны к деревьям, а они сидят у костра и грустно поют. Может, им все-таки жаль маму?.. А если бы не подоспел папа с моряками, маму скальпировали бы. И папа уже не встретил бы маму. И т о г д а м е н я н е б ы л о б ы!.. То есть как? М е н я — н е б ы л о б ы?! Я вдавилась в угол дивана и от ужаса крепко зажмурилась, но та же мысль продолжала бить в голову молоточками самых звонких клавиш: м е н я м о г л о н е б ы т ь!

Мама играла уже что-то другое, знакомое, а я с новой пристальностью смотрела на кувшин с маками и на две красные лодочки, готовые отплыть, на дремлющую в кресле бабушку, на стекла веранды, где бликами отражались два света — от лампы над столом и от неполной луны, вылезавшей из-за черного столба пирамидального тополя. Это была моя первая, ошеломляющая мысль о жизни, которая была, и будет, и могла бы существовать б е з м е н я — тополь, луна, маки, вот эта веранда, даже бабушка, даже папа!.. А мама все играла, забыв про часы, и вызываемое ее руками многоголосое чудо подтверждало: б ы л а и б у д е т, б ы л а и б у д е т!..

Много лет спустя, в концертных залах или у радиоприемника, я обретала вновь то одно, то другое из чудес моего детства. Чудеса назывались — этюд Скрябина, ноктюрн Шопена… Лист, Шуберт, Рахманинов, Бетховен… Бетховен! Он вторгся в мою юность, потрясая своей силищей и еще не осознанной, но воспринимаемой всем существом родственностью жизнеощущения, и навсегда — наравне с «Поэмой экстаза» Скрябина — стал самым близким, самым м о и м. Но первое знакомство с «Аппассионатой» — кажется, на концерте Горовица — неожиданно вернуло меня в раннее детство, на бабушкину покосившуюся веранду, где я услышала чудо из чудес и, не выдержав напора удивительнейших созвучий, забыв таиться, бросилась к маме и закричала:

— Мама, что это?! Что это?!

Запомнился и другой вечер, когда мама, поглядев на часы (пора укладывать!), сыграла под конец что-то будоражащее, искристое, с веселыми всплесками звуков на концах стремительных пассажей, и я громко заплакала, напугав маму и бабушку.

Мама взяла меня на руки, потрогала мой лоб губами — не заболела ли?

— Какое хорошее, — сказала я.

Мама даже огорчилась:

— Дурашка, это вальс Клико, пустячок!

— Что ты хочешь, ребенок, — сказала бабушка, — но какая восприимчивость! Ее надо учить музыке.

Дорого мне обошлось это открытие! Но тогда я ощутила свою новую значительность и отдалась сладкому теплу маминых рук, и в нахлынувшей после слез дремоте увидела себя у рояля, на вращающемся табурете, мои сильные, со вздувшимися мускулами руки извлекали из клавиш что-то еще лучшее, чем этот вальс Клико… и одновременно я сообразила, что раз уж мама взяла меня на руки, она, быть может, сама отнесет меня наверх и пожалеет будить, чтобы мыть лицо, и уши, и ноги, — только нужно совсем заснуть, вот сейчас же совсем заснуть…

ГОД ОТКРЫТИЙ

В детстве казалось, что все в жизни прочно и неизменно — как домашний порядок от «пора вставать» до неизбежного «спать пора!». Папа был моряком, и мы часто переезжали с места на место, побывали и за границей — в Англии, Франции, Италии (папа был послан туда в научную командировку от Военно-морской академии, после чего читал курс лекций «Иностранные флоты»). Но жизнь за границей ничего не меняла во внутреннем распорядке семьи — папа бывал дома только по воскресеньям, мама была с нами с утра до ночи и в любом месте налаживала обычный режим, даже ненавистные каши на завтрак были те же, только в Англии геркулес назывался поридж, а во Франции еще как-то.

Что осталось в моей памяти? Английская девочка, которой запретили играть с нами, потому что мы расшалились в воскресенье, а этот день для «господа бога»… Пляж на берегу океана, где взрослые люди строили из песка громадные крепости, проводя конкурсы — чья крепость дольше выдержит прилив… Отчаянная драка с французским мальчишкой в Булонском лесу — мальчишка вообразил, что меня можно дразнить безнаказанно, за что получил тумаков (и я тоже)… Каналы Венеции, голуби на площади, часы с молотобойцами и то, что маме почему-то не выдали денежного перевода и мы уехали в набитом битком вагоне третьего класса, и мама почти всю дорогу стояла, но была такая веселая и неунывающая, что какой-то лысый синьор под конец уступил ей место… Затем курортный городок Закопане в Татрах, куда мы кое-как добрались к добрейшей нашей закопанской бабушке, папиной маме. В Закопане я помню гору Гевонт, похожую на лежащего человека, и висячий мостик над глубоким ущельем, где с шумом мчался пенистый поток, и бабушкин уютный домик с балконом, где днем, на солнце и морозе, спали в меховых мешках ее постояльцы (наш закопанский дедушка был врачом и погиб под снежным обвалом, когда шел в горы к больному, после его смерти бабушка жила тем, что сдавала две комнаты чахоточным, ухаживала за ними и кормила

их поразительно вкусными вещами — до сих пор помню бисквит со сливками и свежей земляникой!).

Конечно, впечатлений было значительно больше, чем запомнилось, они наслаивались ежедневно; но даже самые странные из них, вроде «воскресенья — для господа бога», укрепляли представление, что все окружающее налажено раз и навсегда, как предопределена и наша жизнь до того дня, когда на нас наденут платья с белыми передниками и отведут в гимназию, а там опять все будет заведено на много лет вперед.

В семь лет я открыла, что никакой неизменности нет и не так уж все прочно. Я узнала, что решения в жизни могут быть разные, так как человек должен сам выбирать свой путь! Понятно, все это было в ощущениях, а не в отчетливых формулах — кроме последней, потому что именно такая формула была произнесена и надолго врубилась в сознание.

Шел 1913 год. Папу отозвали из академии на флот, и мы вернулись в Севастополь — милый белый город, где я родилась, где отовсюду видна сияющая синь моря, а на Корниловской набережной, где мы поселились, и на Приморском бульваре, где мы гуляли, вкусно пахло водорослями. Какая-то тревога сопровождала наш переезд и жизнь в Севастополе. Взрослые все чаще говорили о возможной войне, о Германии и Австро-Венгрии, о Турции и каких-то проливах Босфор и Дарданеллы. Гуля нашла все это на карте. Я не раз видела карту Европы, но тут впервые заинтересовалась ею. Меня оскорбило, что наше неоглядное Черное море не больше раковины, а Севастополь — черная точечка у края раковины. Что же тогда мы? Я?.. Гуля объяснила, что на карте все во много-много-много раз уменьшено. Это я поняла. Разыскали Англию и Францию, Германию с Берлином, где живет сердитый император Вильгельм, Турцию с ее проливами, — по карте получалось, что все эти страны (из одной в другую ехать и ехать!) — совсем рядом, прямо-таки сцеплены вместе, только разными красками покрашены. Жили-жили рядом и вдруг стали ссориться, да так, что «в любой момент может вспыхнуть война». Как она «вспыхивает»? И что тогда будет? Наши корабли — военные, значит, будут воевать? И могут затопиться в бухте, как те корабли, которым поставлен памятник на скале у Приморского бульвара? А папа?.. И папа будет воевать?..

Стоило об этом задуматься, все становилось шатким. И страшным. Но пока что страшное было далеко, вспыхнет или не вспыхнет, качинская бабушка сказала: «Может, все обойдется…» Зато в нашей собственной жизни надвигалась давно ожидаемая перемена — с осени мы пойдем в гимназию!

И вдруг именно у нас привычный порядок нарушился: в

гимназию нас не отдали.

— Станут кисейными барышнями, как все эти офицерские дочки!

Так сказал папа.

Мы тоже были офицерскими дочками, но у папы не было худших бранных слов, чем эти самые дочки и кисейные барышни. Считалось стыдным ходить летом без синяков и царапин на коленках, бояться темноты и лягушек, плакать, если больно. Наверно, потому, что вместо меня папа хотел сына! Так проговорилась мама, не заметив, что я верчусь подле. Папа ждал сына и даже выбрал для него имя — Сережа… Я чуть не заревела от обиды. Но кто придумал, что я девчонка? Они просто ошиблись, дали мне девчонское имя, а на самом деле я мальчишка и мальчишкам ни в чем не уступаю!

Попробовала убедить в этом папу. Он улыбнулся:

— Докажи. Можешь влезть на тот тополь?

Будто я не лазала! Но за это мне обычно попадало, а тут… Я залезла на самую верхушку старого пирамидального тополя, ветки там были тонкие и сгибались подо мною, я раскачивалась и кричала от радости. Папа сказал: молодец!

Однажды он позвал нас окапывать каштаны. Мы с папой посадили в балке три деревца и каждое лето окапывали их, а если не было дождей — поливали. На этот раз мне вздумалось пойти босиком. Бабушка не пускала, а я заупрямилась — в сандалиях жарко. Папа сказал:

— Сумеешь выдержать характер? Иди.

Топать по теплой пыли было приятно, но как неудобно оказалось нажимать на лопату босой ногой! Папа окапывал свое дерево не торопясь, чтобы не обогнать нас, и все поглядывал на меня — не сдамся ли. А меня охватил азарт: а вот смогу! выдержу! Когда я в последний раз нажала горящей от боли ногой на лопату и перевернула последний пласт земли, меня распирала радость — победившего упрямства? Или первого преодоления?..

— А домой пойдем полями, — предложил папа.

И поглядел на мои ноги.

Стерня успела выгореть и жестко колола ступни. Папа первым перепрыгнул через копну, за ним Гуля. Стиснув зубы, разбежалась и я. Ох, как больно приземляться! Но я прыгала и прыгала вслед за ними. Только не заплакать! Только выдержать!

Когда бабушка, охая над моими в кровь расцарапанными ногами, заставила меня опустить их в таз с теплой водой, папа сказал:

— Ничего, до свадьбы заживет. А характер у нее есть!

Сколько событий детства забыто, а тот день крепко

запомнился ощущением особенного, изнутри пришедшего счастья.

Нет, быть кисейными барышнями мы не собирались. Но гимназия — это казалось само собою разумеющимся. И вдруг… Мы ринулись со всех ног, стоило папе поманить нас на диван, где он обычно рассказывал нам разные истории. На этот раз он сказал, что мы уже большие и что человек должен сам выбирать свой путь. Кисейные барышни мечтают танцевать, выйти замуж и всю жизнь ничего не делать. А человек должен приносить пользу людям, родине, иначе он не человек.

— Я хочу, — сказал он, — чтобы вы сами выбрали себе профессию и выросли людьми. Ну-ка, кто кем хочет быть?

— Я — доктором, — не медля сказала Гуля.

Мы любили доктора Федотова, папиного лучшего друга. Федотов был корабельным врачом и вместе с папой объявил бойкот офицеру, который ударил матроса, — с тем офицером никто не здоровался и не разговаривал, так что ему пришлось перевестись на другой корабль. А Федотов был толстый, веселый и с нами говорил нормальным голосом, как со взрослыми, — сюсюканья мы терпеть не могли.

Я бы тоже сказала «доктором», но Гуля меня опередила. По-настоящему мне хотелось стать моряком, не военным, а как дядя Леша — дальнего плавания. Чтобы штилевать сорок дней в Индийском океане, побывать в Сингапуре, Австралии и в загадочном Гонолулу, увидеть колибри, слонов и кенгуру, чтобы стоять в десятибалльный шторм на мостике, а при крушений покидать корабль последней… Но в моряки девочку не возьмут. Кем же мне быть? И тут я вспомнила: однажды вечером папа показал нам Большую и Малую Медведицу и другие созвездия и рассказал, как определяют по ним курс корабля и как ученые-астрономы в больших башнях — обсерваториях — в большие подзорные трубы изучают звезды.

— Я буду астрономом! — Ответ звучал гордо.

Возможность разных — и самостоятельных! — решений была самым впечатляющим открытием моего детства.

Путь был выбран. Теперь надо было начинать его — с приготовительного класса.

Мама искала домашнюю учительницу. Когда приходили по объявлению учительницы, мы подслушивали под дверью и подглядывали в замочную скважину. Одна нам показалась злющей, другая — скучной. Видимо, и маме тоже. Но вот пришла молодая, веселая, к тому же студентка!

— Почему же вы остаетесь на зиму в Севастополе? — спросила мама.

Шел такой оживленный разговор, и вдруг тишина. Боже мой, почему? И какое маме дело — почему?

— Ольга Леонидовна, вы, наверно, слышали… о студенческих событиях?

— Понимаю, — после паузы сказала мама.

Мы не поняли. Но, если гипноз доступен детям, в эту минуту все силы гипноза обрушились на маму через замочную скважину. И мама сказала, что надо учить нас по программе приготовительного и первого класса гимназии, чтобы весной мы сдали экстерном экзамены.

— Значит, и «закон божий»? — тихо спросила студентка.

У нас в семье религию не признавали, а церкви мама боялась, считая, что там можно подхватить инфекцию.

— Придется, — сказала мама.

Снова заминка. Что еще?!

— Мне не трудно, Ольга Леонидовна. Но тут есть одно обстоятельство. Я еврейка.

И снова тишина. Тишина. Тишина.

— Это дело совести, — огорченно сказала мама, — конечно, если вам не позволяют ваши убеждения…

— Ах, при чем тут убеждения! Может, вы сочтете неудобным…

Гуля смотрела на меня своими большими глазами. Я — на нее. Что такое еврейка? И почему неудобно?

— Мы же интеллигентные люди! — воскликнула мама. — Это чистая формальность, что делать, если полагается по программе!

Они еще поговорили и посмеялись, затем мама негромко позвала нас, видимо отлично зная, что мы под дверью. Мы чинно вошли и вообще вели себя как образцовые девочки, даже сделали изысканные реверансы. А со следующего дня начали заниматься с Софьей Владимировной — лучшей из учительниц, каких я когда-либо знала.

Читала я свободно лет с шести, кое-как писала поздравления бабушкам, сосчитать, что нужно, умела, а таблицу умножения и таблицу слов на букву «ять» выучила назубок, когда болела корью, — таблицы висели перед глазами. Поэтому я приладилась писать диктовки и решать задачки вместе с Гулей, молитвы по программе приготовительного класса выучила походя, а Гулин учебник Ветхого завета знала гораздо лучше, чем Гуля, потому что она д о л ж н а его учить, а я — хочу — учу, хочу — нет. Кроме того, мы читали вслух «Детство» Толстого. Когда кончили, Софья Владимировна прочитала нам рассказ о Ваньке Жукове и «Спать хочется» — так прочитала, что мы прослезились.

— Вот какое разное бывает детство, — сказала она. —

Правда, несправедливо?

После занятий мы гуляли на Приморском бульваре или на Мичманском, ходили в музей Севастопольской обороны, называвшийся Панорамой, и на Малахов курган, где сохранились траншеи, редуты, пушки и круглые ядра — наши и французские. Слово «война» обретало зримые формы. Сколько интересного рассказывала Софья Владимировна во время прогулок! О матросе Петре Кошке, пробиравшемся в тылы французских войск. О партизанах Отечественной войны 1812 года. О крестьянской девушке Жанне д'Арк, отдавшей жизнь за свободу Франции… Вот что такое война!

Но однажды наша дорогая учительница рассказала нам о молоденькой революционерке Вере Засулич, стрелявшей в жестокого петербургского градоначальника. Затем — об узниках Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей… О Ленском расстреле, из-за которого по всей стране были забастовки и студенческие волнения…

— И такая есть война, девочки! Самая справедливая.

От нее мы узнали песню, которую можно петь только потихоньку, потому что она з а п р е щ е н н а я. «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою, родину-мать вы спасайте, честь и свободу свою!» Мы вполголоса разучивали ее, сидя на берегу моря, и море вторило песне рокотом волн в прибрежных камнях. «Если ж погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых…» Я содрогалась, но страх мой был сладок, чувством я постигала отчаянность неравной борьбы и прелесть какой-то пока неведомой силы, заставляющей человека идти хоть на смерть. Значит, и такой можно выбрать путь?!

Для рукописного журнала «Красное яичко», который мы затеяли с Софьей Владимировной, я решила написать рассказ о революционерке, попавшей «в шахту сырую», но дальше первой строчки дело не пошло из-за полного незнания того, о чем я хотела писать.

В ту же зиму мы открыли для себя кинематограф. Папа повел нас смотреть видовую картину о маневрах флота. Удивительно было видеть знакомые корабли в открытом море — и как будто рядом! Вслед за видовой показали картину «Кай Юлий Цезарь», нас хотели увести, но мы не дались. В том, что происходило, я ничего не поняла — кто на кого сердится и за что. Но поверженного Цезаря ясно помню до сих пор, он приподнимается на локте и смотрит на одного из убийц, а под ними возникает надпись: «И ты, Брут?» Но больше всего меня поразило, что можно на мерцающем экране увидеть незнакомую жизнь, даже самую давнишнюю, и увидеть так, будто все происходит при тебе.

В кинематограф нас больше не пускали. А там шла многосерийная картина «Сонька — золотая ручка» — о знаменитой воровке! Выручила Софья Владимировна. Каждый понедельник она бегала смотреть новую серию (тогда говорили «выпуск»), а во вторник на прогулке все увиденное подробно нам пересказывала. Кстати, вопреки мнению моралистов всех времен, это не пробудило у нас желания стать воровками.

И еще открытие того года — первая детская любовь. Миша Муравьев. Мы познакомились на елке, и он сразу прирос ко мне, присоединялся к нам на прогулках и во всех играх мне уступал. Ощущение власти над ним было ново и чудесно. Но вскоре приехала его двоюродная сестра Катя, и родители велели Мише уступать ей, потому что у Кати умер папа. Умер папа — это было страшно, я согласилась — надо уступать. Но Катя оказалась капризной и заносчивой девчонкой, что бы мы ни затевали — шла наперекор, а Миша ей не прекословил! Я люто ревновала и однажды рассорилась с Мишей насовсем. Недели через три он появился на бульваре один, догнал меня, схватил за плечи и разом выпалил, что э т а д у р а наконец уехала, что он измучился и теперь снова будет во всем уступать только мне. Мы поцеловались, я крикнула: догоняй! — и побежала… Было решено, что мы поженимся, как только станем большими.

В середине двадцатых годов он разыскал в Севастополе мою тетю, чтобы узнать, где я и что делаю. Когда тетя Вера рассказала все, что знала, Миша схватился за голову:

— Верочка — комсомолка? Боже мой! Боже мой!

Так отпал мой первый жених. Но в тот давний год поклонение Миши питало мою гордость и помогало осознавать свою человеческую самостоятельность. На восьмом году? Да, именно в 7—9 лет человечек начинает напряженно обдумывать окружающее и самого себя, отстаивает свою самостоятельность и топорщится изо всех силенок, если ему что-то навязывают. А мне — навязали.

В тот год я охладела к музыке — наплыв новых впечатлений был велик, а мама уже не играла вечерами «просто так», по настроению, она готовилась к концерту в Морском собрании и часами отрабатывала свою программу. Но именно теперь нас вздумали учить музыке! Учительница Софья Михайловна не любила ни музыку, ни учеников. Гулю она еще терпела, а меня, кажется, возненавидела, во время урока кричала, что я тупица, и шлепала меня по пальцам. А когда за нами приходила мама, она восторженно говорила: «Ваши прелестные девочки!» Меня оскорбляло и ее лицемерие, и то, что вытворяли на клавишах мои собственные руки — клацающий, безрадостный звук! — и нудная

монотонность гамм…

Не знаю уж почему, но передо мною возникла именно Жанна д'Арк, а не более подходящая героиня, когда я решительно сказала маме:

— Учиться музыке я не буду.

Меня убеждали, наказывали, стыдили… Мой первый в жизни бой! Я его выиграла.

Страшновато было, что скажет папа, когда вернется (он уехал в Петербург). Папа улыбнулся:

— Может, лучше хорошо слушать, чем плохо играть?

— Я боюсь, что она потом пожалеет, — сказала мама.

Жалеть — не жалела, но, как только уроки кончились, я полюбила музыку снова — и навсегда. Будь учительницей музыки не Софья Михайловна, а Софья Владимировна, я бы, наверно, не взбунтовалась.

Кстати, совпадение имен много лет спустя сильно подвело меня. Приходит ко мне в редакцию пожилая дама в старомодной шляпке, приторно-ласковая, пытается обнять:

— Верочка, я Софья Михайловна, ваша учительница музыки!

Выяснилось, что она хочет переехать в Ленинград и надеется на мою помощь: «Устройте меня в издательство секретаршей!» — «Почему секретаршей, вы же музыкантша?» Она ответила вполне современным языком, что ей осточертели ученики… Ох, намного раньше они ей осточертели!

А через некоторое время у меня дома раздался телефонный звонок и сдержанный женский голос сказал:

— Это ваша бывшая учительница Софья Владимировна. Мы с мужем приехали из Ростова, остановились в Доме ученых. Очень хочу повидать… не знаю, как говорить — вас или тебя, но хочу.

Почему-то в памяти всплыла старомодная шляпка и приторная ласковость недавней гостьи, и я суховато сказала, что в эти дни очень занята, если на той неделе…

В трубке звякнуло, раздались частые гудки… И в ту же секунду я сообразила, кто это, и чуть не взвыла от стыда и горя. Что же теперь делать?! Не сразу, но память подсказала — в Доме ученых. Да, да, да, она сказала: остановились в Доме ученых. Там есть небольшая гостиница. Ее фамилия — Штернгольц. Проще простого найти ее!

Дежурная гостиницы ответила: такая не проживает. Подумав, я позвонила снова и воззвала к сердцу дежурной — поймите, я невольно оскорбила любимую учительницу, она, конечно же, вышла замуж, и фамилия у нее другая. Золотой человек была эта дежурная! Просмотрела весь список и нашла профессора Сперанского из Ростова с женой Софьей Владимировной.

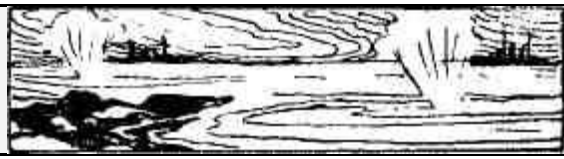
Обрадовав меня, побежала звать ее к телефону. И вот… Как я могла хоть на миг спутать этот милый грудной голос с каким бы то ни было другим?!

— А я вернулась в номер, реву как дура, муж говорит: что ты хочешь, столько лет прошло, она теперь писатель! А я говорю: если Верушка могла так измениться, значит, нет правды на свете.

Через полчаса я уже обнимала ее — все такую же, прежнюю Софью Владимировну! Нет, она, конечно, постарела и располнела, были и морщинки и сединки, но ведь и внешний облик определяется человечьей внутренней сутью, а человечья суть озаряла ее лицо все тем же ясным светом ума, сердечности и молодой пылкости, и мы сразу заговорили так, будто только вчера роняли слезы, расставаясь на севастопольской пристани, и я все та же озорная Верушка, она знает все мои грехи и посмеивается, и не выдает, и, может быть, за это и любит, а я люблю ее за все решительно, от Соньки — золотой ручки до тех глубинных чувств и понятий, которыми она так щедро нас одарила.

Мы говорили и говорили, пока ее муж не взроптал — ведь не обедали! Мы пошли в полупустой зал ресторана Дома ученых и заказали все самое вкусное, что было в меню, а потом рассеянно съели, за разговором не замечая, что едим, и правда на свете была, и мы распили за нее бутылку доброго вина.

ВОЙНА И МИР



Сразу после экзаменов мы выехали за город, но не к бабушке, как обычно, а в Учкуевку. Папа считал, что в это лето он почти не сможет отлучаться с флота, и хотел, чтобы мы жили поближе к Севастополю. По утрам мама хватала газеты, ее глаза тревожно пробегали по столбцам… Когда приезжал папа или кто-либо из знакомых, разговор сразу заходил о политических новостях, о приближении войны. Жалели маленькую Сербию, ругали все того же Вильгельма и «престарелого» Франца-Иосифа, который тоже был императором, и, видимо, не лучше первого. Кроме них, папа ругал какого-то Эбергарда, я считала, что это еще один негодный император, но оказалось, что это командующий Черноморским флотом, старый адмирал, который «не способен охватить»… Что? Почему? И зачем такого назначили?..

Корабли выходили на учения и напротив Учкуевки стреляли по щитам. Щиты тянулись за буксирами, я боялась, что артиллеристы промахнутся — да в буксир! Иногда в небе, тарахтя, пролетал аэроплан с двумя плоскостями, прикрепленными одна над другой, на носу у него крутился винт, а в кабине виднелась голова авиатора в шлеме. Авиатору мы махали руками.

Из соседней дачи выбегала вечно растрепанная женщина, испуганно спрашивала:

— Это не германский?

В то время Учкуевка была пустынным местом. Пыльная дорога вилась среди пологих холмов, поросших травой — траву никто не косил, ее выжигало солнцем. Кругом ни деревца, ни кустика. Вдоль дороги стояли три дачки, обнесенные низкими заборами из необтесанного камня, возле дачек торчали чахлые саженцы. Одну из этих дачек мы сняли на лето. Через поле, над обрывом к морю, стояла особняком большая двухэтажная дача, за ее высоким глухим забором зеленели верхушки деревьев и возвышался ветряк — когда ветер крутил его колесо, оно напоминало винт аэроплана. Ходить к той даче строго-настрого запретили — от обрыва изредка отваливались пласты, земля трескалась, со стороны моря трещины змеями уползали под

забор. Если спуститься по дороге к морю, над широким песчаным пляжем стояла еще одна дача — высокая, белая, но недостроенная, без окон и дверей, говорили, что там ночуют бродяги. Жутко было, когда ветер гулял внутри дачи, — будто люди свистят… Может, те бродяги?

Из-за бродяг или просто из-за пустынности места, но у нас поселился матрос. Папа был уже капитаном второго ранга и «имел право» держать дома денщика, но считал это мерзостью и своим правом не пользовался. А тут вдруг сообщил:

— Завтра придет матрос, поживет с вами до осени. Только мешать ему не надо, пусть сидит и занимается.

Матрос пришел с маленьким рундучком и тяжелой связкой книг. Тонкий, светловолосый, с холодными серыми глазами, он смотрел на нас настороженно, будто все время ждал подвоха. Дачка была одноэтажная, но стояла на взгорке, поэтому со стороны склона был еще полуэтаж в три окна — кухня и две комнатки. В одной из этих комнаток матрос и поселился, расставив на подоконнике книги. Я забыла, как его звали, и не знаю, что с ним стало потом, но мама называла его по имени-отчеству и робела перед его серьезностью. А меня неудержимо тянуло под его окошко. Столько книг! Наверно, очень интересные, если он и на пляж не ходит.

Однажды мне показалось, что его нет в комнате, и я осторожно потянула к себе самую толстую книгу.

— Что вам нужно, барышня?

Он приподнялся над книгами, лицо было недоброе, даже злое.

— Посмотреть… картинки… — пролепетала я, — вы не думайте, я поставлю на место.

Он усмехнулся, вытащил книгу из плотного ряда и показал мне обложку. На ней было напечатано крупными буквами одно слово: «Капитал».

— Картинок в ней нет. И книга не для барышень.

— Я не барышня!

— Ну как же не барышня? Небольшая, но барышня.

Говорил он насмешливо, я обиделась и выпалила одним духом, что кисейные барышни — хуже всего, папа их презирает, человек должен сам выбрать свой путь и приносить пользу, я буду астрономом, я уже знаю обе Медведицы и Полярную звезду, Орион, Скорпион, Вегу…

Я скопом перечисляла звезды, какие запомнились по карте звездного неба — ее недавно подарил мне папа, — и надеялась, что матрос поразится моими знаниями, но он о чем-то так задумался, что, кажется, и не слышал про звезды, я до сих пор

помню его лицо с изумленной и недоверчивой улыбкой. Осмелев, я спросила:

— Можно мне к вам?

— Ну зайди.

Я мигом оказалась в его комнате, но и он вроде успел передумать:

— А вам разрешат… вам не запрещают ходить ко мне?

Я с досадой кивнула головой:

— Папа запретил. Чтоб не мешали вам заниматься.

И тогда он сказал:

— А ведь он действительно очень хороший человек, ваш папа. До удивления.

До удивления?! Мне казалось несомненным, что папа очень хороший. Но матрос вкладывал в эти слова какой-то другой смысл, гораздо более глубокий и для меня непонятный. Чтобы скрыть смущение, я уткнулась в раскрытую на столе тетрадь — столбики цифр, какие-то значки и птички с одним длинным крылом, отлетающим вправо.

— Это арифметика?

— Это то, что после арифметики. Алгебра. Слыхала про такую, астроном?

Среди его книг была «Война и мир». Того самого Толстого, который написал «Детство» и «Севастопольские рассказы». Пухлые томики «Войны и мира» были и среди маминых-папиных книг, но мне их не давали, говорили — рано, поэтому к ним и тянуло. Ушла я от матроса с первым томом, спрятала его под тюфяк и начала потихоньку читать. Рано мне было или не рано, но поначалу чтение не давалось, я запутывалась в сложной толстовской фразе и, дотянув до точки, возвращалась назад, чтобы перечитать и понять. Если б я не захотела сама, а мне велели бы прочесть эту книгу — давно бы бросила. Помощь пришла все от той же Софьи Владимировны, хотя ее не было с нами. Я вспомнила, как она читала нам Толстого, ее особую неторопливую интонацию, когда она не просто произносила слова, а сперва как бы подержит каждое на языке, а потом уж преподнесет. Я попробовала читать так же, не торопясь проглатывать слова, а вслух и в той же неторопливой интонации. Ничего не вышло… начало получаться… и вдруг мне открылось наслаждение словом.

С того дня я не могла думать ни о чем другом. Непонятное оставалось непонятным, но, втянувшись в чтение, я наловчилась пропускать «войну» и находить страницы, где рассказывалось о Наташе Ростовой и ее семье. Теперь Наташа Ростова была рядом со мною, нет! — во мне. Даже на море, во время детской возни и

купанья, я чувствовала себя и самой собой, и одновременно Наташей, странно тоненькой девочкой с большим ртом. Я злилась на непонимающую Соню и тоже хотела «подхватить бы себя под коленки — туже, как можно туже», — и полететь… Непрерывное ощущение в себе этой второй жизни так потрясало, что вечером я не могла уснуть, переживая случившееся с нею днем и придумывая, что должно случиться завтра. Утром я впивалась в книгу — так или не так?.. Если мне случалось хоть что-то угадать, я целый день ходила в состоянии блаженного опьянения. Но почти всегда в книге получалось совсем не так, как я придумала, потому что настоящая Наташа жила по-своему и не могла жить по-другому.

В середине лета я начала упорно вчитываться в «войну».

По утрам не только мама, но и мы хватали газеты, выискивая главные новости. А новости были каждый день одна другой тревожней. В городе Сараеве сербский гимназист стрелял в австро-венгерского наследника Франца Фердинанда… Маленькой Сербии предъявлен ультиматум… Австро-Венгрия объявила ей войну!.. Мобилизация в Германии… мобилизация в России… Англия заявила… Франция заявила…

Начало войны врезалось в память не только само по себе, но и потому, что совпало с домашним конфликтом, в котором я была главной виновницей.

Изредка к маме приезжала знакомая дама, толстая и слезливая. Мама с папой прозвали ее Индюшкой, но почему-то вежливо принимали — кажется, она была чьей-то вдовой. У Индюшки был сын Боря, препротивный рыхлый мальчик чуть старше Гули. Когда Борю привозили на Качу, мы играли втроем, но он и тогда уже задавался. Как-то рано утром он пошел без нас ловить головастиков (хотя мы условились идти вместе после завтрака) и, к нашему удовольствию, упал в бассейн. Воды там было по пояс, его быстро вытащили, но он поднял истошный крик, Индюшка отпаивала его валерьянкой и уложила в постель, что очень рассмешило нас, так как мы не раз побывали в бассейне и сами выкарабкивались, не поднимая шума. Так вот, в жаркий июльский день в Учкуевку прикатила на извозчике эта дама со своим сынком. Увидав их, я закричала:

— Мама, Индюшка приехала!

Ох, как покраснела и рассердилась мама! А Индюшка и не слыхала, она выгружалась из пролетки, цепляясь за Борино плечо, а Боря был фыря-расфуфыря, в новеньком кадетском мундире и фуражке.

Гулю он еще кое-как удостаивал чести, а меня не замечал, я была мелюзгой для его кадетского великолепия. Даже когда мы

пошли на море, он не захотел расстаться с мундирчиком и фуражкой, чинно вышагивал по дороге и разговаривал только с Гулей — да и то снисходительно. Я начала прыгать вокруг него, выкрикивая:

— Кадет на палочку надет! Кадет на палочку надет!

Сперва он пытался не замечать меня, потом стукнул по затылку — отвяжись! Ну опыт по части драк у меня был, за этот опыт я не раз стояла в углу. Боря был выше и сильней, но неповоротлив и рыхл, я была мала да увертлива. Когда наши замешкавшиеся мамы появились на дороге под белыми зонтами, кадет лежал в густой пыли лицом вниз, я сидела на нем и дубасила его кулаками по плечам. Маме не сразу удалось оторвать меня от поверженного врага. А враг ревел в голос, по его серому от пыли лицу мутными ручейками текли слезы, мундирчик был измят и грязен, фуражка куда-то укатилась…

Дальнейшее развивалось без меня. Под домом был у нас секретный лаз, я забилась туда и время от времени принимала Гулины тайные сообщения: Борьку отмывают в тазу… Борькин мундир почистили, отглаживают… Индюшка собралась уезжать, мама велела, чтоб ты немедленно пришла и попросила прощения…

Просить прощения я не пошла. И вылезла из своего убежища только перед ужином, когда стемнело. Я ждала наказания, но мама просто исключила меня из семьи: смотрела мимо меня, разговаривала только с Гулей, будто не слыша моего робкого голоса. И перед сном, когда я первою старательно и добровольно вымыла все что полагается, мама поцеловала Гулю, а меня — нет.

Утром все продолжалось: я сидела за завтраком, но меня вроде не было. Гуля усердно втягивала меня в разговор о последних новостях, я нарочно задавала вопросы — мама не слышала. Вот что такое б о й к о т! Лучше бы в угол хоть на три часа!..

И вдруг что-то произошло — какие-то выкрики донеслись с соседних дач, зафыркал мотор. Напротив веранды, где мы завтракали, притормозил открытый автомобиль, в нем стоял во весь рост молодой армейский офицер, он крикнул нам ликующим голосом:

— Господа! Война объявлена! Да здравствует государь император! Ур-ра!

И умчался в сером облаке пыли.

Сразу куда-то отлетело все, что нас занимало минуту назад. Потом я много раз испытывала это резкое переключение от обычного к чрезвычайному, будто гигантский рычаг переводит жизнь с малых оборотов на большие. В то июльское утро я это

испытала впервые. Офицер чему-то радовался, а мама побледнела и сказала странные слова:

— Теперь, наверно, и Турция…

Забыв выпить кофе, она тут же заторопилась в Севастополь — повидать папу. Папа теперь не скоро к нам выберется, флот будет «на военном положении из-за Турции…» На прощание она притянула к себе нас обеих и крепко поцеловала. Меня тоже. Моя вина осталась в той, довоенной жизни.

Мы без спросу ворвались к нашему ученому матросу, он, наверно, знал, при чем Турция, когда война из-за Сербии…

— О Сербии теперь все позабудут, — мрачно сказал он и почему-то начал складывать тетради и книги стопкой. — А уж крови прольется!..

Кровь лилась. Газеты печатали списки убитых, в журнале «Нива» целые страницы, обведенные черной каймой, были отданы фотографиям жертв войны. Прапорщики, поручики, фельдфебели… Я вглядывалась в их лица, почти сплошь молодые. Еще недавно они ходили фотографироваться, принимали бравый вид, фуражки чуть набекрень, а у казаков — лихо заломлены над вьющимся чубом. А теперь их всех нет — с о в с е м н е т?..

Я еще ни разу не видела смерти. Знала, конечно, что люди умирают. Вот и закопанский дедушка погиб под снежной лавиной, а севастопольский дедушка, красивый моряк с черными баками, в бурю неудачно прыгнул в шлюпку, сломал ногу, в ноге получилась г а н г р е н а… Но это было еще до меня. И в севастопольскую оборону погибло много моряков и солдат, в Панораме было нарисовано — как, а перед нарисованным, где были уже настоящие камни, пушки, редуты и кучки ядер, лежали лицом вниз убитые, но это не были настоящие убитые, сделали чучела и надели на них сапоги и мундиры. Совсем недавно я прочитала, как убили Петю Ростова, милого, счастливого Петю… но это все же было в книге, стоило перелистнуть несколько страниц назад — и Петя снова дарил свой ножик, и угощал офицеров изюмом без косточек, и ездил с Долоховым к французам, а ночью перед сражением отдавал точить свою саблю и вместе с вжиканьем сабли о брусок слышал с в о ю музыку, сладкую и торжественную, музыку, которая звучала в нем самом… Я знала наплывающее иногда звучание с в о е й музыки и, читая эти строки, как бы слышала ее вместе с Петей. А следующие страницы, где Петю убивали, не перечитывала никогда. Петя оставался живым.

Смерть князя Андрея я воспринимала только через Наташу. «Простое и торжественное таинство смерти» — этого я не понимала и не хотела понимать, все мое существо противилось

самой возможности смерти — был человек и нету. Стоял перед фотографом, фуражка набекрень, а потом одна пуля… и все?.. Совсем?.. Как это может быть, что вот я — дышу, бегаю, думаю, и вдруг — н и ч е г о?..

Осенью, перед отъездом из Учкуевки, я впервые увидела смерть. И не от болезни, не от пули. На море был шторм. Меня всегда пьянил ветер, я бегала как сумасшедшая по полю, подставляя лицо порывам ветра, и от радости жизни выкрикивала что-то дикарское, благо никто не мог услышать. Презрев строгий запрет, взбежала на самый край обрыва, на гребень его, где стояла таинственная дача. Ветряк стремительно крутился, сливая свои распяленные крылья в сплошное кольцо и посвистывая от напряжения. Ветер подхватил и вздул мое платьишко, рванул волосы. А море-то, море! — бурое у берега и темное-темное над глубиной, до самого горизонта взлохмаченное и исчирканное белыми завитками пены. Волны наискось бежали и бежали одна за другой, с ревом обрушиваясь на пляж. Я осторожно перегнулась через рваный край обрыва, чтобы поглядеть, как они разбиваются, — и увидела на пустом пляже человека. Человек был в одних трусах, голое тело коричнево от загара. Его тоже радовал ветер — он бегал, подпрыгивал, крутанулся через голову, сделал стойку, снова попрыгал. Я не могла услышать, но и он, наверно, пел или кричал от радости жизни. Затем, вытянув вперед руки со сведенными вместе ладонями, он устремился навстречу водяному валу, проткнул его руками и всем телом прежде, чем вал закрутил его, — и вот уже за прибрежной круговертью видны его мерно взлетающие над водою руки. На пляже осталась кучка одежды да стоящие носками врозь ботинки, а пловец все плыл и плыл от берега, даже издали было видно, как умело и сильно он плывет. Уже и голова не видна, только взмахи рук. На минуту я потеряла его, потом увидела снова — он плыл обратно, то исчезая за белыми гребнями, то появляясь. Неторопливо и точно работали его сильные руки. Но что это? Что?! Пловец вдруг скрылся под водой, потом вымахнул над волной с поднятыми руками, будто взывающими о помощи, опять пропал — нету и нету, — еще раз вымахнул, еще отчаяннее вскинув руки… Взвыл ли ветер, крутя надо мною ветряк, или вправду донесся до меня крик?.. А человека уже не было. Сколько ни гляди — бегут и бегут волны, завивая на гребнях пену. И только на пустом пляже — кучка одежды и два ботинка носками врозь.

Я стояла на обрыве долго, окоченев от ужаса. Потом тихо пошла домой и никому, даже Гуле, ничего не сказала ни в этот день, ни назавтра, когда на всех трех дачах обсуждали

случившееся. Говорили, что это был великолепный пловец и спортсмен, что его, наверно, ударило шальным бревном, подхваченным волнами, или судорога свела ему ноги. Я жадно прислушивалась — и молчала. Заглянула я с того обрыва в такую страшную безвозвратную пустоту, что не могла говорить об этом детскими словами, а других не было.

В Севастополе война чувствовалась гораздо сильней, хотя шла пока далеко. Вход в бухту перегородили до дна б о н а м и с противолодочной сеткой, в море тоже ставили мины. Из-за Турции?.. Вся Европа была охвачена войной, мы смотрели по карте, кто с кем и где воюет, о маленькой Сербии никто не вспоминал, а бои шли и шли, на суше и на морях. Может, папа мог бы многое объяснить, но папа приходил редко и ненадолго, чаще мы ходили с мамой на Графскую пристань и с нетерпением ждали, когда покажется маленький щегольский катерок. Папа с флотским шиком стоял на нем, катерок мчался, вздымая бурун, на полном ходу осаживал у нижней ступени — папа одним махом перескакивал на пристань… Но вблизи он выглядел озабоченным.

Было раннее-раннее утро, когда я вдруг проснулась. Только светало, в детской было серо, но я увидела Гулин недоуменный взгляд, обращенный ко мне, и в тот же миг снова раздалось то, что нас разбудило, — незнакомый грохочущий звук, сразу повторенный более громко и звонко, будто что-то лопнуло и упало. Босиком, в рубашонках, подскочили к окну. Из окна нашего дома на Корниловской за горловиной бухты было видно открытое море. Море скрывалось в утреннем плотном тумане, но этот туман пробила яркая оранжево-красная вспышка (вот откуда шел грохочущий звук!), а затем в середине бухты поднялся мощный столб воды, задребезжали стекла, кто-то где-то пронзительно закричал. Тут вбежала мама, натягивая халат, схватила нас за плечи и бегом увлекла в ванную, где ей казалось безопасней.

Так началась война на Черном море. Немецкие крейсеры «Гёбен» и «Бреслау» вошли в его воды через те самые проливы, обстреляли многие наши порты и скрылись, пользуясь своей быстроходностью.

Через несколько дней мы уже повторяли шутливые стихи, ходившие на флоте: «…но пока три адмирала хитрый план решают свой, «Гёбен» тихо, без аврала, возвращается домой». Стихи принес папа, он был усталым и раздраженным, говорил маме:

— Ничего нельзя сделать вовремя! Пока добьешься приема, пока обсудят и утвердят, все теряет смысл.

Незадолго до того папу назначили начальником

оперативного отдела штаба флота. Он был сдержанным человеком, но мы все чаще ловили удивлявшие нас слова: «Сколько ни говори — все в вату» (как это — в вату?), «Война, а воевать не дают» (кто? почему не дают?). Доктор Федотов говорил, что армию снабжают «из рук вон плохо», нет снарядов, сапоги с картонной подметкой, все воруют, «все прогнило насквозь». До нас все чаще доносилось новое имя — Распутин, его произносили с отвращением и почему-то тут же поминали царицу и царя.

Мой ребячий ум с трудом переваривал все, что впитывал. Но сквозь все «почему» проросло одно главное: если все так плохо, почему взрослые не стараются все изменить, чтобы стало хорошо?..

Папа, видимо, пробовал как умел. Он написал командующему докладную записку с резкой критикой всей деятельности штаба и лично адмирала. Он читал эту записку маме, читал Федотову. Очень волновался, как примет ее адмирал. А потом:

— Никак не принял. Сказал спасибо, и все по-старому.

Копия этой большой записки хранилась у мамы, затем перешла ко мне! Вежливо-беспощадная критика с подробными предложениями, что и как исправить. Но… «как в вату»!

И вдруг новость: царь приехал в Крым, к нему в Ливадию едут с докладом о действиях флота, папа тоже будет докладывать.

Не знаю, надеялся ли папа чего-то добиться, наверно, все же хоть немного надеялся. Уезжал он в парадном мундире с золотыми качающимися эполетами, которые я называла «желе». На поясе золотое оружие, награда за Порт-Артур.

Мы весь день волновались. Все-таки царь! Вечером мама разрешила нам лечь попозже, чтобы дождаться папу. И вот он входит в переднюю, с облегчением распахивая ворот мундира.

— Ну как, что? — не терпится маме.

— Ну что? Дурак.

Это было здорово — такой ответ! Но он прибавил к моим «почему» еще один вопрос, на который ответа не было. А маленькому человеку очень нужна ясность, он полон радости существования и убежден, что все в жизни д о л ж н о б ы т ь хорошо. «Не хочу, чтобы плох был мир, в который я в с т у п а ю!..»

Из тех смутных предреволюционных лет отчетливо запомнились два события. Старого адмирала наконец сняли, вместо него прибыл с новым штабом адмирал Колчак (в будущем — один из вождей белогвардейщины). А папу назначили командовать крейсером «Аскольд», застрявшим во Франции, на

«Аскольде» что-то случилось, шел суд, папа всячески оттягивал отъезд, но его торопили. А добираться нужно было кружным путем, через Швецию и Англию, возможно — в штатском и под чужим именем. Это было интересно, но страшно, немцы объявили беспощадную подводную войну, их подводные лодки топили суда в Северном море, а папе нужно было плыть именно Северным… Как мы терзались страхом за него, пока не получили наконец доброй весточки!

А потом взрыв «Императрицы Марии», дредноута, стоявшего в глубине бухты. Мы снова жили в Учкуевке. Взрыв произошел рано утром и с такой силой, что вздрогнула земля и зазвенели стекла. Через несколько минут со двора дачи мы слушали (километра за три-четыре) отчаянный, усиленный мегафоном голос Колчака, выкрикивающий приказы по рейду. Что-то и кого-то пытались спасти… Моряков в тот день погибло так много, что в течение месяца даже к учкуевскому берегу иногда прибивало растерзанный труп, оторванные руки и ноги…

Смерть подошла к нам вплотную и носилась по земле, по воде и под водой, обрушивалась с аэропланов, и уже передавали слухи о новых немецких средствах уничтожения людей — о каких-то ядовитых газах…

Именно в тот год, вырванная войной из круга детских интересов, я написала «роман» — не что-нибудь, а «роман»! Писала увлеченно, забыв игры и шалости, упрямо преодолевая трудность самого процесса писания — нет, не творческих мук, их не было, а простого писания: ручка, чернила, бумага и слова, которые надо писать без ошибок.

Сейчас мне уже не вспомнить, что и когда подсказало мне такой сюжет и таких героев. По-видимому, ребячья фантазия переработала многочисленные впечатления, разговоры и недомолвки взрослых. Помню только, что Софья Владимировна с восторгом рассказывала о смелом молодом немце Карле, который о д и н голосовал против войны. Фамилию я тотчас забыла и лишь впоследствии поняла, что речь шла о Карле Либкнехте. Как бы там ни было, действие моего «романа» происходило в Германии. Ученый доктор фон Блюмменфельд изобрел средство, которым можно уничтожить весь мир. Смертельное средство умещалось в одном флаконе — в сейфе доктора. У доктора было два сына — воинственный Вильгельм и революционер Карл. И еще была белокурая секретарша Гретхен, в которую оба сына были влюблены. Между сыновьями шла борьба за обладание флаконом — один хотел погубить всех людей, кроме немцев, другой — всех спасти. С помощью Гретхен, полюбившей его, Карлу удалось завладеть флаконом, уничтожить

его содержимое и спасти человечество…

Я помню содержание этого детского сочинения потому, что мама сохранила его и показала мне — взрослой. Толщина рукописи была примерно в три школьных тетрадки. С рисунками автора. На разрисованной обложке было написано: «Секрет доктора фон Блюмменфельда», роман. Первая глава начиналась словами? «Доктор фон Блюмменфельд повернулся в кресле, оглядел сыновей и сказал по-немецки…»

ВТОРЖЕНИЕ ПОЭЗИИ

С балкона, из окон, с улочек, сбегающих под уклон, — отовсюду видна синева моря. Вогнутая линия пляжа обрывается справа — там стоит в воде скала Дива, очень большая, а за Дивой торчком — утес, он гораздо меньше и похож на человека в рясе с капюшоном, его называют Монах. Над Дивой и Монахом по крутой осыпи вьется дорога к Лимене, над нею нависает обрывистый край горы Кошки, — если как следует приглядеться, можно увидеть, что Дива когда-то давно оторвалась от Кошки и с грохотом сползла вниз, в море. А гору, нависшую над Симеизом, прозвали так потому, что сбоку она похожа на кошку, лежащую головой к морю. На горе — обсерватория, где наблюдает звезды мамин знакомый астроном Неуймин. Мы туда пошли однажды в сумерках, а потом стало темно и Неуймин дал нам посмотреть в большую трубу на звезды. Мне было интересно, но, когда я представила себе, что буду всю жизнь сидеть на такой горе и смотреть в трубу, мне как-то расхотелось идти в астрономы. То ли дело стать проводником лошадей! Был в Симеизе проводник, молодой и нарядный, в татарской шапочке, расшитой монетами, он медленно проезжал верхом мимо пансионатов и дач, ведя на поводу двух лошадей для прогулок — черного красавца Принца и золотисто-рыжую Пульку. Покататься на Пульке мне хотелось больше всего на свете.

Сразу за Кошкой открывалась небольшая тихая бухточка, над нею — парк, а в парке — замок из серого камня с зубчатыми башнями. Это Лимена. В одноэтажном домике-сторожке, стоявшем выше замка, умирал от чахотки наш дядя Коля. Мама приехала помогать тете Вере, а мы проводили время с Кирой, нашей двоюродной сестренкой. Дядю Колю мы так и не видели, только слышали, как он надрывно кашляет; нас гоняли из-под окон — идите в парк! — и мы охотно этим пользовались. Такой совершенной, упоительной свободы я не знала ни до, ни после того года. Мы приходили в Лимену утром, среди дня нас выкликали обедать, потом мы опять делали все что вздумается, и так до вечера.

Замок был заперт огромным ключом, ходить туда запрещалось, потому что от сырости в замке обваливались потолки. Ключ хранился у тети Веры, иногда нам удавалось стащить его, и мы, замирая от восторга и страха, на цыпочках вступали в заколдованный мир. В зале с высокими стрельчатыми окнами на возвышении стояла арфа, можно было осторожно подергать струны — они простуженно хрипели. В спальне, обтянутой уже обветшалым шелком, стояла широкая кровать в виде раскрытой перламутровой раковины. Ванна помещалась в спине мраморного лебедя, лебедь выгнул длинную шею и смотрел назад, в ванну, вода должна была течь (воды уже не было) из его клюва. На стенах проступала плесень, кое-где мы шагали через груды упавшей штукатурки. В одной из башен, куда можно было попасть по каменной лестнице, закрученной винтом, стоял мольберт, валялись палитры и высохшие краски. На открытую площадку башни выбираться было опасно, там все трещало и обваливалось, но у самого края, держась за один из зубцов, постоять можно было — и какой же вид открывался оттуда на большое-большое, синее-пресинее море!.. Мы читали в то лето Майн Рида и Сенкевича, моя голова была набита романтическими приключениями и любовными историями, но и без них романтичность замка и сама его история волновали воображение.

Когда-то богатый владелец соляных приисков на Азовском море, славившийся скупостью, увидел бедную девушку редкостной красоты, безумно влюбился, женился и по ее прихоти в течение одной зимы построил для нее «средневековый замок», за бешеные деньги выкупив у царской казны приморский участок земли. Красавица училась игре на арфе и живописи, собирала на лето кучу гостей, ее пожилой супруг выполнял любой ее каприз… Но красавица умерла от «грудной болезни», после чего богач запер замок на ключ, оставив все как было…

Наш дядя Коля был художником и братом красавицы, он тоже был красив, но живопись не кормила его. Когда он заболел чахоткой, богач разрешил тете Вере жить в Лимене и выполнять роль управляющей или хранительницы, но денег по-родственному не платил. Маму это возмущало. А меня томила мысль, что бывает такая безумная любовь. Наверно, нужно быть очень-очень красивой, чтобы тебя так полюбили! В замке висел портрет этой красавицы — тонкое лицо с громадными глазищами, рассыпающиеся по плечам пушистые локоны… Я впервые гляделась в зеркало — буду ли я такой? Но зеркало отражало круглую мордашку под детской челкой и совсем небольшие глаза, которые тетя Вера почему-то прозвала бедовыми, — ничего, ну

ничего похожего…

Кира переехала на несколько дней к нам в Симеиз. Гуля шепнула мне, что дяде Коле очень плохо, совсем плохо. Но все было обставлено так, что Киру отпустили погостить. И мы поспешили этим воспользоваться: ради гостьи нам дали наконец покататься верхом, Кира бредила верховой ездой, в Лимене каталась без седла на огромном смирном битюге с мохнатыми ногами, его звали Каштан, и ходил он только шагом. Пристрастие Киры оказалось прочным, позднее она успешно занималась конным спортом. Мое увлечение было порождено «Княжной Джавахой», единственным романом Лидии Чарской, который я признавала, остальные были об институтках, о «кисейных барышнях». Княжна Джаваха говорила чинным гостям, что любит запах конского навоза, она скакала по горам на горячем коне — это мне нравилось, я тоже мечтала скакать на золотисто-рыжей Пульке. И вот я сижу в седле на Пульке и сжимаю поводья дрожащей от возбуждения рукой. Рядом Гуля на Принце и Кира на том коне, на котором обычно ездит проводник в шапочке с монетами. Мы ездим по Симеизу, но, боже мой, разве это езда?! Проводник идет впереди, поцокивая языком, лошади слушаются не нас, а хозяина, они смирны и послушны, мама идет по краю улицы и не отстает. Только напоследок, на ровной дороге, нам позволяют прибавить ходу. Пулька бежит резво, все три лошади резво бегут в ряд, проводник бежит сбоку, поцокивая, мама отстала. Но тут оплаченный час кончается, проводник помогает нам слезть с лошадей. Кира сияет, мама тоже сияет — доставила нам удовольствие. Я вежливо улыбаюсь, мне не хочется показывать маме, что я разочарована. Откуда оно пришло, разочарование? Оттого ли, что в нашем катании не было свободы, или просто оттого, что оно *не то*, что мне нужно? Нечто подобное я чувствовала, когда мы возвращались под сияющими звездами из обсерватории, и давняя мечта отлетела в прошлое, будто ее и не было.

В тот год, проведенный в Симеизе, нас снова захватили события большого мира. Взрослые говорили открыто, не понижая голоса, о бездарных генералах и поставщиках-ворах, о Распутине и о царе с царицей, подпавших под влияние жулика, о «чехарде» сменяющихся министров (каждый новый — «тех же щей, да пожиже влей»). В газетах печатались отчеты о заседаниях Государственной думы, я начала просматривать их после того, как депутат Марков 2-й обругал кого-то дураком. «Дурака» напечатали, но целые столбцы в газетах были белыми — цензура что-то вымарала. Случалось, из речи депутата печатали только первые слова, потом шел белый столбец, еще несколько слов — и

опять пустота. «Дальше так продолжаться не может!» — это повторяли все, с кем мы соприкасались. А что же будет? Что и как и з м е н и т ь?.. Близость неизбежной перемены будоражила души.

Однажды вечером в нашем пансионате праздновали чей-то день рождения. Мы слушали с балкона, как в гостиной играют на рояле вальсы и польки, шаркают подошвы танцующих, празднично звучат голоса. Потом молодежь выбежала в сад, две девушки под гитару, на два голоса, спели «Не искушай меня без нужды», спели плохо, но им похлопали, после них уже немолодой дяденька спел густым басом «Как король шел на войну», ему тоже похлопали, и он спел еще «Блоху». А потом высокий тоненький гимназист прочитал стихотворение про толпу бродяг бездомных, шедших к водам Ганга из далеких стран, там были слова, обращенные к Будде: «Самодержец мира, ты не прав!» Стоило гимназисту произнести эти слова, как грохнули аплодисменты — не только в саду, но и с балконов, из окон и с улицы, где за садовой решеткой, оказывается, собрались слушатели. Такое было у людей настроение.

Я тоже хлопала изо всех сил, перевесившись через балюстраду балкона. А затем притихла, пораженная тем, что стихи могут быть такими н у ж н ы м и! Эта мысль занимала меня несколько дней — ребячливость отнюдь не мешает напряженной умственной работе, вернее, наоборот — всякая новая мысль поражает ребенка гораздо сильней, чем взрослого.

И тогда же в мою жизнь по-новому вошла музыка. Сразу после ужина мама торопилась загнать нас в постели, чтобы уйти, но мы увязывались за нею, давая честное слово «сидеть тихо и молчать», мама беспомощно вздыхала и говорила: «Ну хорошо, только надеть пальто». Мы спускались к морю и шли вдоль пляжа в сторону Алупки, шли довольно долго, в темноте спотыкаясь о камни. Звуки рояля доходили до нас издали, мама ускоряла шаг. Мы шли на музыку, как на свет маяка. И вот она — рядом. Мы забирались на большие камни, еще хранящие дневное тепло, мама садилась поодаль, чтоб мы не мешали. На горном склоне лицом к морю стояла дача, окруженная густой зеленью, зелень в эту пору казалась черной, над нею пиками торчали кипарисы. Распахнутые окна преломляли в своих стеклах лунный свет, бросая в черноту оконных провалов голубые блики. Казалось нам или мы в самом деле видели край белой клавиатуры и склоненную над нею темную голову?.. Т а м был Рахманинов. Он играл, не зажигая света, играл что вздумается, иногда обрывал на середине музыкальную фразу и надолго замолкал, иногда брал несколько аккордов и слушал, как протяжно гудят струны — все

тише, тише… Я тоже слышала это — или мне так казалось. Иногда он проигрывал целое произведение от начала до явного завершения — не знаю, слышала ли я позднее то, что он тогда играл, у меня нет музыкальной памяти, да и наслаждение тех вечеров не мог бы повторить ни один концерт, тут было все: и обаяние неурочной прогулки, и тайное слушанье того, что игралось не для посторонних, и шелест крохотных волн о песок и гальку, и все необозримое море в двух шагах. Не знаю, сколько это продолжалось (до того вечера, когда окна оказались заколоченными), но помню, что в первый раз рожок месяца прокладывал на море узкую, легко дробящуюся полоску, а дача Рахманинова почти сливалась с чернотой деревьев, затем рожок с каждым вечером толстел и округлялся, его голубой свет уже забивал сверкание звезд, были приметны только самые яркие. После двух дней непогоды (когда и мама не ходила, потому что те окна не могли быть открытыми) луна была уже совсем круглая, на море лежала широкая серебряная дорога от горизонта до наших ног, рахманиновская дача стала светло-голубой, а кипарисы — еще черней, мокрые камни на пляже глянцево сверкали, в маминых глазах застыли две маленькие круглые луны, ее белый шарф тоже поголубел и казался незнакомым, а за распахнутыми окнами Рахманинов все играл и играл… Может, ничего прекрасней и не было в жизни, чем эта ночь и музыка Рахманинова, играющего д л я с е б я.

Когда он уехал, мне все чего-то не хватало, взрослеющая душа жаждала поэзии, а та будто ждала, чтоб явиться.

Встречая людей, пораженных глухотой к поэзии, и таких, которые без нее не могут жить, я не раз задумывалась: как она возникает, эта колдовская власть? Живет себе человек, не догадываясь, что поэзия где-то рядом, ждет его и даже ищет… живет человек до какого-то дня и часа, когда вдруг — в ответ ли на волнение чувства, на сосредоточенность в жажде познания или на тишину одиночества — вдруг, нежданно, вся колдовская сила певучих слов ударит в его душу — и без нее уже не обойтись, она остается с ним, радуя, тревожа и вызывая такие отзвуки глубинных чувств, каких он и не знал за собой.

Мое детство прошло без стихов. Не было тогда настоящей детской поэзии, а стишки в журнале «Задушевное слово» не затрагивали ни чувств, ни мысли. После сказок Пушкина и Ершова, читанных нам в раннем детстве, стихи выпали из круга наших восприятий. В кружке маминых-папиных друзей читали Блока и Брюсова, иногда читали стихи Бальмонта, про которые папа и доктор Федотов говорили — «нечто бальмонтонное». Однажды у нас в доме появилась книжка Игоря Северянина, но

его дружно окрестили кривлякой. Потом наступило увлечение Рабиндранатом Тагором, его сборник «Гитанджали» читали особым, напевным голосом, мне нравилось — как музыка, но когда я попробовала читать сама, кроме строк о детях, играющих на морских берегах, все оказалось сложным, непонятным…

В Лимене мы свободно рылись в маленькой, случайно подобранной библиотеке тети Веры. Гуля извлекла оттуда «Яму» Куприна и зачитывалась ею, но меня и близко не подпускала: «Тебе рано!» Когда это говорили взрослые, можно было стерпеть, но Гуля!.. Оскорбленная, я пустилась в самостоятельный поиск и вытащила «Медного всадника» — вероятно, потому, что недавно с увлечением прочитала «Всадника без головы».

— Это же в стихах, — сказала Гуля.

— Я и хочу в стихах!

В лименовском парке у меня был заветный уголок между кустами жасмина. Здесь я могла без стыда выяснить, действительно ли я «хочу в стихах»… Маленькое предисловие Пушкина о том, что происшествие, описанное в сей повести, основано на истине, меня обнадежило — будет п р о и с ш е с т в и е, да еще истинное! А затем музыка пушкинских стихов сама захватила меня и повела от строки к строке, каждая была хороша и влекла за собой другую, так что уже не оторваться. И все зримо и просто, видишь и берег пустынных волн, и утлый челн, и чернеющие среди болот избы… Но вот дошло до Петербурга через сто лет — и строки стали так чеканно строги и завораживающе прекрасны, что я перечитала еще и еще… Когда мы шли домой, я сама удивилась, заметив, что всю дорогу повторяю на память строку за строкой: «…и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла». Разве можно сказать лучше?..

Было удивительно, что такими похожими на музыку, свободно струящимися стихами рассказана и с т и н н а я, простая и печальная история. Когда безумный Евгений бросил «державцу полумира» свое гневное «Ужо тебе!» — я вспомнила недавно слышанные стихи о бродягах, шедших к водам Ганга, — «Самодержец мира, ты не прав!», и по-детски захотела, чтобы медный всадник склонил голову, как Будда. Но т а к о г о чуда не произошло и у Пушкина быть не могло, истинность была в том, что Пушкин жалел Евгения, но не осуждал, а даже любил Петра! Ведь он писал: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо как Россия!» — он не хотел «тревожить вечный сон Петра…». Стараясь все это понять, я поняла только, пожалуй впервые, что истина сложна.

Не расставаясь с «Медным всадником», я скоро запомнила его

наизусть. Не заучивала, а запомнила почти все, кроме начала первой главы, до наводнения — оно как-то «не давалось». Когда я решилась прочитать сестре вслух, на память, Гуля схватила книжку — я говорю, она проверяет. В некоторых местах, особенно любимых, я сердилась, мне казалось, что Гуля, увлекшись проверкой, плохо воспринимает самое чудесное: «Нева металась, как больной в своей постеле беспокойной» или «судьба с неведомым известьем, как с запечатанным письмом»… Мне хотелось, чтобы и Гуля, и Кира, и мама, и все-все окружающие поняли, как это хорошо!

Но именно с «Медным всадником» связана испытанная мною горькая обида.

Подоспел какой-то семейный праздник, и мы затеяли «концерт». Обычно мы разыгрывали одну-две басни Крылова, устраивали театр теней или кукол. Совершенно не помню, что мы придумали на этот раз, главным номером программы был «Медный всадник», и я пряталась в кустах возле «сцены», судорожно повторяя строки, которые знала менее твердо.

Гуля торжественно объявила:

— Пушкин. «Медный всадник». Читает Вера Кетлинская.

Среди «публики» (кроме наших мам, было еще несколько гостей) раздались веселые возгласы. Мама шепотом подсказала Гуле: «Отрывок!» Гуля мотала головой.

Я вышла из-за куста на середину нашей «сцены» — ею была площадка над каменными ступенями аллеи, ведущей к замку. «Публика» сидела в садовых креслах ниже ступеней. Прикрыв глаза, я начала читать — и пушкинский стих понес меня на своих вольных могучих крыльях. Мне казалось, что я доношу до притихших слушателей каждое слово, каждый поворот настроения, — это уж потом Гуля сказала мне, что я бормотала, заглатывала слова и безостановочно размахивала руками. Приоткрыв глаза, я увидела, что «публика» почему-то улыбается, и снова зажмурилась, чтобы не сбиться.

Без запинки прочитав вступление (вся поэма была впереди!), я сделала передышку. Это и Гуля подсказывала — после слов «… вечный сон Петра!» нужно сделать паузу перед словами «Была ужасная пора…», потому что этими словами начинается рассказ о самом п р о и с ш е с т в и и. Но стоило мне на минуту смолкнуть, как «публика» с облегчением захлопала в ладоши, повторяя, что я молодец и умница, здорово выучила такой большой отрывок! Все встали и ухватили кресла, чтоб отнести их к дому, а тетя Вера заторопила: «К столу, к столу! Какао стынет!»

Я еще пробовала убедить их, что поэма только начинается, дальше будет наводнение и все самое главное, но мама обняла

меня за плечи и шепнула:

— Нельзя же читать такую длинную вещь целиком!

Из гордости я села со всеми за стол и выпила густое приторное какао, а потом удрала в свой заветный уголок и наревелась всласть.

Меня долго выкликали, прежде чем я вышла, пряча зареванное лицо. Мама ахнула: «Ты плакала, Верушка? Отчего?» Я отталкивала ее руку. Я убежала вперед по дороге к Симеизу, ни с кем не простясь. Что я могла объяснить им, раз они ничего не почувствовали, не оценили, раз им скучно слушать такие д л и н н ы е стихи!

Никто не заговаривал со мною о случившемся. Мама, наверно, просто забыла об этом — порывистая и наивная, она жила во власти сменяющихся впечатлений и настроений. А тетя Вера была сдержанной, молчаливой, все примечала и обдумывала. Сколько я ее помню, она не менялась — ее очень высокую тонкую фигуру обтягивала черная юбка и заправленная в широкий кушак блузка с глухим воротом, никаких украшений, кроме тонкой золотой цепочки с часами, для которых в кушаке был кармашек. На строгом лице — внимательные глаза. Тетя Вера все помнила, но «рассусоливать» в нашей семье было не принято. Выждав несколько дней, она дала мне томик Лермонтова с закладкой.

— Прочитай «Мцыри», Верушка. Тебе должно понравиться.

Я все еще сердилась и из упрямства с неделю даже не открывала книгу. Но однажды все-таки не выдержала. Боже мой, «понравиться»?! Слово было не то. Я была ошеломлена этой поэмой, я упивалась ею, после недавней, еще не забытой обиды моя собственная жизнь представилась мне жалкой и невыносимой, я повторяла как заклинание: «…таких две жизни за одну, но только полную тревог!», «Таких две жизни за одну!..», «Таких две жизни за одну!..»

ОДНАЖДЫ СЕВЕРНЫМ ЛЕТОМ

Да, однажды северным летом, в час, когда блеклый шар солнца по-ночному низко проползает над самыми сопками «того берега», и трудно уснуть, и нелепо маяться без сна, — в такой вот муторный час я скатилась по склону от нашего дома к железнодорожному полотну, перескочила через рельсы, по которым еще недавно ходили и перестали ходить поезда Мурманск — Петроград, затем скатилась с насыпи и побежала к заливу, на самый длинный причал, чтобы бухнуть оттуда вниз головой, потому что все хорошее осталось позади и жить не имело смысла.

«Все кончено»?! Теперь я улыбаюсь, с той ночи прожита долгая и ох какая нелегкая жизнь, вместилось в нее так много «всякого разного», столько предельного счастья и столько страданий — иногда до приступов отчаянья, но ни разу больше… нет, если быть честной до конца, один раз, в мою двадцать шестую весну, на площадке детскосельского дачного поезда, сердце когтила такая мука, что на миг засасывающее кружение колес поманило избавлением… коротенький миг перед тем, как отшатнуться и захлопнуть дверь. Что ж, тот миг мне понятен и теперь, ведь утраченное тогда — по глупости, из самолюбия — оказалось утратой навсегда. Но девочка, еще заплетавшая волосы в две торчащие косички?!.

Иногда я думаю, что старость — это забвение себя самого молодым, а молодость души — умение помнить и не затаптывать первоначальное жизнеощущение и понимать «новый вариант» молодости в новых поколениях. Занятно, как мы отнеслись бы, если б кибернетики придумали запоминающую машину, которая сохраняла бы наши мысли и чувства от рождения до зрелости? Удивились бы, как проникновенно воспринимают окружающее и страстно ищут решений в детстве? А может, не поверили бы? Или сломали машину, чтоб не бередила душу та юная бескомпромиссность?..

Маленький двенадцатилетний человек стоял один перед недобрым миром, где все светлое рушилось, где побеждали

предательство и ложь. И т а к о й жизни не принял.

А ведь перед тем был год — нет, одиннадцать месяцев — счастливого напряжения всех душевных сил! С того дня, когда по улицам Симеиза прошла горсточка раненых фронтовиков с небольшим красным флагом на бамбуковой палке. Они пели: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою!» — и мы с Гулей побежали рядом и подхватили песню, гордясь, что давно знаем ее слова, что разучивали их с Софьей Владимировной на пустынном берегу моря, вполголоса, потому что она з а п р е щ е н н а я, а теперь эту песню можно петь во весь голос, в Петрограде — р е в о л ю ц и я, все запреты полетели вверх тормашками, теперь все будет по-другому, еще неизвестно — как, но наверняка интересней и лучше! На повороте к Лимене, над Монахом и Дивой, солдаты остановились, высокий тонкий солдат произнес речь. «Мы затопчем в грязь мировую буржуазию!» — выкрикнул он, притопнув ногой.

Это было необычно и захватывало грандиозностью цели. С того дня события жизни — и общей и нашей собственной — пошли с нарастающей мощью, в музыке это обозначалось моим любимым знаком — крещендо.

Мы устроили свою домашнюю революцию, ложились спать, когда сморит сон, а вскакивали чуть свет, чтобы ничего не пропустить, и без спросу бегали на все митинги — они были такими праздничными, эти митинги в городском парке, будто над курортом непрерывно звучал вальс Клико с веселыми всплесками звуков. Даже курортные дамы щеголяли в красных бантах и прикалывали на шляпы красные цветы. Кто против революции? Никто! Все — за!

Но как и что делать? Мы бегали на почту за газетами и за программами партий, тогда было много партий и у каждой — своя газета и своя книжечка-программа, мы с Гулей изучали их и выбирали себе по вкусу. Каждая партия по-своему понимала, что и как делать. Правые партии мы отвергали, а в других меня смущал пункт о конфискации помещичьей земли, стало жаль бабушкин дом и старый сад на Каче. Гуля закричала на меня:

— Как тебе не стыдно! Революция — а ты сад жалеешь!

Я устыдилась. А Гуля — послушная, разумная Гуля! — объявила себя анархисткой и не жалела ни-че-го. Я завидовала — опять она первою выбрала самое интересное! Впрочем, и Керенский был неплох, он казался мне Наполеоном с обложки толстой детской книги, которую я недавно прочла, он даже руку закладывал по-наполеоновски за борт френча, вот только треуголок уже не носили. Зато он был главой Временного правительства Свободной России и произносил такие речи, что,

как писали газеты, один солдат даже упал в обморок, слушая его!..

— А есть ли у нас свобода? Не рано ли праздновать?

Вопрос был неожидан и резок. Митинг был особенно многолюдный, в парке, летний зал под открытым небом был заполнен до отказа курортной публикой, а в задних рядах и по краям сидели и стояли фронтовики из госпиталя, многие были на костылях, в бинтах, в лубках… На сцене под оркестровой раковиной сидели семь необыкновенных людей, от которых я не могла оторвать взгляда, — настоящие «политические» из Сибири, из песни о «тюрьмах и шахтах сырых», — их привезли сюда лечиться. Какую овацию им устроили! А они выступали один за другим и славили завоеванную свободу, дамы бросали им цветы, гимназисты выкрикивали лозунги, и все кричали троекратное «ура». А потом выступил седьмой, невысокий бритоголовый человек с нездоровым румянцем на впалых щеках, — и бросил в зал свои неожиданные вопросы:

— А есть ли у нас свобода? Не рано ли праздновать?

Он говорил о войне, где миллионы рабочих и крестьян в солдатских шинелях гибнут ради интересов мировой буржуазии, о десяти министрах-капиталистах, о том, что революционная борьба только начинается. По нарядной толпе прошелестело: большевик! И только раненые солдаты вызывающе громко хлопали ему.

Нет, он мне не понравился, этот первый живой большевик, он внес д и с с о н а н с в праздничный хор, он был резок. Но почему так хлопали ему раненые солдаты? Значит, для них его слова — п р а в д а? В тот день впервые поколебалось мое представление о единстве всех и вся…

В конце августа на три дня приехал папа. «Аскольду» предстояло охранять северную к о м м у н и к а ц и ю, базируясь в Кольской г у б е (оказалось, что губа — это длинный-длинный залив), поэтому папа хотел, чтобы осенью мы переехали в Мурманск. Про войну папа сказал, что, раз уж мы вели эту б е з д а р н у ю войну три года, надо бы довести ее до победного конца, но ведь ни солдаты, ни матросы воевать не хотят, они хотят глотнуть свободы, вернуться домой и получить землю. Гулин анархизм он высмеял, а моего Керенского вообще всерьез не принимал — «наполеончик из адвокатов». Но самое интересное мы узнали вечером, когда мама загнала нас в постели. Уснуть мы не могли — ведь рядом папа, папа, которого мы не видели больше года! Все окна были открыты, мы припали к подоконнику и слушали папин голос в соседней комнате. Какие странные вещи он рассказывал! Оказывается, недавно на

«Аскольде» всей командой судили папу за какое-то «тулонское дело», судить приехал кочегар Самохин, которого еще до приезда папы списали с «Аскольда» вместе с группой революционных матросов. Самохин стоял, скрестив руки на груди, и задавал вопросы, а папа отвечал. Он был очень «настроен против» папы, этот Самохин, но в конце сам предложил «оправдать Кетлинского и оставить командиром».

— Он большевик? — спросила мама.

— Думаю, что да, — сказал папа.

И неведомый Самохин представился мне похожим на того бритоголового, что выступал на митинге.

А месяца через два, когда мы ехали в Петроград в переполненном вагоне, куда на станциях вламывались без билетов солдаты, ринувшиеся с фронта по домам, и где круглые сутки шли споры о войне, о земле и о том, *что же дальше?* — будто тот, бритоголовый, заговорил десятками голосов! Любопытство пересиливало страх перед возбужденными и озлобленными людьми, я шныряла по коридору, останавливаясь там, где спор был особенно яростен. То, что было написано в книжечках-программах, у каждой партии немного по-иному, в этих спорах оказывалось жизненно важным, разделяющим людей до полного разрыва, до вражды: кому владеть землей, воевать ли до победы или кончать войну немедленно… «Три года вшей кормили, хватит! — закричал пожилой, обросший бородой солдат и вдруг осторожно опустил ладонь на мою голову. — Моя старшенькая, поди, с нее уже, а я и не помню, какая она, можешь понять, лица не помню! Вышибло!» Сжавшись под тяжелой ладонью, я не то чтобы поняла, но сердцем ощутила, что он имеет право решать и *судить*…

Петроград встретил нас ветром, моросящим дождем и неистовым накалом страстей, бушевавших на мокрых, холодных улицах. Митинги возникали, распадались и вновь завивались воронками — возле двух заспоривших, возле мальчишки-газетчика, продающего левую или правую газету, возле очереди в булочной… По улицам шагали отряды *красногвардейцев* — винтовки и патронташи поверх штатских пальто и кожаных курток… Проносились грузовики с матросами — ветер трепал ленты бескозырок, торчали из-за плеч дула винтовок… Откуда-то доносились выстрелы…

Мы готовились ехать дальше, на север, папу произвели в контр-адмиралы и назначили начальником Мурманского укрепленного района и отряда судов, мама бегала по делам, а мы сидели в гостинице с ворохами газет и журналов от кадетских до анархистских, мы пели во весь голос частушку:

Как однажды Агафон
Так влюбился в Ленку,
Что для Ленки этой он
Разменял керенку, —

и со смехом повторяли строки сатирического стихотворения: «Под рев мужской и даже женский на белой лошади проследовал Керенский», — недавний кумир поблек, стал анекдотом, «наполеончиком из адвокатов». Завернувшись в одеяла, мы открывали окно и часами глядели на привокзальную площадь и взбудораженный Невский, где из множества голосов, из гудков машин и мерного топота сапог, из революционных песен и выстрелов рождалась грозная и победная музыка. Мы ждали каких-то неведомых событий, а величайшее событие уже свершилось, но дошло до нас как случайное явление: большевики захватили власть, они не продержатся и двух недель. Меня рассмешило, что созданный большевиками Совет Народных Комиссаров расположился в Смольном институте благородных девиц — то-то разбежались кисейные барышни! А на стенах доков и на тумбах для афиш были расклеены д е к р е т ы этой непрочной власти о земле и о мире, и такие же солдаты, как те, в поезде, читали-перечитывали их, шевеля губами…

И снова мы ехали, ехали по недостроенной Мурманской железной дороге, и снова в вагон на всех станциях вламывались солдаты и матросы, и снова в коридоре вагона с утра до ночи шли ожесточенные споры, но иногда споры разом прекращались — все население вагона шло грузить уголь или дрова для паровоза. Тащились мы до Мурманска недели полторы, если не больше. Местами рельсы были уложены прямо на болотистый грунт, рядом со строящейся насыпью, поезд качался и тарахтел дрыгающими шпалами. Мосты он проходил еле-еле, словно не дыша, чувствовалось, как дрожит под тяжестью вагонов временное бревенчатое сооружение… Однажды проснулись от непривычной тишины: мы стоим, в окно видна пустынная белая равнина с торчащими из-под снега чахлыми кустиками — тундра. Ни станции, ни разъезда. И паровоза тоже нет! Оказалось, ночью поезд разорвало пополам, несколько вагонов, в том числе и наш, остались посреди перегона. Вот это приключение! Мы выскочили из вагона на нетронутую белизну — здесь уже снег! Снег был влажный, мы начали катать снежные комы — и вдруг с гоготом и шутками к нам присоединились самые непримиримые спорщики, на полчаса превратившись в беспечных детей, они поставили у путей гигантскую снежную бабу, обозначили глаза угольками, а в

щель рта воткнули махорочную «козью ножку». Эти озлобленные, раздраженные люди на самом деле добрые и веселые — такое открытие я сделала за часы вынужденной стоянки в тундре. К вечеру за нами пришел паровоз и потянул нас на станцию, где наши вагоны присоединили к головной части поезда. И тут, на станции (кажется, то была Кандалакша), разразился скандал. Начальник станции прислал нам в купе горячий обед. Мама, конечно, не подозревала, что он из-за этого не отправляет поезд, поезда на всех станциях стояли подолгу. Но именно так начальник станции объяснил задержку пассажирам — и к нам в вагон ворвалась распаленная толпа солдат и матросов. Перепуганная мама объясняла, что она здесь ни при чем. Вряд ли ее послушали бы, но за нас вступились другие матросы и солдаты, завязалась перебранка, и тут мы узнали поразительную новость: наш папа признал Советскую власть! Ту самую, что «на две недели»! Мы — семья советского начальника!

Навсегда врезалось в память: приехали, а в Мурманске нас никто не встречает. За окном темень полярного утра, сеет мелкий снежок, мы одни в вагоне, ждем папу. И вот он врывается в вагон, большой, с короткой светлой бородкой, оживленный. Он целует маму и Гулю, а меня подкидывает в воздух, как маленькую, но мне так хорошо, что и не стыдно. А мама уже задает шепотом свой недоуменный вопрос:

— Это правда… ты работаешь с большевиками?

— Представь себе, совершенная правда! — Папа улыбается, а потом говорит очень четко: — Это единственные люди, которые знают, что делать, и не дадут разграбить Россию по частям.

Много дней я крутила так и эдак папины слова «знают, что делать» и особенно «не дадут разграбить по частям»… Кто и почему хочет разграбить Россию по частям?..

В Мурманске все было необыкновенно: солнце показывалось на какие-нибудь полчаса и скоро должно было скрыться совсем до 6 января, в доме весь день горело электричество, а дом был одноэтажный, из толстых потрескавшихся бревен, если понюхать стену — пахло лесом, сосной. У нас было две комнатки с окнами на залив, где стоял «Аскольд» и другие корабли, а в третьей, большой комнате был папин кабинет, но туда нам строжайше запрещалось входить. Через коридор были другие комнаты штаба главнамура и столовая, которая по-флотски называлась кают-компанией. В кают-компанию мама вносила деньги из папиного жалованья, и мы там обедали и ужинали вместе со всеми. Возле кухни в будке жили вместе собачонка-дворняга и очень смешной медвежонок, который играл с собачонкой и охотно боролся со всеми желающими, медвежонка можно было кормить всем, кроме

сырого мяса, чтобы он «не озверел» (позднее какой-то злой человек бросил ему сырого мяса, и в тот же день медвежонок задрал собачонку и стал на всех кидаться, так что его пришлось, как мы ни плакали, пристрелить). Мы, южанки, учились ходить на лыжах и катались со всех склонов на санках, а склоны были прямо от дома — к железной дороге и дальше — до залива, где у обындевелых причалов билась холодная, но незамерзающая вода Кольской губы.

Все это было интересно и ново, но еще интересней было то, что папа не на корабле, а рядом, в служебном кабинете, и что с ним там находятся два комиссара — военно-морской и гражданский. А политическая власть в Мурманске — у ревкома и у Центромура — Центрального комитета мурманского отряда судов, во главе там стоит Самохин, тот самый аскольдовец Самохин, который с у д и л папу.

Новизна происходящего ударила в души — и уже не отпускала. Дети по возрасту, мы все больше и больше отрывались от детских интересов. Навострив уши, прислушивались и приглядывались к большевикам, с которыми работал папа. Предревкома Аверченко, питерский рабочий с Путиловской верфи, — совсем еще молодой, круглолицый и курносый, в кожаной куртке и кепочке, он иногда напускал на себя строгость, но все равно выглядел добродушным (да и было ему в ту пору всего двадцать шесть лет!). А вот Самохин — какой он? Я ждала, что он будет бритоголовым и резким, как тот большевик в Симеизе. Но увидела крупного, кряжистого матроса с кудрявой головой и внимательными глазами — он как будто все время что-то рассматривал и взвешивал. Центромур помещался в соседнем доме, мы часто видели Самохина входящим в дом или беседующим с кем-либо у дома, иногда папа ходил в Центромур, иногда Самохин приходил к папе в кабинет, один или с товарищами. Мы прирастали к двери, толкаясь, чтобы заглянуть в замочную скважину — лучше всего была видна папина спина, он сидел прямо напротив двери и заслонял тех, кто сидел по другую сторону стола, но иногда нам удавалось увидеть и Самохина — серьезное лицо с насупленными густыми бровями и все тот же внимательный, взвешивающий взгляд исподлобья. Мы слышали его низкий голос, всегда мягкий и сдержанный: «Нет, Казимир Филиппович, лучше сделать иначе…» «А я считаю, Казимир Филиппович, что будет правильней…» Сути спора мы не улавливали, но нам нравилась его интонация, уважительная и одновременно неуступчивая. И сам Самохин нам очень нравился. Папе он тоже нравился. «Самородок! — говорил он. — С ним очень интересно!» Однажды мы проникли на большое собрание,

где выступал Самохин. Он не был красноречив, он как бы размышлял вслух — задаст сам себе трудный вопрос, взвесит, что и как, и ответит, очень понятно ответит, а за этим ответом как по цепочке вытягивается новый вопрос… Потом все собрание пело «Интернационал». Одни мужские голоса, почти сплошь низкие, и несколько тенорков, выпевающих свою звонкую партию: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем».

Нам тоже хотелось разрушать до основания и строить наш, новый… Нам было невтерпеж ожидать, когда мы подрастем. Дети?! Нет, мы отвергали это унизительное слово, мы — молодежь, мы хотим самостоятельности и готовы на все, хоть на баррикады, как парижский Гаврош! Встречаясь на улице с ребятами нашего возраста и постарше, катаясь вместе на лыжах и санках, мы размечтались: надо объединить революционную молодежь в организацию, ведь у всех вокруг есть свои союзы, комитеты, собрания! Мы даже нарисовали цветными карандашами схему союза молодежи — и не какого-нибудь, а всероссийского! На том бы, возможно, все и кончилось, если бы не Коля Истомин. Это был шустрый паренек лет шестнадцати, он жил внизу, за железной дорогой, но как-то умудрялся появляться везде, где собирались подростки, и выделялся таким веселым нравом и такой притягательной энергией, что естественно становился центром любой компании, верховодил в любых играх и прогулках, и если Коля Истомин предлагал кататься на лыжах с самого крутого склона, которого все боялись, мы подавляли страх и вслед за Колей устремлялись вниз по склону, падали, зарываясь в сугробы, отряхивались, откапывали лыжи и снова тащились наверх и снова катили вниз. Коля помогал выбираться из сугроба и подбадривал: «Ничего, следующий раз уже не упадешь, ты, главное, держи равновесие!» До сих пор помню свою радость, когда мне впервые удалось скатиться с этого склона не упав, и Коля сказал: «Ну вот видишь, сумела!» Если на отдыхе Коля заводил серьезный разговор, все прислушивались к тому, что он скажет. А Коля говорил, что пора браться за настоящие дела, помогать революции, мы уже не дети; а однажды сказал, что надо создать союз молодежи, сейчас нас отпихивают — «подрастите сперва!» — потому что мы не объединены, но организацию не отпихнут, с организацией должны будут считаться. Эта мысль увлекла всех, но никто не знал, как взяться за дело.

— Я уже думал, — сказал Коля, — начать нужно с общего собрания всей мурманской молодежи.

— А как ее собрать?

— Очень просто. Каждый скажет тем, кого знает, а я пробегу

по домам и баракам, оповещу — придут!

А где собраться? Решили, что лучше всего собраться в Морском клубе, недавно построенном матросами, клуб находится в центре Мурманска, и там большой зал. Разрешат ли моряки? Тут мы заверили всех, что разрешат, и повели Колю в Центромур, к Самохину. Самохин разрешил и посоветовал: соберите всех рабочих подростков, их много в депо и в порту, а к весне хорошо бы устроить спортплощадку. Это очень понравилось Коле и другим мальчишкам, они даже зимой гоняли на пустыре футбольный мяч. Наш папа добавил: надо бы городской сад, хоть небольшой. Что ж, нам все казалось по силам — и спортплощадку сделать, и сад, лишь бы не сидеть сложа руки в такое деятельное время. Гуля предложила даже водопровод проложить, но папа расхохотался: «Это уж без вас, пигалиц! Летом с матросами сделаем!»

Таким он и остался в памяти — веселым, полным планов…

Дочки моряка, мы с младенчества видели отца урывками, а когда он бывал в плавании, подолгу не видели совсем. Теперь же он был почти всегда рядом, стоило приникнуть к двери — слышался его голос и голоса тех, кто к нему пришел, иногда удавалось разобрать, о чем они говорят, а если поглядеть в замочную скважину — в двух шагах его светловолосая голова, его спина, обтянутая кителем, его правая рука, короткими взмахами подкрепляющая слова… Конечно, под дверью мало что уловишь и поймешь, зато вечерами, когда всей семьей пили чай уже не в кают-компании, а у себя за круглым столиком, — как жадно слушали мы все, что папа рассказывал маме! Видимо, папе это нравилось, он с улыбкой поглядывал на нас и время от времени к нам обращался:

— Помните, когда ехали сюда, временные мосты?

Еще бы не помнить!

— Если их не заменить до весны настоящими мостами из железных ферм, весной их может снести п а в о д к о м.

Потом он спрашивал, видали ли мы лопарей. Ну конечно, видали, лопари в меховых м а л и ц а х и расшитых у н т а х изредка приезжали в Мурманск на узких санях, запряженных оленями, мы гладили оленей и пытались кормить их сахаром, но нам сказали, что олени любят соленое, и мы давали им с ладони кусочки крепко посоленного хлеба. Так вот, папа сказал, что лопари живут впроголодь и у них ужасающая с м е р т н о с т ь, особенно среди детей, надо им помочь и объединить их в а р т е л и, но для этого нужны государственные с с у д ы. И рыбаков на побережье он тоже хотел объединить в артели, чтобы их не грабили архангельские купцы, но для этого опять же нужны

ссуды, то есть деньги. И вообще Мурманску очень нужны деньги — для расплат с уезжающими строителями железной дороги, и на жалованье военным, и на строительство радиостанции...

— Вы Горелую гору знаете?

Как ее не знать! Горелая гора возвышалась над Мурманском приземистой махиной, только следов пожара мы на ней не разглядели, да и как могла гореть такая голая, каменистая гора?..

— На Горелой горе встанет радиомачта, — сказал папа. — Мачту должны привезти из Петрограда, а в гору ее придется тащить волоком, на полозьях, пока не стаял снег.

И еще папа хотел весной начать осушение болот, чтобы завести хоть небольшое сельское хозяйство, сажать картошку и сеять кормовые травы, а для этого в Петрограде надо было найти мелиораторов, которые согласятся работать на севере.

Мы усвоили, что очень многое надо сделать до весны и почти все зависит от Петрограда, поэтому папа еще в ноябре послал туда лейтенанта Веселаго с докладной запиской и множеством поручений. Мы видели Веселаго всего несколько дней, но запомнили его странно белое лицо с высоким лбом под черными, будто прилизанными волосами. Веселаго был всегда подтянутый и такой вежливый, что в кают-компании подходил здороваться за руку не только с мамой (ей он неизменно целовал руку), но и с нами, и говорил нам, девчонкам, «вы»!.. Сумеет он добиться в Петрограде всего, что нужно? Папа сказал, что велел ему без денег, радиомачты и железных ферм не возвращаться. И еще папа ждал от Веселаго очень важных известий о каких-то переговорах с немцами в Бресте и о том, что будет на Ледовитом океане. Ледовитый океан — мы смотрели по карте — оказался совсем близко, в него впадала река Кола со своей Кольской губой, а на выходе в океан стоял военный городок Александровск, куда папа часто посылал кого-либо из своих штабных для разговоров по прямому проводу. Мы никак не могли понять, что это за провод такой, но зато хорошо поняли, что повседневной связи с Петроградом не будет, пока на Горелой горе не поставят радиомачту.

Ледовитый океан и переговоры в Бресте были как-то связаны с тем, будут или не будут в Мурманске англичане, французы и недавно появившиеся здесь американцы. Их корабли стояли на рейде, их старший начальник, английский адмирал Кемп, приезжал к папе. Мы рассмотрели Кемпа еще на улице, когда Кемп подходил к штабу главнамура — невысокий, толстый, с красно-бурым лицом в крупных морщинах. Папа, кроме

комиссаров, пригласил и Самохина, разговор шел через переводчика, чтобы поняли комиссары и Самохин. Адмирал Кемп настойчиво предлагал высадить на берег английскую морскую пехоту, «чтобы помочь в возможной защите от немцев».

— Нет, — сказал папа, — думаю, мы справимся сами.

— Нет, — сказал Самохин. — Да и где они, немцы?

Кемп ушел сердитым. Когда он проходил под нашим окном, его лицо было еще краснее и бурее.

Вечером папа говорил:

— Понимаешь, чего он хочет?

О визите Кемпа в тот вечер только и говорили, но дальнейший разговор в памяти не сохранился, осталось лишь впечатление, что мама была чем-то встревожена, а папа доволен. И еще мне запомнилось, как папа не без гордости сказал:

— До меня ведь русские начальники сами к Кемпу на прием бегали, а теперь вот Кемпу приходится.

…28 января днем на улице раздалось несколько предательских выстрелов из-за угла — и через несколько минут нашего отца не стало.

Мы возвращались с лыжной прогулки, слышали даже какие-то выстрелы, но не обратили на них внимания. Мамы не было дома. Мы сели решать арифметические задачи, которые задал нам папа. И вдруг появилась мама и почему-то позвала нас в папин кабинет, в углу там стоял диван и два кресла, мама притянула нас на диван, обняла обеих, прижала к себе.

— Девочки, будьте мужественными, — сказала она, а у самой по лицу бежали и бежали слезы, — в папу стреляли… Папа ранен.

Не знаю, поняла ли Гуля, но она ничего не спросила, а я не поняла и со всею детской верой в то, что любая беда должна кончиться хорошо, воскликнула:

— Но он же поправится!

И тогда мама сказала:

— Нет. Он очень тяжело ранен… Он умер.

Черная пелена застлала свет. Я физически ощущала эту черную пелену, как бы отделившую меня от всего, что было вокруг. Сквозь нее я еле различала гроб, который поставили в кабинете на странно развернутом и выдвинутом на середину комнаты письменном столе, и мерцание свечей, и священника, бормотавшего молитвы и размахивавшего дымящим кадилом, и там, на столе, острый нос и закрытые глаза кого-то совсем не похожего на папу… Поздним вечером я ускользнула от мамы и сестры и пробралась одна в кабинет, чтобы убедиться — папа ли там. В темноте горело несколько свечек. Какой-то шорох за окном заставил меня взглянуть туда, и я тотчас отчаянно закричала —

приплюснутые к стеклу, в окнах торчали какие-то незнакомые раскосые лица…

Утром мама проследила, как мы одеваемся, свела нас в кают-компанию завтракать, а потом ушла. Когда мы позавтракали, мы нашли ее в кабинете — они сидела у гроба, припав головой к его стенке, никого не замечая, ничего не слыша. В доме штаба толпились сотрудники и совсем незнакомые нам люди, все были растеряны, говорили вполголоса, мы уловили, что никто не знает, что же теперь делать, кто и как будет хоронить…

И вдруг к дому подъехал Веселаго — с чемоданом, в теплой шинели и шапке. Молоденький работник штаба мичман Робуш сказал: «Попрошу, чтобы он выяснил насчет похорон» — и пошел по коридору вслед за Веселаго. Через некоторое время Веселаго вышел из своей комнаты и быстро, даже не зайдя в кабинет постоять у гроба, как делали все, проследовал на улицу, сел в ожидавшие его сани и уехал в сторону порта. Через некоторое время появился Робуш и смущенно сказал, что Веселаго поехал на крейсер «Глори» к адмиралу Кемпу. В том состоянии оцепенения, в котором мы находились, я бы не обратила внимания, если бы новость не произвела такого впечатления на окружающих — никто ничего не сказал, но все смолкли и как-то многозначительно переглядывались, усмехались, пожимали плечами… Дети очень чутки в таких случаях, и я ощутила, что произошло что-то странное и неприличное.

Затем пришел матрос Носков, папин военный комиссар, и сказал, что сейчас соберется Центромур и решит, как и где хоронить. Кажется, никакие отголоски обсуждения, развернувшегося в Центромуре, до нас не дошли, просто часа через два в штабе появился Самохин и стал распоряжаться, а у гроба в почетном карауле встали матросы. Много лет спустя я разыскала в Военно-морском архиве листок рукописного протокола того заседания Центромура и не могу не сослаться на него. Все члены Центромура сходились на том, что убийство — дело контрреволюционеров, но матрос Радченко твердил, что все офицеры одинаковы и никого из них нельзя уважать, с ним спорили, а потом решили «хоронить со всеми почестями революционного долга». У меня и теперь сжимается горло, а тогда…

За нашим домом среди низкорослых березок у края глубокой ямы стоял гроб, покрытый красным флагом. Я смотрела на этот длинный ящик и не верила, что там навсегда скрыт мой папа. Наша непоседливая мама как встала у гроба, крепко стиснув наши руки, так и застыла — не шевелясь, не плача. Отпел, откадил свое священник. Матросский оркестр заиграл «Вы

жертвою пали…». Потом были речи, в них повторялось — контрреволюция, провокация, происки, — а мне все казалось, что надо встряхнуться, очнуться от этого ужаса — и все будет по-прежнему. Но вышел вперед Самохин, положил большую руку на край гроба и сказал очень просто:

— Вот ведь адмирал, а пошел с народом, честно пошел. И за это его убили.

За это — убили?.. «Вы жертвою пали в борьбе роковой…» А Самохин сурово и торжественно произносил клятву отомстить за это преступление и отдать жизнь делу революции — до победы. Матросы повторяли — клянемся. И я повторяла про себя: клянусь!..

Недели через две или три, когда мы шли на первое собрание мурманской молодежи, мне представлялось — выполняю клятву, вступаю в борьбу роковую… Но все получилось проще. Собрались подростки и мелкота вроде меня, долго спорили, как назвать нашу организацию, и наконец решили: союз рабочей молодежи «Восход солнца». Но какая же организация без знамени и круглой печати?! Объявили сбор средств, чтобы послать Колю Истомина в Питер. Рабочие ребята вносили деньги из заработка, остальные выпрашивали у родителей. Мы не очень-то задумывались над тем, почему мама перестала вносить деньги в штабную кают-компанию, где мы до сих пор столовались, и почему расклеила объявления об уроках музыки; мы смело попросили денег на поездку Коли, мама смутилась, покраснела, но немного денег дала. Из Питера Коля привез печать с названием нашего союза и великолепное красное знамя с золотой бахромой. Печатью мы по очереди баловались целый вечер, ставя ее отпечатки на клочках бумаги, на столах и даже на собственных ладонях. А со знаменем гордо прошли по улицам, было нас человек сорок, зато пели мы во весь голос — для внушительности. Привез Коля и устав, но устав успеха не имел, там был неприемлемый пункт — «с 14 лет», а, у нас половине членов еще не было четырнадцати!.. Думали-гадали, куда приложить силы. Самохин уехал в Питер, а оттуда на фронт, не с кем стало посоветоваться…

Но тут началось то, что спустя несколько месяцев и погнало меня на причал. В жизнь вошла ф а л ь ш ь… Сперва я стала примечать, как изменились некоторые люди, которые раньше лебезили перед мамой и заигрывали с нами. Потом стало ощутимо, как что-то изменилось в жизни Мурманска — и Совет существует, и Центромур, а все зыбко, неясно. А потом…

Мы живем в каком-то странном положении — с нами вежливы и нас сторонятся. Всем заправляет Веселаго, но он, как слуга, бегает за разрешениями к адмиралу Кемпу, без него ни

шагу. У нас кончилось единовременное пособие, выхлопотанное Самохиным, мама снова расклеила по столбам объявления об уроках музыки. И вдруг к ней приходит Веселаго, чуть ли не впервые после папиной гибели. Они сидят в кабинете, мы прислушиваемся — тишина. Заглядываем в замочную скважину — мама что-то читает. Мы отходим. И вдруг раздается крик — мама кричит на Веселаго, мы никогда не слышали, чтобы она так кричала:

— Это неправда! От начала до конца — ложь! Я не позволю! Вы хотите прикрыться именем покойного!

Мы прирастаем к двери. Мама еще кричит, а Веселаго стоит молча. Потом мама затихает, и тогда Веселаго говорит очень спокойно:

— Неужели вы не понимаете, Ольга Леонидовна, к чему все идет? Подтвердите, и вам помогут. Захотите — уедете за границу. Или вы рассчитываете, что большевики обеспечат вас и ваших девочек?

Мы смотрим в скважину, отпихивая друг друга. Только что мама была вся красная от волнения, теперь она очень бледна. И молчит. Молчит. Молчит.

— Ваша подпись совсем не обязательна, — говорит Веселаго, — я это предложил для вашего собственного блага.

И тогда мама говорит незнакомо жестким голосом:

— Я не торгую честью мужа. Уйдите. — И срывается на крик: — Уйдите!

Потом мама плачет, как подружка, в наших объятиях и говорит, что Веселаго подлец, написал меморандум — историю своего предательства и хотел прикрыться папиным именем. Я думаю об этом несколько дней — как же так? Был у папы помощником, такой всегда вежливый, и вдруг — подлец? История предательства?..

…Просыпаемся от грохота и слышим из-за стены протяжный мужской вопль. За окном — серый рассвет. Мы мчимся в коридор, в дверях своей комнаты стоит Веселаго и повторяет:

— В меня бросили бомбу! В меня бросили бомбу!

Окно в его комнате распахнуто, стекла вылетели, бревенчатый угол разорван силою взрыва так, что в проем видно небо и березки. На полу — обугленная дыра, кровать скручена чуть ли не узлом… А Веселаго невредим, только задирает штанину кальсон и показывает всем небольшую, с монету, ранку, как бы прижженную чем-то… Но тут нас замечает мама:

— В одних рубашках?!

Мы устыдились, бежим одеваться — и видим в окно своей комнаты, что английские солдаты цепью окружают Центромур, а

несколько солдат врываются в дом. Между взрывом и появлением этих солдат прошло не больше пяти минут, но в середине дня было объявлено, что «в ответ на покушение» английскому командованию пришлось высадить войска «для поддержания порядка»! Застигнутые врасплох, в этот день были арестованы члены Центромура, многие матросы «Аскольда», большевистски настроенные рабочие депо… Мы видели, как англичане с берега расстреливали шлюпку, которая в семь часов, как всегда, отвалила от «Аскольда» за хлебом. Мы видели, как под охраной английской морской пехоты проводили по улице арестованных матросов — со скрученными назад руками…

В те дни я узнала новые слова: инсценировка и предательство. И не могла понять: ну Веселаго — предатель, но ведь не он один устроил инсценировку? Кемп — пожилой человек, английский адмирал, как же он-то мог?..

…Митинг у здания Совдепа. По городу ползут странные слухи, поэтому вся горушка возле здания усеяна людьми. Мы с Гулей пробиваемся поближе к высокому крыльцу, и вдруг за нами возникает глухой, злобный шум — ни слов, ни выкриков, а толпа гудит: невесть откуда появились английские солдаты и цепью окружили митинг. Но в это время на крыльцо выходит с неизменной гнутой трубкой в углу рта председатель Совета эсер Юрьев, а с ним — адмирал Кемп, французский полковник де Лягатинери и еще какие-то военные. Юрьев говорит складно, с простецкой повадкой, о защите революции и Советской власти… слова знакомые, близкие людям, поэтому не сразу доходит их неожиданный смысл: Мурман могут захватить немцы, без союзников Мурман не отстоять, но центр далеко и этого не понимает, поэтому нужно временно отделиться от центра… Снова — глухой шум, теперь можно разобрать и отдельные выкрики: «Ловко!», «Уж этот спасет революцию!», «Продался!» Вслед за Юрьевым выступает адмирал Кемп, переводчик выделяет из его речи слова — «вы будете сыты…».

И на следующий день в обращении «союзников» к населению Мурманска, расклеенном на стенах и столбах, жирным шрифтом выделено — в ы б у д е т е с ы т ы! Мы читаем у столба эту оскорбительную листовку, где отделение от центра проскальзывает почти незаметно за приманкой сытости, а по улице идет столяр Степанов, длинный, худущий, мы с ним знакомы, он мастерит инкрустированные шкатулки, мама купила у него одну шкатулку, потому что у него чахотка и он кормит большую семью. Мы говорим: «Доброе утро!» — он отвечает: «Уж такое доброе, дальше некуда!» А навстречу Юрьев со своей трубкой. Юрьев широким жестом протягивает руку, Степанов

резко отводит свою за спину, говорит: «Предатель!» — и плюет Юрьеву в лицо. И шагает дальше. А Юрьев, озираясь, вытирает лицо рукавом…

В ту же ночь, а может в следующую, не помню, во всяком случае вскоре после митинга, сгорело здание Совета. Подожгли его, видимо, с четырех сторон, оно сразу запылало высоким факелом. Северными ночами, когда солнце не уходит с неба, спится плохо, и через короткое время множество людей высыпало на улицы. Мы тоже выбежали из дому — горушка со зданием Совета близко, наискосок от штабного дома. Мимо нас прогрохотала бочками пожарная команда — но что она может сделать с таким факелом?! В блеклом свете низкого солнца полыхание огня не ярко, но грозно. Слышно, как трещат горящие бревна, как завывает пламя. Рухнула крыша, взметнув в небо тысячи огненных брызг. А толпа стоит вокруг горушки молчаливым полукольцом. Одни злорадно улыбаются, другие смотрят равнодушно, третьи — с любопытством, но все так или иначе понимают, что пожар неспроста, что это — факел отмщения.

…Из Архангельска, где создано «правительство» генерала Миллера, прибыл «помощник генерал-губернатора» Ермолов. С ним всякое начальство с дореволюционными званиями. О Совете и разговора нет, Юрьев куда-то исчез. Все организации распущены, наш «Восход солнца» тоже. Мы сидим дома. Мама мечется — уроков мало, в Мурманске нет роялей. Мама подала документы на пенсию, Ермолов сказал ей: «Конечно, я могу переслать ваше заявление в Архангельск, но ведь ваш супруг служил Совдепии!»

…Каждый день — новые аресты. Увели столяра Степанова. Жена плачет: «Ну большевик, но ведь он кровью харкает, а его в Печенгу!» Печенга — страшное место на побережье: с одной стороны — студеное море, с другой — болотистая тундра, а между ними тюрьма — подземная, в скалах. Туда увезли арестованных в Мурманске матросов и рабочих. О Печенге говорят шепотом: убежать оттуда невозможно, а выжить еще невозможней…

…Рассыльный принес предписание из управления порта: О. Л. Кетлинской с детьми в двадцать четыре часа освободить штабную квартиру и переехать в город Александровск. Никакого города там нет — несколько десятков домов среди скал, военный пост при входе в Кольскую губу. Где там жить? Чем зарабатывать? Но нашу измученную, запутавшуюся маму больше всего потрясает, что бумагу подписал Дараган — морской офицер! Были знакомы! Она не понимает, что революция делит людей по-

своему, и старается жить в н е этого деления. Бегает, хлопочет, получает обидные отказы — и снова бегает, добилась отсрочки, потом разрешения остаться в Мурманске, потом — двух комнат в бараке. Ей идут навстречу, потому что она очень привлекательна и к тому же отличная пианистка. Она старается не замечать обид, зато радуется, как девочка, каждому доброму слову. Наивность? Или страх, что останется с нами без всяких средств?.. А нам горько и стыдно — лучше б уж уехать в двадцать четыре часа!..

…Вечер. Мама еще не пришла с урока, мы хозяйничаем на кухне. Кто-то быстро входит со двора и говорит: «Здравствуйте, девочки, мама дома?» Человек в потертой матросской робе, глаза тусклые, будто подернутые пленкой, лицо серое и такое худое, что торчат скулы. «Не узнали?» Он усмехается, и мы вдруг узнаем матроса с «Аскольда» Федорова: как председатель судового комитета он часто бывал в штабе, только был он раньше молодой, красивый и глаза у него сияли такой яркой синевой — ну как южное море в солнечный день. Я стою, обомлев, а Гуля решительно говорит: «Пойдемте в комнату!» — и выглядывает в окно, не видел ли кто. В комнате Федоров тихо сказал, что убежал из Печенги, его переправят дальше, надо перебыть вечер… Мы его покормили своей стряпней. И тут пришла мама. Сидя так, чтобы в окно не увидели, Федоров скупо рассказывал, что аскольдовцы живут вместе, их загнали в подземелье без света, почти без пищи. Когда выдадут кусочек сала, его жгут, и все сидят кругом и смотрят, чтоб не ослепнуть совсем. Помирает много, а цинга у всех подряд. Бежать некуда. Ему страшно повезло, что зашел пароход, послали выгружать, а там оказались знакомые ребята, кое-как переодели и спрятали под углем…

Как мы ни противились, мама послала нас спать. Уснуть казалось немыслимо, все мерещились матросы — здоровые, веселые аскольдовцы, и вот — под землей, мрак, сидят и смотрят на чадный огонек, чтоб не ослепнуть, а глаза уже подернуты пленкой… Да как же это можно? Что же это за люди, придумавшие такое?! Когда мы проснулись, Федорова уже не было. Мама сказала, что ночью его «переправили дальше» и никому о нем рассказывать нельзя, — будто мы и сами не понимали!..

…Гуля встретила кого-то из старых членов нашего союза и пришла возбужденная — надо вести пропаганду среди иностранных войск! Ей еще нет четырнадцати, но она высокая и кажется старше, и английским владеет неплохо, не то что я, лентяйка! А иностранных солдат и матросов стало много, вечерами они бродили по улицам — плитка шоколада в руке или женские чулки на шее. Правда, чулки носили американцы,

реже — англичане, а французы и итальянцы только скалили зубы, задевая девушек. Когда Гуля храбро вышла на улицу навстречу английским матросам, я с завистью смотрела в окно: остановились… разговаривают… медленно пошли вместе… Я не заметила, что там произошло, увидела сестру уже мчащейся назад. Никто ее не догонял, но она мчалась во весь дух, а вошла — разревелась от злости и обиды: «Им только и ходить с чулками на шее!»

Все было подло — до тошноты.

Нет, не в тот вечер я побежала на причал. Прошло еще несколько дней и вечеров, когда ничего плохого не было и вообще ничего не было, день за днем — ни-че-го! Разве что мама начала давать уроки английского намазанной дамочке, пожелавшей научиться «разговорному языку, только разговорному!». Гуля замкнулась и целыми днями читала, она и в тот вечер легла в постель с книгой, да и заснула с нею. А я лежала без сна и вдруг с отчаянной определенностью сказала себе, что все хорошее кончилось и жить нет смысла.

Вскочила, оделась как попало, выскользнула в окно, прикрыв его, чтобы Гуля не проснулась от ночного холода, и опрометью понеслась к заливу. Минута ужаса, захлебнуться — и конец.

Бежала-бежала и с разбегу остановилась, потому что на оконечности причала сидел пожилой дядька с удочкой. Но как только я остановилась и огляделась, вся прелесть существования внезапно открылась мне — сама не знаю почему.

Солнце, которое каруселило себе по небу круглые сутки, в этот полуночный час было таким блеклым, смирным, что можно смотреть, не жмурясь, как оно медленно переползает с одной сопки на другую. Знакомые зеленовато-бурые сопки казались густо-лиловыми, как акварель на детской картонной палитре, а небо — огромное, без единого облачка — нежнейше сияло всеми оттенками желтого, розового, золотистого, зеленовато-серого с легкой примесью голубизны над Горелой горой, в противоположной стороне от солнца. Все эти оттенки переходили один в другой неуловимо. Я, конечно, знала, что обычное впечатление свода — обман зрения, но в тот час увидела, что его действительно нет, а есть прозрачная бесконечность — и это было прекрасно. А вода залива была глянцево-серой, только там, где угадывалось ее легкое движение, скользили многоцветные блики — и это тоже было прекрасно. И рыболов был хорош — зюйдвестка грибом, темные неподвижные руки, ноги в разношенных башмаках на фоне блестящей воды…

Пробили склянки на транспорте «Ксения» и почти одновременно на «Аскольде», затем на миноносце и еще, еще —

на кораблях, скрытых выступом берега. Этот милый флотский звук будто разбудил все другие звуки, полнившие тишину. Поскрипывала оставленная на плаву лодка и, пришепетывая, обтекала ее корму вода, с шелестом касаясь прибрежных камней и поцокивая о сваи причала. Неподалеку, на одном из рыбацких суденышек, молодой мечтательный голос совсем не страшно выпевал угрозу красавице, если она будет неверна: «В наказанье весь мир содрогнется, ужаснется и сам сатана!» А в трюмной глубине «Ксении» кто-то бессонный пилил, пилил по металлу — вззиг-вззиг…

Жизнь была хороша сама по себе, как бы ни портили ее люди, и зачем же ей продолжаться — без меня? Какая ни на есть — она моя, не отдам ни одного дня, ни одного оттенка и звука, они мои, может быть, никто другой и не замечает их — вот как этот дядька с удочкой!

Новые звуки были грубы — топоча ботинками на толстенных подошвах, по причалу шли три американских солдата. Патруль. Я твердыми шажками подошла к рыболову и встала рядом. Дядька не шелохнулся. Громко переговариваясь, солдаты подошли и заглянули в ведро, где трепыхалось несколько рыбешек. И тогда дядька свободной от удочки рукой переставил ведро по другую сторону от себя, подальше от солдат. Те потоптались немного, один что-то проворчал — и все трое пошли назад, должно быть, не хотели связываться. А дядька покосился им вслед, плюнул в воду и с хитроватой усмешкой впервые взглянул на меня. И я впервые увидела его лицо — темное и жесткое от ветра, солнца и морской соли, с редкими, но глубокими морщинами, с короткими седеющими усами над сухим ртом, — обыкновенное и мудрое лицо человека, который долго жил и всему знает конечную цену.

— Чего бегаешь ночью? — сказал он хрипловатым голосом. — Иди спать.

Вроде и не случилось ничего в ту давнюю солнечную ночь, а помню так, будто была она вчера.

ЖИТЬ! НО КАК?..

Мы впервые попали в церковь. В годовщину папиной смерти мама вдруг решила заказать панихиду, хотя религию в нашей семье не чтили. Она дала объявление в газете, но народу пришло мало, день был темный и ветреный, жалкие шатучие огоньки свечей не могли перебороть мглу — тускло сияла лишь позолота на иконах. Мама была огорчена, а нам с сестрой по душе пришлись и таинственная мгла бревенчатой церкви, колеблемая шатучими огоньками, и распевный бас священника, гудящий в пустоте. Будто спасительный островок открылся в неустроенности нашей жизни, среди мерзости белогвардейщины и бестолочи интервентов (понаехало их видимо-невидимо, даже сербы и греки, даже шотландцы в клетчатых юбках!). Будущее неясно, настоящее горько. Так, может, спасение в религии?.. Все окружающее — суета сует, есть высший судия, высшая правда, она — примирение и утешение?..

Потихоньку от мамы, боявшейся инфекций, мы бегали в церковь, даже к исповеди. Перед тем я перебрала все свои «грехи» и собралась выложить их без утайки, но громадный бородатый священник, прикрыв чем-то мою голову, удовлетворился признанием, что я грешна, пробормотал отпущение грехов и подтолкнул меня к выходу. Я старалась не растерять благостного чувства, но обида осталась: хотела очиститься от проступков и сомнений, а богу не нужно?..

— В религии надо разобраться, — сказала обстоятельная Гуля, — пойдем к священнику, попросим книги.

Священник жил неподалеку от дома, возле которого убили папу. Мы прошли мимо, стараясь не глядеть на крыльцо, куда папа всползал, истекая кровью, и на окно чужой комнаты, где он умер. Но, может быть, он не пропал навек в той глубокой мерзлой яме, может, все-таки есть какой-то другой, неземной мир, где умершие встречаются, и сегодня я об этом узнаю?..

До нашего прихода священник, вероятно, лежал на койке, поверх смятого одеяла валялась раскрытая книга. Комната была узка, как щель, на бревенчатых стенах — ничего, только в углу —

икона с потухшей лампадой. Священник усадил нас на табурет и стул, сам присел на койку. В церкви он казался громадным и даже страшным, а теперь я увидела толстого, расплывшегося квашней, неопрятного дядьку — рыжеватые с проседью волосы взлохмачены, глаза добрые и подпухшие, на ветхой рясе лоснятся пятна, из-под рясы торчат растоптанные валенки. Самый обычный домашний старик, к тому же, как видно, ложится на постель в валенках. Может ли быть, что именно он знает что-то с а м о е г л а в н о е?

— Книги эти — скучные и непонятные, — выслушав Гулю, с улыбкой сказал он, — вижу, вы стали ходить в церковь, большего от вас и не требуется. А почитать… — он вытащил из тумбочки две потрепанные книжки без обложек, — вот это увлекательно! Возьмите, только меня не выдавайте… чтение-то не божественное!

Дома мы обнаружили, что он дал нам похождения сыщика Ната Пинкертона. Пинкертона мы прочитали, а с религией все кончилось — без терзаний, враз.

Жили мы уже в бараке, занимали там две комнаты с маленькой кухней. В кухне мы прожили среди всего нашего скарба месяца два, пока уцелевшие от арестов аскольдовские матросы обшивали стены досками, засыпали за доски шлак, складывали добротные печи. Не знаю, как расплачивалась с ними мама, денег у нее было в обрез, но к вечеру мы варили суп погуще, с мясными консервами, матросы каждый раз отказывались, потом усаживались вокруг стола впритык друг к другу, а мы с ногами забирались на кровать — больше некуда было. Слово за слово — начинались разговоры да воспоминания, чаще всего о жизни дома, до службы. В этой их жизни все было незнакомо мне, а потому интересно, — город ли, деревня ли, что я знала? Еще интересней было смотреть, как споро и весело матросы обстругивают доски, как ладно подгоняют их одна к другой, обшивая дом, но всего лучше было, если они разрешали помогать. Из банки с гвоздями нужно было отобрать гвоздь с гладким, не расплющенным острием и быстро вложить его между двумя протянутыми пальцами шляпкой кверху, острием вниз, пальцы тут же приставляют острие к доске, молоток звонко ударяет, гвоздь с двух ударов вонзается по шляпку в упругую древесную плоть, а пальцы уже протягиваются за новым гвоздем — не зевай!

Когда утепление нашего жилья было закончено, мы с мамой поселились в одной комнате, а в другой, примыкающей к сеням, открылась библиотека. О библиотеке хлопотал еще папа, часть книг успели привезти из Питера, они лежали у нас дома в связках

и с нами переехали в барак. Кое-что мама собрала «с рук» в Мурманске, затем поехала в Архангельск — хлопотать о пенсии и заодно раздобыть литературу; пенсию так и не дали, а книг мама привезла несколько ящиков, мы втроем разбирали их, расставляли по полкам, писали карточки. Чтобы получить помощь, мама действовала от имени «литературно-художественного кружка», но, честное слово, кроме нас троих, не было никого, кто тут приложил бы руку. Первая мурманская библиотека была общедоступной и бесплатной, но и мама — ее библиотекарь — ничего не получала, она продолжала бегать по урокам, а мы дежурили в библиотеке — я и Гуля, только теперь Гуля протестовала против своего детского имени, требовала звать ее Тамарой, к чему мы с трудом привыкали.

Библиотека оказалась для меня и счастьем и злом. Учиться было негде, мама время от времени пыталась заниматься с нами, но толку было мало: наша музыкантша понимала в математике и физике немногим больше нас, а ее попытка поставить физический опыт, описанный в учебнике, кончалась беспомощным возгласом: «Ну не знаю, почему он не получается!» — и общим хохотом.

С открытием библиотеки все наши интересы сосредоточились в ней. Посетителей было немного, но один молоденький солдатик из портовой охраны приходил почти каждый вечер, долго изучал каталог и уносил с собою не меньше двух книг. С другими читателями мы охотно болтали, а с этим стеснялись — уж очень молод и симпатичен. Солдатик тоже стеснялся нас. Иногда мне казалось, что он и не читает, просто книги — повод прийти.

— Неужели вы успели прочитать? — однажды решилась спросить я, получая две толстые книги, взятые им два дня назад.

— Раз принес — значит, прочитал, — краснея, ответил солдатик.

— Как же вы успели?

— Ну как! Если каждую свободную минуту читать, многое успеешь.

Мы решили тоже не терять времени зря — и быстро втянулись в новый режим. Посоветоваться было не с кем, поэтому мы начали с первой полки, по алфавиту. Собрание сочинений Аксакова, потом книжечка стихов Апухтина, потом Арцыбашев (этого мы, не сговариваясь, читали так, чтоб не увидела мама), затем сразу Байрон, Б а й р о н — наше открытие, наша бессонница! Мы бредили Чайльд Гарольдом, плакали над «Шильонским узником», нас ошеломил Каин… Затем мы дружно, на первом же томе обширного собрания, отвергли Боборыкина и надолго погрузились в мир Бальзака… Глотая понятное и непонятное, жадно вчитываясь в неведомую жизнь и в сложные

человеческие взаимоотношения, — сколько раз я замирала над страницей, потому что она прекрасна, или оттого, что она открыла мне что-то совсем новое, или хорошо знакомое предстало по-новому ярко! Но пленяясь одной книгой и скучая над другою, я надолго поверила, что такого-то писателя знаю «от корки до корки», а другого читать не стоит. Много лет спустя, взявшись перечитывать «знакомое», я по-настоящему открыла для себя многих писателей и поняла, как подводило детское восприятие. И все же я с признательностью вспоминаю тот год чтения «по алфавиту»!

Из недетского затворничества в бараке на краю пустыря запомнились только два прорыва — два предвестника.

Маму привлекли к участию в концерте в пользу строительства детского приюта. Приглашению она явно обрадовалась — хотя ее и возмущал наплыв интервентов (из патриотизма, а еще больше потому, что помнила — папа был против вмешательства иностранцев, готовых «разграбить Россию по частям»), но собственных политических убеждений у нее не было, ей хотелось жить в н е политики, принося посильную пользу детям, раненым, людям, тянущимся к книге. А по живости характера отчужденность ее тяготила. В подготовку концерта она втянулась со свойственной ей энергией. Заправлял организацией приюта дамский «комитет общественного призрения» во главе с объемистой и препротивной дамой, супругой какого-то начальника. Фамилия дамы была Сахарова. И вот из ее разговорах мамой мы узнали, что приют уже строится на том берегу залива и Сахарова завтра утром поедет туда, а к вечеру вернется рейсовым пароходиком. Мы не удержались — возьмите нас! Мы никогда не были на том берегу, мы вообще нигде не были!.. Видимо, мамино участие в концерте было необходимо — Сахарова согласилась и показалась нам почти симпатичной. Но стоило нам отплыть от причала, как она начала портить нам все удовольствие: «отойдите от борта!», «стойте рядом со мной!», «куда вы лезете!», «не вертитесь!» — ну, репей!..

За поселком Дровяным, на склоне сопки, выкладывали фундамент приюта. Сахарова дотошно все проверяла, ругалась со строителями, но и нас успевала поругивать: зачем отошли от нее, зачем собирали ягоды и вообще ведем себя «не так, как должны вести себя девочки из хорошей семьи!». Кажется, это был намек на то, что семья все же не вполне хорошая.

— А ну ее к черту! — шепнула я сестре. — Убежим?

И мы убежали. Бродили по лесу, взбирались на сопки, чтоб увидеть длинную-предлинную ленту Кольской губы, в ложбинах находили чернику и голубику, а в одном месте напали на

морошку — янтарную, терпкую на вкус. Затем мы заблудились. Знакомые звуки морской жизни — гудок буксира, грохот лебедки в угольном порту — вывели нас к заливу, но, как оказалось, далеко от Дровяного. Пока мы карабкались вверх-вниз, вверх-вниз, времени прошло много. Наконец мы услышали зычный голос Сахаровой — она звала нас и ругалась недамскими словами. Идти на ругань? Нет, Спасибо, выйдем прямо к пристани.

На пристань мы опоздали — рейсовый пароходик на наших глазах отвалил от нее и почапал к Мурманску, неся на палубе объемистую тушу разгневанной дамы. Не знаю, заметила ли она две фигурки, застывшие на пригорке, но она потрясала могучими руками и явно недоброе говорила о нас немногочисленным пассажирам.

Выяснилось, что пароходик — последний, следующий пойдет в шесть утра. Мама будет волноваться… нет, Сахарова скажет, что мы опоздали и приедем утром. А ночевать где? И есть хочется. Домашние бутерброды мы съели давным-давно. Ягоды перебили аппетит, но теперь… что же делать теперь?

Мы еще побродили по сопкам, но ягоды куда-то запропастились, солнце ползло низко, под деревьями сумрачно. И хотелось спать. Гудели ноги.

Гуля решила — попросимся на сеновал. Мы постучали в один дом — никто не отозвался. Постучали во второй — дверь открыла чернобровая-черноглазая в белом платочке, охнула и пропела мягким украинским говорком:

— Господи, таки гарненьки девчата на вулице ночью!

Она постелила нам настоящую постель, взбила подушки до шарообразного состояния, а потом всплеснула руками:

— Та вы ж голодненьки! А ну сидайте за стол.

И сама присела к столу, глядя, как мы едим, и говорила с нами как с равными и о себе, и о муже — машинисте с буксира, и о том, что черти принесли их на Мурман, а здесь их «захлопнули» с этим отделением от центра, чтоб им провалиться, гадам-предателям, они у англичан… лижут, а честные люди сиди тут возле их дерьма… Красочно она говорила — не пересказать, от этого мы чувствовали себя взрослыми, свободными людьми. А дала она нам по миске рассыпчатой гречневой каши и по кружке сырого молока. С тех пор нет для меня лучшей еды — в ней навсегда закрепился вкус свободы.

…В Мурманске, переполненном белогвардейцами и интервентами, — революционная демонстрация!.. Было ветрено, тепло и сыро, снег все валил и валил мокрыми хлопьями, и сквозь эти хлопья по улице Базы шли плотными рядами, по восемь

человек в ряд — матросы, портовики, женщины… Во главе — красный флаг, где-то в середине рядов — самодельный красный плакат. Не помню ни точного повода, ни даты, но, вероятно, трудовой Мурманск вышел на улицу, чтобы «поторопить» уход интервентов, — тогда, в 1919 году, интервенты держались уже непрочно, ходили слухи, что английские рабочие отказываются грузить суда, идущие в Мурманск с оружием и припасами для английских войск, что во многих странах началось движение «Руки прочь от России!».

Когда мы прибежали на Базу, демонстрация была не так уж велика, но она росла на ходу — люди выходили из бараков, нерешительно шли рядом, демонстранты приветливо размыкали строй — и вот уже новичок включен в ряд, и ряды выглядят грозно и мощно, потому что все идут, взявшись под руки, по лужам, по слякоти, по месиву грязи — раз-два, раз-два! Мы поискали знакомых матросов, сквозь снегопад никого не разглядели, но и незнакомые добродушно приняли нас как больших. Шире шаг, шире шаг! Я старалась идти в ногу, по лужам так по лужам, подумаешь! — с двух сторон меня поддерживают под локти крепкие руки, все поют, и я пою как можно громче и суровей, потому что такова песня:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе!..

Гуля тоже где-то тут, в другом ряду, я ее не вижу, впереди и рядом — черные бушлаты и полушубки, обветренные лица с настороженными глазами, что-то высматривающими сквозь хлопья снега… Что там, впереди? Может быть, нас ждут за поворотом? Может быть, вот-вот грянут выстрелы?.. От этого и страшно, и жарко, и весело — да, весело, и необычно хорошо, я же не одна, мы идем все вместе, рука об руку, и дух крепнет в борьбе, «час искупленья пробил», меня приняли как равную, мы идем — что бы ни ждало нас впереди, «кто честен и смел, пусть оружье берет!» — а у матросов есть оружье? Револьверы в карманах или под бушлатами — «лимонки»? Тогда пусть «они» попробуют сунуться! — вон как нас много стало, понемногу прибавлялось, а теперь — сила! И женщин много, вот сзади, наискось от меня, между двумя матросами шагает Люша, отчаянная Люша из нашего барака, она и сейчас хохочет, показывая свои яркие зубы, ей не страшно!.. А там кто? — да это же Коля, Колька Истомин, и с ним еще ребята из нашего «Восхода солнца», разогнали нас, а мы все равно есть, и никого не боимся, почему я думала, что все кончено? — вот дура была! — мы тут,

мы идем —

Нас ждет или смерть, иль победа,
Вперед, вперед, товарищи, вперед!

Выстрелов не было. Перед нами пустели улицы — будто ни белогвардейцев, ни интервентов нету, вымерли, будто победа уже вот она — наша! И так странно было часом позже, когда мы шли домой, видеть на тех же улицах, где проходила демонстрация, множество военных патрулей — белогвардейских, английских, американских… Значит, испугались?!

Я нарочно шла прямо на них, заносчиво вскинув голову, но они равнодушно пропускали меня, они просто не знали, что я уже взрослая, что я только что как равная шла в рядах! И я не знала, не догадывалась, что приобрела что-то очень важное, может быть самое главное — и на всю жизнь, — в этот метельный день, когда выстрелов не было, но они могли и быть.

ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

«Ветер, ветер — на всем божьем свете!» — эти слова уже были написаны Александром Блоком, только я их не знала. И еще не были написаны ни «Песня о ветре» Луговского, ни «Ветер» Лавренева. Но образ возникал естественно из порывистой размашистости революции, этим буйным ветром выдуло из Мурманска интервентов и беляков. А всю нашу жизнь просквозило и переиначило. Захотелось передать это ощущение в стихах — их тогда сочиняли много и пылко. «Ветер, ветер, стремительный ветер» — так я написала, но рифмы к ветру не нашла и… ну и черт с нею, с рифмой, когда этот самый ветер подхватил и закружил меня, когда вокруг все создается заново и от молодежи не отмахиваются, а зовут ее, и уже существует большая молодежная организация — РКСМ, Российский Коммунистический Союз Молодежи, и у нас вот-вот будет своя комсомольская организация, 21 марта собрание!

Среди маминых книг был роман под названием «Жизнь начинается завтра». Мне казалось, что название относится ко мне: все — завтра, а оно, это «завтра», очень далеко, еще надо расти и расти… И вдруг — у ж е! Не когда-то там, а с е г о д н я начинается жизнь!

И все-таки появилась закавыка, тот же несчастный пункт устава, теперь уже всероссийски утвержденный — с четырнадцати лет. В докладе на собрании было уточнено: «начиная с года рождения 1905-го»… А если у меня — шестой?!

К столу, где записывали в члены комсомола, выстроилась веселая очередь. Я тоже встала в очередь, готовясь спорить и требовать, а если надо — ругаться… Только бы не зареветь! За столом сидели молодые ребята, они придираться не будут, но сбоку стоял незнакомый взрослый человек, лобастый и глазастый, в каждого так и впивается взглядом, каждому задает вопросы… Я тихонько спросила — кто такой? Говорят — из укома большевиков. Ох! Как ни старайся выглядеть постарше, он вопьется взглядом и скажет: «А ты куда, мелюзга?»

Фамилия, имя…

— В «Восходе солнца» была? — спросил глазастый.

— Была.

— Значит, опытный товарищ, — улыбнулся он.

Жуткая минута приблизилась вплотную:

— Год рождения?

Я начала обстоятельно и медленно:

— Одна тысяча девятьсот… — И после паузы: — Пятый!

— Распишись.

Старательно расписалась и отошла вприпрыжку. Нечестно? Ничего подобного! Идет революция, все — на слом, «мы наш, мы новый мир построим!» — и вдруг какие-то старорежимные ограничения, еще бы церковную метрику спросили! И при чем тут год рождения, ведь я-то знаю, что смогу все, чего потребует революция, не хуже этих, которые с пятого и четвертого года!

Рассказывая, я злоупотребляю восклицательными знаками? Но вся жизнь тех дней шла на восклицательных знаках.

Ждали — не без трепета — партизанский отряд Ваньки Каина. Про Каина рассказывали всякое, рисовался он чем-то вроде прогремевшего на Украине батьки Махно. Знали, что со своим отрядом он захватил белогвардейский бронепоезд, прошел с ним по линии, громя остатки белогвардейщины, а теперь на том же бронепоезде движется к Мурманску. Ждали «грозу», ведь недаром он взял себе имя Каин. А приехал совсем не страшный, немногословный дядя из архангельских крестьян, Иван Константинович Поспелов, начал мирно работать в Совете, а в комсомол из его отряда пришли двое — четырнадцатилетний, маленького роста, но на редкость ширококостный, весь квадратный Кирик Мастинин и дочка Ваньки Каина, шестнадцатилетняя Аня Поспелова, застенчивая девушка с русой косой, заговорят с нею — краснеет, теряется, а ведь участвовала в боях! Я завидовала ей, но особенно Кирику: всего на шесть месяцев старше меня, а полтора года воевал!

Привезли освобожденных узников Иоканьги — страшнейшей из тюрем, созданных интервентами на безлюдном студеном берегу Ледовитого океана, куда они свезли наиболее революционных матросов, рабочих, солдат из Архангельска и Мурманска. Сколько лет прошло, а помню отчетливо — долго-долго швартуется пароход, а на палубе почти пусто, наконец наводят сходни, запрудившая весь берег толпа подалась вперед, готовая и рукоплескать и плакать, а иоканьгцев все нет… все нет… и вдруг на палубе, а потом на сходнях появляются… да что же это?! — они не идут, их ведут под руки, вместо лиц — страшные белые маски с заплывшими глазами, руки тоже одутловатые, как подушки, а ноги как тумбы. Раздался отчаянный

женский вскрик — и тишина, такая тишина, будто онемели все разом. Вслед за теми, кто хоть как-то мог идти, понесли на носилках тех, кто уже не мог двигаться… и таких было больше. А еще потом стали выносить тех, для кого освобождение пришло слишком поздно.

— Девочки, я не приду ночевать, — с какой-то отрешенностью от нас сказала мама.

Госпиталь для иоканьгцев был наскоро оборудован в Морском клубе. Мы часто забегали к маме, но она выходила только на минуту — в белом халате и косынке, побледневшая, с красными от бессонницы глазами. Торопливо спрашивала, как мы управляемся одни, и рассеянно пропускала мимо ушей наши ответы, она была всеми помыслами тут, в госпитале, — некоторых больных уже нельзя было спасти, каждый день кто-то умирал, а другие и не умирали и не поправлялись, их надо было кормить с ложечки и помалу, у всех была цинга, голодные поносы, истощение предельное… Только в блокаду я поняла, что это такое. А тогда я вглядывалась в их опухшие лица и не узнавала никого, хотя могли быть среди них знакомые матросы. Мало их дожило.

Дней через десять пришел из Петрограда санитарный поезд, и всех иоканьгцев отправили «в Россию». А тех, кто не выжил, хоронили в центре Мурманска в большой братской могиле. Недавно я побывала в Мурманске, постояла в молчании у памятника жертвам интервенции… Я уже знала, до чего может дойти человеческая жестокость и низость, я уже знала фашизм, войну, блокаду. А в день, когда в разверстую мерзлую яму опускали гроб за гробом, я еще ничего такого не знала и мучительно думала, думала, думала — как могут одни люди, кто бы они ни были и что бы их ни отделяло от других, содеять такое с другими людьми?..

За время, что мама работала в госпитале, мы набрались самостоятельности, но и мама отвыкла опекать нас, да и некогда ей было… в библиотеку хлынули новые читатели. Красноармейцы, матросы, рабочие, молодые партийные агитаторы жаждали книг. Нарасхват шли Горький и Толстой, Джек Лондон и Гоголь, спрашивали «недлинные пьески, чтоб немного действующих лиц» (мама давала чеховские «Медведь» и «Предложение»), спрашивали Ленина и Маркса — их не было. Зашел как-то «на огонек» молодой комиссар Красной Армии Чумбаров-Лучинский, в разговоре выяснилось — питерский поэт, печатает стихи в газетах; в тот же вечер в библиотеке он прочитал несколько своих стихотворений. Чумбаров-Лучинский помог маме получить кое-какую политическую литературу, заходил все чаще,

сидел все дольше, но с мамой говорил ершисто: «Вы же из чуждого класса, что вам наша революция? Вы что же — решили снизойти до нас?» Мама рассердилась: «Я у себя дома и делаю полезное для всех дело, а вы почему приходите — снисходите до меня?» Он покраснел: «Не сердитесь, я пробую разобраться, что вы за человек…» Пришел он как-то вечером, а в его кудлатых, давно не отряженных волосах — кусочек сала. Мама сказала ему об этом. «А вас коробит? Привыкли к напомаженным аристократам?» Нас обижало, что он так говорит с мамой, но, когда мы ей об этом сказали, мама с улыбкой покачала головой:

— Он не со зла. И сало нарочно. Он очень чистый, хороший юноша, очень убежденный, ему у нас нравится, но он боится подпасть под «чуждое» влияние.

Как ни радовало нас, что в библиотеку ходит столько народу, сидеть целый день над карточками мы не хотели, за стенами барака становилось все интересней, в комсомоле начинались наши собственные дела, где мы были не при мамочке, а сами по себе. К нашему удовольствию, руководители Морского клуба предложили маме передать библиотеку в клуб и поступить туда библиотекарем. Мама охотно согласилась. И через неделю уже занималась не только библиотекой, но и подготовкой концерта, и хором, и даже кружком рояля. Кружок ее смущал:

— Есть очень музыкальные матросы, у одного абсолютный слух, тонкое восприятие музыки, но пальцы! Пальцы! Их же надо ставить с детства!

На каждом занятии кружка она проводила беседу о музыке, о композиторах, сама играла наиболее доступные отрывки, готовилась к этим «показам» не менее старательно, чем к концертам… На ее беду, в клубе полюбили ее — и это узнал Радченко, тот самый матрос, который считал, что «все офицеры одинаковы и никого нельзя уважать». При белых он продолжал служить в Кольской роте, в начале интервенции даже участвовал в переговорах с адмиралом Кемпом, позднее был арестован, но в Иоканьгу его не отправили, а вскоре и совсем освободили. Зато теперь он был «революционнее всех революционеров», гремел на собраниях и вот понес всякую околесицу про «адмиральшу, которая пробралась в клуб, чтобы отравлять сознание матросов». А людей, знавших, что за человек был адмирал Кетлинский и что произошло в начале революции на Мурмане, почти не осталось — после воссоединения с Советской страной тысячи мурманчан устремились «в Россию», домой. Вместо них приезжали люди новые, копаться в прошлом им недосуг было, зато многие повоевали против белых генералов и адмиралов.

Маму арестовали на работе, в библиотеке. Тюрьмы в

Мурманске не было, под нее приспособили один из английских бараков, мы разговаривали с мамой через окошко, передавали ей разные домашние вещи. Для женщины ее воспитания арест был трагедией, но мы не видели маму ни потрясенной, ни унылой, может, она хотела подбодрить нас, а может, ее выручала неистребимая жизнерадостность. Улыбаясь нам, она говорила, что ее, наверно, задержат «до конца гражданской войны», но ведь гражданская война уже кончается! «Главное, девочки, будьте разумными и заботьтесь друг о друге, скоро мы снова будем вместе. Это все Радченко, он написал ужасное заявление, ни слова правды… а как доказать?.. Если бы найти аскольдовцев!..»

Аскольдовцев мы не нашли — те, кто уцелел, уехали домой или ушли воевать. Эх, был бы Самохин, он бы этого Радченко!.. Но Самохин так и затерялся на фронтах гражданской…

Клевета Радченко ошеломила меня — зачем? Он же понимает, что написал гнуснейшую ложь! А мама арестована… Это была первая несправедливость, с которой я столкнулась в моей новой жизни — и как раз в то время, когда все вокруг радовало и увлекало. Нашелся злой человек… но почему же ему поверили? Видимо, все же не поверили, а то осудили бы маму или расстреляли как заклятого врага… но почему же все-таки решили задержать «до конца гражданской войны»?..

Днем меня занимали самые разные дела, но вечерами я подолгу не могла заснуть в нашей опустевшей комнате, где без мамы стало неуютно, холодно. Лежала и думала, стараясь понять… нет, оправдать случившееся. Гражданская война, говорила я себе, это борьба двух классов, борьба насмерть. Юденич, Колчак, Деникин, Миллер — вплоть до мурманского Ермолова… да, они враги, они-то никого не щадили. Я же видела «инсценировку» Веселаго, предательское лицемерие адмирала Кемпа, жестокость белогвардейцев и интервентов, я своими глазами видела, что они сделали с большевиками в Иоканьге! В разгар борьбы в каждом человеке не разберешься. Значит, если принадлежишь к враждебному классу, посиди до конца боев там, где ты навредить не можешь?.. Все это было правильно, логично, но… но это коснулось мамы, моей мамы, такой простодушной и откровенной, что, даже если она соврет в мелочи, у нее на лице написано: «вру!» Как же этого не видят те, кто решает ее судьбу?.. Наверно, им некогда, идут бои, теперь вот белополяки выступили на смену Колчаку и Деникину…

Так я рассуждала сама с собой. И никому не жаловалась, ни о чем никого не просила, даже у себя в комсомоле не искала ни сочувствия, ни помощи в беде — мне было н е л о в к о, будто я сама совершила несправедливость и не знаю, как ее истолковать.

Маму увезли в петрозаводскую тюрьму. Перед отъездом ее отпустили домой за вещами. Она отобрала свои лучшие платья, шарфики, всякие женские пустячки. «Ведь Петрозаводск — большой город, там есть театр и даже музыкальная школа!» До нее как-то не доходило, что ее везут в тюрьму, она была полна оптимизма и волновалась только о нас — как мы проживем без нее, будем ли разумными…

Мы не были разумными. Мы глупо рассорились с Тамарой. Еще до маминого ареста она начала работать в каком-то культпросветучреждении, а теперь почувствовала себя главой семьи и попробовала командовать мною, ругала за беспорядок в комнате и непостиранное белье, за то, что я ничего не сготовила к ее приходу. Стерпеть такое я не могла — и решила жить самостоятельно. Объявлений о найме на работу было много, я побежала по первому, где нуждались в «хорошо грамотной сотруднице на должность журналистки» — нет, к журналистике эта работа отношения не имела, нужно было всего-навсего записывать в журналы «входящие» и «исходящие» бумаги. Называлось мое учреждение Опродкомбриг 2—1, что означало — Особая продовольственная комиссия 2-й бригады 1-й дивизии 6-й армии. Комиссия брала на учет продовольственные и фуражные запасы, оставшиеся на Мурмане после ухода интервентов. Меня посадили за стол, где лежали два журнала, — и началась моя трудовая деятельность, ограниченная четырьмя часами согласно советскому закону о труде подростков. Солидные военные дяди, работавшие в комиссии, называли меня дочкой и в час дня усиленно гнали домой, но я шла вместе с ними в армейскую столовую, а после обеда частенько возвращалась на работу. Мне нравилось мое новое положение, и мои начальники, и столовая (не надо готовить дома!), и хотелось насолить сестре — пусть не задается!

А Тамара взяла и уехала. Не помню уж, на какую конференцию ее выбрали, но однажды она деловито сообщила, что завтра уезжает в Архангельск, пароход должен уйти днем, «ты, наверно, не сможешь проводить?».

— Как же я уйду с работы! — внутренне дрогнув, сказала я.

— Может, останусь работать в Архангельске, — то ли всерьез, то ли пугая меня, проронила Тамара, укладывая свои немногочисленные одежки.

— Конечно, там интересней.

На том разговор и кончился — коса на камень! А ведь она действительно осталась в Архангельске, оттуда ее послали в Мезень — и встретились мы с нею только год спустя, у мамы, начисто забыв нелепую ссору. А тогда я и на пристань не пошла,

сидела над своими журналами и старалась забыть о том, что Гуля уезжает. Отвальные гудки парохода донеслись отчетливо. Я сорвалась с места и выскользнула в коридор, откуда был виден кусочек залива, — по этому серо-зеленому кусочку проплыли трубы и мачты, медленно проплыли и скрылись… И такая тоска вдруг защемила душу…

Но веселый птенец, жаждавший независимости, тотчас заворочался, заверещал, выбиваясь на волю из скорлупы детства. Не оттого ли мы и рассорились? Два юных человека ринулись в самостоятельную жизнь, отпихивая все, что могло помешать, — сестру так сестру! В молодости тянешься не к тому, что уже есть, а к тому, что будет. Крутя любопытным носом, я стояла одна перед необъятным простором. Семья распалась, все домашние постромки оборваны… Что же теперь?

Самостоятельность началась с пишущей машинки. Я и не думала о «повышении квалификации», и не собиралась оставаться конторским работником, да и Опродкомбриг был организацией временной: подсчитают запасы, сдадут отчеты — и прости-прощай! Пока же Опродкомбригу была остро нужна машинистка. Но откуда взять в маленьком Мурманске незанятую машинистку? А громадный «ундервуд» под тяжелой металлической крышкой стоял у окна на низеньком столике, и на пыльной крышке можно было рисовать рожицы, что я украдкой и делала, пока однажды не подумала: а почему я не сумею? Все когда-нибудь начинают! Сразу подошла к начальнику:

— Можно, я научусь на машинке?

— Ты?

— Ну да. Поупражняюсь — и буду вам печатать.

Кажется, все до единого сотрудника помогали мне снимать крышку, вытирать пыль и разбираться в устройстве машинки — где какие буквы и знаки, для чего разные рычажки и колесики. Они были славными людьми, опродкомбриговцы, хотя несколько разочаровали меня — поступая в армейское учреждение, я по молодости лет ждала встретить каких-то особых, почти легендарных героев, ведь Красная Армия три года воевала против множества государств — и победила! А повстречала я людей простых, не очень-то грамотных, не очень-то здоровых, кроме муки, сахара, овса и сена, занимавших их время и мысли, говорили они о самых обычных житейских вещах, даже обсуждали, как лечить «проклятущий ревматизм», и только постепенно выяснилось, что один из них был трижды ранен, другой бежал из белогвардейского плена, а тот, с проклятущим ревматизмом, заработал его в болотах Прионежья, в партизанах… Рассказывать о своих подвигах они не умели, отделывались

скупыми ответами: «Ох, и не спрашивай, такого хватили!» — или: «Считай, был уже покойником, вторую жизнь живу!» А вокруг пишущей машинки они вели себя как ребята, добравшиеся до часового механизма.

Хотя я была девчушкой, меня ценили за то, что я почти всегда могу подсказать, как пишется трудное слово. И когда я начала выстукивать по белым клавишам с черными буквами строку за строкой, они с уважением поглядывали, прислушивались и не мешали — если нужно записать «исходящее», запишут сами. А я стучу да стучу одним пальцем — тюк! — пауза и снова — тюк! Потом пошло быстрее — тюк-тюк-тюк! — покручу пальцем в поисках редкой буквы и снова, еще быстрее — тюк-тюк-тюк! — а со всех сторон одобрительные взгляды и улыбки. Через несколько дней я уже не искала буквы, они сами попадали под пальцы. И как раз в это время понадобилось напечатать длиннейшую сводку с надписью в правом углу — с о в е р ш е н н о с е к р е т н о. Обычно с такими сводками обращались в штаб бригады, а потом долго ждали, пока их перепечатает перегруженная работой з а с е к р е ч е н н а я машинистка. Что значит засекреченная? Мне представлялось, что она укрыта под семью замками в какой-то никому не известной комнате. И ее надо искать, а она прячется. И поэтому ее прозвали Ведьмой.

— Хватит пресмыкаться перед Ведьмой, — сказал мой главный начальник, — пусть Верушка перепечатает. Все равно ничего не поймет.

Меня не обидела мотивировка — очень-то нужно понимать эти нудные столбцы четырехзначных цифр! А вот напечатать их без опечаток… Семь потов сошло с меня, пока одолела сводку. И уж конечно, опечаток хватало. Но с тех пор я печатала все секретные и несекретные сводки и письма, действительно мало что понимая в них; только под конец моей службы в Опродкомбриге я посмела спросить, что означает загадочное слово ф у р а ж, и как же я изумилась, ко всеобщему веселью, узнав, что это те самые овес и сено!

— Ты еще здесь? — восклицал иногда начальник, увидев меня во второй половине рабочего дня. — А если из-за тебя меня под суд отдадут?!

Он так и не узнал, что подсуден вдвойне, так как мне нет еще и четырнадцати лет. Но я была увлечена своей новой, ответственной ролью в Опродкомбриге. Да и что делать дома?

В комнате, где была библиотека, еще при маме кто-то поселился. А наша большая, прежде такая уютная комната приобрела нежилой вид. После отъезда Тамары я старалась приходить только на ночлег, но иногда некуда было деть себя —

комсомол не имел помещения, собирались мы где придется, чаще всего на улице у Морского клуба, если погода позволяла. Но погода часто не позволяла.

Однажды вечером ко мне зашла наша соседка по бараку, отчаянная Люша.

— Так и живешь одна? Хо-зяй-ка!

Заглянула в кастрюли, пошарила по полкам, взяла тряпку и веник — не успела я ответить на все ее расспросы, как пыль была вытерта, пол подметен и вымыт, простыни сменены, грязное белье замочено в корыте. Тем временем сварилась пшенная каша и закипел чайник. От себя Люша принесла шпику, накрошила, обжарила, замешала в кашу.

— Садись, ешь!

Обычно я не ела вечером, считала — хватит и обеда, а тут навалилась и съела все дочиста.

— Вот что, Верушка, — сказала Люша, — тебя все равно уплотнят, так лучше мы к тебе переедем.

И они въехали ко мне — Люша с мужем и двумя ребятишками. Ох и заголосили другие соседки! Чего только не наговорили мне про Люшу — бессовестная она, чужой бедой воспользовалась, на вещи позарилась, гляди, обдерет тебя как липку… Я слушала их и не могла понять, то ли они завидуют Люше, то ли сплетничают от нечего делать. Зачем они так? Я и тогда чутьем угадывала и теперь уверена, что была Люша чудеснейшей женщиной, работящей и отзывчивой, я от нее ничего, кроме добра, не видела, а уж насчет вещей, так именно ее заботами уцелели мамины пальто и платья — перетряхнула и нафталином пересыпала. А уж мои одежки и починит, и пуговицы закрепит, и на моих «мальчиковых» ботинках, полученных по ордеру, заставит соседа-сапожника срочнейше подбить подметки.

Люша отгородила меня двумя шкафами, получилась комнатка с одним окном, самым солнечным и интересным, из него были видны сопки того берега, и залив с кораблями, и много мурманского многокрасочного, всегда неожиданно нового неба. Но шкафы не были преградой для звуков, и я слышала всю жизнь Люшиной семьи, а она была громкая. Я даже не предполагала, что такое может быть, мама с папой никогда не ссорились, не повышали голоса; а Люша «шумела» и на мужа, и на детишек, и сама говорила: «Уж я такая, шумлю!» Много лет спустя я вспоминала ее, когда писала в «Мужестве» свою Танюшу — Грозу морей. Из-за шкафов мне иной раз казалось, что она вот-вот побьет мужа, выгляну — а Люша потчует мужа всякими вкусными вещами и, ругая его, весело посверкивает глазами, рабочая блуза мужа уже выстирана и сушится над плитой, Люша успевает и

детишек уложить, и между делами что-то зашить, что-то прибрать, ну и языком не забывает работать, а муж ест-похваливает ее стряпню да посмеивается, молчаливый он был человек, Люша наговаривала за двоих.

С жильем в Мурманске становилось все трудней, понаехало много народу, так что меня еще «уплотнили». Сперва вселили старушку, приехавшую с каким-то учреждением, она была одинокой старой девой, очень тихой и какой-то неприметной — ее кровать и стул в двух шагах от меня, а ее вроде и нет. Мышка. Люша пошумела, что «дите стиснули», и стала заботиться о Мышке тоже — чайку предложит, бельишко «заодно» простирнет. Потом ко мне вселили пожилую машинистку, тоже приезжую, но тут уж нельзя было пожаловаться, что она неприметна. Большая, нескладная, с крупным, лошадиным лицом под самодельными кудряшками, перехваченными лентой, она ко всему относилась брезгливо-обиженно и всячески подчеркивала, что создана для иной жизни. На вопрос Люши, была ли она замужем, новая жилица с предельной брезгливостью ответила:

— Нет, конечно.

Только она прошла за шкаф, Люша заплясала на месте и подняла два пальца — дескать, две старых девы! Но женщина, видимо, увидела или догадалась, она разгневанно выскочила на Люшину половину:

— К вашему сведению, я не старая дева, я двадцать раз могла выйти замуж, ко мне сватались богатые, порядочные люди, я сама не захотела, потому что презираю мужчин.

— Да уж как их не презирать, лежебок, — давясь смехом, согласилась Люша и мимоходом шлепнула мужа, отдыхавшего на кровати.

Новую жиличку она с первого дня окрестила Лошадью.

Я совсем не тяготилась уплотнением. Последние скорлупки детской замкнутости в семейном мирке с треском упали, и я вступила в житейский мир, где было столько разных и занятных людей. Одна только отчаянная Люша с ее характером, с ее неистребимой веселой силой была для меня открытием. Зато от Мышки я однажды услышала, что она всю жизнь работала переписчицей в управе, что ее ценили за аккуратный почерк и «заработка на жизнь хватало». Она этим тихо гордилась. А под словом «жизнь» понимала еду и одежду. И все?! От Лошади я узнала, какими крупными делами ворочали на севере лесопромышленники (она была родственницей одного из них) и какие богатые были рыботорговцы, купцы п е р в о й г и л ь д и и (все до одного — ее отвергнутые женихи!). По вечерам, когда мы укладывались в своем закуте, я любила наблюдать, как новая

жилица накручивает волосы на папильотки, а затем нахлобучивает белый ночной колпак, похожий на перевернутый горшок. По утрам, когда Люшин муж уходил на работу, а нам пора было вставать, она садилась в постели, еще не открывая глаз, одним и тем же движением стаскивала колпак и яростно восклицала:

— Тьфу, проклятая жизнь!

Я хихикала в подушку, пока однажды не представила себе, каково жить такой некрасивой и одинокой, никого и ничего не любя, теша себя хвастливыми выдумками о былом богатстве и женихах, прожить всю жизнь, день за днем, год за годом, так и умереть…

Вскоре я почти перестала бывать дома. У нас появился клуб — свой собственный, настоящий комсомольский клуб! В Мурманске это было сказочной роскошью.

Надо представить себе, каков был Мурманск тех дней. Ведь еще в 1913 году здесь стояла одна-единственная избушка помора Семена Коржнева, а у берега — одна лодка, на которой старик выходил забрасывать сети в незамерзающие воды Кольской губы. Правители царской России пренебрегали сообщениями первых исследователей Кольского полуострова о богатствах его недр, о ценных породах рыб в его быстрых реках и омывающем его студеном море. Но в первую мировую войну остро понадобились свободный морской путь (выходы из Балтики и из Черного моря через проливы были перекрыты противником) и незамерзающий порт, через который союзники России могли бы снабжать ее вооружением и боеприпасами. Лихорадочно, в нескольких местах сразу, началось строительство железной дороги от столицы до конечной станции у глубоководья Кольской губы — станция называлась Романов-на-Мурмане в честь царской фамилии, после февральской революции ее переименовали в Мурманск. Одноколейный путь вился вдоль берега залива, на самом берегу выросли причалы и склады, к ним лепились бараки для рабочих и наспех построенные из бревен конторы. Тут, возле портовых причалов и станции, образовался главный трудовой центр будущего города.

В 1920 году Мурманску было пять лет от роду, и называть его городом можно было только из доверия к перспективам его развития. Страна еще не выбилась ни из гражданской войны, ни из разрухи. Порт обслуживал немногочисленные военные корабли (которые не успели увести с собою интервенты) и пароходы, кое-как поддерживавшие связь и снабжавшие поморские поселения вдоль Кольского побережья от норвежской границы до Белого моря. Вокруг станции штабелями лежали строительные

материалы. Из мастерских доносился стук молотков, лязг железа, извечные «раз, два, взяли!» — там самоотверженно латали старые, отжившие срок паровозы и одряхлевшие вагоны.

Стоило подняться от неказистого вокзальчика вверх по склону — туда, где сейчас лучшие кварталы города. — и глазам открывался унылый кочковатый пустырь, поросший мхами, с проложенной по нему из конца в конец грунтовой дорогой. Огибая горушку и глубокий овраг, дорога вела на Базу — площадку над береговым склоном, где выстроились две-три улочки одноэтажных и двухэтажных рубленых домов разных учреждений и квартир высшего начальства, а за ними, в сторону горы Горелой и Варничной сопки, — ряд угрюмых, перенаселенных рабочих бараков. Другой конец дороги упирался в Нахаловку — беспорядочное скопление домишек и лачуг, «нахально» возведенных кем попало и как попало. Пустырь, деливший городок на три части, даже в долгую полярную ночь никак не освещался, ходить через пустырь в одиночку избегали.

Сразу после революции матросы построили посреди пустыря Морской клуб. По сравнению с железнодорожным, который был простым бараком без перегородок, с дощатой сценой, Морской клуб казался в тех условиях очень большим, почти роскошным, он нарушил унылое безлюдье пустыря и по вечерам приветливо сиял освещенными окнами. Наискосок от Морского клуба, как бы утверждая, что город будет расти здесь, именно здесь, горделиво встал наш комсомольский клуб.

Собрали его так быстро, что я, работая до пяти часов вечера, и не увидела, как он вырос. Дом был одноэтажный, сборно-щитовой, в нем размещалось несколько небольших комнат и одна очень большая — «зал». Снаружи щиты были покрашены защитной, а нам казалось — ликующе-веселой зеленой краской, по фронтону тянулась крупная надпись: «Боже, царя храни!» Не знаю, верно ли, но говорили, что дом предназначался для царской ставки на фронте, только царь предпочитал отсиживаться в Зимнем дворце с царицей и Распутиным, потом царя скинули, а вагоны со щитами почему-то загнали в Мурманск. Как бы там ни было, теперь мы, комсомольцы, завладели царским чертогом. Первым нашим радостным делом было замазать краской нелепую надпись, в которой нам были одинаково чужды и бог и царь. Укрепив длинные ноги на шаткой стремянке, матрос Глазов вовсю орудовал малярной кистью, а стремянку и ведро с краской держало столько рук, сколько могло ухватиться.

Пожалуй, каждому человеку доводилось в жизни справлять или хотя бы видеть чье-то новоселье — всей семьей обстраивают новое жилье, тут подкрасят, там вобьют крюк или приладят

выключатель, азартно втаскивают, расставляют и переставляют разные вещи, пока все не установится наиудобнейшим образом, причем все, даже лентяи, охвачены жаждой деятельности. Так было и у нас с нашим комсомольским домом. Прямо с работы мы мчались в клуб и сами искали себе дело: таскать, мыть, пилить, приколачивать, выносить мусор, писать лозунги — что угодно, лишь бы приложить руки или подставить плечо. «За что браться?» — с этим вопросом чаще всего вбегали в дом, где призывно пахло краской, клеем и свежими стружками.

Среди тех, кто знал, за что именно браться, запомнился тот же долговязый матрос Кузьма Глазов — так всегда запоминаются люди, которые многое у м е ю т. А Глазов был не только расторопным мастером «на все руки», он умел еще и научить любого несмышленыша: как бы между прочим покажет, даст попробовать самому, необидно подправит, подбодрит — и ты уже работаешь, стараешься, а он нет-нет да и поглядит, так ли. А если работа ладится, улыбнется и подмигнет — видишь, как пошло́!

Запомнился и еще один морячок, но совсем по другой причине. Его имя и фамилия казались мне прекрасными: Гордей Бронин. Не знаю, что из него вышло потом, может, повзрослев, стал достойнейшим человеком? Но что было — то было. Когда он впервые появился у нас, Аня и я — две единственные комсомолки — так и обмерли, не оторвать глаз: высокий, стройный, лицо точеное и смуглое от морского загара, а глаза синие-пресиние, прямо-таки неправдоподобной синевы. Только одни такие глаза я видела — у аскольдовца Федорова, того, что ночевал у нас после бегства из Печенги, но у Федорова они лучились застенчивой добротой, Федоров всегда как бы стеснялся, что им любуются, а Гордей… о-о, Гордей знал цену своей неописуемой красе и любил испытывать ее неотразимость. Ну, казалось бы, зачем ему смущать двух девчушек-недорослков? Но, заходя в клуб, он принимал картинные позы и пристально смотрел на нас — то на одну, то на другую, так что у нас все валилось из рук.

— Ну чего стоишь как в витрине? Все работают, а ты красуешься!

Так незлобиво сказал ему Глазов. И неописуемая краса нашего обольстителя вдруг померкла: действительно, манекен в витрине!

А потом он — один из всех! — не пришел на наш первый воскресник, и в своей рукописной стенной газете мы нарисовали карикатуру на него, и кто-то, может быть и я, сделал подпись: «Не гордился бы, Гордей, что красив, постыдился бы людей, что ленив!» — а когда он потом пробовал оправдаться отсутствием

подходящих сапог, вид у него был жалкий, лживый, и я тогда впервые подумала, как мало значит красота сама по себе.

«У меня нет подходящих сапог!» — стало у нас ходовым выражением и всегда вызывало смех. П о д х о д я щ и х сапог не было ни у кого, ходили кто в чем, иной раз подвязав подметку проволочкой, и какие бы ни были обутки, у каждого они были единственными на все случаи жизни. А уж не пойти на комсомольский воскресник — такое и в голову не приходило!

Первый наш воскресник был на станции — мы выгружали дрова из длинного состава теплушек. Бревна-двухметровки были сырые, очень тяжелые и к тому же мокрые, вероятно, обледенели и вывалялись в снегу при погрузке, а теперь оттаяли. Вагоны были набиты ими под крышу — не подступиться, хоть плачь. Приходилось, стоя в дверях, осторожно вытягивать верхние бревна и еще осторожней опускать их на плечи парней, стоявших внизу. Дело пошло немногим быстрей и тогда, когда в теплушке образовалась площадка, где можно развернуться. Но вот кто-то из ребят разыскал за путями доски-горбыли, у одного вагона приладили их в наклон, тотчас приладили такой же скат у другого, у третьего и по всему ряду вагонов; в каждом вагоне двое встали наверху и двое внизу; берешь с напарником бревно за концы и скатываешь по подпрыгивающему скату, а там двое подхватывают — и в штабель. Ритм родился сам собой, бойкий ритм марша: раз-два — взяли! раз-два — покатили! Там, там, тра-та-там! Там, там, тра-та-та-там! Бревно за бревном, бревно за бревном! Рукавиц ни у кого не было, натерли мозоли на ладонях и нахватали заноз, но куда ни посмотришь — движения слаженные и лица веселые, разрумянившиеся на холоде, и чувствуешь, что у тебя лицо такое же и движения уточнились, и общий маршевый ритм этих движений отзывается в душе музыкой, особенной, будоражащей, чеканной музыкой, и ничего больше не надо, только не выбиться из общего лада. А когда закончили — спину не разогнуть, ноги ноют, руки саднят царапины, все тело будто налито тяжестью, а голова легкая, ясная — и так хорошо! Расходиться по домам? Нет уж! Кто жил близко — сбегали помыться да перехватить чего-нибудь, кто далеко — в клубе кое-как отдраили руки и еще долго куролесили, пели, даже плясали, усталости как не бывало. Кто такого не испытал, потерял многое.

К лету началась прокладка первого мурманского водопровода — до тех пор воду развозили по домам и баракам: бочку на колесах тянула неторопливая коняга, а хозяйки заранее выбегали с ведрами и караулили, чтоб не пропустить водовоза.

Копали траншеи всем городом, субботниками и

воскресниками. Комсомол взял целый участок — от Нахаловки и примерно через тот район, где теперь городской плавательный бассейн. Субботник — это так называлось, а работали мы каждый вечер недели три подряд. С ночной темнотой уже распрощались до осени, незакатное солнце светило сутки напролет — «знает, что нам без света нельзя!». Но север есть север, в срезах земли поблескивал лед, на дне траншеи хлюпала ледяная вода, а однажды июньским вечером повалил снег — и продержался до утра, все вокруг было белым-бело, только в траншее сразу образовалось месиво грязи.

Поначалу копать было нетрудно, и мы довольно быстро проложили из конца в конец своего участка всю «нитку». Но траншею приходилось делать глубокой, чтоб не заморозило трубы, и чем глубже мы вгрызались в каменистую землю, тем тяжелей и грубей становилась работа: долби ломом, налегай на лопату, чтоб вогнать ее в тугой грунт, подцепи, сколько силы хватит подкинуть, и кидай на отвал, а отвал уже выше твоей головы, мокрые комья и камешки то и дело скатываются назад — знай уворачивайся! Ты уже вся забрызгана и, наверно, выглядишь так же, как твои соседи справа и слева — лица в темных веснушках. От сильных движений жарко, но ботинки промокли насквозь, ноги коченеют. «Подходящих сапог нет!» — мы перешучиваемся и хохочем, не желая сдаваться. Когда парни предлагают мне и Ане уйти, «не для девушек такая работа», мы оскорбляемся, мы такие же комсомольцы, можете уходить сами, если выдохлись! Мурманску нужен водопровод? Да, конечно, оттого мы его и прокладываем. Но разве дело только в водопроводе?! Каждый взмах лопаты — ну прямо-таки удар по мировой буржуазии, по всей контрреволюционной нечисти!.. Так мы чувствуем. И кто же может нас отстранить?! А лопата, как назло, все тяжелей, еле-еле подкидываешь…

И вдруг возникает песня. Она возникает где-то далеко и бежит вдоль траншеи как огонь по запальному шнуру. Запальный огонь песни доходит до тебя, ты его подхватываешь и перекидываешь дальше, то ли поешь, то ли азартно выкрикиваешь слова — и вроде легче стало, вроде и ноги уже отошли, и грунт мягче, и силы еще — о-го-го! А мимо траншеи проходят люди, они не видят нас, но слышат песню.

— Комсомол строит!

Кто-то невидимый кричит нам сверху:

— Молодцы, ребята, молодцы!

Похвала приятна, однако все, кто не трудится вместе с нами, кажутся нам бездельниками, и мы вызывающе кричим в ответ:

— Прыгайте сюда, лопату дадим, тоже молодцом будете!

Мы еще не знаем горделивого счастья, счастья взахлеб, которое придет к нам поздней осенью, когда из кранов водоразборных колонок впервые хлынет вода, с шипением выталкивая из труб воздушные пузыри, вода поначалу рыжая, мутная, а потом прозрачная, холодная, голубоватая от горней чистоты, и мы будем пробовать ее из ладоней — до чего вкусна! — и брызгаться ею (так же, как нефтяники брызгаются нефтью из новой скважины), и плясать вокруг колонок танец диких — вода! Н а ш а вода! Это еще впереди, но и в сырых траншеях, мокрым и усталым, нам все равно хорошо, мы хохочем даже над тем, что отлетела подметка на единственных ботинках. Подумаешь, что такое подметка в масштабах мировой революции!..

Мы уходим из траншеи вразвалочку, в рыжих веснушках, мы шагаем по улицам хозяевами жизни, ее г л а в н ы м и героями (так в тридцатые годы ходили по Москве первые метростроевцы и метростроевки). Мы поем осипшими на холоде голосами. Теперь мы — это действительно м ы, коллектив, одно целое. Кто этого не испытал — жалею беднягу, жалею и чуть-чуть презираю, потому что все же сам человек делает свою жизнь и во все времена есть люди б е з п о д х о д я щ и х с а п о г!..

А нам то ли в награду за старание, то ли просто так — отвалили целый штабель отличных досок, и мы сколотили из них в клубном зале крепкий помост — сцену. Затем кто-то спроворил скамьи и табуреты, мы их несли на головах ножками вниз — так удобней; получилась диковинная процессия, прохожие останавливались и, стараясь разглядеть наши лица, спрашивали, куда столько и зачем, а мы торжествующе выкрикивали из-под своей драгоценной ноши:

— Для комсомольского клуба!

Клуб? Это было средоточие нашей жизни, а не только клуб.

ПЕРВЫЙ ВЗРОСЛЫЙ ДРУГ

Причудливая она труженица — память! Обходит целые месяцы, а порой и годы, начисто выпускает сотни людей и происшествий, но цепко держит все, что поразило ум и потрясло душу, будь то важнейшее событие, перевернувшее жизнь, или ветреное море, расцвеченное закатом и вдруг увиденное во всей его пронзительной красоте, или несколько строк из книги, давно прочитанной и в остальном забытой… Она необъективна, память, потому что закрепляет не точный факт, а впечатление от него, личное восприятие. И она милосердна — заметает песком то, что немыслимо нести в себе всю жизнь.

Детские и отроческие годы помнятся свежо и подробно. С годами количество впитываемых впечатлений и воздействий (или, как теперь говорят, информации) так расширяется, что память все энергичней просеивает эту напирающую массу, сохраняя лишь самое яркое. Но и сохраняя, память своевольничает, перетасовывая даты и подробности, сближая или растягивая события сообразно внутренней сути и логике жизни, ей чужда календарная бесстрастность.

Когда своевольница возвращает меня в мой первый комсомольский, 1920 год, предопределивший всю дальнейшую жизнь вплоть до нынешних дней, мне кажется, что Коля Ларионов был г л а в н ы м в том году почти с самого начала. Коля Ларионов, недавний партизан, солдат и разведчик, успевший поработать в Подпорожском волостном Совете народных комиссаров, и отсидеть около года в страшной англо-белогвардейской тюрьме на острове Мудьюг в Белом море, и поработать в тылу врага, и как следует повоевать в архангельских лесах и болотах… Когда он был народным комиссаром волости, ему было восемнадцать лет, когда он вместе с частями Красной Армии прибыл в Мурманск и работал в военной разведке Мурманского укрепрайона, ему только что стукнул двадцать один год. Как часто бывало в то время, Коля сперва вступил в партию, а уж затем, в Мурманске, в комсомол и очень скоро был нами избран руководителем уездкома РКСМ. Опубликованные теперь

документы уточняют, что случилось это в ноябре 1920 года, а перед тем Коля Ларионов лишь ненадолго приезжал в Мурманск из своей дивизии и, видимо, выступал у нас на уездной комсомольской конференции, его речь я запомнила отчетливо — она была неожиданной и заставляла задуматься.

О том, что в ту пору он был так молод, я тоже узнала недавно, по документам. Для меня, да и для всех нас он был в з р о с л ы й. Опытный. Больше всех знающий и понимающий. Представитель революционной России, от которой мы были оторваны больше полутора лет. Он как-то сразу врос в нашу шумливую среду и стал ее центром.

Высокая худощавая фигура в длинной шинели, озабоченные и улыбчивые светлые глаза, желтоватая щетинка на впалых щеках, негромкий рассудительный голос, неторопливая повадка… Был ли он действительно высок ростом? Может, и нет, но таким он запомнился, ведь я-то была четырнадцатилетней девчонкой!

Опродкомбриг подсчитал все трофеи и прекратил существование, что было для меня очень кстати, — на конференции меня выбрали членом уездного комитета комсомола и сразу же предложили работать там секретарем — техническим, конечно, оформлять прием новых комсомольцев, собирать взносы и вести протоколы. Кроме того, меня сделали «зав. отделом печати» — как хорошо грамотную, к тому же умеющую писать заметки и подписи под карикатурами. Вся наша «печать» — небольшая стенгазета, но мы решили выпускать и рукописный журнал.

Так вот, с приходом Коли Ларионова все наши начинания приобрели новый смысл и энергию. По малолетству мы чувствовали себя этакими страшно сознательными передовиками. Коля Ларионов это понял и ничуть не осудил, но в первой же своей речи напомнил, что, кроме нас, в Мурманске много молодежи, никак нами не охваченной, а кроме того, существует уезд, большой, разбросанный, с оленьими стадами и рыбными промыслами, с железнодорожными станциями и разъездами, с почтами, сельсоветами, школами и фельдшерскими пунктами, — и везде есть молодежь.

— Для них праздник, если из Мурманска приедет комсомолец или придет письмо, а тем более посылка.

Сколько сил мы потратили, доставая литературу и все, что нужно молодежи уезда! Больше всего у нас просили грим и парики, везде возникали драмкружки, а что могут сыграть подростки без грима и париков? Был спрос и на музыкальные инструменты, струнные и духовые, мы их тоже понемногу добывали. Как ни странно, меньше всего заботились о пьесах — в

то время, не мудрствуя лукаво, их писали сами, худо ли, хорошо ли, но революционно и о том, что волновало, чем жили.

Труднее было с журналом: я не находила авторов, а раз взялась — журнал должен выйти. Отпечатав на машинке на узких полосах бумаги основной материал, я попросила Колю Ларионова написать передовицу.

— Ну-ка покажи, что у тебя есть.

Робея, я раскинула перед ним еще не расклеенные на листах тетради бумажные полоски и сделанные нашими «художниками» рисунки. Коля уткнулся в заметки о всяких комсомольских делах, усмехнулся:

— Небось сама настрочила?

— Так ведь не пишут! Прошу, прошу…

Теперь он читал «поэму», где в смертельной схватке сцепились две аллегорические фигуры — толстый буржуй и богатырь-кузнец.

— Твоя?

— Моя, — покраснев, призналась я.

Дошла очередь до рассказа, уже не помню о чем.

— И это — ты?

Я только вздохнула.

— Здорово ты подняла активность масс, — улыбаясь глазами, сказал Коля, — а псевдонимов-то наизобретала, хоть литературный кружок создавай.

Передовицу Коля все же написал, даже помог хорошо расположить, «сверстать» материал. Но я уже сама поняла, что так делать журнал не годится, и передовица была все о том же — надо влиять на всю молодежь, мы не должны замыкаться в своей комсомольской среде. Были там слова — дословно, конечно, не помню, но смысл был тот, что у м е т ь привлекать к себе молодежь должен каждый, кто носит почетное звание комсомольца.

Как редактор и «типограф», я выделила эти слова заглавным шрифтом, мне они очень понравились. И не вызвали никаких тревог. А испытание близилось…

Коля Ларионов затеял провести в разных пунктах города массовые собрания молодежи, чтобы привлечь новых членов. На заседании уездкома мы долго обсуждали, как это сделать получше, решили все собрания провести в один «общегородской день молодежи» и широко оповестить о нем через комсомольцев, а также развесить повсюду красочные объявления. Потом намечали пункты собраний: порт, депо, база, Нахаловка… Я старательно записывала наши решения в протокол, когда Коля сказал своим напористым голосом:

— Доклады должны делать все члены уездкома, на то их и выбирали. Давайте решать, кто куда пойдет.

Еще через минуту я услыхала:

— А на железную дорогу пойдет Верушка.

— Правильно, — сказал Костя Евсеев, — она у нас еще не выступала.

«У нас еще не выступала»! Я никогда и нигде еще не выступала. От одной мысли о том, чтобы выйти на трибуну, меня бросало в дрожь. А Костя Евсеев посмеивался, ему шел уже двадцать четвертый год, он был железнодорожным комиссаром, этот черноглазый, веселый и очень симпатичный парень с хорошо подвешенным языком. В своем кругу и у меня язычок был дай бог! Мы с Костей любили поупражняться в острословии, поддевая друг друга. Но сейчас мне было не до шуток.

— Я не могу! Не умею! Я провалю собрание!

— Не провалишь, — беспощадным голосом сказал Ларионов, — какой же ты комсомольский активист, если боишься с молодежью говорить? А еще на фронт просилась, вояка!

Был такой случай весною того же 1920 года: шла комсомольская мобилизация против белополяков, все записывались добровольцами, даже Кирик Мастинин, я тоже записалась, но меня вычеркнули да еще и высмеяли: девчонка! Я вспылила: «Если я комсомолка, то имею право умереть за революцию не меньше, чем другие!» И получила в ответ: «Чудачка! Зачем же умирать? Надо уметь победить».

И тут опять хочется сказать о прихотях памяти. Я была уверена, что это сказал Коля Ларионов, и словечко его — у м е т ь. Но теперь я знаю, что в апреле Коли еще не было в Мурманске, значит, ответил мне кто-то другой, может, тот же Костя Евсеев (перед началом записи он рассказывал нам о панской Польше и наступлении белополяков) или Кузьма Глазов, который выступил первым: «Запишемся все как один!» Все лучшее, что я жадно впитывала в тот год, слилось для меня в личности Ларионова — первого большевика, с которым я общалась повседневно, первого взрослого друга. Друга? Это я потом поняла, каким настоящим другом он был, а на том заседании уездкома он казался мне жестоким, безжалостным, он даже мое искреннее стремление пойти вместе со всеми на фронт (и откуда узнал?) истолковал против меня же:

— Умирать не боялась? Так наберись храбрости и сделай доклад.

— Даже если ты плохой оратор, стрелять в тебя не будут, — добавил Костя Евсеев.

Не помню уж, сколько дней тянулось ожидание, но все дни до

собрания жизнь во мне еле теплилась: ни есть, ни спать, пересыхает горло, то и дело возникает отвратительная дрожь в коленках. Вероятно, Коля заметил мое состояние, но не пожалел, не выручил, только давал советы, о чем рассказать молодежи, как составлять заметки для памяти. Надо ли говорить, что тогда никому в голову не пришло бы читать доклад по бумажке!

И вот он настал, день страшного испытания.

Одна, подавляя желание убежать и спрятаться куда-нибудь, пошла я к железнодорожной станции. Еще издали, с горки, увидела: со всех сторон идет к рабочему клубу молодежь — и какая! Взрослые ребята в промасленной или черной от угля рабочей одежде, все — громкоголосые, озорные! Станут ли они слушать меня, девчонку с косичками?! И смогу ли я произнести перед ними хоть одно слово?!

Кости Евсеева не было, он делал доклад в другом месте. Комсомольцы из депо встретили меня как надо, без насмешек, провели прямо на сцену. Глянула я оттуда в зал, заполненный молодежью, — ну хоть плачь, хоть умирай, не смогу я выйти на трибуну!..

И тут появились Костя Евсеев и Коля Ларионов. Коля только поглядел, много ли собралось молодежи, пожелал мне успеха и ушел на другое собрание. Костя Евсеев пошутил по поводу моего «бледного вида», а затем дружески сказал, что сделает вступительное слово сам, чтоб я успела собраться с духом.

Говорил Костя просто и весело, я слушала и разумела — вот как надо. Рассказав о задачах комсомола, Костя объявил:

— А теперь Вера Кетлинская расскажет вам, как мы создали свой клуб и что мы там делаем. Вы не смотрите, что Вера маленькая, она у нас большая активистка.

Ребята заулыбались, а я осмелела, без страха вышла на трибуну и начала рассказывать. Даже разговорилась, отвечала на вопросы, отшучивалась, поймав озорную реплику. Позднее я узнала, что Ларионов и Костя придумали все это заранее — как говорится, с воспитательной целью. Но это я узнала позднее, а события того вечера еще не кончились.

После собрания Костя предложил зайти к нему выпить кофе. Настоящий кофе был тогда редкостью, а Костя уверял, что варит его каким-то особым способом (как известно, в свой особый способ верят все любители кофе). Впрочем, черного кофе я ни разу не пробовала, да и при чем тут кофе! Меня распирало счастье — все позади и все прошло хорошо! И я была зверски голодна — от страха со вчерашнего дня не ела.

— Понятно, — сказал Костя, — есть хлеб и шпик.

Мы зашли в маленькую холостяцкую комнату Кости в одном

из бараков возле станции, Костя сделал мне толстенный бутерброд и приступил к кофейному священнодействию, я вонзила зубы в неподатливый шпик… и в это время вошел Коля Ларионов.

— А ты зачем здесь? — отнюдь не ласково спросил он меня.

Костя залепетал насчет кофе, Коля мрачно уселся и заявил, что тоже выпьет кофе, а потом отведет меня домой. Подробности собрания его не интересовали, он подозрительно поглядывал то на Костю, то на меня, и очень скоро поднялся:

— Давай пошли, уже поздно.

Мы вышли на пустынную дорогу между железнодорожной станцией и так называемой Базой — тогдашним центром Мурманска. Огромный пустырь таинственно мерцал, залитый светом полной луны. Ларионов был необычно хмур, шагал крупными шагами, я семенила рядом, невольно притихнув. Как только мы миновали последние дома, Коля сказал своим беспощадным тоном:

— Так вот, чтоб этого больше не было. Ходить к ребятам не смей!

Я оскорбилась:

— Костя мой товарищ! Комсомолец!

— И прекрасно. А ходить не смей! Ишь ты, нашел приманку — кофе.

Чуть не плача, я довольно решительно высказалась по поводу мещанства, самодурства и буржуазных предрассудков.

— Спасибо, — смеясь, поблагодарил Ларионов, — пусть я мещанин, самодур и буржуй, а вот говорю тебе — не ходи! В некоторых вопросах и очень сознательные парни бывают подлецами.

От негодования я взбежала на свое крыльцо, не простившись с Колей. Но заходить к парням больше не смела, да и Костя не приглашал и шутил со мною сдержанней, косясь на Ларионова, — видно, ему попало.

Признаюсь, меня не только рассердила, но и тайно взволновала эта история — значит, я и в самом деле уже взрослая, не девчонка, а девушка? Я как-то вдруг осознала суть одного случая, которую раньше не уловила: летом нужно было что-то срочно передать Глазову, под рукой никого не оказалось, и мы с Аней побежали в порт — забыла, на каком корабле Глазов служил, то ли на посыльном судне, то ли на тральщике, но его корабль стоял у стенки. По пирсу болтались несколько девиц, на мой взгляд, очень странного вида — юбчонки «до аппендицита», физиономии размалеваны, походка вертлявая. Они громко окликали матросов, болтавшихся на палубе, те зубоскалили с

ними или отругивались. Мы подошли к трапу и попросили вызвать Глазова. Глазов почему-то побагровел от смущения, куда-то побежал (за разрешением, наверно), потом торжественно провел нас на корабль и с изысканной вежливостью, обращаясь к нам на «вы», пригласил в кубрик, позвав с собою двух товарищей; они угощали нас чаем с галетами — и все держались церемонно, как английские лорды. Через полчаса тот же не похожий на себя обычного Глазов проводил нас за пределы порта.

Вряд ли я задумывалась тогда, что такое дружба и товарищество, диспуты на эту тему еще не вошли в моду, но среди будоражащей новизны того года открылась мне и прелесть впервые познанной дружбы и бескорыстного товарищества. Каждое утро я спешила в уездком, как на праздник, и уходила из нашего комсомольского дома поздно вечером, когда дом закрывался. Вокруг были друзья, я наслаждалась и гордилась этим, хотя проявления дружбы облекались порой в грубоватую форму: «Ну-ка отдай лом, неумеха, разве так долбят!» Возьмет парень лом, заметив, что мне тяжело, раздолбит закаменевший грунт, подтолкнет к лопате: «Давай выгребай!» — а сам долбит дальше. Или увидят ребята, что я, вся в краске и в клею, одна заканчиваю стенгазету, позовут умельцев: «А ну, бездельники, за дело!» — и уже толпятся помощники, клеят, рисуют, а я иду отмываться.

Конечно, я бы ни за что не призналась, что боюсь вечером идти одна через пустырь — разве может комсомолка бояться?! А я боялась — стыдилась этого, презирала себя за трусость, но стоило мне выйти в темноту, начинали мерещиться и движущиеся тени, и шорохи, сердце замирало, а потом начинало колотиться так громко, что стук его я принимала за чьи-то шаги… и пугалась еще больше. Но возвращаться одной мне пришлось всего раза два или три, да и то вначале, пока мы плохо знали друг друга. При демонстративном подчеркивании нашего равенства и гневном отрицании «мещанского» ухаживания, никто не предлагал «проводить домой», да я бы и не согласилась: что я, маленькая, беспомощная?! Нет, об этом и речи не было, но ребята все же оберегали меня, и каждый вечер будто невзначай кто-либо подходил к выходу одновременно со мною: «Ты на Базу? Пошли вместе!» — или: «Мне надо забежать на «Ксению», нам по пути!» А то еще и так: «Ну и темень! Ты что-нибудь видишь? Потопали, если видишь» — и споткнется нарочно, показывая, что моя помощь необходима, скажет: «Дай пять!» — и получается, что это я веду его за руку. Только за руку, по-товарищески, «под ручку» — мещанство и пережиток!

Мы многое отметали как пережитки, теперь это кажется

наивным, но может ли революция обойтись без крайностей и преувеличений?.. «Мы наш, мы новый мир построим!» — значит, все прошлое — на слом, во всяком случае — под сомнение, и да здравствует н о в ы й б ы т! А каким он должен быть? Спорили об этом страстно, но для всех было несомненно, что отныне должно быть равенство, равенство во всем, и в любви тоже, поэтому мы отрицали ухаживания, свадьбы, любую «регистрацию чувств» как нечто унизительное. Приехавшая из Москвы Наташа Груецкая, пропагандист, девушка начитанная и «совсем взрослая» (ей было, вероятно, около двадцати пяти лет), — Наташа подвела под наше отрицание теоретическую базу, читала нам Маркса, и Энгельса, и Бебеля. На место буржуазного брака как формы купли-продажи и закабаления женщины мы ставили свободную любовь равноправных борцов, признавая только общность интересов и влечение полов…

Мы говорили об этом громко и вызывающе, я тоже, хотя имела о влечении полов весьма смутное, чисто книжное представление. Вероятно, со стороны могло показаться, что мы пользуемся этой свободой вовсю, ничем не сдерживаемые. Но, честное слово, я не знаю отношений более чистых и товарищеских, чем наши. А уж ко мне, девчонке веселой и доверчивой, никем и ничем не защищенной, отношение ребят было на редкость бережным. Попробуй кто-либо воспользоваться моей доверчивостью, уверена — не один кулак поднялся бы на мою защиту. А ведь организация наша росла, приходили новые ребята из воинских частей, с кораблей, с железной дороги, после того, как Аня Поспелова уехала домой, я часто бывала единственной девчонкой в шумной компании парней, ежевечерне заполнявшей клуб.

Зимой у нас появился рослый, краснощекий шестнадцатилетний юноша Коля Филимонов. Был он родом из Шенкурска, и его сразу, дружно, прозвали Шенкуренком. Кончив в Архангельске курсы, он приехал в Мурманск ни больше ни меньше — заведующим отделом народного образования! Задачи у него были в основном «организационные» — «выбивать» помещения и открывать школы для детей, а главное — организовать широкую сеть кружков ликбеза для взрослых, так как неграмотность и малограмотность были тогда вопиющие. Энергии у Шенкуренка хватало, он и комсомольцев, кто пограмотней, втянул в дело ликбеза. А комсомольцы, ликвидируя неграмотность, быстро заметили, что завгороно влюбился и надо не надо торчит возле техсекретаря комсомола. И Ларионов заметил, но не мешал этому детскому роману, Шенкуренок был очень славным и серьезным пареньком, искренним и

застенчивым. Все, что он хотел мне сказать, он высказывал в письмах, и не меньше как в двух ежедневно: одно заносил мне утром по дороге на работу, другое писал на работе и, придя вечером в клуб, старался незаметно засунуть конверт в мой карман. Нам казалось, что никто этого не видит, но однажды утром, когда я, переписывая протокол, скосила глаза в открытый ящик стола, где лежало очередное недочитанное письмо Шенкуренка, Коля Ларионов вдруг сказал:

— Ладно уж, сперва дочитай. Может, там важные новости, ведь с вечера не виделись!

Несколько лет спустя, когда Коля Ларионов работал секретарем Новгородского губкома комсомола, он разыскал меня в Ленинграде и в разговоре, вспомнив Шенкуренка, упрекнул: «Что ж ты, уехав, не писала ему? Он ведь ждал, переживал…» Но все же, я уверена, в Мурманске Ларионов немного тревожился и чувствовал себя ответственным за девочку, которая целыми днями крутится среди такого количества ребят. И вероятно, предпочитал, чтоб эта девочка жила не одна, хотя бы и в «стародевичьем питомнике», а под присмотром мамы.

Коля Ларионов был единственным человеком, кто не стеснялся говорить без обиняков: «Уже поздно, пойдем, провожу». И вот однажды вечером, провожая меня, он вдруг спросил, когда и почему мы переехали из штабного дома в такой неказистый барак. Я рассказала, как нас выселяли «в 24 часа» и как мы утепляли свою часть барака. Коля задал еще несколько вопросов, чувствовалось, что он уже кое-что знает об этом и только уточняет, как все было. Я рассказывала охотно и во всех подробностях — происшедшее было живо в памяти.

— Так, так, — сказал Коля, — ну, беги к своим девам.

В другой раз Коля спросил, откуда у нас взялась библиотека. Я рассказала, как еще папа хлопотал об открытии библиотеки и выписал книги, как потом мама достала еще книг и открыла эту маленькую, первую в Мурманске библиотеку и как мы с сестрой дежурили там, пока мама ходила давать уроки.

— Так, так. — И Коля переменил тему.

Через некоторое время он сказал мне:

— Ну вот что, Веруша. Мы проверили. Твою маму арестовали по глупейшему доносу. Скоро ее освободят.

Теперь я знаю, как я обязана большевистской вдумчивости двух Ларионовых — Коли Ларионова и Ларионова-старшего, Александра Михайловича, двух однофамильцев, двух однополчан, двух разведчиков. Ларионов-старший, начальник разведки Мурманского укрепрайона, тогда же, в 1920 году, по найденным документам и по свидетельствам живых участников событий

пристально изучил, что происходило на Мурмане во время революции и в период интервенции, изучил он и все, что относилось к Кетлинскому, настолько тщательно, что впоследствии написал большую историческую справку о нем, использовав многочисленные подлинные документы и свидетельства. Как я понимаю, обоих Ларионовых (Александр Михайлович в том же году стал руководителем уездкома партии) не совсем обычная фигура контр-адмирала заинтересовала еще и потому, что его вдову недавно арестовали, а его дочка была активной комсомолкой: что все это значит и с кем мы имеем дело?.. Двум работникам разведки, двум большевикам-руководителям было не так уж трудно разобраться. А разобравшись — сделать то, что следует.

— Скоро ее освободят, — сказал Коля, — а пока съезди навестить ее. Не пугайся, что в тюрьму, она работает и выходит свободно. Я уже договорился, железнодорожники возьмут тебя на питерский поезд и высадят в Петрозаводске, а на обратном пути захватят обратно.

Никогда не забуду эту поездку!

Железнодорожники устроили меня с предельным для того времени комфортом — не в теплушку, а в пассажирский вагон, удержали для меня нижнюю полку и поручили меня заботам старичка, устроенного напротив. Со старичком мы по очереди караулили свои полки и по очереди бегали на станциях за кипятком, причем я всегда первою хваталась за чайник, так как удерживать нижние полки было намного трудней. Вагон был «4-го класса», то есть трехъярусный, и забит он был до отказа. Полагалось ли так в «4-м классе», или вагон был переоборудован по тогдашним потребностям, но и на вторых, и на самых верхних полках были еще откидные половинки, с грохотом соединявшиеся железными крюками; на каждом «этаже» лежали по четыре, а то и по пять человек. Во всех проходах тоже сидели и лежали люди, так что и на день верхние полки не откидывались, там ели, спали, разговаривали, иной раз люто ссорились. Случалось, оттуда капал в щели неосторожно пролитый кипяток, а где ехали детишки — и кое-что похуже. Ночью в двух концах вагона в тусклых фонарях горели свечные огарки, еле освещая проход с распростертыми или скорчившимися на корзинах людьми и торчащие с полок ноги в разношенных сапогах… Храп, бормотанье, детский плач, материнское шиканье или напевки, ругань сквозь сон — и тяжелый запах пота, овчины, мокрой кожи и бог весть чего еще… Страшно мне было ночью — вертишься, вертишься, не заснуть… А днем было удивительно интересно: столько разных судеб, столько жизненных историй — только

слушай! Ехали рабочие «с Мурманки» (со строительства железной дороги), моряки и демобилизованные солдаты, один из них — помешанный после контузии, ехали ходатаи из деревень и стойбищ, всякий командированный народ, ехали целые семьи с ребятней, самоварами и хозяйственным скарбом — возвращались домой, «в Россию». Тут же вертелись воришки (одного поймали и после длительных криков сдали на ближайшей станции), сюда же вламывались пассажиры, едущие на короткое расстояние, — их встречали как врагов, яростно пытались выпихнуть, а через полчаса все утрясалось и начинался разговор мирный, приятельский — куда да зачем?.. Грубости кругом было много, запросто сыпались слова, от которых я содрогалась, но чем дольше я ехала среди этих людей, тем меньше боялась их грубости, тем больше примечала доброты и сердечной отзывчивости. Тяжело в этакой тесноте с ребятишками, а тут еще помешанный мотается взад-вперед и бормочет чепуху, — но всегда кто-нибудь находился — поможет, последит. А уж делились и кипятком, и сахарином, и сухарь ломали пополам, хотя время было голодное.

Вечером перед самым Петрозаводском за мною пришел один из железнодорожников, записал на бумажке, в какой день и час выйти к поезду и кого спрашивать…

И вот я одна на быстро пустеющем перроне. Расспрашиваю, как добраться до центра (тюрьму называть неловко), говорят, город от станции далеко. Куда я пойду в потемках? Решаю пересидеть до утра на вокзале. Какая-то добрая женщина сама подошла, спросила, почему я сижу, кого жду, ей я все рассказала как есть, она без спросу взяла мою котомку:

— Иди за мной, переночуешь.

В деревянном домике, каких в то время было полно не только в пристанционном поселке, но и в центре Петрозаводска, эта добрая женщина опять же без спросу налила мне в таз теплой воды, дала мыло и полотенце:

— Мойся получше!

Потом пошарила у меня в волосах, взяла частый гребень, постелила бумагу:

— Наклони голову, вычешу, теперь в поездах без вшей не проедешь…

Потом поставила на стол миску с какой-то застывшей серой массой малопривлекательного вида, отрезала и вывалила на тарелку большой кусок, полила молоком:

— Ешь!

Оказалось — овсяный кисель. Сы-ыт-но!..

— Питерский на рассвете приходит, — сказала она утром. —

Накануне с вечера придешь прямо ко мне, слышишь? Переспишь, разбужу когда надо, а то он опаздывает частенько, чего зря вскакивать.

Тюрьма была точно такой, какой я ее представляла себе по «Воскресению» Толстого: безрадостные ряды окон в решетках, тяжелые глухие ворота. Когда я несмело подошла к проходной калитке, к ней как раз приближалась группа людей, сердитый старик охранник яростно закричал на меня:

— Чего встала?! Давай назад!

Я отпрянула и увидела, что люди эти вооружены, а между ними — молодой парень, руки за спиной, вид отнюдь не преступный, пожалуй, даже веселый. Мы с ним встретились глазами, и он игриво подмигнул мне.

— Нагляделась на душегуба? — уже беззлобно спросил старик, когда парня провели в тюрьму. — Куда тебе надобно?

Канцелярия тюрьмы была рядом с проходной. Я робко вошла. Несколько человек стояли у окна, глядя, как по двору ведут того парня, и среди них спиной ко мне стояла женщина в мамином легком синем шарфе на голове. Женщина обернулась и вскрикнула: «Верушка!» — и я оказалась в маминых судорожно сжимающих меня руках, и прильнула к ней, и заплакала, и вдруг поняла, как мне было трудно без нее, без ее рук, и губ, и голоса…

Подошел пожилой дядя — начальник тюрьмы, мама меня представила ему, и он тут же сказал:

— Если ей негде, пусть у вас ночует, разрешаю.

Один из тех вооруженных, что привели подмигнувшего мне парня, зашел подписать какую-то бумагу, начальник расспрашивал его, как прошло утреннее заседание, мама с интересом прислушивалась, еще обнимая меня за плечи, но как бы забыв обо мне.

— Очень интересный суд, — виновато объяснила она, когда все было рассказано, — такое ужасное преступление!..

Я сказала, что столкнулась у входа с преступником, что он совсем молодой и даже подмигнул мне, мама охнула и шепнула, расширив свои и без того большие глаза:

— Двух человек зарезал. С целью ограбления.

И тут же начала рассказывать подробности. Работая в канцелярии тюрьмы, мама многое слышала, даже читала наиболее интересные дела и со свойственной ей эмоциональностью уже вся вошла в новый для нее мир горя и преступлений. И как прежде, будто я была ее подружкой, спешила рассказать мне то, что поразило ее воображение.

На обеденный перерыв мама повела меня «к себе». Мы шли по длинному тюремному двору, ветер подхватил концы ее синего

шарфа и заиграл ими за ее спиной.

— Осторожно взгляни на окна, — не поворачивая головы, сказала мама, — они знают мои часы и всегда смотрят.

Во всех окнах белели между прутьев решеток лица. А мама шла легкой походкой, подтянутая и оживленная — женщина, всегда остающаяся женщиной. Я это впервые так ясно почувствовала, мне стало стыдно и больно, я заторопилась, заговорила о чем попало, лишь бы она забыла про те лица в окнах, лишь бы снова была мамой, просто мамой…

В конце двора стоял отдельный домик — женская тюрьма. Надзирательница сидела у двери с вязаньем. В первую комнату — то ли переднюю, то ли короткий коридор — выходило три двери с решетками, слева за решеткой была видна маленькая комната, где никого не было, а за другими решетками сразу появились любопытные лица, справа их было много, голова к голове, оттуда сразу понеслись вопросы: кто это? ваша дочка? вот счастье-то вам! а в суде что, не слыхали? За решеткой против входа, держась руками за прутья, молча стояла рыхлая женщина с очень странным лицом — стояла и смотрела на меня.

Мама похвасталась приездом дочки и, стоя в центре коридорчика, рассказала все, что узнала о суде над убийцей. Надзирательница тоже слушала и ахала. Было во всем этом что-то домашнее, почти семейное.

Затем мама ввела меня в комнату слева.

— Видишь, как хорошо, койки две, а я тут одна. Тебе будет удобно.

— За что те женщины? — шепотом спросила я.

— Уголовные, — просто сказала мама, — за воровство, одна за убийство из ревности, две за спекуляцию.

— А та, напротив?

— Она одна, потому что у нее сифилис, — вздрагивая от гадливости, еле слышно ответила мама, — видела, у нее нос провалился? Она… ну, ты, наверно, знаешь… проститутка.

Я провела у мамы дня четыре, но в камере оставаться одна боялась — из-за той, безносой, она все пыталась заговорить со мной, звала: «Девочка! Девочка!» Пока мама работала, я выходила посмотреть город или сидела рядом с нею в канцелярии. Однажды отнесла заявление от мамы в музыкальную школу: школа в Петрозаводске была отличная, руководил ею крупный музыкант, впоследствии знаменитый композитор Шапорин, он уже ждал маму и готовил для нее класс рояля. Много лет спустя, в Москве, Арам Хачатурян познакомил меня с Шапориным. Юрий Александрович сразу спросил: «Как здравствует ваша матушка?» — и, узнав, что она погибла в первый год блокады,

горестно склонил голову: «Мы с нею работали вместе в Петрозаводске. Ах, какая была талантливая и красивая женщина!»

Простилась со мною мама как-то легкомысленно, наспех, довела до ворот и пошла в канцелярию, хотя рабочий день давно кончился — в суде шло последнее заседание, все ждали, какой приговор вынесут убийце.

— Я тебе пришлю телеграмму, и ты сразу-сразу выезжай, — вот и все, что мне сказала на прощание мама.

Ей уже присмотрели недорогую комнату неподалеку от музыкальной школы, освобождение должно было прийти в самые ближайшие дни. Мама даже не подумала, что я самостоятельный человек со своей собственной жизнью, что я могу не приехать, что мне жаль, до слез жаль расставаться с Мурманском… Всю дорогу, на этот раз на верхней полке служебного купе, я думала, думала все о том же — как расстаться? Я обрела себя, я выбрала путь, мне хорошо и интересно в мурманском комсомоле, у меня там сотни друзей и… и Шенкуренок тоже. Наконец, меня выбрали в уездком, мне доверили… это же стыдно, из-за личных, семейных дел бросить свое главное дело, комсомольское!..

Не знаю, как бы я решила, если бы телеграмма от мамы пришла очень скоро, когда я еще жила под впечатлением встречи с нею и вновь обретенного тепла ее обнимающих рук — все-таки очень мне не хватало ее!.. Но в Мурманске я снова закрутилась в веселом водовороте комсомольской жизни, а мамино освобождение задержалось — в Кронштадте начался мятеж. Какие-то мутные волны взбаламутились в ответ на мятеж везде, где притаилась разная контра, в Мурманске тоже: особенно нагло и вызывающе держалась та часть матросов, анархиствующих и распущенных, которых называли «жоржиками» и «клешниками», а вместе с ними спекулянты и хулиганы, затаившиеся было в трущобах Нахаловки. Воспрянула и наша домашняя контра. Однажды вечером, придя домой, я через дверь услышала визгливый голос Лошади:

— И чего вы за нее заступаетесь? Она тоже крысомолка, да еще активная!

Люша начала на самой высокой ноте, но смолкла на полуслове — я распахнула дверь.

— Ком-со-мол-ка! Слышите! Ком-со-мол-ка! Прошу произносить правильно!

Я сама не ожидала, что у меня это выйдет так здорово. Лошадь что-то пробормотала и скрылась за шкафом. Ох, как мне противно стало жить рядом с нею в нашем тесном закутке, где — как ни старайся — все время сталкиваешься лицом к лицу! Я утешалась как могла: смотрю ей в лицо, дерзко смотрю, а она

прячет глаза и отворачивается. Через несколько дней, когда пришла весть о подавлении мятежа, Лошадь съехала с квартиры: среди дня прибежала, собрала вещички и исчезла, только смятые папильотки остались на оголенной койке.

— Уползла жаба! — сказала Люша.

Когда я рассказала об этом Коле Ларионову, он усмехнулся:

— Таких, Верушка, еще много ползает. А что жаба — точно. Зачем зря обижать лошадей?

Коле Ларионову я вообще все рассказывала — ну, за исключением того, что писал в своих длинных письмах Шенкуренок, об этом говорить было неловко, хотя иной раз хотелось… С Шенкуренком шла увлекательная игра, полная многозначительных недомолвок, сомнений, выяснений и милой ребячливой чепухи; при всей ее напряженности, я не принимала игру всерьез, видимо, детство не кончилось. А с Колей Ларионовым каждый разговор был всерьез, даже когда он шутил — за шуткой всегда была новая для меня мысль, или совет, или предупреждение; возможно, сам о том не думая, Коля день за днем поднимал меня на новые ступеньки сознания.

Конечно, я ему рассказала о поездке в переполненном вагоне и о людях, ехавших со мною вместе.

— Русский народ, — сказал Коля, — невоспитанный он пока, а добрей его нет.

Рассказала о встрече с мамой и обо всем новом, что увидела в тюрьме, об убийце, о безносой сифилитичке…

— Д-да, — вздохнул Коля и, помолчав, добавил: — Много у нас работы. Может, не на одну жизнь.

Несколько дней я думала, что он хотел этим сказать, а когда поняла, не поверила ему — жизнь казалась мне такой длинной, что все можно успеть.

Мамины слова «пришлю телеграмму, ты сразу-сразу приезжай» я пересказала с трепетом, но Коля воспринял их как должное:

— Само собой!

Значит, он не считает постыдным из-за личных, семейных дел оставить свое комсомольское дело, свою организацию? Как же так? Или он не считает меня взрослой, самостоятельной?..

Когда пришла мамина телеграмма, ликующая и бестолковая, без нового адреса, но с категорическим «выезжай немедленно», после чего следовало «крепко целую пишу», — я обрадовалась за маму, и растерялась, и на этот раз ничего не сказала Ларионову: нужно было решать, и решать самой.

Коля первый заговорил о мамином освобождении — видимо, он как-то следил за ходом дела. Мне бы поблагодарить его за это,

а я глупо встопорщилась, уклонилась от разговора. Я уже решила наедине со своей совестью: нельзя бросать, стыдно, по-детски, теперь-то и проверяется, комсомолка я или просто так.

До сих пор не уверена, что это решение было неверным.

К весне я заболела цингой.

— Ну вот что, самостоятельная, — сказал Коля Ларионов так, будто мы с ним подробно обсуждали мое решение и он знал все мои доводы, — мы тебя отправим в распоряжение Петрозаводского губкомола. Климат там получше, овощей побольше, возле мамы быстрей поправишься. А комсомольские активисты везде нужны. И не спорь, поедешь. Я уже договорился с губкомолом, тебя ждут.

Кто-то из морячков принес мне луку — от цинги, вечерами я медленно жевала его, стараясь не глотать едучий сок, а напитать им кровоточащие десны. Жевала и лила слезы, и сама себя убеждала — из-за лука.

До сих пор помню дощатый перрон тогдашнего мурманского вокзала и помню, как болело горло от усилий сдержать рыдания. Уже забылись лица и имена многих комсомольцев, провожавших меня, но — как будто не прошло пяти десятилетий — стоит перед глазами худощавая фигура Коли Ларионова, все в той же длинной потертой фронтовой шинели, с прощально поднятой рукой.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

И снова Мурманск. И такая же ранняя весна, как в тот день, когда я уезжала насовсем. И на вокзале — комсомольцы, только не провожают, а встречают, это комсомольцы иного, не похожего на наше, поколения, а я числюсь «ветераном» и приехала по их приглашению на пятидесятилетие мурманского комсомола. Полвека хранила свой первый комсомольский билет, теперь привезла его в подарок юбиляру. Пожелтела бумага, подвыцвели чернила, но то, что там записано, вызывает почтение: № 19, время вступления 21 марта 1920 года. Странное это ощущение, а для женщины и слегка обидное — зваться ветераном, да еще единственным из самого первого поколения! Остальные приехавшие на праздник — «ветераны» тридцатых, сороковых, пятидесятых годов…

Первый деревянный вокзальчик был под горкой, к нему добирались «пешедралом» через пустырь, а потом тропкой, оскользаясь на спуске. Сейчас большой каменный вокзал с подземными переходами вроде бы приблизился к центру (или центр к нему?), но никакой горки нет — куда она подевалась?.. Навстречу машине разворачиваются незнакомые улицы, бьет в глаза и в душу множество огней, мне говорят, что меня поместили не в «Арктике», а в гостинице «Северная», там «спокойней»… а в приспущенное мною окно веет беспокойный, знобкий Кольский ветер.

Как всегда, когда приезжаешь в родные места через много лет, тянет к сравнениям, ахам и охам. И правда, ничего не узнать,

разве что северное переменчивое небо да извилистую линию сопок того берега! На этом, на городском, обжитом берегу ни одной знакомой приметы. Даже гора Горелая… позвольте, куда же делась Горелая, царившая над Мурманском пятьдесят лет назад? Та самая Горелая, для которой мой отец настойчиво добивался радиомачты, чтобы установить радиосвязь с Петроградом?.. Не сразу я разобралась, что Горелая — вот она, на месте, даже похорошела, украшенная радиомачтами и кружевом антенн, но в одноэтажном городишке она была видна отовсюду, теперь же теряется за каменным многоэтажьем. А Варничная сопка, к подножию которой мы бегали за черникой и голубикой? Ее я обнаружила на пятый день, когда меня повезли выступать по телевидению, — телестудия забралась на вершину Варничной, у подножия какие-то склады и гаражи… И еще я искала нетерпеливым взглядом те сопки, откуда было так восхитительно спускаться на лыжах: миновав домики и бараки тогдашнего Мурманска, пройдешь заснеженным леском белых-белых, почти припадающих к земле березок, потом долго всползаешь — лыжи елочкой — вверх по склону, на самом гребне отдышишься, поглядишь на дальние мурманские дымки, на сопки того берега и серо-зеленую гладь незамерзающей Кольской губы, а потом напружинишься, подберешься, оттолкнешься и — по-о-шел! — слетаешь с верхнего склона, чуть переводишь дух на снежной террасе, и снова спуск, намного длинней первого, лыжи разгоняются, ветер свистит в уши… Ну, где те любимые сопки, я догадалась сама, увидав, как все выше и выше, террасами, поднялись новые городские районы, замкнув горизонт. Довелось мне и в гостях побывать в одном из домов на верхнем ярусе — ветрено там, но зато вид!..

Как всякий быстрорастущий город, Мурманск кокетлив и выделил наилучшую точку обзора. Автомобильная дорога делает на горушке крутую петлю — «восьмерку», и, если в машине новый для города человек, шофер обязательно затормозит в наилучшем месте, чтобы гость вышел на обочину и полюбовался широченной панорамой, ахнул и выдал все похвалы, какие хочется услышать городскому патриоту. Конечно, и меня туда привозили, и я ахнула, но не из-за открывшегося вида, а потому, что узнала эту горушку и ее крутой склон, у края которого мы стояли, — именно здесь, по этому головоломному спуску, мы летели вслед за Колей Истоминым!.. Мои спутники не понимали, почему я смотрю не туда, куда полагается, я оторвалась от воспоминаний, огляделась и совершенно искренне восхитилась. Но наибольшее, прямо потрясающее впечатление произвел на меня Мурманск не с «восьмерки», а однажды поздно ночью с противоположного берега

Кольской губы: возвращаясь из поездки в Печенгу — Никель по отличной, пустой в тот час дороге, мимо скал и ущелий, где были тяжкие бои с фашистами, мимо памятников погибшим защитникам Мурмана, мы вдруг вынырнули из этой пустынности к побережью залива, и перед глазами развернулось прямо-таки сказочное скопление огней, то полыхающих плотными массами, то вытягивающихся праздничными цепями — от Колы и до самого Североморска; на берегу ли, на многочисленных ли причалах или на кораблях, все огни двоились, отражаясь в черной воде. От сверкающей панорамы огромного, прекрасного и как будто совершенно незнакомого города-порта и впрямь захватывало дух.

«Как будто незнакомого»?.. Действительно незнакомого! Я же не нашла ни нашего комсомольского клуба, ни Морского клуба, ни пустыря, где они стояли, ни штабного дома, где мы жили первые месяцы, ни барака, куда нас выселили, ни горки наискосок, где стояло до пожара здание Совета, ни оврага, где катались на санках, ни запомнившегося берега залива с бревенчатым причалом, где однажды северным летом… Да, берега я тоже не увидела, до серо-зеленой глади воды не добраться взглядом даже с улицы имени Шмидта, протянувшейся над береговым откосом; железнодорожные пути, проходящие ниже этой улицы-набережной, не очень заметны, потому что над всей низовой частью побережья властвует его превосходительство рыбный порт со своими конторами, заводами, складами, мастерскими, причалами и теснящимися у причалов и на рейде различными РТ — большими и средними рыболовными траулерами. Прямо с улицы Шмидта в его обширные владения перекинуты над железной дорогой виадуки, по которым спешит туда-сюда рабочий и служащий народ, иной раз бросится в глаза лихой паренек в щегольской заморской куртке, словно вышедший прямо из романа Георгия Владимова, или пройдут группой парни как парни, одеты обычно, да вот походочка моряцкая, цепкая, чуть вразвалочку. Ночью над этой рыболовецкой империей сияет надпись: «Рыбный порт» — буквы таких размеров, что, пожалуй, уместно сказать «его величество»… Что ж, все правильно. Мурманск славен рыбным промыслом, богат своей рыбной индустрией, его ловецкие корабли и плавучие рыбозаводы можно встретить в очень далеких водах, от Арктики до Антарктики, и все они тоже Мурманск. Мурманск — на длительной, тяжелой работе.

Гостю города обязательно покажут рыбный порт и сведут в магазин «Дары моря», а потом в специализированный ресторан, где можно полакомиться всевозможными рыбными кушаньями. Гостя обязательно проведут по проспекту Ленина, обстроенному красивыми домами и приманивающему витринами магазинов,

гостя задержат на площади Пяти углов, откуда видны перспективы расходящихся улиц, ему покажут Дворец культуры и Дом книги, драматический театр, Дом междурейсового отдыха моряков, краеведческий музей, плавательный бассейн и стадион, педагогический институт и, само собой, морские училища — Среднее мореходное и Высшее инженерное…

Все это и многое другое с любовью, с гордостью показывали и мне.

Но гость ли я?

Разве я не домой приехала — если не к истоку жизни, то к истоку собственной биографии?..

Кое-как выкроив несколько часов, чтобы познакомиться с архивными документами полувековой давности, я заглянула в тощенькие папки комсомольского архива. Мало что сохранилось, тогда об истории не думали. В самом первом списке комсомольцев нашла себя и свой адрес: фанбарак № 3… Что значит «фан» — фанерный? Вероятно, сооружение было хлипкое… Читаю несколько уцелевших протоколов и заявлений. Постороннему может показаться, что комсомол работал слабо — на собраниях то и дело вопросы дисциплины, выговоры за нарушения. Но это от увлечения, от максимальной требовательности. Вот протокол собрания от 30 июня 1920 года (в разгар наших работ по прокладке водопровода) — «исключить Бронина (значит, исключили-таки красавца Гордея!)… как дезертира трудового фронта»… Ого, и Коле Истомину попало «как члену комитета и кандидату РКП(б) за халатное отношение к субботнику»… Да и мне попало тоже! «Малькову, Парфенову и Кетлинской за то, что ушли с субботника, не убрав инструментов и не сказав организатору субботника»… Смутно вспоминаю, что заторопились мы кончать стенгазету, но порядок есть порядок! Вот ведь Кузьма Глазов, когда был занят на корабельном субботнике, принес об этом справку — Кузьма был человек обязательный.

25 августа 1920 года на общем комсомольском собрании меня выбрали в комиссию по празднованию Международного юношеского дня 5 сентября — чуть брезжит в памяти только вечер в клубе, для которого я писала какую-то инсценировку. А вот и хорошо запомнившееся заседание, на котором Костя Евсеев просил освободить его от должности «зав. информ. орг. отдела уездгоркома» «ввиду массы работы по своим прямым служебным обязанностям». Очень мы огорчились тогда, да и Костя написал «к своему великому сожалению»… Он был железнодорожным комиссаром, а с железнодорожным начальством мы не раз конфликтовали — не хотело оно, начальство, считаться с

комсомольскими делами своих работников. Вероятно, оно было право, наладить работу дороги — одноколейной, с непомерным грузопотоком — было нелегко, но нам-то казалось, что нет ничего важней комсомольских дел, а без веселого, огневого Кости ни одна затея не обходилась.

Нашла и решение об откомандировании меня в распоряжение петрозаводского комсомола, и мое заявление, продиктованное Колей Ларионовым, — до смешного серьезное, убедительное заявление, как будто я была не пигалица пятнадцати лет, а почти незаменимое лицо! И еще забавный документ: в декабре, уже после моего отъезда, для усиления связи с губернскими организациями среди прочих представителей выдвинули Колю Филимонова в состав губисполкома, но тут же, вспомнив о Советской Конституции, записали: «Если кандидатура т. Филимонова неприемлема ввиду его несовершеннолетия, кандидатом вторым выдвигается…» Бедняге Шенкуренку, уважаемому руководителю народного образования, и в конце 1921 года еще не было восемнадцати лет!..

Заглянула в далекое прошлое, а мысли о сегодняшнем. Даем ли мы теперь, мы, взрослые, достаточную самостоятельность молодым способным ребятам? Не слишком ли долго держим их в детишках? Не притупляем ли чрезмерной опекой самые горячие силы?..

Мне по-особому радостно, что здесь, на родном Кольском полуострове, три лета подряд работал мой сын — сперва врачом и комиссаром, а потом и руководителем студенческих отрядов, трудившихся на строительстве Серебрянской ГЭС и на прокладке ЛЭП (линии электропередачи) от Серебрянки до Иоканьги (да, до той самой, когда-то зловещей Иоканьги!). Я немало встречалась и с целинниками, и со студентами-строителями. Послушать их, они едут подзаработать — таков стиль нынешнего практического поколения. Кстати, «вкалывают» они не жалея сил и зарабатывают прилично, в студенческом бюджете летний заработок — статья «перспективная», тут обеспечиваются одежки-обутки на зиму и штопаются прорехи студенческого бытия. Но, что бы ни говорили эти практические ребята, нелегкий быт и тяжелый труд в студенческих отрядах — одно из лучших переживаний их юности. Почему? Отбросим «громкие слова», мы тоже держали их про себя и пустозвонства не терпели. А вот самостоятельность и р е а л ь н о с т ь д е л а — и мы любили, и они любят. Нянек над ними нет в отрядах! Сами преодолевают трудности организации и бытовые срывы, сами за себя отвечают — и неплохо отвечают. Два месяца, а возвращаются домой повзрослевшими, набравшимися впечатлений и жизненного опыта, узнавшими цену

друг другу не в приятельском застолье, а в труде, в стойкости, в истинном товариществе. Я видела, как лопались дружеские отношения, когда один из друзей не выдерживал проверки «на качество». Молодость — она ведь тоже целина и тоже стройка! И основополагающий материал в этой душевной стройке — познание радости д е л а н и я, гордое сознание, что оставил свой след на земле — б у д ь то бетонированный ток, или жилой дом, или могучие опоры ЛЭП в безжизненной тундре… И еще одно бесценное ощущение — я м о г у!

— Несколько лет назад для встречи с писателем мы бы взяли большой зал, а сейчас берем лекционный, — сказал мне Володя Пожидаев, вдумчивый и ироничный молодой человек, руководитель мурманского комсомола, — вы говорили, что комсомольский клуб был для вас не просто клубом, а средоточием жизни. Но сейчас у любого юноши несравнимые возможности. Что ему клубные поделки, когда он дома устроится поудобней у «телека» и увидит все, что угодно душе: спектакль с самыми лучшими актерами, модного певца, футбол или хоккей, известных писателей и ученых, конкурс песни или джаза, а то прослушает симфонию или оперу, захочет изучать язык — пожалуйста, захочет лекцию — услышит лучшего лектора, да еще с иллюстрациями. Без понимания вот этого сейчас работать нельзя. Так что битком набитого зала не ждите, придут те, у кого есть вопросы, а это уж, как вы знаете, следующая ступень развития.

Скажу сразу, что Володя не ошибся, — лекционный зал был как раз впору, а вопросов… вопросов хватило на несколько часов.

— Молодежь сейчас избалована, — продолжал Володя, — или кажется избалованной. Но инертна ли она, как иногда говорят? Вот вдумайтесь: стоило в печати появиться сообщению, что на Кольском полуострове будет строиться атомная электростанция, в течение двух недель мы получили больше тысячи заявлений, и все хотели выезжать немедленно, чтобы принять участие в строительстве с с а м о г о н а ч а л а, с первого колышка, с палатки.

Как это знакомо! Когда готовилось к печати первое издание моего «Мужества», кое-кто из редакторов опасался, что в романе «слишком сгущены трудности» и это может оттолкнуть молодежь от новостроек. Но, как только роман дошел до читателей, посыпались письма — и почти в каждом была настойчивая просьба сообщить, куда можно поехать, чтобы участвовать в подобном строительстве «с самого начала», «с первого колышка», «с палаток и землянок»…

О с в о е н и е — дело молодежи.

Вот и на Кольской земле — куда на поедешь, всюду видишь молодые лица, слышишь о неотложных молодежных проблемах — стадион, каток, вечерние школы и техникумы, жилье для новобрачных… ну и проблемы яслей и детсадов, это уж непременно, нигде не увидишь на улицах такого количества детских колясок, как в новых городах, и в каждом вам будут доказывать, что именно в их городе наиболее высокий процент рождаемости, — это я слышала и на Дальнем Востоке, и в Сибири, а теперь и в Заполярном, быстро растущем юном городе в центре печенгской тундры. Едешь-едешь по шоссе среди скал и болот, и вдруг вдали, на высоком плато, как мираж в пустыне, возникает видение многоэтажного города. Заполярный вырос у богатого месторождения медно-никелевых руд, добываемых открытым способом. Строила его комсомольская молодежь. За первые шесть лет в Заполярном было восемьсот свадеб, родилось около двух тысяч новых гражданят, а уж новоселий отпраздновано — не счесть. И как же любовно украшают новоселы свой город, как стараются цветовой гаммой внести разнообразие в неизбежную стандартность домов!.. А Дворец культуры в Заполярном такой, что не уступит столичному, декоративная роспись стен сделана и со вкусом, и с точным ощущением северной природы. Расти без старости, новый город юности!

Несколько лет назад я побывала в южной части Кольского полуострова, в Хибинских горах, куда мне хотелось попасть еще в годы первых пятилеток, когда комсомол будто сорвался с места — на Дальний Восток, на Волгу, к горе Магнитной, в Заполярье, в Среднюю Азию — строить заводы, рудники, железные дороги и города, города! Я люблю эти молодые города, необжитые, грубые, как первый набросок углем, с чуть намеченными улицами и пустотами между ними, про которые каждый новожитель (равнодушных тут нет, они не удерживаются) подробно расскажет, что здесь будет построено и когда и каким красивым станет их город — «приезжайте через несколько лет, увидите сами».

Созданный по инициативе Сергея Мироновича Кирова для разработки крупнейших залежей апатитов, город называется теперь его именем. Строила Кировск молодежь — даже начальнику громадного и ответственного строительства Василию Кондрикову было в ту пору двадцать девять лет! Сейчас бывшие комсомольцы-первостроители объединены Советом ветеранов и энергично участвуют в жизни города, а городу стало тесно в котловине между гор, он выплеснулся на равнину за пределы

горной гряды, там есть где развернуться, а разворачиваться необходимо: в Кировске обосновался Северный филиал Академии наук, в его институтах комплексно разрабатываются основные научные проблемы Севера — от геологии до садоводства. Кстати, Кировский ботанический сад своим маленьким коллективом энтузиастов ведет уникальную работу по созданию и распространению зимостойких цветов и растений для озеленения городов за Полярным кругом. А это дело нелегкое, север есть север.

Мне исключительно повезло — когда я отправилась на Расвумчорр, апатитовую гору, был ясный солнечный день, в небе ни облачка. Высокогорное плато, окруженное снеговыми вершинами, казалось мирным и прекрасным, поработал — и катайся на лыжах, загорай на горном солнце! Но такие ясные дни тут редчайшее явление. Ветры и метели почти непрерывно обрушиваются на смельчаков, добывающих богатства горных недр. Раньше грузовики возили руду вниз, на апатито-нефелиновую обогатительную фабрику, по крутой серпентине, где неустанно трудились бульдозеры. Теперь гору «просверлили» вертикальными штреками, и руда летит по ним самоходом, а внизу механизмы загружают ею составы и по тоннелю, прямо «из горы» — на фабрику. Серпантин дороги — для грузов и для горняков Расвумчорра, уезжающих в город на выходной день или по делам. Всю трудовую неделю горняки живут тут же на горе, они приспособились и работать и отдыхать не без уюта. Какие здесь веселые, краснощекие люди! Они смелы, но шутить со здешней природой остерегаются — в метель даже из дома в дом в одиночку лучше не ходить, унесет. Был такой случай — влюбленный паренек, презрев законы Расвумчорра, решил вечером смотаться в город прямо по склону, кратчайшим путем, на свидание с любимой девушкой. К девушке он не пришел, домой не вернулся. Товарищи бросились на поиски, рискуя жизнями, облазили и прощупали, казалось, каждый метр… Занесенный сугробами труп нашли только весной, когда началось таяние снегов.

Север есть север.

При мне в Хибинах проходили традиционные спортивные соревнования Праздник Севера, на который съезжаются лучшие лыжники страны. Я долго наблюдала слалом-гигант — великолепное сочетание храбрости, мастерства, изящества и силы. Мои спутники никак не могли оторвать меня от этого зрелища. И хорошо, что не смогли! Потому что, как только спустился последний спортсмен, местные мальчишки, обступившие трассу, один за другим стали повторять маршрут

слалома, щегольски изворачиваясь между вешками и флажками и показывая изрядное мастерство на своих детских лыжах, привязанных к валенкам.

А назавтра весь город облетело печальное известие: трое маленьких лыжников ушли покататься и не вернулись домой. Старшему пятнадцать лет, двое других — младшие школьники. Мать одного из малышей в отчаянии корила себя: «Сама отправила, он пришел домой, а я сказала — не вертись под ногами, иди, погуляй до ужина!» Немедленно были мобилизованы работники лавинной службы (есть в Хибинах и такая, защищающая город от снежных лавин, ее работники обследуют опасные скопления снега и, если нужно, расстреливают их из минометов). Радио сообщило всем метеопостам, несущим службу в горах. Отправились в горы комсомольцы-лыжники. Обегали все окрестности — нет ребят! Не было их и наутро, не было и еще сутки… В день моего отъезда все население города ликовало — ребята нашлись! Оказывается, в начавшейся метели они сбились с пути. Ничего, кроме спичек, у них не было. Двое суток старший не позволял своим маленьким спутникам ни присесть, ни остановиться, он хорошо знал, что остановка — смерть. Они шли и шли, днем и ночью, сквозь метель, сквозь мрак, и не видно было ни солнца, ни звезд, чтобы определиться. На исходе вторых суток они увидели вдали огоньки метеопоста (как оказалось, более чем в ста километрах от Кировска!). Старший разыскал место, где ветром сдуло сугробы, выкопал из-под снега мох, разжег костер, усадил возле него младших, а сам побежал к заветным огонькам. У него еще хватило сил довести метеорологов до костра…

Север есть север. И характер северянина — особый характер.

Уже немало лет назад, когда я писала вторую книгу «Иначе жить не стоит», я решила добраться до изыскательской партии, работавшей западней Кировска, на реке Иове, — там намечалось построить (и построили) гидростанцию. Выехала из Ленинграда вместе с начальником экспедиции Гусиновым, правда, вопреки Ленгидэпу, где пытались удержать меня, так как на Ковдозере что-то случилось со льдом. Когда мы вышли на станции Ковда ранним-ранним утром, сразу перехватило дыхание: термометр показывал сорок пять градусов мороза. На перевалочной базе экспедиции мы наскоро закусили и немедля собрались в дальнейший путь. К моим валенкам и шубе добавили массивный тулуп. Кое-как уселись в сани, зарыв ноги в сено. За нашими санями шло несколько розвальней, нагруженных мясными тушами и бочками с соляркой. Вела санный обоз местная жительница, немолодая женщина с крупным лицом, красным от

мороза и ветра, с глубокими морщинами, проложенными не возрастом, а тоже морозом и ветром. Одета она была добротно, в ватном костюме, шубейке и повязанном крест-накрест толстом платке. За плечами — вещевой мешок и резиновые сапоги: «А вдруг опять вода?» Она под уздцы свела первую лошадь на дорогу, проложенную по льду Ковдозера, остальные лошади привычно пошли следом. Ехать по озеру из конца в конец его предстояло сорок километров. Мы закутались — только глаза видно, а наша командирша шагала и шагала возле первых саней, приглядываясь к дороге — недавно из-за того, что перекрыли протоку, вода прорвала лед и хлынула поверх своего ледяного панциря, затем этот слой воды тоже покрылся льдом, но еще непрочным, было уже несколько несчастий с обозами. Вскоре мы обошли место недавней аварии — из подмерзших трещин торчат оглобли саней, под корочкой льда виден труп лошади, которая так и не сумела выбраться… Наши лошади испуганно шарахались, возница успокаивающе покрикивала на них, а я… я думала, какая тут глубина и что делать, если сани провалятся, даже если выберешься — промокшая, на таком-то морозе, посреди озера!..

Провалились мы уже в потемках, в трехстах метрах от цели — на берегу приветливо светилось окошко в домике радиста. Минута ужаса… и ноги нащупали крепкий донный лед. Вода заливается в валенки — холоднющая, но обжигает как кипяток. Лошадь рвется к берегу, ломая лед и таща за собой перевернувшиеся сани, кто-то кричит: «Держитесь, берег рядом!» — и мы держимся, все время пытаясь выбраться на верхнюю кромку, но лед обламывается, лучше уже идти по пояс в воде, вслед за лошадью и санями, в ледяном крошеве образовавшейся дорожки… А наша командирша зычно покрикивает на остальных лошадей, выводя обоз в обход. Ее голос действует успокоительно, уже не страшно, вот и на берегу появились люди с фонарями, наперебой подают советы. Мне становится весело, я довольна, а Гусинов сердится: «Не понимаю, что вы нашли интересного!» А я нашла то, ради чего поехала, — случай, во время которого чуть не погибла моя Галинка, случай, который теперь будет так легко написать!..

Чьи-то руки подхватили меня и вытащили на берег, до радиопоста осталось каких-нибудь шесть-семь метров вверх по склону, но и шагу не сделать: валенки, чулки и портянки, белье и платье, шуба, тулуп — все мгновенно превратилось в негнущиеся ледяные короба. Тащили нас чуть ли не волоком. Жена радиста во что-то обрядила меня, пока мои одежки сохли у раскаленной железной печки. А командирша возилась с лошадьми, сдавала

грузы под расписку, требовала, чтобы какую-то тару погрузили немедленно, на рассвете она поведет обоз обратно!..

За скороспелым ужином мы пили водку-спасительницу и много-много горячего чая, а потом, глубокой ночью, простились с командиршей и улеглись в тракторный прицеп на вороха сена. Мотаясь вместе с прицепом из стороны в сторону, тащились по ухабистой лесной дороге, еще семнадцать километров — на базу экспедиции. Перед трактором, не умея выскочить из луча света, долго мчался перепуганный заяц, тракторист улюлюкал и кричал: «Сворачивай, дура, задавлю!» — пока на повороте фары сами не выпустили бедолагу… Мне было тепло и удивительно хорошо, я думала о том, что обязательно напишу командиршу — настоящий русский, северный характер! Потом, сквозь полудрему, я отчетливо увидела и услышала, как мой Никита, страшно ругаясь, бросился искать «эту сумасшедшую девчонку», ради выполнения его приказа помчавшуюся в одиночку на лыжах по неверному озеру, и как он нашел Галинку, и вытаскивал из ледяного крошева, а потом отогревал в избушке радиста, и как в ту ночь после пережитых тревог, гнева и радости все-таки произошло то, что он несколько месяцев отталкивал с упорством и даже грубостью…

…Я опять — о том, о ненаписанном?..

Но можно ли отвлекаться от жизни с ее болями и трудами, поисками и непрошеными чувствами? А уж эта книга — необычная для меня и, кажется, не очень-то композиционно четкая, — эта книга тем и держится, что пишу как на духу, будто наедине с собой — и с теми читателями, которым доверяю, чьи дружеские глаза вижу.

Итак, север есть север. А на севере чувства не менее горячи, чем на знойном юге, а может, и горячей, ведь в здешней суровости все человеческое в особой цене.

В нынешних поездках по Кольскому полуострову, при всей насыщенности деловой программы, все время звучала нежная нота — как весенняя капель: дон! дон-дон! доннн!.. Обком комсомола отрядил со мною в качестве ангела-хранителя голубоглазую комсомолочку Наташу. Наташа была так привлекательна, что строгие комсомольские руководители запретили ей приходить на работу в ее лучшем темно-голубом платье, которое особенно шло ей, «потому что все отвлекаются от дел и пялят на тебя глаза». Наташа вздыхала: когда же носить его, ведь кручусь в комсомоле и в будни, и в праздники?! Но при всей своей юной прелести Наташа «железно» подчиняла себя чувству общественного долга и не давала себе поблажек. Я приглядывалась к ней, слушала ее твердый голосок и думала —

кто знает, наверно, и я была когда-то такой вот «железной» комсомолкой, подавляющей соблазны ради общественного долга? А соблазны подавлять ох как нелегко! Наташа недавно вышла замуж, муж часто грустит, потому что она приходит домой поздно, в воскресные дни у нее то слет, то поход, то семинар, а теперь вот едет к черту на кулички с заезжим писателем…

Я так и не видела Наташиного мужа, но он незримо сопутствовал нам. Стоило приехать на новое место и войти в гостиницу, как дежурная говорила:

— Наконец-то! Вас уже дважды вызывал Мурманск.

— Думаю, что не меня, — посмеивалась я.

Наташино лицо розовело, но принимало такое деловитое выражение, словно ее должны вызывать по меньшей мере по вопросам всесоюзной важности. Я шла отдыхать на короткие полчаса или час, что были в нашем распоряжении, а Наташа ждала третьего вызова или сама пыталась дозвониться до Мурманска.

Поездки наши были до предела перегружены — жаль что-либо упустить и на месте всегда возникают встречные предложения. Ну, приехали на северный край советской земли, в городок Никель — само название говорит, чем тут живут. Я не собиралась спускаться в рудник и осматривать производство, так как в рудниках и шахтах бывала не раз, а подобный комбинат уже видела в Мончегорске. Но директор комбината Яков Христофорович Осипов сам пришел за мной, и я поняла, что отказом глубоко обижу человека, потому что… потому что людей, влюбленных в свое дело, я чую сразу. А для Осипова комбинат — его жизнь.

Такая любовь рождается не вдруг.

Осипов впервые увидел комбинат… нет, не так. Когда Осипов появился в этих местах, не было ни комбината, ни рудников, ни поселка. Отступая под натиском наших войск, фашисты взрывали все: шахтный копер и жилые дома, электропечи и рельсы, а полуторастаметровую массивную трубу комбината взорвали с дьявольским расчетом, чтобы она рухнула на плавильный цех, все круша и давя. 4 ноября 1944 года гитлеровцы по радио оповестили мир, что их войсками «полностью разрушены при отходе все имеющие какое-либо значение промышленные предприятия. В результате этого большевики на протяжении целого ряда ближайших лет не смогут воспользоваться ими».

Больно инженеру смотреть на бесформенные груды кирпича и бетона, на смятые и перекрученные металлические конструкции, на горестные зевы взорванных печей. А восстанавливать… восстанавливать много трудней, чем построить

заново. Особенно когда еще идет война, когда нет ни электроэнергии, ни жилья, ни рабочих квалифицированных рук…

Но никель — это броня. И уже в марте 1945 года горняки выдали на-гора́ первые тонны руды. Одновременно через тундру тянули к Никелю высоковольтную линию из-под Мурманска, с Туломской гидростанции. Одновременно разбирали развалины комбината и обезвреживали мины. Одновременно сооружали жилье, сажали капусту и картофель, заводили коров, свиней и даже кроликов. Одновременно… да все делалось одновременно! И не сосчитать, сколько сил человеческих вложено во все эти одновременные дела, сколько страсти и великого упорства!

А труба?! Возведение трубы, равной пятидесятиэтажному небоскребу, дело сугубо специальное. Трубу на «Петсамо-Никеле» возводила американская фирма «Альфонес Кустодис». По договору с той же фирмой осенью 1945 года в Никель прибыли два специалиста, один из них, шеф-мастер Монро, когда-то участвовал в сооружении разрушенной немцами трубы. Условия, выдвинутые американцами, были неприемлемы: строить только летом, предоставить им бригаду опытных верхолазов не старше двадцати пяти лет — ну и все в таком же роде.

Советские теплостроители решили возводить трубу сами, в передвижном тепляке, работая круглый год. Север есть север, но люди-то были русские, советские, те самые, что выдюжили войну с фашизмом.

1 октября 1946 года возведение трубы было закончено.

30 октября Никель получил по новой электролинии первый ток с Туломы.

В августе в восстановленном плавильном цехе было закончено сооружение первой электропечи, в то время самой крупной в мире, а 6 ноября 1946 года, под праздник Октября, печь выдала первую плавку…

Осипов сам повез нас по городу, и я понимала, отчего ему так милы и дороги каждый дом, каждая улица. Никель и вправду хорош — небольшой, но симпатичный городок, пленяющий «лица необщим выраженьем»: как-то плавно и нестандартно расположился он по склону сопки, и дома, не бог весть какие, глядят каждый по-своему, и ресторанчик, где мы наскоро пообедали, уютен, кормят вкусно, с витаминными салатами, что ни севере особо важно. А в окне магазина на главной улице — цветущий куст, покрытый белыми цветами! Парковая роза? По листьям не похоже. Так и не успела я узнать имя-отчество этого промелькнувшего чуда.

Комбинат с его трубой-небоскребом виден отовсюду, и Осипов явно торопился добраться до него. В главные, любовно

украшенные ворота комбината он ввел нас торжественно, как во дворец. И пусть нет времени переодеваться и спускаться в рудник (а времени до встречи с читателями оставалось мало), но Осипов настаивал — ну, хоть до спуска, хоть в бытовки и еще немного… Бытовки на северных предприятиях обставляют со щегольством и выдумкой, чтобы все сверкало и радовало глаз, их любят показывать гостям. А «еще немного» к спуску — зачем? Мы пошли вслед за шахтерами (начиналась вечерняя смена) по длинному подземному переходу. Несколько молодых шахтеров обогнали нас, весело поздоровались с Осиповым и, убежав вперед, остановились кучкой как бы в ожидании чего-то. И вдруг… прямо как в сказке, справа возникла стеклянная стена, а за стеклом сиял, зеленел, приманивал многоцветьем подземный сад. Залитая щедрым «дневным» светом, шахтерская оранжерея, казалось, и через стекла дышала благоуханной свежестью.

Молодые шахтеры полюбовались нашим изумлением и побежали дальше.

— Люди выходят из-под земли и видят зелень, цветы. Им приятно, — объяснил Осипов.

Затем мы пошли в плавильный цех. Признаюсь, металлургия не моя сфера, я робею перед огнедышащими печами и ползущими в лапах кранов ковшами с раскаленным металлом. Мощь? Да. Необходимость? Конечно. Но зрелище более сурово и жутко, чем красиво.

— Этот цех мы восстановили как он был, — объяснял Осипов, ведя нас по металлическим лесенкам и переходам вдоль огнедышащих печей, — а вот его продолжение, по существу новый и больший цех, мы построили заново. Красавец, правда?!

На мой взгляд, он был просторней и несколько светлей прежнего, вот и все. Но глаз металлурга видел его прекрасным, и я согласилась — правда, красавец! — потому что верила Осипову: когда человек любит, он знает и ценит ту красоту, что может не приметить посторонний. Видит же конструктор красоту нового решения какого-нибудь узла машины, а для непосвященных этот узел всего-навсего «что-то железное». Радуется же математик красоте формулы, которая для профана — скучный набор цифр и знаков!..

Наташа тем временем бледнела и отставала и вдруг, шепнув мне: «Я подожду на воздухе», опрометью кинулась к выходу.

Позднее я разыскала ее, все еще до синевы бледную, во дворе.

— Наташа, если не ошибаюсь…

— Кажется да, — шепотом сказала Наташа, — только вы никому-никому…

Наутро мы должны были уезжать, но нами завладел Федор

Васильевич Силаев, другой абориген и патриот печенгской земли. Силаев тоже и восстанавливал и строил, теперь он глава Советской власти района. Здесь его все знают и он знает всех и вся. И отпустить нас он мог не раньше, чем мы побываем у пограничников (ни один писатель не проезжал мимо!) и съездим на Борисоглебскую гидростанцию. «Не поглядеть ее? Да вы сами себе не простите! Дорога, правда, не ахти, но я поеду на своем «козлике», если «Волга» не пройдет, пересядете ко мне».

— Наташа, может, останетесь, отдохнете пока?

— И речи быть не может! — твердым голосом отрезала Наташа.

Ну что ж, у нее характер, но и у меня тоже! Усадив Наташу и других наших спутников в «Волгу», я забралась в неказистую, но безотказную машину, которую у нас любовно прозвали «козликом». Зачем же мне лишаться в долгом пути такого собеседника, как Силаев?! Еще в Мурманске, когда я была у председателя облисполкома Матвеева, он мне посоветовал обязательно познакомиться с Силаевым, потому что Силаев как никто знает печенгский край. Кстати, и к Матвееву я пошла, не имея каких-либо особых дел, именно потому, что все мурманчане меня спрашивали: «А у Матвеева вы были? Вот кто облазил весь Кольский полуостров вдоль и поперек!»

Разговор с Матвеевым шел почти все время у карты, и я воочию убеждалась в том, что разработка богатств полуострова, о которой мечтал еще мой отец, ведется планомерно и широко, хотя Матвеев (сам бывший горняк) не скрывал, что добыча многих полезных ископаемых (а тут их разведано чуть ли не вся таблица Менделеева!) ведется медленнее, чем хотелось бы, в частности запасов никеля и меди. Это и правильно, говорил Матвеев, открыто богатейшее Талнахское месторождение под Норильском, с общегосударственной точки зрения целесообразно пока сосредоточить там главные силы и средства… Он говорил так, потому что давно привык мыслить государственно, но я чувствовала, что в душе он с трудом мирится с этим разумным решением, ведь ему, человеку, отдавшему Кольской земле многие годы своей жизни, всю свою энергию, знания и опыт, мила именно эта суровая, исхоженная земля, он хочет именно ее расцвета — по праву любви.

Разговор с ним почему-то вспоминался мне, пока Силаев выводил за город своего проворного «козлика», по-хозяйски поглядывая, хорошо ли очищена от снега дорога и спорится ли работа на строящейся птицеводческой ферме, — и я с внезапной обидой подумала о том, что живешь в сутолоке, всегда не хватает времени, в каждой поездке чем-то обогащаешься, но и во многом

себя обкрадываешь; где бы задержаться, войти в незнакомую жизнь, а тебя связывают сроки, — мелькают люди с их делами и судьбами, знакомство с каждым поневоле коротко, и успеваешь ухватить лишь что-то одно, наиболее выпуклую черту, а душевный мир человека вмещает многое — сразу не вникнешь. Меня это всегда томило, когда нужно было написать очерк, — тут не домыслишь, как в романе, не обобщишь разные наблюдения в одном образе: очерк — жанр строгий! Может, потому я и писала очерки со скрипом, мучительно, и всегда оставалась неудовлетворенность, и казалось, что человеку, о котором ты написала, самому неловко, будто он нарочно охорашивался.

Сейчас меня никто не неволит писать о Матвееве, или Силаеве, или Осипове, да и слишком беглы были встречи с ними, но ни глаз, ни чутье тут не обманывают, они все одной человечьей породы, которую я издавна и доподлинно знаю. Чем труднее условия, чем напряженней работа и чем дальше от благоустроенных центров, тем их больше — или там они видней?.. Меня они всегда притягивали — д е л а т е л и ж и з н и, ее организаторы и ревнители, для которых многотрудные их обязанности уже не служба и не карьера, а судьба, отрада, главный интерес, суть личности. Люди как люди, только что влюбленные. П р и в е р ж е н н ы е — к своему краю, к своему делу.

С таким приверженным мы и мчались в то утро по асфальтированному шоссе, а напоследок подпрыгивали на подмерзших колеях в тяжелом весеннем снегу на грунтовой приграничной дороге. Среди заснеженных кустов изредка смутно виднелись лыжники в белых маскхалатах, и Силаев напомнил, что весь печенгский район — пограничный, а река Паз, питающая турбины Борисоглебской гидростанции, — сама граница. Он говорил о том, что саами (раньше их называли лопарями) живут здесь с давних времен, а русские люди, новгородцы, селились, промышляли рыбу и пушного зверя, торговали не только с соседями, но и с Англией уже в XI—XII веках, и первый дружеский договор с норвежским королем был заключен еще Александром Невским. У Печенгского залива, не замерзающего даже в лютые морозы, в XVI веке был основан монастырь, именем его основателя Трифона до сих пор называется озеро, даже финны сохраняли это название — Трифоноярви… В нашем веке, когда в недрах печенгской земли были открыты никелевые руды, вокруг печенгского никеля сплелись интересы международного капитала — канадского, американского, английского, немецкого… Силаев рассказывал, что финны, с 1920 года владевшие печенгским районом, отдали разработку недр

иностранным концессионерам, а что нужно иностранным капиталистам? — побыстрее взять наиболее богатую руду и получить побольше прибыли! Недра разведывались кое-как, разрабатывались хищнически, без всякой заботы о разумном изучении и использовании месторождений… Во время войны тут хозяйничали гитлеровцы — еще более хищнически. Отступая, все уничтожали, даже взорвали на реке Паз финскую электростанцию.

— Теперь река Паз — символ добрососедства. В верхнем течении она отделяет нас от Финляндии, в нижнем — от Норвегии. Вы, наверно, знаете, что финская фирма построила для нас три гидростанции на пазерецких порогах?

Да, это я знала. И была на реке Туломе, где впоследствии та же фирма строила для нас четвертую станцию, Верхне-Туломскую.

— Кроме соображений делового сотрудничества, это помогло финнам дать работу тысячам своих рабочих. Норвежцам понравилось, они нам предложили на тех же основаниях построить гидростанции в нижнем течении. Договорились так: две они строят для нас, одну для себя. Кроме турбин и генераторов, все оборудование поставляют они. Надо сказать, строили они хорошо и отношения были самые дружеские, ни одного недоразумения или конфликта.

Машина сбавляет ход — на дороге две малолетние лыжницы. Завидно краснощекие девчушки заметались, неловко выбираясь на обочину. А впереди, свободно раскинувшись на склоне горы, весь на виду — поселок уютных двухэтажных домиков. Это и есть Борисоглебская. Самой ГЭС не увидишь, она подземная, как и многие наши северные гидростанции.

Может, потому, что у меня давнее пристрастие к гидростроительству, но сколько я видела гидростанций, строящихся и готовых, гигантских и маленьких, — у каждой своя неповторимость и свое очарование. Пожалуй, оттого и возникло пристрастие, что ГЭС всегда — взысканная чистота снаружи и внутри, чистая вода и чистое небо без дыма; это, кажется, единственное из индустриальных сооружений, которое вписывается в пейзаж, не портя его, а украшая. Гидростанция — архитектура в самом точном и высшем смысле: все сооружение (полностью и во всех деталях) наиболее целесообразно отвечает своей функции и органически увязывается с природой.

Здесь, возле старинной русской церковки Бориса и Глеба, основанной еще при Иване Грозном, не было ничего, кроме крутых скалистых гор и стремглав несущейся по ущелью, с порога на порог, неширокой реки. Надежным щитом станции стала гора

на нашем, восточном берегу. Светлая плотина сцепила два берега, направляя клокочущий поток в восьмисотметровый тоннель — крутить лопасти турбин, откуда, отработав свое, река по отводящему тоннелю возвращается в родное русло, но уже ниже плотины. Машинный зал и пульт управления под землей, вернее — внутри горы. В зале просторно, светло, тепло, в кадках — лимоны, на изящных подставках — цветы. И, как положено, на всю станцию один дежурный.

Когда смотришь со стороны нижнего бьефа, видишь только плотину и выступающий из скалы изящный портал — вход на станцию. Левее поселок. И больше ничего.

Редко встретишь гидростанцию, вокруг которой не вырос бы целый город с подсобными предприятиями, временными и невременными домами и всем, что необходимо в период строительства, когда работает множество людей. Здесь этого нет. Так уж экономно строят норвежцы? Строят они экономно, накладные расходы сведены до минимума, но в данном случае решение было простым: почти рядом, в десяти километрах, норвежский город и порт Киркенес, рабочих привозили на работу оттуда, там же размещались подсобные предприятия. И фирме выгодно, и нам удобно.

Мы обогнули гору и подъехали к мосту, проложенному по бровке плотины. Половина моста — наша, половина — норвежская. Проехали вдоль берега по заснеженной дороге метров сто или двести — ворота, наш пограничник в белом. В стороне — церквушка с могилой какой-то «девицы 45 лет», с надписью: «Спи, сестра, до светлого утра». Монахиня, наверно? В этих краях монахи Печенгского монастыря были когда-то и властью, и добытчиками, и вели торговлю с заграницей.

В сугробах — домики кемпинга, ресторан. Вошли внутрь — красиво отделанный бар, комнаты отдыха, но везде мороз и пустота. Почему кемпинг не используется? Оказывается, поначалу норвежцы могли ездить сюда без заграничных паспортов, и они приезжали на машинах, прибегали на лыжах, здесь всегда было людно. Ну и русскую водку не обходили. Потом правительство Норвегии закрыло границу. Норвегию втянули в НАТО.

— Видите вышку? Наблюдатели НАТО.

Действительно, на высокой горе, прямо над плотиной, застекленная вышка. За стеклом — три головы. Поблескивают на солнце шесть кружочков — линзы биноклей, нацеленных на нас.

Поздним вечером, после встречи с пограничниками, а потом с читателями города Заполярного, я наконец добралась до номера в отличной новой гостинице — и как же мне не хотелось тут же мчаться дальше! Манила ванна, манила постель…

— Наташа, может, выедем с утра пораньше?

— Если вы предпочитаете…

Наташа так мужественно подавляла огорчение, что мне стало стыдно.

— Он знает, что мы приедем сегодня ночью?

— Нет, — сказала Наташа, — но он надеется.

Я прикинула — езды около двухсот километров, раньше двух, а то и трех часов ночи не доберешься. Гостиница «Северная» в центре Мурманска, а Наташа живет далеко, в новом районе, от проспекта ей бежать одной, темными дворами и переходами.

На мои опасения Наташа, порозовев, сказала:

— Он будет встречать на проспекте.

— Он же не знает ни часа, ни…

— Он все равно выйдет. На всякий случай.

Что тут скажешь? Поехали.

И снова та же длинная-длинная дорога и ночная мгла, все меняющая, таинственная и временами жутковатая; лучи фар выхватывают из мглы колючие бока гор — скалы, скалы, скалы…

Погранзастава.

Схватив наши документы, Наташа бежит в сторожку. Побыла там, потом, гляжу, выходит в сопровождении нескольких пограничников. И все они заходят к правой стороне машины. У одного в руках мои документы, он довольно строго спрашивает, кто тут гражданка такая-то…

Высовываюсь из окна: вот она, гражданка, что случилось?

— Извините, — говорит, — никогда еще не видали живого писателя.

Ну, посмеялись, поговорили. Ребята все молодые, пожелала им, как полагается, счастливой службы.

— Вы нам невест хороших пожелайте, — сказал один из них, — чтоб сразу после демобилизации — и без промаха.

Пожелала. Пусть не сразу, но без промаха.

И снова ночь, скалы, скалы… Проезжаем ущелье реки Западная Лица. Немцы прозвали его «долиной смерти». Дальше они не прошли.

Наташа прикорнула, на заднем сиденье. Мы тихонько переговариваемся с шофером Ваней, неизменным спутником наших поездок. Он гонит вовсю, дорога пуста, ни одной встречной машины. Но вот он сбавляет ход, еще сбавляет, останавливаемся. На фоне светлого размытого пятна на небе (только поздней я поняла, что это было дальнее зарево мурманских огней) высится строгий памятник. Я уже знаю — здесь похоронен политрук Тимофей Борисёнок, член обкома комсомола, один из героев, заслонивших собою путь к Мурманску

в сентябре 1941 года. У комсомольцев традиция: как бы ни спешили, остановиться, постоять.

Остановились. Постояли.

И снова ночь, скалы, редкие огоньки.

А мне все видится Тимоша Борисёнок, не памятник, а живой, веселый паренек, исправный и сознательный комсомолец из тех, что всегда первыми откликаются на любое нужное дело и первыми берут на себя ответственность — не потому, что хотят выделиться, а потому, что развито чувство долга. Накануне подвига он, наверно, ничем не отличался вот от этих славных ребят на заставе и от тех, что днем, в клубе пограничников, задавали вопросы — долго ли пишется роман, была ли я сама строителем Комсомольска, и как я отношусь к Евтушенко… Сколько таких мальчиков, еще не успевших наглотаться величайшей прелести жизни, полегло здесь, среди скал, скал, скал!.. Ни радости д е л а н и я, окрыляющей душу, ни такой вот любви и заботы, как у незнакомого мне моряка, что сейчас где-то на ночном проспекте вышагивает взад-вперед, взад-вперед на случай, если приедет любимая…

Среди таких простых мыслей нет-нет да и возникали шесть поблескивающих кружочков на вышке НАТО. Ну для чего норвежцам понадобилось североатлантическое ярмо? Они же испытали и фашистскую оккупацию, и предательство Квислинга! Это наши воины выгнали гитлеровцев со всего норвежского севера. В центре Киркенеса стоит памятник советскому солдату «в память об освобождении города Киркенеса в 1944 году». Памятник создан норвежским скульптором, поставлен самими норвежцами. Понимают ли они теперь, куда и зачем их снова втягивают?..

«Река Паз — река дружбы». Да, весь каскад гидросооружений на пазерецких порогах — умные, достойные человека свидетели доброго соседства и победы Разума. Так и должны жить люди. Создавать нужное для жизни, материальной и духовной. И любить. И растить детей. Человек прекрасней всего в созидании и в любви. К а к человек трудится и к а к любит — два признака, определяющих ценность личности. А воинский подвиг? Конечно, в минуту подвига все душевные силы человека собираются для высочайшего взлета, но ведь высочайший взлет доступен только богатой душе! Головорезом (вроде гитлеровских горных егерей, что рвались через долину смерти) можно быть и ничем не дорожа, но, чтобы заслонить собою Родину, надо многое любить.

И еще мне вспомнился Эль-Аламейн на далеком африканском берегу, в мареве раскаленной пустыни три кладбища поодаль одно от другого: английское, итальянское, немецкое. Меня

особенно тронуло итальянское, где все стены большой часовни испещрены именами погибших и датами их рождения и смерти. Джузеппе, Никколо, Джованни, Марчелло, Паоло… все мальчики девятнадцати, двадцати, восемнадцати! На немецко-фашистском кладбище не было ни отдельных надгробий, ни перечня имен. Наверно, фашисты считали, что настоящие арийцы не должны предпринимать сентиментальных путешествий к могилам сыновей? Но именно там, в Эль-Аламейне, я впервые без ненависти подумала о безымянных немецких юношах, загубленных войной. Не все же они были фашистами, эти мальчики! А если их головы и были одурманены гитлеровской пропагандой, разве дурман не развеивается? Встретила же я в Венгрии двух активистов завода Чепель, они расспрашивали о Воронеже. «А почему вас интересует Воронеж?» — «Да мы были там». — «Когда?» — «В войну». Я невольно отшатнулась. «Так ведь по мобилизации…» Когда попали в плен, было время многое обдумать. Оба стали коммунистами. Меняются люди, случается — в дурную сторону, но ведь нередко и в хорошую! Чего бы мы стоили, строители нового мира, если б не понимали этого?!

Пусть же реки дружбы крутят лопасти турбин, пусть молодые на всей нашей неспокойной Земле поймут…

В это время мы обогнули сопку — и перед глазами возникло диво дивное — полыхание мурманских огней.

— Наташа! Наташа! Смотрите!

— Теперь скоро будем дома, — счастливым голосом сказала Наташа.

А еще через день мы выехали в противоположном направлении, на восток Кольского побережья. У меня не намечалось там встреч с читателями, не было и каких-либо дел, но на реке Вороньей строилась Серебрянская ГЭС, ниже по течению разворачивалось строительство второй гидростанции, а если куда-то очень влечет, что значат сто двадцать пять километров! Я знала от сына, что дорога уже проложена до самой Серебрянки, и не совсем поняла, почему нам советуют ехать на «козлике». «Козлика» не оказалось, поехали с Ваней на его «Волге». Поначалу пейзаж становился все лучше и лучше — мягкие линии сопок, сосны, рослые прямые березки. Потом повернули на восток и начали подниматься на плоскогорье, и вдруг сосны и березы исчезли, перед нами сколько видит глаз простиралась плоская равнина, по которой, как барханы в пустыне, горбились сугробы, и эти сугробы курились, обдуваемые ветром. На хорошо расчищенном шоссе тоже курились и тянулись под колеса снежные наметы. А утро было ясное, светило солнце,

только ветер посвистывал, ударяя в борт машины. Мы обгоняли нагруженные самосвалы, потом навстречу начали попадаться грузовики, идущие порожняком или с пассажирами, укрывшимися брезентом.

— Главное — проехать восьмидесятые километры, — сказал Ваня.

На восьмидесятых в одном из домиков, расположенных вдоль шоссе, играла музыка. Стояли на отдыхе дорожные машины. Женщина закрепляла на веревке развешанное белье. Самая мирная картина.

— А почему главное — проехать восьмидесятые? — с запозданием спросила я.

— Коварное место, — сказал Ваня.

— Тут часто снежные заряды, — объяснила Наташа.

Что такое снежные заряды, я поняла часа через три, когда мы поехали, уже на «козлике», с начальником строительства Аркадием Федоровичем Павловым к нижнему падуну, где будет вторая плотина. Дорога вилась вдоль реки, в снежном коридоре, который пробил бульдозер. Когда навстречу появился автокран, мы прижались к самому краю, молодой водитель помахал нам рукавицей, о чем-то предупреждая.

— Расчищают? — крикнул Павлов.

Водитель снова помахал, как будто утвердительно, и осторожно разминулся с нами, а мы, проехав немного, остановились. Павлов пригласил выйти из машины и начал издали показывать, где падун (его веселый рев был смутно слышен), где вертолетная площадка, откуда идет все снабжение отрядов, возводящих ЛЭП до Иоканьги.

— Тут у нас студенты летом работают, здесь их штаб, у вертолетной.

Я кивнула — что-что, а это знаю.

— Ближе, собственно говоря, подъезжать незачем. — Павлову явно не хотелось ехать дальше, там, видимо, застряли машины. — Давай разворачивай, — сказал он шоферу.

Откуда появился с ясного неба этот снежный заряд, я не заметила, но в лицо вдруг ударило колючим снегом, все вокруг потемнело, в двух шагах не видно капота нашего «козлика».

— Давайте, давайте в машину! — Павлов подсадил нас, забрался в машину сам, но машина не двинулась. — Эх, автокран!..

— А что?

— Шофер молодой, понадеется на себя… не перевернулся бы…

Заряд исчез так же вдруг, как и появился, «козлик» сразу

рванулся вперед. Светило солнце, оно поблескивало на стреле автокрана, но бедняга автокран так основательно врезался в сугроб на повороте, что теперь безнадежно буксовал. У водителя вид был сконфуженный. Павлов оставил свое мнение о нем при себе и крикнул, что сейчас пришлет подмогу.

Второй снежный заряд настиг нас, когда мы подъезжали к основным сооружениям. Шофер резко затормозил, включив фары. Встречный самосвал тоже остановился, сквозь мглистую кутерьму тускло подмигивали его желтые глаза.

— Баренцево море — рукой подать. Тридцать километров.

Да, как бы ни смягчало его теплое течение из Атлантики, север есть север. И одну из северных строительных придумок мне показали на верхнем ярусе растущей плотины: вдоль всей насыпи, покоясь между невысокими дамбочками, тянется озерко серо-голубой воды. Кругом снег и лед, а вода чуть дымится, и плавают на ее глади белые плиты, припорошенные снегом, и еще какие-то небольшие сооружения — понтоны, соединенные с берегом проводами. А на берегу, подвывая, работает во всю мощь авиационный двигатель, укрепленный на шасси, — на киносъемках таким способом устраивают метель или бурю, а здесь сильная воздушная струя отгоняет — будто пену с молока сдувая — плавающие белые плиты, — зачем? Подошли самосвалы, сбросили на дамбу грунт, бульдозеры тут же начали сдвигать этот грунт в воду, туда, откуда перед тем отогнали плиты. Вода проберется во все щели, забьет их песком и глиной, уплотнит, утрамбует… А теплая еще и смерзаться не позволит.

— У нас ведь как? «Девять месяцев зима, остальное лето!» По проекту отсыпка морены в ядро плотины производится летом. А потом что людям делать? И механизмы будут шесть-семь месяцев простаивать! Тут и сроки и стоимость строительства… Вот мы и ведем отсыпку круглый год — с подогревом!

Воду накачивают из реки в подготовленное ложе, добавляя горячую из бойлеров. Для поддержания тепла плавают на понтонах электронагреватели. Есть такие бытовые приборчики: сунешь стерженек в кружку — и через несколько минут вода закипела, можно пить чай. Примерно то же и тут, но «стерженьки» во много раз больше. А белые плиты — пенополистирол — тоже сберегают тепло. Дорога ли такая «кухня»? Конечно, дороже, чем летняя отсыпка, на всю плотину — около одного миллиона рублей. А экономия от сокращения сроков строительства — 6,6 миллиона рублей!

Мне было приятно, что придумал этот необычный метод Петр Александрович Букин, талантливый практик-гидростроитель, с которым мы уже встречались на других стройках. Милейший и на

редкость немногословный человек, он стеснялся рассказывать о своем изобретении, так что я вряд ли многое узнала бы, если б Павлов не подарил мне журнал с подробным описанием.

И еще запомнились мне рабочие, колдовавшие на этой «теплой кухне», — молодые лица выражали явное удовольствие, ведь интересно, когда что-то делается по-новому, впервые в практике строительства. Чувствуют ли они гуляющий на высоте ледяной ветер, от которого мы с Наташей ежимся? Или радость делания греет их?..

В комнатах управления, где в широкие окна можно увидеть и весь каменный поселок Туманный, и туманные дали-дальние заснеженной тундры, я рассматривала проекты строящихся станций, вникала в не очень-то понятные разрезы, диаграммы, профили, пока они не открывали своей логичной простоты. Потом Павлов и Букин по карте полуострова показывали уже работающие гидростанции, строящиеся и проектируемые. Как всегда, жизнь группировалась вокруг дорог и электростанций. Богатства недр этой суровой земли раскрываются на пользу людям не раньше, чем люди подведут дороги и электрическую энергию. Вот река Поной, перерезающая почти по центру всю восточную часть полуострова, — изрядная сила заключена в ее течении, великие богатства таят окружающие ее земли, поросшие мхами, но все это пока только приблизительно разведано, только начерно подсчитано. Спит холодная земля, бродят по ее однотонным просторам стада оленей, медленная жизнь идет в саамских редких поселениях… Когда же все тут оживет?

Вспомнился большой кабинет в облисполкоме, такая же карта на стене, и Матвеев возле нее… Уж ему-то больше всех не терпелось оживить эту спящую царевну! Но, смиряя себя, он сам же и доказывал — местные интересы подчиняются общегосударственным, есть планы, есть очередность… Приспеет пора добраться до этих недр — потянут через горы и тундру дорогу, оседлают падуны Поноя. А пока не приспела пора. Не все сразу.

— Вы на чем приехали? — вдруг тревожно спросил Павлов, услыхав, как задребезжали стекла под напором очередного снежного заряда.

— На «Волге».

— Не могли вам «козлика» дать? Тогда, может, заночуете, и уж с утра?..

Я оглянулась на встрепенувшуюся Наташу. Так и есть, он ждет. Да и время раннее — начало шестого. Темнеет теперь поздно.

— Тогда поезжайте сразу, — откинув вежливое

гостеприимство, сказал Павлов и взял телефонную трубку: — Соедините с восемьдесят первым километром!

Его разговор с 81-м был краток:

— Что у вас? Из Туманного выходит «Волга». В том-то и дело, что одна. Подстрахуйте, ладно?

Поторапливая нас, он пошел проверить, знает ли Ваня правила на случай зарядов.

— Главное, не стесняйся постоять!

— Да знаю, — отмахнулся Ваня. — Тринадцать лет на севере, а уж вашу дорогу изучил километр за километром, когда ее только прокладывали.

Один заряд настиг нас при выезде со строительства, а больше их и не было. На роковых восьмидесятых из поселка опять донеслась музыка — то ли там крутят пластинки, то ли во всю мощь запускают радио. У дежурного бульдозера стоял водитель, наверно, он и вышел «подстраховать»?..

Смеркалось, когда мы въехали в Мурманск, и Наташа попросила остановиться возле кинотеатра. Оказывается, он ждет ее на девятичасовой сеанс.

— Но мы же могли не вернуться сегодня или опоздать к девяти!

— Он сказал, что возьмет билеты на всякий случай.

О-ох! Видно, когда двое любят, со «всякими случаями» везет. Без десяти девять…

А мне часы отстукивали деловое: скоро отъезд! все ли ты успела?

Увы, далеко не все! Не выбралась в Ковдор, откуда идет руда на наш Череповецкий металлургический комбинат, не увидела, как зачинается атомная электростанция, не побывала в заполярных парниковых и животноводческих хозяйствах, не удалось съездить в Иоканьгу, чтобы поклониться памяти погибших в ее голых скалах (плыть туда по зимним условиям трудно, можно застрять), не хватило времени на поездку в Ловозеро, к саамским оленеводам, и даже в архивах не покопалась как следует.

Накануне отъезда я все же сбежала в архив и погрузилась в пожелтевшие, выцветшие документы пятидесятилетней давности. Жизнь не раз заставляла меня собирать все, что свидетельствует о первых месяцах революции на Мурмане, о деятельности и гибели моего отца. Я неплохо знаю документы центральных архивов, но и в небольшом мурманском архиве среди известных материалов то и дело мелькало что-то новое, пусть штришок, подробность… Какая сила убедительности заключена в старых документах! Какой революционный заряд хранят клочки бумаги с неумело, от

руки, написанными протоколами и резолюциями! Небывалая эпоха говорит в них сотнями возбужденных голосов, все противоречия, заблуждения и открытия, безоглядная смелость и решимость поднятых революцией масс — все отражено в них, если вчитаться и вдуматься. Они кричат и шепчут, перекликаясь между собой, сталкиваются и спорят, дополняют и проясняют… и все взывают к историкам: вчитайся! вдумайся! Вот как оно было, вот как боролись, гибли и побеждали люди, вот как они н а ч и н а л и… Изучи же нас! Пойми!

Когда я вышла из архива, был поздний вечерний час, какие бывают только на севере в начале белых ночей: легкий сумрак между домами, светлое небо, особая отчетливость линий и красок. Моя гостиница была за углом, но я свернула в другую сторону, на свидание с городом моего детства, и среди множества людей, заполнявших улицы, была, наверное, единственным человеком, перенесшимся на полвека назад, в самое н а ч а л о того, что так разрослось сегодня. Я шла мимо больших каменных домов, а видела одноэтажное здание нашего комсомольского клуба с замазанной надписью «Боже, царя храни!» — он стоял где-то здесь, а исчезнувшая горка была то ли слева, то ли справа, но ведь была же! Затем я оказалась перед массивным Домом междурейсового отдыха моряков и остановилась, охваченная внезапным волнением, потому что именно здесь когда-то стояли рубленые дома штаба и Центромура, а в рощице за штабом был похоронен мой отец. Вот и уцелевшие от былой рощицы березы — низкорослые, с изогнутыми стволами, с замшелой корой. Мне рассказывали, что в довоенные годы, когда Мурманск начал быстро отстраиваться, командующий Северным флотом приказал с воинскими почестями перенести прах моего отца на кладбище, а в войну немецкие бомбы так перепахали кладбище, что ни одной могилы не сохранилось. Но разве дело в сохранении надгробия?!

Размышляя на такую невеселую тему, я медленно шла куда ведут ноги, и вдруг где-то между улицей Шмидта и улицей Ленина оказалась среди уцелевших деревянных домишек старого Мурманска и увидела в просвете узкой улочки прежние густо-лиловые сопки того берега. Казалось, стоит пройти еще немного — и я увижу «фанбарак № 3» и глубокий овраг за ним, а из-за угла возникнет знакомая фигура в длинной армейской шинели, и над рыжеватой щетинкой небритых щек светло улыбнутся присматривающиеся ко мне сощуренные глаза Коли Ларионова.

— Ну, как ты, Верушка? — спросит он.

— Все в порядке, Коля. Только дряни многовато, еще не

перевелась. А ведь мы мечтали уничтожить на земле все горе, всю пакость, какая есть!

У Коли знакомо похолодеет, ожесточится взгляд:

— Разве вы отказались от такой задачи?

— Нет! — воскликну я. — И не откажемся! Но это так трудно! Ты это понимал, наверное, ты говорил: нашей жизни не хватит. А я тогда не поверила тебе, думала — жизнь длинная, все успеем.

— У меня она короткая, — дрогнув губами, тихо скажет Коля.

Я вгляжусь — ну совсем не изменился с тех пор, как я видела его в последний раз, в Ленинграде. Молодой, увлеченный новой работой, он тогда изумился: «Ты не была в Новгороде? Приезжай обязательно, это ж такой город — и древний и новый! А люди у нас какие! Познакомлю с женой, вместе все тебе покажем».

Коля, Коля! В Новгород я попала много позже, а с твоей женой — нет, не женой, а вдовой — познакомилась совсем недавно, погрустили вместе о тебе. Седая она уже. А ты не постарел. Мертвые не стареют… Но знаешь, Коля, в Новгороде не забыли своего комсомольского вожака, и в нынешнем Мурманске тоже помнят, в кабинете Володи Пожидаева висит большая групповая фотография, ты — в центре, правда, мало похожий, при увеличении снимок перечернили, и ты превратился в брюнета. Но имя твое и дела помнят…

Так мысленно поговорив с Колей Ларионовым, я повернула за угол — ни «фанбарака № 3», ни оврага, да и деревянные дома, если приглядеться, гораздо более поздней постройки, может, даже послевоенной? Ведь Мурманск бомбили и жгли, жгли и бомбили, в краеведческом музее есть большая фотопанорама города, только вышедшего из долгого боя: развалины, остовы сгоревших зданий, трубы над пепелищами… Не один раз, а дважды заново строился Мурманск.

Когда я вернулась в гостиницу, ко мне устремилась дежурная:

— А я жду вас, жду! К вам приходил капитан дальнего плавания, говорит, знал вас еще в детстве! Очень хочет встретиться с вами! Я дала ваш телефон, вы уж, пожалуйста, не уходите из номера, он будет звонить.

Спустя час я пришла в гости… не знаю, как сказать, вероятно так: к одному из прежних мурманских мальчишек. Ребят в те давние годы было совсем немного: ни завербованные строители железной дороги, ни военнослужащие, как правило, семей не привозили, семьями жили только постоянные жители — портовики, железнодорожники, разный конторский люд. Ребята знали друг друга если не по именам, то в лицо, потому что катались на санках и на лыжах с тех же склонов, ходили за черникой и морошкой в те же ягодные места, встречались раз в

год у одной и той же рождественской елки. Так вот, я пришла к одному из тех мальчишек. Узнать? Где там! Передо мною пожилой капитан, ходивший в Канаду и в Индонезию, в Буэнос-Айрес и Шанхай, — Андрей Анатольевич Назарьев, за долгую моряцкую жизнь не менявший порта приписки — Мурманска — ни в дни мира, ни в дни войны. Он недавно оформился на пенсию и теперь будет водить теплоход «Петродворец» в туристские рейсы — Иоканьга, Белое море, Соловки…

Удивительная штука — встреча через пятьдесят лет! Сидишь в гостях у совершенно незнакомого человека, он угощает диковинной, из антарктических морей, вкуснейшей рыбой по фамилии к л ы к а ч, по прозвищу — белая семга. Говорим о том, о сем. Профессия приучила меня быстро находить общий язык с новыми людьми, но тут нечто другое — и незнаком человек, и знаком, даже близок. Кто еще помнит, как мы ходили, бывало, за три-четыре километра на Семеновское озеро и в летние дни вопреки строжайшим запретам родителей рисковали купаться в нем — ох и холодрыга была! А где оно, то озеро?

— Вы же ездили мимо к военным морякам! Вспомните, проезжали кварталы девятиэтажных домов, а между ними — каток. Не заметили?

Ну как же, видела эти кварталы, за которыми тянутся и тянутся другие новые кварталы под трехзначными номерами (в одном из них живет Наташа), видела и каток, где носились с клюшками будущие Старшиновы и Мальцевы. Так это и есть Семеновское озеро?

А наш овраг? Назарьев вспоминает, что по праздникам не только дети, но и взрослые катались на санях с его крутых склонов — аж дух захватывало! Было так? Да, было! Усядется взрослый дяденька на санки, тебя пристроит перед собой, кто-то сзади подтолкнет — и ухаешь вниз, вниз, а у дяденьки ноги в валенках раздвинуты наготове, чтобы затормозить, иначе улетишь бог знает куда.

А Назарьев уже припомнил детские утренники с елкой, которые устраивала в Морском клубе моя мама.

— Все до единого ребятишки сбегались на утренники! Для многих это было единственным праздником в году! А вашу маму я до сих пор помню, как она с нами плясала, играла, вокруг елки хоровод водила… Она жива?

— Нет. В блокаду. От голода.

Потом мы идем по ночному Мурманску, и впервые все, что я искала и не могла найти, расставляется «по местам», потому что Назарьеву не надо гадать — все малые и огромные изменения города происходили при нем.

— Вот тут, на месте стадиона, и был наш овраг. А наша горка была вот здесь, ее срыли бульдозерами, когда засыпали овраг и выравнивали подъезды к вокзалу. Ваш фанбарак номер три стоял тут, два их было одинаковых, верно? Теперь, видите, на их месте площадь Пяти углов. Бараки держались долго, они сгорели от бомбежки, в войну.

Я спрашиваю, не помнит ли он Колю Истомина, организатора «Восхода солнца», одного из первых комсомольцев, — в обкоме комсомола меня спрашивали, кто он был, а я знаю только, что он жил в железнодорожном поселке. Коля Истомин? Такой худенький, черненький, шустрый? Конечно, Назарьев знал его, отец Коли работал в порту, но жили они действительно у станции, только старый деревянный вокзальчик стоял гораздо ближе к заливу, чем нынешний каменный. Коля Истомин любил футбол, верно? Он и его друзья часто гоняли мяч по пустырю — ну, вот тут, где теперь здания облисполкома, обкома, краеведческого музея…

Так мы стояли на перекрестке ночных улиц — заслуженный капитан дальнего плавания и ветеран первого комсомольского поколения — и, жестикулируя, восстанавливали географию детства. Тихо было вокруг нас — Мурманск уже спал. Мороз пощипывал наши лица — днем подтаивало, оседал набрякший влагою снег, на солнечной стороне с крыш срывалась первая робкая капель, а к ночи прихватил крепкий морозец. Север есть север. И, как бы подтверждая это, над куполообразной крышей городского плавательного бассейна в небе прощально вспыхнуло северное сияние — не многоцветное, победно охватывающее полнеба, как зимой, а тоже робкое: занялось над сопками, развернуло над ними блеклую золотистую ленту, лента покачалась, свиваясь и развиваясь, и растаяла, только один светящийся столбик еще недолго трепыхался под самой Северной звездой, потом и он погас.

Не знаю почему, но именно там, на ночной улице, я поняла, что не могу расстаться с Мурманом, не написав своего «Путешествия через пятьдесят лет» к местам отрочества, где тогда, в крутоверти громадных событий, рождалась новая судьба холодной Кольской земли да и моя непредвиденная судьба… Впрочем, можно ли ее считать такой уж непредвиденной?

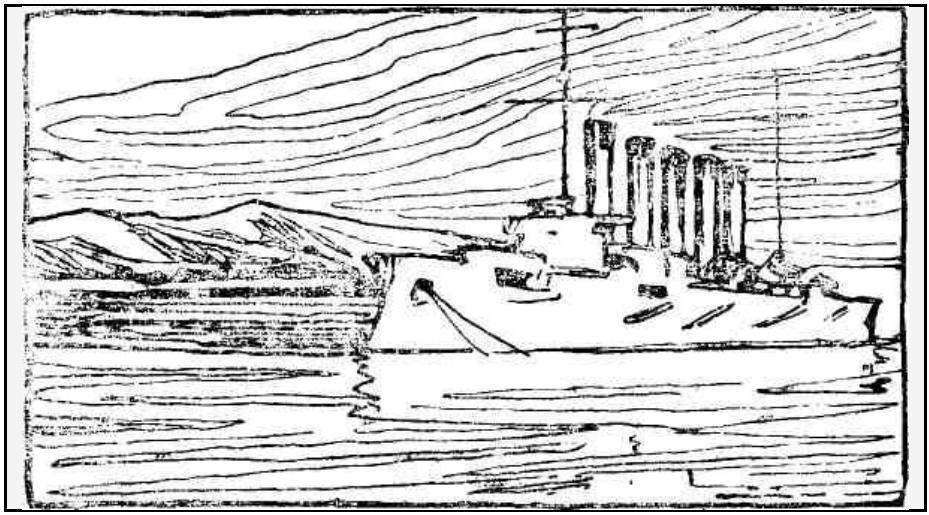
Все в жизни предопределяется предшествующим развитием, ничто не происходит «вдруг», ни с того ни с сего. Как бы ни был крут перелом, толкнувший отца навстречу революции, а не против нее, жизнь, видимо, исподволь закладывала в его сознание и совесть добрые семена, которые проросли в почве, перепаханной революционными потрясениями. Я в этом уверена,

потому что знаю отца. Могут сказать: детское восприятие еще не есть знание. Конечно. Но разве ничего не значат основы повседневного отцовского воспитания, разве они не отражают существа его личности?! А ведь они, эти основы, были отнюдь не обычными в офицерской семье дореволюционной России! С младенчества он учил нас, девочек, быть самостоятельными, прямыми, смелыми, выносливыми, он внушал нам — нет ничего хуже кисейных барышень, готовьтесь не к балам и светской жизни, а к выбору профессии по душе, к труду на пользу людям и родине, иначе человек не человек… Свой главный жизненный шаг — в революцию, в комсомол — я сделала сама, и уже после смерти отца, но разве его не подготовили и отцовские воздействия на детскую душу — с тех, первых, и вплоть до последних уроков — приятие Советской власти, начальные созидательные усилия на Мурмане, гроб под красным флагом?..

Любому непредубежденному человеку должно быть ясно, что, будь отец не тем, кем он был, наша жизнь и при нем, и после него пошла бы по иным рельсам, как она пошла после революции у сотен тысяч офицерских семей — неприятие революции, белогвардейщина, эмиграция. Не случайно ведь севастопольские девочки, с которыми мы встречались на утренниках в Морском собрании и на прогулках, все до единой оказались в Константинополе, в Париже, в Марселе и бог знает где еще!..

Вот о чем я думала в предотъездную ночь на перекрестке мурманских улиц, стоя как бы на невидимом рубеже, откуда можно спокойно обозреть прожитую жизнь, потому что именно здесь, в Мурманске, было начало всему, что ее заполнило и одухотворило. И еще я подумала, что детские и отроческие воспоминания о том начале, о сложнейших событиях сложнейшего времени недостаточны, в чем-то, быть может, непонятны сегодняшним читателям, и мне все же придется совершить второе, особенно трудное для меня путешествие — назад, в историю, где моими помощниками и собеседниками будут документы, прежде всего документы.

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ (В ИСТОРИЮ)



Итак, я должна вернуться в те же места и к тем же событиям, которые уже вспоминала, — как они вделись в детстве. Взрослыми глазами наново прочитать одну жизнь — жизнь отца, — не умалчивая о том, что хотелось бы вычеркнуть, и не преувеличивая того, чем я вправе гордиться.

Пусть фигура моего отца не так уж заметна, а мурманские события первых недель революции лишь малая частичка огромных событий, потрясших мир, — все же и они имели значение в общем ходе истории. В частных судьбах и событиях отразились сложнейшие процессы революционной эпохи. Их нельзя оскорблять ни ложью, ни полуправдой. Их надо изучить без высокомерия и понять такими, какими они были в т о й обстановке и в т о м времени.

Я долго не решалась взяться за непривычный труд, надеясь, что рано или поздно это сделают без меня. Да, рано или поздно… А если поздно? Если другие темы оттеснят частную, мурманскую?.. Ведь уже есть книги и диссертации с неверными, бездоказательными утверждениями, их читают с полным доверием молодые историки, студенты, да и все, кого почему-либо заинтересуют «дела давно минувших дней» на Мурмане. Вышел же роман, опирающийся на изложенные в этих книгах неверные концепции!

Признаюсь, в молодости я попросту отмахивалась: порвала со

своим классом ради борьбы за коммунистические идеалы, так какое мне дело до родственных корней! Смотреть хотелось только вперед.

Однако на моем пути не раз попадались люди, смотревшие назад, только назад. И мне не раз приходилось — всегда в самые тяжелые периоды жизни — отбивать чудовищные упреки в том, что я дочь контрреволюционера! Как ни тяжело давалась борьба с ними, эти наскоки принесли своеобразную пользу — они буквально з а с т а в и л и меня всерьез заняться изучением давней истории. Параллельно со мною таким же изучением вынужденно занимались комиссии нарастающей авторитетности. Изучив все материалы, комиссии каждый раз приходили к выводу, что мои обвинители не правы. Отряхнувшись от пережитого, я снова с размаху бросалась в жизнь — в сегодняшнюю, горячую… Добиться того, чтобы эти выводы стали общеизвестными, не были схоронены в архивных папках? И руки не доходили, и казалось — дочери неудобно настаивать…

В одну из годовщин освобождения Ленинграда от блокады на вечере в Музее города выступал с воспоминаниями персональный пенсионер, в годы войны руководивший одним из ленинградских предприятий. Преодолевая одышку, он говорил по-стариковски долго, перегружал рассказ подробностями… Это мешало восприятию, хотя рассказывал он о делах героических. После него дали слово мне. Когда я кончила, старик подошел и, здороваясь, с улыбкой сказал:

— Вот, значит, кем стала одна из мурманских девочек с косичками!

Передо мною был Тимофей Дмитриевич Аверченко, тот самый комиссар Аверченко, чье имя некоторые историки, не утруждая себя доказательствами, сопровождали довесками — «эсер» и «некий»… Много лет он защищался как мог и умел. Слушая его, я понимала, что он оскорблен и обижен до потери самообладания, но опровергнуть обвинения логично, с документами в руках вряд ли в силах.

Спустя несколько лет я получила от Тимофея Дмитриевича письмо — он просил навестить его в дачном поселке старых большевиков на озере Долгом. Разыскав дачу, я не сразу узнала Аверченко, так он одряхлел. Руки его тряслись, когда он передавал мне экземпляр своих воспоминаний и своего ответа историку Тарасову.

— Неужели я так и умру с этим клеймом?..

К счастью, он успел получить сборник документов «Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане», положивший начало реабилитации его имени, но не дожил

буквально недели до выхода обстоятельного исторического труда «Очерки истории Мурманской организации КПСС», где правдиво сказано и об отдельных ошибках молодого большевика, и о заслугах его, о том, как Аверченко вместе с другими большевиками возглавлял выступления рабочих и матросов против начинающейся интервенции.

— Вот, написал как сумел, — проворчал он, сидя на крылечке дачи и коротко, трудно дыша, — а вы, писатель, почему вы-то не пишете? Или вам все равно, что отца зря порочат?

Глядя на его отечное лицо, окруженное редкими седыми волосами, я вдруг остро почувствовала свою вину и перед ним, и перед другими мурманцами, потому что большинства из них уже нет в живых или они не умеют опровергнуть ложные концепции некоторых историков, а ведь эти ложные концепции порочат не только моего отца, но и многих большевиков, матросов, рабочих, причастных к мурманским событиям!.. Глядя на состарившегося Тимофея Аверченко и вспоминая давнего, двадцатишестилетнего, в лихой кожаной кепочке, я до зримости ясно представила себе, как молода и неопытна была наша революция, какие неподготовленные, но преданные революции пласты народные она подняла к активной политической жизни и как в вихре небывалых событий эти рядовые борцы на ощупь находили решения, спотыкались, обжигались, снова бросались в бой и в боях мужали, в боях учились… Как же бережно, с каким пониманием п е р в о н а ч а л ь н о с т и их опыта должны мы относиться к их именам!

Примерно тогда же мне написал Александр Михайлович Ларионов. Мурманский Ларионов-старший, соратник и однофамилец Коли, начальник контрразведки Мурманского укрепрайона и одновременно секретарь уездкома партии в 1920—1922 годах.

> «Вы обязаны, — писал он, — рассказать правду о своем отце и о мурманских событиях, вы же знаете отца и лучше других можете понять его!»

Вот ведь как бывает. Не я его, а он меня нашел и потребовал, чтобы я защитила от поклепов имя отца. Почему? По существу, мы незнакомы с Александром Михайловичем. Вряд ли он помнит в лицо девчонку-комсомолку, которую видел мельком на собраниях и субботниках, да и я представляю его себе — крутолобого, в энергичных морщинах — только таким, каким увидела на газетном листе в день его семидесятилетия рядом со статьей, удачно названной «Неугомонный».

«Вы знаете отца и лучше других можете понять его», —

написал Неугомонный. А я вчитывалась в строки статьи и старалась понять его самого…

Передо мною возник крестьянский паренек с берегов холодной Онеги, упорный паренек, сызмала закаленный трудом на северной неласковой земле, от которой вполсилы ничего не возьмешь. Шла первая мировая война, мужиков в селе становилось все меньше. Забрили и Сашу Ларионова, но отправили не к фронту, а от фронта — в Иркутск. Сколько он увидел, услышал, продумал на долгом пути через Сибирь! В родном Подпорожье его мир ограничивался кругом односельчан, а тут — множество людей с иным жизненным опытом и новыми для Саши мыслями, невиданные места и немыслимые просторы: едешь сутки, едешь неделю, едешь две недели — и все Россия, все Россия!.. В Иркутске его определили в школу прапорщиков. В те времена говорили: «Курица не птица, прапор не офицер!» Как их косила война, этих юных прапорщиков! Краткосрочные школы военного времени не успевали восполнять убыль…

Наскоро обучив, Ларионова отправили на Юго-Западный фронт. Эшелон тащился через всю страну, а страна раскачалась, растревожилась, гудела митингами, искала путей и решений… Шел 1917 год. Много ли понимал в политике юный прапор? Понимал мало, но пытливо прислушивался, приглядывался, искал, где правда. В 306-м Мокшанском пехотном полку, куда он прибыл, солдаты уже много месяцев изнывали в сырых окопах возле речки Стоход. Их усталость и злоба были Ларионову понятней и ближе, чем разговоры офицеров о войне до победного конца. Может, он еще и не осознавал своего места в борьбе, но, когда грянула Октябрьская революция — «Долой войну!», «Вся власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!» — это была его революция, его власть. Офицеры разбежались кто куда, солдаты сами выбирали себе командиров, и 11-я рота выбрала прапорщика Ларионова.

Но царская армия разваливалась неудержимо, демобилизация только узаконила стихийный процесс. Тут и там уже сколачивались части новой, Красной Армии, на забитых солдатами станциях агитаторы в кожанках и шинелях охрипшим голосом призывали встать на защиту революции… Я стараюсь себе представить Сашу Ларионова на одной из таких станций — я их видела из окна вагона в ноябре 1917 года, — но ярче собственных детских впечатлений вспоминается рассказ одной замечательной женщины, комиссара гражданской войны Елены У., о том, как она, двадцати лет от роду, на большой узловой станции призывала солдат в Красную Армию:

— На перроне ступить некуда, тут и спят, и едят, и вшей

давят, кто что. Влезла я на какие-то ящики, кричу: «Товарищи солдаты! Товарищи солдаты!» — какое там, никто слушать не хочет: заткнись, не жужжи как муха. Вид у меня, конечно, несерьезный, голос тонкий, но делать-то нечего, нужно! Я взываю к их сознательности, а они… уйди ты, кричат, и самыми дурными словами… в общем, послали подальше. Убежать? Разреветься? Так ведь поручение партии! И тогда с отчаянья я припомнила все дурные слова, какие когда-либо слышала, и разом выпалила их. Подряд — да во весь голос. Раздался такой хохот! Уж мне потом объяснили, что я все перепутала… Но дело сделала. Окружили меня: а ну, давай! И тут я им выложила все — дескать, генеральская контра задушить нас хочет, революция в опасности, а вы, такие-сякие, расселись тут, девушку оскорбить умеете, а революцию предаете!.. В общем, девяносто человек ушли со мною в Красную Армию, хорошие были ребята, со многими мы потом дружили.

Попадались ли Саше Ларионову такие беззаветные агитаторы на длинном пути от реки Стоход до реки Онеги? Видимо, нет. Или он еще не был готов к борьбе за революцию? Или все пересилило властное желание — домой, в родное село, где по справедливости делят землю и приходит конец мироедам?.. В родном селе Сашу как фронтовика и человека грамотного выбрали председателем волостного исполкома.

Если до этого жизненного рубежа мне приходилось угадывать, что понимал и как решал Саша Ларионов, то с этого апрельского дня 1918 года его жизнь ясна: он рос в темпе событий — месяц за год. В конце июля в Архангельске взяли верх белогвардейцы, прикрываемые чужеземными пушками, английские войска вместе с беляками высадились в низовьях Онеги и поперли в глубь страны… Ларионов, не раздумывая, вступил в партизанский отряд В. Гончарика. Гончарик разглядел в новом бойце и ум, и надежность, и вот эту неугомонность характера — не в бой и не в поход с отрядом, нет, послал он Ларионова обратно в Подпорожье с разведывательным заданием. И не ошибся. Через месяц Ларионову доверили командовать другим партизанским отрядом, Онежским, и где-то между боевыми действиями Ларионов вступил в члены партии большевиков, а когда партизанские отряды влились в регулярные части Красной Армии, стал Ларионов начальником разведки 18-й дивизии 6-й армии, не раз проникал во вражеский тыл, смело шел к обманутым солдатам белой армии — разъяснял им правду.

Вот как сложился жизненный путь Александра Ларионова до осени 1920 года, когда в освобожденном Мурманске он так естественно стал заводилой самых главных дел, что его вскоре

избрали секретарем уездного комитета партии.

Ну а п о с л е? После двух с лишним лет, проработанных на Мурмане?

Биографическая справка скупа, но мне знакомы и милы такие люди, рядом с ними, бок о бок, прошли и мои полвека, я их наблюдала, познавала всю жизнь в родном Ленинграде и на Сахалине, в Комсомольске-на-Амуре, в шахтерском Донбассе, в Москве и в Мингечауре, на стройках Сибири и Заполярья — и даже на берегах Янцзы и Нила. Без них, без таких людей, обеднел бы и мой внутренний мир, они, говоря профессиональным языком, — главный материал моего литературного труда.

Простое слово н у ж н о — определяющее слово всей их жизни.

Началась индустриализация страны. Ларионов создает первую на севере тракторную базу… Организует Северную опытную станцию по механизации лесозаготовок… Управляет трестом «Севхимлес»… Строит первый в стране опытный гидролизный завод в Цигломени, под Архангельском… Хорошая, целеустремленная жизнь! Про таких людей иногда говорят — вышел из народа. Нет, такие люди и есть н а р о д, его активное, жизнеобразующее ядро.

…Да, так почему же Ларионов, прожив после Мурманска еще полвека, нашел время и охоту вступить в спор с первыми историками мурманских событий, и даже написать большую «Историческую справку о К. Ф. Кетлинском», и добиваться установления исторической истины вопреки авторам иных книг и диссертаций?

Я много раз задумывалась над этим «почему?». А перелистала его жизнь и поняла: потому что у Александра Михайловича Ларионова совесть и энергия большевика, он не может промолчать, когда доподлинно з н а е т, где истина, а где ложь. То, что я предполагала по детским воспоминаниям, он доподлинно установил как партийный руководитель и как разведчик — прошел по свежим следам событий, изучил свидетельства участников и документы, а затем все проанализировал — вдумчиво и заинтересованно, потому что ему близка и дорога та эпоха и люди, жившие в т о й эпохе, с их тогдашними заблуждениями и убеждениями. Он повидал в жизни немало специалистов — военных и невоенных — и хорошо знал, как непрост был их путь в революцию. Он сам начинал рядовым бойцом, а потому прекрасно понимал первых мурманских большевиков и оценивал их поступки без высокомерия.

Как не хватает некоторым историкам такого вдумчивого, непредвзятого отношения к прошлому! Вот ведь читают они,

наверное, Алексея Толстого, Шолохова, Лавренева и многих других писателей, воссоздавших судьбы людей в революции, смотрят пьесы Тренева, Булгакова, Погодина и прекрасно понимают историческую сложность тех бурных лет, крутую ломку человеческой психологии и человеческих судеб, воспринимают и сомнения, и озарения, и душевные переломы… А когда речь идет не о литературе, отразившей процессы жизни, а о самой жизни — те же люди порой становятся слепы и глухи, обвиняя своих предшественников в непонимании того, что установил лишь последующий опыт!

Октябрьская революция жестко разграничила классы и столкнула их в беспощадной борьбе, но коренной переворот, который она совершила в истории, открывал перспективу всему человечеству. Как же не понять, что могучее воздействие великого переворота, его идей, его бесстрашных деяний покоряло и притягивало многих людей, поначалу далеких, даже чуждых революции?!

Судьба офицера царского флота, военного интеллигента в революции, в обстановке первоначального, часто стихийно-революционного творчества масс — вот что я попытаюсь разглядеть в этом своем путешествии назад, в прошлое.

Жизнь отца… Передо мною кипы документов, начиная с офицерского послужного списка — свода назначений, плаваний и боев. Многие события этой жизни с детства закрепились в памяти, и все же мне гораздо труднее понять родного мне человека, чем, скажем, Ларионова! Другое время, другая среда…

Почему мальчика, выросшего в семье скромного врача в Карпатах, вдруг потянуло к морю, которого он не знал, на морскую, на военную службу? Как бы там ни было, четырнадцати лет от роду он поступил в морской кадетский корпус, в 1895 году закончил его и начал службу на Черном море, специализируясь как артиллерист. По-видимому, он стал знающим специалистом, в 1900 году его командировали в Америку на строящийся для нашего флота броненосец «Ретвизан» наблюдать за установкой артиллерийских систем. Наверно, сыграло роль и то, что он владел тремя языками — английским, французским и немецким.

Спустя два года на вступившем в строй «Ретвизане» лейтенант Кетлинский совершил переход через Атлантику в Балтийское море, а затем длительное плавание на Тихий океан, в Порт-Артур. Приближалась русско-японская война…

Читаю выписки из дневника старшего минноартиллерийского содержателя «Ретвизана», который он вел (и весьма откровенно) в Порт-Артуре; Аркадий Алексеевич Денисов дожил в Ленинграде до преклонного возраста, после его смерти сын, Алексей

Аркадьевич, нашел в бумагах отца дневник, любезно показал мне места, где упоминается Кетлинский, а затем предложил дневник Военно-Морскому архиву.

Взволнованно и раздраженно пишет Денисов, как он вместе с лейтенантом Кетлинским добивался изготовления приборов для наведения пушек, «так как имеющиеся у орудий часто ломаются, а запасных не имеется»:

> «Несмотря на всю их важность и на то, что «война на носу», наряд на выделку их был дан после переписки, длившейся около месяца, и после двукратных личных просьб у идиота главного артиллериста подполковника Трофимова, который, не понимая важности вопроса и будучи всецело преданным формализму, твердил одно и то же: «По штату не положено».

Далее Денисов пересказывает разговор на катере двух офицеров, Кетлинского и Шереметьева, возвращавшихся с ним вместе на «Ретвизан» вечером 26 января 1904 года, то есть за несколько часов до внезапного нападения японцев. Обсуждалась новость — переговоры с Японией прерваны, японский посланник покинул Петербург. Лейтенант Кетлинский (ему шел в ту пору двадцать девятый год) утверждал:

> «Япония во что бы то ни стало желает войны и начнет ее теперь немедленно, и отозвание посланника нужно понимать как объявление войны и других объявлений ожидать было бы глупо. Ну, рассудите, неужели японцы настолько рыцарски вежливы, что придут к нам на рейд и пришлют объявление — вот-де мы вызываем вас, господа русские, на бой — давайте драться! (Все бывшие на катере засмеялись.) Нет, — продолжал Кетлинский, — ждать еще каких-то объявлений было бы преступно глупо, теперь нам немедленно нужно напасть на их флот или же ждать начала войны со стороны японцев, но ждать в полной боевой готовности И со всевозможными предосторожностями…»

Видимо, иллюзии были еще сильны — его собеседник считал, что японцы не решатся напасть без предварительного объявления войны, так как «слишком дорожат мнением Европы». Впрочем, он сообщил о некоторых мерах предосторожности — якобы наместник приказал сегодня ночью выйти в море двум кораблям, «Палладе» и «Диане»…

«— Ага, следовательно, наконец и наши правители начинают сознавать серьезность положения, — отвечал Кетлинский, — ну а в отношении сетевого заграждения ничего не слышно, сегодня не придется ли его ставить?

— Нет, сети ставить Наместник запретил потому, что этим мы покажем японцам, что мы их боимся…»

С горечью пишет Денисов о том, что «Паллада» и «Диана» так и не ушли в дозор. На кораблях «все спало и дремало»… Денисов тоже лег и уже задремал, когда от страшного удара в борт броненосца его выбросило из койки — это японские миноносцы, ворвавшись на порт-артурский рейд, произвели минную атаку на лучшие корабли эскадры, нанеся серьезные раны «Палладе», «Цесаревичу» и особенно «Ретвизану»…

Несколько страниц дневника посвящено описанию паники, поднявшейся среди ошеломленных матросов и офицеров, спросонок не понимавших, что произошло. Вода хлынула через огромную пробоину, свистел пар, вырываясь из пробитых труб, погас свет, корабль кренился…

«Господа офицеры отличались от матросов еще большим испугом и растерянностью и были похожи больше на барышень в мундирах, чем на мужчин… Но не могу сказать, что все они были негодяи и бездарные трусы, были действительно исключения…

Крен в это время достигал до 18 градусов, и на палубе стоять было невозможно. Вода достигла до открытых пушечных портов левого борта и готовилась хлынуть в них, после чего наша гибель была бы неизбежна. Но в это время лейтенант Кетлинский совместно со старшим комендором Спрудисом уже принимали меры предотвращения этой опасности путем затопления патронных погребов правого борта».

В послужном списке Кетлинского записано:

«Награжден золотою саблею с надписью «З а х р а б р о с т ь» за проявление особого мужества во время внезапной минной атаки на эскадру Тихого океана 26 и в бою 27 января 1904 г.».

Артиллерист Кетлинский не раз упоминается в романе А. Степанова «Порт-Артур». Его отметил как отличившегося во время перекидной стрельбы знаменитый адмирал С. О. Макаров — перекидная стрельба с порт-артурского рейда

через Ляотешанские высоты по невидимой цели была тогда артиллерийской новинкой. Огонь вели орудия «Ретвизана» и «Победы» по японским броненосцам.

Вот что пишет адмирал Макаров:

> «Стрельба наша была настолько меткой, что снаряды ложились близ неприятельских судов, а один из них попал в «Фуджи», что и заставило неприятеля прекратить бомбардировку».

В послужном списке Кетлинского записано:

> «Участвовал в сражениях 26 и 27 января, 10, 11 и 26 февраля 1904 года; 9 марта, 2 апреля 1904 года, обстреливаниях с моря японских позиций в мае, июне и июле 1904 года, выход и траления японских мин 10 июня, в морском бою 28 июля 1904 года, контужен был 26 февраля 1904 года и получил ожоги, 16 мелких ран в бою 28 июля 1904 года».

Последняя запись говорит о тяжелом многочасовом бое, известном в новой исторической литературе как морской бой 10 августа, когда наша эскадра пыталась прорваться из осажденного Порт-Артура во Владивосток. Лейтенант Кетлинский в качестве флагманского артиллериста походного штаба был на броненосце «Цесаревич», на мостике, где стоял командующий эскадрой контр-адмирал Витгефт.

> «Броненосцы и броненосные крейсера неприятеля вели огонь главным образом по «Цесаревичу», стараясь вывести из строя флагманский броненосец русских и нарушить управление эскадрой.
>
> …В начале шестого часа 12-дюймовый снаряд противника разорвался между верхним и нижним мостиками в середине фок-мачты и произвел сильные разрушения. Мостик, где находился командующий и некоторые офицеры его штаба, заволокло дымом; Витгефт был разорван (тело его не нашли)… Большая часть офицеров, находившихся на мостике… были тяжело ранены…» — так рассказывает А. И. Сорокин в своей книге «Оборона Порт-Артура».

В трудах Исторической комиссии Морского генштаба «Русско-японская война 1904—1905 гг.» в числе раненых дважды упоминается и лейтенант К. Ф. Кетлинский.

После бесславного окончания войны отец вернулся на Черное море. Что он извлек из тяжкого опыта войны?.. Стала очевидной «несовместимость самодержавия с интересами всего общественного развития, с интересами всего народа», о которой писал Ленин после падения Порт-Артура. В войне царизм саморазоблачился — все мыслящие люди России это ощущали, хотя не все доходили до осознания неизбежности его революционного разрушения. Наверно, и отец этого не осознавал, но отсталость всей военной организации, необходимость ее перестройки с учетом новых требований и новой техники — это, конечно, хорошо понял.

Его послужной список тех лет заполнен записями о работе в разных комиссиях — по выработке наставлений о подготовке судов и эскадры к бою, нового свода боевых сигналов, по производству опытных артиллерийских стрельб, по выработке новых программ для артиллерийских классов, по установке оптических прицелов и т. д. Он и сам преподавал в артиллерийской школе. Затем, в 1909 году, его назначили старшим офицером на новый минный корабль «Иоанн Златоуст».

Каждый, кто хоть немного соприкасался с флотом, знает, что должность старшего офицера — неприятная должность: дотошное наблюдение за чистотой и порядком во всех уголках корабля, любые конфликты, провинности и наказания — все проходит через его руки, ему полагается быть педантично требовательным. Тем приятней рассказать случай, который, как штрих, что-то проясняет в еще неясном портрете.

Сообщил мне о нем поэт Борис Лихарев незадолго до войны. На литературном вечере — то ли на заводе подъемно-транспортного оборудования имени Кирова, то ли во Дворце культуры, где собралось много работников этого завода, — к Лихареву подошел пожилой человек: «Появилась у вас писательница Кетлинская, не был ли ее отец морским офицером на Черном море?» Борис Лихарев подтвердил и поинтересовался: кто вы и почему это вас интересует? Человек ответил, что сейчас директорствует, а в молодости был матросом, арестовывался за революционную пропаганду, потом служил на минном корабле «Иоанн Златоуст».

И тут он поведал случай, который пересказал Мне Борис Лихарев. В двойном пересказе возможны неточности, но я ручаюсь, что передаю суть происшествия и диалог в каюте старшего офицера так, как услышала от Лихарева:

«Поймали меня на распространении революционных листовок, при обыске нашли в моем рундучке, под бельем, еще пачку. Вечером приказывают: иди к старшему офицеру. Старшим

был Кетлинский. Команда его любила, справедливый он был, с матросами на «вы», но все же офицер! А за мною хвост еще из Питера — за неблагонадежность выгоняли с завода и арест на флоте… Струхнул, конечно, — следствие, трибунал, тюрьма, а то и каторга… Прихожу, стучу в каюту. «Войдите!» Он сидит за столом спиной ко мне. Докладываю по всей форме. Он, не оборачиваясь, спрашивает: «Вы принесли на корабль листовки?» — «Так точно, ваше благородие, я!» — «Вы знаете, что вам грозит за это?» — «Так точно, знаю». Он помолчал, а все не оборачивается, спрашивает: «Вы понимаете, что я д о л ж е н дать этому делу ход?» Опять говорю: «Так точно, понимаю». Ну, молчим. Потом он поворачивается ко мне и говорит: «Я не хочу этого делать. Но вы должны дать ч е с т н о е с л о в о, что больше на этом корабле заниматься такими делами не будете. Подумайте. Не торопитесь». Я подумал и отвечаю: «Честное слово даю!» Он поглядел мне в глаза и строго-строго говорит: «Я вам верю. Можете идти».

— Ну и как же вы потом? — спросил Лихарев.

— Сдержал слово. На э т о м корабле».

Лихарев передал мне записку с фамилией, именем-отчеством и номером телефона бывшего матроса — позвони, он будет рад. Но я в то время ждала рождения сына, потом закрутилась в материнских заботах — и тут началась война, блокада… В послевоенные годы, когда снова пришлось заняться делами давнего прошлого, записки не нашла — затерялась. Пробовала вспомнить фамилию — выветрилась из памяти. Борис Лихарев тоже не мог вспомнить, сказал только, что старый большевик то ли с завода имени Кирова, то ли со «Второй пятилетки», где-то директорствовал…

Попытки найти довоенного директора из матросов долго не приводили к успеху. Людей с похожими данными было немало, но каждый раз что-то не сходилось. К счастью, один из опытнейших ленинградских журналистов посоветовал мне разыскать на заводе имени Кирова старого рабкора Юрьева — он-де всех и вся знает. Позвонила в партком завода и попала прямо на Александра Алексеевича Юрьева…

Об этом человеке надо бы рассказать особо — кажется, все главные события нашей истории за полвека отразились в его биографии. И он действительно знал «всех и вся». Сперва по памяти, потом с проверкой по документам выдвигал он возможных кандидатов, но… тот служил на флоте позже, другой революционной пропагандой на флоте еще не занимался, или занимался, да не было у него «хвоста» неблагонадежности и ареста, или все сходится, но на «Иоанне Златоусте» не служил…

Наконец Александр Алексеевич позвонил мне:

— Нашел! Евстропов Николай Степанович! Все сходится точно. Достану его автобиографию, увидите сами.

Все сошлось точно. Большевик с 1905 года. Работал в железнодорожных мастерских (ныне завод имени Кирова) и до призыва на флот, и после демобилизации. Как неблагонадежного его не раз увольняли, а в 1907 году, сразу по прибытии на Черноморский флот, он был арестован и отправлен в особый экипаж. Через семь месяцев Николая Евстропова списали на новостроящийся «Иоанн Златоуст», где он служил вплоть до 1913 года. Вел на флоте революционную пропаганду, а после Ленского расстрела вместе с другими революционными моряками участвовал в подготовке восстания…

Вся биография Евстропова — интереснейшая биография питерского большевика. Был первым организатором большевистского коллектива в мастерских и депутатом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, добывал оружие для рабочих, в дни Октябрьской революции занимал Варшавский вокзал и телеграф, работал в ЧК, участвовал в обороне Петрограда… Затем учился в Промакадемии и на Курсах красных директоров (были такие в Детском Селе, нынешнем Пушкине!)… До войны директорствовал на асбестовом заводе объединения «Красный треугольник». Умер от голода в 1943 году в осажденном Ленинграде…

Все сходится. Только человека уже нет в живых, чтобы подтвердить — да, это было со мной! Пока не откликнется кто-либо, кто слышал эту историю от самого Евстропова, она, конечно, не может служить неопровержимым свидетельством, но и я ведь не на суде и не сужу отца, а стараюсь его понять. И уж очень эта история достоверна, уж очень похоже на отца и то, как он поступил, и весь стиль его разговора с матросом вплоть до последних слов «я вам верю». Он любил верить людям… но ох как его обманул кое-кто из людей, которым он верил!..

Однако я забегаю вперед. Не знаю, почему артиллериста Кетлинского назначили старшим офицером, но, по-видимому, он обнаруживал больше склонностей к военной науке, а не к командирской карьере, так как в 1911 году был приглашен делать доклад в Морской академии и затем послан за границу для изучения разных флотов, после чего читал в академии курс лекций «Иностранные флоты». В бумагах отца сохранилась программа курса, это анализ состояния разных флотов на фоне экономического и политического состояния государства, а сквозной мыслью курса является мысль о том, что каждый флот имеет свою особую задачу, рожденную экономикой и политикой

данной страны, и поэтому должен развивать те виды кораблей и техники, которые соответствуют его задаче. Лучшим в мире флотом по организации флотской службы он считал английский. Вероятно, по тем временам так оно и было? Или сказалось личное пристрастие? Чего не знаю, того не знаю. Но мне ясно, что, не будь мировой войны, стал бы отец научным работником, тогда вся его судьба повернулась бы по-иному…

Перед началом мировой войны его отозвали на Черноморский флот, правда, с оставлением в штате преподавателей академии. Вернуться к науке ему не пришлось. Почитаемый им английский флот загадочно «пропустил» через все Средиземное море немецкие корабли «Гёбен» и «Бреслау», которые, неожиданно появившись в Черном море, «с ходу» потопили несколько русских транспортов и бомбардировали Севастополь. Так Германия втравила свою союзницу Турцию в войну с Россией, а Англия добилась того, что ее союзница Россия оттянула на себя не только австро-германские, но и турецкие силы!..

Немецкие корабли были быстроходнее русских, поэтому воевать с ними нужно было умно, не ждать нападения, а владеть инициативой. Только не мог начальник оперативной части штаба задумывать и проводить смелые операции, когда над ним сидели бездарные адмиралы!

Я уже приводила строки из горького стихотворения, ходившего на флоте, о медлительности «трех адмиралов» и упоминала докладную записку командующему флотом Эбергарду, написанную отцом. При всей почтительности тона, она весьма резка:

> «Причина всех неурядиц и нежелательных явлений только одна — отсутствие штаба при Командующем флотом. Нельзя же серьезно называть штабом кунсткамеру отдельных лиц, ничем не объединенных, никем не направляемых, среди которых есть талантливые и хорошие работники, способные дать много при другой постановке дела, и люди абсолютно бесполезные, даже вредные. Лебедь, рак и щука».

И дальше:

> «Недавний переход к сложной технике еще держит нас в своих оковах. Мы из-за деревьев не видим лесу. У нас еще до сих пор адмиралы изобретают свои сети… А командование, замысел и решение, управление массой и созидание нужного военного духа — все это какие-то

случайные инциденты, без плана и системы».

В послужном списке Кетлинского записано:

> «Находился в походах и делах против неприятеля в Черном море; в 1914 году 16 октября, 5 ноября и 24 декабря; в 1915 году 22 февраля, 15 марта, 12, 19 и 27 апреля и 25 мая».

Послужной список доведен лишь до середины 1915 года, но и по истории первой мировой войны известно, что особых побед на Черном море не было. Единственная по-настоящему удачная операция была в марте — апреле 1916 года — взятие Трапезунда, отец непосредственно участвовал в ее проведении, координируя боевые действия флота с действиями армий Кавказского фронта. Насколько можно судить по литературе, прошла она легко, а раскачать на нее командование флотом было тяжело.

Участник первой мировой войны А. И. Верховский, впоследствии много лет плодотворно работавший в Красной Армии, дает интересное свидетельство «со стороны»:

> «…Вместо продолжения бесплодных атак на западной границе России надо было сосредоточить усилия на ее Черноморском фронте. Здесь было наиболее слабое звено Тройственного союза. По нему и следовало наносить удар.
>
> Адмирал Каськов… направил меня в штаб флота к начальнику оперативного отдела капитану второго ранга Кетлинскому. Этот высокообразованный офицер был в трагическом положении человека, связанного по рукам и ногам своим ограниченным и боязливым командующим».

Во второй половине 1916 года Эбергарда наконец сняли. На его место прибыл Колчак. Кетлинский получил назначение на крейсер «Аскольд», который ремонтировался во Франции, в Тулоне, и на котором что-то случилось — шло следствие…

На этом заканчивается предыстория. Может быть, она кому-нибудь покажется излишне подробной? Но я должна была уяснить, как же складывался жизненный путь морского офицера К. Ф. Кетлинского до тех событий, что вместились в последние год и четыре месяца его жизни.

Тесно сплетенные с бурным развитием крупнейших исторических событий 1916—1917 годов, они в то же время сплетены и между собою, переходят одно в другое — и кончаются

гибелью отца. Если условно разграничить их, получается как бы пять разделов: тулонская трагедия, переход из Тулона в Мурманск, Октябрьская революция, три послеоктябрьских месяца, обстоятельства убийства…

Вокруг этих пунктов идет спор историков, о них сказано немало верного и немало неверного. Я постараюсь быть предельно объективной и опираться на документы.

Т у л о н с к а я т р а г е д и я. О том, что произошло на крейсере «Аскольд» летом и осенью 1916 года, в советских журналах есть несколько публикаций, среди которых выделяется большая статья известного публициста Д. Заславского «Темное дело» (журнал «Былое», 1923, № 22), — в ней подробно рассказывается, как назревал кризис, породивший трагедию.

С начала войны «Аскольд» конвоировал транспорты в Индийском океане, потом в Средиземном море, где он участвовал в блокаде сирийского побережья и в знаменитой Дарданелльской операции. Служба была тяжелой, в постоянном напряжении из-за новой, особенно пугающей опасности — немецких подводных лодок. Усталость и раздражение привели к падению дисциплины. Офицеры во главе с малоспособным, неумным командиром Ивановым-6 и старшим офицером Быстроумовым, человеком жестоким и грубым, усилили репрессии за малейший проступок, матросы озлобились и считали, что их обкрадывают на питании, на пополнении библиотеки и в судовой сберкассе, где циничный корабельный поп явно мошенничал, принимая вклады матросов франками, а выдавая их по непонятному пересчету на курс рубля.

> «Расшатался механизм крейсера, расшатались и нервы команды, — пишет Заславский… — Атмосфера на судне испортилась, насыщена была недоверием, взаимной враждой, подозрительностью…»

В январе 1916 года «Аскольд» пришел на ремонт в Тулон. После военных тягот и опасностей — шумная жизнь большого порта со всеми его соблазнами… Вслед за командиром, который снял дачу и выписал жену, офицеры съехали на берег, их разудалые кутежи поражали и видавших виды жителей Тулона. Матросы отводили душу в кабаках, в дешевых театрах и публичных домах. Ремонт долго не начинался, потом французский завод начал присылать группки рабочих военного времени — стариков и подростков, которые, по мнению матросов, делали не так и не то, что нужно. Корабельный инженер-механик, высокомерный и резкий Петерсен, приходил на крейсер, бегло осматривал работы и уезжал. «Дело нечисто!» — так решили

матросы: командование стакнулось с заводом, нарочно затягивает ремонт, наживается на нем и оберегает свою вольготную жизнь…

Скандальный характер ремонта усилил и без того накипевшую злобу. Возвращаясь пьяными на корабль, некоторые матросы к обычной ругани присоединяли угрозы в адрес офицеров: «Погодите, мы вам покажем!» Иногда угрозы были и похуже…

> «Во время войны, — пишет Заславский, — не только на кораблях, но и на заводах распространена была боязнь взрывов. Всюду искали и видели германских шпионов, закладывающих бомбы, адские машины, бикфордовы шнуры. Боязнь была преувеличена… но основания для такой боязни были. За время войны было взорвано в разных местах несколько заводов и кораблей. Для германских агентов разлагающаяся, полная острого недовольства и злобы среда матросов «Аскольда» должна была представлять немалый соблазн. Но и без всяких агентов, могла в минуту раздражения сорваться у того или иного матроса шальная фраза о взрыве крейсера».

Офицеры не обращали внимания на угрозы, считая их пьяным бахвальством. Не замечали они и того, что на берегу отнюдь не все матросы спешат в злачные места, многие встречаются с русскими людьми и покупают русские газеты разных направлений. В кубриках газеты жадно читали, спорили о прочитанном и все чаще задумывались: ради чего идет война? Надо ли умирать за чужие проливы и неведомый Константинополь? И неужели после войны все пойдет в России по-прежнему?..

На пасху группа матросов ездила в отпуск в Париж. В кафе повстречали русских эмигрантов, наслушались революционных речей, начитались политических брошюр. Уезжая, матросы наладили связи и условились о получении революционной литературы. Кочегар, унтер-офицер Самохин, начал на корабле тайный сбор денег на выписку газет…

Сигнал командиру пришел сверху, из Петрограда и Парижа, — на крейсере крамола! Прекратить, изъять, покарать! Командир в испуге заметался. Сыск возглавил Петерсен, который халатно относился к ремонту, а тут проявил «богатые жандармские способности». Был проведен поголовный обыск, нашли кое-какую литературу, а главное, «списки с обозначением фамилий и сумм» — ту самую складчину. Все единодушно показали, что собирали деньги на граммофон. Но Петерсен знал больше, чем думали матросы, потому что в их среду проник

провокатор…

Из статьи Заславского, но особенно из интересной публикации С. Лукашевича («Красный флот», № 1—2 за 1923 год), разыскавшего рапорт Иванова-6 морскому министру на следующий день после обыска, а также два матросских заявления, написанных министру Временного правительства после февральской революции, вырисовывается отвратительная фигура провокатора-любителя Виндинга (Гарина); стараясь выслужиться, чтобы попасть на службу в заграничную русскую полицию, этот прохвост выдавал себя матросам за революционера и провоцировал их на подготовку восстания, а командованию — за агента охранки, призванного предотвратить восстание!.. Надо сказать, что и Иванов-6, и прибывший из Парижа следователь Найденов с гадливостью отнеслись к провокатору. По свидетельству аскольдовцев, командир сообщил о его двойной подлой роли всей команде. Однако «крамолу» было велено искоренить, и двадцать восемь «неблагонадежных» матросов во главе с Самохиным были списаны с крейсера и 9 августа 1916 года[1] отправлены в Россию в штрафные части.

Неотступная слежка продолжалась. Тяжелый, пристальный взгляд Петерсена чувствовал на себе каждый матрос. Хотя разоблаченный провокатор Виндинг уже исчез из Тулона, в воздухе пахло провокацией. А затем произошло роковое событие, которое до сих пор остается «темным делом», хотя известны все материалы, которые могли бы осветить его суть.

> «Около трех часов ночи 19 августа, — рассказывает Д. Заславский, — стоявший на дежурстве у офицерских проходов матрос Семенов услышал негромкий и глухой звук — как будто упал тяжелый предмет или выстрелил кто из револьвера. Подошедшему в это время другому матросу Семенов сказал: «Уж не застрелился ли офицер какой-нибудь? — И тут же прибавил: — Одной собакой меньше».
>
> На палубу выскочил полураздетый мичман Гунин.
>
> — Что случилось?
>
> Семенов высказал свое предположение. Пошли посмотреть в кают-компанию, там было пусто и тихо. Но дневальные тоже слышали странный и подозрительный удар. И вдруг запахло дымом. Он пробивался из закрытого люка кормового погреба со снарядами. Приподняли крышку, дым повалил гуще.
>
> Матросы засуетились, прибежал старший офицер Быстроумов, вызвали боцманов. Погреб открыли, но

спуститься туда нельзя было. Стали качать в погреб воду. Полагалось бы бить немедленно пожарную тревогу; однако Быстроумов приказал не шуметь и команду не будить.

Дым вскоре рассеялся. Когда унтер-офицер Мухин, а за ним боцман Труш и старший офицер спустились в погреб, они нашли на полу осколки разорвавшегося снаряда и остатки сгоревшей швабры. Первая мысль была о самовозгорании пороха. Но дальнейшие розыски тут же обнаружили фитиль, свечу и спички; а дальше оказалось, что погреб был открыт поддельным ключом, а трубки в трех снарядах вывинчены. Не было ни малейшего сомнения в умышленности взрыва. В погребе было свыше тысячи орудийных снарядов. Покушение было выполнено грубо, неумело; при лучшей и более искусной подготовке легко мог погибнуть весь крейсер…

Ночью был обыск у всех гальванеров, искали ключи от орудий. Началось следствие, и сразу же арестовано было свыше ста матросов… Офицеры были твердо убеждены, что взрыв произведен матросами из команды «Аскольда». Легко представить себе, с каким озлоблением относились они к тем, на кого падало подозрение. Но и матросами овладела растерянность. Многие готовы были собственными руками растерзать виновных; с трудом допускали они мысль, чтобы свои же товарищи матросы решились погубить ночью во время сна весь экипаж…»

Вспомнили, что один унтер-офицер, отправленный на салоникский фронт, сказал: «Я вот уезжаю, а вы взлетите на воздух!» Что в пьяном виде матрос Ляпков то ли сам рассказывал, то ли ему рассказывали, что за взрыв крейсера предлагают сорок тысяч франков… Что комендор Бирюков, отчаянная голова, в пьяном виде похвалялся, что взорвет корабль и «все узнают, каков Сашка Бирюков!». К этому добавились факты действительные и факты выдуманные, о которых сообщили следователям некоторые фельдфебели, кондукторы и вороватый штрафной матрос Пивинский. Это помогло следствию построить обвинение против восьми матросов, отвечавших за погреба или дежуривших в ту ночь.

«Виновными они себя не признали, — пишет Заславский. — Суд был организован тут же на «Аскольде», но командира Иванова-6 к этому времени по распоряжению из Петрограда убрали, и вместо него

назначен был капитан Кетлинский, человек энергичный, умный, но с матросами «Аскольда» совершенно незнакомый».

Итак, Кетлинский прибыл на корабль в самые роковые дни тулонской трагедии. Перед отъездом его вызвал морской министр Григорович. Среди документов тех дней известна телеграмма Григоровича, адресованная еще Иванову-6, где он предписывал «принять меры самые решительные». Надо думать, директивы, данные новому командиру, были не мягче, но, кроме того, Кетлинский получил приказ как можно скорей закончить ремонт и следовать в Мурманск — на охрану северной морской коммуникации, по которой шло снабжение России со стороны ее союзников.

7 сентября 1916 года Кетлинский прибыл в Тулон, а 10 сентября принял командование «Аскольдом».

Сколько раз я думала с тоской — если бы он задержался в пути… если бы он принял командование после суда… Когда я обещала в начале главы не умолчать о том, что хотела бы вычеркнуть, я имела в виду именно эти несколько дней в Тулоне. Вычеркнуть бы их из жизни отца!..

Но эмоции — в сторону. Моя задача — разобраться, что же в эти несколько дней произошло. Сделать это теперь не так уж трудно, поскольку известны многие документы, включая материалы следствия и суда, переписку о приведении приговора в исполнение, показания матросов и самого Кетлинского, данные уже летом 1917 года. И даже показания одного из подсудимых, написанные им в 1948 году!.. Все эти материалы суммированы в специальной разработке ЦГА ВМФ, завизированной Ленинградским истпартом, которой я и руководствуюсь:

> …Анализ всех следственных материалов 1916—1917 гг. показал, что никаких обвинений в организации революционного восстания или заговора никому из обвиняемых не предъявлялось. В свидетельских показаниях и приговоре суда ничего о революционном заговоре не записано. Наоборот, суд и ряд свидетелей считали покушение на взрыв крейсера как акт диверсионный, а не политический, повлекший за собой, при настоящем взрыве, гибель всей команды, спавшей на корабле. Никаких материалов о революционной деятельности 4 расстрелянных матросов в документальных материалах суда и следствия, а также в секретной переписке по «Аскольду» не обнаружено.
>
> Улики — наличие поддельного ключа к погребу,

вывинченные ударные трубки, шнур, свеча, спички и нахождение 4 расстрелянных в наиболее безопасных местах на корабле в бодрствующем состоянии были против обвиняемых.

Законченное следственное производство по делу о взрыве на крейсере «Аскольд» 10 сентября 1916 г. было представлено на заключение командиру крейсера Иванову военно-морским следователем Найденовым.

Иванов на рапорте Найденова наложил резолюцию: «Рассмотрев следственное производство, предаю суду Особой комиссии… привлеченных в качестве обвиняемых нижеследующих чинов: Захарова, Бешенцева, Терлеева, Шестакова, Ляпкова, Бирюкова, Сафонова и Бессонова.

…в силу телеграфного предписания Морского министра списываю с корабля и предлагаю отправить в Россию всех нижних чинов, так или иначе скомпрометированных или причастных к фактам, изложенным в постановлении и рапорте».

Запомним, что одновременно с привлечением под суд восьми человек произошла и массовая репрессия против матросов, чью виновность следствие не обнаружило. Запомним, что последними приказами Иванова-6 были: приказ об отправке в Россию новой большой группы «ненадежных» матросов, свыше ста человек, и приказ от 10 сентября о назначении состава суда Особой комиссии под председательством Пашкова.

В показаниях Кетлинского записано:

«Хотя приказ о составе суда был подписан еще капитаном 1-го ранга Ивановым, но уже при мне, и я просил включить туда возможно больше офицеров со стороны, боясь, что собственные будут недостаточно справедливы вследствие дурных отношений.

Особенно я просил о назначении председателем инженер-механика, капитана 2-го ранга Пашкова, считавшегося «красным неблагонадежным».

Это я сделал потому, что был уверен, что взрыв не имеет ничего общего с политикой, почему в суде должны быть люди, которые не были бы склонны все привязывать к «крамоле».

Поэтому же я просил о назначении из судовых офицеров лейт. Мальчиковского, который пострадал за

свои политические убеждения, как я тогда думал, в 1905 г. Я присутствовал на суде все время как зритель, внимательно слушал все показания и для меня явилось бесспорным, что судьи очень внимательно и правильно разбирались в деле, стараясь открыть истину и боясь засудить невиновного, а также и то, что осужденные действительно виновны и что взрыв — дело подкупа, не имеющее ничего общего с политикой».

Стоп! Так ли это? Вряд ли на суде царила добродушная обстановка, но из документов несомненно, что из восьми подсудимых четверо были оправданы «по недоказанности участия в преступлении», что даже один из подсудимых, старший комендор П. М. Ляпков, который на следствии и суде отрицал свою вину (и был оправдан), высказал «предположение, что взрыв на корабле произведен по указанию немцев, не иначе, как с их науки».

Из послереволюционного коллективного письма матросов (все они были отправлены 10 сентября в Россию в Особую бригаду штрафных) видно, что даже они вовсе не считают, что засудили наиболее ненавистных офицерам революционных матросов, как утверждает историк В. Тарасов («Борьба с интервентами на Мурмане в 1918—1920 гг.»), а тех, кто непосредственно отвечал за погреб и его охрану (публикация С. Лукашевича). Но ведь в таких обстоятельствах, во время войны, за попытку взрыва корабля суровая мера ждет непосредственно отвечающих за погреба в любой стране и в любое время. Да, на любом флоте, в любой стране и в любое время, пока существуют, будь они прокляты, пороховые погреба, шпионаж, диверсии и все прочее!..

Трагичность ситуации на «Аскольде» была в другом: чем бы ни вызывалась попытка взрыва, это событие наслоилось на общее возбуждение матросов, выступило на фоне общероссийской предреволюционной обстановки и специфической, созданной неумным и разложившимся командованием корабля, атмосферой подозрительности, ненависти, провокаций и сыска, столь накалившейся, что Иванов-6 немедленно использовал случившееся для новой массовой репрессии — списания с крейсера всех носителей «крамолы»… Понимал ли новый командир корабля сложность сложившейся ситуации? Успел ли в первые же дни ощутить эту недопустимую атмосферу? Судя по приведенному выше документу, кое-что понимал и кое-что успел ощутить. Человек по натуре мягкий и справедливый, не революционер, но и не реакционер, он был в то же время

профессионалом военным и, как командир, был поставлен в условия, когда нужно было принимать меры быстрые и решительные, чтобы взять в твердые руки весь экипаж корабля, офицеров и матросов, и в кратчайший срок снова превратить крейсер в боевую единицу флота. Единственное, что он смог сделать — это позаботиться, чтобы в состав суда не попали офицеры озлобленные, «ищущие крамолу», а люди со стороны, объективные и даже известные «левыми» убеждениями. А затем новый командир все дни сидел наблюдателем на суде, зная, что ему предстоит утвердить приговор, а потому особенно вдумчиво анализируя все улики и обвинения…

> «У Кетлинского, пробывшего всего неделю на крейсере, — пишет Заславский, — сложилось убеждение, что подсудимые действительно виновны. Он не колебался ни минуты и утвердил приговор».

Несколько иначе рассказывает об этом сам Кетлинский в показаниях, данных следственной комиссии в июне 1917 года:

> «Когда ночью суд вынес свой приговор и мы все ушли, приговоренные потребовали меня и просили позвать к ним Княжева. Я разрешил, и вот в каземате 6, у пушки № 19 произошло свидание. Я отлично помню их лица и, главное, глаза. Обвиненные впились глазами в Княжева и сказали: «Сознавайся, Алеша». Княжев ответил: «Мне не в чем сознаваться». На повторное их убеждение он ответил: «А вам разве это поможет». И отвернулся. Это все. Этот разговор, в котором больше говорили глаза, произвел на меня впечатление, что Княжев был или главным, или подговорил их, но не пойман. Они же были исполнители. Мне предстояло конфирмовать приговор.
>
> Я над ним продумал всю ночь. Будучи всю жизнь против смертных приговоров (одно время даже толстовцем), я не без мучительных колебаний принял это решение. Но дело было слишком ясно: люди, которые решились взорвать крейсер, на котором мирно спало 500 человек их же товарищей, не могли действовать по убеждениям. Это звери, которые взялись за свой гнусный поступок за деньги… Да, я слышал, что почти одновременно с «Аскольдом» была попытка взорвать франц. крейсер «Кассини» в том же Тулоне тоже взрывом погреба. Подробностей не знаю, но слышал, что было казнено 6 чел., обнаруженных и выданных самой

командой».

Напомню, что той же осенью 1916 года на севастопольском рейде ранним утром, когда все еще спали, от взрыва порохового погреба погиб новый дредноут «Императрица Мария» — в течение нескольких минут он перевернулся килем вверх и затонул, унеся с собою несколько сотен молодых жизней.

Однако на «Аскольде» среди команды, истомленной репрессиями и тайным сыском, крепло представление о том, что Иванов-6, Петерсен и его помощники сами инсценировали взрыв, чтобы расправиться с командой и, кроме всего прочего, убрать свидетелей их аферы с ремонтом корабля… Но в горькие дни осени 1916 года матросы подавленно молчали. Сотня их товарищей под конвоем следовала навстречу тяжелой неизвестности — то ли в кронштадтские тюрьмы, то ли на фронт, на передовую. А четверо осужденных ждали расстрела на чужой земле, во французской тюрьме…

Новый командир оказался в таких условиях, когда он вынужден был действовать круто: шла война, крейсеру предстоял опасный переход из Средиземного моря на север, в море Баренцево, но перед этим нужно было поскорее закончить постыдно затянувшийся ремонт, укрепить дисциплину, наладить сильно разлаженную службу и постараться оздоровить обстановку и отношения на корабле.

Читая только что приведенные показания отца, я не раз задумывалась: почему, поняв, что Алексей Княжев причастен к попытке взрыва, Кетлинский не начал дополнительного расследования? Пусть было бы не очень-то честно использовать свое присутствие на последнем свидании осужденных с товарищем, но, скажем, Петерсен за это наверняка бы ухватился и начал новые допросы с пристрастием!.. У Кетлинского вкуса к таким занятиям не было. Он явно не хотел затягивать тяжелое дело, сгущать и без того гнетущую атмосферу на корабле, заново возбуждать команду… и увеличивать количество жертв?.. Иного объяснения я не нахожу. Тем более что после этого свидания с осужденными Княжев не был репрессирован даже в административном порядке и не был списан с корабля, хотя Кетлинский имел на подобную меру такое же право, как его предшественник Иванов-6, в два приема списавший с «Аскольда» около полутораста «крамольных» матросов. Можно ли, выясняя мотивы действий Кетлинского, обходить такой далеко не маловажный факт?

Некоторые историки, излагая трагические события на «Аскольде», обвиняют Кетлинского в том, что он отдал

распоряжение о приведении приговора в исполнение, «несмотря на попытки военно-морского атташе во Франции отменить приговор».

Но в архиве есть телеграмма морскому министру от 13 сентября, которую нельзя не увидеть, изучая дело:

> «Конфирмовал приговор по делу о взрыве 20 августа. Обратился лично к префекту вице-адмиралу Руйс, прося разрешения привести его в исполнение на берегу и расстрелять нашей командой 4 человека в среду на рассвете. Префект не разрешил. На мой доклад о бывших уже прецедентах и об очевидности преступления, не имеющего политического характера, и о серьезности положения, префект ответил так: «Позвольте мне высказать Вам откровенно свое мнение: во всей этой истории вина падает исключительно на офицеров, которые не выполнили своего долга здесь, в Тулоне, — я не говорю о прежней их службе, — которые бывали слишком много на берегу и веселились, нарочно затягивая ремонт, и не занимались командой. Здесь это все знают, поэтому впечатление от расстрела было бы ужасно. Я человек суровый, но на это пойти не могу и не разрешу экзекуции ни на берегу, ни в наших водах».
>
> На мои слова, — пишет К е т л и н с к и й, — что мне придется телеграфировать Морскому министру, адмирал (префект) сказал: «Прошу Вас передать конфиденциально адмиралу Г р и г о р о в и ч у все это как личное мнение человека, видевшего все многие месяцы». После этого мы (К е т л и н с к и й и Р у й с) условились так: завтра на рассвете жандармы при участии нашего офицера возьмут осужденных из арестного дома при депо и отведут их в Морскую тюрьму, где они будут помещены в отдельные казематы с сохранением абсолютной тайны. Наша команда будет уверена, что они казнены французскими властями. Никто не будет знать об их существовании. Дальнейшая же их участь будет зависеть от сношения Правительств (Франции и России). Прошу телеграфировать распоряжение — оставить ли в силе мое соглашение с префектом или же просить отправить осужденных в Россию или генералу Ж и л и н с к о м у. Кроме меня, это известно подполковнику Н а й д е н о в у, старшему офицеру и ревизору…» Подписал К е т л и н с к и й.

Значит, была намечена возможность не приводить приговор в

исполнение?! Договоренность Кетлинского с префектом позволяла командиру корабля перейти к основным обязанностям, а осужденным давала какой-то шанс на жизнь. Судьба четырех, осужденных зависела от решений правительств Франции и России.

Каковы были переговоры между Парижем и Петроградом, можно судить по следующему документу:

> «14 сент. 1916 г. К е т л и н с к и й телеграфировал Морскому министру: «Сегодня, среда, префект призвал меня и показал телеграмму Морского министра (Франции), где сказано, что Правительство предоставляет союзным державам полную свободу применения их военных законов, почему префект отменил свое запрещение на исполнение приговора суда. Условлено, что приговор будет приведен в исполнение завтра, в четверг, на рассвете».
>
> 15 сент. 1916 г. в 10 ч. 00 м. (в день приведения в исполнение приговора суда) К е т л и н с к и й телеграфировал Морскому министру, что «приговор суда сегодня приведен в исполнение».
>
> В журнале входящих бумаг «Аскольда» 15.IX 1916 г. в 17 ч. 00 м. записано получение в адрес К е т л и н с к о г о срочной телеграммы из Морского Генерального Штаба следующего содержания: «Задержите исполнение приговора». Подписал Р у с и н.

Чем можно объяснить эту, слишком поздно посланную телеграмму? Скорее всего тем, что в обстановке растущего недовольства русского общества министр попытался, не помешав расстрелу, снять с себя ответственность за него. Что же касается его парижского представителя, то военно-морской атташе не только не пытался «отменить приговор», но удосужился передать аналогичный приказ Русина командиру «Аскольда» лишь спустя два дня после расстрела.

Таковы документы, по которым мы можем проследить ход тулонской трагедии. Всё ли они проясняют, эти документы? Вероятно, не всё. Ни один документ не может полностью отразить кипение реальных событий и размотать до конца клубок живых человеческих отношений и чувств.

Однако закончить эту главу я хочу одним неожиданным, очень важным сообщением, полученным ЦГА ВМФ в 1948 году. От того самого комендора П. М. Ляпкова, который спьяну хвастался, что за взрыв корабля предлагают сорок тысяч франков, считал

взрыв делом «немцев, не иначе чем с их науки» и был оправдан «по недоказанности участия». Даю его сообщение так, как оно изложено в разработке ЦГА ВМФ:

> «В декабре 1948 года Л я п к о в обратился в архив с просьбой о выдаче ему справки о прохождении службы во флоте. В своем заявлении из Пятигорска Л я п к о в сообщил: «Во Франции, в Тулоне, мы пробыли 11 месяцев… научились там революционному духу и в конце августа 1916 г. мы сделали восстание на крейсере «Аскольд». Нас изловили 8 человек». Архивом было направлено письмо Л я п к о в у с просьбой сообщить подробности об организации и ходе восстания на крейсере. В ответ на это Л я п к о в прислал второе письмо, в котором никаких сведений о революционном восстании не сообщил, но внес некоторую ясность в отношении взрыва на крейсере. Л я п к о в пишет: «Начальство (в Тулоне) вело разгульную жизнь на глазах команды. Не найдя виновников в хищении (трех) винтовок, начальство еще хуже стало обращаться с командой, били по щекам и арестовывали. И в одну из попоек офицерства комендор Бирюков решил взорвать пороховой погреб близ офицерской кают-компании, но это ему не удалось, он взорвал один патрон 75 м/м, а пороховой погреб остался невредим. Этот (Бирюков) был мой друг, и я об этом (готовящемся взрыве) знал».

Итак, появилась новая версия, противоположная той, которую утверждали другие списанные с «Аскольда» матросы, считавшие взрыв делом рук самих офицеров. Их коллективное письмо было написано в 1917 году, письмо Ляпкова — спустя тридцать лет.

Можно ли безусловно верить запоздалому признанию? Не знаю. Так же, как не знаю, куда делся после прихода крейсера в Мурманск комендор Алексей Княжев, которого осужденные просили сознаться… в чем? Какая тайна осталась нераскрытой?..

П е р е х о д Т у л о н — М у р м а н с к. Документы, факты, свидетельства участников событий — такой метод я приняла для своего путешествия в историю. Не давать воли ни чувствам, ни воображению… Но что же делать, если я, порой с трудом представляя себе отца, сейчас до зримости ясно вижу его на мостике крейсера — в надвинутой на лоб фуражке с охватившим подбородок ремешком, с влажными от соленых брызг щеками и капельками, застрявшими в короткой светлой бороде, с настороженным взглядом сощуренных от ветра глаз… И крейсер

вижу отчетливо, формы уже устарели, если сравнивать с нынешними крейсерами, — пять высоченных труб и слишком высокие борта, — но все равно он красив, осанист — и очень одинок посреди взбаламученного штормом океана.

Отец стоит на мостике и всем телом чувствует, как от крупной зыби с толчеей дрожит корпус корабля, он жидковато построен, этот корпус, при встречной волне приходится уменьшать ход до минимума, вместо 16 узлов с самого выхода из Гибралтарского пролива делали то по 7—8, а то и по 3—4 узла… Позавчера волна накрыла бак, выбила железную дверь и в двух местах покорежила надстройку… ночью десятибалльным ветром сорвало воздушную сеть радиотелеграфа…

Он думает:

> «Новые корабли надо строить иначе, большая надводная поверхность крейсера, особенно труб, и необходимость снижать ход в бурном море вызывают непроизводительную трату угля… принятый расчет района плавания в две тысячи четыреста миль — кабинетный расчет, для штилевой погоды. Но по этому кабинетному расчету английское адмиралтейство дало курс — отойти на триста миль от испанских берегов и только затем повернуть на норд, обходя районы действия немецких подводных лодок. Конечно, так безопасней, но не хватило бы угля до Англии! Мое решение правильно — идти напрямик через опасные районы, это всего около полутора тысяч миль, да и то угля хватит лишь в случае, если поутихнет ветер».

Он смотрит на людей, с которыми его свела служба. Третьи сутки все до единого, матросы и офицеры, в две смены стоят по местам: «отражение минной атаки». Матросы подтянуты, внимательны, только изредка быстро протрут заслезившиеся от напряжения глаза — все неотрывно вглядываются в крутую толчею волн: не мелькнет ли темное рыбье тело лодки, не блеснет ли глазок перископа, не прорежет ли волны бурунчик движущейся мины, как было в ноябре, когда выходили на испытание машин… И тогда на испытании, и на учениях, и на всех работах видно было — настоящие моряки! В большинстве своем — прекрасные, надежные и разумные люди, только ожесточились, устали, издергались. Шутка сказать — по восемь лет не видели родного дома! Даже письма почти не доходили до них, а когда доходили — не радовали, семьи бедствуют, война вконец разорила и без того нищую деревню. До конца войны — вот тут их родина и дом! А ими никто не занимался, только

требовали с них, да еще с угрозами и зуботычинами.

Он перебирает офицеров — одного за другим. Среди них много хороших молодых людей, мечтавших о морской романтике, о подвигах. А вот разболтались, распустились, кутежами ославились на весь Тулон, а долг свой забыли. Как это вышло? Неуемный и безвольный командир, да в тяжелых условиях войны, вдали от родных берегов! А рядом Быстроумов.

> «Еще недавно я считал его прекрасным, опытным офицером. Да, морскую службу он знает, все приказания выполняет умело и точно. Но теперь я понял, что при этом он груб, жесток, неприязнен, наказывать умеет, но никогда никого не поощрит хотя бы добрым словом. Нет, не такой сейчас нужен на крейсере старший офицер!..»

Он вспоминает свое первое, удручающее впечатление — глубокая, плохо скрываемая ненависть всей команды ко всему офицерству. Результат революционной пропаганды? Пропаганда велась на всех кораблях, в России не меньше, чем за границей, но нигде не было таких враждебных отношений, как на «Аскольде». Казалось бы, попытка взорвать крейсер — несомненно, дело немецких агентов — должна сплотить матросов и офицеров против внешнего врага… а получилось наоборот. Отчего? Как можно было создавать на корабле эту атмосферу всеобщего недоверия, тайного сыска, массовых списаний?..

Брезгливо морщась, он вспоминает инженер-механика, взявшего на себя роль «штатного расследователя крамолы». Пришлось приказать ему немедленно прекратить сыск и заняться ремонтом. А Петерсен ответил с истеринкой в голосе, что ни русская, ни французская полиция ничего не делают, если мы прекратим розыск, то взлетим на воздух… Да, многое надо менять, переламывать, создавать заново на этом корабле!..

Он стоит на мостике, автоматически обшаривая взглядом океанский простор, и думает все о том же — что и как делать. До сих пор, куда бы его ни назначали, по «матросской почте» его опережала добрая слава, а сюда, за тридевять земель, и «почта» не могла дойти, и начать пришлось с утверждения приговора, и наследство труднейшее… Но ему всего 42 года, у него хватит сил и знаний, он верит, что справится.

А ветер стихает. Тяжелые океанские волны уже не толкутся сшибаясь, а медленно перекатывают длинные валы. Улягутся они еще не скоро. В шторм подлодки вряд ли вышли. Угля хватит в обрез, но хватит… Все это кажется добрым предзнаменованием. Он не обольщается — ему еще не удалось создать на корабле те человечные отношения, к которым он привык, без которых не

мыслит морской службы. Первые тонкие ниточки доверия протянулись, когда, беседуя с экипажем, он попросил матросов самих следить за сохранностью погребов. С его приходом служба стала не легче, а тяжелей, много работ и учений, но он заметил, как понравилось команде, что он первым делом подтянул офицеров — запретил им жить на берегу, приказал выходить на все разводки и участвовать в работах вместе с командой… Понравилось, что дело с ремонтом пошло на лад и вообще наладился п о р я д о к — если нет порядка, служить невозможно. Нравится команде и то, что организовал занятия с неграмотными и малограмотными, освобождая их для учения от вахт… что наиболее грамотных матросов засадил в классы и за месяц подготовил из них недостающих специалистов — кочегарных, машинных, строевых… что стали показывать кинематограф, что выписал много художественной и учебной литературы, что постоянно читаются лекции — о ходе войны, о мироздании, об истории развития человечества, о строении человеческого тела, о венерических болезнях, о гигиене… Нравится, что ввел занятия гимнастикой и загородные прогулки, особенно для тех, кто работает внутри корабля… А то, что перед походом много раз выходили в море на испытание машин и на учения, хоть и трудно приходилось, но тоже, наверно, оценили?

И еще он думает о том, что в Англии надо завершить ремонт, установить параваны. Эта новинка, защищающая корабль от мин, очень своевременна, от Англии до Мурманска — зона действия немецких лодок и минных заграждений. Ремонт и установку можно было бы делать одновременно и во много раз быстрей, если бы командир был вправе решать самостоятельно, а не вести затяжную переписку через министерских бюрократов, как будто им издали видней!

Да, так он думал, отец. И на мостике, и в своей каюте, и возле машин, когда выявлялись очередные неполадки то с трубками, то с клапанами. Я ничего не придумала, эти мысли он собственноручно записывал в разных документах тех дней, а что не записал, ясно читается между строк. И еще читается между строк, что в те дни он не только чувствовал себя н а д всеми людьми экипажа, как и полагается командиру, но и верил, что понимает их мысли и чувства.

Февральская революция застала «Аскольд» в Девенпорте.

> «Весть о совершившемся перевороте была восторженно принята личным составом, — сообщал Кетлинский в очередном рапорте. — Совершенно убежден в том, что на крейсере нет ни одного человека,

> который сожалел бы о прошлом режиме и желал бы его воз-вращения… Подавляющее большинство, насколько я могу судить по высказываемым мнениям, стоит за демократическую республику. Конечно, новый порядок вещей и новые понятия явились настолько ошеломляющими, все мы настолько к ним не подготовлены, что у большинства мнения весьма шаткие».

Насколько сам Кетлинский был неподготовлен и при собственном давнем критическом отношении к царскому режиму наивен и далек от народа, видно из того же рапорта; сообщая о выявившейся всеобщей глубокой ненависти «к старому режиму и дому Романовых», он пишет:

> «Мы так приучены были думать, что понятие «царь» является для народа чуть ли не священным, что открытие истинного отношения народа к царю поражает своей неожиданностью».

Политическое прозрение только начиналось…

Пятьсот матросов, до сих пор молчавших, вдруг ощутили себя свободными людьми и начали высказывать без оглядки то, что накипело давно, но до тех пор говорилось шепотом, в кубрике или в кочегарке, если рядом нет соглядатая. Не очень-то грамотные, они были обучены самой жизнью таким классовым понятиям и такой ненависти к «старому прижиму», что мыслили остро и непримиримо, не по книгам и программам, а по безошибочному чутью — что нужно народу и с чем надо покончить. Они не отвергали флотского порядка, поскольку идет война и они на военном корабле. Кетлинский рапортовал, что дисциплина стала сознательной и команда гуляет на берегу лучше, чем до революции, — но подчиняться они соглашались только тем, кто заслуживает их доверия.

> «Командиру Кетлинскому удалось привлечь к себе часть команды, — пишет Заславский. — Он держал себя с тактом, искренно принял новый порядок и беседовал с матросами дружески и запросто. Старые матросы не могли все же простить ему участия в казни четырех матросов. Теперь на крейсере говорили уже открыто, что взрыв был произведен провокаторами по инициативе офицеров и что погибли в Тулоне невинные».

Верил ли Кетлинский этим утверждениям? Не знаю. Но у

него хватило честности и желания понять команду, прислушаться к возбужденным голосам, взглянуть по-новому на недавние события.

> «Мы не могли при старом режиме ожидать особой любви или доверия команды к офицерскому составу, — писал он в рапорте новому морскому министру, — но должен сознаться, то, что открылось после того, как люди получили возможность высказывать то, что они думают и чувствуют, гораздо хуже, чем я ожидал. Ясно, что для развития этой подозрительности и нелюбви к офицерам, кроме общих всероссийских причин, были на крейсере причины частные, местные, явившиеся следствием тулонских событий прошлого лета. Для искоренения их необходимо немедленно по приходе крейсера в Россию произвести всестороннее расследование всего ремонта и всех событий в Тулоне в 1916 году».

Но матросы не хотели ждать прихода в Россию. Наиболее ненавистных им офицеров и кондукторов, а также их соглядатаев они попросили убрать с корабля до принесения новой, революционной присяги.

Уже 19 марта Кетлинский телеграфом запросил у министра разрешения списать с крейсера старшего лейтенанта Быстроумова, Петерсена и еще трех офицеров, боцмана Труша и нескольких кондукторов. Разговор с матросами был, видимо, откровенным и дружелюбным, потому что в той же телеграмме Кетлинский дал наилучшую оценку команде, заверяя, что команда обещала «не допускать ущерба дисциплины из-за прецедента этого списания».

Некоторые историки утверждают, что Кетлинский якобы поторопился пристроить списанных офицеров на заграничную службу. Это опровергается телеграммой, в которой Кетлинский от имени команды просит министра скорейшего возвращения этих лиц в Россию и предания их суду, добавляя:

> «Как известно, ст. лейт. Петерсен уже получил место в Лондоне и такие же места могут быть даны другим лицам, что является совершенно несправедливой наградой для тех, кого обвиняют в серьезных проступках».

На корабле был избран судовой комитет, выборные сформулировали свои обвинения, и Кетлинский переслал их как

материал для будущей следственной комиссии.

Читая подряд документы тех дней, я понимаю, что отцу было нелегко ориентироваться в событиях, нелегко создавать новые отношения с командой, с матросским комитетом… Но я вижу, что он был честен и с командой, и с самим собой. И вспоминаю слова кандидата исторических наук М. И. Сбойчакова, одного из первых историков, попытавшихся без предвзятости разобраться в личности Кетлинского:

> «Он не был революционером, но он стремился понять революцию».

А между тем крейсер ремонтировался, на нем устанавливали параваны, команда обучалась управляться с ними, «Аскольд» переходил из Девенпорта в Гринок и Глазго, его встречали торжественно как представителя революционной России, устраивались митинги, приезжали делегации профсоюзов… Командир приглашал выступить перед матросами находящихся в Англии русских — от почтенного земца до анархиста Кропоткина. Матросы взахлеб читали русские газеты. Командир устроил несколько экскурсий на фермы для ознакомления с методами ведения сельского хозяйства в Англии, а большую группу матросов отправил на пять дней в Ливерпуль «для осмотра знаменитого мыловаренного завода Ливера, где… практически проведено участие самих рабочих в выгодах предприятия…». Видимо, Кетлинский считал его возможным образцом?

Да, он стремился понять революцию и нащупывал новые формы развития России. Психологическая сложность была в том, что, понимая необходимость коренной переделки созданного царизмом неповоротливого, косного, антинародного управления, он сам был одним из винтиков прежнего военного механизма, сам три года активно участвовал в войне и успел впитать ее цели в свое сознание.

Временное правительство заверяло, что будет вести войну до победного конца. Кетлинский не только безоговорочно принимал это, но, вероятно, и не представлял себе иной возможности — во всяком случае, в марте — апреле 1917 года. Он охотно подписал резолюцию, единогласно принятую всем экипажем крейсера, где говорилось:

> «Война должна быть доведена до полной победы над германским империализмом и милитаризмом, дабы Россия и все народы с ней получили возможность свободного и мирного развития на пользу трудящихся

масс. России не нужно чужих земель, но своя земля должна быть наша и принадлежать тем, кто ее обрабатывает».

И в это же время он сожалел, что благодаря «крайним течениям» среди матросов из резолюции вычеркнули последнюю фразу, гласившую:

> «Для экономического процветания и спокойствия России южные проливы — Босфор и Дарданеллы — должны быть наши»!

Однако справедливость требует добавить, что в том же месяце он дал возможность гальванеру Покушко выступить с докладом «О вреде требования Россией Босфора и Дарданелл». Почему? Под напором «крайних течений»? Вероятно. Но и потому, что он считал: «…новые условия жизни требуют от каждого гражданина России, не исключая и военных, умения разбираться во всех вопросах внутренней и внешней политики».

По просьбе матросов он тогда же начал читать им курс лекций о государственном устройстве разных стран, причем в конце собирался изложить свои мысли о будущем устройстве России. Дочитать курс он не успел, но конспект заключительных лекций составил. Конспект сохранился и позволил некоторым историкам, в частности И. С. Шангину («Моряки в боях за Советский Север», Воениздат, 1959), выхватить из него одну строку — «невозможность осуществления теперь социал-демократического строя в России». Я не собираюсь утверждать, что Кетлинский весной 1917 года на пути из Тулона в Мурманск мечтал о социалистической республике, наоборот, я совершенно уверена, что в то время он представлял себе будущее государственное устройство России по французскому или швейцарскому образцу, то есть республикой буржуазно-демократической, а о большевиках, вероятно, и не слыхал. Так что строка о «невозможности осуществления теперь» в контексте есть, но она имеет продолжение весьма любопытное: «Маркс — капитал сам себе роет могилу. Развитие капитализма приведет к социализму». По-видимому, человек старательно читал Маркса (вероятно, впервые!), а воспринял его ученически. Впрочем, и гораздо более искушенные умы делали из этого положения Маркса подобные выводы!

Если без предвзятости (не надо дружелюбия, только без предвзятости!) прочитать конспект Кетлинского, там можно найти немало доброго и даже удивительного для человека его круга и воспитания: «Социализация предприятий… Участие в

прибылях и переход предприятий в руки рабочих», «Необходимость передачи земли в руки крестьян… Передача земли крестьянам не решит вопроса без повышения земельной культуры. Культурные хозяйства: агрономические, метеорологические и т. п. станции»… В конспекте можно найти рассуждения о том, что основная задача государства — «способствовать развитию сил человека и использованию нужных ему сил природы», а потому «пресекать возможность эксплуатации сильным — слабого», «охранять личность, свободу, достижения и труд каждого»… «Что даст мир всему миру? — спрашивает автор конспекта и отвечает: — Только одно — осуществление на деле свободного самоопределения всех народов». Из конспекта видно, что автор, сравнив государственный строй разных стран, склоняется к республике федеративной, где разные народы, населяющие Россию, будут объединены добровольно. Так ли уж плохо он мыслил, этот офицер?! А если мы дочитаем до конца, то найдем и такое: «Совет рабочих и солдатских депутатов как единственная крупная организация, имеющая под собой почву» или: «Сила государственной власти до Учредительного собрания в руках правительства, опирающегося на Совет рабочих и солдатских депутатов»… По совести, можно ли требовать большего от беспартийного военного специалиста в первой половине 1917 года?!

А матросы слушали лекции и речи, читали подряд газеты разных направлений, не торопились никому верить, ничего не собирались забывать или прощать, искали свою правду и всей душой рвались в Россию — скорей, скорей в Россию, там во всем разберемся!

18 июня «Аскольд» вошел в Кольскую губу и встал на рейде напротив небольшого деревянного городка.

Чтобы понять ход дальнейших событий, вспомним, что Мурманску в то время не было и трех лет; что породила его мировая война, то есть потребность в кратчайшем пути, по которому Англия, Франция и США могли бы систематически снабжать Россию оружием, самолетами, боеприпасами и многим другим; что морской путь из Англии в незамерзающий мурманский порт (особенно опасный с тех пор, как Германия повела беспощадную подводную войну) был проложен и охранялся английским флотом; что порт еще строился, железная дорога тоже еще строилась, а промышленность царской России была такова, что за границей покупали не только рельсы, паровозы и вагоны, но даже болты и гвозди! Все это определяло характер молодого города — хозяевами чувствовали себя

англичане, английские и французские военные корабли стояли на рейде, старшим морским начальником в русском порту был английский контр-адмирал Кемп! А население города было пришлое, не пустившее здесь корней, зачастую мечтающее поскорей «вернуться в Россию». С начала 1916 года в Кольский залив стали стягиваться русские военные корабли — броненосец «Чесма», миноносцы, посыльные суда, тральщики, а с ними в Мурманске появилась и новая, революционная сила — матросы. Среди строителей железной дороги (хотя там было много сезонников и случайных элементов, укрывавшихся от посылки на фронт) ввиду крайне тяжелых условий труда и вопиющих злоупотреблений подрядчиков тоже росло недовольство…

Некоторые историки, считая Мурманск отсталой окраиной без сложившегося рабочего класса, склонны были не замечать его революционных сил, а мурманских большевиков брали в кавычки или обзывали эсерами и соглашателями. К сожалению, начало этому положил М. С. Кедров, в 1930 году выпустивший первую книжку о мурманских событиях, которую так и назвал — «Без большевистского руководства». Если ошибку Кедрова можно объяснить тем, что в двадцатые годы многочисленные документы еще не были собраны и систематизированы в архивах (в его книге даже приказы ревкома цитируются по дневнику белогвардейца Веселаго, а не по подлинникам), то некоторых более поздних исследователей нельзя не упрекнуть в том, что они на веру приняли концепцию предшественника и, пользуясь архивами, не проанализировали заново собранных там документов.

А по документам видно, что на далекой «отсталой» окраине 4 марта, в день получения телеграммы о свержении самодержавия, собрался трехтысячный митинг (при населении в четырнадцать-пятнадцать тысяч), где сразу решили переименовать город, названный в честь императорской фамилии Романовом-на-Мурмане в Мурманск и создать Совет рабочих и солдатских депутатов — депутаты были избраны быстро, уже 8 марта Совет собрался на свое первое заседание.

> «Председатель Совета прапорщик С. И. Архангельский, — говорится в «Очерках истории Мурманской организации КПСС», — по спискам делегатов II, III, IV и V Всероссийских съездов Советов проходил как большевик, и у нас есть все основания считать, что если в первой половине 1917 года он и не был формально в РСДРП(б), то, безусловно, сочувствовал большевикам и поддерживал их. Заместителем председателя был большевик А. И. Сковородин».

Из матросов в первые же недели выделились своей активностью несколько большевиков, среди них связист В. Ф. Полухин, председатель Военного совета, созданного военными депутатами, — тот самый Полухин, который в 1918 году трагически погиб в числе двадцати шести бакинских комиссаров. Передо мною его фотография: мужественное красивое лицо с небольшими темными усами, энергичный склад губ, крупная голова на широкой сильной шее, свободно обрамленной матросским воротником, — да, такими богатырями красна русская земля!

Сейчас нет необходимости доказывать, что большевики на Мурмане сыграли большую роль в развернувшихся событиях: это уже установлено группой историков мурманских, ленинградских, петрозаводских, московских, результаты их исследований и разысканий опубликованы. Читаешь эти публикации и видишь, как начисто рушится старая, неверная концепция, как бы отринувшая Мурман от революционных процессов, что охватили всю страну и были так проницательно угаданы Лениным в его Апрельских тезисах.

Заново, в который раз перечитываю их — поразительные тезисы! Только что вернувшись в Россию, Ленин с душевным пониманием говорил и о «несомненной добросовестности широких слоев массовых представителей революционного оборончества», и о том, что массы в условиях первых месяцев свободы охвачены «доверчиво-бессознательным отношением» к Временному правительству — правительству капиталистов. Со свойственным ему напором Ленин требовал от большевиков «особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять» массам их ошибки и иллюзии…

Именно это и делали мурманские большевики, иногда сами ошибаясь, путаясь в новизне обстановки, принимая на веру революционную фразеологию иных ловких ораторов. Возьмешь резолюции тех дней — формулировки зачастую меньшевистско-эсеровские, рядом с ними — чисто большевистские требования, а доходит дело до выборов — выбирают большевика. Вглядишься в практическую деятельность мурманских организаций — ввели восьмичасовой рабочий день, во всех конфликтах отстаивали интересы рабочих… Широко и многообразно было первоначальное творчество — от борьбы с казнокрадством и бесхозяйственностью до создания Морского клуба, от контроля над производством и строительством до распределения продовольствия.

Вот в эту революционную бучу, еще во многом стихийную и путаную, в середине июня 1917 года влилась по-боевому

настроенная команда «Аскольда» — пятьсот двадцать человек, много переживших и передумавших. Они быстро определили свою отчетливо большевистскую позицию, что видно и по сохранившимся резолюциям команды, и по деятельности аскольдовцев в разных организациях Мурманска, и даже по особой жестокости белогвардейцев и англичан, которые год спустя предательски разоружили матросов «Аскольда» и бросили их в свои страшные концлагеря.

Историк В. Тарасов без ссылок на источники пишет, что по прибытии «Аскольда» в Мурманск «Кетлинский распустил половину команды в отпуск, причем в списки уволенных попали прежде всего наиболее революционно настроенные элементы». По документам видно иное: вместо того, чтобы растянуть отпуск на четыре смены, то есть на восемь месяцев, командир предложил дать отпуска в две смены, с тем чтобы через четыре месяца крейсер с полным составом отдохнувшей команды был готов к любому заданию. Вероятно, в условиях войны он был прав. В первую очередь получили отпуск старослужащие матросы, которые не были дома по семь-восемь лет. Если бы командир отказал им в этом естественном праве — тогда действительно можно было бы говорить о жестокости.

Но еще до начала отпусков судовой комитет провел следствие по тулонскому делу. К судовому комитету присоединилась и следственная комиссия из Петрограда. С 19 по 30 июня было допрошено сто девяносто восемь офицеров и матросов. Матросы выдвигали обвинения в злоупотреблениях и зверском обращении с командой бывшему командиру Иванову-6 и отдельным офицерам. Ничего компрометирующего Кетлинского в показаниях матросов не было. Оставалось только одно обвинение — утверждение приговора.

Тем же летом (дата точно не установлена) на «Аскольд» вернулась группа матросов, списанных с крейсера в августе 1916 года, во главе с кочегаром С. Л. Самохиным. Самохин приехал расквитаться с виновниками тулонских событий. Он был настроен непримиримо и в отношении Кетлинского. Когда вину Кетлинского разбирало общее собрание команды, Самохин стоял, скрестив на груди руки, и вел допрос…

Протокола этого суда не сохранилось, возможно, его и не вели, так как собрание команды происходило на палубе. Но по документам известно, что «команда крейсера обсудила всесторонне эти обвинения и совершенно оправдала Кетлинского».

В августе Кетлинского вызвали для доклада в Главный морской штаб, а в сентябре 1917 года произвели в контр-

адмиралы и назначили главным начальником вновь созданного Мурманского укрепленного района и Мурманского отряда судов.

Обязанности главнамура, как он сокращенно назывался, были огромны: охрана морских путей от норвежской границы до горла Белого моря; оборона Кольского полуострова как с моря, так и со стороны государственной границы; командование всеми морскими и сухопутными силами; достройка и охрана Мурманской железной дороги вплоть до станции Званка (впоследствии Волховстрой); общее руководство перегрузочными операциями в порту и на железной дороге; снабжение и управление всем обширным районом с правами коменданта крепости… Кто-то из историков определил эту должность словом «наместник». Что ж, пожалуй, и так. Однако в конкретных условиях Мурманска такое решение было оправдано — отныне главным морским начальником становился русский контр-адмирал, а не английский, и Кемп уже не хозяйничал как хотел, уже не настаивал на своем нагловатом требовании подчинить русские тральщики английскому командиру… Что же касается огромной власти, сосредоточенной в руках главнамура… да, он мог стать контрреволюционной силой, но мог стать и силой полезной.

Чем же он стал?

> «Получив назначение на столь высокий пост, — пишет А. М. Ларионов, — адмирал в служебном вагоне двигался только днем — останавливаясь на каждом разъезде, на каждой станции и на каждом стройучастке. Лично осматривал многие объекты, беседовал с рабочими-строителями, инженерами и администрацией, — стараясь уловить не только объективные, но и субъективные факторы… Результатом этой кропотливой работы явился доклад от 21 октября 1917 года… Характерной чертой этого доклада является конкретность и четкость формулировок, глубина проникновения в суть дела и деловитость тех предложений, которые вносит сугубо военно-оперативный работник в сугубо специфические строительные дела.
>
> …Представляет несомненный интерес та «программа действий», которую четко сформулировал адмирал в этом докладе… написанном буквально накануне — за пять дней до Октябрьской революции:
>
> «— дифференциация труда и ответственности,
>
> — согласование работы учреждений,

— поднятие дисциплины и самодеятельности,

— привлечение демократических организаций и всего населения к общей созидательной работе».

Кто может оспаривать, что такую программу действий мог наметить только умный, талантливый и демократически настроенный патриот — интеллигент в лучшем смысле этого понятия… В дооктябрьской России очень немного было подобных Кетлинскому высших военных специалистов, и еще меньше таких людей с первого дня Советской власти отдали свой талант, знания и жизнь на службу новой власти, родине и народу.

…практические предложения, которые адмирал внес в министерство и главное управление правительства, буквально доживавшего последние дни… наверно, достигли адресатов и были зарегистрированы уже после 25 октября 1917 года… Ни одно из внесенных предложений не противоречило интересам Советской власти (что забывают историки)».

В Октябрьские дни. Да, чтобы найти верное решение в эти «десять дней, которые потрясли мир», военачальнику высшего ранга нужно было до них понять народные чаяния и найти общий язык с людьми, их выражающими. Нужно было многое переоценить в прошлом и в самом себе, без предубеждения прислушиваться к голосам новых для него людей — матросов, солдат, рабочих, требующих небывалых перемен, и сердцем ощутить их право на эти перемены. Иначе родилось бы сопротивление или в лучшем случае выжидание — вспомним, что не только крупное офицерство и деятели государственных учреждений, но и все партии, за исключением большевиков, считали молодую Советскую власть «властью на две недели»!..

Известие об Октябрьской революции было получено в Мурманске 26 октября. В тот же день на объединенном заседании всех общественно-демократических организаций города было принято решение о полной поддержке Советской власти, и в тот же день, через сорок минут после получения известия, были посланы две телеграммы:

ВСЕМ СОВЕТАМ, КОМИТЕТАМ И ВСЕМ ЛИЦАМ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОГО РАЙОНА

Для блага всего края я, со всеми мне подчиненными лицами и учреждениями, подчиняюсь той власти, которая установлена Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов.

Контр-адмирал ***Кетлинский***

ВСЕМ ЛИЦАМ АДМИНИСТРАЦИИ. КОПИЯ ВСЕМ СОВЕТАМ И КОМИТЕТАМ

Памятуя об ответственности перед Родиной и Революцией, приказываю всем исполнять свои служебные обязанности впредь до распоряжения нового Правительства.

Контр-адмирал ***Кетлинский***

На следующий день, 27 октября, при Мурманском Совдепе был создан Временный ревком во главе с большевиком Сковородиным, который в первом своем приказе довел до сведения «граждан Мурманского укрепленного района и Мурманского отряда судов и по линии от Мурманска до Званки, по Ледовитому океану до Александровска и до норвежской границы, что всею полнотой власти обладает М у р м а н с к и й р е в о л ю ц и о н н ы й к о м и т е т»… Во втором приказе ревком потребовал, чтобы все рабочие, служащие и чины администрации исполняли свой долг, «помня, что от этого зависит правильность действия столь нужного для всей России Мурманского пути», и исполняли приказы и распоряжения главнамура Кетлинского, «который действует по поручению и под контролем Временного революционного комитета».

Еще через три-четыре дня были проведены демократические выборы ревкома, и его председателем стал Т. Д. Аверченко, питерский рабочий с путиловской верфи, молодой большевик. Этот ревком тоже ставил своей задачей не допустить нарушения работ на государственно важных объектах — в порту и на железной дороге, и считал правильным работать в контакте с

главнамуром — военачальником, признавшим Советскую власть и контроль ревкома.

Сколько бы ошибок ни совершили в те дни по неопытности и политической незрелости первые революционные деятели Мурманска, это их решение представляется мне верным и дальновидным, поскольку оно было направлено против дезорганизации транспорта, против развязывания гражданской войны.

Вспомним: поставленное Октябрьской революцией во главе взбаламученной страны Советское правительство всеми силами старалось избежать гражданской войны и справиться с разрухой и саботажем, с особой остротой сказавшихся на работе транспорта. Вспомним, как старался Ленин, сломив массовый саботаж различных специалистов, привлечь их к общей работе, так как обойтись без их знаний Советская власть не могла. И в то же время Ленин писал в воззвании «К населению»:

> «Арестуйте и предавайте революционному суду народа всякого, кто посмеет вредить народному делу, будет ли такой вред проявляться в саботировании (порче, торможении, подрыве) производства или в скрывании запасов хлеба и продуктов, или в задержании грузов хлеба, или в расстройстве железнодорожной, почтовой, телеграфной, телефонной деятельности и вообще в каком бы то ни было сопротивлении великому делу мира…»

Вместо того чтобы вдуматься в благотворность делового контакта, который сумели установить молодые мурманские большевики с военным начальником края, вместо того чтобы перелистать хотя бы подшивку «Правды» и убедиться, что Мурман был первой и единственной окраиной, где Советская власть утвердилась в первый же день Октябрьской революции без сопротивления и саботажа старого руководящего аппарата… вместо всего этого, отмахнувшись от фактов, некоторые историки предпочли взять под сомнение искренность Кетлинского, а заодно опорочить ревком, Центромур и Совет.

Скажем, по документам видно, что состав ревкома избирался весьма демократично; так, представителей флота избирали экипажи кораблей, собравшись по группам. Но В. Тарасов пишет:

> «По всем данным, второй состав ревкома был закулисным путем подобран мурманскими дельцами из наиболее антисоветски настроенных меньшевистско-эсеровских элементов».

А чтобы как-то свести концы с концами, утверждает, что председателем ревкома «был поставлен явный враг пролетарской революции эсер Аверченко»! В другом месте В. Тарасов расхваливает большевика Радченко и вообще Кольскую роту, хотя как раз в Кольской роте было, видимо, немало анархиствующих элементов… но не в роте дело, а в Радченко — он же был членом ревкома? Тарасов это знает (см. «Борьба с интервентами на Мурмане в 1918—1920 гг.», стр. 46), но на странице 44 не называет фамилий членов ревкома, потому что тогда лопнет версия о «закулисно подобранных» и «наиболее антисоветских»… В. Тарасов не может не признать, что команда «Аскольда» занимала ярко выраженную большевистскую позицию, а кочегара Самохина сам же называет руководителем революционной организации на «Аскольде» еще в 1916 году. Как же быть с тем, что аскольдовцы играли видную роль и в ревкоме и в Центромуре, а большевик С. Л. Самохин с октября 1917 года до начала февраля 1918 года был председателем Центромура? Очень просто — В. Тарасов не упоминает ни аскольдовцев, ни Самохина, а меньшевистско-эсеровским вождем Центромура почему-то называет Ляуданского, хотя по документам ясно, что Ляуданский стал председателем Центромура лишь в начале февраля, после отъезда Самохина!

В согласии с В. Тарасовым всю эту неправду повторяют и некоторые другие историки, воспринявшие его концепцию.

Вынужденный сообщить о признании главнамуром Советской власти, В. Тарасов тут же называет это «маневром мурманской контрреволюции с целью во что бы то ни стало удержать власть в своих руках», тщательно обходит все свидетельства мурманских большевиков, зато приводит показания какого-то белогвардейца Бондарева с домыслами, которые характеризуют только их автора. Но В. Тарасов почему-то верит именно белогвардейцу Бондареву, а затем заявляет дословно следующее:

> «Главнамур, «признав» 26 октября Советскую власть, уже 27 октября опубликовал телеграммы Керенского и генерала Духонина, призывавших не подчиняться Советской власти и выступить против большевиков. Этот факт показывает подлинное лицо Главнамура…» и т. п.

Но, позвольте, так ли это?! Признав Советскую власть в первый же день, когда было далеко не ясно, удержится ли она, адмирал, конечно, рисковал головой — он же был человек военный, подчиненный высшему командованию. Таким высшим начальником являлся для него Духонин, который оставался на посту и. о. верховного главнокомандующего вплоть до 22 ноября,

когда Советское правительство отстранило его от должности и назначило на его место Крыленко.

27 октября, когда в Мурманск пришла телеграмма Духонина, призывающая к борьбе с большевиками и к безусловному подчинению Временному правительству, главнамур не имел права умолчать о ней, но сопроводил ее (а также телеграмму Керенского) своим приказом, который придется привести целиком:

> «Объявляю телеграмму Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего за № 7950, напоминаю, что в Мурманском Укрепленном районе и на Мурманском отряде судов в настоящий момент вся власть принадлежит Временному Революционному Комитету, по поручению и под контролем которого я действую вместе со всей администрацией, мне подчиненной.
>
> Пусть же каждый гражданин делает спокойно свое дело, помня, что как личные его интересы, так и интересы всего Мурманского края находятся в руках людей, преданных народному делу.
>
> *Контр-адмирал **Кетлинский».***

Подлинное лицо главнамура тут выглядит несколько иначе, чем изображает Тарасов!.. И «маневр с целью удержать власть» по меньшей мере неправдоподобное утверждение: ведь, по Тарасову, все руководство общественных организаций, Совета и Центромура было «меньшевистско-эсеровским» и предательским, — если бы Кетлинский захотел, что стоило ему не идти на риск признания?! Вспомним, что Мурман того времени был крайне плохо связан с центром, даже радиосвязи не было, только телеграф да газеты, приходящие на пятый, восьмой, а то и десятый день. Вся реальная власть была в руках главнамура. Все продовольственное и вещевое снабжение Мурманска и железной дороги до Кандалакши обеспечивалось англичанами, даже уголь для русских военных кораблей получали от англичан! Иностранные военные корабли грозной силой стояли на мурманском рейде, и эта грозная сила только и ждала, чтобы русский начальник попросил помощи «для обеспечения порядка». Если бы Кетлинский захотел, что мешало ему прибегнуть к их помощи?!

Он этого н е х о т е л. Видимо, он был твердо убежден, что «Советы рабочих и солдатских депутатов — единственная организация, имеющая под собою п о ч в у». Видимо, его

духовное развитие тоже шло в темпе событий — месяц за год. Видимо, пережив потрясение от того, что ему открылось в связи с тулонским делом, он с полной искренностью сказал слова, которые приводит в своих воспоминаниях матрос П. И. Коваленко, большевик, член судового комитета «Аскольда» и председатель матросского товарищеского суда: «Я свои знания отдам тому молодому государству, которое будет признано народом». Так Кетлинский обещал. Так он и поступил в Октябрьские дни.

Было ли это решение принято легко, без мучительных сомнений? Думаю, что решение было трудным, потребовало психологического перелома, обостренного тем, что времени на раздумья история не отпустила. А ведь при решении — за Советскую власть, а не против нее — он выступал против своего класса и своей офицерской касты, заведомо зная, что многие офицеры, вместе с которыми он учился, служил и воевал, не поймут его, осудят, и что в случае поражения большевиков его предадут военному суду (кстати, во время интервенции некоторых его подчиненных отдали под суд за службу у большевиков, и они, оправдываясь, называли ее «формальной», «выжидательной» и пытались прикрыться авторитетом покойного адмирала). Признавая Советскую власть, Кетлинский понимал и то, что в среде революционных матросов, солдат и рабочих он еще долго будет чужаком, за его действиями будут следить недоверчиво, а если он ошибется — не простят. Кроме того, в корне менялся привычный ему стиль отношений. Еще недавно он был командиром высшего ранга, чьи приказы выполнялись безоговорочно, и сам он привык к твердой системе подчинения. Теперь он должен был согласовывать каждое свое распоряжение и подчиняться повседневному контролю ревкома и Центромура, то есть матросам и рабочим, неизмеримо менее образованным, в большинстве своем малограмотным, но имеющим иное, революционное право. Зато приказы сверху, от военного начальства, можно было выполнять только в том случае, если с ними согласятся ревком и Центромур. Все это было, конечно, трудно. Но эти трудности перевесило сознание, что он перешагнул через пропасть, отделявшую его от народа, что он не переметнулся под защиту иностранных пушек ради защиты своих привилегий…

Значит ли это, что он стал большевиком и заговорил большевистским языком? Нет, конечно.

Есть два документа ревкома и главнамура, датированных 1 и 4 ноября, которые содержат отнюдь не большевистские формулировки и были поводом для нападок историков на

Кетлинского и особенно на Аверченко. Действительно, в приказе ревкома от 1 ноября говорится о том, что «вопрос о власти решается на улицах Петрограда и Москвы», что Мурманский край слишком далек, чтобы воздействовать на ход борьбы, но что Мурманский путь насущно необходим родине и поэтому «перед каждым гражданином, к какой бы партии он ни принадлежал, если только он любит Россию и русский народ, стоит одна задача — обеспечить нормальный и безостановочный ход работ на дороге и в порту и для этого предохранить весь район от братоубийственной гражданской войны и всяких самочинных выступлений».

Позиция, конечно, не большевистская. Но можно ли из этого приказа сделать вывод, как это делает В. Тарасов, что «пышными декларациями»… «эти враги народа пытались прикрыть свою позорную роль ближайших помощников контрреволюционной буржуазии»?!

Ведь в первые послеоктябрьские дни все контрреволюционные силы объединились в стремлении свергнуть молодую Советскую власть: восстание юнкеров, новый поход Корнилова, злостный саботаж государственных служащих, призыв Викжеля (Всероссийского исполнительного комитета железнодорожного профсоюза) к антисоветской забастовке… Правительство Керенского было свергнуто, но Керенский не смирился и пытался организовать вооруженную борьбу против Советов.

«На этой неделе все телеграфы были в руках Керенского. Викжель был на их стороне», — так говорил Ленин на заседании ВЦИК 17 ноября.

Да, в ту неделю по телеграфу шли сообщения и призывы врагов Советской власти. В Мурманске, естественно, путались в противоречивых сообщениях и воззваниях, понимали, что идет вооруженная борьба, но не знали истинного хода событий. А местная жизнь выдвигала свои неотложные требования. В казначействе кончились деньги для выплаты жалованья рабочим, служащим и военным, настойчивые телеграммы в Петроград о высылке дензнаков оставались без ответа (очевидно, из-за саботажа чиновников). Северный участок Мурманской железной дороги был закончен, и предстояло увольнение примерно пяти тысяч строителей, железнодорожное начальство — генералы Горячковский и Крутиков — явно провоцировало конфликт, предлагая выплатить им дополнительную зарплату — в общей сложности около тридцати миллионов рублей (конечно, не переводя денег!). Иностранные транспорты везли в Россию очередные грузы, военные и продовольственные, но английские и

французские представители уже намекали, что союзники не будут доверять стране, «находящейся в состоянии анархии»…

Если зримо представить себе положение мурманских руководителей, в ином свете выступает и приказ-воззвание от 1 ноября, — пусть формулировки не те, но ведь направлен-то приказ против развала на дороге и анархических выступлений, на организованность и хозяйскую заинтересованность «всех граждан, к каким бы партиям они ни принадлежали», в бесперебойной работе государственно важного Мурманского пути. А контрреволюционеры всех мастей, включая меньшевиков и эсеров, в те же дни стремились усилить саботаж, развал работы, анархию!..

4 ноября мурманские руководители, не зная, что происходит в Петрограде, и не получая ответа на свои настойчивые запросы, послали по телеграфу обращение, где писали, что «уже десятые сутки кипит братоубийственная гражданская война, в стране все еще нет центральной власти», что безвластие может повлечь «полное расстройство всей жизни страны», а с гибелью страны «погибнет завоеванная свобода, погибнут земля и воля». Главное место в этой телеграмме, кроме первых довольно панических фраз, занимало сообщение, что ревком в контакте с высшей администрацией сберегли край от гражданской войны, «порядок в районе ни на одну минуту не был нарушен и работы общегосударственного значения шли до сих пор в полном порядке», затем излагалось бедственное положение Мурмана с деньгами и продовольствием, а в конце выдвигались требования: «1. Немедленного прекращения братоубийственной борьбы за власть и образования сильной центральной всенародной власти. 2. Направления всей политики нового правительства к скорейшему заключению демократического мира при обязательном условии тесного единения с союзниками, без помощи которых нам грозит гибель».

Телеграмма, конечно же, ошибочная и паникерская, но вряд ли ее можно толковать как «от начала до конца продиктованную ревкому союзниками и их русскими лакеями», как утверждает Тарасов, или что она «плевок в революцию очень ядовитой слюной», как писал М. Кедров. Ведь за паникерскими формулировками можно прочитать и тревогу по поводу разворачивающейся гражданской войны, а начали ее не большевики, а корниловы и красновы. Ленин еще 30 октября, сообщая по радио «В с е м. В с е м» о новом корниловском походе, заявлял, что «Советское правительство принимает все меры к тому, чтобы предупредить кровопролитие». Что же касается союзников, то они, как известно, усиленно вдохновляли

начавшуюся борьбу против Советской власти, и в первую очередь против «скорейшего заключения демократического мира».

В этой телеграмме с неверными формулировками можно прочитать — и даже невозможно не прочитать — гордость руководителей, которым удалось уберечь порученный им край от саботажа и контрреволюционных выступлений, а также несколько наивную, но, в общем-то, хорошую их убежденность в государственной важности бесперебойной работы Мурманской дороги. Да она и действительно имела огромное значение, эта дорога от центра к незамерзающему порту, что доказала вся последующая советская история и история Великой Отечественной войны в частности!..

Так что же такое эта телеграмма — кратковременная ошибка или «начало контрреволюции», как уверяют некоторые историки?

Судить вернее не по словам, а по делам. А дела таковы: в те же дни ревком и главнамур издали подробный приказ о скорейшем ремонте паровозов и вагонов в связи с предстоящим переходом в эксплуатацию железной дороги; ревкомом разработано подробное Положение о комиссарах на участках Мурманстройки и выделены комиссары; в связи с недостатком наличных денег, после делового совещания ревкома с главнамуром и железнодорожниками, издан приказ о порядке расплаты с отъезжающими рабочими и инженерами — двадцать процентов на руки, остальное денежными переводами по месту жительства; такой же порядок выплаты жалованья временно установлен для всех мурманских служащих и офицеров; происходили назначения новых работников: главнамур издал приказ о порядке ремонтных работ на кораблях флотилии; вместе с Центромуром разработал положение о педагогическом совете при Машинной школе флотилии…

5 или 6 ноября телеграф принес в Мурманск воззвание «К населению», подписанное Председателем Совета Народных Комиссаров В. И. Лениным, где сообщалось о подавлении восстаний Керенского, корниловцев, юнкеров и контрреволюционного «Комитета спасения» в Москве… После этого дня, как бы ни придираться, в документах ревкома, Совета и главнамура не найдешь колебаний — только заботу о многосторонней деятельности на пользу молодого Советского государства, на пользу развития Мурманского края.

Отрадно, что за последние годы ряд новых исследователей — кандидат исторических наук полковник М. И. Сбойчаков в Москве, доктор исторических наук М. И. Шумилов в Петрозаводске, доктор исторических наук Ю. Н. Климов в Мурманске и другие — заново изучили и осмыслили имеющиеся

документы, разыскали материалы, начисто опровергающие самую основу прежней, ошибочной концепции об отсутствии большевистских сил и руководства на Мурмане, и тогда в новом свете прояснились и события, и люди тех давних лет. Особенно большой труд проделала группа мурманских историков в содружестве с научными работниками Ленинградского института истории КПСС и Ленинградского университета, в результате чего появился сперва сборник документов, а затем и «Очерки истории Мурманской организации КПСС».

«Очерки» не охватывают, конечно, всего материала, но опираются на основательное знание его и поэтому правдиво раскрывают сложность событий 1917—1918 годов на Мурмане и революционное творчество первых мурманских большевиков, рабочих и матросов. О Кетлинском в книге сказано не так уж много, но точно:

> «Почему же контр-адмирал, ставленник Временного правительства, обладавший реальной силой для того, чтобы подавить всякие революционные проявления на Мурмане, сразу же, через сорок минут после получения вести о событиях в Петрограде, признал Советскую власть?
>
> Было бы ошибкой считать Кетлинского твердым сторонником большевистских взглядов, но он не являлся и контрреволюционером. Патриотически настроенный и умный человек, адмирал понимал беспомощность Временного правительства в судьбах России, видел силу революционных матросов, солдат и рабочих на Мурмане и предпочел работать с новой властью, а не бороться против нее.
>
> Так, благодаря деятельности и политическому авторитету большевиков, благодаря их руководству и влиянию на массы Октябрьская социалистическая революция победила на Мурмане мирным путем, без кровопролития и вооруженных столкновений».

Последние три месяца. Они светлы и драматичны, эти последние месяцы жизни отца. Решение было принято, на избранном пути все было ново, интересно, хотя и трудно. Месяц за год? — в послеоктябрьские дни, пожалуй, неделя за год! Отмирало чувство офицерской кастовости, по-иному воспринимались вопросы войны и мира, по-иному виделись и союзники России, которые в те дни все чаще именовались союзниками в кавычках…

«В частных беседах, после деловых заседаний Кетлинский подолгу засиживался и делился с нами своими мыслями, — вспоминает Т. Д. Аверченко. — Немцев и англичан он смешивал в одну кучу, называя их колонизаторами, Керенского он презирал и называл все Временное правительство бездарным и авантюристическим… Решительные действия Ленина, как он говорил, кружат ему голову. Он здесь же выразил уверенность в успехе Октябрьской революции. «На мой взгляд, — говорил К. Ф. Кетлинский, — только Ленин может спасти Россию от катастрофы».

Перспективы развития страны, которые уже тогда раскрывал Ленин, видимо, вдохновляли и отца на планы всестороннего развития Мурманского края. Вспоминая, каким он был оживленным и деятельным в те дни, я понимаю — всю жизнь стиснутый военной дисциплиной и узкими рамками службы, он тогда впервые почувствовал возможность многое сделать, полно расходуя свою незаурядную силу.

Но все ли это понимали? И могли ли понять? Нет, не все верили в его искреннее желание служить народу и новому строю, да и не все принимали стремление главнамура, Совета и Центромура навести порядок и сознательную дисциплину на железной дороге, в порту, на кораблях, на стройках. Кроме естественного недоверия к адмиралу, некоторых революционных рабочих и матросов раздражал самый факт, что сохраняется на посту прежний военачальник — зачем это? Что смотрит Совет и Центромур? Сложность задач военных и строительных, благодаря которым и местные организации, и Советское правительство сохраняли должность главнамура, многим была непонятна. Если это сознавали большевистские экипажи таких крупных кораблей, как «Чесма» и «Аскольд», то среди матросов мелких кораблей и береговой Кольской роты были сильны и анархистские элементы, и местнические интересы — ведь матросы мелких воинских частей не прошли той школы сплоченности и революционной закалки, какую прошли, к примеру, аскольдовцы. Что же говорить о строительных рабочих, навербованных по деревням или устремившихся «на Мурманку» ради освобождения от фронта! Спровоцированные Викжелем и железнодорожным начальством, эти строительные рабочие из-за отсутствия денег чуть не убили Аверченко, пришлось члену ревкома Радченко привести ему на выручку группу вооруженных матросов… а когда те же рабочие узнали, что деньги им все же выплатят, они начали восторженно качать и Аверченко и матросов!..

В этом взбаламученном человеческом море Кетлинскому было нелегко. Но я думаю сейчас о человеке, которому наверняка было всех трудней, — о кочегаре Степане Леонтьевиче Самохине, председателе Центромура. Он, бесспорно, был опытней и политически грамотней других мурманских большевиков — сын уральского рабочего, он и сам около десяти лет проработал листопрокатчиком — с 13 лет и вплоть до призыва во флот; за его плечами была подпольная революционная работа на «Аскольде», высылка, тюрьма, «штрафная» служба в Иоканьге. Во главе основной революционной силы Мурманска — нескольких тысяч матросов — он нес ответственность гораздо большую, чем руководители Совета, поскольку и город — военный, и административная власть в руках военно-морского начальника. Еще недавно — три месяца назад! — он примчался на «Аскольд» судить Кетлинского. Судил. Если бы тогда он дал волю чувствам и не захотел вдуматься, разобраться в личности нового командира, стоило ему крикнуть «за борт его!» — и в возбужденной толпе нашлись бы исполнители. Но он вдумался, разобрался. Сам предложил в конце суда: оправдать. И вот теперь он работает в контакте с этим самым офицером. Можно ли верить в искренность и честность Кетлинского? Самохин приглядывается и повседневно, в беседах и в делах, проверяет. Самохин чутьем большевика сумел занять правильную позицию в отношении военных специалистов: «они нам нужны, с ними нужно работать».

На редкость сдержанным и вдумчивым человеком выступает Самохин во всех событиях тех дней. Вот разгорелся конфликт с Кольской ротой… Началось с мелкого повода — на Кольской базе, где до недавних дней царили бесконтрольность и всяческие злоупотребления, главнамур и Центромур освободили от работы одного офицера и одного чиновника. Матросы Кольской роты за них заступились, доказывая, что они «могут приносить пользу только в этой базе». Дальше — больше, и уже Центромур оказался «не соответствующим духу времени», и главнамур «не считается с ротой», и в Совет рота пошлет своих депутатов независимо от Центромура… Сдержав возмущение, Самохин спокойно передал решение Кольской роты на обсуждение всем командам флотилии. «Аскольд» и «Чесма» целиком осудили решение роты, миноносники осудили сепаратизм роты, но согласились с необходимостью реорганизовать штаб главнамура, более мелкие суда и команды батарей и постов в основном роту поддержали. Но на 1-м делегатском съезде Мурманской флотилии, происходившем в первых числах декабря, крайний сепаратизм и анархические выходки роты настолько выявились, что было даже высказано обвинение — «Кольская рота идет… к социализму

скопления денег и превращения матросов в класс буржуа». За предложение роты голосовали всего три делегата, после чего трое представителей роты (из четырех) демонстративно покинули съезд, хотя их уговаривали «не делать саботажа». Матросы проводили их выкриками: «Скатертью дорожка!», «Они всегда и везде так!» А съезд под руководством Самохина принял ряд боевых, большевистских решений, в том числе декларацию «За власть Советов», уточнил обязанности Центромура и формы контроля над главнамуром и его штабом, принял наказ комиссарам и т. д.

Но еще перед этим съездом, 29 ноября, Самохин специально поставил вопрос о главнамуре на совместном заседании исполкомов Совета и Центромура. Поставил прямо, чтобы все высказались до конца. Протокол обсуждения сохранился. В. Тарасов упустил самое главное и выписал только первые два абзаца и часть третьего. Для ясности приведу текст ц е л и к о м:

> «…Пункт 6. О Главнамуре и штабе.
>
> Слово берет т. Самохин, в котором он указывает, чтобы удалить все подозрения и чтоб успокоить как рабочие, так и военные массы, необходимо или уничтожить пост Главнамура, или чтоб Главнамур работал под контролем.
>
> Тов. Архангельский высказал, что можно было бы удалить адм. Кетлинского, если бы он был плохой администратор или был бы замешан в каком-либо походе против демократии.
>
> Как администратор Кетлинский великолепен, ждать от него какого-либо контрреволюционного выступления не приходится, ибо его даже Военно-Революционный Комитет признал своим полноправным членом и он в этом отношении как жена Цезаря — вне всяких подозрений, и убрать Кетлинского, чтоб получить другого, может быть худшего, нет никакого смысла.
>
> Т. Радченко высказывает, что адм. Кетлинский хотя и подчиняется демократии и не идет открыто против нас, но действует ли он от чистого сердца, а не держит ли просто нос по ветру, в этом т. Радченко очень и очень сомневается.
>
> Далей прения были настолько долгие, что коснулись прошлого адмирала, причем все делегаты с крейсера «Аскольд», хорошо знающие адм. Кетлинского, ибо он был командиром «Аскольда», горячо оправдывали Кетлинского от обвинений, на него возлагаемых, и

высказали, что эти обвинения может представить только команда крейсера «Аскольд», ибо это происходило на «Аскольде» и команда крейсера обсудила всесторонне эти обвинения и совершенно оправдала Кетлинского и, поднимая вновь это дело, товарищи как будто бы не доверяют команде крейсера «Аскольд».

Председатель ставит на голосование: «Оставить ли нам на месте Главнамура Кетлинского или его сменить».

Голосованием при 7 воздержавшихся принято: «Оставить адмирала Кетлинского».

Вопрос о штабе остается открытым и решение его предоставляется Центромуру.

Заседание закрывается в 12 часов ночи».

Какое важнейшее заседание, а теперь, в нашей полемике с некоторыми историками, какой наиважнейший документ! Этот недлинный протокол долгого и бурного заседания подтверждает, что команда «Аскольда» всесторонне обсудила обвинения, связанные с тулонским расстрелом, и «совершенно оправдала Кетлинского». Он показывает, что за короткий срок (немногим больше месяца после Октябрьской революции!) Кетлинский успел проявить себя как руководитель, умеющий и желающий работать вместе с организациями, созданными революцией. Наконец, он показывает, что естественное недоверие к контр-адмиралу, ярко проявившееся в выступлении Радченко, сменилось или, во всяком случае, начало заменяться доверием и уважением — это видно и по записи прений, и по результатам голосования: всего семь воздержавшихся, даже неистовый Радченко не голосовал против оставления Кетлинского главнамуром!..

Через неделю после этого обсуждения делегатский съезд флотилии уточнил:

> «Центромур является ответственным перед высшими органами… и общим собранием делегатов Мурм. флотилии. Оперативной, военно-морской и распорядительной частью ведает Главнамур с комиссаром, назначенные Центромуром и под контролем Центромура…»

Сообщая о решениях особого съезда флотилии, В. Тарасов, как ни странно, добавляет:

> «Политически правильное решение о создании института комиссаров не достигло своей цели, так как комиссарами были назначены п о р е к о м е н д а ц и и

> лейтенанта Веселаго (разрядка моя. — *В. К.*) люди либо с неопределившимися, либо с меньшевистскими убеждениями».

Это на странице 52. А на странице 53 автор, забыв о своем утверждении, правильно сообщает, что Веселаго в конце ноября уехал в Петроград — как же он мог в начале декабря рекомендовать комиссаров? И чем может подтвердить Тарасов напраслину, возводимую им и на Центромур и на комиссаров?

Сообщая о большевистской резолюции команды «Аскольда» в связи с роспуском Учредительного собрания, Тарасов приписывает: «Матросы требовали удаления старых офицеров с их постов, ликвидации Главнамура и сосредоточения власти в руках Совета». Вчитываюсь в резолюцию «Аскольда» — ничего подобного там нет. Пересматриваю все сохранившиеся резолюции матросских собраний со дня делегатского съезда и до гибели Кетлинского — там этого тоже нет! А Тарасов продолжает: Кетлинский якобы отказался принять в Мурманске возвращающихся из Франции русских солдат. Но по документам видно, что Кетлинский справедливо беспокоился о том, чтобы сорок тысяч солдат прибывали не сразу, а партиями и были снабжены продовольствием, так как пропускная способность железной дороги весьма мала, а в Мурманске такую массу солдат негде разместить и нечем кормить. Придумав «отказ», Тарасов обвиняет Кетлинского в «саботаже распоряжений Советской власти».

Что же сделал за несколько послеоктябрьских недель «саботажник» Кетлинский? Работал вовсю, в полном контакте с Советом и Центромуром. А. М. Ларионов, тщательно изучив деловые документы, приводит длинный перечень — в двадцать шесть пунктов! — конкретных дел главнамура, совершенных за четыре послеоктябрьских недели. Примерно две трети из них связаны с заботами о налаживании деятельности флота, порта и железной дороги, я упомяну только то, что имеет несомненно политический характер: налажено снабжение кораблей углем помимо англичан и послано революционному Петрограду из запасов флотской базы тридцать тысяч пудов белой муки! Впрочем, политический смысл имело в те дни и открытие первых школ для детей и для взрослых, и создание ежедневной газеты, и борьба с саботажем и спекуляцией, и разработка задания к проекту водоснабжения и канализации города, и срочное обследование ряда районов полуострова для выявления земельных участков, годных для сельскохозяйственных целей… Не случайно ведь во время выборов в Учредительное

собрание за большевиков из тысячи пятисот мурманчан проголосовало больше тысячи человек!..

> «Росло влияние большевиков в политической, военной и хозяйственной жизни края, — говорится в «Очерках истории Мурманской организации КПСС». — В составе Мурманского Совета более половины депутатов были большевиками».

В условиях начавшейся гражданской войны Мурман оставался спокойным, верным Советской власти краем. И это знало не только Советское правительство, но и англичане, зарившиеся на стратегически важную русскую окраину. Недаром английский посол Бьюкенен, как сообщила «Правда» 17 января 1918 года, сказал представителю шведской газеты «Свенска тиднинген», что «большевикам удалось достигнуть такого положения, которого в настоящее время никому не достигнуть… несмотря на это, державы Согласия не могут считать их представителями России, ибо, правда, они имеют власть, но их господство о г р а н и ч и в а е т с я л и ш ь с е в е р о м».

Господство большевиков на Севере не могло нравиться английским и французским деятелям, исподволь готовившим интервенцию.

Не нравилось оно и русским контрреволюционерам всех мастей. А они были и среди прямых начальников Кетлинского, и в штабе главнамура, среди сотрудников, им самим подобранных…

Вот еще страница жизни отца, которую мне хотелось бы если не вычеркнуть, то переписать по-иному, — те дни начала сентября, когда он подбирал в Петрограде свой штаб. Не потому, что он в чем-то виноват (откуда он мог знать, кто как себя проявит!), а потому что, быть может, возьми он других работников, не оборвалась бы так рано его жизнь.

Старший лейтенант Г. М. Веселаго… Кетлинский знал его молодым сотрудником оперативного отдела Черноморского флота, — исполнительный, способный офицер, вполне подходит на должность начальника оперативной части штаба. Думаю, отец сам выбрал его. И, как видно, доверял ему!.. А совсем незнакомого «солдата 171-го пехотного полка», юриста по образованию В. М. Брамсона, члена РСДРП (меньшевиков), — принял, вероятно искренне думая, что берет на гражданскую часть штаба вполне демократическую фигуру.

«Для блага всего края я, со всеми мне подчиненными лицами и учреждениями, подчиняюсь…»

Своим авторитетом и силой воли он подчинил их всех

Советской власти. Кто-то из них, возможно, принял перемену искренне, кто-то — пассивно, кому-то такое решение казалось способом «переждать», а у кого-то сжимались кулаки в кармане. Веселаго, видимо, и пережидал, и кулаки сжимал. Был по-прежнему исполнителен. Офицер, назначенный начальником штаба, не приехал, Веселаго исполнял его обязанности. Никакой роли в общественных организациях Мурманска он в ту пору не играл, это видно по всем решительно документам первых послеоктябрьских недель. В конце ноября Кетлинский командировал его в Петроград — доложить положение дел на Мурмане, добиться кредитов и решений по другим неотложным делам, а также выяснить, как стоит вопрос о войне или мирных переговорах, в частности — чего ждать на Севере, в Ледовитом океане.

Веселаго пробыл в Петрограде с 29 ноября 1917 по конец января 1918 года и вернулся в Мурманск на следующий день после убийства Кетлинского.

Чем же занимался Веселаго в Петрограде? Конечно, он выполнял некоторые поручения, и заседал в комиссии по перемирию на Ледовитом океане, и добился необходимых кредитов, за что получил благодарность от главнамура. Но одновременно Веселаго искал и находил людей, которые «пережидали бурю» и с надеждой глядели в сторону англо-французов. На свой страх и риск Веселаго начал переговоры в иностранных миссиях, а также вербовку «надежных» офицеров для Мурмана.

Все это время общение между Кетлинским и Веселаго происходило записками, передаваемыми по прямому проводу через Александровск (нынешний Полярный). Не знаю, все ли записки сохранились, но, когда я читаю те, что хранятся в архивах, я отчетливо ощущаю трагедию отца — трагедию столкновения доверчивости с вероломством, честности с подлостью. А если одновременно прочитать так называемый «дневник» Веселаго, подробно излагающий его действия в Петрограде, — впечатление еще усиливается.

Пока Веселаго сплетает первые нити белогвардейского заговора и глухо намекает главнамуру на «необходимость именно личного разговора» и на то, что без такого разговора вынужден действовать «втемную», «на свой страх», Кетлинский весь в заботах о деле: сделан ли заказ на фураж и провиант? Добейтесь кредитов во что бы то ни стало, это вопрос первейшей важности, обращайтесь вплоть до самых высших чинов республики! Закупите учебники для младших классов. Радиостанцию для горы Горелой вышлите возможно скорей, закажите фермы для

кольских мостов, если не обеспечите, «лето будем опять отрезаны от России!».

Веселаго уже обговорил в посольствах свои тайные дела и хочет вернуться в Мурманск, Кетлинский не разрешает: «Не считайте своей задачи оконченной, пока не добьетесь постройки обоих Кольских мостов до весны».

Для железной дороги нужна охрана, Веселаго поручено подобрать начальника железнодорожной милиции. Но Веселаго мало озабочен отправкой грузов в Петроград, он вербует кавалерийского генерала Звегинцева (впоследствии активного белогвардейца) — и с восторженными эпитетами рекомендует его на работу в штаб. Кетлинский с раздражением отвечает: «Звегинцев очень знающий и талантливый, но он так же для этого не годится, как и Вы. Если Вы рекомендуете Звегинцева на должность начальника милиции, то это другой вопрос». Веселаго продолжает настаивать, чтобы Звегинцев был зачислен не на железную дорогу, а в штаб, он готов уступить ему свое место: «Пусть будет зачислен на вакансию начальника штаба. Ручаюсь, что делаю редко, за полную его пригодность во всех отношениях!» И Веселаго окольным путем добивается своего — с предписанием Главного морского штаба Звегинцев прибывает в Мурманск за две недели до убийства…

Одной из забот Кетлинского было привлечение специалистов по мелиорации — для осушения болот в зонах возможного земледелия. Переговоры с мелиораторами были тоже поручены Веселаго, и Кетлинский ждал их приезда в середине января.

9 января по приказу народного комиссара по морским делам Дыбенко Кетлинский был арестован. За что? В связи с новым расследованием тулонских событий.

Тут придется сделать небольшое отступление и вспомнить о коллективных письмах аскольдовцев, списанных с крейсера в 1916 году (публикация С. Лукашевича, на которую я уже ссылалась). Кроме группы Самохина, попавшей на Мурман, большинство матросов оказалось на Балтике и сразу после революции стало требовать расследования тулонских событий и наказания виновных офицеров, боцмана и нескольких доносчиков из команды. Кроме обвинений в бесчеловечном отношении к матросам, злоупотреблениях на ремонте, обкрадывании матросов, создания атмосферы преследований, провокаций и сыска, в письмах утверждалось, что и попытка взрыва крейсера была инсценирована офицерами с целью найти повод для расправы с матросами. Можно понять возбуждение и озлобление людей, писавших эти письма. Вспомним, что первоначальная растерянность и гнев против злоумышленников, пытавшихся

взорвать корабль вместе со спящей командой, быстро сменились гневом и злобой против Иванова-6 и Быстроумова, производивших массовые и ничем не обоснованные аресты, и полным недоверием к следствию, которое с окриками и угрозами вел Петерсен. А когда к суду над восемью обвиняемыми в попытке взрыва (при чем четверо были оправданы за недоказанностью обвинения) присоединили списание с корабля сотни матросов, якобы «причастных» к преступлению, последние сомнения отпали, — провокация! Начали припоминать, что незадолго до взрыва из погреба вывезли легковоспламеняющийся дымный порох, что накануне в погреб спускался Быстроумов с боцманом и преданным ему унтер-офицером, что они же ночью после взрыва одними из первых появились у погреба, что Быстроумов не объявил пожарной тревоги, чтобы спасти спящую команду, и т. п. Версия получилась довольно убедительная, если отвлечься от того, что ни один грамотный военный не решился бы устроить даже маленький взрыв и пожар в пороховом погребе, где хранилось около тысячи снарядов. Большинство матросов искренно верило в то, что пожар в погребе офицерская провокация; но и независимо от пожара вина командования и ряда офицеров была несомненна, стремление матросов к революционному возмездию законно, и они его требовали, называя виновных поименно. Последним — нового командира «Аскольда», утвердившего приговор. Видимо, эти требования и побудили наркомвоенмора Дыбенко создать комиссию и до конца расследования арестовать Кетлинского.

Находясь под домашним арестом, он продолжал думать о начатых делах и, в частности, отправил Веселаго телеграмму, что для пользы края считает нужным провести намеченную организацию Общества изучения Мурмана до приезда мелиораторов, но под арестом сделать это не может, поэтому просит привезти мелиораторов не раньше чем через неделю после его освобождения. «Если такое будет», — добавил он. Но, судя по телеграмме, он в это твердо верил.

Так и вышло.

10 января на III съезде Советов выступил матрос Железняков (тот самый легендарный матрос Железняк из песни!), вспомнил тулонское дело и прямо назвал виновника — Иванова-6.

11 января Верховная морская коллегия постановила освободить Кетлинского, с тем чтобы он продолжал работать главнамуром под контролем Совета и Центромура.

Что тут сыграло роль? Выступление Железнякова, назвавшего конкретного виновника? Думаю, что не только оно. Дыбенко был опытным моряком и, по всей вероятности, отдавал себе отчет в

том, что реакционные офицеры могли бы пойти на любые провокации, но устраивать взрыв и пожар в погребе не рискнули бы, так как могли сами взлететь на воздух; значит, все же неумелая попытка диверсии или анархистская безответственная выходка? Большевики никогда не одобряли анархистских актов, да еще несущих гибель сотням людей. С государственной точки зрения Дыбенко не мог не ценить, что Мурман был единственной окраиной страны, где с первого дня мирно установилась Советская власть, что военный начальник края работает в полном контакте с революционными организациями, а начальники английские и французские вынуждены с этим считаться. Можно предположить, что на съезде Советов Дыбенко воспользовался присутствием мурманских делегатов и расспросил их о мурманских делах вообще и о главнамуре Кетлинском в частности, и, конечно же, председатель Мурманского Совета С. Архангельский, только что избранный членом ВЦИК, рассказал ему о заседании Совета и Центромура, решавшем вопрос о Кетлинском. А что Дыбенко относился с интересом и понятной настороженностью к адмиралу, сотрудничающему с Советской властью, подтверждает и такой факт, найденный мною в уже упоминавшейся справке ЦГА ВМФ: оказывается, «Дыбенко и его заместитель Раскольников, подозревая Кетлинского в связях с англичанами, интересовались отношением англичан к аресту Кетлинского. Центромур ответил, что англичане к аресту Кетлинского относятся спокойно».

Пробыв под арестом неполных четыре дня, Кетлинский вернулся к работе, и одним из первых его дел было создание при штабе мелиоративно-экономического отдела для осуществления «плана подготовительных работ по оживлению Мурмана в тесном сотрудничестве с общественными организациями».

> «…Кетлинский под контролем Центромура, — говорится в Справке, — продолжал энергичную деятельность, направленную на укрепление района в военном отношении, занимался комплектованием судов кадрами, строительством военных сооружений, организацией работы и охраной ж. д., ж.-д. перевозками, снабжением и другими хозяйственными и военными вопросами. Вся деятельность Кетлинского, отраженная в многочисленных приказах, циркулярах, телеграммах и официальных письмах, была направлена на сохранение Мурманского р-на для Советской власти…»

Я знаю не столько по воспоминаниям — в детстве не так уж приглядываешься к родным! — сколько по опыту сердца и по

опыту познания человеческой психологии… да, знаю, что в те последние шестнадцать дней своей жизни отец был счастлив. Приказ, вернувший ему свободу и начатое дело, был для него признанием со стороны новой и все еще несколько загадочной народной власти, это был знак д о в е р и я. Можно преодолевать немыслимые препятствия и справляться с горчайшей бедой, но без доверия глохнет энергия и дрябнут руки, без доверия жить тошно и работать нельзя.

Ему было хорошо в эти последние шестнадцать дней, хотя обстановка была сложнейшая, все давалось напряжением всех сил, каждый день возникали новые проблемы… Он не вершил большой политики, где-то далеко и независимо от него решались судьбы войны и мира, шли переговоры в Бресте, немцы были наглы, а бывшие союзники хитрили: прикидывались друзьями русской революции, а сами стремились к одному — заставить Россию воевать вот сейчас, обескровленную, разрушенную, воевать за их интересы…

В Мурманске это ощущалось повседневно. А военные и продовольственные грузы продолжали прибывать, их нужно было перегружать и отправлять по еле работающей дороге, бдительно охраняя в пути. Приезжал к главнамуру превежливейший контр-адмирал Кемп и делал деликатнейшие намеки на «отсутствие уверенности» и «необеспеченность порядка»… Вот и 28 января приехал — транспорт «Дора» уже на подходе к Мурману получил приказ английского адмиралтейства повернуть обратно, так как до правительства его величества дошли слухи, что грузы расхищаются в Мурманске и в пути. Пришлось убеждать Кемпа, что охрана будет обеспечена.

— Но ведь теперь над вами есть Центромур, может ли и он дать такую гарантию? Кроме того, «Дора» уже у берегов Норвегии и у нее такой слабый беспроволочный телеграф, что она вряд ли примет наше сообщение!

— Наш миноносец сумеет догнать ее.

Кетлинский по телефону попросил Самохина срочно собрать членов Центромура и пошел в Центромур, а Кемп остался ждать в управлении. Центромур, конечно, решил дать полную гарантию сохранности грузов; вместе рассчитали ход «Доры» и ход миноносца, решили попросить на борт миноносца английского офицера…

Кетлинский торопливо шел обратно, когда раздались выстрелы. Три выстрела в спину. У него хватило сил подняться, обливаясь кровью, на ближайшее крыльцо. Через двадцать минут его не стало.

Кто? Почему? Ради чего? — на эти вопросы в Мурманске тех дней отвечали примерно одинаково, хотя убийцам удалось скрыться. Я уже вспоминала речь С. Л. Самохина на похоронах и решение Центромура — хоронить Кетлинского «при всех почестях революционного долга»…

Было выпущено специальное обращение к населению:

> «Мурманский Совет рабочих и солдатских депутатов осуждает… бессмысленное, никому не нужное убийство, а особенно убийство Кетлинского, который своей деятельностью на пользу народа и Мурманского края заслужил доверие всех демократических организаций.
>
> …Советское правительство никогда не может оправдать самосудов, так как таковые наносят удар в спину революции и борьбе пролетариата за свое лучшее будущее… Помните, товарищи, что выступление отдельных личностей, скрывающих свое лицо, грозит провокацией…»

Вопреки мнению некоторых историков, Мурманский Совет вовсе не был в те дни соглашательским; о ясной и бескомпромиссной позиции Совдепа свидетельствует «Ответ Мурманского Совета контрреволюционерам», опубликованный в «Правде» 6 января 1918 года, где мурманцы подчеркивают, что единственной законной властью считают Советы, и просят Совнарком принять меры к полной ликвидации контрреволюционного «Комитета спасения».

Приведу еще одно свидетельство, интересное тем, что оно отразило тревогу части военных специалистов, лояльно сотрудничавших с Советами.

> «Мурманске настроение нервное слухами угрожают работникам действительно работающим в контакте с организациями такой же расправой что вызывает у многих желание уехать с Мурманска…»

Это — из телеграммы начальника Кольской военно-морской базы инженер-механика Ф. М. Соколовского (которого не надо путать с есаулом А. Н. Соколовским, белогвардейцем. Напуганный этими слухами, сам инженер-механик на время удрал из Мурманска.

Хотя в сообщении говорится, что стреляли двое неизвестных, «одетых в морскую форму», никто в Мурманске не считал, что убийство — дело рук революционных матросов.

> «Кетлинский пользовался популярностью во флотилии, и подозревать в его убийстве местных матросов невозможно… Центромур и Кетлинский действовали в полном контакте…»

Это — из показаний Павла Поппеля, машиниста 1-й статьи с «Аскольда», большевика и члена Центромура, брошенного англичанами и белогвардейцами в концлагерь на острове Мудьюг.

Другой матрос-большевик П. Коваленко, писал в своих воспоминаниях уже в январе 1935 года:

> «По моему мнению, убийцами Кетлинского были не моряки с «Аскольда», а убийцей был его же флаг-капитан Метесевич и еще кто-то из офицеров. Чем это объяснить? Метесевич был против поворота Кетлинского в сторону большевиков… У нас в узком кругу Центр. комитета (я, Самохин и еще пара матросов) обсуждали этот вопрос, и сложилось впечатление, что убийцей был Метесевич».

Очевидно, их подозрение не оправдалось в ходе расследования, но оно показывает, в каком направлении шли поиски убийц — искали среди тех, кто был «против поворота Кетлинского в сторону большевиков». Могли ли быть такие недовольные среди матросов? Вряд ли, но какое-то количество людей разболтанных, идущих за эсерами и анархистами, помахивающих маузерами и не желающих никому подчиняться, — какое-то количество таких людей нашлось, вероятно, и в Мурманске. Могло ли быть, что кто-то из них был спровоцирован теми, кому было выгодно убрать Кетлинского с дороги? Возможно. Крупные убийцы не стреляют сами, они находят исполнителей.

Вспомним, что за неделю до мурманского убийства на всю страну разнеслась весть об убийстве неизвестными матросами двух арестованных министров Временного правительства — Шингарева и Кокошкина. В «Правде» от 22 января на первой странице жирным шрифтом было выделено сообщение:

> «Советские войска сокрушают врагов рабочих и крестьян. Взяты Полтава, Ахтырка и Троицк… Пусть не омрачается эта победа дикими самосудами, выгодными только контрреволюционным провокаторам!»

В том же номере опубликована телеграмма под заголовком «Срочная без малейшего промедления», адресованная всем Советам, ревкомам, штабам Красной гвардии и т. д. с предписанием «совершенно немедленно» расследовать убийство и арестовать виновных. Телеграмма подписана Председателем Совнаркома В. Ульяновым (Лениным). В том же номере напечатано и «Объявление по флоту» об осуждении и расследовании убийства, подписанное наркомом по морским делам Дыбенко.

Так отозвались партия большевиков и Советское правительство на террористический акт против явных врагов Советской власти. Телеграммы Ленина и Дыбенко читались во всех воинских частях. Как же можно подозревать, что неделю спустя р е в о л ю ц и о н н ы е матросы, сторонники Советской власти, могли пойти на убийство человека, признавшего Советскую власть и сотрудничавшего со всеми демократическими организациями?

А ведь именно такое объяснение дает М. Кедров:

> «Причина убийства, думается, ясна: желание устранить препятствие, стоявшее на пути установления действительно Советской власти».

Вслед за ним и В. Тарасов и некоторые другие историки рассматривают убийство Кетлинского как акт революционный, направленный против «контрреволюционного Главнамура». Доказательства? А никаких доказательств!

Между тем стоит без предвзятости проанализировать события, развернувшиеся с р а з у после убийства Кетлинского, чтобы понять: с катастрофической быстротой дела пошли к сговору с «союзниками», к высадке английских войск и подготовке интервенции.

Генерал Звегинцев прибыл в Мурманск 10 января.

Веселаго вернулся в Мурманск 29 января, то есть на следующий день после убийства Кетлинского, и немедленно помчался к адмиралу Кемпу, чтобы сообщить ему о своих переговорах с английскими представителями в Петрограде и просить содействия и помощи. В тот же вечер на квартире английского консула состоялась секретная встреча, на которой присутствовали Кемп, Веселаго и Звегинцев. Кемп обещал свое содействие и одобрил (!) намечаемую Веселаго новую форму правления — создание Народной коллегии. Оттуда Веселаго помчался информировать начальника французской военной миссии капитана де Лягатинери, а «несколько позже» и американского представителя лейтенанта Мартина.

Как свидетельствует член Центромура П. Поппель, «после смерти Кетлинского Центромур взял на себя военную власть… в то же время просил Петроградский морской комиссариат прислать на место Кетлинского опытного морского офицера». В связи с этим Самохин выехал в Петроград, где он, видимо, был оставлен на какое-то время в Генштабе, так как на его телеграммах указан обратный адрес — Нагенмор. Вместо Самохина возглавил Центромур эсер Ляуданский.

Тогда же, видимо, уехал в очередную командировку и председатель Совдепа Архангельский, его заменил А. М. Юрьев (Алексеев), пробывший около девяти лет за границей, плававший кочегаром на русских и иностранных судах, сотрудничавший в Нью-Йорке с Троцким и считавший себя другом Троцкого.

2 февраля Совдеп утвердил Народную коллегию из трех лиц: самого Юрьева, Ляуданского и представителя железной дороги Лукьянова. Решение на первый взгляд вполне демократическое — вместо единоначальника-адмирала коллегия из представителей трех основных организаций! Могли ли знать депутаты Совета, голосуя за нее, что состав коллегии согласован с английским адмиралом Кемпом и что сама коллегия лишь ширма для Веселаго, занявшего должность «управделами» коллегии, и для генерала Звегинцева, ставшего командующим вооруженными силами!..

Да, со дня убийства Кетлинского все пошло по плану, намеченному Веселаго еще в Петрограде, в английском посольстве, военных миссиях и русских контрреволюционных кругах. Осуществлению этих планов помогла начавшаяся демобилизация — уезжали самые революционные матросы и солдаты, уезжали многие большевики…

В. Тарасов вопреки фактам старается убедить читателей, что после убийства «все шло по-прежнему», так как Кетлинский якобы был в курсе контрреволюционных замыслов Веселаго; чтобы как-то доказать недоказуемое, он извлек из «дневника» Веселаго строку, что Кетлинский телеграфировал «разрешение действовать, сообразуясь с обстановкой», хотя двумя строчками выше сам Веселаго пишет, что о сути его действий адмирал не мог «догадаться даже приблизительно»… При этом в угоду ложной концепции тщательно обходится единственное место в «дневнике» Веселаго, где тот прямо говорит о позиции Кетлинского и своей:

> «Я здесь решительно отмечаю, что все происходившее на Мурмане начиная с февраля, как по идее, так и по форме не имело ничего общего с работой,

начатой покойным адмиралом… То, что я делал затем, идя по совершенно иному, чем он, пути, — конечно, не было ни в какой мере продолжением его деятельности».

Вывод напрашивается сам собою: «и по идее и по форме» Кетлинский с его авторитетом и властью стоял на пути разворачивающегося заговора. Веселаго это понял, вероятно, в Петрограде, когда не мог уговорить главнамура взять в свой штаб генерала Звегинцева. Понял это, видимо, и адмирал Кемп, так как, по свидетельству члена Центромура П. Коваленко, Кетлинский «ни одного вопроса не разрешал без центрального комитета. Когда он совещался с адмиралом Кемпом у себя в кабинете, он приглашал либо комиссара, либо Самохина…»

Разбираясь по свежим следам, в начале двадцатых годов, в сложном переплетении мурманских событий, А. М. Ларионов уже тогда установил, к о м у было нужно устранение Кетлинского и к т о м о г спровоцировать так или иначе убийство. Это позволило ему впоследствии написать, что Веселаго «был единственным человеком, который мог бы сказать правду по поводу убийства 28 января в Мурманске адмирала Кетлинского К. Ф.». Как контрразведчик, Ларионов нюхом чувствовал следы, ведущие от исполнителей убийства, кто бы они ни были, к деятелям «контрреволюционных центров и союзных разведок».

Он не одинок в таком понимании событий. Еще в 1929 году в журнале «Карело-Мурманский край» в № 4—5 появилась статья «За Советский Мурман (К истории интервенции на Севере)», где ее автор, И. Хропов, писал:

> «С первых же дней Октября англичане повели скрытую подготовку для захвата Мурмана на тот случай, если им не удастся втянуть Советскую Россию в войну с Германией.
>
> Такая политика англичан скоро обнаружилась. Главнамур, адмирал Кетлинский, не являясь противником союзников, все же был достаточно честен, чтобы не пойти на тайную службу к англичанам. Видя в Кетлинском камень преткновения своим планам, англичане выстрелом в спину в январе 1918 г. убирают Кетлинского с дороги, а на смену ему появляется начальник штаба Главнамура, явный агент английской миссии в Петрограде, лейтенант Веселаго, с первых же дней приступивший к подготовке интервенции».

В книге А. А. Самойло и М. И. Сбойчакова «Поучительный

урок», вышедший в Воениздате в 1962 году, говорится:

> «Кто же убил Кетлинского? Мы не располагаем материалами английской разведки и, следовательно, не имеем прямых улик. Но логика приводит к выводу, что контр-адмирал убран с дороги как неугодное английским империалистам лицо, мешавшее осуществлению их замыслов — оккупации Мурманска».

В 1968 году к их точке зрения присоединился доктор исторических наук М. Шумилов. В большой статье, напечатанной в архангельской газете «Правда Севера», он проанализировал на основе документов ошибки историка Мымрина в оценке мурманских событий и подробно остановился на положительной роли Кетлинского. Его критика, адресованная Мымрину, в такой же мере может быть отнесена и к Тарасову — та же концепция, то же вольное обращение с документами! И полное пренебрежение к естественному для историка-марксиста вопросу: кто выиграл от устранения Кетлинского?..

Веселаго… Звегинцев… Англо-французские интервенты… Причастны ли они к убийству или нет, но выгадали именно они — и не замедлили воспользоваться выгодой. А раз так, уже не имеет особого значения, были ли те «двое в морской форме» переодетыми, чтобы свалить вину на матросов, или они действительно принадлежали к числу матросов-анархистов, буйных и безответственных, сами ли они решили использовать свои маузеры — или их спровоцировали за бутылкой виски самыми что ни есть бунтарскими «архиреволюционными» разговорами…

Недавно в Мурманском партархиве, в воспоминаниях бывшего офицера коммуниста Бжезинского, я прочитала: во время встречи на Волжской флотилии Раскольников и Лариса Рейснер рассказали ему, что в январе 1918 года нарком по морским делам Дыбенко уже решил перевести Кетлинского к себе в наркомат — создавать советские военно-морские учебные заведения. Как много пользы он мог бы там принести! Но подлые выстрелы из-за угла опередили приказ наркома.

К красному флагу, укрывшему гроб адмирала, к скромному винтовочному залпу и мелодии «Вы жертвою пали» над его могилой я хочу присоединить вместо венка несколько добрых слов тех людей, которые знали его и работали с ним.

Петр Романович Болдырев, матрос, большевик:

> «Кетлинский был преданным Революции. А к матросам относился с любовью, хорошо и ко всем по-

дружески; он был образованный и скромный человек, команда его любила. Он пользовался авторитетом среди всех окружающих и грубости от него не было, — он был новым для нас всех.

…Взаимоотношения адм. Кетлинского с Веселаго. Что может быть среди этих двух разных людей, один имел определенную цель, идею быть верным слугой народу и Революции, а другой настоящий ханжа… Адмирал Кетлинский, по-моему, ему в друзья не подходит по своим убеждениям, он отдавал свои знания, чистые стремления народу и Революции, за что и погиб, что любил и помогал и хотел помочь большим делом…»

П. И. Коваленко, матрос с «Аскольда», большевик, член Центромура и председатель Продфлота в 1917 году, а в 1920 году комиссар военного и торгового порта на Мурмане:

«У нас было впечатление, что Кетлинский искренне перешел на сторону Советской власти… Самохин заявлял так, что Кетлинский в связи с заявлением и по своим действиям честно перешел на сторону Советской власти, тогда как все остальные имеют у себя за пазухой кирпич. Остальным не верили, а Кетлинскому верили».

Степан Леонтьевич Самохин — в сообщении об убийстве Кетлинского:

«Убийство адмирала было полнейшей неожиданностью и произвело на нас слишком сильное впечатление, потому что все общественные организации слишком надеялись на хорошие стороны адмирала, и его деятельность нам доказала ту громадную пользу для России и процветания Мурманского края, которую приносил адмирал. Все общественные организации смотрели на него не как на адмирала, а как на единственного нашего общего сотрудника для блага России. Частые слова адмирала были: не допустить на Мурман частных предпринимателей для использования богатств Мурманского края. Адмирал был ярым противником вторжения других капиталистов (и иностранных капиталистов). Его идея была: основать на общих артелях с помощью государственного кредита рыбопромышленность, звероводство и вообще оживить край и дать тем Родине источник новых средств. Тот богатый материал, собранный адмиралом по вопросу о

дальнейшем значении Мурманска и его развития, свидетельствует о задачах покойного адмирала».

Ожил Мурманский край, на пользу народа широко разрабатываются его богатства, крупным городом стал Мурманск, а над могилой бывшего адмирала высятся корпуса Дома междурейсового отдыха моряков — с лекторием и кинозалом, с библиотекой и плавательным бассейном. Пусть уверяют — перехоронили, для меня прах отца здесь. Здесь, где топочет, хохочет, травит матросскую небывальщину и, затихая, впитывает новое — из лекций, из книг, с экрана — бесшабашный, добрый и грешный, неунывающий моряцкий люд.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

На Карельском перешейке — ранняя весна. Еще бело вокруг от недавних метельных снегопадов, но высоченные сугробы, каких уже несколько зим не было, успели уплотниться, снизу засочились влагой, сверху отвердели. Солнце греет даже через облачную пелену. Птахи верещат на мокрых ветках. А с крыш и с подбалконных откосов вперебивку звенит, шлепает, долдонит победная, уже набравшая силу капель.

Сегодня, сбрасывая с летнего крыльца слежавшийся снег, нашла под ним целлулоидного ослика Катюшки. Вот бы ее привезли сюда! Чтоб топала по оседающему насту, норовила ступить в лужу или нагнать воды в пробитую через двор канавку с неторопливым ручейком. И чтоб ни о чем не думать, а глядеть на этот крепенький побег жизни, на это сосредоточенное постижение мира — ей все внове: капель, лужа, щепка, застревающая на перекате, верещание птахи, мокрый блеск резиновых сапог…

Стариковское слово «бабушка» поначалу озадачило меня не меньше, чем «ветеран». Пока здорова, много работаешь и многое замышляешь — откуда взяться стариковскому самоощущению? А жизнь идет, бежит, вот уже две внучки у меня — Оленька, старшая, и Катюшка, совсем крохотный человечек. Что ж, бабушка так бабушка, освоилась с этим понятием и открыла за ним тончайшую и мудрую поэзию — поэзию познания своего третьего поколения, сочных побегов от единого ствола. В них и сходство, и никакого сходства, сплав родного, знакомого с неведомо как и

откуда взявшимся. Оленька — папина дочка, вплоть до белой прядки над лбом, до характерного движения глаз… а повторения не будет, уже проглядывает и не папино, и не мамино, и не мое — свое. Будет ли оно лучше или хуже — свое, неповторимое. И Катюшка… все еще в зародыше, но пробивается характер с особинкой. Пока вроде народившейся сосенки, еще ни ствола, ни веточек, а выбился из-под слоя пожухлой хвои коротенький торчок, а на конце торчка растопырил мягкие иголки зеленый сквозной шарик… Поди догадайся, что они ближайшие родственники — зеленый шарик и та сосна, что вознесла над ним корабельный ствол!

Ну почему бы не привезти ко мне Катюшку хоть на день?!

А все дело в том, что я устала. Трехмесячное путешествие в историю измотало куда больше, чем настоящее путешествие, даже если оно без передышек, от зари до зари, по жаре, по холоду, по бездорожью, воздухом, морем, как угодно…

И еще, сквозь усталость, чувство облегчения — выполнила давний долг.

Перед тем как вернуться к рукописям, надо бы денька три побродить по комаровским тающим, рыхлым дорогам, скалывать лед и сгонять воду по канавкам, подмерзающим ночью, а днем оживающим, искрящимся, болтающим невесть что. И ни о чем не думать.

На днях повесили новый скворечник — и уже скворец и скворчиха носятся взад-вперед, обживают его. В старом скворечнике селились не скворцы и не синички, а небольшие серенькие пичуги, не знаю, как их именуют, но они появлялись ранней весной и первыми захватывали жилплощадь. Однажды скворцы пытались оттеснить молодую пару, те отчаянно выкликнули подмогу, прилетело пичуг десять той же масти, скворцы тоже кликнули своих, сражение шло по всем правилам воздушного боя, с виражами, атаками, заходами со стороны солнца… И ведь отстояли серенькие свой домок! Скворцы очень расстроились, в тот год, кажется, и на участок не залетали. Осенью старый скворечник сорвало ветром, а с ним вроде и права серень ких? Скворцы тут как тут, поют-заливаются с рассвета и до самых сумерек, даже изнутри своего домика голос подают.

И еще нынче к нам повадилась белка, смелая до отчаянности. Бегала прямо по двору, взлетала по стволу сосны, потрошила над нами шишки, потом, как воздушная гимнастка в длинном прыжке, перелетала с одной сосны на другую, там опять потрошила шишки — за зиму, наверно, проголодалась. Мы ей начали подкладывать под сосну шишки, орешки, хлеб. Утром глянешь — все подчистую! А это, оказывается, сорока повадилась.

Джерри на белку не лаял, только подозрительно следил за ее передвижениями, а сорока уязвила его своим нахальством, подпустил ближе да ка-ак рявкнет… Белобоки и след простыл!

…Наша белка — трудяга, а вот играющих белок я наблюдала только однажды, на Кавказе. Ездили мы компанией в Домбай, в альпинистский лагерь «Наука», где гостей встречает симпатичная надпись: «Добро пожаловать! Мы рады всем честным и искренним людям!» Переночевали в палатке, утром пошли в горы, до первого ледника и до синего-пресинего, прелестного своей прозрачностью горного озера. Нас предупредили: держаться вместе, есть медведи. И надо же было, чтоб именно я увидела медведя! Всамделишного, грязно-бурого, неряху из нерях. Он вышел на каменную площадку над склоном, мимо которого вилась тропа, и смотрел на нас то ли презрительно, то ли любопытно, во всяком случае, как мне показалось, без алчности. Я возбужденным шепотом оповестила спутников: «Медведь! Вон там! Смотрите же!» Но пока они выясняли, куда смотреть, медведь повернулся задом — зад был облезлый, шерсть свалялась, стерлась, весьма непривлекательно выглядела! — и неторопливо ушел. А меня подняли на смех: «У страха глаза велики!», «Да нет, писательское воображение!», «Новелла: встреча с медведем!» Очень показалось обидно — медведь-то был! Зато на обратном пути, в машине, как только я увидела играющих белок, крикнула водителю: стоп! — и назад, спутникам: справа, самое толстое дерево!.. Да, две белки играли. Была ли то любовная игра или резвились малолетки, не знаю, но одна белка стремглав обегала объемистый ствол старого дерева, замирала на ветке и сверху насмешливо глядела черными глазками-пуговками на вторую. Вторая бросалась вдогонку тем же путем вокруг ствола, но первая, чуть помедлив, делала новый круг, забирая выше, и опять — голова набок — глядела с насмешкой. Остановившейся совсем близко машины она ничуть не испугалась, даже поглядывала на нас, будто приглашая порадоваться, как весело и ловко у нее получается. Зато вторая белка в азарте не замечала ничего — догнать бы!.. Так они прокрутились несколько раз вокруг ствола, пока их не скрыла густая листва кроны, но ветки покачивались то тут, то там — игра продолжалась, затем качнулась ветка соседнего дерева — озорница сиганула туда, мелькнул распушенный хвост догоняющей, и обе исчезли.

— Может, и белок не было? — спросила я своих спутников.

Как ни странно, белки убедили их в том, что был и медведь.

…Ну ладно, сколько бы я ни внушала себе, что отдыхаю вовсю и начисто отвлеклась от работы… Все время бередит мысль: естественно ли войдет в структуру книги мое путешествие

в историю? Что оно тут необходимо — знаю твердо. Но, быть может, следовало найти более свободную, повествовательную — более художественную форму? Тогда было бы интересней и доступней?.. Все так, но в споре нужна точность. И обстоятельность. Я и то, боясь перегрузки, выбирала главное, оставляя без ответа мелкие искажения фактов.

Но будет ли мое полемическое отступление интересно читателям? Может, оно важно только мне и тем, чье доброе имя я стараюсь защитить?

Хожу по пустынной лесной дороге, суженной отвалами снега, посередке между просевшими колеями, по которым бежит под уклон талая вода, дробя отражения облаков, неба, приклонившейся над дорогой березы… До шоссе и обратно, до шоссе и обратно… Интересно или нет? Личное или для всех? Как мало мы знаем — когда пишем! — что окажется интересным, что пройдет незамеченным, за что похвалят, за что отругают, какою будет судьба книги, долгая или короткая ей предстоит жизнь?..

Сомнения, сомнения… Только первую книжку пишешь с наивной убежденностью в том, что она необходима человечеству. А дальше, чем серьезней и осознанней работаешь, тем сильнее — с каждой новой книгой — неуверенность и тревожное ожидание первых, сотых, тысячных откликов… Как воспримут? Что и почему взволнует читателей? Получаешь письма — от незнакомых людей, из неведомых мест — и каждый конверт вскрываешь нетерпеливой рукой: что там? какие вопросы? какие ответные мысли?..

Сомнения, сомнения… И все-таки чутье говорит: пусть не всех читателей заинтересует эта моя книга — итоговая, разнородная, не сцепленная сквозным сюжетом… но те читатели, которым она придется по душе, примут и суховатое документальное отступление. Личное? Никакое оно не личное!

Только для меня история отца имеет личный оттенок, для любого другого человека, старого ли, молодого ли, его судьба — всего лишь малая частица большого я в л е н и я на величайшем переломе общенародной истории.

В эти месяцы, проверяя свои представления о психологии и побуждениях отца, я читала разные воспоминания, исследования, высказывания о военных специалистах в революции, встречалась с людьми, которые могли дополнить прочитанное живым рассказом… Да, как бы ни были сильны классовые связи офицеров царской армии и флота со старым строем, эти связи далеко не всегда определяли их решения и поступки. Перед революцией в русском обществе, даже в его привилегированных слоях, скопилось столько возмущения прогнившим царизмом,

столько горечи, стыда и отвращения, а бездарное руководство войной так ясно показало: дольше терпеть невозможно, — что наиболее вдумчивые и честные офицеры приняли революцию как избавление — от царя, от жандармского произвола, от казнокрадства и тупых сановников. Конечно, не все проявления революции их радовали, они опасались «крайностей», надеялись, что революция остановится «на полдороге»… Но революция неудержимо перерастала в социалистическую, никакой «середины» быть не могло, и очень скоро жизнь поставила вопрос ребром: с кем пойдешь? с народом, то есть с Советами, с большевиками, с солдатами и матросами — или с контрреволюцией?

«Одно я твердо знал, не сомневался в этом ни минуты: бороться против моего народа в рядах белых армий или, оставив Родину, не участвовать в ее защите я не могу» — так записал в своем дневнике генерал-лейтенант Е. А. Искрицкий. И пошел с народом, и командовал 7-й армией, оборонявшей Петроград от войск Юденича, где наверняка было немало его знакомых, товарищей по выпуску или по службе — немало людей его класса и его офицерской касты…

В те же дни по позициям белогвардейцев вел огонь с кораблей Балтфлота морской артиллерист, командующий эскадрой С. П. Ставицкий. Офицер царского флота, он с первых дней Октябрьской революции твердо встал на сторону Советской власти и оказал доброе влияние на многих молодых офицеров. Одним из первых был награжден боевым орденом Красного Знамени, много лет служил в советском флоте, читал морскую тактику и был заместителем начальника Военно-морской академии имени Ворошилова и уже в преклонных годах, консультантом, участвовал в Великой Отечественной войне.

Все ли, честно служившие народу в последующие годы, так ясно и твердо сразу принимали трудное решение? Нет, среди тех, кто презрел белогвардейщину и не захотел укрыться за границей, каждый проходил свой путь, каждый решал по-своему…

Генерал-лейтенант Д. П. Парский Октябрьскую революцию не принял, но и бороться с нею не пошел; человек уже пожилой, он отстранился от дел и, надо думать, не без мрачного скептицизма смотрел на развал старой армии и на усилия большевиков добиться мира; но, когда после срыва Брестских переговоров немцы начали новое наступление, Парский сам пришел к начальнику штаба Красной Армии, бывшему генералу М. Д. Бонч-Бруевичу.

«Я мучительно и долго размышлял, — срывающимся голосом

сказал он, — вправе я или не вправе сидеть сложа руки, когда немцы угрожают Питеру. Вы знаете, я далек от социализма, который проповедуют ваши большевики. Но я готов честно работать не только с ними, но с кем угодно, хоть с чертом и дьяволом, лишь бы спасти Россию от немецкого закабаления».

Генерала Парского назначили командующим Нарвским участком обороны. И тут, в живом общении со «страшными» большевиками, с совершенно новыми солдатами, знающими, почему и за что они готовы отдать жизнь, у бывалого воина началась переоценка ценностей, осознание глубокого смысла событий. Этот духовный процесс шел быстро, месяц стоил обычного года, а может быть, и неделя — года?.. Во всяком случае, генерал Парский успешно командовал потом Северным фронтом против белогвардейцев и интервентов, а затем, вплоть до своей смерти в 1921 году, был председателем комиссии по выработке Уставов Красной Армии.

«Как русский дворянин, я всегда готов защищать свою Родину!» — так ответил генерал В. Н. Егорьев в те же дни февральского наступления немецких армий, когда руководители формирующейся Красной Армии предложили ему участвовать в отражении врага. Он честно воевал и связал всю свою дальнейшую жизнь с Советскими Вооруженными Силами.

О нем рассказала мне Августа Ивановна, вдова другого Егорьева, Всеволода Евгеньевича, адмирала. Милая, на редкость подвижная для своих лет («Мне восемьдесят восемь, но я из кокетства говорю, что девяносто!»), она охотно приняла меня, предупредив, что в два часа должна будет уйти… на партийное собрание. Да, она член партии с 1939 года и активная деятельница Дома ученых.

— Ваш муж тоже стал членом партии?

— Нет. В 1941 году он настаивал, чтобы его пустили на фронт, и тогда же написал заявление о приеме в партию, но его не отпустили и вместе с академией эвакуировали в тыл. А вступить в партию — военному! — в тылу Всеволод Евгеньевич считал неудобным.

Я много слышала об адмирале Егорьеве, моряке и ученом, человеке большой скромности и деликатности. В 1917 году, в чине капитана 1-го ранга, он работал в Главном морском штабе и был уже представлен к производству в контр-адмиралы. После Октября он стал начальником Главного морского штаба, потом читал в Военно-морской академии тот самый курс лекций об иностранных флотах, который начинал мой отец, создал кафедру по этому предмету и много лет руководил ею. Был морским представителем советской делегации в Женеве, в комиссии по

разоружению. В течение десяти лет был главным редактором «Морского сборника», весьма солидного и авторитетного издания. Скончался он в 1967 году. К его вдове, счастливо прожившей с ним более полувека, меня привело желание узнать и понять, как он, офицер, достигший до революции высокого положения, душевно пришел к служению другому классу. Или он уже тогда разделял большевистские взгляды?

— Нет, конечно! — воскликнула Августа Ивановна. — Но он был хорошим человеком и у него всегда были дружелюбные отношения с матросами, он был тесно связан с Балтийским флотом, знал там очень многих, а Балтийский флот ведь был большевистский! И муж как-то чувствовал правоту матросов, их нужды… А когда произошел Октябрьский переворот, Дыбенко сам обратился к Всеволоду Евгеньевичу: «Моряки вас знают и уважают, прошу вас работать с нами». И муж согласился. Комиссаром морского Генштаба была Лариса Рейснер, вы, наверно, слышали о ней? — дочь известного профессора. Они много беседовали, муж часто бывал у нее. И тогда уж начал читать и Ленина и Маркса…

— И вы тоже?

— Конечно.

Я расспрашивала ее о некоторых видных моряках, которых она могла знать. Приходилось ли ей встречать контр-адмирала Альтфатера, который одно время командовал Морскими силами республики?

— Василия Михайловича? Ну как же! Он был флагманским штурманом Балтфлота, а потом вместе с мужем работал в штабе. Его отец был известным артиллерийским генералом. А вы знаете, что Василий Михайлович во время Брестских переговоров был в составе советской делегации?

О некоторых моряках она рассказывала подробно, по-современному оценивая их вклад в развитие советского флота, об иных восклицала, улыбаясь далеким воспоминаниям: «Ну как же, мы встречались на балах! Он прекрасно танцевал!» Я слушала ее живой голос, наблюдала, с какой нестарческой экспансивностью она перебирает старые фотографии, вскакивает, чтобы показать мне книгу мемуаров или что-то уточнить по телефону со своей давней приятельницей… и вспоминала свою мать: если бы не блокада, маме было бы примерно столько же лет, она держалась бы так же экспансивно и бодро — здоровье у нее было отменное — и так же мило, немного забавно сплетались бы в ее облике и манерах как бы две женщины разных эпох — сегодняшняя, педагог и пылкая общественница, и та давняя, светская, что рассказывала о военных днях Порт-Артура,

говорила: «Мы, морские дамы», — а про знаменитого флотоводца: «О, такой веселый, такой дамский угодник!»

Целый мир сложившихся понятий, привычек, родственных связей стоял за каждым человеком старого мира, шагнувшим в мир новый. И сегодня, спустя полвека, по-человечески интересно вдуматься в сложность такого шага.

А. И. Верховский, полковник старой армии, а затем советский комкор, оставил нам книгу воспоминаний «На трудном перевале». Поучительная книга! Верховский писал ее через пятнадцать-двадцать лет после предреволюционных и революционных событий, свидетелем и участником которых он был, поэтому он не только оценивает их с точки зрения своего жизненного опыта и установившихся убеждений но и рассматривает самого себя тогдашнего, свои поступки и побуждения, иллюзии и ошибки. «Таких людей, как я, в то время было много», — пишет он. И это правда.

Военный по семейной традиции и воспитанию, учившийся в таком привилегированном корпусе, как Пажеский, 9 января 1905 года Верховский резко осудил кровавую расправу с рабочими, за что был разжалован в рядовые и отправлен в Маньчжурию, в действующую армию… но там, отличившись в стычке с японцами, получил солдатского «георгия» и был произведен в офицеры, после чего верой и правдой служил царскому строю, пока в боях первой мировой войны не почувствовал трагедию народа и не увидел бесталанность, продажность и самодурство «верхов»… Он принял февральскую революцию как избавление — и все же хотел, чтобы народ продолжал воевать до победы за чуждые ему цеди. Он верил в необходимость сотрудничества классов и единения солдат и офицеров — и своей работой в Севастопольском Совете, а потом на посту командующего Московским военным округом помогал колчакам и керенским, милюковым и рябушинским сохранять власть. Поняв осенью 1917 года, что контрреволюция выдвигает в диктаторы своего кумира — генерала Корнилова («человека с сердцем льва, но умом барана») и что вокруг корниловской авантюры сплачиваются все антинародные силы, Верховский ужаснулся и резко выступил против корниловщины, готовясь двинуть против восставших войска округа… («В корниловские дни я оказался выброшенным из своего класса», — с горечью написал он.) А через несколько дней согласился стать военным министром Временного правительства, хотя было нетрудно догадаться, что Керенскому это понадобилось только для того, чтобы выдвижением антикорниловца создать впечатление своей непричастности к контрреволюционному заговору.

Признаюсь, раньше я не слыхала о Верховском и заинтересовалась им, перечитывая предоктябрьские статьи и письма Ленина. 24 октября 1917 года в знаменитом «Письме членам ЦК», где Владимир Ильич писал, что нужно немедленно, сегодня же вечером взять власть, дважды упоминается Верховский. «Буржуазный натиск корниловцев, удаление Верховского показывает, что ждать нельзя». И дальше: «Цена взятия власти тотчас: защита н а р о д а… от корниловского правительства, которое прогнало Верховского…» Что за Верховский, и почему его прогнали?

Оказывается, новый военный министр выступил в «предпарламенте», созванном Керенским для создания видимости демократии, и неожиданно для всех заявил, что армия дольше воевать не может, тяга к миру непреодолима и поэтому нужно немедленно заключить мир с Германией, даже если союзники на это не согласятся. Временное правительство «уволило» непокорного министра и предложило ему немедленно покинуть столицу.

Но через несколько дней, когда большевики взяли власть и прогнали всех керенских и корниловых, Верховский не принял Октябрьской революции и вскоре связался с эсеровским подпольем, наивно полагая, что эсеры борются за настоящую демократию. Через несколько месяцев он с отчаянием понял, что народ не поддерживает эсеров, что массы идут за большевиками, а он сам бредет «в тумане без компаса». Порвать связи с подпольем помог арест.

На допрос его привели к Ф. Э. Дзержинскому. Пожалуй, это и не назовешь допросом. Большую, интересную беседу, подробно записанную Верховским, пересказывать не берусь, ее надо прочитать всю, от начала до конца. Отмечу лишь, что Дзержинский сказал: «Вы потом будете меня благодарить за то, что я вас арестовал и тем уберег от глупостей, которым вы и сами потом не нашли бы оправдания». Он спросил напрямик: «Почему вы не пошли с нами после Октября? Ведь мы провели в жизнь то, из-за чего вы боролись и почему разорвали с Керенским?» Выложив все, что его не устраивало в политике большевиков, Верховский сделал горькое признание: «Я не могу идти ни с белыми, ни с вами. Я остался между двух баррикад и не вижу пути».

Терпеливо, не торопясь, «как учитель непонятливому ученику», объяснял Дзержинский ошибки сидевшего перед ним эсера-подпольщика. Рыцарь революции и карающий меч ее, Дзержинский чувствовал, что тут нужно не карать, а врачевать душу. И он сказал задумчиво: «На каком-то этапе развития

революции люди, подобные вам, должны будут прийти к нам».

Он был прав. Менее чем через год Верховский уже служил в Красной Армии — сперва в штабе Петроградского военного округа, потом на Восточном фронте, а затем много лет преподавал тактику в Военной академии и издал ряд книг, по которым учились будущие красные командиры. В 1922 году в качестве военного эксперта ездил с советской делегацией на Генуэзскую конференцию. Скончался он в 1941 году, после его смерти сын нашел и предложил Воениздату рукопись его воспоминаний…

Много лет назад один мой товарищ привез из Парижа книгу русского писателя, заплутавшегося в белоэмиграции. Я любила тонкий талант этого художника и поэтому с печалью и наслаждением читала написанные им вдали от родины маленькие рассказы и зарисовки — трепетные воспоминания о ее людях, ее природе, ее ушедшем быте… Она была вне времени, эта небольшая книжка, будто не прошумели над Россией ни революция, ни гражданская война, ни азартное вдохновение первых новостроек. И вдруг… какой-то чужеродный, тусклый рассказ о беспутном офицеришке, нечистом на руку, выгнанном из полка за шулерство, а в конце как удар хлыста: теперь этот офицеришка — один из руководителей Красной Армии. «Что это? — думала я, перечитывая рассказ, в котором так выпукло выступала заданность. — Ревнивая злоба? Самоутешение? Плод дезинформации?..»

Не хочу называть имени писателя, потому что знаю — к концу жизни он по-иному относился к Советскому государству и к Советской Армии. А вспомнился мне этот мелкий, недостойный выпад потому, что все наши враги, а белогвардейские отщепенцы в особенности, яростно старались запятнать имена русских офицеров, ставших на сторону революции, изобразить их побуждения низменными, а количество — ничтожным. Но мы, строители нового мира, мы не имеем права отдать на поругание их имена, не можем принижать сделанное ими и забывать их мужество, потому что и в этом тоже мощная сила революционных идей и революционного действия, соединенных с мощной силой русского патриотизма.

Клевета страшна тем, что она маскируется под достоверность. Читая «дневник» мурманского предателя Веселаго, я не верила его намекам на согласие с ним Кетлинского, потому что знала доподлинно правду, но и я поначалу поверила утверждению Веселаго, что в Главном морском штабе его предательство получило благословение одного из руководителей Е. А. Беренса. В моем воображении уже возникла довольно

стройная картина заговора. Но, изучая материалы того времени, я увидела, что стройная картина распадается… Стала разузнавать, какова же была дальнейшая судьба Евгения Андреевича Беренса? И что же оказалось? Клеветал Веселаго! Честно работал Е. А. Беренс в Советских Вооруженных Силах, отражавших натиск интервентов и белогвардейцев (включая Веселаго!), был советским военно-морским атташе в Англии, был советским экспертом на многих международных конференциях…

А сколько клеветали белогвардейцы на полковника А. А. Игнатьева, впоследствии широко известного у нас автора книги «Пятьдесят лет в строю»! Представитель наиболее высокопоставленного дворянства, помещик, граф, во время первой мировой войны — военный атташе царского правительства во Франции, Игнатьев после Октябрьской революции отвергал одну за другой все попытки втянуть его в войну против своего народа. Нажим на него был тем сильней, что на имя Игнатьева во французских банках лежали огромные суммы государственных денег для закупок вооружения и боеприпасов — в общей сложности свыше двухсот миллионов франков. Игнатьев проявил немалую изобретательность, чтобы уберечь эти русские миллионы и от белогвардейских «правителей», и от французских поползновений забрать их «в счет царских долгов»… («Часовой у денежного ящика» — так он сам себя назвал.) Ему было тяжелей, чем офицерам, пошедшим служить в Красную Армию, — в Париже он был один и вне связи с новой, Советской Родиной. Его клеймили эмигрантские газеты, бывшие друзья не подавали ему руки, ближайшие родные, собравшиеся в Париже (в том числе и его родная мать), постановили исключить его из состава семьи и запретили ему прийти на похороны любимого брата… Он впал в бедность, переехал с женой в пригород, стал разводить и продавать шампиньоны, чтобы прокормиться, но дождался приезда во Францию первого советского полпреда Л. Б. Красина, чтобы отдать Родине то, что ей принадлежит. Некоторое время он работал в нашем торгпредстве, затем получил советский паспорт, вернулся на Родину, был зачислен в ряды Советской Армии… Свою книгу он посвятил советской молодежи.

Прослеживаешь такие судьбы — и думаешь о том, что душевный мир человека не однозначен, а бесконечно сложен. Кроме впитавшихся с детства интересов и традиций класса (и часто вопреки им), существуют такие чувства, как любовь к Родине, честь, благородство, презрение к измене и корысти, наконец, способность увлечься великими идеалами. И есть у человека м ы с л ь, позволяющая ему осознать ход истории, подняться над классовыми перегородками, сделать свой личный

выбор.

Еще весной 1917 года, в Севастополе, на бурном офицерском собрании, где часть офицеров непримиримо возражала против контактов с Советами и матросскими комитетами, с осуждением их «глупой борьбы» выступил старый генерал Николаев:

«Мы много говорили о Родине. Но что же такое Родина? Родина — это наш народ. Это наши солдаты и матросы. Народ сейчас вышел строить свою новую жизнь. И мы должны быть с ним в эту трудную минуту… Хотя бы нам и было это тяжело. Я не знаю толком, что такое социализм, но, по-видимому, это именно то, что нужно народу… Я остаюсь с народом…»

Запись его речи я нашла в книге Верховского и там же прочла, что Дзержинский назвал генерала Николаева в числе тех старых офицеров, что идут с большевиками. А несколькими страницами дальше с грустью узнала конец этого отличного человека: командуя красноармейской бригадой, генерал Николаев был захвачен белыми. Ему предложили перейти в белую армию. «Он ответил, что вступил в Красную Армию потому, что поверил в правоту Советской власти, и будет бороться за коммунизм». И тогда белогвардейцы расстреляли его.

Да, наш русский народ, самоотверженный и размашистый, чуждый расчетливости и мещанской ограниченности, одаренный выносливостью и подвижничеством, — русский народ во все времена выделял и из среды своей военной интеллигенции лучших, способных на душевный взлет и подвиг. От декабристов до лейтенанта Шмидта и еще ближе к нашему времени — до заслуженного генерала Д. М. Карбышева, советского военачальника, замученного гитлеровцами в лагере смерти Маутхаузен; струями воды на морозе в ледяной столб превратили его фашистские изуверы за отказ изменить Советской Родине…

В дни революционного подъема, в огне борьбы таланты раскрываются и мужают быстро, — отстаивая завоевания Октября, из самой гущи народной выдвинулись новые, советские полководцы, на ходу, в боях постигавшие военную науку. Их имена живут в памяти народа, в песнях, фильмах, книгах, легендах. Рядом с ними, в списке организаторов победы, по праву стоят имена тех офицеров старой армии и флота, что отдали свои знания и опыт Вооруженным Силам революции, — А. И. Егоров, М. Д. Бонч-Бруевич, А. И. Корк, Б. М. Шапошников, И. И. Вацетис, С. С. Каменев, Э. С. Панцержанский, И. С. Исаков…

Раздумывая о них и о тысячах других офицеров, проверяя себя, я не чуралась и статистики. Принято считать, что цифры скучны и, уж во всяком случае, противопоказаны литературе. Думаю, что литературе ничто не противопоказано, было бы к

месту! А цифры бывают ох как занятны, они умеют говорить, спорить, убеждать своим сжатым, четким языком. Мне было интересно прочитать в работе доктора исторических наук Л. Спирина такие цифры: к осени 1917 года в России насчитывалось около 1350 офицеров, окончивших Академию Генерального штаба, в том числе около 500 генералов и 580 полковников и подполковников. Надо ли говорить, что генштабисты — самая квалифицированная и привилегированная часть офицерства? И вот из этой высшей группы офицеров в первые же месяцы 1918 года добровольно вступили в Красную Армию 98 человек, а к осени в ее рядах их было уже 526 человек, в том числе 160 генералов и 200 полковников и подполковников. А всего сражались на стороне революции десятки тысяч бывших офицеров…

Все ли они искренно и осознанно встали в ряды борцов революции? Нет, не все. Бывали вредительство, измены, перебежки к белым. Каждый такой случай был тяжел, потому что сама борьба Красной Армии была крайне тяжелой и неравной. Но случаев этих было немного.

> «Десятки специалистов, оказавшихся изменниками, выброшены нами из рядов Красной Армии, а тысячи, десятки тысяч военных специалистов, честно исполняющих свои обязанности, остаются в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии»
>
> *(В. И. Ленин).*

Вспомним, что каждый из них шагнул за пределы своего класса, и мы увидим, что из десятков тысяч отдельных мужественных решений, отдельных круто повернутых судеб сложилось большое и отрадное я в л е н и е на величайшем переломе народной истории.

И еще я думаю о комиссарах.

Их были сотни — закаленных большевиков, политически опытных, знающих, и десятки тысяч — молодых, неопытных, сильных лишь своей беззаветной преданностью революции.

Я думаю о них, таких разных, и вижу перед собою одного и того же человека — крупного, кряжистого матроса с кудрявой головой и серьезным лицом, с насупленными густыми бровями, из-под которых светло сияли глаза, умные и внимательные, всегда будто разглядывающие что-то и взвешивающие, — вижу Степана Леонтьевича Самохина, хотя, строго говоря, должность его называлась иначе. Но уж очень прочно соединялись в нем

самые главные качества, прославившие наших комиссаров.

И это ведь тоже я в л е н и е — совершенно исключительное в истории.

На моем столе тесно. Книги, книги, исторические журналы и сборники, до отказа набитые папки, выписки, черновики… Ох, задала я себе работу!

Теперь — книги по местам, то, что взято у друзей или в библиотеках, отложить и вернуть, папки с документами связать и запихнуть обратно в шкаф, ненужные бумаги — в печку!

Расчищаю свое рабочее место и вспоминаю… нет, это не отступление в прошлое, наоборот — возвращение в самую что ни на есть современность. Уже не впервые за последние три месяца вспоминаю известного ученого, чье имя не решаюсь назвать, потому что не испросила его согласия, да он, вероятно, и не дал бы его. Познакомились мы на берегу моря, где он отдыхал в компании нескольких своих аспирантов. Аспиранты говорили, что он «в науке отдыха тоже профессор» — действительно, изобретателен и неутомим: то затеет длительный поход с ночевкой у костра, то устроит автомобильную поездку по побережью, то потащит нас к рыбакам за ставридой свежего копчения… У него было как бы две внешности. Когда он серьезнел и «уходил в себя», был очень немолод, лицо серое, худое и, пожалуй, болезненное, взгляд темно-серых глаз — в одну точку, вокруг небольшой лысины свисают редкие полуседые волосы, на ветру они мотаются космами; когда он задумывался, не любил, чтоб окликали, и с трудом «возвращался». Но в походах, на теннисной площадке, на море (он был отличным пловцом), в дружеском застолье и в интересной беседе он до неузнаваемости молодел — весельчак, балагур и выдумщик, — смеялся каким-то особым, внутренним, беззвучным смехом, лицо его и лысинка от смеха розовели, а глаза делались голубенькие, детские. Однажды я сказала его ученикам, что им здорово повезло с шефом.

— Вообще-то повезло… — протянул один; и вдруг все загалдели:

— Это он на отдыхе такой!

— Вы попробуйте ему спецпредмет сдать, тогда узнаете!

— Крикун и самодур каких мало!

— Статейку в полстраницы — и то трижды переписываешь!

— Если похвалит, все равно придумает «небольшую доделочку», а с его «доделочкой» — несколько месяцев вкалывать без передышки!

— У него опубликоваться или защититься — поседеешь!

В итоге было сказано, что дядька, конечно, ничего, хотя и «тигр».

Однажды, уже в Ленинграде, я спросила его, действительно ли он у себя в лаборатории такой «тигр». Он беззвучно засмеялся, порозовел, и глаза стали голубенькие, детские.

— Накапали уже? А что крикун, самодур, прицепа — не сказали?

— Что-то вроде… Но на вас как-то не похоже.

— Не похоже, — согласился он с улыбкой. — А что делать? (Я молчала, потому что ответить мог только он сам.) Помните девиз Маркса: «Подвергай все сомненью!» Это ж не о любви Женни фон Вестфален — о науке! Скоропалительные выводы, готовые концепции, заученные формулы… страшная штука! Сколько ерунды нагорожено людьми, не имевшими смелости подвергать сомнению общепринятое и проверить то, что выглядит несомненным! Наша наука называется точной, но ведь и эксперимент можно подогнать под готовенькое или под воображаемое. И не от подлости, а от желания увидеть именно такой результат. А уж если не терпится поскорей опубликоваться или «остепениться»!..

Он взял сигарету, покрутил ее, чиркнул спичкой и, полюбовавшись маленьким треугольником пламени, задул его, а сигарету отложил. Бросая курить, он проявлял завидную выдержку.

— Пришел ко мне по распределению новый аспирант, — заговорил он так, будто и в этом рассказе что-то преодолевал. — Вижу — тает от уважения и глядит на меня как на классика. Я и пошутил. Даю ему свою самую толстую книжищу и говорю: «Между прочим, в ней есть три ошибки. Найдете их, поверю, что выйдет из вас ученый».

— Ну и…

— Полгода проходит, восемь месяцев проходит… И вдруг является, стервец, да еще с виноватой мордой: «Не будет из меня толку! Одну ошибку нашел, а остальные две — никак!» Схватился я, проверяю, перепроверяю, всю лабораторию замотал, действительно ошибка!

— Д-да… Но он же не знал, что вы ее не заметили?

— Не знал, да узнал. До того отвратительно я себя чувствовал… но пришлось сказать. И всем моим парням тоже — в назидание. Теперь этот стервец кандидатскую кончает под моим просвещенным руководством и с убедительным доказательством моей ошибки. Как говорится, все правильно.

Он усмехнулся, но глаза глядели в сторону.

— Тем более не понимаю, почему же «тигр»?

— Из-за вас, писателей, — не задумываясь, ответил он и засмеялся своим беззвучным смехом, отчего порозовело лицо и лысинка, а глаза опять поголубели. — Писатели соорудили тип ученого-чудака: все забывает, все теряет, кричит, ворчит, юродствует, а в перерыве между анекдотами — гений. И ведь убедили читателей! Впрочем, не вы одни, еще мемуаристы-вспоминатели подбавили. Забраться в глубины научной мысли трудно, и читатели не поймут, дело специальное. А наворотить всяких-разных случаев — и доходчиво и образ «отеплен». Ах-ах, как забавно, академик такой-то, уходя из дому, оставил для приятеля на двери записку, что вернется через час, а когда вернулся, прочитал записку, и стал прогуливаться возле дома, ожидая самого себя. Ах-ах, все они немного чокнутые, эти мудрецы!

— И все же — почему «тигр»?

Он приблизил ко мне розовеющее лицо и заговорщицки прошептал:

— Придуриваюсь.

Гляжу на него — глаза-то голубенькие, а смотрят серьезно.

— Легче, понимаете? Сочувствую я им — у того мать на иждивении, у другого ребенок родился, кандидатская ставка ой как пригодится, да и открытий от аспиранта не требуют. Иной думает — абы защититься, а там уж развернусь! Врет. Если хоть раз схалтурил — не развернется! Спорить долго и скучно, народ упрямый, дружок в соседней лаборатории уже диссертацию накропал, шеф там добряк и план по аспирантуре выполняет тютелька в тютельку… Что ж, объяснять ему, что добряк своим подопечным хуже врага? Неэтично. А я покричу, поворчу, носом его потыкаю — тут плохо, там слабо, сделай еще то и это, перепиши, проверь, выверни наизнанку и опять проверь, без этого не подходи! Пошумишь — и с головой в собственную работу. Подойти он боится, ослушаться — так я ж руководитель, без меня и статейку в журнал не тиснешь! Ну и делает все, что я велел, сперва злится, потом и сам видит, что на пользу. Приходят ко мне сосунки, а я должен за три года приучить их самостоятельно мыслить, вырываться из плена готовых концепций, без нажима осмысливать факты… Научу — будет ученый. Не научу — пшик со степенью.

…Но ведь это в любой науке — самое главное?..

…А белые ночи — рядом. Четвертый час пополуночи, еще темно, но восточный край неба зеленоват и словно набухает предчувствием света. Тихо, но еле слышное шевеление начинается в оживающих ветвях берез и ольхи, густо растущих по

склону оврага, — кто-то маленький шебуршится там, борясь со сном и медля начинать трудовой день, но властный инстинкт любви побеждает, и вот уже в тишине раздается первый короткий сигнал побудки. Или это проба голоса? Минута выжидания — и второй сигнал, уже длинней и победней, голос выводит звучную руладу. Еще минута, две — и откуда-то сбоку другой голосок откликается, сначала тоже коротко, неуверенно, потом, окончательно пробудясь, выводит во всю мощь молодости веселую трель.

Стою на балконе, завернувшись в пальто. Зябко, а не уйти. Что же наши-то скворушки, засони, по молодости пригрелись друг возле подружки и не слышат лесного будильника?.. Нет, услышали. Но расставаться с теплым домком не хочется, свежий голосок подается в круглое отверстие входа: «Доброе утро!» Им отвечают из рощи: «Пора-пора-пора за работу!» Кто-то сомневается: «Не рано ли? Не рано ли?» Кто-то настаивает: «В самый раз! В самый раз!» Перекличка ширится, все новые голоса вступают в нее, но я что-то не вижу, чтобы хоть одна пичуга вылетела на весеннюю строительную работу, они еще нежатся в ожидании света, и, когда я ухожу с балкона, наши скворушки-молодожены по-прежнему подают голос изнутри своего жилья: «Хо-лод-но, хо-лод-но, по-по-по-подождем!»

Подхожу к своему рабочему столу; он чист и призывен, на нем всего одна папка — с новыми рассыпушками. Новый этап работы всегда насыщен внутренней торжественностью. Завтра начну…

Засыпаю в сумраке, пронизанном зачинающимся восходом, под ширящиеся птичьи переговоры. Завтра! Нет, уже сегодня.

Часть третья
ЮНОСТЬ

часть третья

ЮНОСТЬ

Карелия. Озера, озера, озера… Круглые, словно их вычертили циркулем, вытянутые языком на многие версты, причудливо изогнутые… И реки, речки, речушки, все быстрые, порожистые, мчащиеся среди огромных ледниковых валунов и острых скал, среди темных еловых лесов и прозрачных сосновых. После Кольской тундры и низкорослых мурманских березок карельские леса ошеломляли: уж больно могучи ели, уж очень высоки сосны, недаром именно в этих местах рубил Петр Первый свои боевые ладьи…

Петрозаводск, столица края. Продуваемый насквозь онежскими вольными ветрами город зацепился за гору и всеми своими улицами и улочками устремился к берегу Онеги, на какую улицу ни приди, в конце ее встанет серо-голубое сияние озера, а если свернешь на улицу поперечную, она приведет к скачущей по камням Лососинке, еще и не видна река за горбом высокого берега, а уже слышно, как она рокочет, ворчит, швыряется камешками об упористые валуны.

Я вижу город не сегодняшним, а таким, каким увидела тогда, разыскивая неизвестную улицу Гоголя, где сняла комнату мама, — пеший путь от вокзала был долог, перехваченные

ремнем чемодан и портплед оттягивали плечо, улица двухэтажных и одноэтажных деревянных домов с палисадниками ныряла вниз и замыкалась слепящей белизной еще скованного льдом озера, а в палисадниках местами уже пробивалась травка, и солнышко припекало, и весенние запахи шли от набухшей земли, от оживающих деревьев. Встречные люди охотно объясняли: надо пройти во-он до того перекрестка, свернуть налево и идти до губернаторского дома, сами увидите, круглая площадь с каменными домами, а уж за площадью, напротив Онежского завода, будет улица Гоголя… И точно — за круглой площадью, образованной двумя полукружиями каменных домов с белыми колоннами, сразу появились корпуса Онежского завода, но уже за высокими берегами по-весеннему полноводной и звонкой Лососинки. Слева крутой скат отступал от реки, образуя широкую котловину, над которою тянулся бульвар вдоль строя деревянных же, но более представительных домов проспекта Карла Маркса, а направо, за поворотом, улица Гоголя начиналась длинным глухим забором губернаторского сада, и надо было еще идти и идти, перекинув ношу на другое плечо, пока доберешься до первых домиков…

Совершенно не помню, как мы встретились с мамой и сестрой. Вижу себя уже отмытой с дороги, накормленной и обогретой маминой заботой, — наспех накинув продувное пальтишко, полученное в Мурманске по ордеру, в стоптанных мальчиковых ботинках, полученных там же, я вприпрыжку бегу вниз по улице Гоголя назад, к губернаторскому дому, где помещается комсомол, для верности сжимая в кулаке комсомольский билет и листок, определяющий мою судьбу — в «распоряжение Губкомола»…

В ГУБЕРНАТОРСКОМ ДОМЕ

Все было внове, все неожиданно, будто машина времени перенесла меня в какие-то другие годы. После взбудораженного освобождением, живущего в лихорадочном темпе Мурманска с его начальным революционным аскетизмом и неустроенным бытом, о чем никто не думал и считал постыдным думать, — устоявшаяся жизнь провинциального городка, обывательские домики с огородами и с сараюшками, где блеют козы… Комсомольская страница в местной газете «Коммуна» то и дело бойким пером Вити Клишко вытаскивала «за ушко да на солнышко» несознательных хозяек — выпускают своих коз на подножный корм и привязывают их к деревьям на проспекте Карла Маркса!

В обширном каменном доме с колоннами, где когда-то помещались «присутственные места» и откуда в конце XVIII века управлял губернией первый олонецкий губернатор, крупный сановник и еще более крупный русский поэт Гавриил Державин, — в этом строгом доме поместились все губернские, уездные и городские партийные и комсомольские комитеты. В первом этаже, прорезанном из конца в конец длинным полутемным коридором, несколько комнат, в том числе большую, «залу», занимал комсомол, и еще во власти комсомола был огромный тенистый губернаторский сад, где с началом теплых дней сосредоточивалась вся жизнь молодежи — тут обсуждали и дела, и веселые затеи, тут завязывались и рушились любовные отношения, тут ссорились и мирились, играли в лапту, спорили, пели, а случалось, и заседали, если заседание было немноголюдным.

Меня сразу же направили — ни больше ни меньше! — ответственным секретарем городской комсомольской организации (до сих пор не понимаю, почему не нашли кого-либо постарше!). На первом же общем собрании мы решили провести воскресник по очистке нашего сада, и я начала готовить воскресник — не так легко было в то время достать нужное количество лопат и грабель, всех известить, всем дать работу и организовать ее так, чтобы никто не болтался неприкаянным.

Поначалу меня рассердило, что Володя Богданов, казавшийся мне совсем взрослым и даже немолодым (ему было года двадцать три!), явился на воскресник с оркестром — отлынивает от работы?! Но оркестр, созданный и руководимый Володей, оказался кстати — под музыку работа шла веселей, а когда надо было помочь, ребята охотно откладывали свои балалайки и мандолины. Но затем оркестр заиграл вальс, и часть работающих, побросав грабли и лопаты, принялась танцевать на только что расчищенной аллее, причем пары возникли мгновенно, кто с кем ни для кого, кроме меня, не составляло секрета. Я стояла в сторонке, растерянная и обиженная, — что же это такое? И работа не кончена…

— А бедный гадкий утенок один? — раздался рядом веселый голос.

По растрепанной пышной шевелюре я узнала Льва Гершановича, заместителя редактора «Коммуны», чьи хлесткие фельетоны и статьи по вопросам политики и искусства часто печатались на страницах газеты и пользовались успехом. Я прибегала к нему, чтобы напечатать в газете объявление о собрании и о воскреснике, он добродушно приветствовал меня: «А-а, комсомольское начальство!» За что же он вдруг?

Вечером я чуть ли не со слезами пожаловалась Тамаре — Гершанович обругал меня гадким утенком. Тамара расхохоталась:

— Вот дурная, он же тебе польстил! Из гадкого утенка вырос прекрасный лебедь. Неужели ты Андерсена не читала?

Да, слишком рано перескочив от детского чтения к взрослому, не читала. Но стало легче, и хотелось верить, что прорежутся лебединые крылья, и хотелось, чтоб это произошло скорей, скорей!.. И чтоб заметил это Палька Соколов.

Был он дерзок и самоуверен, этот девятнадцатилетний Палька Соколов, один из руководителей губкомола. Порой он нарочито грубил. Но, когда он был тут, я не видела ничего, кроме его быстрых, ярких зеленовато-карих глаз, хотя взгляд этих глаз скользил мимо меня, не задерживаясь. А когда я решалась подойти к Пальке, придумав самый деловой вопрос, он отвечал небрежно и отворачивался от меня как от докуки.

Я узнала, что он живет на одной из нагорных улиц, пересекающих улицу Гоголя. Иногда он проходил мимо нас, раза два мне удалось подкараулить его на подходе и как бы случайно выйти из дому ему навстречу, и мы шли рядом вдоль длинного глухого забора, но разговора не получалось, приготовленные мною слова застревали в горле, а Палька шел себе как случайный попутчик и постукивал стеком по забору. Зачем он его носил, этот стек с кожаной петелькой на конце? Но мне и стек нравился —

загадочностью.

Однажды вечером после собрания я нарочно оказалась на пути Пальки, но он рассеянно взглянул на меня, широко зевнул и окликнул Аню Григорьеву:

— Аня, ты домой? Пойдем провожу.

А она жила за рекой, в Голиковке, им было совсем не по пути.

Я смотрела им вслед. Они шли под руку, Аня осторожно ступала по неровной дороге на своих высоких каблуках, Палька уже не зевал, они разговаривали и даже смеялись. А поодаль шла Муська, Анина сестра, тоже с провожатым. Как будто сестры не могли дойти до дому вместе!..

Меня многое удивляло и коробило в новой среде. В Мурманске мы считали зазорными, унизительными для девушки всякие ухаживания и провожания — мы же равноправные товарищи, борцы революции! Туфли на каблуках, шляпы, нарядные платья, а у юношей рубашки с галстуками считались мещанством, пережитком прошлого, недостойной приманкой в брачной купле-продаже. Как особый вид такой приманки отрицались и танцы, мы даже ходили разгонять танцульки, которые иногда устраивали матросы на небольшой площадке возле оврага, — матросы были из тех, кого прозвали «жоржиками» и «клешниками», были они из береговой Кольской роты, а не с кораблей, моряцкого в них не было ничего, разве что форменки и ленточки на бескозырках, но и с морской формой они делали нечто дикое — расклешивали брюки так, что их клеши болтались во все стороны наподобие юбок, пришивали в основаниях клиньев блестящие пуговицы… На площадку они приводили девиц, околачивающихся возле порта, размалеванных, в немыслимых нарядах (про таких в песенке, услышанной мною уже в Питере, пелось: «Намазаны губки, колени ниже юбки, а это безусловно вредный факт!») И «клешники» и девицы танцевали донельзя развязно, вихляя задом и оттопыренными локтями. Мы приходили втроем или вчетвером, обычно с кем-либо из матросов-комсомольцев, предлагали прекратить танцы и разойтись. «Клешники» вступали в пререкания, ругались, но подчинялись. Почему они не избили нас и ни разу не выхватили свои револьверы из кобур, болтавшихся у пояса? Накипь на революционной волне, они все же чувствовали себя неуверенно, непрочно.

В Петрозаводске сами комсомольцы начинали танцевать при первых звуках музыки, причем самые «старорежимные», как мне казалось, танцы — вальс, польку-бабочку, па-де-патинер, миньон… миньон!!! Не хватало только менуэта и великосветского полонеза с приседаниями!.. На вечерах находился и дирижер

(иногда это был секретарь губкома комсомола Саша Иванов), он возглашал «гран рон» (и все строились в круг) или «дамы приглашают кавалеров» — и «дамы» (комсомолки!) скользили по паркету губернаторского зала приглашать своих избранников!.. В перерывах между танцами играли в не менее «старорежимные» игры — в фанты или «флирт цветов». Ну фанты — это еще терпимо, почему не прочитать стихотворение, почему не спеть или не сплясать, хотя иногда назначались и такие фанты: «поцеловать Сашу Иванова» или «поцеловать Пальку Соколова», и заносчивый Палька позволял себя целовать и требовал, чтобы поцелуй был «как следует»… Но уж «флирт цветов»! У кого-то из девушек хранились потертые карточки с десятком игривых или многозначительных текстов на каждой, причем каждый из текстов приписывался какой-нибудь Камелии или Незабудке, карточки раздавались играющим, надо было выбрать более или менее подходящий текст и передать кому-либо карточку, назвав цветок… Даже в свои пятнадцать лет я понимала, что тексты глупейшие, пошлые. Не было ни одного, который я могла бы послать Пальке Соколову, не показав себя дурой. В довершение всего девочки всеми способами мастерили себе новые наряды, раздобывали туфли на высоких каблуках, завивали волосы, Аня даже соорудила себе шляпу с широкими полями из какой-то прозрачной соломки!.. Парни охотно надевали рубашки с галстуками, Володя Богданов завел себе белый полотняный костюм, а Илька Трифонов носил косоворотку с вышитыми по вороту васильками — под цвет его веселых глаз!..

Мне казалось, что все это мещанство, влияние нэпа. О новой экономической политике я узнала еще в Мурманске, Коля Ларионов делал у нас доклад о ней и толково объяснил, что даст замена продразверстки налогом, для чего разрешается свободная торговля… Но в Мурманске влияние нэпа не ощущалось, все жили на пайки, рынка не было, частных торговцев тоже не было, В Петрозаводске уже открылся рынок, крестьяне привозили картошку, молоко, яйца, мясо, кожи, тут же суетились какие-то субъекты, у которых можно было купить ситец и шерстяные ткани, сапоги из добротного шевро, керосин и даже из-под полы самогон. Я впервые почувствовала, что, кроме пайка, получаю зарплату — девять тысяч рублей, но цены были бешеные и все время росли, так что мои девять тысяч мало значили. Я гордо презирала все соблазны. Но, когда на рынке появились «лаковые баретки» (весьма сомнительного качества туфли, покрашенные черным лаком), мое стойкое сердце дрогнуло — нет, я не мечтала о такой недостижимой роскоши, но зато ощутила неуклюжую тяжесть своих единственных мальчиковых ботинок и прятала

ноги от посторонних глаз.

Жили мы трудно, хотя и не голодали. Кроме преподавания в музыкальной школе, мама ходила еще по частным урокам. Родители ее учеников расплачивались не деньгами, а продуктами — овощами, молоком, маслом, кто чем мог, кому что привозили из деревень родственники. До сих пор помню — вечер, в нашей комнате пусто, нестерпимо хочется есть, но есть нечего, надо ждать маму. И вот она идет, медленно, с нагруженной сумкой, ставит ее у порога, кивает мне — «разбери что куда», а сама потряхивает занемевшими руками и долго массирует свои пальцы пианистки, пальцы, которые надо беречь… Стыдно, но мне ни разу не пришло в голову выйти маме навстречу, поднести тяжеленную сумку. Почему мы так безнадежно поздно понимаем, что мы могли и должны были сделать для близких?..

Тамара жила как-то на отлете, только ночевала дома. Она заведовала агитпропотделом Карельского отделения РОСТА, с нею вместе там работал веселый выдумщик Илька Трифонов — «светлокудрый витязь с васильковым взором», так я его прозвала. Илька считался «вечным студентом» — сменил уже два института и осенью собирался в Питер, поступать в третий. Сын завзятого книголюба, репортера, печатавшегося под псевдонимом Крошнозер, Илька с детства много читал, знал больше, чем все наши самые начитанные комсомольцы, у нею можно было получить справку по любому вопросу — ходячая энциклопедия! Он был всегда заряжен весельем и начинен проблемами для обсуждения. Девушки дружили с ним — прибегали к его посредничеству, делились своими тайнами, и он их не подводил.

Тамара и Илья были родственными душами, они вместе вынашивали разные великие идеи: создать агитпароход и обходить все деревни по берегам Онежского озера и судоходных рек… к зиме оборудовать санный поезд и добираться на нем до самых глухих селений… в пасхальную ночь, когда у церкви полно народу, показывать на стене церкви антипоповские «туманные картины»… Последнюю затею они чуть не осуществили при восторженном участии ярого безбожника Вити Клишко, достали диапозитивы и проекционный аппарат; даже когда Тамару предупредили, что верующие их попросту поколотят, Тамара не отказалась от затеи, а запаслась для самообороны револьвером… Об этом узнал Христофор Дорошин, один из авторитетнейших петрозаводских большевиков, секретарь уездкома партии, в результате всех троих отчитали за неверный подход к верующим, саму затею запретили, а Тамаре еще отдельно всыпали за револьвер.

Молодые деятели КарРОСТА держались этакой вольницей, в

своей конторе почти не бывали, вешали на дверь табличку: «Мы в саду». В саду они сидели на отдаленной скамье или, если тепло, лежали в траве, обсуждали новые великие идеи и спорили о нэпе — Илька считал нэп отступлением от революции и беспринципной уступкой кулакам и спекулянтам. Где появлялся Илька, там всегда разгорались политические страсти, Илька мог спорить, не уставая, а набирая силу, с утра до вечера. У меня не было своего мнения о нэпе, но я помнила объяснения Коли Ларионова и верила Коле, хотя и с Илькой порой соглашалась, когда он кричал, что «густопсовое мещанство полезло из всех щелей». Вспоминала танцы, вздохи девчонок о баретках, «флирт цветов»… атмосферу ухаживаний, провожаний, девичьих шушуканий о том, кто в кого влюблен, кто с кем гуляет, кто из-за кого страдает…

Надо работать и не обращать внимания на все эти глупости — так я решила. Работать и не глазеть на Пальку, ничем он не лучше других. И не томиться из-за того, что нет у меня ни платья, ни туфель на каблуках, а то ведь и сама впадешь в густопсовое мещанство!.. За мировую революцию боремся — не стыдно ли думать о чепухе?!

В начале лета Тамара и Илька Трифонов уехали в командировку в Кемь. Когда они вернулись, мне показалось, что они там поссорились, — вместо прежних открыто-дружеских отношений появилась какая-то удалая небрежность, какой-то подчеркнуто независимый тон. Они уже не уединялись в дальних концах сада, а звали с собой всех, кто попадался на пути. Илька не заводил споров, но стал еще веселей, и его глаза-васильки блестели.

Тамара отличалась беспечностью и неряшливостью, все разбрасывала где придется. Вот и записная книжка, подаренная Илькой, оказалась однажды на полу. Подобрав ее, я невольно перелистала странички, чтобы посмотреть, нужна ли она или можно запихнуть ее в ящик… Что это?.. На глаза попались стихи. Тамарин острый, четкий почерк… «В белом сумраке чернеют пожни», — читала я… «Невозможное вдруг сделалось возможным»… Как это понимать?.. Чувствуя, что поступаю неладно, я все же не могла оторваться от чтения. «Не хочешь — так не верь, не верь, мой друг, не верь мне, я все равно твоя, твоя — или ничья!»

Раздались мамины шаги. Я мигом засунула книжку в глубину ящика, под бумаги. Сердце мое колотилось от волнения, от стыда, от страха. Значит, вот какою бывает любовь! «Твоя — или ничья»…

Когда я, выбрав удобную минуту, пролепетала Тамаре

неуклюжий вопрос, она небрежно сказала:

— Ну так что?

И разговора не продолжила.

Я смотрела на сестру и на Ильку как на пропащих. Пойдет теперь между ними всякая любовная канитель, объяснения и выяснения, и прости-прощай революционные идеалы и грандиозные замыслы, все их агитпароходы и санные поезда!

Но они не только не забросили свои замыслы, но еще затеяли нечто совсем новое, в Петрозаводске небывалое, — ж и в у ю г а з е т у, театрализованную устную газету, которую собирались показать (и спустя месяц показали) широкой публике со сцены театра!

«Ну так что?» — так она сказала, сестра. Действительно — что? Почему я вообразила, что революция требует отказа от любви, от радости и даже от таких естественных знаков внимания к девушке, как провожание до дому или букет цветов? Может ли это помешать революции? И можно ли запретить девушке думать о том, кто ей мил, и любить вот так — «твоя или ничья»?.. Ради чего делали революцию? Для счастья всех. А может ли быть полное счастье без любви?.. Вот ведь и Маркс!.. Маркс очень любил свою Женни, а она ради него бросила богатую аристократическую семью, всю жизнь была его верным товарищем и другом, не боялась ни бедности, ни преследований… Наверно, любовь не мешала, а помогала им?.. Значит, все дело в том, что в любви нужно настоящее товарищество, большая благородная цель, готовность помогать друг другу. Это не имеет ничего общего с буржуазным браком, с куплей-продажей, с домашним рабством, конечно, нет, это совсем другое. Наше. Новое. Новый быт, который мы создадим.

Так я рассуждала, стараясь примирить дорогую мне идею революционной самоотверженности с той жизнью, что шла вокруг, и сочувствовала влюбленным, и все добродушней косилась на танцующих, наверно, и сама пошла бы, если б кто-нибудь догадался позвать: «Пойдем потанцуем!»

Среди комсомольского актива я была самой младшей, ко мне относились как к маленькой.

Первая дружба завязалась у меня с Витей Клишко. Нам двоим поручили подготовку первомайского вечера, во время общих хлопот само собою возникали разговоры обо всем, что нас занимало, мы узнавали и характеры, и свойства друг друга. Оба не любили паниковать, если что-то срывалось, — пожалуй, это нас и сблизило, и родило дружескую симпатию. В своей комсомольской требовательности мы оба были «максималистами» — презирали расхлябанность, лень,

неисполнительность: взялся — сделай! В оценке своих товарищей мы тоже сходились, потому что судили по их делам, по тому, как они готовили — усердно, с душой или кое-как — порученную им часть праздника. Но у Вити Клишко я еще и научилась смотреть на людей шире, вдумчивей.

— Колю не трогай, он со своей Женечкой поссорился, страдает. Не до вечеров ему.

— Катя бы спела, но у нее папа при смерти…

В ответ на мои сомнения по поводу выступления одного чересчур застенчивого комсомольца:

— Ничего он не провалит! Стесняется он, потому что места своего не нашел. Выступит — и поверит в свои силы.

Ползая на коленках по полу и заливая белой краской буквы на кумачовом полотнище, мы заговорили о мещанстве. Витя не одобрял такого «бесцельного» занятия, как танцы, и презирал «флирт цветов», даже считал, что через эти пошлые тексты «в нашу комсомольскую среду просачивается буржуазная идеология». Тут мы были согласны. Но Витя делал из любого факта боевой вывод.

— У нас много бывших гимназистов и гимназисток, оттуда и «флирт цветов» и прочая мура. А новых игр мы не создали. Песни уже есть, а игр нет. Надо придумать новые, умные и веселые игры.

От Вити я узнала, что петрозаводский комсомол образовался из двух групп молодежи — из рабочей молодежи Онегзавода, давшей нам таких активных работников, как Ваня Горбачев и Леша Куткевич, и из возникшего после революции кружка учащейся молодежи, к которому принадлежали и Саша Иванов и Илька Трифонов. Я сказала что-то пренебрежительное о гимназистах и гимназистках, неприязнь к ним запала в мою душу с детства, когда папа не отдал нас в гимназию, чтобы из нас не вышли «кисейные барышни».

— Но наши ребята стали коммунистами, — возразил Витя, — воевали против белофиннов, некоторые погибли на фронте. Был у нас хороший парень, Слава Тервинский. Белые захватили его раненым, отрубили ему пальцы, а потом живого бросили в костер. И Саша Верден погиб в бою. Четырнадцать лет ему было.

— Саша Иванов тоже воевал?

— Еще как! И делегатом ездил на Второй съезд комсомола.

Я вспомнила, как Саша дирижировал танцами. «Гран рон!» Ну и что? Все эти парни, оказывается, успели повоевать, сделали для революции много больше, чем я. Рисковали жизнью. Как же я смею осуждать их? Хотят танцевать — и танцуют. Нет лучших игр, чем фанты и «флирт цветов», — ну, иногда сыграют…

Конечно, я свернула разговор на Пальку Соколова. Он ведь не воевал, правда? А сколько самоуверенности!

— А ты знаешь, что в семнадцать лет он был каким-то уездным комиссаром и арестовал собственного отца?

Нет, этого я не знала. Старалась себе представить — еще совсем мальчишка, с револьвером или даже с винтовкой… отец шарахается от него. «Ты? Сын?» — кричит он. А Палька отвечает со своей дерзкой повадкой: да, я, именем революции!

— Он родом из-под Олонца, там много контрабандистов было, — объяснил Витя, — точно не знаю, но как будто бы его отец ходил в Финляндию и проносил через границу детали часовых механизмов, всякие там стрелки и шестеренки. Смешивал их с табаком в самом затертом кисете. Палька предупредил: прекрати! А потом узнал, что отец промышляет по-прежнему, арестовал его и свез в Олонец, в Чека. Подержали там старика, попугали, взяли расписку и отпустили.

— И как же они после?..

— Не знаю. Только Павел, кажется, рос при матери, а не с отцом. Какая-то там была семейная драма, мать с двумя детьми убежала из дому.

Ночь. Метель. В окнах деревни — ни огонька. Но вот из одного дома, озираясь, выбегает женщина, до глаз укутанная большим платком, под платком она прижимает к себе младенца, а рядом, оступаясь, семенит быстроглазый мальчонка… От каких издевательств и обид они убежали? Кто дал им пищу и кров? Что они испытали дома до вынужденного бегства и потом, в тяжелых скитаниях?.. Что он испытал?..

Палька Соколов стал еще загадочней, но и ближе. Может быть, за его дерзостью и позерством скрывается страдание?

— Он хороший парень, — сказал Витя, — ты к нему присмотрись.

Присмотреться?! Как будто я занималась чем-либо другим, когда он был в пределах видимости!..

А вот к Вите Клишко я в те дни присмотрелась — до чего же славный парень! Маленького роста, на удивление бровастый и глазастый, он прямо-таки излучал энергию и жажду деятельности. Несмотря на интуитивную душевную мудрость и щедрую любовь к с в о и м, он вовсе не был мягок вообще, напротив — злоязычен и непримирим ко всем ч у ж и м и ко всему ч у ж о м у. Редактируя комсомольскую страницу в «Коммуне», он писал для нее злые фельетоны и сатирические стихи. Твердо усвоив, что «религия — дурман для народа», он не мог смириться с мыслью, что миллионы людей еще живут во власти дурмана, и весьма язвительно обрушивался на религию,

на попов, на всяческие предрассудки и невежество (года два спустя он издал небольшую книжку стихов «Бог, попы и комсомол»). Все, что мешало новой жизни, вызывало у него бурный протест — гневный или насмешливый. Середины между любовью и ненавистью, восторгом и презрением для него не существовало.

Я бы преувеличила, если бы сказала, что Витя Клишко послужил прообразом моего Семы Альтшулера в «Мужестве». Сема рождался постепенно, под воздействием многих встреч и наблюдений, а писала я его свободно и радостно, без оглядки на прообразы, как-то «само собой». Но маленький, бровастый и глазастый Витя с его душевной мудростью и щедростью дал первый толчок длительной работе воображения и всегда маячил где-то неподалеку от Семы. Я это поняла, пожалуй, много поздней, лет десять назад, когда побывала в Петрозаводске и пришла в гости к старому приятелю, и из-под седеющих густых бровей на меня лукаво глянули все те же глаза-буравчики, излучающие энергию, доброту, насмешливость, жажду деятельности… Мне не нужно было заново присматриваться к нему, я все узнавала — шире и полней, чем в юности.

Витя Клишко был первым в моей жизни редактором. Когда я призналась ему, что меня тянет писать, он тут же со свойственной ему щедростью души зачислил меня в «актив» своей еженедельной молодежной страницы, поделился мечтой об издании самостоятельной комсомольской газеты и затем обращался со мною как со своим журналистским собратом. «Вот увидишь, мы добьемся газеты! — говорил он восторженно. — Мы с тобой такую газету сделаем!»

Готовя первомайский вечер, я лучше узнала и других петрозаводских комсомольцев, и они узнали меня. Не сговариваясь, они «включили» меня в свою среду так, как включают в компанию младшую сестренку. Братья Володя и Костя Богдановы, первые спортсмены города, позвали меня кататься на яхте. И как же это оказалось чудесно, ни с чем не сравнимо! Онежский упругий ветер, туго набитый им белый парус, в изящнейшем наклоне ведущий яхту, и скольжение наперерез волне, стремительное, захватывающее дух, кажется — быстрей и прекрасней быть не может, а скольжение все убыстряется, от ветра и холодных брызг горит лицо, хочется кричать и петь, ты счастлива, ничего больше не нужно, даже Палька, сидящий где-то позади, сейчас не нужен, только бы скорость, и ветер в лицо, и простор, и сияние воды и неба… Как же ты хороша, жизнь!

И еще была Иванова ночь. С вечера перебрались на пароходике на тот берег залива, на Чертов стул — нагромождение

скал, замшелые валуны, лес, подступающий к самой воде, и зеленая лужайка, где так интересно разжигать высокие костры. Здесь, на Чертовом стуле, до революции большевики проводили под видом прогулок нелегальные собрания, их устраивал Николай Тимофеевич Григорьев, первый большевик Онежского завода. Я с уважением посматривала на Аню и Мусю Григорьевых — его дочери! Только бы Палька Соколов не подсаживался к Ане, зачем это ему?.. К счастью, затеяли прыгать через костер, ребята раздули пламя и начали прыгать — очень это было красиво: темные силуэты, летящие сквозь оранжево-красное, а вокруг — потемневший лес, и светлая-светлая гладь озера невдалеке, и светлое небо. Аня, конечно, не захотела прыгать, а я прыгала раз за разом все отчаянней, и Палька сказал: вот молодчина! — и другие мальчишки хвалили меня, и я была в упоении успеха; но потом, когда начали печь картошку, пара за парой уходили в лес искать какой-то чертов цветок, якобы расцветающий в Иванову ночь, и Палька, оказалось, тоже ушел, я даже не заметила, когда и с кем, а я осталась ворошить угли и стеречь картошку среди тех немногих, у кого не было пары. Но спустя час я вдруг увидела Пальку — он сидел в одиночестве на берегу, веткой разгоняя комаров, и бросал плоские камешки так, чтобы они несколько раз коснулись воды. Иванова ночь снова наполнилась радостью.

И еще открытие того года — спорт. Когда в губернаторском саду играли в лапту, меня неохотно брали в игру, все давно умели, а у меня не получалось. Но Костя Богданов, заводила всех спортивных начинаний, решил устроить в котловине у Лососинки настоящие спортплощадки и беговые дорожки, мы трудились там много вечеров, а когда все было готово, устроили общегородские спортивные соревнования. Готовились к ним истово, каждый по нескольким видам спорта. Помню, я лучше всех пробежала стометровку и вкусила гордость победы (хотя мой тогдашний «рекорд» не дотянулся бы сегодня даже до средних показателей юниорки!). Баскетбол — вот что меня по-настоящему захватило. Ух, до чего ж это было здорово — вести мяч сквозь строй противниц, отпасовывать его подруге, бежать вперед, получать обратный пас и в прыжке забрасывать мяч в корзину! Какую полную освобожденность от всех моих недетских забот, какую безотказность тела, какую ловкость и силу я ощущала при удачном броске! На соревнованиях меня поставили центрфорвардом, как тогда называли, то есть центром нападения, а в команде-сопернице форвардом была Муся Григорьева. Запомнилось мне это потому, что в разгар борьбы, когда мы повели в счете, Муся выбила у меня мяч, но я подпрыгнула и

снова «достала» его и закинула в корзину, а распаленная борьбой Муся как закинула руку, чтобы отбить мяч, так и ударила со всего размаху, но не по мячу, а по моей щеке. Игру прекратили, Мусю сняли с соревнований «за грубость». Муся плакала, она сама не понимала, как это вышло. Мы вместе ходили упрашивать судью, обе глотали слезы и доказывали, что мы подруги, что я сама, подпрыгнув, подставилась под удар… Судья смилостивился, а мы с тех пор действительно подружились.

В теплую погоду было у нас еще удовольствие — купаться. Конечно, Онежское озеро не Черное море, долго не поплаваешь, но мы все равно бегали на берег или в самом городе, у Подгорной улицы, или, если было время, ходили на Пески, довольно далеко, но зато там был превосходный песчаный пляж, переходивший в пологое дно без камней. Погревшись на солнце, мы бежали, прижмурив глаза, и с разбегу бросались в воду, не боясь ее обжигающего холода.

Как мне вспоминается, я тогда вообще ничего не боялась, ничего и никого, если не считать Васи.

Вася был мальчишкой лет четырнадцати. Тщедушный, курносый, рыжий, с яркими веснушками на круглой физиономии, он даже внешне являл собою классический тип сорванца и грозы для девчонок. Сейчас я думаю, что девочки уже начали интересовать и волновать его, во всяком случае, он не оставлял нас в покое — то выстрелит бумажным голубем с чернилами, то дернет за косу, то притаится за дверью и закричит тебе вслед дурным голосом. Если девушка уединилась с парнем на дальней скамейке, он выследит их и закукует над ними в кустах, или запоет обидную частушку, или с полным знанием человеческих слабостей скажет, проходя мимо, самым дружеским голосом: «Берегись, твой Коля бегает по саду, тебя ищет!» Поди докажи потом ревнивому другу, что никакого Коли у тебя нет!

Поскольку я была ненамного старше его и в то же время занимала сугубо ответственный пост комсомольского руководителя, Вася преследовал меня с особой настойчивостью — приятно все же, если «ответственное лицо» с косичкой взвизгивает от страха или опрометью мчится по коридору под струйкой воды из пульверизатора!

Я ругала его, грозила вызвать на комсомольское бюро — не помогало. Вызывать было стыдно, пришлось бы признаться, что боюсь. Жаловаться на него было некому — не в губком же!..

Так бы, наверно, и продолжалось, если бы не встреча с быком.

Шла я как-то рано утром из дому на работу. Иду, щурюсь на солнышко, а поскольку ни одного пешехода на всей улице Гоголя

не видно, носком ботинка подкидываю и гоню перед собою камешек. И вдруг до меня доходит истошный крик:

— Спасай-си-и! Спасай-си-и!

Глянула вперед — и обмерла: вверх по улице прямо на меня мчится галопом огромнейший бык. А далеко, в конце улицы, семенит какой-то мужичишка с кнутом и кричит сколько голоса хватает: спасай-си-и! Кричит мне.

А спасаться некуда. Рядом высится саженный губернаторский забор, не вскочишь. И поблизости ничего, кроме телеграфного столба.

К столбу мы подбежали одновременно — я и бык. Бык с разбегу уперся в него лбом. Сколько лет минуло, а до сих пор явственно вижу его вытянутые вперед рога, нацеленные на меня с двух сторон столба, злобный, налитой кровью глаз и край отвислой губы, с которой капает пена.

Быку очень хотелось протаранить меня рогами. А мне этого не хотелось. И мы начали кружиться вокруг столба — бык бросался в обход то с одной стороны, то с другой, а я прижималась к столбу и аккуратно, с математической точностью, выдерживала равнение на его лоб. Сильные удары его рогов и крутого лба приходились по столбу, столб аж кряхтел.

Как ни был мой противник увлечен своим смертоубийственным намерением, он все же, видимо, дорожил недолгой свободой и краем глаза следил за хозяином. Как только мужичонка подбежал и хотел ухватить конец веревки, волочившейся за быком по дороге, бык оторвался от столба и с ревом помчался вверх по улице. Я еще успела увидеть, как за ним, подскакивая, запрыгала веревка, а за нею в клубах пыли бежал мужичонка, и сама бегом-бегом помчалась под защиту стен и дверей.

В тот же день, когда Вася в полутемном коридоре со звериным ревом выскочил мне навстречу из-за двери, я со всей силой двинула его по затылку, потом по одной щеке, потом по другой, затем оттолкнула так, что он грохнул спиной о стену, и закричала:

— Только тронь, зубы выбью!

Вася меня больше не трогал. С быками мне тоже не доводилось встречаться. А вот коров я с тех пор боюсь. Стыдно, унизительно, но боюсь.

«ПУСТЬ КОМСОМОЛКА УЙДЕТ!»

Еще весной на комсомольской конференции меня выбрали в уездком, а затем его секретарем. Мне только что исполнилось пятнадцать лет, поэтому я не особенно задумывалась о реальной ответственности новой работы, только удивилась, что меня сочли достаточно взрослой (в Мурманске секретарем уездкома был Коля Ларионов!), и пошла принимать «дела» от своего предшественника: несколько тощих папок директив и переписки с волостными ячейками, бланки с лозунгом «На смену старшим, в борьбе уставшим!» — и, конечно, печать.

Штатная единица в уездкоме была одна-единственная. Комната тоже одна, узкая, мрачная, в конце коридора, окно выходило в заросли каких-то кустов да еще на север. Два дня я просидела в этой полутемной комнате совсем одна, на третий с утра ко мне ввалился рослый парень в резиновых сапогах с отворотами и в длинной брезентовой куртке поверх заношенного свитера, воскликнул: «Слава богу, хоть кто-то есть!» — представился волорганизатором из Ребол и сказал, что приехал за керосином и фитилями, иначе гибель.

Тот год, 1921-й, начавшийся Кронштадтским мятежом и его разгромом, стал первым мирным годом Советской страны. Три года не затихавшие, смолкли военные громы. Еще погромыхивало на Дальнем Востоке, но и там борьба шла к концу. Неспокойно было на границах, глухие раскаты нет-нет да и слышались из Финляндии, где у власти стояли самые реакционные силы, жадно взиравшие на Карелию и не так давно с боями подступавшие к Петрозаводску и Лодейному Полю… но получили они тогда крепкий отпор, убрались восвояси — неужели сунутся снова?!

Во всех селениях, ближних и дальних, настроились на мирный лад. Комсомолец из Ребольской пограничной волости добирался до Петрозаводска пешком, на лодке, на плоту через пороги и снова пешком, чтобы достать керосин и фитили для ламп, иначе драмкружок не может дать спектакль, учитель не может учить неграмотных, комсомольцы не могут устраивать громкие читки… Кроме того, посланец Ребол надеялся получить

побольше литературы — политической, художественной, учебной, — и, конечно, парики, бумагу, карандаши, а в случае удачи хоть какие-нибудь музыкальные инструменты» Несколько дней я бегала по разным учреждениям и вымаливала то одно, то другое, а за мною, как сильно увеличенная тень, шагал в рыбацких сапожищах с отворотами парень из Ребол. Он был немногословен, этот парень, но его присутствие помогало.

— Вот видите, им необходимо, без книг, без керосина, без грима и париков, без балалаек он уехать не может!

— Не могу, — подтверждал парень.

Быстро сообразив, что Реболы — лишь одна волость из многих, я исчисляла комсомольские нужды астрономическими цифрами, о чем бы ни шла речь. Еще более сообразительные дядечки тотчас во много раз уменьшали эти цифры, но все же кое-что давали. Получив на складе очередное богатство, мы тащили его на себе в уездком, без всякого равноправия распределив груз, — я бежала вприпрыжку со связкой париков, а рядом вышагивал мой спутник, нагруженный так, что одни глаза видны. Если я пыталась взять еще что-нибудь, парень попросту отодвигал меня локтем.

В уездкоме я по справедливости выделяла для Ребол часть полученного, остальное прятала в шкаф и запирала на ключ.

— Как же ты донесешь это все? — спросила я, когда парень собрался в обратный путь.

— Было бы что нести, — ответил он и протянул мне широченную, в мозолях от весел ладонь. — Ну спасибо! — Он осторожно потряс мою руку и впервые улыбнулся: — Такая маленькая, а смотри-ка, деловая!

Радость удачи померкла. Маленькая! Долго ли меня будет преследовать проклятие возраста?

Стараясь выглядеть старше, я закрутила волосы узлом на затылке и начала для солидности попыхивать папироской, тщательно следя, чтобы по ошибке не затянуться.

Не успел уехать парень из Ребол, как появились два паренька из Поросозера, затем, как только стаял лед на Онежском озере, первым пароходом приплыл посланец из Великой губы — всем нужны были керосин, и фитили, и даже ламповые стекла, иначе гибель! И конечно, литература, грим, парики, музыкальные инструменты, карандаши, бумага, тетради…

Уезд был огромный. Мурманская железная дорога пересекала его с севера на юг, у станций лепились поселки и лесозаводы, а в стороне от дороги, среди лесов, озер и болот, были разбросаны редкие селения, откуда можно было добираться главным образом на лодке по озерам, на плоту — вниз по быстрым, порожистым

рекам, пешком или на телеге — через лес. В осеннюю и весеннюю распутицу связь прекращалась. Кое-где, особенно в пограничье, кулачье и остатки белогвардейцев нет-нет да и напоминали о себе. Но везде, в любой глуши, уже хотели жить по-новому, интересней, умнее, и надо было помогать, помогать всем чем можно. Комната уездкома превратилась в склад, я обходила все учреждения и просила, кричала, даже всплакнула перед одним строптивым начальником:

— Пока не дадите, не уйду! Да, буду сидеть тут и реветь, не могу я прийти и сказать ребятам, что ничего нет.

Оттого, что я была застенчива, я держалась до крайности отчаянно и заставляла себя не отступать.

— Чего ты все сама бегаешь? — сказали мне в губкомоле. — Сходи к Христофору, он молодежь любит.

Христофора Дорошина я побаивалась, потому что он был уже пожилой и ходил прихрамывая — то ли после фронта, то ли от рождения. Ребята рассказывали, что он с детства, чуть ли не с одиннадцати-двенадцати лет, работал на Онежском заводе, подростком начал участвовать в революционном подполье, всю гражданскую войну провоевал здесь же, в Карелии… Крупный, плотный, в потертой военной гимнастерке, с небольшими усами и короткой бородкой, Дорошин был на вид мрачноват и грубоват, но, когда я робко вошла к нему, встретил меня ласково и весело:

— Смотри-ка, пришла! А я слышу — появилась в укомоле девчушка, трясет всех начальников, кричит на них и грозится, что не уйдет. А ко мне ни ногой!

Затем он меня подробно обо всем расспросил, подбодрил и в тот же день помог решить самый трудный вопрос — снабжение керосином. Нам установили месячную норму, и отныне ячейки получали с базы столько, сколько им полагалось.

Через несколько дней Христофор (так его называли между собой не только комсомольцы, но и люди постарше) сам вызвал меня к себе. Приближалась уездная партийная конференция. В то время на партийных конференциях всегда ставились «доклады с мест» и отдельно доклад комсомола.

— Значит, о комсомоле докладываешь ты, — как-то буднично сказал Дорошин, — готовься.

Будничный ли тон Дорошина подействовал или мысль о том, что можно будет высказать все наши требования, но я не испугалась, хотя до тех пор никогда не бывала ни на каких «взрослых» конференциях. После первого опыта в Мурманске, когда меня выручил Костя Евсеев, я уже несколько осмелела. Доклад? Ну что же, доложу все как есть. Подобрала цифры, записала наши нужды, кроме того, по совету губкомовцев

выбрала волость, где коммунисты крепко помогают молодежи, и две волости в качестве отрицательных примеров. Читать по написанному тогда и в заводе не было, люди говорили своими словами так, как умели, и то, что думали. Для памяти я записала на листочке лишь краткие тезисы доклада и необходимые цифры.

Первый приступ робости я испытала, узнав, что конференция соберется не в нашем доме, уже привычном, а в театре «Триумф», в большом зале с настоящей сценой. Как же это будет? Объявят мою фамилию, я встану и на глазах у всех пойду по проходу, потом по приставной лесенке на сцену. В своих стоптанных мальчиковых ботинках…

Второй приступ робости потряс меня в самом начале конференции, когда при выборах президиума назвали и меня — от комсомола. Я такой чести не ждала и села в самом конце зала, у входа, и вот теперь нужно было идти через весь зал, и все смотрели, как я иду. От смущения я споткнулась на лесенке и чуть не упала. Кто то взял меня за руку и повел. Как в тумане пошла я по сцене, села к столу и сверху впервые увидела зал, заполненный людьми. И какими людьми! Взрослыми, усатыми и бородатыми, даже седоголовыми, а то и лысыми… Почему-то меня особенно испугали бородачи. В Петрозаводске если и встречались бороды, то небольшие, подстриженные, как у Христофора, а из волостей понаехало немало настоящих бородачей — борода лопатой, от уха до уха.

Из отчетного доклада Дорошина я, кажется, не слышала ни слова. Потом начались доклады с мест. Иногда мне по-детски хотелось, чтоб они длились как можно дольше, иногда хотелось, чтобы неизбежное произошло немедленно и осталось позади.

— Для доклада о комсомоле слово предоставляется товарищу Кетлинской.

Так как я приросла к стулу, Христофор негромко добавил:

— Давай, Верушка.

Я встала и одеревеневшими ногами зашагала к трибуне. Трибуна была высока для меня, я поднялась на цыпочки и глянула в зал. Лучше бы мне не глядеть туда! Все до единого делегаты ухмылялись, бородачи еще и бороды поглаживали, а усатые — усы у них поднялись к ушам — крутили свои усищи…

Такого жуткого провала я не переживала ни до, ни после этого дня. Опустив глаза и вцепившись двумя руками в свой жалкий листок, я залпом, глотая слова и путая, к чему относятся записанные тут и там цифры, прочитала тезисы (что заняло минуты три), прокричала записанные в конце нужды комсомола: «Фитили! Ламповые стекла! Мячи! Грим и вазелин!» — убежала со сцены и встала за кулисами, всхлипывая от стыда и обиды,

потому что в зале слышался хохот.

Христофор вышел за мною, взял за плечи:

— Ну чего ты, глупыха?

Я ткнулась лицом в его гимнастерку, его жесткая бородка колола мне лоб.

— Они сме-ю-ут-ся…

— Так они ж по-доброму!

Он вытер мне слезы своим платком, похлопал по спине и, придерживая за плечи, привел обратно в президиум. Когда я решилась взглянуть в зал, десятки людей улыбались мне как дочке и еще многие десятки совсем молодых людей (как я их не заметила раньше?) явно сочувствовали мне — дескать, сами знаем, страшно! И наши губкомольцы, сидевшие в зале, кивали мне — ничего, бывает! Э-эх, если бы сейчас мне снова дали слово, я бы!..

В конце конференции меня выбрали членом уездного комитета партии — от комсомола. Я смотрела, как дружно поднялись — за меня не меньше, чем за других кандидатов, — темные натруженные руки, и уже не обижалась, что на многих лицах опять появились улыбки до ушей.

Дня через два меня вызвал Дорошин.

— Понимаешь, Верушка, какое дело. Пришлось тебя вычеркнуть из членов уездкома. Говорят — нарушение устава, ты не член партии и к тому же несовершеннолетняя. Реветь из-за этого не будешь? Ну и хорошо.

После партконференции работать стало немного легче — нам щедрее помогали, особенно с литературой. В моем шкафу появились пачки таких книг, как «Религия и духовенство», «Капитализм и социализм», «Карл Маркс», стихи и басни Демьяна Бедного. Получила я и сочинения Пушкина, Толстого, Гоголя, «Былое и думы» Герцена, сборник рассказов Горького, басни Крылова, «Русских женщин» Некрасова, даже Достоевского — «Братья Карамазовы». Посланцы из волостей охотней всего брали книги «недлинные»: грамотеев там было немного и читали книги вслух, вечерами, при керосиновой лампе. Все просили короткие пьесы с небольшим количеством действующих лиц, особенно чтоб поменьше женских ролей: в деревнях девушки еще боялись идти в драмкружки, и родители не очень-то пускали их. За отсутствием современных пьес сельские драмкружки коллективно сочиняли «инсценировки» из комсомольского или из буржуазного быта. Чтобы как-то помочь кружкам, я тоже сочиняла пьески, переписывала и давала желающим — что же делать, если выбрали секретарем, а пьес нет, надо выходить из положения!

В середине лета, когда мы радовались жаркой погоде и

бегали после работы купаться или катались на яхте, с юга доползли до нас тревожные вести: засуха… Потом на страницах газет замелькали слова — засуха в Поволжье. И наконец — огромными буквами через первые газетные полосы — ГОЛОД В ПОВОЛЖЬЕ! ВСЕ НА ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ!

Первый мирный год… Еще разрушенная, еще живущая на скудном пайке страна только-только начинала восстанавливать хозяйство. Многие тысячи крестьян, сдав винтовки, вернулись к земле — к своей, отвоеванной огнем и кровью. Новая экономическая политика вдохновляла их, они любовно засеяли поля с надеждой на добрый урожай. Вся страна ждала его — первого мирного урожая! И вот новый враг, ощерясь, напал на главную житницу страны. Солнце, благодатное солнце, стало врагом. Беспощадно, день за днем, полыхало оно над растрескавшейся от жажды землей. Ни облачка не было в небе, ни капли дождя не падало на молодые всходы. Жара, жара, жара. Спекаясь, гибли нежные всходы. Страшные, желтые, мертвые поля! И люди, доевшие последние остатки в ожидании урожая — дотянуть бы, а там все будет! — эти люди — сотни тысяч людей! — вместе с гибнущим урожаем изнывали от зноя, от жажды, от подступившего голода. Падали от бескормицы коровы, лошади. Не неслись куры. На деревьях сворачивались листья и лопалась кора. Люди жевали кору. У матерей пересохли груди, обезумев от горя, матери пытались выдавить из сосков хоть каплю молока — и не сразу замечали, что иссохшее тельце ребенка уже мертво…

ГОЛОД В ПОВОЛЖЬЕ! ВСЕ НА ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ!

Начался сбор денег и ценностей. Сдавали кто что мог — кольца, золотые монеты, броши и разные украшения с драгоценными камнями, золотые запонки и булавки для галстуков. Какой-то старичок принес коллекцию старинных монет. Мама сдала обручальное кольцо и нитку жемчуга, подаренную папой. У меня было простенькое колечко с голубым камешком, в комиссии по приему пожертвований сказали, что оно не золотое, а только позолоченное, но и это имело небольшую цену — приняли.

Молодежь Онежского завода решила ежемесячно отчислять однодневный хлебный и денежный паек, что составляло два-три пуда муки и примерно три миллиона рублей.

Субботники и воскресники отрабатывали в помощь голодающим.

Музыканты, актеры, комсомольская самодеятельность давали спектакли и концерты — в помощь голодающим.

По всем волостям комсомольцы тоже устраивали спектакли и

платные вечера танцев — в помощь голодающим.

В августе и сентябре комсомольские страницы в «Коммуне» целиком посвящались голоду в Поволжье. Витя Клишко привлек меня к подготовке этих страниц — с тех пор, пожалуй, и началось мое постоянное сотрудничество в газете.

Все, что мы делали, было, конечно, ничтожно при громадных размерах бедствия, но мы знали — из малого складывается большое, усилия одного прилагаются к усилиям многих, то же самое происходит по всей стране! Будто снова — война, снова — фронт…

Осенью, когда напряжение немного спало, мы решили провести во всех волостях конференции молодежи для привлечения в комсомол новых членов.

До сих пор, получая «циркуляры» сверху, я писала во исполнение их длинные письма волорганизаторам, но реального представления об условиях комсомольской работы в волостях у меня, конечно, не было. Что такое лесопункт и лесосплав и как там влиять на молодежь? Какую работу можно вести в избе-читальне? Как вовлекать в комсомол пареньков и девчат, живущих в глухих деревеньках, где всего-то два-три дома? Нужно было самой увидеть, понять, на месте посоветоваться и уж тогда придумывать «руководящие указания». Но выехать я никак не могла — и мама заволнуется (по глупости я наболтала ей про всякие плоты и пороги), и губкомол возражает: «Уедешь в одну волость, а остальные как? Приедут оттуда и найдут дверь на замке. Знаешь, сколько до тебя жалоб было?!»

Но на одну из волостных конференций молодежи? Тут уж меня никто не удержит! Кондопожский волорганизатор Гриша Пеппоев убедил меня поехать к ним — во-первых, как он заявил, «для авторитетности», во-вторых, волость большая, село примыкает к железнодорожной станции, соберется и сельская молодежь и рабочие ребята — железнодорожники. Я радостно сообщила в губкомол — «уезжаю в Кондопогу», кое-как успокоила маму, заверив ее, что ни порогов, ни рек на моем пути не будет, и в назначенный день раненько утром сунула в портфель книжку и поехала. Книжка была серьезная — «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Перед тем, по примеру Ильки Трифонова решив заняться самообразованием, я пробовала одолеть «Критику чистого разума» Канта — и навсегда поняла, что с чистым разумом я не в ладу. А вот Энгельса начала понимать. Но в дороге понимать перестала и вскоре закрыла книгу — как-никак, надо делать доклад, и притом «авторитетно», а докладчик я никудышный!

Выручило меня то, что из собравшейся сотни молодых людей

выступать не умел никто. Все смущались и попросту рассказывали, как живут, чего хотят, чем надо помочь. Нужно им было многое — от керосина до париков, но еще им не хватало того, чего никаким наскоком не приобрести, — знаний. По деревням шла и поповская и кулацкая агитация, с кулацкой справляться было легче, ребята находили доводы в самой жизни деревни, но с религией было сложней, нужны были опытные лекторы, нужны были доступные научные книги. Без науки в спор о сотворении мира не полезешь!..

Разговор начался еще до официального открытия конференции, к тому же в маленьком зале дома, где помещались все волостные организации, никакой трибуны не было, пугающего расстояния между докладчиком и слушателями не создавалось. Я забыла об «авторитетности» и поэтому выступила не хуже других. А потом мы все вместе пели песни, и я была счастлива, что сумела научить ребят «Интернационалу молодежи», он тогда только входил в комсомольский обиход: «Вставайте, юношей мятежных объединенные ряды…»

Ребята под диктовку записывали слова, каждую строфу обсуждали, что она значит и как ее понимать, получилось вроде большого собеседования о целях комсомола — второй и наверняка лучший доклад.

В темноте вечера все телеги и все лодки, развозившие делегатов по деревням, отъезжали с песней. Мы с Пеппоевым стояли на крыльце и слушали, как в захолодавшем к ночи воздухе — на озере, на реке Суне, на углубляющемся в лес проселке, постепенно отдаляясь, звучит наш комсомольский гимн.

Обратный поезд проходил через станцию утром.

— Не знаю, куда бы тебя устроить получше, — сказал Пеппоев.

Он был железнодорожником и в ночь выходил на работу. Пригласить к себе он не мог: домишко небольшой, а семья большая, полно ребятни, не дадут спать.

Мы неторопливо пошли вдоль села. Обычное северное село, оно растянулось вдоль берега озера, у каждого дома большой крытый двор, у самой воды — банька. Стемнело, но озеро матово сияло и в тишине из дальнего далека все еще доносились песня и всплески воды под веслами. Это было не само озеро Онего, а всего лишь его залив, или губа, как говорят на севере, но и тут была широта, и особая озерная тишина, и благодатный, после трудного дня, покой. Только от холодного дыхания воды познабливало.

— А там что, церковь? — недоброжелательно спросила я.

На мыске, венчающем береговую дугу, высоко и одиноко стояла небольшая церковка, выделяясь на светлом фоне воды и неба простотой и благородством очертаний. Я мимолетно отметила красоту церковки и выбранного для нее места, но подавила неуместное восхищение.

— И богослужения бывают?

— Где поп, там и «господи, помилуй», — буркнул Пеппоев. — Недавно у коммуниста ребенка крестили. Бабушки-мамушки!

— Ты антирелигиозные книги все получил? Будешь в уездкоме, проверь, что не брал — возьми.

— Баб разве переспоришь!

Село засыпало, редко где теплились в окнах мутные огоньки керосиновых ламп, а то и нестойкий свет лучин. Уже было намечено коренное изменение всей этой округи: в апреле Совет Труда и Обороны под председательством самого Ленина принял решение о путях развития народного хозяйства Карелии, здесь, на берегу озера, возле устья сплавной реки Суны, предстояло встать гидростанции и большой целлюлозно-бумажной фабрике… но ни я, ни Пеппоев, ни жители Кондопоги еще об этом не знали, еще должны были пройти годы до осуществления всего замысла и два года — до первого колышка, до первой, с помощью лопаты и тачки, выемки грунта…

Мы шли мимо крепких кулацких домов и домишек попроще, победней. У одного из них, небольшого, в три окна, Пеппоев остановился.

— Вот тут переночуешь. Все разъехались кто куда, живут старик со старушкой. Чисто у них. И спокойно.

Старик казался совсем древним — лежал на печке и молча глядел оттуда, свесив седую голову с реденькой бородой. А старушка была легка на ногу, приветлива, хлопотлива. В печи у нее томилась пшенная каша, распаренная на молоке. Кроме каши, хозяйка метнула на стол шаньги с картошкой, овсяный кисель с клюквой. Я не ела толком со вчерашнего дня и съела столько, сколько позволили приличия. Мечтала о горячем чае, но старушка поставила передо мною кринку топленого молока с румяной пенкой… Мне понадобилось собрать все свое мужество плюс самолюбие, чтобы вести себя достойно, так как я панически, до тошноты, боялась пенок. Соврав, что сыта, выпила ковшик колодезной жгучей воды и, как только хозяйка указала мне место, повалилась спать.

Проспала я часа два, а то и меньше. Сквозь сон слышала какой-то резкий стук, потом сквозь сон же поняла, что снова зажгли лампу и свет бьет в глаза, но по-настоящему разбудил меня лишь плачущий голос хозяйки и быстрая-быстрая,

взволнованная речь старика — он сполз с печки и бегал по дому в белых подштанниках и накинутом на плечи полушубке. Я ничего не понимала из их причитаний, уловила только, что им грозит какая-то беда.

— Случилось что, бабушка?

— Вставай, девушка, вставай, милая, прости ты нас христа ради, старики мы, куда денемся, это ж звери, а не люди, уходи, девушка, пожалей стариков!

Причитая, она совала мне в руки бумажку, проткнутую гвоздем.

Спросонок я не скоро поняла, что в бумажке, которую кто-то с треском пригвоздил к их двери, требовали, чтобы комсомолка ушла, иначе спалят дом. «Пусть комсомолка уйдет» — так было написано крупными печатными буквами.

— Не плачьте, сейчас уйду.

Они плакали, пока я одевалась, путаясь в одежках и отворачиваясь от их испуганных лиц. Плача и причитая, старуха вывела меня на крыльцо, правда, сбегала тихонько за калитку, поглядела, не караулит ли кто на улице.

Дверь за мною закрылась, тяжело брякнул засов.

Село спало — темное, затаившееся, недоброе. Ни огонька, ни собачьего лая. Люто холодное небо в россыпи звезд. И предательское поскрипывание под ногами. Что это — выпал снег? Или ночной заморозок тронул землю, затянул ледком лужи?

Стараясь не сбиться с пути, побрела к зданию волисполкома. Ступала осторожно, чтобы не было скрипа, затаив дыхание вглядывалась в темноту, ловила каждый шорох. Что там впереди — столб или неподвижная фигура? Ведь где-то здесь они прячутся, те «звери, а не люди», те живые, никогда не виденные кулаки! Стариков они теперь не спалят… а меня? Что они сделают со мной, если подкараулят?..

Дом волисполкома был заперт. Темен. Никто не сторожил его.

Я поднялась на крыльцо, где мы так недавно стояли с Гришей Пеппоевым и слушали, как летит-плывет песня. Села на верхнюю ступеньку, вся сжавшись и приникнув к ограждению крыльца. В этом темном уголке никто меня не увидит, не найдет, не догадается искать. Меня била дрожь — и от страха и от холода, пальтишко на мне было легкое, «на рыбьем меху», вязаный шарфик и беретик тоже грели мало, а ботинки прохудились и не согревали ноги, а леденили их.

«Пусть комсомолка уйдет».

«П у с т ь к о м с о м о л к а у й д е т!»

Сквозь тоску жуткого одиночества на мерзлом крыльце,

ночью, в незнакомом селе, ко мне вдруг пришла удивительнейшая мысль — меня ненавидят! Меня боятся! Моего комсомольского влияния боятся! Значит, очень важно и смертельно для врагов революции то, что мы делаем? То, что я д е л а ю?!

Я не распрямилась только потому, что берегла остатки тепла, хранившиеся под стиснутыми на груди руками. Но мысленно я встала в полный девчоночий рост на крыльце комсомольского волкома, бросая вызов всем кулакам, белобандитам, капиталистам и самым наиглавнейшим акулам империализма.

Рано утром меня, дремлющую и почти совсем закоченевшую, нашла на крыльце сторожиха. Привела в свою жарко натопленную комнатку, которая, как оказалось, была тут же в доме, стоило зайти со двора. Напоила чаем с сахарином. Отплевываясь и призывая на их головы всяческие беды, сторожиха называла по именам каких-то «кулацких фулиганов», которые только и могли написать записку, и ругательски ругала стариков, выгнавших «такое дите» среди ночи на улицу, Досталось и Пеппоеву:

— Ну самому на работу, растяпе, так неужели людей нет? Да привел бы ко мне! Знает же, что мужик мой еще в Красной Армии! Неужели вдвоем не переспали бы? Гляди, какая у меня постеля.

«Постеля» так и манила цветастым ватным одеялом и пышностью тщательно взбитых подушек, сложенных горкой — мал мала меньше. Мне б и самой малой хватило для блаженства, хоть на полу.

На станцию она меня одну не пустила, пошла провожать.

Я вскочила в мягкий вагон скорого мурманского поезда, преодолев несильное сопротивление проводника. Билетов мы тогда не покупали, их заменяли длиннейшие мандаты, дававшие нам право проезда по железным дорогам во всех вагонах и даже, кажется, на паровозах, на всех пароходах и на «гужевом транспорте» — так назывались телеги или сани с одной лошадиной силой в оглоблях. Мандаты обязывали всех должностных и частных лиц, все советские, партийные и профсоюзные организации оказывать нам всяческое содействие.

В вагоне было тепло и тихо, в этот ранний час пассажиры спали. Я села на откидной стульчик в коридоре и раскрыла на закладке «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Но мысли, отталкиваясь от прочитанных строк, возвращались к событиям ночи, когда я впервые встала «поперек горла» кому-то из враждебного мира собственников. «Такое дите» — сказала сторожиха? Нет, дите не испугало бы! Плевали б они на «дите»! Комсомол их пугает. «Пусть комсомолка уйдет!»

Н е у й д е м! Уходить придется вам, гады недобитые!

— Товарищ проводник, чайку спроворите?

Из уютных купе один за другим выходили пассажиры — все немолодые, хорошо одетые, уверенно-неторопливые. Барственные. Проводник суетился, убирая постели и опуская верхние диваны, оправлял полосатые чехлы. Сами не могут? Нэпманы, наверно. Ну конечно, нэпманы. «Семги хотите?» — «Да надо бы для аппетита». А проводник лебезит перед ними, носится со стаканами чая в массивных подстаканниках. «Эх, лимончика бы!» Самые настоящие нэпманы!

— Откуда вы, прелестное дитя?

Надо мной стоял пожилой, с четырехугольной бородкой, в пенсне. «Прелестное дитя» — это он меня вышучивает. Меня, мои рваные ботинки, мой самодельный беретик. Из гордости — не отвечать!

— Новая пассажирка, и такая строгая! Вам здесь неудобно, идите к нам в купе.

— Спасибо, мне удобно, и я читаю.

Глаза — в книгу. Отцепился бы он, чего пристал?

— Что вы читаете? О-о, Энгельса?! Такая строгая и такая серьезная девочка! Так хотите чайку попить? Бутерброд с семгой, а?

— Спасибо, я завтракала.

— Но семги вы не ели за вашим завтраком? А семужка свежепосоленная, мурманская.

— Мурманская?

И тут выяснилось, что никакие они не нэпманы, а правительственная комиссия по рыбным промыслам, все — специалисты по рыбе, и х т и о л о г и, и еще моряки-добытчики, — надо широко организовывать рыбный лов, стране нужна рыба, много рыбы.

Я ела бутерброд с семгой, пила чай и слушала их разговоры о строительстве рыболовецких судов, о косяках сельди, о том, что семга идет для н е р е с т а вверх по речкам, не боясь камней и порогов: куда бы она ни заплыла в океане, метать икру возвращается домой, в родную речку, перепрыгивая через перекаты и пороги, преодолевая любое течение — домой!

— Так же и человек, — сказал ихтиолог в пенсне и почему-то вздохнул, — где бы ни скитался, какое бы ни было благополучие на чужбине, в решающие дни жизни тянет его к родному дому, что бы ни было — домой, правда?

Об этом я до сих пор не задумывалась. Моя голова была полна интернациональных идей, «над вселенною встанет…» — наш дом — вселенная — «мы наш, мы новый мир построим!» —

наша забота — весь мир. А где мой родной дом? У нас никогда не было постоянного дома. Севастополь, Кача, Петроград, Симеиз, Мурманск, теперь Петрозаводск… И все-таки Севастополь! Впервые за долгое время он возник в памяти так ясно, что я прижмурилась от сверкания солнца на белых ракушечных стенах, учуяла неповторимый запах моря, водорослей, мидий, соленого ветра. Я увидела колеблющуюся полосу на потолке нашей комнаты — преломление солнечных лучей на волнистой поверхности бухты; каждое утро, проснувшись, я смотрела на эту дрожащую полосу света, пересекаемую опрокинутыми фигурками людей, проходящих по набережной. Увидела Пологий спуск, где родилась, и щербатые каменные ступени на других, еще более крутых спусках, широченную Графскую пристань с подлетающим к ней лихим катерком, осыпающиеся бастионы Малахова кургана, смешные открытые трамвайчики — входи и сходи где хочешь и как хочешь, хоть на ходу, гордый памятник погибшим кораблям напротив Приморского бульвара и мокрые камни, среди которых закручиваются и рокочут маленькие волны, и море — море — море, такое море, что, если смотреть с самого берега, не озираясь по сторонам и не оглядываясь, начинает казаться, что оно без конца и края, что, кроме моря, нет ничего, только его ширь, его синь, его рокот и блеск… Было ли сегодня ночью то, что было? И я ли там была на темном крыльце?..

Солидные рыбники вышли в коридор провожать и потом помахали мне из окон вагона. И я им помахала, проходя, сдерживая шаг, чтобы не побежать вприпрыжку. Безотчетная радость распирала меня, радость существования на этой превосходной, интересной, всегда новой земле, где все неожиданно — и каждая встреча и то, ночное, тоже, да, и то ночное, ведь было же! — и хорошо, что было, какой-то твердый камешек образовался в душе этой ночью, не мешая, а бодря.

Странно, после короткого отсутствия Петрозаводск открылся своим, родным. Было так приятно идти налегке, покачивая портфелем в такт шагам, по длинной-длинной улице от вокзала — и вдруг увидеть в самом конце ее серо-голубое сияние озера, и ощутить на лице упругие касания незатихающего онежского ветра. Таким милым показался наш белоколонный «губернаторский» дом и голые ветви его сада — черные ветви с кое-где мерцающими желтыми и красновато-лиловыми пятнами еще не облетевших листьев… Значит, может быть несколько мест, где ты дома?

Даже моя полутемная узкая комната в конце коридора уже не казалась мрачной. И совсем уже своим, кстати явившимся, был вошедший вслед за мною низкорослый, кряжистый паренек с

льняным чубом из-под кепочки с пуговкой.

— Откуда?

— Из Ругозера. Со вчера жду.

В ту осень, читая Метерлинка, я выписала его слова: «Серые дни бывают только в нас самих». В ту осень, когда мокрый снег перемежался дождем и холодные ветры продували до нутра, во мне не было серых дней. Все спорилось. Дел было невпроворот, но, сколько бы я ни бегала по нелегким хлопотливым делам, со мною рядом бегала-хлопотала радость, радость-надежда… на что? Ни на что определенное, на все, что может быть и будет, когда тебе скоро шестнадцать.

С нового года нам обещали издание комсомольской газеты. Не какой-то там странички во взрослой газете, а настоящей газеты на четырех полосах, и уже стало известно, что редактором будет Витя Клишко, а Витя Клишко считал само собою разумеющимся, что я перейду на работу в редакцию. Думала ли я тогда о журналистике и литературе как о профессии? Нет, пожалуй. И сомневаться в своих силах тоже не научилась. Просто хотелось писать и казалось, что работа в редакции самая лучшая, самая интересная.

А в губкомоле произошла перемена — первым секретарем выбрали Пальку Соколова. И это тоже было очень хорошо, теперь я постоянно встречалась с ним на работе и скоро заметила, что он приглядывается ко мне, что-то проверяет и как будто нарочно испытывает меня — поручит трудное дело, а сам наблюдает, справлюсь ли, не раскисну ли…

Однажды, уж не помню почему, он сказал:

— Мы ведь друзья? Ты мне друг?

Гордость заставила меня ответить шутливо уже не помню что, смысл был тот, что дружба — понятие двустороннее, а сердце запрыгало от восторга, все существо мое откликнулось на этот нежданный призыв — да, друг, конечно, друг!

— Ну и я тебе друг, — сказал он. — Ты ведь настоящий мальчишка.

Ласковая интонация. И в глазах промелькнуло что-то необычное.

Новая возможность окрыляла меня, сопротивляться ей не было сил, я все чаще прибегала к Пальке: «Должна поговорить с тобой как друг…», «По-дружески прошу тебя…» А после четвертой годовщины Октября, которую мы отпраздновали и торжественно и весело, совсем уж отчаянная попытка: «Завтра у нас дома соберутся друзья, если захочется, приходи…»

Из бело-зеленой полосатой фланельки, полученной по

ордеру, мама соорудила мне закрытую блузку с галстуком, в этой блузке я казалась себе ослепительно нарядной. Приходили к нам ребята охотно, после концертов в помощь Поволжью все знали маму, так как она безотказно аккомпанировала нашим певцам и мелодекламаторам. Угощение ставилось более чем скромное — чай и самодельное овсяное печенье, о выпивках тогда и не думали, собирались и болтали о чем придется, пели, читали стихи, играли в «море волнуется…» Палька не пришел, и я, сохраняя доброе настроение, уже внушила себе, что это и хорошо, нечего выдумывать дружбу из-за случайно оброненных слов… а в середине вечера он явился, в белой рубашечке с галстуком под своей полувоенной тужуркой, был оживлен и мил, пробовал под аккомпанемент читать какого-то индийского поэта, но мелодекламатора из него не вышло, хотя мама, почему-то внимательно поглядывая то на меня, то на Пальку, изо всех сил старалась подыгрывать ему… Затем Палька прямо-таки прирос к маме — ему хотелось научиться понимать музыку, он задавал наивные вопросы, а мама терпеливо отвечала, он даже хотел научиться играть на рояле и допрашивал маму, можно ли начинать в девятнадцать лет.

Под конец вечера, когда многие ребята ушли, Палька вдруг рассказал странную сказочку про богдыхана и поэта.

Богдыхан разгневался на великого китайского поэта и выгнал его. Но поэт, впав в нищету, в жалком рубище скитаясь по стране, пел о радости, о счастье пользоваться жизнью, солнцем, ароматом цветов, и его песни радовали людей, звали их жить и трудиться. Богдыхан узнал об этом, до него дошли и песни поэта. И богдыхан впал в тоску и принял большую дозу тебаина, потому что понял свое бессилие перед гением поэта, понимавшего смысл бытия и радость его, в то время как он, всемогущий богдыхан, не мог понять ни великого смысла жизни, ни величия гения. Тебаин сделал свое дело, богдыхан умер. Потом умер поэт. Но скорбь и радость жизни ходят по земле так же, как и четыреста лет назад…

— А сколько таких людей, как богдыхан? Много. А сколько таких, как поэт? Их мало, их почти нет, иначе первых было бы меньше. А к кому принадлежу я? И каждый из нас?

Так он завершил свою сказочку. И пересидел всех. Упросил маму поиграть на рояле, мама играла Шопена и Скрябина, а он сидел, прикрыв глаза, и просил: «Еще!» Когда я вышла проводить его до калитки, Палька сказал, держа калитку и раскачивая ее двумя руками:

— Ты, кажется, умеешь радоваться жизни, а я нет. Существование в мире, который готовится стать новым, только и может проявиться в том, что человек делает для общества. Я

делаю. Но то ли я делаю? То ли, что могу? Нет. Не то и не так. Может, все дело в том, что я с детства изломанный человек.

Сказал — и пошел. Почему он это сказал — мне?

Чувство счастливого ожидания прямо-таки захлестывало меня, когда я на следующий день нашла повод забежать в губкомол. Соколова не было, его срочно вызвали в губком партии.

Никто ничего не знал, но какая-то тревога была разлита в воздухе.

К вечеру просочились слухи о том, что белофинны вторглись в Карелию и уже захватили ряд пограничных селений.

В губкоме партии собрались все руководители Карелии, шло заседание, никто оттуда не выходил…

Мы, комсомольцы, не сговариваясь собрались в нашем зале. Было полутемно, горела одна лампочка, и никто не зажигал других.

Соколов появился как-то вдруг. Подтянутый, строгий.

— Комсомол Карелии объявляется мобилизованным, — сказал он. — Шюцкоры и лахтари предательски напали на нас по всей границе, ворвались в Ухту, Ругозеро, Реболы. С помощью местных кулаков захватили, замучили и расстреляли коммунистов и комсомольцев. Садитесь писать повестки: комсомольцам от семнадцати лет завтра — в губвоенкомат, остальным собраться здесь, пойдут в отряды ЧОНа.

Сразу, без расспросов, все грамотеи сели писать повестки. Не было ни удивления, ни потрясения. Нас тогда больше удивлял своими неожиданностями мир — ведь наше поколение с детства знало войну, войну, войну, разговоры о войне, жертвы войны, тяготы войны, одна война переходила в другую, наше сознание складывалось под винтовочный треск и раскаты орудий, мы вступали в жизнь и одновременно в «наш последний и решительный бой», мы только мечтали о том, что когда-нибудь потом люди смогут петь «э т о б ы л наш последний»…

Да, но… Ухта, Ругозеро, Реболы. Замучили и расстреляли коммунистов и комсомольцев… Значит, и того немногословного парня, добиравшегося к нам на лодках и плотах из Ребол? И низкорослого, кряжистого паренька с льняным чубом из Ругозера?..

В наступающем очередном бою хотелось только одного — чтобы не запихали в санитарки или телефонистки. Но теперь некому было затирать меня, я сама участвовала в формировании комсомольских отрядов и записала себя в отряд ЧОНа — частей особого назначения.

Каждый вечер мы занимались военным делом на

спортплощадке у Лососинки: изучали винтовку, «русскую трехлинейную», разбирали и собирали ее, учились стрелять стоя, с колена и лежа, маршировали и постигали приемы штыкового боя.

Было интересно, весело, над ошибками и неудачами смеялись, иногда казалось, что такая у нас новая, нестрашная игра… Но фронт где-то совсем близко, там идет борьба среди лесов, озер и болот с противником, хорошо знающим эти места и чувствующим себя уверенно именно в лесах, среди озер и болот. И где-то там, в 11-й Петроградской дивизии, наступающей в направлении Ребол, — Палька Соколов…

НАДО СТАТЬ КЕМ-ТО?..

Мне светло наедине с тем временем и с девочкой, которая тогда начинала жизнь, я всматриваюсь в нее издалека. Как в хорошо знакомую — и только. Я многое знаю о ней — это помогает воссоздать строй мыслей и чувств, присущих отнюдь не ей одной. Но меня томит тревога: возникает ли в моих клочковатых записях, хотя бы частично, само время, великое и сложное? Дойдет ли до читателей его жесткий свет, грубость и сила его формующих ладоней, неотпускающий накал его пламени, закалявшего сформованные им души?

Еще не оборвалась живая связь времен — тогдашнего и нынешнего, но мы и сами, подростки послереволюционной поры, с трудом и с изумлением восстанавливаем в памяти ее черты. Мы знали страшные подробности голода в Поволжье и понимали хитроумные происки Антанты, мы будто читали мысли господ пуанкаре, гуверов и черчиллей, но уже утвержденный съездом Советов план ГОЭЛРО еще звучал для нас отвлеченным понятием; мы почти ничего не знали о работах, начатых совсем неподалеку от Петрозаводска, возле небольшой узловой станции Званка, на берегах реки Волхов, но мы не представляли себе железнодорожных станций без унылого кладбища на запасных путях — везде стояли впритык обшарпанные, дырявые вагоны, полуразобранные мертвые паровозы… горестное овеществление слова, известного и старым и малым: р а з р у х а.

В стране не было, кажется, ничего: ни хлеба, ни сапог, ни плугов, ни гвоздей, все надо было начинать как бы сначала. Везде были необходимы руки, много упорного труда, и в то же время существовала безработица, тысячи людей осаждали биржи труда в поисках любого заработка, любой, хотя бы временной, работы… А заводы еле дымили или стояли совсем — не было угля; уголь не могли подвезти — не хватало паровозов и вагонов; на ремонт техники не хватало металла; и всем не хватало еды и одежды… Заколдованный круг — как разомкнуть его?! Разомкнула его гениальная решимость Ленина. Новая экономическая политика. Нэп.

Эти три начальные буквы — н э п — быстро обрели значение самостоятельного слова, оно склонялось в мужском роде и сразу обросло производными — нэпманы, нэпманский дух, нэповские извращения. В тот первый год новая экономическая политика еще не успела принести видимые для всех плоды, процесс шел в глубинах хозяйственной жизни, а наружу выпячивалась отрицательная сторона нэпа — разгул рыночной спекуляции, мстительное и жадное оживление среди деревенских кулаков и таившихся от революции дельцов всех мастей. Теперь, когда мы знаем все дальнейшее, это кажется нестрашным, но в то время бывало жутко: уж очень презрительно смотрели новоявленные богачи на революционную голь, уж очень нагло хватались за возможность наживы!..

Недавно, во время поездки по Карелии — по местам юности, — я целый день просидела над старыми документами и подшивками газеты «Коммуна». Начала читать с апреля 1921 года — в том месяце я переехала в Петрозаводск. В номере от 28 апреля населению сообщалось о выдаче продуктов з а м а р т: по карточкам разных категорий выдавалось от 7,5 до 18,5 фунта муки местного помола, а также всем категориям — по полфунта соли, по полфунта сахара и по два коробка спичек. Что это значило? От 100 до 240 граммов муки на день, по 6—7 граммов сахару и соли… с месячным запозданием!..

Позднее газета начала публикацию рыночных цен. Читаешь — и больно бьют в душу тогдашняя нищета, вся бедственность нашего положения, все уродства жиреющей на голоде народа рыночной стихии. На петрозаводском рынке (он раскинулся в котловине у Лососинки неподалеку от комсомольских спортплощадок) фунт белого хлеба стоил шесть тысяч рублей, фунт сахара — 30—35 тысяч, десяток яиц — 20—25 тысяч, масло — от 25 до 45 тысяч за фунт, бутылка молока стоила семь тысяч рублей, пачка спичек — 15 тысяч, кусок мыла — 13 тысяч… Мука на рынке стояла мешками, покупай хоть всю, были бы деньги, но за пуд ржаной муки надо было заплатить 160—180 тысяч рублей!

Мы знали, что Советская власть последовательно и основательно собирает силы, чтобы справиться с разрухой, голодом и безработицей, с обесценением денег и безудержной спекуляцией. Об этом мы читали в газетах, об этом нам рассказывали в докладах. Ожидалась денежная реформа: введение твердого червонца вместо тысяч и миллионов («лимонок», как называли миллионные бумажки). Но в тот год цены все росли, деньги катастрофически обесценивались. Уже в декабре пуд муки продавался на рынке за 300 тысяч рублей, фунт

сахара — за 60 тысяч… В апреле 1922 года счет велся уже на миллионы: пуд муки стоил 3 600 тысяч рублей, а спустя неделю — уже четыре с половиной миллиона! Сахар продавался по полмиллиона за фунт, а через неделю — за 750 тысяч. Одно яйцо стоило 35 тысяч рублей, а через неделю уже 100 тысяч (одно яйцо!). Цена бутылки молока подскочила за неделю с 85 до 100 тысяч рублей! Пара подметок стоила один миллион.

Среди масс людей, одетых как придется — донашивали армейские шинели, носили пальто из одеял и старых бархатных гардин, — появились мужчины в добротных пальто и шляпах, в прекрасных шевровых ботинках, и расфуфыренные дамы, каких давно уже не видали. В Петрозаводске их было немного, но, когда зимой я съездила в Петроград навестить Тамару, поступившую в университет, меня прямо-таки ошеломила вызывающая роскошь нэпманов: их дамы щеголяли в каракулевых саках и в высоких, до колен, ботинках на шнуровке, через стекла переполненных ресторанов можно было увидеть их в платьях, обнажающих плечи, в собольих палантинах, в сверкающих ожерельях и серьгах. На углу Невского и Троицкой в ряд стояли лихачи — сани с медвежьей полстью, откормленные, лоснящиеся кони под ковровыми попонами. Частные магазины зазывно сияли витринами — и чего там только не было, в этих витринах! А на солнечной стороне Невского между Московским вокзалом и Литейным проспектом какие-то верткие субъекты шныряли в толпе и монотонно повторяли: «Кому валюту? Валюта, есть валюта! Кому валюту?»

В студенческом общежитии карельского землячества, занимавшем верхний и мансардный этажи большого дома на Литейном, 16, жили голодно, весело, в полном презрении к разгулу нэпа. Если что и соблазняло студентов, то лишь витрина кондитерской в первом этаже — сдобные булочки, крендели, пирожные… Пирожные! Настоящие, с кремом, с орехами, облитые шоколадом!.. Смотреть на это великолепие было невозможно, слюни текли, приходилось пробегать мимо, отвернувшись.

Тамара, Илька Трифонов и их приятель Коля Гаупт организовали коммуну «Новый быт» — жили втроем в одной комнате, складывали вместе свои пайки и стипендии, вместе, на равных, убирали комнату и что-то готовили, вместе занимались. Я прожила у Тамары дня четыре и сперва была смущена тем, что придется жить в одной комнате с ребятами, но в коммуне система отношений была отработана: когда наступало время спать, ребята выходили в коридор, потом мы ложились лицом к стене, давая улечься ребятам; утром Тамара командовала: «Поворот все вдруг!» — и по этой морской команде Илька и Коля упирались

носами в стенку, а мы одевались… Коммуна была протестом против мещанства, вызовом всем предрассудкам, самоутверждением — так оно и воспринималось студентами; насколько я уловила, в общежитии не было ни сплетен, ни дурных подозрений. Но, когда через год Тамара с Илькой поженились, это тоже никого не удивило.

Если в Питере ошеломляла внешняя сторона нэпа, вызывающая, крикливая, то в Петрозаводске нас обступали заботы и тревоги, нэпом порожденные. Главной бедой была безработица. Эта беда — городская — меня как будто не касалась, моей заботой был уезд, но, когда безработные подростки приходили в бывший губернаторский дом, они не разбирались, кто чем занимается, они приходили в комсомол. Кого застанут, тому и жалуются, того и просят, у того и требуют: работу! Хоть какую-нибудь! Вы должны! Вы можете! Мы не отпирались — должны. Но много ли мы могли!.. А если безработного паренька ловили на рынке с украденной буханкой хлеба, а другой поступал к торговцу или кустарю «мальчиком», мы страдали, мы чувствовали себя ответственными за это, но ведь и тому и другому нужно было дать настоящую работу!..

Из волостей тоже шли невеселые вести. Родители из хозяйств покрепче перестали пускать своих детей, особенно девушек, в комсомол: дескать, время баловства прошло, давай-ка работай в своем хозяйстве, давай-ка поезжай на рынок торговать, да смотри не продешеви! И стоят комсомольцы и комсомолки, дерут по сто тысяч за бутылку молока… Другие отказываются, из дому уходят — а куда податься? Где устроиться?.. Агитация идет по селам шепотком: «Зачем карелам под большевиками жить, свои уже близко, надо соединиться с соседом!» Богатеи и их подпевалы шепчут, а слушают многие, хоть и не соглашаются, а сыновьям и дочкам говорят: «Пережди, а то придут беляки — перевешают вас!» А в церквах попы свое твердят: с революцией покончено, сами видите, все возвращается к прежнему, освященному религией порядку, молитесь, кайтесь в грехах, пока бог не покарал!..

Нелегко было комсомольцам давать отпор такой агитации, нелегко было и осмыслить, что же происходит в стране, что происходит с революцией. Среди своих, внутри партии, не было единомыслия. Соберутся вместе три-четыре коммуниста, сразу — спор до крика, до хрипоты, и всё о нэпе, об отступлении — до каких же пор отступать, ведь буржуазия прет из всех щелей!.. Еще недавно боевые, некоторые коммунисты роптали, отчаивались, сами уходили из партии — «из-за несогласия с нэпом». Их клеймили трусами, р а с т е р я в ш и м и с я; это новое слово

быстро вошло в обиход вместе с другим бичующим словом — примазавшиеся.

Осенью 1921 года партия объявила чистку своих рядов.

Чистка проводилась с тою же ленинской решительностью — открыто, перед всем народом. Какой ты есть, большевик, и большевик ли ты? — выйди и скажи всем людям, а люди скажут, в чем ты прав, и в чем виноват, и чем хорош, и предупредят, если что не так… В залах и комнатах, где проходила чистка, всегда было полным-полно — партийные и беспартийные и, уж конечно, молодежь. В комсомоле чистки не было, но партийная чистка была и для нас школой — суровой, наглядной. Выходит человек, бледный от волнения, рассказывает о себе хорошее и дурное, стараясь ничего не забыть, не скрыть… Потом сыплются вопросы, он и на них отвечает так же, потом слушает, что о нем говорят, за что ценят, за что осуждают… Несколько лет спустя, во время второй партийной чистки, я тоже стояла вот так перед народом в напряжении всех душевных сил и рассказывала о себе то, что никто и не знал, кроме меня, с предельной откровенностью, и пусть впоследствии моя откровенность дорого мне обошлась, я не жалела и не жалею о ней, такие минуты закаляют душу, и я никогда не забуду счастливое состояние очищенности — внутренней, душевной, — с каким я покидала собрание, и какую-то неотрывность от товарищей, тоже прошедших чистку, будто породнились…

Но в том, 1921 году мы были еще приготовишками большевистской школы. Пристрастно читали длинные списки исключенных из партии, печатавшиеся в газете «Коммуна», обсуждали — за что, правильно ли… Конечно, за давностью лет я многое забыла, но два урока запомнились на всю жизнь.

Добывая всякую всячину для комсомольских организаций, я не раз ходила к одному солидному товарищу, у которого выклянчивала музыкальные инструменты и театральные принадлежности. И вот однажды этот солидный, отечески ласковый дядя предложил мне… я даже не сразу поняла, что он мне предлагает! Кроме балалаек, он обещал пять гармошек, если я распишусь в получении семи, счет будет оформлен задним числом, две гармошки я запишу волостям, захваченным белофиннами… Когда я вскочила, глотая воздух, потеряв дар слова от ярости, он мило рассмеялся:

— Ну молодец, комсомолочка! Я ведь проверял тебя, у меня и гармошек нету, откуда их взять!

Я ушла с одними балалайками, оскорбленная тем, что меня могли заподозрить в нечестности. Рассказала Вите Клишко. Витя решил, что я наивная дура, а этот «балалаечник» — хорош гусь,

надо выводить его на чистую воду. А я была действительно наивной дурой, не поверила, никуда не пошла… И вот я увидела его, багрового, трясущегося, на трибуне. Вопросы так и сыпались один другого ужасней, упоминались и гармошки, и какой-то концертный рояль, проданный налево, и ларек на рынке, через который он сбывал краденое… Люди выскакивали на сцену и всё называли своими именами; кроме п р и м а з а в ш е г о с я, звучало еще слово п е р е р о ж д е н е ц, а Христофор Дорошин сказал, что высокая волна революции выплескивает грязную пену. Когда исключенный гусь-балалаечник шел через зал к выходу, наши ребята свистели в два пальца, а я кричала ему вслед, потому что свистеть не умела.

И еще запомнился инвалид, которого все звали Проней или Пронькой. Солдат империалистической и боец гражданской войны, одно время, по его словам, даже комиссар батареи, опустившийся, обросший человек со странно вывернутой, искалеченной рукой, Проня часто появлялся в губернаторском доме, заходил то в одну комнату, то в другую, почти всегда выпивший и злой. Однажды, когда мы в нашем зале писали какие-то лозунги, Проня остановился в дверях, покачиваясь, и закричал:

— Стараетесь?! А вас продали, комсомол, продали нэпманам! Спекулянтам продали! Врагам недобитым!

Тут и застал его Христофор — отодвинул от двери, повернул к себе лицом. Мы замерли: что будет? Христофор заговорил с ним мягко, они давно знали друг друга и, кажется, вместе воевали, но тем более нас поразило, когда Христофор сказал:

— Говоришь, врагам продали? А ведь ты, Проня, хуже врага, потому что б ы л с в о и м.

Б ы л?..

На чистке Проня стоял трезвый, подтянувшийся, жалкий и… страшный: он и сам чувствовал, и все присутствующие чувствовали, что он как бы за гранью, сам в себя уже не верит, что он — б ы л… Из того, что говорили о нем на том собрании, врезались в память слова: большевик паникующий, опустивший руки — не большевик! Я глотала слезы, когда Проня уходил, втянув голову в плечи, я роптала — ведь он все-таки свой, свой! — но, вероятно, именно в тот день я до конца поняла всю меру ответственности перед людьми, которую готовилась и хотела принять.

Вот такой напряженной, полной новых переживаний и мыслей была та зима 1921/1922 года.

Мы росли среди всей сложности времени — его дети, его ученики и бойцы, его верующие.

И еще: совсем рядом, в сотне верст, шла воина, и многие наши товарищи были где-то в лесах, в снегах, на фронте. Могли ли мы не беспокоиться о них?.. И могли ли мы не помнить о судьбе комсомольцев в захваченных лахтарями местах?.. Красная Армия гнала врага прочь, освобождала все новые селения, и мы узнавали о новых и новых зверствах белобандитов: перехватали по указке местных кулаков всех коммунистов и комсомольцев… пытали, расстреляли, сожгли… изнасиловали и расстреляли… расстреляли… расстреляли… расстреляли…

И еще было у нас, оставшихся, очень много работы, потому что стало нас меньше, а намеченные сборы в пользу голодающих Поволжья надо было выполнять полностью, кроме того, снабжать всем необходимым прифронтовые и освобождаемые от белофиннов волости, и надо было устраивать на работу или как-то поддерживать безработную молодежь и, наконец, готовить первые номера своей газеты, которая начнет выходить с нового года.

И еще: вопреки взрослым заботам была с нами наша юность, всегда прекрасная, с милыми причудами и жаркими надеждами, с приступами беспричинной тоски и беспричинной веселости, с первой любовью, которой нет дела ни до войны, ни до важнейших задач, напротив, чем больше помех, тем она неотступней и безоглядней. С незавидной вышки почтенного возраста многое кажется наивным, но никогда — смешным, так бескорыстны были помыслы, так беззаветны чувства, столько было готовности и к торжествующей радости любви, и к черному горю утраты…

Еще красивей и святей была родившаяся среди разрухи и войны непрошеная любовь, оттого что бегала в стоптанных ботинках на комсомольские собрания, питалась по карточкам категории «Б», озарялась мечтами о безоблачном счастье всего — обязательно всего! — человечества и силилась не противоречить теориям Энгельса и Бебеля!

Она звала не к тихой пристани, эта любовь, а к подвигу. В ту военную зиму она воплотилась для нас в облике молоденькой учительницы Айно Пелконен и высказала самое сокровенное ее предсмертными словами… Из того, что я слышала об Айно сразу после ее мучительной гибели, и из того, что прочитала поздней в очерке карельского писателя Ругоева, знаю — девушка была веселой и ясной, как бывают ясны и веселы люди убежденные, живущие в полном ладу со своей совестью. Дочь рабочего и сестра красноармейца, Айно выбрала себе профессию по душе и готовилась к ней в Петрозаводском педучилище самозабвенно и всесторонне, потому что в те годы учитель в деревне не только учил детей, учителю нужно было уметь многое: и спеть, и

сплясать, и поставить спектакль, и сыграть в нем трудную роль, и разъяснить политические события, а иногда и лечить больного… светлый огонек новой культуры, к которому тянутся и взрослые и дети! Айно любила и была любима, ее Сережа тоже учительствовал в Ухтинском пограничье и звал ее к себе, но Айно поехала туда, куда ее послали, где она была нужнее всего, — в глухую деревню Тихтозеро. Может быть, она недостаточно любила? Нет, я уверена — это было то высшее проявление духа, когда любовь делает человека лучше и сильней, когда чувством долга нельзя пожертвовать, не унизив любовь. Удавалось ли им встречаться? Не знаю, наверное, все же удавалось. Во всяком случае, когда в декабре белобандиты ворвались в их район, Сергей нашел возможность примчаться с товарищами в Тихтозеро — спасать любимую. И не застал ее — Айно уехала в какую-то другую деревню в семью ученика. А ждать Сергей не мог. Вернувшись, Айно поняла, что оставаться опасно. Но как уйти, ведь ученики ждут ее в школе. Айно вела урок, когда появились бандиты. Она сделала единственное, что могла, — заслонила собою детей. Ее схватили. Ее били. От нее требовали — отрекись!

— Я никогда не отрекусь от своих убеждений — так сказала Айно. — Я останусь коммунистом до конца своей жизни.

Ее зверски истязали, над нею глумились, полуживую, ее привязали к саням и тащили волоком по снежной дороге…

Мы цепенели от ужаса перед тем, что испытала Айно, но ее слова реяли над нами, как знамя:

— Я никогда не отрекусь от своих убеждений!

А в Петрозаводске было тихо и совсем мирно. И ничего героического в нашей жизни не было. Мы ускоренно прошли девяностошестичасовую военную подготовку, дежурили в штабе ЧОНа — больше делать было нечего, на фронт никого не брали. Убежать, переодевшись мальчишкой и срезав косу? Но кто меня примет там? Если бы Палька Соколов… Но где и как найти ту самую 11-ю Петроградскую стрелковую?..

Все стало мне немило в Петрозаводске.

Еще осенью, когда выбирали первого секретаря губкомола, часть членов губкомола хотела выбрать Георгия Макарова, но большинство выбрало Соколова. Теперь Макаров стал первым секретарем и, к моему величайшему огорчению и недоумению, на бюро нередко осуждал то, что делалось «при Соколове». И ему поддакивали. Я знала, что кое в чем ребята правы: Палька был несдержанным, капризным, умел обидеть походя и потребовать так, что исполнять не хотелось. Он сам это знал — «делаю не то и

не так», — и я не раз говорила ему об этом на правах друга. Но позволить осуждать Пальку за глаза теперь, когда он на фронте?!

— Я друг Соколова и прошу при мне не говорить о нем плохо!

Так я заявила на заседании бюро. И по улыбкам и смешкам поняла: они не очень-то верят, что тут только дружба.

— А то, что вы думаете, это пошлость! Мещанство! Если вы не верите в дружбу парня и девушки, какие же вы комсомольцы? Стыдно!

Прокричала и выбежала, глотая слезы.

Сама я верила в бескорыстность дружбы, ведь ничего иного между нами не было. Никто не мог знать мою тайную, от всех скрываемую любовь. И Палька не знал. Я писала ему почти каждый день дружеские письма, посылала газеты — ведь человек на фронте, это мой товарищеский долг. Он отвечал одним письмом на пять моих, но неизменно просил писать чаще и задавал вопросы, на которые нужно было ответить. Чтобы как-то выплеснуть чувство, одолевавшее меня, я выдумала целую историю: есть человек, которого я люблю, он воюет на самом севере, еще дальше, чем Палька, и связь с ним еще хуже, я тревожусь и тоскую, когда долго нет известий… Было так хорошо писать о своей любви к неведомому человеку словами, рвавшимися наружу, ничем не рискуя, ничего не боясь, ведь я просто делюсь переживаниями со своим другом! Палька обходил мои признания, будто их и не было, но однажды вдруг написал: «И все-то ты лжешь!» А строкой ниже: «Война идет к концу, совсем скоро встретимся, я этого жду». Испуганная и счастливая, я читала-перечитывала нежданные слова и не решалась сказать себе самой, что он понял…

Год назад, получая ежедневные письма Шенкуренка, я не робела и даже не очень задумывалась над его пылкими объяснениями. А сейчас, когда ничего-то и сказано не было, кроме слов «скоро встретимся, я этого жду», мне стало страшно. Я не знала, что делать с таким непредвиденным богатством, хотела, чтобы Палька приехал скорей, и хотела, чтобы ожидание длилось и длилось, потому что боялась взглянуть на Пальку и понять, что он все знает.

Моя действительная или воображаемая соперница Аня однажды увидела у меня на столе конверт, надписанный знакомым ей размашистым почерком с неправильно расставленными знаками препинания.

— Палька тебе пишет? — удивилась она. — Ну-ка покажи.

В письме не было ничего, что нельзя было показать, но именно поэтому я не захотела показывать. Аня настаивала. Я

спросила, уж не ревнует ли она. И услышала презрительное:

— Я?! К тебе?!

Лет двадцать спустя на Невском на трамвайной остановке я столкнулась с пожилой женщиной и вдруг узнала — Аня. Она искренне обрадовалась встрече, а я… Смешно вспомнить, но я будто услышала давнее: «К тебе?!» — и обошлась с нею холодно. Вероятно, Аня подумала: вот, вышла в писатели и зазналась. А для меня она все еще была соперница и обидчица.

Уничтоженная ее презрением, я усомнилась и в себе (неуклюжая девчонка, к которой и ревновать нельзя!), и в тех заветных словах (несколько ни к чему не обязывающих слов!). Проклятие возраста снова навалилось на меня. Но теперь возникла надежда на весну — в мае мне наконец-то исполнится шестнадцать! Приедет Палька, а мне уже шестнадцать, я уже не девчонка. Почему-то казалось, что весной что-то в моей жизни решится. Весной, когда исполнится шестнадцать!..

А решилось кое-что раньше. Но совсем не то, о чем думалось.

Я начала работать в газете. И с первых дней в мою жизнь вошло предчувствие профессии. Ее горечь и сладость, ее засасывающая сила. Еще не отдавая себе отчета в том, что это в ы б о р на всю жизнь, я погрузилась всеми мыслями и чувствами в маленький родничок литераторского труда — в крохотный родничок еженедельной, четырехполосной малого формата, молодежной… Даже мысли о Пальке отодвинулись — не исчезли, но отодвинулись.

Как и полагается в такой небольшой газете, мы с Витей Клишко работали много и писали все что нужно — заметки, передовицы, очерки, фельетоны, стихи. Авторами обрастали медленно, грамотеев среди молодежи было не так уж много, а тех, что были, и без нас перегружали всяческими обязанностями. Юнкоров мы искали повсюду, в каждого паренька, приславшего в редакцию немудрящую заметку, вцеплялись хватко, стараясь приохотить его к постоянному сотрудничеству. Создали юнкоровский кружок. Но все же большинство материалов приходилось писать самим — под всевозможными псевдонимами.

Одним из моих псевдонимов (под наиболее серьезными статьями!) я взяла Самый младший. Так я оборонялась от усмешек, так демонстрировала пренебрежение к своей проклятой возрастной неполноценности. Мало того что я помнила неудачное выступление на партийной конференции и дружный хохот в зале, но и на комсомольских конференциях меня преследовало то же унижение: когда докладывала мандатная комиссия, я с трепетом ждала сообщения о возрасте делегатов, неизменно кончавшегося словами «и один — 1906 года»… Все с

улыбкой смотрели в мою сторону, а я готова была провалиться сквозь пол, в пыльный подвал, хотя там, как я знала, водились крысы.

Впервые я использовала вызывающий псевдоним для статьи (еще в молодежную страницу «Коммуны») на весьма серьезную тему: «Новая экономическая политика и молодежь». Недавно в Петрозаводске я разыскала эту статейку в номере «Коммуны» от 24 декабря и там же сообщение о том, что с 1 января 1922 года начнет еженедельно выходить «Трудовая молодежь» (четыре страницы, тираж две тысячи экземпляров, цена номера две тысячи рублей). Нашла я в своей давней статейке и строки, развеселившие опытного журналиста Льва Гершановича, того самого, что прошлой весной назвал меня гадким утенком:

> «Нужно сохранить пролетарскую молодежь от распыления, деклассирования, пробуждая в ней классовое сознание и ненависть к мелкобуржуазной стихии».

Лев Гершанович влетел в комнату, где мы с Витей обосновались, размахивая газетным листом:

— Кто тут Самый младший? Покажите мне этого теоретика! «Деклассирования»! Какой накал теоретической мысли! И в таком юном возрасте! Каким же мыслителем он вырастет, когда станет самым старшим!

У меня хватило ума не обидеться. Он мне нравился, этот человек брызжущего темперамента и несомненного таланта. В политической и культурной жизни Петрозаводска Лев Гершанович был заметной фигурой, с его оценками считались режиссеры и актеры, музыканты и молодые журналисты, такие, как Илька Трифонов, с семнадцати лет печатавшийся под псевдонимом И. Иволгин. На премьере театра или на интересном концерте в партере неизменно выделялся Лев Гершанович — шапка кудрявых волос, искрящиеся глаза, густой выразительный голос. К тому, что он говорил, всегда прислушивались, около Гершановича в антрактах кучились люди, знакомые ему и совсем незнакомые, старающиеся уловить его мнение.

В те дни старая интеллигенция и молодые советские деятели искали новые пути для искусства, бурно спорили, нужна ли революционным массам классика или ее пора «выкинуть за борт», каким должен быть новый театр и новая литература. Лев Гершанович в своих статьях по искусству не поддерживал крайних, левацких течений, вдумчиво и серьезно рассуждал о богатстве и многообразии культуры, но при этом увлекался новыми формами театра, сам написал инсценировку для

«массового действа» (она была осуществлена летом 1922 года), затевал публичные диспуты — на одном из них я была, и он мне запомнился: театр был переполнен, страсти кипели вокруг темы, озаглавленной «Героический репертуар и культ личности». Кто является истинным двигателем истории? Народные массы или сильная личность? Может ли герой-одиночка повернуть вспять ход истории? Нужны ли театру герои, возвышающиеся над толпой? В чем особенности и отличия революционного героя? Один из ораторов, популярный актер драматического театра (не помню его фамилии), очень веско и умело отстаивал роль сильной личности в обществе, называл Наполеона, Бисмарка и каких-то совсем давних римских цезарей, которых я по своему невежеству и не знала. Оратор многих убедил, но затем выступил Гершанович и положил своего оппонента «на обе лопатки», и мы горячо аплодировали ему, потому что идея героя, тесно связанного с народом и выражающего его чаяния и цели, была нам близка. Споры вокруг «сильной личности» продолжались и после диспута, побуждая думать и искать неопровержимые доводы. Именно тогда я начала с пониманием вчитываться в то, что писали Ленин и Маркс, Энгельс и Плеханов (найти нужное, как всегда, помог приехавший на каникулы Илька). Именно тогда я впервые заинтересовалась историей — не заучивала по-школярски имена и даты, а вопрошала ее и находила ответы.

В первые годы революции, когда политическая и общая грамотность людей была намного ниже, диспуты происходили часто, и самые крупные партийные деятели не стеснялись выступать на них. Луначарский публично, при большом стечении народа, вел спор с церковниками — и побеждал в споре… Несколько лет назад один деятель, неодобрительно относившийся к диспуту на безобидную морально-этическую тему, кисло сказал мне: «К сожалению, на диспутах, кроме правильных, высказываются и неправильные мысли!» — «К счастью!» — ответила я. Ведь хуже, если «неправильные» мысли лелеются втихаря! В открытом споре, выслушивая доводы своих оппонентов, человек часто и сам понимает ошибочность или узость своих взглядов, и окружающие понимают, и думают, и тянутся к самостоятельным размышлениям. Но к спору надо серьезно готовиться, быть во всеоружии знания, что правда, то правда.

В годы моей юности диспуты были школой мышления и политическим оружием. Лев Гершанович был одним из партийных пропагандистов, мастерски владевших этим острым оружием и не терявшихся перед сильным противником.

Но все же он запомнился мне главным образом потому, что

был первым настоящим литератором, у которого я многому научилась. Мою статью с «деклассированием» он вообще-то одобрил — верно почувствована тема, в газете это важнейшее дело, но затем раскритиковал без скидки на возраст Самого младшего автора:

— Ну вот я прочитал, и ты меня убедила: надо бороться! Надо прививать! Но как это делать? Сама знаешь — безработица, голодно, подростков берут на работу со скрипом, ученичество не налажено. А я, допустим, комсомольский секретарь. Что я должен предпринять? Как бороться и прививать? Если ты газета — помоги, подскажи, а не долдонь общие истины!

Он любил заходить в нашу молодую редакцию и между шутками-прибаутками (на что он тоже был мастер) ненавязчиво учил нас делать газету. Начиная с верстки: брал несколько разных газет и показывал, где материал расположен интересно, с толком, ведя читателя от статьи к статье, от телеграммы к телеграмме, а где тускло, невыразительно; показывал, как выделять главное, и объяснял, что такое г л а в н о е в каждом номере и как верстать, чтобы читатель это главное не проморгал.

В другой раз он прошелся по названиям передовиц и статей.

— «В чем ошибся товарищ Сидоров?» Это название! Обязательно прочитаешь, тебе уже хочется знать, в чем этот недотепа Сидоров ошибся. «Как в Кармаселье удвоили вывозку леса» — тоже прочитаешь, а уж лесовики обязательно прочитают, придирчиво и с пользой, если статья дельная. А вот «Усилить вывозку леса!» — все согласны: надо усилить! Но зачем читать, если резюме статье дано в названии? Лозунгом надо не начинать, а кончать.

Однажды он зашел, поболтал с нами и вдруг спросил:

— Витя, в одном из номеров ты критиковал не помню уж какого партийного волорганизатора Митрохина или Митюхина… за то, что не помогает комсомолу. Ну и как он сейчас? Помогает?

Или:

— Помнится, ребятки, вы писали о девушке, которая вступила в комсомол, но продолжает петь в церковном хоре. Поняла она? Или поет по-прежнему?

Если мы не знали, он по-настоящему сердился:

— Какие же вы журналисты?! Перед тем как написать, проверь, все ли точно, взвесь, стоит ли овчинка выделки, но уж если выступил — следи, подействовало ли, проверяй, не вхолостую ли выстрел.

Он был влюблен в силу печатного слова и относился к ней по-борцовски: приложил к делу — и жми до победы! При этом, как мне вспоминается, он обладал большой чуткостью к тому, чем

сегодня живет страна, народ, город, а поэтому — что сегодня г л а в н о е. Но ведь эти два качества и есть наиважнейшие качества журналиста! Те, кто ими не обладает, не журналисты, а всего-навсего «служащие в газете», да и служба у них тяжкая, потому что только по призванию, по страсти можно выдержать ответственность, многотемность, взрывоопасность и бешеный темп газетной работы.

Витя Клишко тоже любил Гершановича. Оба языкатые, они с удовольствием перебрасывались остротами, не щадя друг друга, и не обижались, а хохотали, если одному из них удавалось удачно поддеть другого. Когда в самом конце года Гершановича назначили ответственным редактором «Коммуны», мы с Витей были рады. Но именно с Гершановичем спустя два месяца повздорила наша новорожденная «Трудовая молодежь», и именно из-за этого произошла новая перемена в моей жизни.

Как я ни силюсь вспомнить, из-за чего разразилась баталия между двумя редакторами, не получается. И в архиве ничего не нашла — в подшивке «Коммуны» не хватает номеров, а от «Трудовой молодежи» и следов почти не осталось.

Как бы там ни было, Лев Гершанович в своей газете за что-то покритиковал нашу, Витя Клишко взбеленился и ответил ему ядовитой статьей, где не то в заголовке, не то (как учил Гершанович) в конце в виде резюме стояла не очень тактичная фраза: «Собака лает, ветер носит!» При всей вольности тогдашних газетных нравов подобная реакция на критику партийной газеты была чрезмерной. Лев Гершанович не без яду отчитал Витю в короткой реплике. Витя был несколько обескуражен, и, пожалуй, на этом вся перепалка и кончилась бы, но в середине дня глаза Вити вдруг засверкали:

— Он же Лев! Понимаешь, Лев!

Его перо забегало по бумаге. Я ждала, охваченная любопытством.

— Ну слушай!

Из-под пера Вити вышел хлесткий ответ под названием «Се Лев, а не собака!». Мы хохотали, очень довольные. Витя надписал своею собственной редакторской рукой: в набор. Его иногда «заносило», и удержаться он не мог, но без этой черты Витя Клишко не был бы самим собой.

Видимо, так рассудили и в губкоме партии. Витя был готов к тому, что ему попадет, но его отечески пожурили и посоветовали думать о читателях и «считать до ста», прежде чем подписывать в набор. Витя вернулся веселым и прорепетировал — хватит ли терпения считать до ста. Где-то между сорока и пятьюдесятью он прекратил бормотание и сообщил:

— Еще в губкомоле, на бюро, песочить будут. Макаров — тот умеет!

За два дня до бюро вернулся с фронта Палька Соколов. Фронта уже и не было — белофиннов отбросили обратно за границу.

Мы с Витей верстали очередной номер, когда я услыхала за дверью голос, который не спутала бы ни с каким другим. Дверь распахнулась, и я увидела Пальку — с порога он отвечал кому-то, кто его остановил в коридоре. Военная форма ему очень шла, он казался загорелым — так обработали его мороз и ветер. На темном лице быстрые глаза были еще ярче, зеленей — словом, еще прекрасней и убийственней для меня.

Несколько минут Палька рассматривал нашу верстку и беседовал с Витей о газетных делах, а я… не знаю, что отражалось на моем лице, но Витя вдруг вспомнил, что ему нужно в типографию, и поспешно вышел.

— Знаешь, я решил ехать учиться, — сказал Палька.

Так как я еще не обрела дара речи, он продолжал — не могу пересказать все, что он говорил, но смысл его слов был в том, что мы все недоучки и невежды, в работе с малограмотными массами наших знаний и организационных навыков пока что хватает, но ненадолго.

— Там, на фронте, я много думал, — сказал он. — Ты мне писала, помнишь, что мне надо работать над собой в отношении характера. Не только в этом беда. Я пока ничто, понимаешь? Вот ведь слушал речь Ленина, даже доклады потом делал, а не понимал! Сейчас, на фронте, понял. Впервые.

Я знала, что Палька вместе с Георгием Макаровым и Ваней Горбачевым был на Третьем съезде комсомола и слышал знаменитую речь Ленина. Читала я и саму речь Ленина. Что же он мог там не понять и что понял теперь?

— А то, что мы заучили — учиться коммунизму, связывать с практикой и так далее, а ведь он еще говорил о всей сумме знаний, накопленных человечеством! Это значит, что каждый из нас должен стать к е м - т о — всерьез, до самой глубины узнать хоть частицу этой громады. Вот ты знаешь, кем хочешь быть, что делать?

— Знаю, — сказала я, только в эту минуту по-настоящему поняв, что решение уже принято. — Писать.

Он оценивающе разглядывал меня:

— А у тебя хватает знаний, чтобы хорошо работать даже в этой газетенке?

— Нет, — честно ответила я.

— Нет, — согласился он. — Но ты, по крайней мере, знаешь,

чего хочешь. А я не знаю. Давай-ка махнем осенью в Питер учиться?

— Я уже думала об этом, — соврала я. — А куда ты хочешь поступать?

Пальку этот вопрос рассердил, он встал и небрежно бросил, что еще есть время подумать. В дверях спросил:

— Ты здесь долго будешь?

И, не дожидаясь ответа, сказал, что сходит пока в губкомол.

Пока? Значит, он еще зайдет ко мне?

Я просидела в редакции до позднего часа. Витя пришел, докончил верстку, ушел, снова пришел. Вскользь сообщил, что видел Пальку на лестнице в губкоме партии. Потом мы обсуждали следующий номер…

Когда я пришла домой, всеми силами стараясь скрыть от мамы свою печаль, мама рассказала, с особой пристальностью глядя на меня:

— А к нам заходил Соколов. Очень славный юноша, но со странностями. Я варила суп на примусе, он сказал: «Погасите, ну его совсем, сядьте лучше и сыграйте то, что вы играли тогда. Самое лучшее». Что именно, он не мог объяснить, пробовал напеть, но не получилось. Говорит, на фронте часто слышал — в лесу или ночью, в тишине: рояль и всегда та вещь. Говорит, помогало думать. Я ему переиграла массу вещей… Нет, говорит, не то. Вспомните, пожалуйста, я еще зайду. И ушел.

Милый, нелепый, неуклюжий Палька! Заходил, ждал… слушал музыку, которая помогала ему думать на фронте… Значит, думал обо мне, раз слышал мамину музыку?.. Нет, я догадывалась, что на фронте в нем происходила напряженная внутренняя работа, может быть, и независимая от меня… но ведь в первый же день возвращения он пришел ко мне? И заходил к нам?..

— Мама, я решила осенью ехать учиться, — так я отвела разговор о Пальке, потому что боялась выдать себя.

— И Соколов тоже решил учиться? — спросила догадливая мама.

— При чем тут Соколов, когда Ленин прямо потребовал от комсомольцев: учиться, учиться и учиться! — запальчиво сказала я.

— Это очень умно с его стороны, — одобрила мама.

На следующий день Палька не появлялся.

Когда мы с Витей шли на бюро губкомола, я думала только о том, придет ли туда Палька. Он уже был там — держал в руках газету и посмеивался, читая нашу перепалку с Львом Гершановичем.

Георгий Макаров начал обсуждение весьма сурово: работники редакции совершили недопустимую ошибку, показали свою политическую незрелость и так далее. Палька сказал: «Несерьезно, конечно!» — но слова не попросил. Бранили нас все члены бюро по очереди, потом Витя Клишко признался, что его «занесло», они привыкли пикироваться с Гершановичем по-приятельски, но не надо было выносить пикировку на страницы газеты. В заключение Макаров сказал, что Витю следовало бы снять, но снимать жалко, потому что он газету любит и неплохо делает, а вот подкрепить его более зрелым помощником, способным удержать от «заносов», следовало бы…

Я выслушала это заключение, еще не осознавая, что оно перечеркивает мою только что начавшуюся журналистскую судьбу.

Потом обсуждались другие вопросы. Витя оставался потому, что был членом бюро, а я потому, что Соколов был тут и поглядывал на меня с непривычной для него ласковостью. Но именно Соколов как никто умел выкидывать неожиданные коленца.

Речь зашла о том, что в Олонецком уезде в связи с уходом многих активистов в Красную Армию ослабела комсомольская работа и надо бы кого-нибудь туда командировать. Стали думать кого, но не находили, все энергичные петрозаводские активисты были «при деле».

— Почему же некого? — вдруг вмешался Палька. — Сегодня говорили, что не мешало бы редакцию подкрепить более зрелым работником. Так вот давайте это и сделаем, а Веру пошлем в Олонец для укрепления работы. Она боевая, справится.

— Ты же знаешь, что я еду учиться! — крикнула я.

— Осень еще далеко, — сухо возразил он, — наладишь комсомольскую работу в Олонце и поедешь.

Кандидатура была найдена — и все за нее ухватились.

Когда после бюро я направилась к выходу, Палька загородил рукою дверь и сказал с многозначительной улыбкой:

— Не злись. Я тоже скоро приеду в Олонец… погляжу, как ты там заворачиваешь.

Должно быть, я слишком уж сразу перестала злиться, потому что он добавил:

— У меня ведь там невеста.

— И все-то ты лжешь, — сказала я и решительно отвела его руку от дверного косяка.

ПУТЬ В ОЛОНЕЦ

При чем тут Олонец! Это был путь в самостоятельность, путь во взрослость, с самого начала мой, собственный, с той минуты, когда я получила в губкомоле командировочное удостоверение и проездные ордера и пошла на вокзал с легким чемоданчиком, и даже мама не провожала меня, потому что в этот дневной час у нее были занятия в музыкальной школе, а Витя Клишко подписывал номер, и вообще, какие могут быть провожанья, когда человек едет в командировку, в обыкновенную длительную командировку для укрепления работы в незнакомом уезде, где больше некому ее укреплять, вот и послали надежного боевого товарища, а надежный боевой взял чемоданчик и запросто едет…

Так я взбадривала себя насмешкой, а на самом деле сердце щемило: и путь неведомый, сперва поездом, потом на лошадях пятьдесят километров, и совсем незнакомый уезд, население — карелы, в деревнях, наверно, многие и по-русски не понимают, как я буду укреплять там работу? И вообще — сумею ли я укрепить ее? Это легко записать в протоколе: «Для укрепления работы в Олонецком уезде командировать…»

Стоя на площадке вагона, продуваемой холодным мартовским ветром, я смотрела, как отлетают назад петрозаводские окраинные дома. Вот и нагорные улицы — где-то тут живет Палька… Мост через Лососинку — у-у-ух, какая она холодная, скачет среди обледенелых камней, отрывая куски льда от закраин, а на солнечной стороне крутого берега снег уже тонкий, пористый, кое-где и земля проступает… Если соскочить на Голиковке, пробежать вдоль Лососинки, через мост у завода — я дома…

Голиковка — разъезд, поезд стоит одну минуту.

— Вот так неожиданность!

Палька Соколов вспрыгивает на ступеньку и снизу, откинувшись, весело глядит на меня. Говорю, всеми силами скрывая радость:

— Все-таки хоть один губкомолец нашелся проводить.

Он висит на нижней ступеньке, откинувшись и покачиваясь.

— Был здесь по соседству. Я не знал, что ты сегодня едешь.

— Значит, случайность.

— Жизнь полна случайностей. Счастливых и несчастливых.

Поезд медленно трогается. Палька все еще висит, откинувшись, только рука, ухватившаяся за поручень, напряглась.

— Палька, соскакивай! Оборвешься!

— А может, я хочу ехать с тобой до Олонца?

Поезд набирает ходу.

— Будем считать, что один губкомолец проводил одного командированного товарища! — кричит Палька сквозь переборы колес.

Господи, какой он сейчас быстроглазый, озорной, красивый, любимый до сердцебиения…

— Палька, сорвешься, — шепчу я.

— До встречи! — кричит он, поворачивается боком и ловко спрыгивает по ходу поезда.

Перегнувшись, я смотрю сквозь слезы (от бившего в глаза ветра?), как он бежит несколько шагов рядом с поездом, удерживая равновесие, потом останавливается и стоит, приветственно подняв руку.

Счастьем озарено начало моего пути.

Когда я вхожу в вагон, где люди понатыканы один к другому на всех полках и в проходах, на меня все смотрят, наверно, у меня на лице что-то такое написано. Смотрят и улыбаются. Я прозябла на площадке, но здесь сразу охватывает густое, парное тепло. Сесть негде, чемоданчик поставить тоже. В другом конце вагона несколько голосов заунывно тянут песню:

Дозволь, ба-а-а-тюшка, жени-и-ться,
Дозволь взять, кою люб-лю —
Ве-се-лый да раз-го-вор!

Я иду на песню — куда ж еще! В последнем отделении тесно сидят несколько парней и один пожилой дядечка с сивой бородкой. На фанерном бауле, опирающемся на его колени и на колени одного из парней, дядечка аккуратно режет ломтиками желто-белое сало с розовой прослоечкой. И тоже поет, покачиваясь в такт песне:

Отец сы-ы-ы-ну не по-ве-е-е-рил,
Что на свете есть лю-бовь —
Ве-се-лый да раз-го-вор!

Песня тянется уныло, а лица у поющих веселые. И эти веселые лица оборачиваются ко мне с явной доброжелательностью.

Когда тебе скоро шестнадцать, мир населен в основном людьми доброжелательными. Если тебе сорок, бывает и так и сяк, если тебе шестьдесят, стараются сделать вид, что не заметили: или дремлют, или за окном появилось что-то любопытное… но шестнадцатилетней и уступать место не нужно, просто сдвинутся, потеснятся, неведомо как высвободят местечко: «Присаживайтесь, в ногах правды нет!» — «Спасибо»! — «Хлебушка с салом, девушка, не побрезгуйте!» — «Ой, что вы, я сыта!» — «Какая нынче сытость! Угощайтесь!»

Взял он са-а-блю, взял он во-о-о-стру
И зарезал сам се-бя —
Ве-се-лый да раз-го-вор!

Через полчаса я уже знаю, что они артель плотников, но могут и землекопами, работали по подряду в Сороке, потом в Медвежьей Горе, но больше работы не нашли, теперь подались на станцию Званка, там — слыхали? — громаднейшее начинается строительство, плотиной перегородят реку Волхов, сам Ленин велел построить там г и д р о с т а н ц и ю, такую большую, что свет пойдет аж до Питера. Электричество. И рабочих там нанимают — сколько ни приедут, всех берут и жилье дают и пайки. Говорят, и заработки хорошие. Земляк писал, он там с первого дня землекопом.

Так впервые ко мне приблизился еще малоизвестный Волховстрой.

Рядом, на боковых полках, ехало семейство из шести душ — отец, мать и четверо ребят, из них двое мальчишки-погодки. «Сам» с 1915-го работал на Мурманке, последние два года — путевым обходчиком. Теперь снялись с места — домой, в Тверскую губернию, в свое хозяйство.

— Старикам одним тяжело, да и поворот такой вышел: поднимать крестьянское хозяйство, — говорил «сам», обращаясь к дядечке с сивой бородкой. — И пацаны грузом висят: жрут дай бог, а на работу никак не пристроить, уж я и к начальству ходил, и отблагодарить сулил…

Я поглядывала на пацанов. Именно таких, четырнадцати-шестнадцатилетних, мы старались устроить на работу, но удавалось редко, хорошие советские законы об охране труда подростков оборачивались так, что начальники всячески отбивались от учеников: хлопот много, льгот много, а выгоды

никакой. О них, о пацанах, детях рабочих, я и думала, когда писала ту статью о «деклассировании»… И вот целое рабочее семейство — обратно в деревню?.. Но и в деревне нужны руки?.. Сельское хозяйство сейчас важнее важного?..

В соседней боковушке, наоборот, молодая деревенская женщина ехала от сельского хозяйства в Лодейное Поле к тетке, тетка там буфетчицей и обещала устроить «афицанткой».

— Что ж, семьи в деревне нет, мужа нет? — полюбопытствовал дядечка.

— А что семья? Старики живы, а муж убитый, — спокойно сказала женщина. — Чего ж мне возле стариков пропадать?

— Думаешь, в Лодейном женихи ходят?

— А кто их знает, может, и ходют, — вяло улыбнулась женщина.

— Плохо теперь бабам, — вздохнул дядечка. — Мужиков поубивало — не сосчитать.

— И не говорите! — впервые подала голос жена путевого обходчика и неожиданно засмеялась, сразу помолодев и похорошев. — Я уж и то своего сторожу, глаз не спускаю, как бы не увели такого завидного мужика.

— Помолчи, болтушка. При детях чушь порешь.

В Лодейном Поле мы сошли вместе с женщиной, что надеялась поступить «афицанткой». Я помогла ей вскинуть на плечо связанные ремнем сундучок и узел, постояла, глядя, как она тяжело шагает в солдатских латаных-перелатаных сапогах, согнувшись под увесистой ношей, в сползающем назад платке…

Ночевала я в уездкоме комсомола на диване с повизгивающими пружинами — ну и спалось на нем! — а утром чуть свет побежала к берегу Свири искать учреждение под названием Утрамот. Думала, увижу речку вроде Лососинки, скачущую по камням в теснине, а вышла на берег — и дух перехватило от неожиданной красоты: лежит широкая белая лента, кое-где вспученная торосами, по ее глади чуть скользят первые розовые лучи солнца, а торосы принимают их грудью, они ярко и холодно розовы; поперек реки, чуть вихляя в обход торосов, пролегла потемневшая санная дорога, по ней с того берега на этот шагом плетется белая, с одного бока тоже подкрашенная розовым лошаденка, вытягивая нагруженные желто-розовыми дровами сани. А над всем этим небо — такое высокое, нежное, полное торжествующего света, какое дано видеть только тем, кто встает на рассвете.

Размягченная прелестью утра, я в самом добром настроении вошла в неказистое помещение Утрамота, но через несколько минут, внутренне холодея от страха, уже заставляла себя кричать

и размахивать мандатом и ордерами; сонный дядька с подвязанной щекой, шепелявя от зубной боли, уверял, что лошадей на Олонец нет и сегодня не будет, люди постарше и поважнее ждут, если все лошади в разгоне. Не знаю, как точно расшифровать название этой конторы, — Уездный транспортный… отдел, а вот для чего затесалась между ними буква «м»? От слова «мобилизация»? Во всяком случае, по ордерам Утрамота все владельцы лошадей были обязаны в порядке очередности перевозить пассажиров и грузы. Обязанность, раздражавшая крестьян, называлась трудгужповинность; естественно, хозяева лошадей всячески уклонялись от нее, находили разные предлоги, чтобы не ехать, а пассажиров не баловали, особенно таких неимущих пигалиц, как я.

— Ты не шуми, — держась за щеку, говорил сонный дядька, — завтра, может, и отправлю, а сегодня нету. Ну нету, можешь ты понять?

— Сегодня нету, — подтверждал маленький мужичонка с кнутом, гревший руки у печурки-«буржуйки».

— Походи поспрашивай по дворам, может, кто частным образом повезет, — советовал сонный.

— Может, и повезут, — подтверждал мужичонка.

Частным образом подряжать возчика мне было не на что.

Сонный насыпал в кружку сушеную травку и заварил ее кипятком из булькавшего на «буржуйке» чайника, еще раз сказал, что «сегодня навряд кто поедет», и понес кружку в другую комнату.

— Дай настояться, — посоветовал мужичонка с кнутом.

— Терпежу нет…

Я подошла к печке и тоже вытянула над нею руки, утро было холодное, а перчаток у меня и в помине не было.

— Тебе и переждать негде? — спросил мужичонка.

— Негде.

— Плохо дело. — Он помолчал. — Я свою повинность выполнил. Не обязан.

За дверью слышалось гуль-гуль-гуль — это сонный дядька полоскал больные зубы заваркой.

— А зачем тебе в Олонец?

— В командировку.

— И все-то теперь в командировки да в командировки. Вот уж и дети ездют…

За дверью все слышалось — гуль-гуль-гуль…

— Два ордера дашь?

От неожиданности я растерялась, не ответила. Ордера у меня

были, думать об обратном пути еще рано… но зачем ему два ордера?

Гульгульканье за дверью прекратилось.

— Два ордера, — повторил он и встал, — и с богом — поедем. Твое счастье — олонецкий я.

Он взял у меня ордера, велел выходить во двор; я видела, что один ордер он сунул за пазуху, а со вторым пошел навстречу сонному дядьке. Дядька должен был поставить дату и печать.

Поехали через час — возница, видимо, ждал, не подвернется ли более выгодный пассажир.

Мысли о том, зачем ему два ордера, занимали меня только до тех пор, пока мы не тронулись со двора, но, когда сани, удерживаемые осторожно упирающейся лошадкой, съехали по обледенелому, наезженному спуску на реку, на снежную дорогу, радость езды все оттеснила. Сколько поездок было в жизни, какими только средствами передвижения я не пользовалась — от автомобиля до оленьей упряжки, — все-таки нет ничего более милого, трогающего душу, чем добрая лошадка, легкие сани на скользящих полозьях да хорошо укатанная потряхивающая дорога среди снежных отвалов, и белая ширь реки или поля, и подступающий к дороге лес, и морозная дымка, в которую дорога бежит, бежит — добежать не может. Поскрипывает снег под полозьями, шуршит сено, поцокивают копыта, морозец, заигрывая, веселит лицо, прижмуриваешься от белизны снега, от бликов солнца на снегу, от мелькания стволов вдоль дороги — и так это сладко и покойно, что ехала бы и ехала, никуда и приезжать не надо!..

И мы ехали, ехали, ехали. И уже хотелось доехать хоть куда-нибудь, потому что заморил голод, закоченели ноги, сколько ни запихивай их в сено — не помогает. Лесное очарование давно кончилось, мы проезжали одну деревеньку за другой, все они были похожи, как близнецы, — крепкие срубы из толстенных потемневших бревен вытянулись в негустой ряд и смотрят на улицу двумя, тремя, а то и четырьмя окнами, у каждого сруба к жилью прирос крытый двор — часто в два-три раза больше жилого дома, я уже знаю — там и корова, и лошадь, и куры, там и сено хранится, и упряжь, и всякий крестьянский скарб… а через дорогу, у самой речки (в Карелии все деревни вытянуты вдоль речек или по берегу озера), обязательно стоит покосившаяся — будто с шапкой набекрень — банька с предбанником, куда можно войти в дверной проем без двери, дверь почему-то не навешивают, любят распаренными выскочить на ветер, на речную или озерную свежесть, отдышаться — и опять в жаркую баню, на полок, да березовым веником до полной истомы. Силу такой бани

я вскоре узнала, но об этом поздней.

Неторопливая жизнь текла в деревнях. Редко попадутся встречные сани — не спеша трусит лошадка, хозяин бережет ее, не погоняет, сидит, посасывает трубочку, а то шагает рядом, чтоб лошади легче было. И пешеходы идут степенно, поскрипывая подшитыми валенками. Увидав нас, каждый обязательно поклонится и скажет:

— Терве!

— Терве (здравствуйте)! — торопливо отвечаю я, мне мил этот карельский душевный обычай — приветствовать путника, кто бы он ни был. Теперь я сама, завидев встречного, спешу сказать ему: «Терве!» — и ловлю ответ, и вижу, что моему вознице это нравится, он все чаще оглядывается, видит мое зазябшее лицо, участливо говорит:

— Замерзла? Скоро остановимся. На обед.

На обед!.. Мамины котлеты и пайку хлеба я съела вчера вечером и остаток утром. В кармане у меня около ста тысяч — что на них купишь, одно яйцо или бутылку молока?.. Но попасть в теплую избу хоть на полчасика — уже приятно, и чаю, наверно, дадут, у меня есть пакетик сахарина.

Мы все ехали и ехали похожими одна на другую деревнями и наконец въехали еще в одну деревню, где у большой избы стояло несколько саней с понурыми лошадьми. Подъехали к ним и остановились. Проезжая изба — именно тут меняют лошадей. В старину это называлось на перекладных. Так ездил Пушкин… Мне повезло — мой мужичонка был олонецкий, возвращался домой, мне не нужно было добиваться новой лошади. Но понадобился еще один ордер.

— А как же ты думала? Мне расчета нет даром возить.

Я не посмела напомнить про тот ордер, что лежал у него за пазухой. Теперь уж возвращаться из Олонца решительно не на что. Но когда-то еще оно будет, возвращение!

В избе было жарко натоплено, накурено. На столе посвистывал самовар. Двое мужчин, расстегнув тулупы, пили чай с шаньгами. Третий, сутулый и нахохленный, в одной рубахе, сидел за другим концом стола и медленно, шевеля губами, писал в потрепанной книге, сверяясь с лежащей рядом бумажкой, — я поняла, что это хозяин и уполномоченный Утрамота.

— Терве, — сказала я всем.

— Терве, — ответили мне три голоса.

Затем все трое заговорили по-карельски с моим возницей, не обращая на меня внимания. Мой возница тоже расстегнул тулуп, подсел поближе к самовару, налил себе чаю, положил перед собой изрядных размеров пакет, завернутый в тряпицу,

развернул, достал хлеб, сало и крутые яйца, а в пакете еще что-то оставалось. Ел он неторопливо, с удовольствием, перебрасываясь с другими мужчинами карельскими фразами, — скажет и жует, кто-то из собеседников тоже что-то скажет и продолжает жевать, все помолчат, работая челюстями, потом опять один из четверых что-нибудь скажет…

Если бы в избе была хозяйка, я бы решилась вступить с нею в переговоры, но хозяйки не было, только слышался из другой комнаты негромкий женский голос, выпевавший две низкие ноты и одну звонкую — а-а-ай, а-а-ай! — и еле слышное поскрипывание: хозяйка укачивала в зыбке ребенка.

Я села на лавке у окна и смотрела, как лошади, засунув морды в мешки, истово жуют овес или сено, не знаю уж, чем их кормили. Мне хотелось плакать, если б я не отвернулась от жующих, заплакала бы.

А мужчины все ели и неспешно говорили между собою по-карельски.

— Э-эх, командированная! — вдруг по-русски воскликнул мой возница и что-то добавил по-карельски, все засмеялись, но тотчас зазвякала посуда, забулькала вода из самоварного краника. — Садись чай пить, командированная! — позвал мой возница. — Садись, садись, согрейся.

Мне уже было все равно, пусть смеются и лопочут по-своему. Я села к столу и обняла холодными ладонями горячую кружку. Чай — это уже что-то, заполнит желудок. К тому же сладкий.

Вытянув из кармана пакетик сахарина, я кинула в кружку кристаллик и протянула соседям по чаепитию:

— Пожалуйста, берите.

Из деликатности поотказывавшись, все взяли по кристаллику — кончиком ложки, остерегаясь просыпать.

Сидели, пили чай. Хозяин дописал, захлопнул книгу, поразглядывал меня, вздохнул и вдруг встал, повозился у печки — и поставил передо мною тарелку с печенной в углях картошкой.

— Угощайтесь, — сказал он. — Вот только соли нет, извините. С солью теперь…

— Спасибо, но…

— Угощайтесь! — прикрикнул хозяин. — Своя, непокупная.

И сразу будто добрый ветерок разгладил лица. Мой возница, смущенно улыбаясь, придвинул ко мне крутое яйцо и кусок хлеба. Один из незнакомых, подмигнув, подтолкнул ко мне шаньгу, другой бережно подал на бумажке несколько крупинок грубой, синеватой соли.

И никто из них не говорил больше по-карельски — теперь их

разговор шел еще медленнее, но, не обращаясь ко мне, они все же будто включили меня в него. И я узнала, что скоро, надо думать, вскроется Свирь, недели через две, пожалуй, переезд закроют, что — верный человек рассказывал — обещают отменить трудгужповинность — хорошо бы!..

Картошка была еще теплой и упоительно вкусной. Из прочего я съела только яйцо — не удержалась от соблазна; после трофейного яичного порошка, из которого мы в Мурманске делали невкусные плоские яичницы, я могла только поглядывать на горки яиц, пробегая через петрозаводский рынок.

— Что ж, барышня, до вечера надо доехать, собирайся.

«Барышню» я пропустила мимо ушей. Покраснев, поблагодарила хозяина и протянула ему пакетик сахарина. Хозяин неодобрительно покачал головой, отсыпал из пакетика в рюмку совсем немного кристалликов, остальное вернул мне и пожелал счастливого пути.

И снова мы ехали, ехали, ехали.

После сытной еды клонило ко сну. Сквозь дрему вспоминался Палька на нижней ступеньке вагона, глядящий на меня такими веселыми, яркими глазами, и как он закричал сквозь перестук колес: «До встречи!» — и соскочил и еще бежал рядом с поездом, чтоб удержать равновесие… Потом вспомнилось мамино лицо, когда я решилась сказать ей, что меня посылают на несколько недель (или месяцев, кто знает!) в Олонец… Я совсем не боялась мамы, это она немного робела перед нашей комсомольской независимостью и советовалась с нами, искала у нас объяснения всему, что было ей непонятно; с тех пор как Тамара уехала учиться, авторитетом по всем вопросам современности стала я, мы жили согласно, как две подружки… но сказать ей, что я надолго покину ее? Как ни странно, мама совсем не расстроилась, только лицо у нее стало задумчивое-задумчивое. «Что ж, еще одна ступенька, — сказала она. — Но учиться тебя отпустят?» Что она имела в виду? Ступеньки жизненного опыта? Наивная, а вот ведь поняла…

Я очнулась оттого, что мой возница, придержав лошадь, с кем-то оживленно говорит по-карельски. Открыла глаза — мы в большой деревне, а говорит он со встречным возчиком.

— Где мы? — спросила я, когда мы снова тронулись в путь.

— Да уж Олонец.

— Приехали?!

— Да нет. Еще выспишься.

И снова мы ехали, ехали похожими деревнями, мимо домов с крытыми дворами, мимо банек, вдоль речки… И все это Олонец, хотя еще можно выспаться?

— Терве!

— Терве!

Палька Соколов тоже карел. И Илька Трифонов карел. Но Илька родился и вырос в Петрозаводске, а Палька где-то здесь, недалеко от Олонца, и когда он приезжает сюда, он, наверно, не ходит, похлопывая стеком и никого не замечая, а уважительно кланяется встречным: «Терве!..» И ему отвечают: «Терве!»

— Ну куда рвешься, дура, куда? — закричал мой возница, натягивая поводья, и продолжал по-карельски, видимо ругаясь, я различила в его крике «са́тана-пе́ркеле» — ругательства, мне уже известные.

Бранил он свою лошадь, между ними с обеда шло единоборство: он берег ее силы — пусть плетется шагом, а лошадь почуяла близость дома и, чуть он ослабит вожжи, чешет вовсю.

— Подъезжаем?

— Да нет, спи покуда.

И все-таки мы доехали до Олонца засветло, в уездкоме комсомола еще сидели ребята, только, как выяснилось, никто меня не ждал, что со мною делать — не знали, куда поселить — тоже. Я не стала им показывать командировку, где было написано «для укрепления работы»: неужели Макаров не понимал, подписывая, что ставит меня в глупое положение и обижает олонецких ребят?!

Но олонецкие ребята сами сказали, что мой приезд кстати, так как многие активисты ушли в армию или поехали учиться. Они охотно рассказывали мне, что и как у них делается, и каков уезд, и где какие организации. Мне было интересно, но голоса их время от времени отдалялись, а меня покачивало, будто я все еще еду, еду, еду…

— Человек два дня в дороге, это ж понимать надо! — дошел до меня девичий голос. — Что, завтра не наговоритесь?

Девушка была пухленькая, круглолицая и на диво краснощекая, такого победного румянца я и не видывала. Техсекретарь Нюра — так мне ее представили. И к ней меня определили на первый ночлег, посулив завтра через Совет что-нибудь устроить.

Когда мы с нею быстрым шагом по морозцу шли «за реку», где она жила, Нюра, обрадовавшись «столичной» гостье, вдруг зажеманничала, стараясь показать, что и в Олонце знают обхождение. Жеманничала она и дома. Дом был самый обычный, деревенский, с таким же крытым двором, с палисадником, где сгибались под отяжелевшим снегом кусты, с огородом, где торчало позабытое с осени пугало. Мать Нюры приняла меня без

расспросов, усадила, вытерев табурет передником, велела дочери (называя ее Нюшкой) ставить самовар, а сама вооружилась ухватом и достала из печи упревшую, зарумяненную сверху кашу. Меня заставили поесть каши и напоили чаем, я уже давно не бывала так сыта, как в этот долгий день, от усталости и от сытости глаза слипались.

— Ложи ее спать, видишь, сморилась, — сказала мать. — Может, ты со мной ляжешь, чтоб не мешать?

— Ну да, — буркнула Нюра, — мы вместе.

Она увела меня в боковушку, где стояла кровать под белым покрывалом и с горкой подушек — не меньшей, чем у сторожихи в Кондопоге.

— И зачем вам квартиру искать? — сказала Нюра, расправляя ватное одеяло и сильными кулаками взбивая подушки. — Ничего хорошего вам в Совете дать не могут. Живите у нас, веселее будет.

В комнатке было жарко, я предложила открыть форточку, но Нюра охнула — что вы, на ночь выстуживать! Легли мы под ватное одеяло, от Нюриного здорового тела веяло душным теплом, я пристроилась на самый краешек кровати и потихоньку приподнимала одеяло, чтобы не задохнуться. Кажется, я уже вплывала в первый сон, когда Нюра зашептала над ухом:

— Зовут меня в Петрозаводск, совсем уж собралась, да война, а потом ребята не отпускали, без меня у них сразу беспорядок и путаница. Хочется, конечно, съездить, много наших олонецких в Петрозаводск перебралось.

Сон как рукой сняло.

— Соколов тоже, кажется, олонецкий?

Нюра подтвердила и стала меня расспрашивать о нем, как живет там, не ухаживает ли за кем, хорошо ли я его знаю, дружу ли с ним… Я говорила о Пальке как можно равнодушней, как об одном из многочисленных друзей, — вряд ли это получилось убедительно, так как мы обе никак не могли покончить с разговором о нем. В расспросах Нюры чувствовалась некоторая тревога. Что она, влюблена в него?..

— Мы ведь с ним помолвлены, — вдруг сказала Нюра.

Оттого, что она употребила стародавнее для нас слово, сказанное ею было еще страшней и нелепей. Будто о ком-то другом, не о Пальке. Палька помолвлен?! «У меня ведь там невеста», — прозвучал его голос из душной тьмы. У м е н я в е д ь т а м н е в е с т а! У м е н я н е в е с т а! Н е в е с т а!..

Почему я не поверила, когда он сам сказал?..

— Меня тут еще двое сватают… — Нюра опять употребила непривычное, устарелое слово. — Но Палька все-таки

интересный, правда? Да и обещалась.

— Характер у него трудный, кажется.

— Да уж, характерный, — игриво засмеялась Нюра, вероятно вспомнив какой-то случай из их отношений. — Мама говорит: выйдешь, так держи в руках с первого дня.

— Ну как это — держать? В любви должна быть полная свобода, взаимопонимание, дружба и… — В общем, я стала выкладывать ей все, что теоретически надумала и исповедовала.

— Ты видала его перед отъездом? — Нюра вернула меня с теоретических высот на землю. — Не говорил он, собирается сюда?

— Не помню, — солгала я.

Что бы ни было, Голиковка принадлежала мне — и только мне.

— Писал, что собирается, так ведь и ему отпрашиваться надо.

Так мы лежали рядом в темноте, две девушки, две соперницы, счастливая (она?!) и несчастная (я!). Впрочем, ее счастье не производило впечатления прочного, в нем сквозила плохо скрываемая неуверенность.

— Может, и выйду за него, не решила еще…

Я все же заснула в ту ночь, но заснула с разбитым сердцем.

САМА СЕБЕ ГОЛОВА

Новая ступенька?.. Да, такого со мной еще не было — без жилья, без еды, одна-одинешенька, с ноющей душевной раной, о которой никто не должен догадаться, в незнакомом городке, похожем на большое село, вокруг незнакомые люди со своим житейским укладом и обычаями, большинство из них говорит на непонятном языке, так что я могу только приветствовать их — терве! — или, на худой конец, ругнуться, помянув сразу и черта и дьявола. У меня нелепо детский вид («Теперь уж и дети ездют!»), на мне нелепо топорщится неказистое пальто, под которое мама приметала на зиму ватную стеганку, а при ходьбе стучат-поскрипывают подбитые перед отъездом миллионные подметки на потертых мальчиковых… Все бы ничего, но мне нужно не просто прожить несколько месяцев в незнакомом городке с незнакомыми людьми, но и стать им полезной, каким-то чудом «укрепить» и «усилить» работу с молодежью, значит, прежде всего подружиться с товарищами (а они могли обидеться на бестактную формулировку Макарова!) и вместе с ними додуматься до каких-то значительных дел, до которых они без меня не додумались… Но что я-то могу надумать, когда никого и ничего не знаю ни в городе, ни в уезде?!

Одно я знала твердо — ни за что не останусь жить у Нюры. А Нюра, видимо, считала вопрос решенным, поторопилась зачислить меня в подружки и, собирая на стол, жеманно выспрашивала, что я люблю на завтрак, и какая теперь мода в Петрозаводске, и нет ли у меня рисунков для вышивки гладью, она как раз скроила шесть новых сорочек…

Вероятно, я слишком категорично отказалась от приглашения поселиться у них, получилось невежливо, но притворяться я никогда не умела. А тут и подавно не могла.

В уездкоме меня ждали и, видимо, уже успели обговорить, что со мною делать, потому что сразу предложили мне принять организационно-инструкторский отдел. Я обрадовалась — дело ясное и для укрепления комсомольской работы первостепенное. Обиды у ребят как будто не было.

Кроме вчерашних, тут был еще один член уездкома — высокий, тонкий, глаза светлые до прозрачности, белесые волосы завиваются колечками, что у северян бывает редко. Он говорил мало, только чуть улыбался, что получалось очень симпатично. И он был умен, в этом нельзя было ошибиться, хотя первый его вопрос, обращенный ко мне, носил сугубо бытовой характер:

— Ты обменяла карточки на олонецкие?

— Гоша Терентьев, — представили мне его, — наш продовольственный бог. Уездный продкомиссар.

— Карточки сегодня же обменяем, — сказал Гоша. — А с жильем как? У Нюры?

Преодолевая неловкость, я пробормотала, что хочу жить самостоятельно, потому что… потому что немного пишу и как раз вечером, одна, люблю без помех… и в «Трудовую молодежь» обещала писать…

Придумав объяснение с лету, чтобы не обижать Нюру и как-то убедить товарищей, я с некоторым удивлением поняла, что сказала правду. Да, хочется остаться одной, вытащить из чемоданчика толстую тетрадь, подаренную Илькой в Питере, и писать… верней, записать то, что я мысленно складывала еще в санях, сквозь путевую дрему. О парнях из артели плотников — такие они все разные, а в чем-то одинаковые, — и бородатый дядечка с ними за старшого, отношения в артели патриархальные, по старинке, а впереди крутая ломка; понимают ли они ее близость?.. И о возчиках в проезжей избе, как они жевали каждый свое и смеялись над девчонкой-командированной, у которой и поесть нечего… И особенно о тех минутах, когда один из них вдруг устыдился и поставил передо мной тарелку печеной картошки, а у остальных трех угрюмые лица будто разгладились…

— Что ж, поехали в Совет, — сказал Гоша.

И не в шутку сказал, мы действительно поехали: возле уездкома стояла двухместная бричка на больших колесах, Гоша подсадил меня, вскочил сам, собрал в кулаке вожжи, причмокнул — рыженькая лошаденка с полной охотой побежала по привычной дороге. На солнце снег уже вовсю таял, кое-где обнажая раскисшую от влаги, дымящуюся землю. Нам навстречу попались сани, они скрежетали полозьями по земле, а колеса нашей брички победно крутились, разбрызгивая мокрый снег… Весна!

Обменяв карточки, мы зашли к пожилому дядьке с неряшливой седеющей щетиной на подбородке и щеках. В комнате было тепло, но он почему-то сидел в меховой шапке-финке.

— Терве, — сказала я.

— Ишь ты, — улыбнулся он. — Ну, терве, так терве! Приезжая?

Гоша Терентьев объяснил, кто я такая и что мне нужно.

— Это хужей, — сказал дядька, снял шапку и почесал пегие от седины, слежавшиеся волосы.

Я успела заметить, что часть головы у него была недавно выбрита там, где над ухом запекся багровый шрам. Волосы только начали отрастать, оттого он и сидит в шапке, стесняется.

— А у Нюшки нельзя?

Гоша опять объяснил, почему приезжему товарищу хочется жить самостоятельно. При этом он сказал:

— Она журналистка, печатается в петрозаводских газетах.

Я густо покраснела.

— Мудреную задачу ты мне задал…

Дядька встал и пошел к шкафу, сильно припадая на одну ногу. Когда он достал нужную папку и поковылял обратно, я увидела, что ему больно ступать, и почувствовала себя гнусной самозванкой — тоже мне, «журналистка»!

Усевшись за стол, он сразу вытянул раненую ногу, под столом у него оказалась специальная подставка.

— Так… Тут одни мужики — не подходит. У Федоровых хорошо бы, но уж больно далеко ходить. Здесь ребятни много… Ага, вот это подойдет.

Выписывая ордер, он объяснил, что владелица дома живет вдвоем с племянником, излишки жилплощади у нее немалые, но пока к ней никого не вселяли, уж очень она ругалась и ревела в три ручья, что мужчину в доме не перенесет.

— Старая дева, понимаешь? Духу нашего не приемлет.

— Ну пойдем, — сказал Гоша, когда я получила ордер.

— А ты что, не мужчина? Пусть одна идет.

Старая дева жила в нескольких минутах ходьбы от уездкома. Дом был такой же, как большинство домов в Олонце, — на высоком фундаменте, с крытым двором, с пристроенными застекленными сенями, с огородом позади дома и палисадничком впереди. Три окна в голубых наличниках сулили уютную домашность.

Не успела я переступить порог и разглядеть двинувшуюся навстречу хозяйку, как на меня обрушился такой поток истерической брани, что первым моим побуждением было бежать без оглядки и со всею прытью. Но ордер получен именно сюда, возвращаться в Совет и беспокоить раненого человека такой чепухой…

— Я не виновата, что ордер выдан к вам, — как можно резче

сказала я, — зачем вы кричите на меня? Если площади у вас нет, идите в Совет. Если есть, покажите, я спешу на работу. А к вам все равно кого-нибудь вселят.

Идти в Совет она не захотела. Мы прошли через кухню в большую комнату, называвшуюся залой, оттуда вела дверь в комнату поменьше, где спали хозяйка и ее племянник, тихий, вероятно, затурканный своей теткой мальчуган. На вид ему было не больше двенадцати, он украдкой мне улыбнулся.

Хозяйка была прямая как жердь и сморщенная, но обладала недюжинной физической силой: не давая мне помочь, сама отодвинула на метр от стены массивный пузатый комод и сказала, что тут, за комодом, я могу поставить свою кровать (!). Затем она предупредила, что мебель из залы ей вынести некуда, так что я должна жить аккуратно, ничего не царапать, не пачкать и боже меня упаси ставить на стол еду!.. Что кухней пользоваться я не имею права, в ордер кухня не входит и не может входить, так что на домашние обеды и чаи лучше не рассчитывать… Что она ложится спать в десять часов вечера и я должна приходить до десяти, поздней она не откроет, сколько ни стучи.

— Хорошо, — сказала я, поставила чемоданчик за комод и пошла в уездком.

Из гордости я не рассказала о том, как меня приняла хозяйка, только сообщила адрес. Но в этом маленьком, мещанском городке все обо всех знали:

— А-а, у старой девы!

И тут же добавили, что она, конечно, старая, но все же, кажется, не дева, в свое время она загадочно исчезла из Олонца на целый год, а потом вернулась с младенцем, якобы сироткой, оставшимся после смерти ее сестры, хотя до тех пор никто не слыхал о существовании сестры. Племянника она обожает, что не мешает ей пилить беднягу скрипучим голосом. И вообще у нее характер не ах какой.

— Похоже, что не ах.

Первую ночь я спала за комодом на полу, постелив на газеты пальто. По-солдатски: «Шинель под собой, шинель под головой и шинелью прикрылся». — «А сколько у тебя шинелей?» — «Да одна!» На второй день милейшая женщина, работавшая в уездкоме уборщицей, дала мне сенник и подушку, я принесла их домой и жестким голосом сказала хозяйке, что мне нужно набить сенник, — я уже видела, что в углу крытого двора целая гора сена.

— А чем я козу кормить буду? Сама покупаю! Осенью десять миллионов заплатила! И вообще — как вы думаете, обязана я за вами убирать? Вот вы с улицы пришли, наследили, я каждый день

залу суконкой протираю…

Еще более жестким голосом я сказала, что сено возьму, а ей заплачу с получки четыре миллиона — и за сено и за уборку.

— Давайте сенник, набью, — сказала хозяйка.

Скупо она его набила, жидковато. Но больше всего меня злило, что среди домашней рухляди у нее пылятся две кровати, а сама она спит на трех тюфяках. Впрочем, на полу мне спалось, наверно, слаще, чем этой стерве.

Ни ее фамилии, ни имени и отчества я не запомнила. Стерва и стерва — так оно и точней.

Вечерами, вынужденно рано приходя домой, я вытаскивала тетрадь и садилась к столу, подстелив во избежание попреков газету. Но керосиновую лампу хозяйка уносила ровно в десять. Мне удалось достать свечу. При ее мерцающем свете хорошо думалось. Из всего, что я видела и поняла за последние дни, все отчетливей выступали те плотники, поехавшие на Волховстрой. Как они там? Останутся ли такой же крестьянской артелью на сезонных заработках? Или на большом строительстве каждый определится по-своему, найдет себе профессию по душе?.. Как в Мурманске — поступали молодые ребята чернорабочими на железную дорогу, а потом присматривались, учились, некоторые стали кочегарами и помощниками машинистов, другие уходили в порт и даже на корабли.

Хозяйка прошла мимо, потом постояла в дверях, ушла, снова появилась…

— Вы долго еще сидеть намерены?

— А что?

Оказывается, боится, что я подожгу дом.

Так она и ходила взад и вперед, вздыхала и бурчала себе под нос, пока я не задула свечу, поняв, что все равно толку не будет.

Заснуть в такую рань было трудно. Лежа в темноте за пузатым комодом, я думала все о том же: как ее «поднять, укрепить и усилить», комсомольскую работу в таком маленьком мещанском городке, где комсомольцы по одному, по двое служат в разных уездных учреждениях, а в небольшом клубе только и делают, что устраивают танцы — и в помощь Поволжью и просто так! Думала-думала, ничего не придумывалось. Так и заснула.

В клубе висела пожелтевшая комсомольская стенгазета полугодичной давности. Обрадовавшись «журналистке», меня немедленно выбрали редактором. Первый и единственный номер газеты, выпущенный мною, неожиданно — и не по моей заслуге — послужил толчком для большого, доброго дела.

Пришла комсомолка, работавшая в собесе, и пожаловалась, что родители одного из погибших в 1919 году бедствуют, дом

требует ремонта, дрова на исходе, а в собесе нет средств.

Кто-то из нас сказал: а комсомольцы помочь не могут?

Так оно и началось. Те самые ребята, которые только и знали что ходить на танцы, без уговоров меньше чем за неделю починили у стариков протекавшую крышу и проконопатили все щели; девушки навели в доме чистоту, перестирали белье; другие парни привезли из лесу дров, накололи, сложили поленницу…

Помним ли мы о семьях тех, кто погиб в борьбе? — с таким заголовком почти во весь лист вышла наша стенгазета.

Почему я считала, что городок мещанский? Да, промышленности в Олонце не было, отдаленность от железной дороги сказывалась, но революция дошла и сюда, борьба велась и здесь, а в 1919-м, когда белофинны вторглись в Карелию и через Видлицу — Олонец — Лодейное Поле рвались к Петрограду, Олонец выставил целый отряд бойцов, бойцы не имели воинского опыта, но бились самоотверженно, а белофиннам помогала только горсточка бывших купцов и чиновников, но и те не стремились в бой, а предпочитали выслеживать большевиков и советских активистов. В центре Олонца, над берегом реки, покрытая еловыми лапами и кумачовыми лентами, напоминала о белофинском терроре братская могила замученных, расстрелянных, павших в бою…

К братской могиле вела расчищенная от снега дорожка, еловые лапы были зелены — их обновляли. Но разве не менее важно позаботиться о семьях погибших? Хоть в чем-то заменить руки кормильца? Комсомольцы Олонца приняли заботу на себя.

Старики. Те, с которых все началось… Торопливые записи, сделанные при свече, давно потерялись, но в памяти будто резцом выгравированы их лица, обычные карельские лица — черты мягкие, но подсушенные старостью и непроходящей болью. Помню сбивчивые рассказы — то о гибели сына, то о детстве; я не все поняла, русские слова перемежались карельскими. Помню дрожание узловатых, много поработавших рук, перебиравших старые фотографии. Как они торопились, эти старики, обо всем рассказать, все припомнить и внушить чужой девушке, заглянувшей к ним, какой хороший был у них сын, работящий, сильный, уважительный!

— Посмотрите, последняя. Красивый, правда?

— Очень красивый. Совсем еще мальчик.

— Двадцать лет… Погодки они с Филиппом.

— С Филиппом? Егоровым?

Я уже знала — олонецким коммунистическим отрядом командовал Филипп Егоров. Уездный военком. Значит, и тому

было всего двадцать?

— А вот его девушка. Мы и не знали, уж после карточку нашли.

Старики заплакали, и я всплакнула вместе с ними. Был человек, счастливый, влюбленный, был — и нету…

— Спасибо, девушка. Приходи еще. Спасибо.

До самых ворот они благодарили, звали приходить и снова благодарили.

И еще запомнилась вдова расстрелянного коммуниста. Вероятно, она была молода, но волосы стали седые, и лицо подергивалось нервным тиком.

— Из Мегреги мы. Когда бандиты налетели, муж пошел воевать, а мне велел с детьми к свекрови, в Олонец. Думал, там не доберутся. Да и Мегрега сколько раз переходила из рук в руки!..

Мегрега. То самое село, где мой возница останавливался на обед.

— Но и в Олонце до меня добрались. Посадили. «Где муж?» А я не знала где, да и знала бы, разве сказала б!.. Били — как жива осталась! А еще хуже — врали. Что свекровь померла, а дети одни… что заболели дети и от голода пухнут… «Где муж?!» Что помер сынишка, а дочка кончается… Так у них складно выходило, как не поверить?.. Потом: «Твой муж расстрелян, чего ты за него маешься!» Не коммунистка я и ничего в коммунизме не понимаю, но сапоги им лизать… нет уж! «Расстреляем все равно!» — «Стреляйте!» А когда погнали их, уж так они побежали, что о нас, о заложниках, забыли. Выпустили меня наши, а я мимо них да бегом, сумасшедшая совсем, одна мысль: что дети?! Прибежала — свекровь, правда, чуть жива, через месяц умерла, а дети ко мне с криком: мама! Оба живые!..

Она не плакала, глаза у нее были странные, как при высокой температуре, — сухой жар тлел в глубине. А когда я уходила, она тоже сказала: спасибо!

— Вы зайдите в дом, посидите, выслушайте, — советовала я комсомольцам.

— Мы же дело делаем. И чего горе бередить?

— Бередите! Облегчат душу, поплачут. И вы с ними поплачьте.

— Уж ты скажешь!

Но заходили, выслушивали. Иногда, возможно, и плакали.

А мне совсем по-иному виделся теперь и тихий Олонец, и окружающие села, и люди.

В первые же дни я разослала комсомольским организациям письма: просила прислать необходимые сведения, просила

комсомольских секретарей приехать. И они начали приезжать — сперва из ближних сел, потом из дальних. Беседы с такими же секретарями в Петрозаводске, поездка в Кондопогу и недолгий газетный опыт кое-чему научили меня, я еще не умела научить других, но уже знала, о чем спрашивать, что г л а в н о е. Уезд был сельский и лесной, часть молодежи всю зиму работала на лесоповале, а весной на сплаве. Малограмотных и даже неграмотных было очень много. Комсомол усердно занимался ликвидацией неграмотности, безотказно помогали учителя, но наладить занятия с теми, кто в лесу, никак не удавалось — намахаются парни за день, к вечеру не до букваря. В селах и особенно в небольших деревеньках комсомолу приходилось трудно: когда выгнали белофиннов, с ними убежали кулаки и купцы — те, что выдавали и мучили советских людей, но кулачья еще осталось немало; они попритихли и как будто смирились с тем, что комитеты бедноты отрезали у них и роздали беднякам землю. Теперь, при нэпе, кулаки и их подпевалы ожили, обнаглели, дают бедноте в долг, а потом прижимают — не вздохнешь. Норовят привлечь к себе в батраки малолеток, платят меньше, чем взрослым, — «кормлю досыта, и на том скажи спасибо!» — ну и агитацию ведут, разлагают несмышленышей: дескать, что тебе дала Советская власть? — как был беднота, так и остался, держись за меня, все равно к старому повернуло, а я тебя в люди выведу…

В здешних селах тоже нужны были керосин и фитили, парики, грим и всяческая литература, но с нэпом политические и экономические заботы вышли на первый план, надо было выручать молодежь из батрацкой петли, помочь бедноте хозяйственно встать на ноги, объяснять людям, что нэп — это вовсе не «поворот к старому»…

Порядок завели такой: когда приезжал посланец из уезда, я с ним беседовала и записывала нужные для учета сведения, потом мы собирались все вместе, обо всем подробно расспрашивали, советовались и решали, что и как нужно делать. Затем кто-нибудь из работников уездкома должен был поехать в село и на месте помочь сельским комсомольцам.

Один за другим уезжали и возвращались мои товарищи. Даже Гоша Терентьев, уездный продкомиссар, дважды выезжал в село, совмещая дела комсомольские со служебными. А я все сидела сиднем на своем «оргинструкторском» стуле. Волости сплошь карельские, а я не знаю языка…

Обидно было. Так обидно, что хотелось сорваться и уехать. Зачем же меня сюда послали? Ради чего я сплю на полу за комодом, терплю притеснения, с любого собрания в половине

десятого мчусь в этот проклятый домишко с обманно голубыми наличниками?! Один раз я опоздала, только один раз, было десять минут одиннадцатого, когда я постучала, у хозяйки еще горела лампа, но она сразу потушила и не открыла, как я ни дубасила в двери, до шести утра я бродила по улице и сидела на крыльце, а утром эта стерва изволила улыбнуться: «Неужели вы стучали? Я так крепко сплю!»

Лежа в темноте на жестком ложе, я ревела от обиды, от злости и от горького горя, растравляемого тем, что с утра до вечера волей-неволей вижу краснощекую, цветущую, счастливую Нюру… и еще оттого, что к ночи у меня кружилась голова и уже не было сил сопротивляться голодным видениям в этом домишке с закупоренными окнами, где прочно держались запахи щей, жаренной на сале картошки и хлеба… хлеба!..

Мне довелось немало голодать, но вплоть до ни с чем не сравнимого голода в осажденном Ленинграде я никогда и нигде не голодала так страшно, как в Олонце — сытом, благополучном городке, где не голодал никто, кроме меня. Жили тут своим хозяйством, выращивали картошку и овощи, держали коров и коз, почти у всех были родственники в деревне. Скудный паек по карточкам был малоощутимым довеском и высоко ценился только потому, что в пайке давали сахарин или сахар, соль, табак и спички. У меня же не было ничего, кроме пайка, а по карточке я получала на месяц кулек гороха и мешочек муки — не помню, сколько фунтов там было, но месячная норма рук не оттягивала.

Конечно, все устроилось бы иначе, если бы не сытая беспечность окружающих и не моя гордость. Первою и при всех заинтересовалась моим жизнеустройством Нюра:

— Ты где обедаешь, Верочка? У хозяйки?

Я ответила — да, у хозяйки.

Так и повелось. Если мне случалось зайти к кому-нибудь из комсомольцев во время обеда, меня спрашивали: ты обедала? Я говорила — конечно, и упорно отказывалась от угощения, разве что чаю выпью и возьму «попробовать» одну шанежку. Почему? Наверно, потому, что мне было неполных шестнадцать лет.

Сторожиха уездкома пекла мне из муки хлеб — получался небольшой каравай, которого хватало на несколько дней. Она же варила мне гороховую кашу — я уверила ее, что люблю такую кашу больше любых других и буду ею завтракать днем, во время работы. Но гороха хватало всего на несколько «завтраков». Бывало, я по три дня не ела ничего, только пила кипяток с сахарином.

Спасла меня судьба в образе Гоши Терентьева.

Гоша, как и все, поверил, что я столуюсь дома, потому что

олонецкие хозяйки обычно кормили постояльцев. Но однажды на бюро нам с Гошей поручили составить план работы на ближайшие месяцы, Гоша спешил по служебным делам и сказал, что приедет ко мне домой, как только освободится.

Я сидела дома и пыталась вчерне набросать план, когда к воротам с шиком подкатила бричка, известная всему городу. Узнала бричку и хозяйка. Впервые я услыхала ее голос, каким он мог бы быть, если б она не была такой стервой, — приветливый, бархатистый, прямо-таки мурлыкающий. И сама хозяйка преобразилась в этакую добрую курочку, хлопочущую вокруг своей «маленькой жилички».

Мы не написали и трех строк, когда дверь из кухни приоткрылась:

— Верочка, вы сегодня успели пообедать? У меня очень вкусные щи, может быть отведаете?

Она, оказывается, знала, как меня зовут. Верочка!

— Нет, спасибо, — сухо сказала я, — мы заняты.

Как только она исчезла за дверью, Гоша отвел мою руку от бумаги:

— А ну-ка посмотри мне в глаза! Что это значит? Ты же говорила — она тебя кормит?

— Ну и кормит. Она уходила из дому, а я сама… И давай не отвлекаться.

Через некоторое время он извинился и вышел из комнаты. Из-за двух дверей (вероятно, он увел стерву в сени) до меня донеслись два голоса — тихий, но властный, истинно комиссарский голос Гоши и медоточивый хозяйки. Потом Гоша вернулся ко мне — я внутренне охнула: он прямо-таки побелел от гнева.

— Это свинство! Я думал, мы друзья, а ты ни черта не ешь и еще врешь!

Я пробовала рассердиться, но Гоша прикрикнул на меня и спросил тоном, не допускающим возражений, что я делаю с полученными по карточке спичками, солью и табаком. Я презрительно показала на комод — вон они, в полной сохранности. Не курю, а солить нечего.

— Ну и дура!

Как сыщик, прошел он по комнате, заглянул за комод:

— Это что, твоя постель?

— Слушай, Гоша, или мы будем работать, или…

— Или! Или! — передразнил он. — Работать мы будем, но сперва ты поешь, щи у нее что надо.

Хозяйка внесла полную тарелку щей и большой ломоть хлеба. Хлеб она пекла сегодня, он был еще теплым и душистым до

головокружения, к нижней корке припеклось несколько крупинок угля, и это тоже было вкусно.

Назавтра ранним утром к дому снова подкатила бричка продкомиссара. Гоша передал хозяйке мешок картошки и мешок муки. Из дому он их взял или со склада — так я и не узнала, на мой вопрос Гоша ответил:

— Не бойся, не краденые.

Затем он попросил у хозяйки корзину, приказал мне сложить в нее соль, спички и табак, мы сели в бричку и покатили вдоль берега Олонки в одну из тех деревень, что уже Олонец и все же не Олонец. Мы зашли в два-три дома, и Гоша выменял мои богатства… Ну и дура же я была! Чего только нам не дали за них! Яйца, творог, кринку сметаны, домашнее масло, двух петушков…

Когда я внесла всю эту роскошь домой, комода в зале уже не было, а вместо моего сенника стояла начищенная до сияния кровать с тюфяком, простынями и одеялом.

С того дня хозяйка называла меня Верочкой, кормила завтраком и обедом, умудрялась расслышать мой стук, если я возвращалась позже десяти, и не уносила лампу.

Круг теплого света падал на стол, на раскрытую тетрадь. За дверью всхрапывала хозяйка. Я уже не боялась, я холодно презирала ее — теперь больше, чем прежде. Однажды вечером я попробовала написать о ней, вернее — ее: портрет, личность. Но писать было противно, да и кому она нужна, эта корыстная, лживая мещанка? Зато все настойчивей просились на бумагу те четверо, в Мегреге. Я их видела ясней, чем там, в проезжей избе, и все в них было мне как будто чуждо — язык, занятия, обособленность каждого от других. Когда мы, комсомольцы, во время срочной работы или в поездке садились перекусить, все выкладывали свои припасы, кто много, кто мало, кто чем богат, и все складывалось вместе, делилось поровну, никто и представить себе не мог, что можно сесть отдельно со своим свертком!.. А те трое сидели за одним столом и каждый отдельно от других, каждый жевал свое и даже не мыслил, что может быть иначе, и четвертый, хозяин избы, тоже не мыслил такого. Но ведь вот же!.. Значит, могут они быть совсем другими?!

Я писала, рвала, снова писала… и так мне было хорошо в эти тихие часы за столом!

Но именно теперь, когда быт наладился и вечерний труд облегчал душу, именно теперь произошла нежданная перемена.

ВЕСНА

Северная, медлительная, но все же весна. Еще неподвижно белы бесчисленные озера, еще лежат под ледяным панцирем реки, но по откосам, по возвышенностям, на открытых солнцу луговинах снег уже тает, тает, тает, талые воды сбегаются в ручейки, ручейки бегут по всем складкам и низинам в поисках реки, размывают окраинный лед, бьют под него и напирают что есть мочи, течению реки становится тесно под панцирем, оно силится разорвать его — гул и треск разрываемого льда разносятся далеко окрест.

В такой вот день, когда Олонка начала трещать под напором начинающегося половодья, из Петрозаводска приехал Ваня. Не называю фамилию, потому что чувствую себя без вины виноватой перед ним, но ведь известно, что самый сердечный человек бывает жесток с любящим его, если сам любит другого, и все попытки смягчить эту драму умолчанием или прикрыть ширмой дружбы — жестокость вдвойне. Сколько женщин и сколько мужчин вновь и вновь прибегают к этой двойной жестокости — иногда по нерешительности, боясь причинить обиду и горе, иногда по неведению!..

Итак, приехал Ваня, олончанин, последние месяцы живший в Петрозаводске. Где он работал, не помню, но при первой возможности он приходил в редакцию, садился в уголок и смотрел на меня преданными глазами. Теперь он приехал в отпуск.

— Да! — воскликнул Ваня после того, как добрый час просидел против меня. — Соколов шлет всем привет. Просил передать, что на днях приедет.

К счастью, это сообщение он адресовал Нюре — и все, кто был в комнате, тоже посмотрели не на меня, а на Нюру. Красные Нюрины щеки запылали еще ярче.

— А как Свирь? Не закрывают еще? — спросил кто-то.

Ваня сказал, что переезд «доживает последние дни», поэтому он и заторопился, не подождал Соколова. Я спросила: а как же будут добираться в Олонец те, кому необходимо?

— Будут сидеть на берегу и ждать, пока не пройдет лед.

Низко склонившись над губкомовской типовой сводкой, чтобы спрятать лицо и не видеть сияющей Нюры, я старательно вписывала цифры не туда, куда следовало, и мучительно искала решения. Сколько тысяч женщин, девушек и совсем юных девчонок — и до меня и после — вот так же мучились в поисках решения: он, единственно нужный, любит другую, женится на другой… что же делать, господи, господи, господи, что делать?! Пусть бога нет и взывать не к кому, отчаянная мольба все равно летит в пространство, к темным елям, к ручейкам талого снега, к далекому небу — где-то же надо найти решение, а если решения нет, то надо же где-то и как-то найти силу перетерпеть, сдержаться, не выставлять свое отчаяние напоказ и на смех, когда они день за днем будут перед глазами, влюбленные, готовящиеся к свадьбе, и надо будет улыбаться им, может быть, и поздравлять и желать счастья!.. Но пространства не дают советов, и молчат темные ели, о чем-то своем болтают ручейки, ничем не поможет небо — в себе самой, только в себе самой надо разбудить, растрясти во что бы то ни стало гордость и мужество, только они могут помочь.

Они помогли, когда на следующий день он появился — быстроглазый, зеленоглазый, как никогда прекрасный в своем оживлении, и все шумно приветствовали его, и я тоже: «Ну здравствуй, друг!» — и тут же подтолкнула его, подмигивая, к багрово-красной Нюре — иди же поздоровайся, жених!

К счастью, приехали два комсомольца из Видлицы, большого пограничного села, и мне полагалось выслушать их, так что я могла отвернуться и не участвовать в трогательной встрече жениха и невесты. В середине нашей беседы подошел Соколов, сел рядом со мной и начал расспрашивать видличан, тогда присоединились и другие уездкомовцы — как-никак, Соколов не только земляк, но и секретарь губкомола, всем интересно, что он спросит, что посоветует.

Нюра тоже подошла, остановилась за спиною Пальки и движением собственницы положила руку на его плечо.

Ох как мне мешала ее рука!.. Временами отключаясь от важного разговора, я с трудом уловила, что перед нами не руководители, а рядовые ребята, что комсомольцев в Видлице много, а организатора нет с тех самых пор, как ушел в армию какой-то Саша Веледеев, которого все, кроме меня, хорошо знали и, видимо, любили. Палька тоже знал его и любил, расспрашивал, откуда Веледеев пишет, и объяснил, что именно там, в Туркестане, идет борьба с б а с м а ч а м и. Что за басмачи, я не знала, да и не до них мне было. Мало того что Нюра

беззастенчиво опиралась на его плечо, так еще и барабанила по нему, поигрывая пальцами.

Но кончилась и эта мука. А затем наступил момент, когда Палька встал.

— Что ж, пора. Нюра, собирайся.

Пока она прятала в стол бумаги и возилась с чехлом пишущей машинки, Палька спросил, где я живу.

— У меня письмо от Ольги Леонидовны. В чемодане. Я тебе занесу вечерком? Часов в восемь?

Нюра натянула на голову берет и, застегивая пальто, шла к нам. К ее голубым глазам очень шел синий берет, и она это знала. Мне живо представилось, как они будут гулять вдоль реки, а потом Палька скажет: «Да, надо занести Вере письмо, зайдем на минутку»…

— Вечером я занята. Принеси завтра сюда.

— Еще лучше, — быстро взглянув на меня, сказал Палька, — я думал, ты не захочешь ждать до завтра. Нюрочка, пошли!

Он открыл дверь и пропустил Нюру вперед, поддерживая ее под локоть. Ох, не всегда он бывал таким внимательным!

А вечер надо было срочно занять. Чем угодно занять!

— Ваня, — позвала я, — пойдем поглядим, как там Олонка.

Ваня тоже распахнул передо мною дверь и повел под локоток, но Ваниного безропотного обожания мне было мало, я помнила Голиковку, и Палька тоже не мог вот так, как ни в чем не бывало забыть ее, а если сейчас он приехал к Нюре — пусть увидит, что я тоже не одна, и мне весело, и вздыхать по нему я не намерена, он не один на свете, еще посмотрим!.. посмотрим…

Гордость подсказала решение, старое как мир. Ни теории, ни комсомольские принципы тут ничего не меняли, оно родилось само — извечное, от природы, от женского лукавого естества. И я начала торопливо вспоминать, что олонецкие девушки не раз звали меня на гулянья и на танцы, что бойкая Ириша шептала: «Все мальчишки тобой интересуются, мы же все друг дружку знаем, кто с кем и почему, а тут — новая девушка!» — а я отнекивалась, мне никто не был нужен, зато сейчас — пусть интересуются, пойду гулять, танцевать пойду, кокетничать напропалую, пусть видит Палька, что мне и без него… без него… И слезы глотать нечего, вот еще!..

На обоих берегах Олонки в этот вечерний час собралось немало любопытных. Я потянула Ваню туда, где стояла кучка знакомых комсомольцев. Ириша издали манила нас, и я вступила на стезю легкомыслия под грохотание трескающегося льда, а может, это только мне казалось, что уж так он грохочет, может, это во мне что-то рвалось и давало трещины.

Олонка еще не тронулась, но пошевеливалась в предчувствии перемены. Из сизых зигзагообразных трещин выбивалась темная вода, чуть обозначившиеся утром закраины к вечеру расширились и стеклянно блестели, когда проносился порыв ветра, он их рябил, образуя маленькие, но все же волны. А вот закрутить, сорвать снег с места у ветра уже не хватало силенок, снег слишком пропитался водой и погрузнел. Смельчаки, озорничая, сбегали вниз, перепрыгивали через закраины и тотчас, почуяв под ногами зыбкость льда, выбирались на берег. Мне тоже захотелось перепрыгнуть, такое было настроение, но Ваня с мольбой вцепился в мой локоть.

На другом берегу остановились несколько военных без шинелей, без фуражек, видно, вышли на минуту поглядеть, как ведет себя Олонка. Один из них, самый высокий и весь перетянутый ремнями, явно присматривался к нам, потом помахал рукой. Ириша ответила. И вдруг он спустился к воде, не перескочил, а широким шагом перешагнул через закраину и неторопливо пошел прямо к нам, даже не глядя, куда ступают его ноги в узких щегольских сапогах.

— Сумасшедший! — крикнула Ириша.

Лед трещал и прогибался под ним, а он шел и ослепительно улыбался, мне уже видны были два ряда его белых зубов и не менее сверкающие большие глаза. Ветер развевал его кудри, отливающие темным золотом. Бывают же на свете такие красавцы!

— Кто это?

— Кто, кто! Сергей, брат мой, — с трагедийной мрачностью сказала Ириша.

Красуясь под взглядами притихших зрителей, он шел нарочито медленно. Может, его тяжесть послужила толчком, но лед вдруг треснул с громом артиллерийского выстрела, и новая трещина разверзлась прямо перед Сергеем. Он на миг запнулся, ловко перескочил через прибрежную полосу воды, взбежал на наш берег и остановился передо мной, шутливо раскланиваясь:

— В вашу честь, прекрасная незнакомка!

— Дурак, — буркнула Ириша.

Странно распорядилась природа! Они были несомненно похожи, но одинаковые черты были у Ириши расплывчато-широки, с толщинками, с перебором, а у ее брата казались безукоризненно выточенными. И веселость брата подчеркивала излишнюю мрачность Ириши. Чего уж теперь злиться, когда все кончилось благополучно?..

— Цыц! — Сергей ладонью отодвинул сестру, он смотрел на меня, поигрывая глазами, улыбкой и широкими плечами:

покоритель сердец! «Провинциальный покоритель сердец», — мысленно уточнила я, с удовольствием принимая игру и все время помня, что Пальке, конечно, расскажут, как этот красавец — по неверному льду — на глазах у всех — перешел — ради меня!..

Через два дня, в субботу, я впервые пошла с девчонками в клуб и танцевала весь вечер со всеми подряд, чтобы Сергей особенно не воображал, но все же с Сергеем больше, чем с другими, он был настойчив, а ритмичное кружение вальса оказалось так увлекательно, что я забыла об отчаянии, которое меня привело сюда, наслаждалась и танцем, и многозначительной чепухой, нашептываемой Сергеем. Но, когда танцы кончились, все вспомнила и отказалась от того, чтобы Сергей проводил меня до дому («Я уже обещала», — соврала я, уверенная, что Ваня где-нибудь тут), но с мстительной радостью согласилась завтра утром пойти с Сергеем смотреть ледоход. Девчонки уже рассказали мне, что завтра «весь Олонец» соберется у реки, а на мосту будет «прямо-таки выставка». Уж туда-то Палька придет?..

Вани я не нашла. Расстроенный моим неожиданным легкомыслием, он ушел. Никого из наших ребят я тоже не увидела. Скрываясь (с Сергеем идти было жутковато), я выбежала из клуба в полуночную темень короткой апрельской ночи. Чуть не заблудилась в малознакомых улочках. Еле-еле достучалась дома. Но, войдя к себе, не легла в постель, а достала мамин шелковый шарфик, полученный в подарок к будущему дню рождения, и, поколебавшись, отпорола опротивевшую стеганку, чтобы пальто не топорщилось. Будет холодно? Ерунда!

Настало утро печального триумфа. Я промытарила Сергея у ворот минут пятнадцать, чтобы побольше народу это увидело. И на мост я вступила с ним под руку. Сергей шагал победителем, а я — победительницей, для него эта прогулка была демонстрацией неотразимости (захотел — и новая девушка с ним!), а для меня… То жарко, то холодно было мне в моем продувном пальтишке над взбаламученной льдинами рекой, гордясь и мучаясь стыдом, я отмечала, что наше появление вызвало всеобщие толки — провинциальная сенсация! — заметила трагически-мрачное лицо Ириши (чего это она?) и несчастное — Вани… А затем, как немыслимое счастье, прямо перед нами возник Палька Соколов, такой удивленный и раздраженный, что лучшего и желать было нечего.

— Ну здравствуй, Вера, — сказал он.

— Здравствуй. Вы знакомы?

Они неохотно поздоровались, Пальке приходилось

закидывать голову, чтобы смотреть на моего красавца, Сергей был намного выше.

— Где же твоя невеста? — спросила я.

— А ты торопишься меня женить?

— Да нет, мне все равно, это твое дело.

— Вот и я так думаю.

Сегодня, вглядываясь издалека в плохо одетую и очень несчастную девочку на том мосту, я понимаю, что стоило Пальке протянуть руку и сказать: «Какая там невеста, пойдем!» — и девочка рванулась бы к нему от своего ослепительного спутника, и пошла бы — все равно куда, и, быть может, заплакала бы, потому что нервное напряжение последних дней измотало ее. Но Палька не был бы Палькой, если бы поступил так безоглядно просто, а девочка назло ему срывающимся голосом (а ей казалось — веселым и властным) сказала спутнику:

— Пошли, Сережа!

Замысел удался, ледяной ветер пробрал до костей, можно было уходить.

История кончилась неожиданно. На заседании уездкома Соколов обрушился на всех нас за развал комсомольской работы в Видлице: как вы могли допустить, что это произошло в таком селе, которое «определяет лицо всего уезда»?! Говорил он, как всегда, слишком резко, обидно.

— И Веру вы используете неправильно, — под конец заявил он. — Ее прислали к вам для укрепления работы, а вы засадили человека за канцелярский стол, в деревню не пускаете. Почему? В любом селе молодежь говорит по-русски, а ей ведь не со стариками работать — с молодежью! У нее же большой организаторский опыт! Она и кулацких угроз не испугалась!..

В общем, он долго и преувеличенно меня нахваливал, а кончил так:

— Предлагаю на месяц командировать ее в Видлицу для поднятия комсомольской работы.

Года два спустя мы вспомнили с Палькой эту его выходку, и он, ничуть не раскаиваясь, воскликнул:

— Дурак бы я был, если б оставил тебя возле этого красивого болвана! И потом, мне хотелось, чтобы ты получше узнала жизнь.

Ох-ох-ох! Вот с каких пор меня начали учить познанию жизни!..

ПУТЬ В ВИДЛИЦУ

Весна все решительней делала свое дело, так что не понять было, на чем ехать и доберешься ли вообще.

Проселочная дорога до Видлицы сперва вилась по изгибам Олонки, потом от одного села до другого, заворачивая и в небольшие деревни, всего пути считалось семьдесят пять километров. Утрамот разделил эту длину на три отрезка. Говорили, что на первом отрезке не только стаял снег, но и подсушило дорогу, так что ехать надо на колесах, но дальше дорога идет лесом, а в лесах еще полно снегу. Советовали проделать весь путь в один день, советовали ни в коем случае не ехать через лес ночью, убеждали выезжать как можно скорей и уговаривали подождать неделю…

— Проедешь, — сказал Гоша Терентьев.

Он был родом из Видлицы и уже написал матери и сестре, чтобы они меня приютили, кроме того, подогнал свои служебные дела, чтобы проехать со мною хотя бы треть пути.

Выехали мы ранней ранью, по часам еще была ночь, но в конце апреля какие в Карелии ночи! Туман плотным слоем лежал над Олонкой и над оттаявшими полями, мы ехали по пояс в его рассеянной влаге, а поверх тумана скользили солнечные лучи — день обещал быть ясным. Поначалу управлял лошадью Терентьев, потом передал вожжи мне. Дорога успела подсохнуть, кое-где даже пылила, бричка катилась себе и катилась, лошадка сама знала, что ей делать, а Гоша рассказывал, какое большое и красивое село Видлица, сколько там людей, укреплявших Советскую власть и воевавших за нее, «так что тебе будет легко, всегда найдется поддержка». Рассказывал, что сестренка Таня года на два старше меня, а мать очень добрая и будет обо мне заботиться, только по-русски не понимает, но Таня при ней за переводчика.

Затем он пожалел, что я не застану в Видлице Сашу Веледеева, и начал восторженно рассказывать, какой он энергичный, разносторонний парень: учитель и лектор, режиссер и актер, он и комсомол организовал в Видлице, и клуб устроил, и

спектакли ставил — даже классику. А главное — душа человек, молодежь так и крутилась вокруг него.

— А что такое б а с м а ч и? — задала я вопрос, который уже несколько дней томил меня, потому что Палька о них знал, а я нет.

Гоша тоже не знал, но был убежден, что басмачи — такая же контра, как белофинны, но «с тамошними особенностями», После чего снова повернул разговор на Сашу Веледеева — русский паренек родом из Питера, карельского языка не знал, а сумел стать своим для всей олонецкой молодежи!

Я поняла, что Гоша меня подбадривает и учит.

— Главное, ничего не бойся, — заключил Гоша, — желание у молодежи большое, ее организовать надо. Берись посмелей.

Мы плотно позавтракали в селе, где нам предстояло расстаться, Гоша сам позаботился о том, чтобы мне без задержек дали лошадь, и написал с возчиком записку на следующий пункт Утрамота, чтобы и оттуда меня отправили побыстрей, «так как товарищ командирован с важным заданием».

Мне было жаль расставаться с Гошей, он тоже не скрывал, что хотел бы поехать со мною до Видлицы. Между нами не было скованности и неловкости, обычно мешающих дружбе юноши и девушки: Гоша был влюблен в славную комсомолочку и познакомил меня с нею, я призналась, что тоже влюблена «в одного человека», после чего мы открыто симпатизировали друг другу и все крепче дружили. Я не замечала у Гоши ни малейших признаков «болезни», поражающей многих молодых людей, рано попавших на ответственную, руководящую работу, — болезни самоуверенности и зазнайства. Он старался много читать, его мучили пробелы в знаниях, которых всем нам не хватало, меня это тоже начинало мучить. И мы оба любили стихи. Иногда по вечерам, если не хотелось расходиться, мы по очереди читали товарищам любимые стихотворения или, тренируя память, вдвоем вспоминали строки «Медного всадника», первую главу «Евгения Онегина» или «Мцыри» — одну строку Гоша, другую я, пока не собьемся. Если мы обсуждали дела комсомольские, с мнением Гоши считались все — он умел думать «не по верхам, а вглубь». Кроме того, со времени укрощения стервы Гоша меня незаметно опекал. Я подозревала, что в последние дни он кое о чем догадался, а после моего появления на мосту с главным олонецким сердцеедом встревожился. Из деликатности он не вмешивался, только позавчера, узнав, что я «в последний раз» иду на танцы, дружески предупредил:

— Имей в виду — Сергей уже хвастался победой.

— Ну так больше не будет! — запальчиво ответила я.

У меня оставалось два часа — неужели не сумею что-нибудь придумать?..

И я придумала.

В дороге Гоша не вспоминал событий того вечера, вероятно, его больше заботило, как сложится моя жизнь в Видлице. Но, прощаясь, он особенно крепко потряс мою руку:

— А ты молодец. Ты даже сама не знаешь, какой ты молодец. Ну садись и будь жива!

— Будь жив, Гоша!

После изящной брички не очень-то манила громоздкая телега на разболтанных колесах. Гоша проследил, чтобы в нее набросали побольше сена, и, усадив меня, натолкал сена мне за спину, так что можно было полулежать, как на подушке.

Сено пахло летом, детством, качинскими полями.

— Дальше не улежишь, — поглядев на меня через плечо, сказал возница.

— А в лесу на колесах проедем? — полюбопытствовала я.

— В лесу теперь ни на чем не проедешь.

Пугает, наверно?.. Дорога была вполне приличная, телегу мягко потряхивало, я развалилась на сене и с удовольствием вспоминала Гошину похвалу. И события того вечера. Кажется, я действительно была молодцом?..

Времени было мало — всего один вечер, поэтому я без всякой осторожности предупредила Ваню, наших уездкомовцев и всех знакомых девушек, чтоб ни за что не уходили до конца и следили за мною: будет спектакль! А сама начала напропалую кокетничать с Сергеем. Откуда у самых неопытных девчонок берется это дьявольское умение, никто не знает, но Сергей «распушил хвост», как павлин, и, видимо, уверился, что его преждевременная похвальба может стать правдой. Во время прощального вальса он предложил погулять в саду, я сказала: «Посидим над рекой на той, дальней скамейке, хорошо?» — и вручила ему номерок от пальто.

«Та» скамейка, одиноко стоявшая над берегом Олонки в густых зарослях кустов, была местом решающих любовных встреч.

Пока Сергей получал пальто, я разыскала Ваню и приказала ему бежать к той скамейке и ждать меня. Ваня упирался — он был несчастен, сбит с толку, боялся, что я его разыгрываю.

— Говорю тебе — иди и сиди, пока не приду. И скажи всем ребятам — пусть прячутся за кустами, понял?

Сергей вел меня под руку, изогнувшись дугой и нашептывая многократно отрепетированные нежности, а я глуповато смеялась и болтала как можно громче, чтобы он не услыхал, как за кустами по ходу нашего движения, потрескивая ветвями, перешептываясь

и сдавленно хихикая, продирается вереница свидетелей. Последний поворот тропинки — и Сергей увидел на заветной скамье нахохлившуюся фигуру Вани.

— Там кто-то сидит, — разочарованно прошептал он.

Я высвободила руку из его сжимающих пальцев и сказала как можно громче и отчетливей:

— Это ждут меня. Спасибо, что проводили. Спокойной ночи.

За кустами грохнул такой хохот, что Сергей отшатнулся и исчез, а ему вслед свистели и улюлюкали.

Утром меня разбудил стук в окно. Я подбежала, кутаясь в одеяло, — Ириша! Не без робости открыла створку окна.

— Ой, Верочка, спасибо. Спасибо от всех девчонок! — затараторила Ириша и подтянулась, чтобы чмокнуть меня в щеку. — Я ведь тоже в кустах сидела, а потом понеслась домой, он пришел — дверями хлопает, все швыряет, чертыхается, ну прямо помереть со смеху!

— А я думала… все-таки брат…

— Ну так что, что брат? А подруги?! Все мои подруги от него по очереди плакали, думаешь, приятно мне?! Глаза б ему выцарапала, кобелю проклятому! А когда ты приехала, ну, думаю, обожжется наконец, а потом гляжу — и тебя завертел. А ты молодец! Молодец! Сегодня весь город смеется!..

Дребезжат колеса, на бегу поекивает лошадь, к полудню солнце пригрело по-настоящему и сено запахло еще соблазнительней. Молодец так молодец, но ведь мне это ничего не стоило, на что он мне?.. А Палька, конечно, уже знает. «Весь город смеется»… Палька тоже посмеется и скажет — ну молодец!..

Довольная и разморенная потряхиванием телеги, я начала досыпать недоспанное ночью… и вдруг меня подкинуло, встряхнуло и ударило плечом о край телеги.

— Началось, — по-русски сказал возница и кое-что добавил по-карельски.

Дорога вилась среди сосен, а сосны цеплялись за землю могучими корнями, корни эти то прятались под рыжими от хвои сугробами, то утопали в луже и подставляли ножку колесам, то зловеще топырились на пути, как лапы гигантского паука. Чем глубже мы въезжали в лес, тем больше было снегу вокруг, воды и липкой грязи на дороге.

Возница шагал рядом с телегой, чтобы лошади было легче. Я тоже хотела слезть, но возница посмотрел на мои латаные ботинки и сказал:

— Сиди. Тут в сапогах — и то!..

Сколько мы тащились эти двадцать пять километров? Часов у

меня не было, но, когда мы въехали в село и остановились у дома, вокруг которого стояли телеги и сани с замороженными лошадьми, солнце уже клонилось к закату. Вошли в дом. Знакомая картина — на столе самовар, вокруг стола несколько мужиков пьют чай и едят — каждый свое. В открытую дверь видна вторая комната, там на полу, застланном половиками, спят вповалку еще несколько человек.

Пока я закусывала и пила чай, хозяин дома — уполномоченный Утрамота — быстро и сердито спорил с мужиками, помахивая запиской Терентьева. Было очевидно, что никто из них везти меня не хочет.

— Может, переночуешь? — вздохнув, предложил хозяин.

Я покосилась на дверь. Вон там, на полу? Я не сумела скрыть брезгливости, и хозяин это понял. Записка с подписью продкомиссара на него действовала, он снова принялся спорить с мужиками. По тому, сколько раз в этом споре звучало «сатана-перкеле», можно было понять, что и других ругательств произносится не меньше.

Желтый луч, переползавший по полу и скамье, добрался до края стола и вот уже заиграл на медном пузе самовара. Солнце стояло совсем низко. Впереди — самый тяжелый лесной участок. Может, все же заночевать?

Но в это время из другой комнаты вышел заспанный, хмурый-прехмурый старичина, налил себе чаю и стоя выпил обжигающий напиток, не охнул и не поморщился. Хозяин дома вступил с ним в переговоры, они тоже поспорили и поругались, «сатана-перкеле» и все прочее… Затем хозяин сказал мне, что вот Яков соглашается, если у меня есть спички, без спичек он в дороге не может, а спичек у него нет, потому что, сама знаешь, спички теперь… Я прервала его, сказав, что спички дам, — уже ученая, прихватила с собой на случай…

Получив коробок и заглянув внутрь, полон ли, старичина сел поесть. Из берестяной торбочки он вытащил стопку калиток с подрумяненной картошкой (я еще не пробовала это карельское кушанье, но выглядело оно аппетитно), налил себе еще чаю и под чай все калитки сжевал. Потом набил табаком трубку, прикурив от уголька из русской печки, — уголек уже еле теплился, он его долго раздувал, перекидывая в заскорузлых пальцах. Докурив, оглядел меня, фыркнул и заговорил с другими мужиками по-карельски, весьма выразительно показав, какое я ничтожное существо, можно свалить одним щелчком, а затем сделал энергичное движение, как будто выбрасывает что-то или кого-то. Мужики захохотали, поглядывая на меня. Хозяин сердито закричал на них и снова помахал Гошиной запиской.

Мне стало страшно. Мне очень хотелось остаться и заночевать — на половике так на половике, спят же другие! Но возница поднялся и сказал:

— Иди за мной.

Поехали мы не на телеге, а в добротных розвальнях. Лошадь тоже казалась добротной — упитанная, с блестящей шерстью. И старичина был им под стать — дюжий, осанистый, в огромных сапогах выше колен, в стеганых штанах, легком полушубке и шапке-финке с опущенными на уши бортами.

«Он кулак, — думала я, — потому и смотрит злобно, что кулак. Наверно, помогал белофиннам, доносил на коммунистов, а потом не успел убежать с ними или пожалел бросить хозяйство. Вот я и увидела настоящего кулака. И поеду с ним одна. Через лес. Уже стемнеет, а мы будем в лесу…»

Но что делать?

Мы уже отъехали от села. Лошадь шла шагом, полозья саней жалобно скрипели по песку или разводили волну на воде, разлившейся в низинках. Затем мы въехали в лес, где стояли громадные мохнатые ели, их черные лапы тянулись через дорогу, нужно было уворачиваться, чтоб не шлепнули по лицу. Снег тут лежал почти не тронутый таяньем, лошадь пошла резвей по накатанной дороге, мой возница сам с собою или с лошадью говорил по-карельски и курил трубку, ко мне относило едкий дым. Под бег саней и бормотанье возницы я укачалась и снова начала досыпать недоспанное ночью. Мне виделись Голиковка и Палька, откинувшийся назад и висящий на поручне вагона… потом Палька, возникший прямо передо мною и Сергеем на мосту через Олонку… И тут я разом проснулась, потому что в дреме увидела и поняла то, что не осознала там, при встрече, — Палька был в з б е ш е н! Да, взбешен! Почему? Если он равнодушен ко мне, какое ему дело до того, с кем я хожу?.. «Ты торопишься меня женить?» — услышала я его насмешливый голос. Действительно, откуда я взяла, что он женится на Нюре? «Мы помолвлены… Еще двое сватают… Мама говорит: выйдешь, так держи в руках с первого дня»… Шесть сорочек, вышитых гладью… Почему она не сказала еще и «приданое»? Нет, не может он, не может жениться на Нюре! Почему я как дура сказала, что занята, когда он хотел принести мамино письмо «вечером, часов в восемь»?! Никогда бы он не привел с собой Нюру, как я не понимала?!

— А ну вылазь! — раздался надо мною грубый голос.

Было уже сумеречно, и перед нами сколько видит глаз тянулось густое месиво подтаявшего, сбитого в колеи, закиданного ветвями снега — тут до нас разъезжались и застревали не одни сани!..

Только я соскочила, как ботинки мои наполнились водой. Но старичина уже ушел вперед, ведя лошадь на поводу, делать нечего, я заковыляла по мокрой каше вслед за ним.

Так мы прошли с километр, потом дорога снова вошла в густой лес и можно было ехать, но старичина, даже не оглянувшись на меня, продолжал вести лошадь за повод, в санях ехал мой чемоданчик, а я замыкала шествие, уже не выбирая, куда ставить ноги.

Стало темно.

— Можно, я сяду? — спросила я, выбившись из сил.

— Лошадь твоя? — закричал старичина. — Не твоя! Ну и шагай! — Он и еще что-то говорил, но уже по-карельски.

Дальнейшее я помню плохо. Я шла за санями, отставала так, что уже не видела саней, пугалась грозной лесной тишины и догоняла их, снова отставала, пела назло всем кулакам «Смело мы в бой пойдем за власть Советов…», замолкала, потому что не хватало дыханья петь, плакала от усталости и обиды и снова шла, шла, шла по крутым колеям, по мокрому месиву, по лужам, разлившимся от края до края…

Сани стояли.

Замедлив шаг, я с испугом всматривалась в черную массу, застывшую впереди, — лошадь и сани. А чуть в стороне — черный силуэт старичины.

Кругом — черный лес. И мы одни.

Я лихорадочно соображала: в проезжей избе остался ордер с моей фамилией и записка Гоши Терентьева… все узнают, кто меня повез, если что-нибудь… нет, не захочет он из-за девчонки…

— Приехали, — сказал он, когда я приблизилась, — все, значитца. Хоть сиди, хоть вертайся.

На всякий случай я высказала уже продуманные слова, укреплявшие, как мне казалось, мою безопасность:

— А меня в Видлице ждут сегодня.

— Значитца, не дождутся, — с издевкой сказал он. — И кто же тебя там ждет?

— Терентьевы.

— А-а, — протянул он и добавил слово, которое я не поняла: — Палоккахат.

Он сел на край саней, набил трубку, закурил.

Я стояла по щиколотку в мокрой жиже, но мне было так плохо, что это уже не имело значения. И не сразу осознала, что тишины больше нет, что где-то близко будто тяжелый зверь ворочается, бьет грузной лапой, шипит, клокочет, завывает. Но это не зверь — слишком постоянны перемежающиеся и сливающиеся звуки.

— Что это?

— Разлилась. Аж моста не видать.

— Река?

— Когда ручей, а сейчас река. — Помолчав, выколотил трубку, спрятал в карман. — Однако попробуем.

Он велел мне встать в санях и взять в руки чемодан, «иначе зальет, капиталы твои размокнут», и сам, кряхтя, взобрался на лошадь.

— Н-но, н-но, вывози, н-но!

Он называл лошадь птахой, голубкой, рыбкой, а также дурой и всякими карельскими ругательствами. Она упиралась и храпела от страха. Он огрел ее вожжами и кулаком, тогда она неохотно пошла вперед, и он уже не погонял ее и даже, как мне казалось, опустил поводья, чтобы не мешать лошади идти туда, куда ее ведет чутье и привычка.

У самой реки лес расступился, чуть просветлело, и я увидела свирепую массу воды, несущуюся под ноги лошади и перепрыгивающую с рокотом и шипением через что-то вроде решетки, белеющее на ее пути. В тот же миг ледяные струи захлестнули мои ноги, я чуть не упала, удержалась, с ужасом огляделась и поняла, что белеющая решетка, через которую перепрыгивает вода, это перила моста, а мост — под водой, и мы по нему едем, и если нас и мост не снесет в ближайшие минуты — это наша удача.

— Слезай! — рявкнул мой возница, когда мы выбрались на берег и лошадь устало остановилась. — Беги!

Я вывалилась из саней, меня трясло от страха и холода, но двигаться я не могла, хоть убей. Я уже не боялась этого кулака или некулака, черт его знает, кто он такой, я просто не могла шевельнуть ногой, не то что бежать.

— Беги, дура! — закричал он снова и подтолкнул меня. — Беги, говорю, согрейся! Ну?!

И я побежала. Ноги были пудовые, вода хлюпала в ботинках, мокрые чулки прилипли к ногам, мокрая юбка тоже прилипла к ногам, сил не было, но я кое-как бежала по снежной каше, а за мною трусила, всхрапывая, лошадь, мне казалось, что она меня преследует, если я остановлюсь или упаду, она меня затопчет.

Как-то вдруг стало тепло. Как-то вдруг ноги угрелись в ботинках. Выровнялось дыхание. И сердитый мужик перестал казаться сердитым. Он шел за мною, ведя лошадь на поводу, и лошадь не собиралась меня затаптывать.

Кто знает, сколько минут или часов прошло, когда впереди проблеснули огоньки.

Я их увидела далеко-далеко, тусклые, еле-еле мерцающие.

Огни! Или это мираж, такой же, какие бывают в пустыне?

— Значитца, доехали, — сказал мой возница. — А ты беги, еще далеко, простынешь.

Огни скрывались за елями — и тогда я пугалась. Они мелькали снова — я прибавляла шагу. И хотела только одного — горячего чаю или хотя бы кипятку. Все блага мира сосредоточивались сейчас в одном видении — в кружке горячего чая. Вьется над кружкой парок, ладони охватывают ее теплые бока, глоток — и горячая влага согревает рот, горло, пищевод, желудок… Чаю!

Мы шли еще не меньше часа, теперь впереди светил всего один жалкий огонек, страшно было, что и он погаснет — и не будет ничего. Ничего.

Я не сразу заметила, что рядом — дом. Наискосок — другой. И еще, и еще… целая улица домов…

— Видлица?!

— А что ж еще? Видлица. Сейчас Утрамот будет.

Я не сразу поняла — почему Утрамот? Зачем мне Утрамот?

— А куды ж ты в два часа ночи пойдешь? Переночуешь там, а наутро иди себе куды нужно. Тп-пру, рыбонька!

Дом Утрамота был темен. Во дворе стояли телеги и сани с уныло-пустыми оглоблями. Дернула дверь — закрыта.

— Спит старик. Однако стучи сильней, должон принять.

Мы долго стучали. Наконец в окошке запрыгал огонек, звякнула щеколда, в открывшейся двери я увидела маленького беленького старичка с чадящей лучиной.

Мой возница и старичок заговорили по-карельски, потом возница сказал: «Ну, прощай!» — и сошел с крыльца, исчез в темноте, а старичок впустил меня в дом, ворча, что никто среди ночи не ездит, с ума сошли люди, он мог бы и не пустить…

— Спать будешь?

Осмелев, я спросила, нельзя ли чаю, я заплачу.

— Какой ночью чай? Пойдем, покажу место, пока лучина горит.

Он ввел меня в комнату, где ничего не было, кроме половиков на полу, но на этих половиках один к одному спали люди — в тулупах или под тулупами, в шапках или положив головы на шапки.

— Вот место, — старичок показал на небольшое пространство между двумя спящими, — ложись, покуда свет.

Он зашлепал в первую комнату, сунул лучину в прихват над шайкой с водой, оглянулся на меня:

— Легла, что ли?

И задул лучину. Я слушала, как он, сопя и охая, лез на печку.

Стараясь не задеть в темноте спящих, я поставила вместо изголовья мокрый чемоданчик, сняла мокрые ботинки и чулки, сняла пальто, легла, растерла ледяные ступни краем пальто, им же закутала ноги и сама завернулась в пальто сколько хватило длины — вышло до пояса.

В комнате было душно, пахло потом, мокрой одеждой и еще невесть чем. Кругом храпели, стонали, кряхтели, чесались, ворочались…

«Как тут заснешь?» — подумала я, свернулась калачиком и немедля заснула.

Проснувшись, я увидела себя на полу в пустой комнате. Когда все успели проснуться, встать, уйти?

— Десятый час, — сказал мне тот же старичок, — вставай, убирать пора, из-за тебя не убирали.

Я достала из чемоданчика коробок спичек и попросила чаю. Старичок почти побежал на другую половину дома, привел старуху, старуха дала мне умыться и не пожалела чистого полотенца, налила мне чаю, а к чаю подала шаньги с творогом. Теперь можно было искать Терентьевых — не голодной же входить в незнакомый дом!

— А-а, вы к Терентьевым? — Старичок тут же выкликнул со двора девчонку лет десяти. — Вот сведешь к Терентьевым, ну знаешь. — И он снова произнес то слово — палоккахат.

Минут через десять мое путешествие кончилось — я была в милой, навсегда запомнившейся Видлице.

ВИДЛИЦКИЕ УРОКИ

Прохладная рука ложится на мой лоб.

— Мама! — бормочу я.

Тихий, не мамин голос соглашается: мама, мама, — и в сторону что-то быстро говорит по-карельски, а рука по-прежнему оглаживает мой лоб. Рука тоже не мамина, мягкая и шершавенькая, безошибочная в своих облегчающих движениях. Вот она оторвалась ото лба, просунулась под шею, приподняла мою тяжелую голову, к губам прижат край чашки, кисленькая влага касается губ, я с наслаждением втягиваю ее, смакую, пью большими глотками, и тот же голос на чужом языке поощряет меня, а рука поддерживает удобно и сильно.

Приоткрыв глаза, я вижу чужое лицо, не старое и не молодое, лицо крестьянки с непроходящим загаром и жесткими морщинками от солнца и ветра, участливое лицо со светлыми до прозрачности Гошиными глазами, и вспоминаю, что это мама Тани и Гоши, или, как здесь говорят, Ёши, Егора Терентьева, я в доме Терентьевых, в Видлице, прямо с первомайского вечера Таня привела меня домой и вдвоем с матерью раздела, уложила, напоила горячим чаем с клюквой… И сейчас питье клюквенное, только холодное. А я заболела. Нелепо! — в чужой деревне, в чужом доме, и как раз тогда, когда никак нельзя болеть…

— Ты усни, усни, — говорит другой голос; я догадываюсь — Танин.

Свет в комнате тусклый. Что это — раннее утро? Или вечер?

— Таня!

— Я здесь, Верочка.

— Это вечер?

— Что ты! Пять утра. Ты поспи, полегчает.

— Я посплю и встану.

— Конечно, встанешь. А теперь спи.

Закрываю глаза и слышу, как они на цыпочках отходят от кровати. Не сплю, а стараюсь понять, что же со мной произошло. Ведь приехала здоровая, и почти сразу Таня повела меня знакомиться со всеми подряд — с партийным организатором, с

председателем сельсовета, с начальником ЧОНа, с комсомольцами, и я удивлялась, что комсомольцев — около сотни и коммунистов больше сорока, а было больше ста, но многие погибли в боях с белофиннами или еще не вернулись из Красной Армии. Никто не смотрел на меня как на девчонку, приняли уважительно — «товарищ из центра», парторганизатор сразу записал меня в список выступающих на первомайском вечере и на митинге у братской могилы, а кроме того, попросил, чтобы в середине мая я сделала доклад о международном и внутреннем положении: «К нам лектора давно не приезжали». Затем все сельское начальство по очереди и вместе предупредило меня, что сразу после праздника они уйдут на сплав: и подсобить надо, пока высокая вода, да и заработок… «а ты уж как-нибудь останься за всех, никаких особых дел, разве что срочная директива из Олонца…» Я кивала: конечно, останусь, конечно, если срочная директива, сделаю. Мне льстило такое доверие. Но странно — их лица и голоса были как бы отделены стеклом, приходилось напрягаться, чтобы разглядеть и услышать.

Три дня — через стекло.

…Идем демонстрацией на митинг. Комсомольцев много, мы поем песню за песней, но песни тоже за стеклом, глухо и невнятно. У надгробного камня с именами погибших видличан небольшая трибуна. Я на трибуне, чувствую дуновение ветра с реки, меня прохватывает дрожь оттого, что по реке еще плывут льдины и льдинки, ветер гонит их в Ладогу, поторапливает — пора сплавлять лес, стоит «высокая вода». Высокая вода уже подступила к порогам бань, затопила низины. Хо-лод-на-я!..

…На митинге говорят и по-карельски и по-русски. Вчера вечером я сложила и заучила целую речь, но сейчас понимаю, что она длинна, стоять на ветру слишком холодно, всем, должно быть, холодно… Я выкрикиваю свою речь, на ходу сокращая ее, и почему-то не слышу своего голоса.

— Ты не заболела, Верочка?

— Нет, Танюша, просто охрипла.

…Вечер. За сценой клуба комсомольцы наряжаются для концерта, музыканты продувают трубы, настраивают балалайки и мандолины, гармонист перебирает лады… Но все лица и звуки по-прежнему за стеклом.

…Стол президиума. И темный зал, где одно к одному — лица, лица, лица. Зал почему-то покачивается, я понимаю, что этого не может быть, но он покачивается.

— Товарищ Кетлинская, идите же!

Оказывается, меня уже несколько раз выкликали, в зале ждут — «товарищ из центра»! Я выхожу к трибуне и сразу

хватаюсь за нее, потому что зал качается. И все лица плывут как по медленной волне… Свою речь я довожу до конца, но голос будто и не мой, то бьет в уши, то звучит далеко-далеко. Когда я возвращаюсь на свое место, рядом оказывается Таня:

— Может, сразу пойдешь домой, ляжешь?

Я мотаю головой, у меня нет сил встать. Начальник ЧОНа, худой и длинный-предлинный, перегибается ко мне через двух человек и нашептывает указания:

— Получай все, что адресовано ЧОНу, будет что срочное, пусть Таня кликнет моего Ванюшку, он достанет лошадь, только если срочное и секретное, мальчишке не давай, привези сама!

Я обещаю — конечно, привезу сама, А потом… потом как в закопченном стекле — улица, меня ведут под руки, с одной стороны Таня говорит: «Надо же, вся горит!» — а с другой кто-то неведомый советует баском: «Баньку затопите, пропариться нужно!»

И почти сразу — прохладная рука ложится на лоб, я в постели, кисленькая освежающая вода… «Ты поспи…» Надо поспать, мне нельзя болеть. Одна за всех… если что срочное и секретное…

А оно тут как тут. «Весьма срочно и секретно». Я бегу и достаю лошадь, понимаю, что это во сне, и в то же время тревожусь, потому что везде вода, вода и ледяной ветер, мы въезжаем на мост, вода перепрыгивает через белеющие в темноте перила, лошадь шагает сквозь поток, мы уже на середине моста, и вдруг раздается ужасающий треск — мост запрокидывается, мы летим прямо в клокочущий поток, я кричу изо всей силы:

— Ма-а-а-ма!..

— Что ты, Верочка, что ты!

Голос Танин, а рука, которая легла на мой лоб, материнская, мягкая и шершавенькая. Лицо Матери склоняется надо мной, и успокаивающий голос на непонятном языке говорит очень понятное — я тут, с тобой, я тут…

Под успокаивающее бормотание я засыпаю и во сне борюсь с наплывающим бредом. Это бред, я понимаю, от высокой температуры бред. Вот только надо принять телеграмму, «Срочно, секретно»… Я обязана доставить ее, вот и лошадь и сани, мы несемся вовсю по накатанной дороге, но впереди — вода, снежное месиво, ехать нельзя… Я бегу, ноги проваливаются в мокрую жижу, спотыкаются об узловатые корни… а там, вдали, черная фигура старикана, он раскинул руки и кричит: «Не пущу! Хоть сиди, хоть вертайся! Не пущу!» Но раз он против, тем более нужно донести телеграмму! Я проскакиваю под его рукой, с разбегу влетаю в клокочущий поток и хочу ухватиться за

белеющие перила, но снова раздается ужасающий треск, мост запрокидывается и отбрасывает меня в поток, накрывает с головой… Ма-ма!

— Мама, мама, — соглашается голос Матери, и ее облегчающая рука ложится на взмокший лоб.

Утром Таня сбегала к фельдшеру, но фельдшер тоже ушел на сплав, его жена дала градусник и порошки «от простуды».

— Сорок и шесть десятых, — сказала возле меня Таня.

— Таня, — позвала я, — телеграммы есть?

— Ой, да какие там телеграммы! Лежи.

Я засыпала и вновь просыпалась, искала глазами Мать и уже с трудом узнавала ее, потому что вокруг суетились, лопотали по-своему, спорили между собой и с Таней еще какие-то женщины.

В середине дня меня начали одевать. Я не понимала зачем, я не могла никуда идти, искала глазами Таню, но Тани не было, а женщины в несколько пар уверенных рук натягивали на меня белье, платье, чулки, всунули мои ноги в подшитые кожей валенки, закутали меня в вязаный платок и полушубок.

— Байня, байня, — говорили мне.

Баня?!

Женщины вывели меня во двор и маленькой, но озабоченной, говорливой процессией перевели через улицу, кое-как спустили по скользкому склону и втолкнули в предбанник. Я почти упала на лавку, привалилась к стене и увидела в дверном проеме наплывающую на меня реку с редкими льдинами и противоположный берег с такими же покосившимися баньками без дверей. Высокая вода билась у самого порога, верховой ветер залетал в дверной проем и приятно освежал воспаленное лицо и пересохшие губы, но от ветра знобило, прямо-таки трясло.

А женщины раздели меня догола тут же, в предбаннике, подняли и впихнули в баню. От невыносимого жара я повалилась на пол и с ужасом смотрела, как женщины зачерпывают ковшами воду и выплескивают ее на горячие кирпичи — белые клубы пара с шипением взмывают над топкой, заполняют баню, а женщинам все мало, они плещут еще. Потом меня начали обливать горячей водой и шлепать вениками. Хотели поднять на полок, но это сражение я выиграла, не далась, и меня уложили на нижнюю полку и продолжали шлепать вениками и обливать почти что кипятком.

Из бани меня уже не вели, а несли на руках.

Что было потом, доходило клочками: Таня заставляет меня пить горячий напиток с незнакомым вкусом и приговаривает: «Пей, пей до конца, пропотеешь!..» На меня наваливают, наваливают что-то тяжелое и жаркое, под этим грузом я валюсь в

душную яму… Мягкие и шершавенькие руки Матери стягивают с моего потного тела совершенно мокрую рубашку и натягивают другую, холодящую, а Таня, приговаривая: «Вот и хорошо», подсовывает под меня сухую простыню… и опять — руки Матери, меняющие на мне рубаху, и Танин успокаивающий говорок, и сухая простыня, и новое забытье… и опять то же…

Меня разбудил громкий мужской голос.

Я открыла глаза. Было рано — солнце пронизывало комнату от окошек до дальней стенки прямыми лучами. Тело было легкое, хоть лети, и голова ясная, только где-то внутри еле-еле слышно, под сурдину, позванивали самые высокие, дискантовые клавиши…

А за приоткрытой дверью мужской голос перешел с карельского на русский.

— А ты, ты! — возмущенно выкрикнул он. — Комсомолка, грамотный человек — и допустила, чтобы городскую девушку!.. Варварскими методами!.. Не всякий мужик выдержит!.. Вы ж ее угробили!..

— Ваня!..

Мой голос прозвучал слабо, он не услыхал.

— Разве их переспоришь! — всхлипывая, говорила за дверью Таня. — И фельдшера нет, а его жена тоже советовала пропарить!..

— Ваня! — изо всех сил крикнула я.

Теперь они услыхали. И вошли все сразу — я улыбнулась навстречу тревожным глазам Матери и сказала Ване:

— Я жива.

А клавиши все названивали и названивали. Мне смерили температуру, тридцать пять и восемь.

— Ну вот видишь! Я хочу встать.

Мать поняла и покачала головой. Затем она отправила прочь Ваню, дала мне помыться и принесла чаю и миску с необычным кушаньем: что-то лилово-розовое, кисловатое и пресное одновременно. Этим кушаньем она меня потом откармливала — по два раза в день, утром и вечером. Клюква с толокном, вот оно что такое!

После еды ко мне впустили Ваню. Я так и не поняла, почему он «проездом» оказался в Видлице, вероятно, Таня сообщила о моей болезни брату, Гоша приехать не мог, а Ваня и мог и хотел. Рассказав все олонецкие новости, он вспомнил, что Соколов просил передать: через месяц меня вызовут обратно в Петрозаводск для посылки на учебу. Еще немного погодя он вспомнил, что Соколов послал с ним записку. Долго шарил по карманам, наконец нашел порядком смятый листок.

Палька задавал нелепый вопрос: «Что же ты болеешь?» — сообщал о вызове, потом шли приятные слова: «А ты все-таки молодец!» (почему «все-таки»?), а кончалась записка совсем уж нелепо: «Ну да ладно, остаюсь Павел Соколов», — одно под другим, лесенкой.

— Женился он?

— Павел? С чего ты взяла? Домой поехал.

Весть была хорошая, но записка меня рассердила.

На другой день я выпросила разрешение встать — и упала. Ноги не держали. Кружилась голова, звонкие клавиши заклацали неистово, словно безумный пианист безостановочно бил по ним всей пятерней.

Меня заново учили ходить — это было смешно. Меня откармливали — я не заставляла себя уговаривать. Не выпускали из дому — это было хуже. Но стайкой приходили навестить комсомольцы, получался небольшой клуб, и в этом клубе было решено к концу мая обязательно поставить спектакль. Подходящей пьесы не было, и я взялась написать инсценировку. Сочиняли тогда бесстрашно, а для меня это было оправданием моего бесполезного сидения дома.

Таня убегала на работу с утра и приходила вечером — часов в семь, а то и в восемь. Весь день я прилежно сочиняла инсценировку, а когда воображение иссякало, готовилась к предстоящему докладу: шутка сказать, доклад о международном и внутреннем положении! До сих пор я только слушала подобные доклады, стараясь разобраться во всех сложностях послевоенного мира. К счастью, в Илькиной тетради, с другого конца, я кое-что записывала — интересные цифры, поразившие меня мысли и факты, наиболее впечатляющие места из речей Ленина. Таня принесла мне подшивку «Коммуны» за последние месяцы и сшитые вместе номера «Правды» с отчетами о недавнем XI партийном съезде. Мне казалось, что материала достаточно, тревожил только вопрос о деревне, тут я «плавала», а доклад для крестьян, значит, нужно подробно и толково сказать о деревенских проблемах, да и вопросы будут, конечно, о том же…

И еще у меня было одно непрерывное, хотя и не осознанное занятие: я жила рядом с Матерью, с рассвета до темноты видела ее, наблюдала, что и как она делает, общалась с нею языком жестов и улыбок. Как в немом кино без титров — душевная суть через внешние проявления.

Как бы рано я ни проснулась, Мать уже была на ногах и привычно, без суеты, делала свои ежедневные дела: топила русскую печь, месила тесто, пекла хлебы или калитки, доила корову, кормила ее и поросенка, варила кашу и суп к обеду,

жарила картошку к завтраку. Попутно, стоило мне встать и умыться, она ставила передо мной миску клюквы с толокном — ешь!

Я садилась в уголку кухни и смотрела, как она делает вкусные карельские калитки: на выскобленном и присыпанном мукою столе замешивает пресное ржаное тесто, молниеносными движениями разделывает его на множество катышков, так же молниеносно раскатывает катышки тончайшими листами, выкладывает на каждый ложку картофельного пюре или разваренной пшенной каши, как бы небрежно, хотя и точно загибает края — и на противень. Противни с калитками постепенно занимали всю кухню — столы, табуретки, скамьи, их было у нее штук двадцать или даже больше. Когда все противни были подготовлены, она петушиным пером, быстро, как бы не касаясь начинки, смазывала или сбрызгивала калитки растопленным маслом. К этому времени печь уже вытопилась, Мать выгребала угли, оставляя их на железном листе возле зева печи, а в печь сажала первую партию противней и тут же, прикрыв зев заслонкой, ставила на угли большую сковороду и кидала на нее кусочки сала, а затем начищенную неведомо когда картошку. В уголку, окруженные горячими угольями, томились горшки с супом и с кашей. Я следила и никак не могла уследить за последовательностью и безошибочностью действий Матери — она вынимала противни как раз тогда, когда калитки поспели, разрумянились, но не пересохли, тут же сажала в печь новую партию, картошка и сало шипели, распространяя по дому зазывный аромат, Мать как будто и не обращала на них внимания, но не было случая, чтобы картошка подгорела или шкварки излишне вытопились, потеряли сочность. Поначалу мне казалось, что испечь такую груду калиток нужно бог знает сколько времени, но вдруг оказывалось, что вынуты последние противни, калитки выложены горками на доске и прикрыты полотенцами, Мать подцепляет ухватом горшки с супом и кашей и ставит их в печь — доходить, туда же отправляется сковорода с картошкой, а на угольях уже закипает чайник, и Мать идет будить Таню — Тане по утрам спится.

Прошло часа полтора после того, как я наелась клюквы с толокном, но, когда мы садимся завтракать, я с аппетитом ем румяную картошку, запивая ее парным молоком. Мать подсаживается к нам поздней, когда сковорода уже очищена и мы уплетаем калитки; она выпивает две чашки чаю и съедает одну калитку. Мне всегда неловко, я норовлю оставить часть картошки для нее, но Таня объясняет, что мама по утрам не любит есть, «ей потом тяжело», она поест плотнее в обед, когда домашние дела

переделаны.

Таня убегает на работу, я сажусь сочинять инсценировку или делаю выписки из газет. Через стенку я слышу, как Мать легко ходит по кухне, выходит на крытый двор к скотине, толчет картофельные очистки — они пойдут в пойло для поросенка. Потом начинается плеск и шарканье — Мать моет посуду и противни, моет столы и табуреты, моет пол на кухне. Я предлагаю свою помощь, Мать с улыбкой машет рукой и что-то насмешливо-ласково говорит, я понимаю так: иди, какой из тебя теперь работник, занимайся своим сидячим делом, а в мое не встревай. Часа через два она ставит передо мною на стол кружку молока и калитки, я отказываюсь, Мать начинает быстро и властно говорить, я понимаю: не спорь, я лучше знаю, что тебе нужно и сколько ты можешь съесть, гляди, какая ты худышка, одни кости, пока ты у меня, я тебя должна откормить! И я съедаю все, что поставлено. Силы прибывают с каждым днем: уже не клацают дискантовые клавиши — даже если я наклоняюсь, уже твердо ступают ноги, а когда Мать требует, чтобы я поставила градусник, на нем уже не тридцать пять с десятыми, а тридцать шесть и две, тридцать шесть и четыре…

На шестой день я выхожу на работу. Инсценировка готова, и мы ее тут же начинаем репетировать.

Комсомольцы, приезжавшие с жалобами в уездком, немного преувеличили: комсомол неплохо работает, и в клубе и в школе, по первому зову собрались ребята и девушки из драмкружка. Но «головы» в организации действительно нет — после ухода в Красную Армию Саши Веледеева и еще нескольких активистов заседаний бюро почти не было, плана нет. Нужны перевыборы. А для этого нужно присмотреться, кого из комсомольцев стоит выбрать в бюро, кого поставить во главе.

Никаких срочных директив из Олонца не поступало, чувство единоличной ответственности за партийные, советские и военные дела постепенно притупилось, иной день я даже забывала наведаться на почту — нет ли чего? Но жена почтаря (он тоже ушел на сплав) сама разыскала меня — пакет для начальника ЧОНа, на пакете надпись: с р о ч н о, с е к р е т н о. Что там, в пакете? Может, где-нибудь на границе, рядом с нами, опять зашевелились белобандиты? Может, нужно немедленно собрать в отряд всех, кто записан в видлицкую часть особого назначения?!

Ванюшке, сыну начальника, было не больше двенадцати, но паренек выглядел толковым и разбитным, он немедленно предложил «слетать» к отцу. Но я помнила наказ: если срочное и секретное, привези сама!

— Ладно, — сказал Ванюшка, — пойду достану лошадь.

Мы с Таней побежали домой, Таня и Мать о чем-то поговорили, с неодобрением поглядывая на мои ветхие ботинки, потом Мать принесла из кладовки сапоги, дала мне портянки и с милой, но непререкаемой властностью заставила переобуться, а мои мальчиковые с наметившимися дырами завернула в тряпку и что-то приказала Тане, я поняла: снесешь починить!

Затем Мать собрала в котомку хлеба, калиток, крутых яиц, отсыпала в бумажку немного соли и показала мне — надень лямки, котомку на спину! Я пыталась возражать — зачем? Я еще не понимала, что меня ждет.

— А вот и Ванюшка с лошадьми, — сказала Таня.

Я глянула в окошко и обомлела — Ванюшка сидит на лошади, а вторую, оседланную, держит за повод. Как я не поняла раньше — мы поедем верхом!

Мать поправляла на моих плечах лямки и что-то тревожно спрашивала. Таня перевела: приходилось ли мне ездить верхом?

— Ну конечно, — ответила я.

О золотисто-рыжая Пулька моего детства, это тебя я имела в виду, тебя под изящным дамским седлом, тебя, смирно шествующую по симеизским улицам за поцокивающим проводником!..

Мне случалось видеть, как лихо вскакивают в седло, я старалась повторить подсмотренное движение, каким наездник вставляет левую ногу в стремя, берется за луку и ловко взбрасывает послушное тело, одновременно занося правую ногу над крупом коня. Но лошадь была для меня высока и стоять на месте категорически не хотела. Увильнув как раз в ту секунду, когда я целилась ногою в стремя, она косила на меня умным глазом и застывала на месте — садись, если умеешь! Но стоило мне прицелиться ногой к стремени, она снова уворачивалась.

Таня взяла лошадь под уздцы и подвела ее к лавочке у ворот. На пустой деревенской улице моментально оказалось немало зрителей — от малышей до старых стариков. Недостатка в советах не было. В насмешках тоже. Но срочный и секретный пакет лежал в котомке поверх запаса снеди, пришлось у всех на глазах вставать на лавочку и оттуда карабкаться на лошадь.

Усевшись в седле, я как можно крепче сжала ногами бока лошади и вцепилась в повод, чтобы она меня не сбросила. Но лошадка обмахнула меня хвостом и спокойно пошла рядом с лошадью Ванюшки. По селу мы проехали тихо, но, как только миновали последние дома, Ванюшка начал гикать, лошади побежали быстрей, это было приятно… нет, было бы приятно, если б не так подбрасывало и не так натирало ноги. Впрочем, в начале поездки я и не подозревала, что будет с моими ногами и

со всем моим бренным телом к концу ее! Понять это может только человек, которому довелось впервые сесть верхом и тут же отправиться верст за двадцать — двадцать пять.

Мы скакали, подпрыгивая в седлах, по вполне сносной дороге, следующей за извивами реки Видлицы, потом свернули на узкую тропу через лес, в лесу было мокро, кое-где еще держался снег, попадались на пути и корни, и разливы талой воды, и броды через ручьи, но по тропам мы укорачивали путь. Время от времени мы снова выезжали к реке, по которой, толкаясь и мешая одно другому, густо плыли бревна. Когда мы в третий раз увидели Видлицу, а может быть, и другую реку, я потеряла представление, где мы находимся, — вся река была запружена бревнами, они сцепились, налезали одно на другое и не давали ходу тем, что наплывали сзади.

— Ого! — сказал Ванюшка и остановил лошадей.

Несколько мужчин в высоких резиновых сапогах прыгали по бревнам, добираясь баграми до тех, что как бы сцепили всю массу, образовав затор. В памяти уже не сохранились подробности той работы сплавщиков, но и много лет спустя на Дальнем Востоке и на Кольском полуострове я видела, как разбирают заторы, и каждый раз меня охватывало восхищение и глубокое уважение к людям, которые так храбро и ловко, балансируя на вертких бревнах, оскользаясь на их мокрой коре, подбираются к месту затора, цепляют и толкают баграми сцепившиеся бревна и как раз в нужную минуту, когда течение готово довершить их усилия, отбегают назад, прочь от смертельной опасности, а за их спинами вся масса приходит в движение, выталкивает тяжеловесную пробку — и вот уже пошло, завертело, закрутило, попадешь туда — забьет насмерть да еще утянет под воду, не скоро и найдут…

Поглядев на грозное зрелище, Ванюшка на карельском поговорил с одним из сплавщиков, сказал мне: «Отец дальше!» — и мы снова въехали в лес, в сумеречную его тишину.

— Может, хотите есть? — спросил Ванюшка.

Поесть я была не прочь, но слезать с лошади?! А потом снова унижаться, влезая на нее с какой-нибудь лесной коряги? Нет уж!

В сумерках мы наконец доехали до небольшой деревеньки, где, по словам Ванюшки, ночуют сплавщики. Сплавщики как раз возвращались с реки — усталой походкой, свесив наработавшиеся тяжелые руки. В одном из дворов на очаге кипел их ужин — крышка на котле подпрыгивала, из-под нее выбивался пар и запах, от которого у меня свело пустой желудок.

— Приехали, — сказал Ванюшка и соскочил с лошади.

Я все еще не понимала, что у меня делается с ногами,

понимала только, что не могу ни согнуть их, ни разогнуть, ни пошевелить корпусом. И что мне больно, очень больно. Но тут подошли сплавщики, и я как-то соскочила — с помощью самолюбия и только самолюбия, оно иногда обладает недюжинной силой.

Начальника ЧОНа я издали узнала по росту, хотела подбежать к нему, но о беге и даже о медленном шаге не могло быть и речи. Он подошел сам:

— Случилось что?

Я протянула пакет. Начальник вскрыл его, развернул грубую желтоватую бумагу (я увидела, что она разлинована под копирку на машинке), прочитал сопроводительную бумажку и плюнул с досады:

— Ерунда! Новая форма отчетности. Могла бы и полежать.

Поглядев на меня — вероятно, была хороша! — он спохватился:

— Замучилась? Растрясло? Пойдем к хозяйке, умоешься, отдохнешь до ужина.

Я бы сразу легла, вытянула одеревеневшие, ноющие ноги, а там и пожевала бы то, что припасла Мать, но о ночлеге пока разговора не было, да и Ванюшка, умывшись, поторопил:

— Идемте, нас ждут.

Ужинали во дворе. На узких, в две доски, столах были расставлены большие горшки с наваристой похлебкой — по одному на шесть человек. Начальник ЧОНа нарезал хлеб и роздал всем поровну, потом разделил отварное мясо.

— Ребят-то не обдели, начальник, — сказал самый пожилой сплавщик.

Мне и Ванюшке дали столько же, сколько всем. И мы в очередь со всеми запускали деревянные ложки в горшок, подставляя под ложку хлеб, чтобы не капать на стол.

Меня приравняли к Ванюшке? Двое ребят? Ах, не все ли равно, поесть — и лечь, где угодно — лечь… Но у начальника ЧОНа были свои соображения, он и усадил меня среди комсомольцев, и представил громогласно — товарищ из центра! Сплавщики искоса разглядывали столь несолидного представителя, пожилой улыбался — рот до ушей — и поглаживал бороду точь-в-точь как те бородачи на партийной конференции, молодежь заинтересовалась, для чего я приехала в Видлицу, долго ли пробуду и верно ли говорят, что готовится спектакль…

— Кстати, Вера, ты обещала сделать доклад в Видлице, — вмешался начальник ЧОНа. — Может, сделаешь для начала нам? Все равно раньше утра обратно не поедешь, а нам какая-никакая

пища для мозгов, ведь дичаем тут.

Я обалдело молчала, А предложение понравилось, только самый пожилой укоризненно возразил:

— Устала ж она, какой там доклад!

Молодежь зашумела:

— Ну не доклад, а хоть беседу!

— Бревна катаем да спим, что за жизнь!

— Хоть немного расскажи, что на свете делается!

— Спать все одно рано!

Где-то в глубине закипали слезы обиды — никто не понимает, как я намучилась и как мне сейчас плохо. Но идеальная, чертовски сознательная комсомолка, какою я хотела быть, прикрикнула на эгоистичную девчонку, думающую только о своих болячках, и девчонка устыдилась и заглотнула слезы, потому что сама ведь требовала — надо добираться до молодежи, работающей на лесозаготовках и сплаве, и вот сама добралась, и тебя просят… а ты сдрейфила?!

— Но у меня ни материалов, ни записей… без подготовки…

— Дак тут же все свои!

Свои?.. Поглядела — совсем незнакомые, пропахшие потом и махоркой бородатые люди сидят вокруг, даже молодые парни из-за полуотросших бородок и усов кажутся старыми, и ничего-то я о них не знаю и они обо мне… И все-таки свои? «Сомкнуться с крестьянской массой… и начать двигаться вперед неизмеримо, бесконечно медленнее, чем мы мечтали…» Эти ленинские слова теперь у всех на языке, у меня они записаны крупными буквами в Илькиной тетради. Как же я откажусь? Пусть не очень-то могу и умею — д о л ж н а.

Это было самое диковинное выступление за всю мою жизнь. Даже в блокаде, когда случалось выступать под боком у гаубичной батареи, которая вела огонь, или в бомбоубежище перед лежачими ранеными, не было так удивительно, потому что я знала, куда еду, и была готова ко всему. А тут…

Скамьи и табуреты подтащили поближе к концу стола, за которым я сидела, раскорячившись и обмирая от робости. Белая ночь скудно и загадочно высвечивала бородатые лица, любопытные или насмешливые глаза. Ушли человека три, остальные были здесь, даже самые пожилые. И все помахивали ветками, так как нещадно зудели и жалили комары. А от реки доносились смягченные водой удары и шуршание коры о кору — это плыли с верховий, сталкивались и терлись одно о другое бревна.

Судорожно вспоминая все, что читала в дни болезни, и доклад Христофора Дорошина, который слушала накануне

отъезда из Петрозаводска, я кое-как обрисовала наше международное положение: всяческие интервенции провалились, белофинская тоже, теперь капиталисты вынуждены вступать с нами в торговые отношения, хотя признавать нас официально не хотят. Антанта пустилась на новые хитрости — призна́ем, если заплатите царские долги… Знала я об этом не так мало, но мне казалось, что международные дела будут непонятны, уж очень они далеки, бесконечно далеки от Видлицы и вот этой затерянной в лесах деревушки!.. И я поскорее перешла к тому, что считала наиболее важным для крестьян, — к нэпу и политике партии в деревне. Чувствуя, что говорю по-школярски и все более косноязычно, я скороговоркой миновала малознакомые вопросы о сельской кооперации и торговле. Пересказала по памяти недавние слова Ленина, что пока частный рынок оказался сильнее нас, и совсем уж недавние его слова о том, что отступление кончилось и мы готовимся перейти в прочное наступление и что никаких уступок больше не будет!.. Вспоминала эти слова с радостью, в нашей комсомольской среде само слово о т с т у п л е н и е воспринималось тягостно, и вдруг сообразила, что передо мной как раз и сидят те, кому уступки делались, ради кого отступали, — мелкая буржуазия, частный рынок… Я смутилась, сбилась, усиленно замахала руками, отгоняя комаров, и пробормотала, что, если есть вопросы, постараюсь ответить.

И тут я получила урок, ох какой основательный урок!

По деревенским проблемам ни одного вопроса мне не задали, мои слушатели отлично поняли, что я в них ничего не смыслю. Зато по международным делам вопросы так и сыпались: что происходит на Генуэзской конференции и не обведут ли вокруг пальца советских дипломатов? Где находится Раппало и что за договор мы подписали с германцами? Что такое фашисты и чего они хотят? Кто такой товарищ Кингисепп, которого расстреляли в Эстонии? Как наши дела на Дальнем Востоке и продолжаются ли переговоры с японцем?.. Кроме того, спрашивали о патриархе Тихоне, согласился ли он отдать церковные ценности для голодающих Поволжья, и о суде над священниками, прятавшими ценности, о том, велика ли Каширская электростанция, которую запустили к Первому мая, и какая будет станция на Волхове, верно ли, что крутить машины будет вода, а угля совсем не понадобится? В заключение от меня потребовали, чтобы товарища Ленина ни за что не пускали в эту самую Геную, к империалистам в капкан, они его туда заманивают нарочно, а там арестуют или убьют.

Спрашивали по-разному: и с подлинной

заинтересованностью, и с желанием проверить, действительно ли я кое-что знаю, и с подковыркой, ехидно. Я выкручивалась как умела, но уже не терялась: как ни смешно, но осмелела я оттого, что почувствовала себя повзрослевшей на год! Отвечая на вопрос о меморандуме, предъявленном Советскому правительству в Генуе, я обстоятельно пересказала наш ответ от 11 мая, я его читала в газете за день до поездки сюда. Меня радовало, что я могу так обстоятельно ответить, а где-то в глубине души звучало: 11 мая… 11 мая… Да это же мой день рождения, как я могла забыть?! Мне уже шестнадцать! Я уже не девчонка, не ребенок, мне шестнадцать лет!..

Но и шестнадцатилетие не помогло ответить на вопрос, который я сама охотно задала бы знающему человеку: кто такие фашисты и чего они хотят? В газетах иногда мелькали слова — фашисты, фашизм. Что-то реакционное. В Италии. И еще, кажется, в Германии… Не разузнала вовремя, а теперь что делать? Отговориться общими словами? Но мой доклад и без того оказался слишком общим, неконкретным! Честно признаться, что не знаю? Но какое же будет доверие к докладчику, если он сам чего-то не знает! И ведь могу же я ответить хотя бы приблизительно верно — что реакционное… что в Италии… даже фамилия мельтешит в памяти — Мазолини или Музолини… Да, но я и так на многие вопросы отвечала лишь «приблизительно верно»!..

— Насчет фашистов, товарищи, ответить сейчас не могу. Но разузнаю и в Видлице, когда вернетесь, отвечу.

Боялась, что доверие поколеблется, а оно с этой минуты и возникло. Спрашивали еще про разные международные дела, но спрашивали и о том, откуда я взялась, и откуда столько знаю, и есть ли родители, и как это мама отпустила одну мотаться по дальнему уезду, по деревням, мало ли что может случиться в такое-то время! И о себе рассказывали — между прочим, объясняя, что и почему их интересует. Безликое понятие «крестьяне» распалось, вокруг меня были очень разные люди с жизненным опытом несравненно большим, чем мой, почти все они познали войну и побывали в местах, о которых я и понятия не имела, — в далекой Маньчжурии и в Сибири, в Мазурских болотах, в украинских степях, а один, самый пожилой, побывал даже в Германии, в плену. А уж в войне против белофиннов они так или иначе участвовали все. «Происки Антанты» были для них собственной судьбой, смертью товарищей, голодом, разорением хозяйства, потому и занимало их, что происходит в мире, кто за нас, кто против нас и чего ждать в будущем.

Хозяйка дома, молчаливая женщина, будто запеленатая в

строгий черный платок, то подходила послушать, то загоняла в дом ребятишек, потом вышла с малышом на руках и, укачивая его, снова слушала. Малыш принимался плакать, она отходила, чтобы не мешать, а под конец подошла и спросила отчаянным голосом:

— Ну а война? Войны не будет больше?!

И такая в ней чувствовалась безмерная тоска, что я ответила без колебаний:

— Нет, не будет.

Меня поддержали: не должно быть! Куда уж, не мы одни, все устали! И только самый пожилой промолчал и усмехнулся как человек, который знает больше других, но никого не хочет пугать.

Ночевала я у хозяйки. В большой комнате вповалку на полатях и на полу улеглись сплавщики. Меня хозяйка провела в маленькую боковушку, где спали — кто где — пятеро ее ребят. Тут же на лавке она постелила мне шубейку, дала подушку. И сказала застывшим, лишенным выражения голосом:

— Тесно живем, почти весь год то одна артель, то другая. Их кормлю и сама кормлюсь. Иначе мне с пятью ребятами не прожить.

Муж ее погиб этой зимой под Реболами. Отец — в германскую, два брата — в гражданскую, старший под Питером, когда наступал Юденич, а младший неведомо где, ушел еще в Красную гвардию и пропал без вести.

— Хоть бы детям дали вырасти.

Она не знала, как уважительней назвать меня, и сказала:

— Ну спите, товарищ барышня. — И, поколебавшись: — Это вы правду сказали — не будет войны?

Что я могла ответить? Подтвердила: не будет.

Вернувшись в Видлицу, я в тот же день написала Гоше Терентьеву: немедленно разузнай и сообщи, что такое фашизм и фашисты. Отправила с попутчиком и через несколько дней с тем же попутчиком получила справку-исследование на шести страничках. Перепечатала на машинке и поместила в стенгазете под заголовком «Отвечаем на вопросы читателей». Как в настоящих газетах!

Вероятно, в наши дни ответ Гоши показался бы наивным и недальновидным, но тогда, читая его, я впервые испытала тревожное недоумение — новая, странная опасность появилась в мире, какая-то в ней разнузданная дикость, взывает она к самым темным силам человеческой души… К чему это приведет?.. И права ли я была, так твердо ответив женщине, измученной нищетой и утратами: не будет!..

Тревога возникла — и прошла. Забылась. Ведь мы и

отдаленно не представляли себе размеров надвигающегося бедствия, хотя в том же месяце (газета со справкой Гоши еще висела в видлицком клубе!) фашисты совершили ряд нападений на коммунистов и по всей Италии происходили кровавые схватки, в августе всеобщая забастовка протеста против фашизма привела к новым кровавым столкновениям, а еще через два месяца, в октябре, к власти пришло фашистское правительство во главе с Муссолини. Еще через год, в сентябре 1923-го, произошел профашистский переворот в Испании, а в ноябре в германском городе Мюнхене во время неудавшегося фашистского путча впервые прозвучало имя какого-то Гитлера.

Да, мы еще не предчувствовали ни размеров, ни варварской жестокости фашизма. Но одно мы знали твердо: в мире идет напряженнейшая борьба, мы — бойцы и должны быть готовы к боям и к жертвам.

О боях, о жертвах был и наш спектакль.

. . . . . .

Дни последних репетиций, суеты, спешки, волнений… И вот долгожданный спектакль идет к концу, режиссерские тревоги одна за другой отпускают меня: все исполнители пришли задолго до начала и успели одеться и загримироваться, они вовремя выходили на сцену и почти не путали реплики, они не задели и не повалили ни одной декорации, наш звуковик очень похоже гремел железным листом, изображая грохот боя… занавес ни разу не заело, а когда он закрывался, в зале дружно рукоплескали, а потом громко обсуждали, кто кого играл, и уточняли, кто что говорил и что на сцене происходило.

И вот — последняя картина, героически гибнут и падают раненые бойцы-комсомольцы, не пропустившие врага. Я уже не режиссер, я исполнитель финальной короткой, но очень важной символической роли. Поначалу считалось, что я выйду как есть, только повяжусь по-деревенски платком, чтоб изменить свой облик. Но когда Мать дала мне большой темный платок, он как бы подтолкнул к иному образу, который все больше трогал и волновал меня. Готовясь к выходу, я наложила на лицо морщинки, сажей провела горестные круги под глазами и закуталась в темный платок, но не так, как это делала Мать — свободно открывая милое лицо, а до подбородка, как та женщина в дальней деревушке, — строже и символичней.

Я стою за кулисой и под громыхание железного листа слежу, как стреляет из пулемета и затем падает моя героиня — ее играет Таня, — а ее возлюбленный, раненный раньше, обнимает ее и очень правдоподобно заглядывает в ее запрокинутое лицо (очень хорошо, отмечаю я, гораздо лучше, чем на репетициях!).

— Наши подходят! Наши! — кричит, падая, еще один герой, а за сценой раздается «ур-ра»: это подоспевшие красноармейцы пошли в атаку на отступающих белобандитов. Победа?.. Считаю до десяти — такова пауза — и выхожу на сцену. Медленно иду, наклоняясь над каждым убитым, материнским, облегчающим движением проводя по лбу каждого раненого… Когда я наклоняюсь над Таней, Таня приоткрывает один глаз и шепчет:

— Слышишь, плачут?

До сих пор от волнения я не слышала ничего, но теперь до меня доходит жизнь за пределами рампы — в темном зале плачут, кто-то рыдает навзрыд, кто-то успокаивает: «Не надо, не надо, тише!»

Восторг, удивление, боязнь что-то забыть и напутать… о-о, только не забыть и не напутать в эти последние минуты, которые должны мощным аккордом завершить спектакль и его успех, его совершенно неожиданное по силе воздействие!..

Пугаюсь: где же знамя, без которого пропадет весь эффект? Вот оно. Степа, неудачно падая, придавил его своим телом. Приходится отодвигать «мертвое» тело, Степа потихоньку помогает мне. Знамя у меня в руках. Я поднимаю его, склоняю над жертвами боя и начинаю речь, обращаясь прямо в зал, — так задумано. Один за другим приподнимают головы раненые — так тоже задумано. Из-за кулис, как бы из удачного боя, выходят и становятся в ряд все участники спектакля — их немного (где взять больше, и так весь драмкружок занят!), — но в зале понимают: их много, это Красная Армия, это Народ! И в зале Народ, к ним ко всем обращены слова Женщины со знаменем: будем бороться до полной победы! По замыслу, после этих слов она должна запеть «Интернационал», но мы не нашли исполнительницы на такую роль, пришлось играть мне, а у меня ни слуха, ни голоса. Решили, что запоем все сразу. Запели — не очень в лад начали, но тут же выправились. В зале встает ряд за рядом, и тоже поют, поют и плачут. Я беззвучно открываю рот и, потрясенная до полной немоты, смотрю, смотрю, смотрю на взволнованные и заплаканные лица, — господи, вот она, сила искусства! И вот оно, счастье, двойное счастье мое — авторское и актерское!..

Мы с Таней возвращаемся домой по уже затихшему селу. Поблескивает, отражая занимающуюся зарю, спокойная, вошедшая в свои берега Видлица. Дышу как можно глубже, вбираю прелесть белой ночи — и даже говорить не хочется, так я переполнена новым ощущением: я м о г у писать, б у д у писать — большое, главное, поднимающее людей, чтобы вот так,

как сегодня!.. Так, как сегодня!..

— Ты слышала, Верочка, во втором акте кричали: «Не ходи!»?

— Да. «Веня, не ходи!»

Комсомолец шел в дом, где засели бандиты. Из разных концов зала понеслись выкрики: «Веня, не ходи! Не ходи, Ве-ня-я!» Веней звали исполнителя роли, по пьесе у него было другое имя.

— А ты видела, Таня, когда зажгли свет, у каждого второго — слезы!

— Да, — вздохнула Таня, — может, и зря мы такой конец сделали… убитые, раненые…

— Почему?!

— Разбередили. Горе-то свежее.

Увидев мое недоумение, Таня терпеливо пояснила:

— Говоришь, каждый второй? Так ведь у каждого второго кто-то родной погиб вот так же, а то и страшней. Когда беляки тут были, знаешь, как они лютовали! Узнают, что из семьи хоть отец, хоть сын или племянник в красных, всю семью расстреливали, даже малых детей. А разве скроешь? Деревня! Все обо всех знают. И о н и знали. Все наше кулачье с ними было.

Молча дошли до дому. Мать уже спала, постанывая и вскрикивая во сне. Таня подошла к ней, погладила по голове, сказала:

— Ничего, ничего, спи!

Я не решилась спросить: может, и у них в семье!».. Может, отец?..

— А ведь мы сегодня не обедали! — вспомнила Таня. — Садись-ка, поедим за все дни.

Не зажигая лампу, сели к окошку, за ним уже полыхала полуночная заря. Таня выставила на стол шаньги с творогом, упревшую в печи, еще теплую кашу, кринку молока, и мы принялись уплетать все подряд.

— А все же хорошо, Верочка. Полтора года у нас спектаклей не было. Только, знаешь… не обижайся, но ты уж очень часто свои «так сказать» сыплешь!

— Я?!

— Не говорили тебе? И на собраньях чуть что и сегодня — такая зажигательная речь, а ты запнешься и сразу «так сказать» вставляешь.

Она дружески посмеивалась, ей и в голову не приходило, что во мне все еще не утих трепет пережитого восторга.

— Последи за собой — отучишься. И не огорчайся, никто и не заметил, ты же видела, как принимали.

Таня опытная. Еще при Саше Веледееве играла первые

роли — даже «Бесприданницу». У нее дарование. Вот и сегодня как естественно она перевязывала раненых, какие у нее были точные движения и слова — не по роли, а от себя успокаивающе приговаривала что-нибудь доброе каждому раненому… А потом так же естественно залегла у пулемета.

Я похвалила ее вслух. Таня усмехнулась:

— Ну это что, я же в нашем отряде санитаркой была.

— Ты?? Когда?

— В девятнадцатом. Партизанский отряд у нас был.

— И стреляла?

— Ой, что ты! Изучала, конечно, что и как, но стрелять нам не давали, патроны жалели. А в бою, когда Кавайно освобождали, нам с Настей Шелиной да с нашим фельдшером дел хватало — перевязывали. Многих тогда поранило. И убитые были.

— В той братской могиле, где митинг был, — ваши?

Таня вдруг насупилась:

— А еще выступала на митинге! Группа Розенштейна там. В церкви они оборонялись. Как раз под пасху белофинны налетели… на вторые сутки боя церковь взорвали, расстреляли всех, кого захватили, даже раненых… ведь говорили об этом! — Она тут же подобрела; — Да ты совсем больная была. Ну, давай спать.

Не спать мне хотелось, а подумать наедине, разобраться в том, что так нежданно, сменив недавний восторг, засвербило в душе. С тем и легла, но мгновенно уснула.

Наутро, потешив себя похвалами и поздравлениями всех встречных, зашла к партийному волорганизатору. Память не удержала его фамилии, комсомольцы его прозвали Подумай-ка («пойдем к Подумайке», «надо согласовать с Подумайкой!»). Это был мрачноватый мужчина неясного возраста — вроде и молодой, а в волосах проседь и возле рта морщины как две канавки. Когда его о чем-либо спрашивали, он говорил: «А ты сам подумай-ка!» Обязательно заставит поискать ответа или решения, а уж потом выскажется. Его уважали, но побаивались — мрачноват.

Согласовав с ним предложения по комсомольским перевыборам, уже назначенным, я как бы между прочим спросила, знал ли он Розенштейна и кем он был.

— Михаил Евстафьевич? Да вот он.

На стене в черной рамке, окруженной еловыми веточками, висела небольшая мутноватая фотография, вероятно, увеличенная со скороспелого снимка для документов. Расплывчатость линий и тонов не могла затушевать, она еще

подчеркивала энергическую неистовость худого лица с высочайшим лбом и жаркими глазами, с темными усами над резким ртом — такие люди не бывают пассивными, их доля быть не ведомыми, а ведущими, они живут в борьбе и умирают в борьбе.

— Питерский он, с Путиловского завода. А к нам приехал в восемнадцатом году — наш чугунолитейный завод был вроде филиала Путиловского.

— В Видлице — завод?

— А ты и не видала? Старый завод, чуть ли не с петровских времен. Был! В войну его разрушило до основанья. Я на нем, кстати сказать, три года на печах работал… Хочешь поглядеть — ну, не завод, так Ладогу? Сегодня поеду туда. За корюшкой. Корюшка пошла. Могу прихватить.

— А далеко?

— Ладога-то? Версты три будет.

Так… Около месяца прожила и только сегодня узнала, что Ладожское озеро в трех верстах, а в Видлице был старинный завод!

— У нас в партию коммунистов вступило больше ста мужиков, и все его крестники. Вот и подумай-ка, что он за человек.

Он смолк, чтоб я подумала, но, видно, ему уж очень не терпелось рассказать приезжей то, что все видлицкие знали.

— Михаил Евстафьевич в Видлице — начало всему. Первый коллектив большевиков он создал. Комитет бедноты — он. Первый отряд защитников революции — тоже он. В Совете поначалу засели эсеры, он с ними борьбу повел в открытую, при всем народе: чего эсеры хотят, чего большевики хотят, что эсеры делают, что — большевики. Слушайте, люди, и подумайте, кто вам нужен. А когда Михаил Евстафьевич говорил-объяснял, правда — как на ладони. И не то чтоб такой оратор, нет, убежденность в нем была и понимание, потому что большевик с подпольных времен, в тюрьмах и ссылках его школа! Подумали мужики и избрали новый Совет — сплошь большевиков и сочувствующих. И конечно, Михаила Евстафьевича первым номером. Зато уж кулачье да лесопромышленники ненавидели его! По-своему они, конечно, правы были — им с Михаилом Евстафьевичем по одной земле не ходить.

Вот так или примерно так — через столько лет каждое слово не вспомнишь! — рассказал мне Подумай-ка, кто такой Розенштейн. Говорил он страстно, видно было, что говорит об очень любимом человеке. А потом потемнел лицом, и глаза потемнели, почернели даже, хотя были серые.

— Когда напали белобандиты, а с ними заодно наши кулаки да купцы, сволочь на сволочи, первая мечта у них была — поймать Розенштейна, растерзать, повесить. Если б он на той проклятой колокольне последний патрон для себя не сберег, они б над ним потешились!.. — Круто оборвал рассказ: — Так жди после шести. Заеду.

Заехал он на телеге, на которой звякали пустые ведра, и повез меня сначала к остаткам церкви — груде закопченных и расстрелянных камней. Полуобвалившаяся стена колокольни жалостно и беззащитно возвышалась над этой грудой. Я смотрела ошеломленная — двадцать лет спустя я нагляделась на всяческие развалины, куда более жуткие, одна уцелевшая стена шестиэтажного дома — с приметами недавнего уюта, с кокетливыми обоями и семейными фотографиями, даже с веником в углу над пропастью — до сих пор стоит перед глазами. Но те видлицкие руины были первыми.

— Тут и держались сколько могли, — раздался рядом глухой голос. — А вон там, видишь, пролом в ограде… Он велел прорываться! И часть бойцов сумела.

Дернул вожжи, причмокнул — поехали дальше. Но опять не к Ладоге, а к братской могиле. Без толпы вокруг, без знамен и плакатов бесконечно одиноким показался надгробный камень.

Мы соскочили с телеги и пошли к надгробью. Мой спутник остановился перед ним, склонив голову с частой проседью, поднес руку ко лбу, словно хотел перекреститься, но не перекрестился, а приставил ладонь козырьком и из-под козырька всматривался во что-то — не понять во что. Я читала скорбный перечень расстрелянных: фамилия, имя, возраст… Имена мне ничего не говорили, но возраст!.. Девятнадцать лет. Двадцать два года. Восемнадцать лет. Двадцать лет…

— Коля Соловьев, учитель, — снова глухо раздалось рядом со мной, — двадцать два ему. А какой парень!.. Гоша Поташев, почтарь наш, теперь называется — начальник почты… Володя Трофимов, видишь, девятнадцать лет. Первый секретарь нашей партячейки. Израненного схватили, издевались, он весь в крови, а его — на допрос. Офицер ему: «Хочешь милости? Проси, будешь живой!» А Володя ему: «Не нужна мне ваша милость. Советская власть будет жить, а вам, палачам, смерть!» — Он всхлипнул сдавленно, страшно. — Лежат как один. А я живой. Смотрю — будто вижу, что и я тут записан.

Повернулся и пошел к телеге.

Молча выехали за село, миновали поле, лесок, дорога пошла кружить среди дюн, поросших соснами, кое-где виднелись крестьянские домишки, потом остов выгоревшего и разбитого

большого каменного дома, еще какие-то черные развалины, и совсем неожиданно перед глазами распахнулся темно-серый взбаламученный простор моря — нет, озера, подобного морю! — и дунул в лицо разбежавшийся на просторе не земной, а морской, шалый от воли, влажный ветер, а с ним — запахи воды, гниющих водорослей, рыбы, мокрого песка, — знаю, педанты могут сказать, что песок не пахнет, но я ручаюсь, что в терпком смешанном запахе побережий есть и особый запах мокрого песка, даже камня, обкатанного волнами, — кто его не чует, пусть пеняет на себя.

Ладога!

Я ждала, что мой мрачный спутник покажет следы завода и следы войны, что он будет рассказывать о событиях, совсем недавно происходивших тут, на озерном берегу, но он, кажется, забыл обо мне совсем, покричал рыбаку, подходившему с озера, они о чем-то бодро переговорили по-карельски, даже посмеялись, затем Подумай-ка пошел крупными шагами между сосен, я побрела за ним, увязая в песке, и вдруг увидела устье реки, запруженное до отказа бревнами, и могучие плоты из тех же бревен, которые вытягивал в озеро маленький пыхтящий буксир.

— В Питер потопали, — сказал мой спутник, не оглядываясь на меня.

— Прямо в Питер?

— Когда прямо, а когда — буря налетит, растреплет, а то и вовсе выбросит на берег.

В Питер! Слова о буре прошли мимо моего слуха. Зато ясно представилось, что мы с Палькой едем в Питер, вместе едем и поступим там учиться, и во всем Питере нас будет всего двое…

Влажный, теплый ветер дул мне в лицо и посвистывал о том же.

— Иди-ка сюда, Вера. Вот это свезешь Терентьевым.

У меня в руке оказалось ведро блестящей пошевеливающейся корюшки. Подумай-ка держал второе ведро и продолжал говорить с рыбаком по-карельски. Рыбак был пожилой, в мокрой куртке и высоких сапогах с отворотами, он закуривал короткую трубочку, прикрывая огонек спички коричневыми морщинистыми руками, — ну заправский рыбак с картинки!

А в лодке в большой посудине или корзине, не разглядеть, пошевеливалась, блестя серебристыми боками, корюшка — масса корюшки. Ее острый запах, напоминающий запах свежего огурца, забил все другие запахи, даже табачного дыма.

— Знакомься, Вера.

Что он сообщил обо мне рыбаку, я понять не могла, но рыбак улыбнулся и показал ладони — дескать, грязные, не для рукопожатий.

— Сколько рыбы! — сказала я, чтобы доставить ему удовольствие.

— Уж когда она идет, так идет, — сказал рыбак.

— Между прочим, вот этот товарищ был разведчиком, когда готовился десант на Видлицу, — сказал мой спутник, — самое важное задание они выполнили — промеры глубин в реке, чтоб знать, докуда наши корабли могут войти в устье. Расскажи ей, друг, она в газетах пишет.

Я покраснела, все невыносимей казалось мне звание журналистки — будто я самозванка. Но рыбак не обратил на это никакого внимания, он сам выглядел смущенным, ответил скупо:

— А чего рассказывать? Вышли как на рыбную ловлю, незаметно промерили.

— Вот такие люди здесь, — сказал Подумай-ка, когда мы ехали обратно, придерживая ведра с корюшкой.

Больше он ничего не говорил, и я молчала, думала. Люди действительно т а к и е, написать бы о каждом из них, неужели Витя Клишко не напечатает, если дать небольшой очерк о гибели Володи Трофимова или об этом рыбаке, который делал промеры глубин для десанта… Надо написать Вите, предложить темы на выбор… Вот о чем я думала, а в душе опять что-то свербило, царапало, как вчера ночью, и сама я не понимала, что и почему.

Я очнулась от мыслей, потому что мой спутник, оказывается, снова говорил, начало я пропустила, а когда вслушалась…

— Был приказ прорываться, и прорвались, — говорил он с горечью. — Виноват я в чем? Нет. Без винтовки ни одного дня не был, не прятался, сразу к отряду Филиппа Егорова прибился и воевал до конца. А вроде виноватый, потому что он в могиле, а я живой.

Что тут скажешь? Вздыхала, слушала. И еще выслушала его длинное неторопливое размышление о том, что человек человеку неровня, хотя мы и боремся за равенство, но не может быть равенства в таланте или в авторитете.

— Вот был Михаил Евстафьевич, а вот я, и я сижу на его должности, такая комедия, — говорил он отнюдь не весело. — Это ведь если человек дурак или пустомеля, он думает: раз я на должности, значит, меня должны уважать, значит, я умный. Ну у меня есть совесть, так проверку себе устраиваю: что я такое? и как бы Михаил Евстафьевич поступил на моем месте? что бы он сказал, посоветовал, решил? Так ведь он был весь как искра, от него люди зажигались, а я, как ни старайся, першерон, есть такие лошади, нагрузи — вытянет, а резвости от нее не жди.

Вечер этого длинного-длинного дня был похож на праздник,

потому что по-праздничному приняла корюшку Мать, она раскраснелась, засияла, быстро и весело затараторила по-карельски, я поняла: пусть некому у нас рыбачить, а без рыбки и мы не остались, добрые люди о нас не забывают! Это ли она говорила? Не успела я оглянуться, как у нее уже топилась плита, ее быстрые руки чистили корюшку, на плите стояла самая большая чугунная сковорода… и вскоре из окошек нашего дома струей потянулся запах жареной рыбы и смешался с такими же духовитыми потоками воздуха, гулявшими по всему селу, — корюшка пошла!

В тот вечер я была уверена, что ни в морях, ни в океанах нет рыбы вкуснее корюшки. Мы втроем опустошили всю сковороду, кусками хлеба досуха очистили ее от поджаристых рыбных крох, Мать на равных с нами, я еще не видала ее такой оживленной, даже шаловливой, она своим куском отталкивала наши и смеялась так молодо, что я впервые поняла — совсем она не старая, наверно, только-только перевалило за сорок…

Потом мы долго и с наслаждением пили чай, вернее, то, что тогда заваривали вместо него, чай мало кто покупал, один фунт китайского чая стоил на рынке два — два с половиной миллиона рублей. Но что бы там ни парилось в заварочном чайнике, сушеные ягоды или смородинные листья, поющий на столе самовар и славные люди вокруг стола придавали прелесть любому напитку.

Когда я легла в постель, блаженно усталая и сытая, в сонном сознании поплыли отрывки пережитого за сутки — спектакль, я выпрастываю знамя из-под Степы… в зале поют и плачут… «Если дурак или пустомеля на должности»… рыбак с лодкой, где шевелится серебристая масса рыбок… «А чего рассказывать? Вышли как на рыбную ловлю и промерили»… И снова спектакль… аплодисменты… люди поют и плачут… «Милость ваша мне не нужна, Советская власть будет жить, а вам, палачам, смерть!»… «Они лежат. А я живой»…

Должно быть, я уже задремала, когда меня вдруг сильнейшим толчком разбудил стыд. Накапливался, накапливался целые сутки, свербил душу — и прорвался. Да так, что сна ни в одном глазу.

«Дурак или пустомеля»… П у с т о м е л я! — вот я кто. А еще радовалась — успех! Сочинила, сыграла — двойной успех! М о г у писать! А при чем тут я? Разбередили свежее горе, намекнули на пережитое — и все. За это и хлопали, оттого и плакали…

«Инсценировка»! — а что я инсценировала? Я же ничего не сумела и даже не пыталась сделать по-настоящему! Припомнила

пьеску, которую наскоро сочинила в Петрозаводске и, переписывая от руки, давала волостным драмкружкам, присочинила еще, похватав вскользь услышанное… Ох, как стыдно!.. Около месяца прожила рядом с Таней, выдумывала своих героев и героинь, а не потрудилась узнать, что делала эта живая деревенская комсомолка в дни недавних боев! Речь на митинге закатила, погибших героев славила, призывала быть такими же, как они, — а какими они были? как погибли? — не расспросила!.. Понаслышке сочинила кулака, выдавшего комсомольцев, а когда Генка, исполнитель этой роли, спорил со мной на репетициях, даже не задумалась, что Генка больше меня знает, своих видлицких кулаков помнит и ненавидит, все их повадки изучил в жизни!.. Генка пытался говорить тихим, вкрадчивым голосом, а я требовала грубости и властности, я даже пыталась одеть его в жилетку поверх рубахи навыпуск, как купца из пьес Островского!.. И только накануне спектакля совершенно случайно узнала, что клуб, где мы будем играть, оборудован в доме видлицкого богатея Никитина, выдавшего многих коммунистов и комсомольцев, а потом убежавшего с беляками в Финляндию!.. Верхогляд и пустомеля — вот я кто. Вместо жизни — плакатные фигуры, приблизительность ситуаций, избитые эффекты…

Лежа с открытыми глазами и рассеянно следя за тем, как нежные отсветы зари передвигаются по стене и потолку, я не давала себе поблажки ни в чем. Хватит! Шестнадцать лет, а что я знаю? Что умею?! Сделала «доклад» серьезным работящим людям, крестьянам, бойцам двух войн… а много ли я могла им сообщить, «товарищ из центра»?! Ну о фашизме хватило совести признаться — не знаю, а как я ответила на вопрос о Волховстрое? Повторила то, что рассказали ребята-плотники в поезде, а они говорили со слов земляка, ничего себе, точная информация! А ведь план ГОЭЛРО напечатан, Ленин назвал его второй программой партии, но я не изучила его, даже не читала… С т ы д н о. Все, что я наговорила, — с лету, со слуха, все «приблизительно верно», и только. Да ведь и то, что я написала, тоже приблизительно — и не больше.

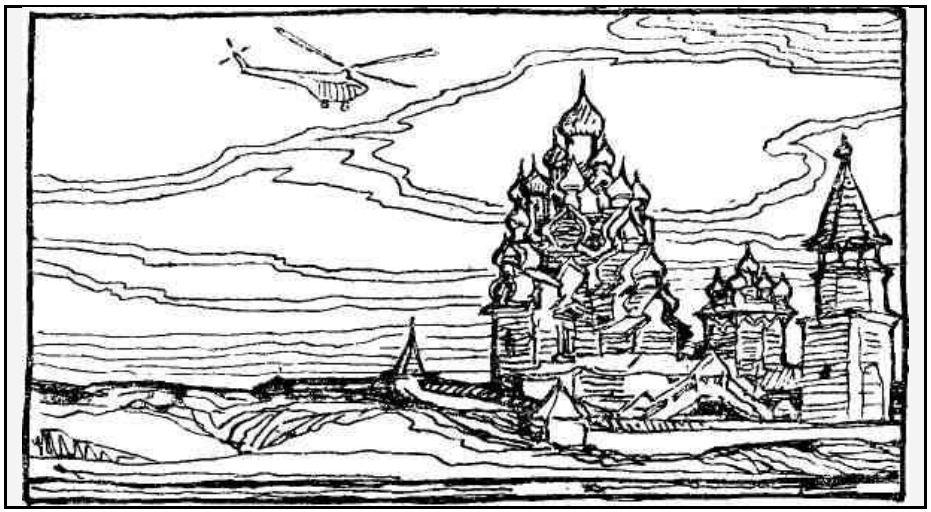
Я корчилась от этих самообвинений, но и тянулась к ним, получала мучительную усладу от их беспощадной прямоты. Да, да, да, правду — до конца! Вот я досадую, что у Пальки выкрутасы, вранье, а что я писала ему на фронт? Первая начала врать про какого-то любимого человека на самом крайнем севере фронта! А вокруг нас — т а к и е люди. Прямые как стрела. Есть цель жизни, и все подчинено одному — цели! Даже смерть…

Палька прав — надо с т а т ь к е м - т о. А для этого учиться.

Ох, как я буду учиться! Знать, знать как можно больше и основательней — знать! И писать я буду, наверное буду. Но только никогда больше — никогда — ни в чем — ни разу — никакой приблизительности, никакого пустомелья! «У меня есть совесть, и я себе проверку устраиваю»… Главней этого ничего нет: совесть и проверка самой себя. Чтоб не давать поблажек, не заниматься чепухой. Быть прямой, как те люди. Без выкрутасов…

Вот так я занималась самокритикой и принимала суровейшие решения на северной полуночной заре…

ОТГОЛОСКИ НОВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ



Пока я выстраивала во времени, обрабатывала и дописывала карельские главы, я твердо знала, что вслед за ними, с этой вот страницы, начнется мое «третье путешествие через пятьдесят лет» — по местам юности. Для того и ездила в Карелию совсем недавно, ранней весной, когда в реках и речках высокая вода, в лесах еще белеют наметы снега, но он тает, тает, заливая низины и обмывая белы ноженьки березкам, и каждая березка двоится — одна тянется вверх, к солнышку, а другая упала навзничь, на воду, и дрожит-подрагивает от каждого дуновенья. А на проселочных дорогах та самая «распута», когда ни на полозьях, ни на колесах.

В такое вот время я вглядывалась в родные места, изучала, записывала, вспоминала и запоминала… А подошла пора писать — не пишется, не складывается. Почему? Сама не понимаю. В нашем труде так случается нередко — вроде бы продумано, материал в руках, есть живое, собственное ощущение материала, ну садись и пиши. Так нет, что-то мешает, какое-то внутреннее, еще не осознанное сопротивление. «Какое-то» — а поди знай какое! Несколько дней бродила вокруг да около — ясней не стало. Пыталась заставить себя — вдруг в процессе работы все пройдет или хотя бы определится? Но когда сама себя за шиворот тянешь к столу, ничего хорошего не выходит.

И как раз в эти дни внутренней смуты долетел до меня будоражащий слух — пошли грибы, да не какие-нибудь, а белые! Махнула рукой на работу, на сроки — и в лес.

Какое ж это ни с чем не сравнимое удовольствие!

Приятное волнение начинается еще до того, как выехали из дому. Что надеть — старую легкую обувь или резиновые сапоги? Какие брать корзины — маленькие или большие? Если маленькие — вдруг некуда будет класть, а если возьмешь большие, но грибов не будет, с какой физиономией вернешься домой и каких насмешек наслушаешься, начиная с классического вопроса: «Не помочь ли донести?» Наконец — куда ехать? Пусть знакомы грибные места в радиусе ста километров, но вот сегодня где больше шансов? Воображение тянет в сосновые боры, где из-под голубоватого ягеля приманчиво выглядывают, горбатясь, грибные аристократы — боровики. Но выглядывают ли?.. Можно поехать на наши излюбленные лесистые холмы, где в урожайный год тут и там краснеют в траве подосиновики, а возле ледниковых валунов попадаются и белые, но красных, говорят, нынче мало. Можно по приморскому шоссе махнуть в прибрежный смешанный лес, где мы находим всякую всячину, от волнушек до белых, а на травяных полянках бывало желто от маслят. Наконец, есть тенистые, болотистые низины, где уж чего-чего, но сыроежек наберешь.

Как известно, решаться надо сразу. И мы решились. Но, пока наш «жигуленок» мчался по шоссе, сомнения нет-нет да и закрадывались в душу: а если… а если… Но вот мы свернули на знакомую лесную дорожку, увидели на вершинке ближайшего холма голубую «Волгу», а поодаль из-за деревьев ехидно улыбнулся такой же, как у нас, белый «жигуленок» — улыбнулся и выехал навстречу; то ли наши конкуренты с рассвета набрали полные кузовки и, счастливые, едут домой, то ли разочаровались и решили поискать счастья в другом месте. Мы разминулись с ними и поехали дальше, приглядываясь к окружающим склонам, — ох, какой мох, какие уютные впадинки, какой пряный сосновый, мшистый, грибной дух сочится в приоткрытые окна машины!

Остановились. И тотчас моя двоюродная сестра издает победный вопль: подберезовик! Это лес заманивает. Как русалка моряка. Чем меньше грибов, тем обязательней вот эта первая находка: стоит торчком возле самой машины аккуратненький, чрезвычайно независимый гриб на длинной ножке, с небольшой черной шапочкой, стоит и как бы приговаривает: это что! это только начало! вы дальше пойдите!..

Похватав корзины и ножики, бросаемся врассыпную на полной скорости: в начале похода всегда чудится, что грибы вон там, под той березой, или на краю той воронки, или на том тенистом склоне, и надо только первой добежать, разглядеть,

наклониться и осторожно, ножичком, чуть выше корня…

Если грибов много, азарт нарастает с каждой минутой, и ты скатываешься по крутому склону, потому что где-то внизу зазывно краснеет не то шляпка подосиновика, не то осиновый лист, ты шлепаешь по болоту (ничего, что сапоги не надела!), устремляешься в пленительный распадок, где по краю канавки должны быть — и находятся — подберезовики и суховатые маслята, а иной раз вопреки собственным обычаям рыжеватым бугорком высунется из песка белый. Если грибов мало, азарт сникает, походка становится тяжелей, смотришь не только вниз, но и по сторонам — благодать-то в лесу! — и на небо взглянешь — какое же оно ясное, тихое, медлительные белые облака то отделят солнышко от земли, то пройдут стороной и лишь тонким краем затуманят его, и тогда в лесу становится еще спокойней, без слепящего блеска все видно отчетливей, и как бы в поощрение тебе, приподнимая рыжие иголки прошлогодней хвои, подмигнет белой губкой из-под завернувшейся набок шапки — гриб!.. Шапка на нем белесая, еще не покрасневшая, завернулась она оттого, что сбоку придавил сучок, но все же это отличный подосиновик, ни червоточинки.

Грибов было мало, и мы с Кирой шли все ленивей. Кира сказала:

— Мы же не с промышленной целью, погулять и подышать!

Вот и гуляли, и дышали, и присаживались на поваленные стволы покурить. Я призналась, что не пишется новая глава, заколодило, она улыбнулась: «Не в первый раз»; и действительно — не в первый, сколько раз бывало, что заколодит, хоть бросай писать вообще, а пройдет время — и все найдется, придумается, напишется.

Перекурили это дело, снова подышали и пошли к машине. У Киры было четыре белых, у меня ни одного.

— Это хорошо, что у тебя, — сказала я, — а то бы ты стонала, что зрение подводит, а я чувствовала бы свою ответственность — позвала по грибы, а их и нету.

— Ты чуткий, отзывчивый товарищ, — сказала Кира, — с повышенным чувством ответственности.

— Скромный товарищ, — добавила я.

«Жигуленок» был уже виден, мы неторопливо шли к нему по склону холма и не очень поглядывали вокруг — где уж, на этом холме голубая «Волга» стояла, кругом следы людей — затоптанный костер, грибные срезы и, конечно, консервные банки.

И вдруг…

У подножия тонкой сосенки, среди негустого зеленого мха,

но не прячась, а свободно, у всех на виду, на юру, две бархатистые темные-темные коричневато-красные шляпки на таких плотных, толстых, мясистых ногах, какие бывают только у боровиков. Один большой, второй поменьше, и почти срослись у корня. Стоят себе, гордецы, ничем не маскируясь, в нескольких шагах от затоптанного костра.

— Кира! — закричала я, медля срезать их, чтоб показать такую красоту сестре. И тут же увидела выпирающую из-под мха еще одну бархатно-темную шапку. — Кира! Еще один!

— Этот тебе за чуткость, — сказала Кира, любуясь срезанными грибами, — этот за отзывчивость. А самый большой — за чувство ответственности.

Поискали вокруг, нет ли четвертого — за скромность. Не нашли. Ну раз за скромность нету, я понесла свои трофеи в руках и, захлебываясь от восторга, рассказала нашим, как я неожиданно нашла их, как позвала сестру и тут же увидела третий и закричала: еще один!..

— Ты закричала не «еще один», а срывающимся голосом: «Чур, мой!», — поправила Кира.

Неужели?.. Выходит, не зря четвертого, за скромность, нету.

Посмеиваясь, сели в машину. Поехали.

Почему-то вспомнилось, как много лет назад, когда Сережке было лет двенадцать, мы его тщетно будили на рассвете, он лягался и отпихивал наши руки, а потом проворчал, еле разлепив сонные глаза: «Глупо в век макарон и сосисок искать земные отростки!» Но поехал, искал их и набрал больше всех.

И впрямь, на что они нам сдались, эти земные отростки?! Говорят, наши северные соседи не едят грибы, стоят себе отличные боровики, а финны равнодушно проходят мимо. И на русских гостей, бросающихся собирать их, смотрят с удивлением. А у нас — азарт. Страсть. Вкусны? Что ж, они и жареные неплохи, а маринованный грибок — отличная закуска, если есть что закусывать, и соленые сыроежки или грузди — прекрасная штука. Но и купить их в грибной сезон нетрудно, на рынке — целые грибные ряды. Да разве дело в еде! Нашу тетю Лину и не заставить было поесть грибов, а собирать их она была великая охотница. Прелесть именно в том, чтобы встать пораньше, когда только-только светает, и час за часом ходить по тихому, просыпающемуся лесу, и устать так, что уж и ноги не идут, и корзинку тащить — если удача, — кособочась от ее немалой тяжести… Пусть и работы по горло, и выспаться не успела, если пошли грибы — ни за что не откажешься. Дождь зарядит — все равно идешь, под дождичком и гриб любит покрасоваться глянцевитой шляпой.

Вот так я смягчала свою вину, что махнула рукой на работу и на сроки. Но от себя не уйдешь, и под еле слышное гудение мотора я незаметно вернулась к своей недремлющей заботе — связь была, хотя и зыбкая, — задумалась о недающемся третьем путешествии и как-то сразу поняла, что писать его не нужно. Откуда-то выплыло сухое слово — неконтактность. Да, может нарушиться контакт между авторским настроением и восприятием читателя. Для меня путешествие по местам юности — трепетное узнавание полузабытого и на каждом шагу открытия: вот что тут выросло, вот как изменилось, отстроилось, похорошело! Первое, мурманское путешествие было мне совершенно необходимо, я же рассказывала о планах развития края, намеченных отцом и первыми мурманскими большевиками, тогда это были всего лишь мечты, они оказались преждевременными, хоть и дальновидными, и никто из мечтателей не дожил до их осуществления… Как же не взглянуть, что сделали — и с лихвой — следующие поколения?! К сожалению, я не могла избежать беглости, очерковости рассказа — взгляд-то короткий и к тому же растроганный! А читателю нет дела до ахов и охов растроганного автора, взгляд у него современный, требовательный — такой же, как у меня самой в любой другой поездке, когда я приглядываюсь к новому краю не только заинтересованно, но и взыскательно, не умиляясь тем, что естественно.

Ну скажем, дороги… После давних юношеских скитаний было восхитительно мчаться на легковой машине по прямому шоссе Петрозаводск — Олонец. Четыре часа вместо суток! Кругом — та самая «распута», месиво снега и грязи, озера талой воды, а у нас под колесами — асфальт. И от Олонца до Видлицы — то же, я лишь изредка узнавала, вернее — догадывалась, что мелькнувший сбоку от шоссе отрезок извилистой лесной дороги, затопленной до обочин, — остаток той, по которой я когда-то в потемках плелась за санями, а новый крепкий мост поставлен вместо того, что мы форсировали вброд. Меня это возбуждало, радовало, но, строго говоря, иначе и быть не могло, местных руководителей сняли бы за нерадивость, если б они до сих пор не проложили хорошие дороги. Впрочем, чуть отступи от шоссе — работы им и теперь хватает!

Посторонний человек, заметив подходящий к Олонцу железнодорожный путь, принял бы его как должное и, возможно, удивился бы: только теперь прокладывают железную дорогу? А уж если б ему пришлось ехать машиной из Олонца в Лодейное Поле и внезапно надолго застрять на берегу Свири, пока медлительный паром швартуется у другого берега, принимает на борт автобус,

грузовики и легковушки, не спеша перевозит их через реку, а потом по очереди («Осади назад!», «Еще немного!», «Давай, давай!») выпускает их в дальнейший путь… тут уж посторонний путешественник наверняка ругнулся бы: что за допотопная техника в наш век скоростей! Патриоты края, хотя они сами томятся и бранятся в ожидании парома, поспешили бы показать заезжему человеку — вон там, выше по течению, уже заканчивается строительство первоклассного железнодорожно-автомобильного моста, к праздникам пойдут первые составы, первые машины. «Наконец-то! — скажет заезжий гость. — Долго же до вас очередь не доходила!»

Было бы наивно восхищаться, что Петрозаводск деревянный стал Петрозаводском каменным и многоэтажным, что в городе — университет и несколько вузов, несколько театров, Дворец пионеров и Дворец культуры Онежского завода, что не только в Петрозаводске, но и в Олонце созданы и любовно пополняются краеведческие музеи, что… да многое еще можно бы перечислить, но все это в порядке вещей, все это естественный ход нашего социалистического строительства.

Пятьдесят лет. Половина века, да еще такого стремительного, как двадцатый!

Вот так, по пути из короткого грибного «отпуска», я отказалась от рассказа о своем третьем путешествии. Но оно живет во мне, потому что те места мне интересны и милы. Отголосками встречи с Карелией нет-нет да и возникают картины и мысли — то, что отсеялось из множества впечатлений, то, что запало в душу. И я подчиняюсь этому естественному отбору.

Почему меня неудержимо тянуло в Кондопогу, обязательно в Кондопогу? Объясняла товарищам и самой себе: хочу на месте убедиться, что именно там произошла история с запиской: «Пусть комсомолка уйдет!» — а для этого проверю, там ли жил и работал Гриша Пеппоев, его я запомнила точно. Скажу сразу, что в Петрозаводске в областном партархиве я без труда нашла нужные сведения — комсомольским волорганизатором в Кондопоге был Григорий Пеппоев, железнодорожник двадцать девятого околотка, нам с Гришей Пеппоевым поручили проведение волостной конференции молодежи, провести ее намечалось 25 сентября 1921 года. Для таких уточнений незачем было ехать в Кондопогу. А тянуло меня, потому что… да, потому что та ночь на крыльце волкома была одним из сильнейших переживаний юности и научила меня не только умению перебороть страх. Так, наверно, солдата влечет на бывшее поле боя, где он получил боевое крещение. Так, наверно, пожилой человек, попав на улицу своего

детства, замрет на том самом месте, где когда-то впервые победил в честной мальчишеской драке. Меня притягивали Кондопога и Видлица, Видлица и Кондопога.

Ехала к воспоминаниям, а повернулось все по-другому.

Конечно, я и не ждала, что увижу то самое село, я прекрасно знала, что Кондопога уже давно солидный промышленный центр с гидростанцией, построенной одной из первых по плану ГОЭЛРО, с первым советским целлюлозно-бумажным комбинатом и любопытной новинкой — заводом каменного литья, чьи литые трубопроводы на диво прочны и не боятся коррозии. На этот завод я так и не попала — в поездках роковым образом не хватает времени на то, что тебя интересует. На бумкомбинат имени Кирова мы тоже попали поздно и второпях, хотя он привлекал особенно: бумага! Сколько мы живем и работаем, столько и ощущаем бумажный голод — начиная с решения 1922 года о закрытии нашей молодежной газеты «из-за недостатка бумаги» и по сию пору. Как будто большими тиражами выходят наши книги, а в магазинах их нет, на библиотечной полке тоже редко увидишь. Прикинем тиражи на «душу населения» или хотя бы на количество библиотек: читателей у нас миллионы, библиотек около четырехсот тысяч, а тираж книги — хорошо, если сто или двести тысяч!..

Конечно, мы полюбовались новой громадной бумагоделательной машиной, поглощающей сырую древесную массу с одного конца и выпускающей на другом конце чисто-белую бумажную ленту, которая плавно сматывается рулоном. Механизм снимает и откатывает полный рулон, а машина уже наматывает следующий. Оценили мы и мини-мини-сарафанчики девушек, столь уместные в тропической атмосфере цехов, и выносливость мужчин, для которых пока не придумали прохладной и легкой спецодежды. С удовольствием узнали, что на этом старом (уже старом, первых пятилеток!) комбинате производство обновляется и расширяется — бумага! Больше будет бумаги! Но…

Но к радости примешивалась горечь, когда в цехах первоначальной обработки древесины мы смотрели, как зубья машин ненасытно втягивают стволы, стволы, стволы… а на лесном рейде, ожидая своей очереди, теснятся неиссякающие массы сплавного леса — стволы, стволы, стволы карельских вековых елей!

Будущая бумага… будущие наши книги…

Но разве только на бумагу рубится и рубится лес?! А строительство? А горная крепь? А мебель? А экспорт? По рекам, по рельсам, на мощных грузовиках мчатся по многим

направлениям стволы, стволы, стволы…

Когда мы выезжали из Петрозаводска, я все поглядывала по сторонам — именно сюда мы когда-то ходили и ездили по грибы. Вокруг тянулись сквозные березово-осиновые перелески с разбросанными тут и там елками-недоростками. Забыла я об этих сквозных, просматриваемых вдаль перелесках — или их не было? А вот эти елки-недоростки — были они в те годы или не были?.. Ведь для человека пятьдесят лет почти вся жизнь, а для ели это не возраст, она еще и невысока и вширь не раздалась, она доверчиво простирает сочные ветви над родимой землей, как мы — ладони над камельком; каждую весну на концах ветвей светло сияют нежнейше зеленые молодые приросты, на игольчатом задорном торчке макушки во все стороны вразлет отрастают веточки — еще год отсчитан новым кольцом ветвей! — а свеженький торчок уже тянется выше, предвещая рост будущего года. Она еще несовершеннолетняя, эта ель, если она проклюнулась из семечка пятьдесят лет назад, когда я тут бродила девчонкой, теперь она только-только входит в пору крепкой молодости… э-эх, мне бы так!..

— Да… — сказал шофер и вздохнул. — Лес не поторопишь…

В беседах с самыми разными людьми — от рядовых горожан и сельчан до ответственных советских и партийных работников — я ощущала тревогу и заботу о карельских лесах — ведь это не только главная краса Карелии, но и прелесть ее климата с теплым летом и звонкими зимними морозцами, это полноводность ее быстрых рек и задумчивых озер. Судьба лесов — это и судьба вод. Редеют леса — мелеют реки, меньше воды они сбрасывают в Онего и Ладогу… зато предприятия все еще норовят сбрасывать в воду свои отходы.

В Кондопоге на ее дальней окраине я нашла остатки села, где провела ночь на крыльце волкома, увидела старинную церковку на мыске, омываемом водами, и вогнутую линию берега, вдоль которого — мимо крепких домов, мимо покосившихся банек — мы шагали с Гришей Пеппоевым в поисках ночлега. Я сразу узнала по форме дуги широкую бухту, обстроенную все теми же домами и баньками. Но что с нею сталось?! Рыже-черная гниющая масса древесных отходов забила ее от края до края неприглядным ковром, таким плотным, что и волны не разрывают его, а только покачивают… Год за годом извергалось в бухту все, что не годится для производства бумаги…

Заводские товарищи заверяли нас, что теперь вступили в строй очистные сооружения и отходов в озеро уже не сбрасывают. Очень это отрадно. Но как быть с этим вот рыже-черным ковром, с этой плавучей могилой? Будут убирать. Впрочем, до такой

«уборки» еще должны дойти руки, нужна техника, нужны средства, и наконец нужна настоятельная потребность сделать это именно сегодня, а не послезавтра, хотя оно, как говорится, «не горит»!

Леса. Воды. Воздух… Великое благо — цивилизация, но каким дорогим, а часто невосполнимым богатством мы расплачиваемся за нее, за нашу благодетельницу!

В мире частного предпринимательства хищническое отношение к природе преодолеть трудно, а часто и невозможно. «Давай, давай! Побольше прибыли, а после нас хоть потоп!»

Ну а мы как? В нашем плановом, централизованном народном хозяйстве? Будем откровенны и самокритичны. Мы тоже не всегда удерживались. С лесами в частности. Почему? Вспомним: сперва необходимо было преодолеть страшнейшую, похожую на паралич разруху, а для этого нужны были деньги, валюта, и, если у нас брали за нее лес, мы давали лес, лишь бы получить станки, паровозы, турбины, автомобили, вопрос стоял или — или, жизнь или гибель!.. В крови, в поту, в старых обносках, не жалуясь и не мечтая о сытости и покое, мы выбрались из войны, из разрухи, из нищеты. Всем миром выбрались! Но встала задача посложней — в самые сжатые сроки, потому что передышку мы вырвали с боем (и надолго ли?!), преодолеть страшенную российскую отсталость — экономическую, техническую, культурную. А для этого нужно было многое покупать за границей на золото и покупать наличными, нам не очень-то шли навстречу с займами и кредитами, нас еще надеялись свалить, в наши созидательные силы не верили, наши первые пятилетки высмеивали: блеф! пропаганда! большевистские сказочки! Им нужен был лес? Мы давали лес… О н и считали, что русские иваны никогда не сумеют освоить технику, а русские иваны были действительно неграмотны, нужно было учиться и учить, нужны были тысячи школ, институтов, техникумов, нужны были миллионы учебников и книг, газет и тетрадей… Строились бумажные комбинаты — торопливо строились там, где выгодней, там, где еловые леса — рядом. Правильно? Конечно, правильно, а как же!.. Что бы мы делали без Кондопоги и других наших первенцев?! И для строительства нужен лес, и для мебели, и от экспорта мы не могли и не можем отказаться. Все необходимо. Все правильно. Но… Но если при этом вырубали участки сплошняком, не щадя молодняк, если нередко забывали расчистить вырубки, если брали сегодня, не думая о завтрашнем дне?..

Умные и суровые решения приняты у нас теперь по охране лесов, и вод, и воздуха. Так может уже незачем говорить о дом,

что можно «списать» в прошлое?.. Да нет, рано списывать. При самых мудрых законах должен произойти еще психологический перелом, заботливая нежность (да, нежность!) должна войти в души, чтобы все наши люди, а особенно молодое поколение, начиная с детсада и школы, берегли основу жизни на земле — природу. Берегли, и обогащали, и растили.

Лес не поторопишь? Да нет, оказывается, можно и поторопить. Немножко, но можно.

Молодые! Вы видели лесное поле?

Странное сочетание слов, не правда ли? Л е с н о е п о л е. А между тем так оно и называется. Я была на одном из многих карельских лесных полей под Олонцом — уж сколько месяцев прошло, а вспомню — душа веселеет.

Обычное вспаханное поле с длинными, во всю его ширину, грядами, так что можно даже сказать — огород. Лесной огород. На грядах — не овощи, а лес. Крохотные ели, крохотные сосны, крохотные лиственницы. Помните, я писала о зеленом шарике новорожденной сосенки? Таких шариков тут миллионы — в ряд, один к одному. И елочек миллионы, во младенчестве елочка чуть темней и стоит игольчатой веточкой, как ежик несвернувшийся, да и зачем ему сворачиваться, еловому ежику, когда здесь ему ничто не угрожает, посадили его в хорошо удобренную почву, поливают и холят. А лиственница и во младенчестве к осени желтеет, глубокой осенью стряхивает сухие иголки, весной обрастает свежими, ярко-зелеными, как большая, но всего-то их, иголок, на пальцах пересчитать!

Лесное поле — это детский сад будущего леса.

Когда они подрастут, эти лесные жители, заботливые руки лесоводов-энтузиастов (тут все энтузиасты) выкопают их и уложат в полиэтиленовые мешки — в 1971-м их выкопали четыре миллиона! — и отправят в коллективное путешествие к месту постоянного жительства. На расчищенных старых вырубках, на осушенных мелиораторами болотах, сделав для каждого малыша косую лунку специальным мечом, их высадят длинными рядами и скажут: растите!

— Ну и как они приживаются?

— Хорошо приживаются, примерно девяносто семь процентов. И подрастают дружно.

— И много таких посадок?

— Пятьдесят тысяч гектаров в год. Но этого мало. Мы все время расширяем свои лесные комбинаты.

Это из разговора с главным инженером лесного поля (интересно звучит, правда?) Алексеем Ивановичем Абрамовым и приехавшим из Петрозаводска ученым-лесоводом Анатолием

Артемьевичем Мордусем. Разобраться в коротком разговоре, что за люди, невозможно, но что они любят лес и увлечены своим делом — это улавливаешь с лету.

Здесь не только высевают семена и растят всходы — здесь ведется экспериментальная научная работа, и цель ее одна: ускорить! Ускорить рост новых лесов!

Меня ведут в обширную теплицу с полиэтиленовыми стенками и крышей. Это лесные детские ясли. Гряды хорошо заправлены торфом и минеральными удобрениями, дождевальные установки равномерно поливают их. От молоденьких всходов гряды густо-зелены. Теплица — эксперимент, и очень удачный: вместо трех лет посадочный материал поспевает за год. Научились тут и хранить выкопанные сеянцы на льду: посадочная пора — время горячее, во всех лесничествах люди работают без передышки, сеянцам приходится ждать своей очереди, вот и лежат они в мешках на льду, прекрасно сохраняются, это помогает продлить посадочную пору.

Научились лесоводы и прямо в поле ускорять рост сеянцев. Приемы самые обычные — заправка гряд торфом и удобрениями, поливка, прополка, рыхление, подкормка… Превосходный посадочный материал вырос за два года вместо четырех-пяти лет, с каждого гектара по полтора миллиона будущих деревьев!..

Странно это было — стоять на краю будущего огромного леса, где пока что деревца — хоть в лупу разглядывай. Стоять над миллионами крохотных ростков — и мысленно воображать себе карельские ели и сосны, подпирающие облака, и ощущать их глубокую тень и благодатный смолистый запах.

Все это разрастающееся дело, требующее немалых средств, труда, заботы, исканий, не для себя и даже не для своих детей. Ель и сосна растут девяносто, сто, сто двадцать лет — до совершеннолетия. Вот эти ростки с жизнерадостными иголочками будут взрослыми во второй половине XXI века!.. В семидесятых годах XXI века!..

Значит, не я и не вы, мои сыновья, и не вы, Оленька и Катюшка, а дети детей ваших или их внуки когда-нибудь, возможно, проедут по следам своей прапрапра… и с почтением войдут под сумеречные и душистые своды могучего карельского леса, будут собирать выпирающие из-под зеленого мха грибы и вряд ли поверят, что каждое из этих вековых деревьев когда-то выращивали на огородной грядке, как морковку.

Кондопожская церковка. Та самая, что полвека назад мимолетно восхитила меня благородством очертаний и местом, на которое ее так удачно поставили, — мысок, венчающий дугу

берега и с трех сторон омываемый водами Онеги, создавал для нее окружение, лучшее из возможных: откуда ни посмотри, чистые тона неба и воды.

Она и теперь стоит. Уже двести лет, а все так же крепки и навечно сцеплены между собою толстенные бревна ее стен, потемнели от времени, но на солнце по-прежнему сияют мягкой золотистостью, какую дает только дерево, его естественная фактура.

Она не так уж мала, эта церковка, какою кажется издали, — скромная, подбористая, вся порыв ввысь. Ее остроконечный шатер возносит маковку с крестом на высоту сорока двух метров, что, конечно, много, если вспомнить, что строена она с помощью плотницкого топора, умелых рук и мускульной мужицкой силы. Да еще острого глаза и удивительного художественного чутья, благодаря которым все в постройке соразмерно и нет ничего лишнего.

Знатоки русского деревянного зодчества любят повторять слова, записанные в старину в одной из подрядных записей, определявших, что и как должна построить плотницкая артель: «Рубить высотою, как мера и красота скажут». Вдумайтесь в это обязательство, подписанное малограмотными, а чаще крестиком вместо имени и вовсе неграмотными мужиками: «как мера и красота скажут»!..

И ведь без проектов, разработанных НИИ, без чертежей получалось.

Внутри этой церкви, в трапезной (трапезные, кстати сказать, были весьма мирским помещением, где судили-рядили, обсуждали деревенские дела, составляли договоры, отдыхали и даже пировали, трапезничали), я познакомилась с Василием Осиповичем Сметаниным, кондопожским крестьянином. Старинная церковь охраняется государством, Василий Осипович сторож при ней и пришел впустить нас, гремя солидными ключами. Малого роста, кряжистый старичок, он посматривал лукавыми глазами, наперед зная, чем мы восхитимся и что спросим, и старался опередить вопросы, сообщая те общие сведения, которые экскурсоводы заученно повторяют экскурсантам. Но стоило проявить интерес к самому деревянному строительству, к плотницкому умению, его лукавые глазки загорелись воодушевлением.

Показывая на доски пола, широкие, чистые и такие крепкие, словно и не пролежали тут двести лет, Василий Осипович рассказывал:

— Перво-наперво надо выбрать дерево. Чтоб росло на сухом месте и ровное было и чтобы само сердце было прямое.

Выбрать, чтоб сердце было прямое. До чего ж хорошо сказано! Но он о сердцевине.

— Приглянешь дерево, счисти немного коры и поведи по чистому месту острием топора: если поведет ровно или поведет вправо — можно рубить. Если поведет влево — не годится.

— Почему?

— А уж так известно. И без такой пробы дерево выбрать нельзя.

Затем он уточнил, что ширина доски — тридцать пять сантиметров, а толщина ее — семнадцать сантиметров.

— Из одного ствола выходят две такие доски. А раскалывали ствол вручную, лесопилок-то не было. Да и без лесопилки, если надо доску — ну по своему хозяйству, — так берешь клин металлический, а раньше был обыкновенный деревянный. Это тоже наука, как разрубить ствол на доски, чтоб не повело и не растрескалось.

Усиленно помогая себе руками и рисуя огрызком карандаша на доске, он показывал, как закреплять ствол, как забивать клин, как спрямлять… Очень это было интересно, с точным знанием, но пересказать я не в силах. Василий Осипович говорил быстро, глотая слова от удовольствия, заменяя их движениями рук… Надо бы медленней и обстоятельней, слушать и записывать его речь, пересыпанную профессиональными плотницкими словечками, и расспросить, где и когда он плотничал, что строил, от кого воспринял старинные секреты… Но — вечное проклятие! — времени было в обрез, мои спутники, топчась у выхода, постукивали пальцами по циферблатам часов.

Я все же успела узнать, что тут, в Кондопоге, Василий Осипович родился и прожил жизнь. Значит, мог быть и на нашей встрече молодежи? Нет, этого он не помнит, а вот гражданскую войну хорошо запомнил, хотя был мальчишкой. Заместо матери выполнял повинность для Красной Армии, на своей подводе возил красноармейцам снаряды на передовую, хлеб печеный — в деревне бабы пекли, — ну и все что надо было. Близко ли была передовая?

— А как же! Значит, отсюдова к северу Лижма, деревня, слыхали? Там была война. И от нас к западу меньше чем двадцать пять километров по-современному — тогда на версты считали, еще меньше выходило, — там тоже война была. К югу вдоль Онеги дорога, не асфальт, конечно, обычная лесная дорога — на Петрозаводск, а там в семи километрах — у Сулажгоры — белогвардеец стоял и белофинны тоже, а у Кивача — знаете водопад? его все знают! — там англичанин был. Хошь не хошь — воюй или помирай!

Я спросила, тут ли он был в Отечественную войну. Василий Осипович очень обиделся, даже рассердился:

— То есть как это — тут? Всю войну как есть прошел. Вот только в самом Берлине не довелось, так ведь не всем же повезло, чтоб именно в Берлин. А так везде был.

Почудилось ли мне или и впрямь из-за морщин и сивой бородки выглянул постаревший Василий Теркин, неунывающий, выносливый, нигде не теряющийся, надежный и в солдатском быту, и в походе, и в бою, и на гулянке, и прежде всего в труде, который навсегда — главное, святое дело!

Будто подтверждая, Василий Осипович погладил жесткой ладонью безукоризненно обструганную доску широкой лавки, на которой мы сидели.

— Вот это работа! Еще двести лет простоит.

И первым поднялся, так как давно приметил сигналы моих спутников.

Я с запозданием подумала, что надо бы послать к черту весь намеченный план, остаться тут или напроситься к Василию Осиповичу в гости, сидеть бы у певучего самовара (да и водочка не помешала бы) и слушать, слушать неторопливый рассказ хозяина — с байками пополам, не без этого! — но плотницких стародавних секретах, и о военных путях-дорогах… Но мы уже распрощались с Василием Осиповичем и спешили к машине, дети машинного, стремительного века, подчиненные планам и срокам, разучившиеся отдаваться случаю.

Вот ведь никогда не конфликтовала со своим веком и его немыслимыми темпами и ритмами, тем более никогда не оглядывалась с грустью на дальнее-предальнее прошлое, а в тот день оглянулась и загоревала — не о прошлом, нет, а о том, что нельзя удержать, протянуть в новое время то прекрасное, что светит из прошлого, молодецкое, удалое, почти интуитивное, но поколениями накопленное индивидуальное мастерство, безошибочное народное умельство!.. Как их сочетать с безудержностью научно-технического прогресса, с его автоматикой, телемеханикой, кибернетикой и всем прочим, что само по себе высочайшее мастерство, высшая победа человеческого гения?.. У каждого века свое лицо и свой стиль. Бессмысленно украшать искусно вырезанными петухами здание из бетона и стекла или наряжать сверхсовременных заносчивых официанток в старинные сарафаны и кокошники, — когда я вижу эти реставраторские потуги, мне вспоминаются балалайки и лаковые шкатулки с росписями «под старину», продающиеся в гостиницах для интуристов, а затем, по горькой ассоциации, — облезлые, примирившиеся со своей участью верблюды под

«роскошными» седлами, лежащие в пыли у подножия египетских пирамид, — их хозяева настырно зазывают туристов покататься на верблюде или хотя бы сфотографироваться на нем…

Нет, конечно, не внешние приметы прошлого, а добрые народные традиции надо пестовать, ведь традиции — порождение глубинных свойств народного характера. И первая традиция — гордость мастерством, любование сделанным, уважение к умелости, доведенной до щегольства, — «блоху подковать может»! Да и теперь — как только возникают жизненные условия, на ударной стройке или на выполнении важного заказа, ни размашистой силы, ни азартной увлеченности, ни трудовой сноровки нашему народу не занимать. А если наш машинный век, массовая штамповка иной раз вываливают на прилавки неряшливые изделия и унылую безвкусицу, запущенные бездарями, сидящими не на своем месте, — э т о ж в о п р е к и традиции и характеру народа! Взять бы этих бракоделов и бездарных подельщиков да свести лицом к лицу с их предками, рубившими здания, «как мера и красота скажут»!

Но горевание не в моем обычае, оптимист пробился сквозь досаду, и, стоило мне мысленно свести современников и далеких предков, представилось мне совсем иное: стоят мужички-лесовички на берегу озера Онего и во все глаза глядят на диво дивное — летит по озеру будто над волнами крылатый катер невиданных, безупречно выверенных, летучих очертаний… А вот мужички-лесовички всей артелью — в моем родном городе, на мосту Ушакова — скинули шапки, чтоб не сронить, и застыли, охваченные сладким ужасом: вонзилась в облака башня не башня — воздушная, сквозная, вроде бы хрупкая, порыв ветра повалит! — а несгибаемая, прочнейшая из прочных, стальная стрела телевышки… Да и в город незачем! Вот тут, в Кондопоге, где по ухабам громыхали их телеги, на раскинутой асфальтовой холстине остановить, чтоб рассмотрели и потрогали ну хотя бы вот эту «Волгу», разве художнический глаз не оценит экономную прелесть ее формы, точно найденные «меру и красоту»?!

Оказывается, я ревнитель нашего машинного века. Но, поклонившись ему, я тут же взбунтовалась против того, с чем совсем было смирилась еще вчера. Не попасть в Кижи, где старинное народное зодчество создало лучшее, на что оно было способно? Теперь, после Кондопоги, когда возникло в душе что-то, требующее продолжения?.. Не доплыть — не долететь из-за капризов медлительной весны?! В наш-то безудержный век?! Быть того не может.

Летим!

Маленький вертолет отпрыгнул от земли и почти по вертикали ввинчивается в высоту. Кусок летного поля остается не позади, а под нами, и здание аэровокзала не отходит назад, а как бы проваливается. Непривычно. Перешли в горизонтальный полет, но ощущение все равно непривычное: в дребезжащей кабине под разогнавшимся винтом, придавив мешок с почтой, вдвоем на узкой скамеечке за спиною летчика, мы зависли в воздухе, как в люльке. Из люльки видно далеко окрест.

Стараюсь скрыть восторг, чтоб не вызвать насмешек летчика и моей то ли флегматичной, то ли испуганной спутницы. Дело в том, что в разные годы я летала на всевозможных самолетах, начиная с открытых всем ветрам «шаврушек» и «уточек» и до современнейших лайнеров, в войну довелось и на бомбардировщике… а на вертолете не летала! Этот пробел мне давно хотелось заполнить. А тут, в Петрозаводске, давнее желание сплелось с новым — попасть на остров Кижи. Опекавший меня в поездке по Карелии поэт Марат Тарасов узнавал: Онежское озеро еще забито плавающими льдинами, ни катеров, ни теплоходов не выпускают… Так что же, он необитаемый, этот остров? Или люди отрезаны «от материка», как зимовщики? И никакой связи с островом?!

— Никакой. Разве что вертолетом. Но не полетите же вы…

— Марат Васильевич! Полечу на вертолете, именно на вертолете и ни на чем другом! Можно это устроить?

Дни шли за днями. Как я боялась, что полет сорвется! То нету кого-то, кто должен разрешить, то погода нелетная…

Но я живу под счастливой звездой Вегой — все устроилось. В спутницы-шефини мне дали девушку, которая сама попросилась, очень милую девушку, но без малейших признаков организаторских способностей. На аэродроме провожающие дразнили ее в два голоса: «А плавать умеешь? Если вертолет упадет в озеро, плыви к берегу и на ходу сбрасывай пальто, иначе пойдешь ко дну! И зачем ты вчера новые туфли купила? Хоть завещай их кому-нибудь…» — ну и все в таком роде. Моя шефиня вяло отмахивалась и улыбалась.

Авиация есть авиация. Вылет назначили на девять, но мы прождали полчаса, прождали час… Наконец к нам подвели высокого молодого летчика.

— Воздушный извозчик Поздникин, — представился он.

Самолюбивый, видать, человек. Ему бы лайнер, а не воздушную таратайку! Хотя именно на ней он делает очень важные, неотложные дела, в чем мы скоро убедились.

Летим. Справа то рядом, то в отдалении — серая, рябая от ветра ширь Онеги с белыми пятнами льдин. Под нами и слева —

леса, болота, печальные вырубки с пеньками и молодой березовой порослью, озера и озерки — их в Карелии, не считая Онеги и Ладоги, около пятидесяти тысяч! И деревушки не деревушки — два-три дома с баньками да лодками на берегу… Кажется, летим над островами. Узкие или широкие протоки отделяют один остров от другого, длинные языки шхер вдаются глубоко в сушу, и всюду у берегов ледяной припай или застрявшее на мелководье крошево льда. Картины прелестные и несколько однообразные в своей неброской красоте, в северной тусклости красок — пастельные тона, еще смягченные пасмурным деньком.

Но что это? Что?

Ведь знала — через сорок минут Кижи. Рассматривала заранее альбом с десятками фотографий. Ждала — сейчас увижу. А увидела — вдали, среди пастельных красок неба, зелени, воды — и вскрикнула в изумлении, и показалось — не реальное, не настоящее, а драгоценная деревянная игрушка с десятками серо-лиловых маковок… Какое же оно маленькое — гораздо меньше, чем представлялось, сказочное видение, нежная краса, затейливый вымысел чистой души. Чистой и веселой души — могло так быть в далекие времена, когда плотники-умельцы ставили эти церкви?..

Всё ближе, ближе… Поздникин — мастер понятливый: прежде чем посадить вертолет, он описал полный круг над самым погостом на уровне церковных маковок. Как же оно умно и ловко продумано! Строения Кижского погоста расположены так, что с каждой точки все три видны в новом ракурсе и с каждой по-новому прекрасны, а игра света (даже в нынешний пасмурный день) неуловимо изменяет благородные тона не тронутого краской дерева. Две церкви и колокольня будто поворачивались перед нами, чтобы мы оценили, как массивные бревна стен розово-золотисты на более ярком свету, тронуты налетом темной бронзы на теневой стороне, а под скатами кровель и крылец почти черны. Зато узорные, округло выгнутые осиновые пластины-лемешины, которыми обшиты двадцать два купола Преображенской, девять куполов Покровской церкви и одинокая главка колокольни, они поблескивают серебром на свету, все гуще лиловеют в тени и переливаются перламутровыми оттенками. Можно ли сотворить лучше?!

Уже с земли, изнутри погоста и со стороны, с разных мест, близких и отдаленных, я снова и снова всматривалась в чудесное видение Преображенской церкви — именно она царит на погосте, остальные два строения аккомпанируют ей. Поставленная на взгорок в середине узкого, вытянутого в длину островка, она победно взмывает в небо своими двадцатью двумя

перламутровыми маковками. Впечатление взлета еще усиливается непринужденной асимметричностью — игрой свободного творчества мастеров. Бóльшие и меньшие купола, чередуясь по ярусам, сочетаются в дивной гармонии и создают форму пирамиды — от яруса к ярусу — вверх! Как ликующий голос от ноты к ноте — все звончей.

Про архитектуру часто говорят — застывшая музыка. Кижи, конечно же, воплощенная в дерево музыка. Не песня и не религиозный хорал, нет, что-то вроде финала бетховенской Девятой симфонии, «оды к радости»! — но русской оды, русской каждым звуком и сочетанием звуков.

Уже поздней, в Ленинграде, я прочитала, что Преображенскую церковь строили в годы, когда Петр, разгромив шведов, «ногою твердой стал при море», и впервые за многие десятилетия от Заонежья отодвинулась опасность вражеских нашествий, и пошел слух, что царь Петр — «хороший царь», сам плотничает и кует железо, и, может быть, при нем полегчает крестьянам, может, смогут они трудиться на земле, рыбачить, мирно жить «со женушками и детишками»… Вот откуда веселая душа мастеров, возвышенность дивного замысла, вот откуда победная ода к радости!..

Музей под открытым небом — это Кижи сегодня. Сюда свезли и удачно расположили по острову старинные крестьянские дома с предметами домашнего обихода, амбар, ветряную мельницу и водяную, крошечные часовенки…

Работники музея рассказывали, что еще будет сделано и что делается, чтобы сберечь ценнейшие памятники народного зодчества. Это было интересно, но время шло, а вертолета все не было, хотя Поздникин должен был вернуться за нами через два часа. Впрочем, авиация есть авиация. А в пять часов — встреча с читателями Онегзавода.

И тут моя флегматичная и прозябшая на холодном ветру спутница вдруг развернула неожиданную для нее самой энергию. Никакой флегмы! Преодолевая удручающие трудности местной телефонной связи, через телефонистку Великогубского Конца она упорно звонила, звонила, терпела неудачу за неудачей и снова звонила: Великая! Великая? Аэропорт!

Дозвонилась. В Суоярви умирает человек, Поздникин вылетел туда с врачом… Что тут скажешь? Очень хорошо, конечно, лишь бы врач прилетел вовремя… Пришлете другой вертолет? Спасибо, ждем.

Прошло еще два часа звонков, ожидания, новых звонков… То и дело пролетали то в Петрозаводск, то из Петрозаводска вертолеты, неся свою напряженную службу. Но все мимо.

Наконец, когда мы уже отчаялись, нам сообщили, что за нами вылетел летчик Чаплыгин. Опоздаем или не опоздаем?.. Никакого запаса времени уже не оставалось, когда над погостом победоносно затарахтел вертолетик. Сел он прямо у конторы, летчик махнул нам рукой — дескать, давайте скорей, если торопитесь! — мы юркнули под пугающе вертящиеся над головами лопасти винта, взобрались в кабину, и летчик тут же сорвал свою стрекозу с места — никаких кругов для прощальных любований! — напрямик, через озеро, кратчайшим расстоянием между двумя точками.

Поглядела на свою спутницу, ведь ее как раз и пугали: опасней всего лететь над озером, если откажет мотор, вертолет сразу — бух в воду, а ты — буль-буль-буль!.. Боится? Нет, тихо и безмятежно улыбается.

Попробовала поглядеть назад, где еще могли быть видны перламутровые маковки… Какое там! И тут меня вдруг прямо-таки тряхнуло — нет, с вертолетом все было в порядке, тряхнула мысль: да как же это могло быть?! Два года жила в Петрозаводске и года три приезжала на каникулы, проплывала Онежским озером в Пудож и Повенец… как же я не видела и даже не знала, что совсем неподалеку такая краса?!

Ну а могли бы мы, могла бы я в то время оценить такую красу?..

…Они были тогда д е й с т в у ю щ и е, и действующие против нас, — церкви и церквушки, религия, попы. Они проклинали нас как исчадие ада, эти церковники, и благословляли белогвардейцев и белобандитов всех мастей и интервентов любых вероисповеданий — вплоть до японцев… Тысячи людей умирали от голода, а накормить их было нечем. Умирали дети. Только в блокаду я увидела, как умирают от голода дети — будто фитилек угасает. А тогда мы только представляли себе: в раскаленных лютым солнцем деревнях, у станций и волжских пристаней умирают дети… Собирали все, что имело хоть какую-нибудь цену. Хлеба, хлеба!.. А Тихон, патриарх всея Руси, отказался сдать в фонд помощи голодающим огромные церковные ценности, попы прятали эти ценности в хитроумных тайниках, хоронили в земле, в лжемогилах…

Мы смотрели на церковь враждебными глазами. И нужно было окончательно победить, чтобы в один спокойный день без предубеждения взглянуть на старинную церковку и понять, что она прекрасна, что ее былое назначение — дань времени, а непреходящая ценность ее в том, что она д е я н и е народа, выражение его таланта, мастерства и упорной, неунывающей души. Что она н а ш а, эта церковка, и ее нужно сберечь.

…Был в давние-предавние времена такой грек — Герострат. Обуревала его гордыня, страх забвения и жажда о с т а т ь с я на века. Чтоб остаться, он сжег прекраснейшее творение той поры — храм Артемиды, одно из «семи чудес света». И что же? Прошло двадцать четыре века, а имя его живет? Да нет, остался лишь звук — позорная кличка, пример дикого и неумного тщеславия. А от человека — ничего.

Остается только творческое д е я н и е, только в нем — истинное бессмертие, иного нет. Имена забываются. Мы храним дорогие имена, но они все же постепенно стираются, а историческое деяние живет. Сколько безвестных жертв схоронено под плитами Пискаревского кладбища! Терпеливое мужество их останется на веки веков. Горят в Ленинграде, в Москве, в Петрозаводске и многих других городах вечные огни. Стоят обелиски и памятники отдавшим жизнь за революцию, за Советскую Родину, за свой народ. Многие имена неизвестны, но эти люди о с т а л и с ь.

…И сделанная вещь, построенное здание, нужное людям слово, песня, которая пришлась по душе, о с т а ю т с я. Навсегда?.. Ну может, и не навсегда в своем первозданном виде, но есть ступеньки познания, одно на другое опирается, одно из другого вытекает. Непрерывное движение и развитие — по цепочке, по ступенькам. И хорошо, если сделанное тобою хотя бы крупинками войдет в делаемое теми, кто идет за тобой.

«Вас устраивает роль удобрения?» — слышу тот молодой голос. На набережной, белой ночью. Было это или померещилось?.. Злой голос. А от вопроса никуда не денешься. Хотела бы — чтоб надолго, хотя бы до времени, когда вырастут те ели и сосны, но…

Честная работа не пропадает зря, что-то да войдет из нее в души и сознания других.

И еще остается любовь. Семенами добра — во многих душах. Как у Леонида Мартынова: «Скажи: какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед, или незримый прочный след в чужой душе на много лет?» Вы, старые пенсионеры и молодые работницы, создавшие при рабочих общежитиях Кондопоги библиотеку на общественных началах и гордящиеся тем, что среди шестисот ваших читателей большинство стало читателями именно у вас, вы оставите след незримый и прочный! Первый мой взрослый друг, Коля Ларионов, давно уже нет тебя на земле, но в скольких душах твой изначальный след!.. И ты, откровение мое, товарищ Михаил, скольких людей ты высмотрел своими добрыми близорукими глазами, и помог им поверить в самих себя, и остался в них —

грея, ведя, наполняя светом убежденности?.. И ты, тетя Лина, почти неграмотная русская женщина, разве семена добра и чести, посеянные тобою, не взросли во многих душах?.. И ты, карельская Мать из далекой Видлицы, — разве ты не живешь в основе основ жизни, в самом продолжении твоего народа?!

Вот так я размышляла под свист ветра, обдувающего нашу подвесную люльку, и уже, кажется, почти разрешила проблему славы и бессмертия, когда вертолет начал круто проваливаться… ой, как екнуло сердце!.. да никуда он не провалился, попросту сел на аэродроме, и уже видна ожидающая нас машина и улыбающееся лицо Марата Тарасова. Летчик распахивает дверцу:

— Ну как, поспеете?

— Здорово у вас вышло, товарищ Чаплыгин, — за двадцать три минуты!

Две интересные встречи в один день. Очень разные, вот только обе связаны так или иначе с историей.

Пока молод, за твоими удалыми плечами — никого и ничего. Тебе мало дела до прошлого, мир населен молодыми, время начинает свой отсчет сегодня. Чувство истории дается зрелостью и причастностью к событиям истории. Начинаешь понимать усилия тех, кто был до тебя, и видишь место своего поколения в общей цепочке движения, история оживает и говорит с тобою все более внятно о прошлом и о будущем.

В видлицкий рассветный час, когда я сделала первый крохотный шажок к зрелости, чувство истории впервые шевельнулось во мне внезапным стыдом и тревожным интересом: кто же они были, какие они были, те, что до меня?.. Стоило захотеть — и сколько нашлось людей, которым было что рассказать! Как из рассеивающегося поутру тумана начали проступать очертания событий, лица и судьбы… Но тут подоспел вызов на учебу, а потом Питер, институт, Палька Соколов — целиком забирающая, сегодняшняя жизнь!

До и после нынешней поездки в Карелию я кое-что почитала о ней, заглянула в ее историю, ближнюю и дальнюю. Как и многие люди моего поколения, я тщательней изучала «экономические формации», чем конкретные исторические факты, поэтому считала само собою разумеющимся, что продвижение «господина Великого Новгорода» на север есть акт колонизации и эксплуатации, а ведь город Олонец впервые упоминается в новгородской летописи 1137 года, новгородские владения простирались на все Заонежье вплоть до Терского берега Белого моря! Вдумываясь во всю сложность исторических событий восьми веков, я поняла, что судила слишком примитивно. Были

со стороны новгородцев, а затем и представителей крепнущего государства Российского притеснения, эксплуатация, поборы? Были, конечно, и очень тяжелые, крестьянам и «работным людям» выпадало много страданий — и карельским и русским, но карельским доставалось несколько меньше: добираться до них было трудно и опасно; леса, озера, болота и бездорожье были естественным заслоном, а позднее, когда в России установилось жесточайшее крепостное право, в Карелии его не было, над карелами не стояли помещики, они все же чувствовали себя свободными людьми. Зато развитие торговли с Россией, создание торговых путей помогало развитию промыслов, разработке горных и лесных богатств севера. Начальника, проводившего по селам рекрутский набор, или горнозаводчика, гнавшего окрестных крестьян на добычу железной руды или тивдийского мрамора, карелы, конечно, боялись и не любили, не раз бунтовали против них — в частности, известны крупные и длительные бунты в Кондопоге и в Кижах. Но гораздо страшнее для карел были кровавые нашествия сильного и в те времена весьма воинственного соседа — Швеции. И тут русские воины были для них опорой и защитой. Крепкой опорой, надежной защитой. Так говорят факты.

Что мы знали, что я знала о борьбе русского государства против воинственных шведских королей, пытавшихся не только единолично владеть Балтийским морем, но и подчинить себе русские земли далеко к югу? Ну конечно, Невскую битву 1240 года, принесшую победу новгородскому ополчению во главе с князем Александром, с тех пор прозванным Александром Невским. Еще помнилось, что шведы участвовали в польской интервенции, которой дали отпор Минин и Пожарский, — это уже начало XVII века. А спустя столетие — Северная война. Петр Первый со всей своей неукротимой энергией и государственной зоркостью пробивает для России выход на Балтику, закладывает город в устье Невы — «отсель грозить мы будем шведу», — и наконец решающая битва с войсками Карла XII, вторгшегося в глубь России и разгромленного под Полтавой. Знали мы и слова Энгельса о том, что Карл XII «погубил Швецию и показал всем неуязвимость России»…

И все? Пожалуй, все. Средний набор исторических сведений, которым, смею сказать, только и владеет большинство образованных людей, не занимавшихся специально историей. «Координаты» событий — от Невы до Полтавы. Время — три даты с перескоками через века.

А вот ведь весь север — и особенно Карелия — подвергался постоянным нашествиям шведов и подвассальных им финнов, и

карелы отбивались от них вместе с русскими воинами, хотя уже в те давние века применяли и свои особые методы борьбы — партизанские действия лыжных отрядов, ловко и неожиданно налетавших на захватчиков по тайным тропам среди лесных чащ и непроходимых болот; как не вспомнить, что и в годы гражданской войны, и в годы Великой Отечественной смелые рейды лыжников наносили ощутимые удары по врагу! Но одними лыжными налетами не защитишься, для защиты городов и важных — теперь сказали бы, стратегических — дорог строили крепости. Одна из таких крепостей была сооружена в Олонце между двух сливающихся рек, Олонки и Мегреги: стены рублены из неохватных бревен, их сторожат девятнадцать дозорных башен, со стороны суши — глубокий ров (его следы можно заметить и теперь). Значение крепости понятно: Видлица — Олонец — Лодейное Поле — наиудобнейший путь для вторжения по межозерью на юг — к Неве и дальше. Тем же путем вражьи полчища прорывались и в 1919-м, и в 1941-м!

Этим небольшим отступлением в глубь времен я подбираюсь к запомнившейся встрече. Пора бы прямо перейти к ней, но вот уже сколько дней передо мною то и дело возникает неведомый городок Корела, эта Корела томит меня своей судьбой и совсем иными, не затухающими в памяти картинами… Ну пусть меня осудят критики за разбросанность, за нечеткую композицию… принимаю все упреки, но — но не могу умолчать о том, что жжет душу.

Корела, Корела, приозерный ладожский городок, связующее звено между карелами и русскими! Уже в X веке упоминают Корелу новгородские летописи, именно от Корелы начинался водный торговый путь через Ладогу — по Свири — в Онегу, и в Кореле кончался водный путь карельских товаров, идущих в Россию. Поначалу был и другой путь — в самый клинышек Финского залива, но в конце XIII века шведы построили там крепость Выборг, запечатав дорогу, и тогда роль Корелы стала расти, и городок рос. Шведы попытались и Корелу прибрать к рукам, но потерпели поражение от новгородского войска и вынужденно отступили. А новгородцы в 1310 году построили в Кореле каменную крепость, и эта каменная крепость на три века обеспечила покой жителям города и проезжим торговым людям… Но в 1610 году шведы решили с Корелой покончить.

Корела, Корела! Обложили тебя со всех сторон, и с суши и с озера — разве что птица перелетит через кольцо мучительной осады. Не так уж много известно о том, что пережили осажденные, но уж мы-то, ленинградцы, представляем себе доподлинно, что это такое — полная блокада! С дрожью

сострадания и даже как бы соучастия через три с половиной века всматриваюсь я в судьбу маленькой храброй Корелы, которая отказалась сдаться врагу. Не совсем точно представляю себе, как они были одеты, ее защитники, и чем вооружены, но вижу, будто и сама заперта вместе с ними в каменном мешке, вижу совсем близко их лица — мягкие и упрямые, неистовые и терпеливые русские лица. Вижу, как голод накрывает их своей страшной тенью, как западают глаза и рты, как дрябнет и мертвеет их кожа, физически ощущаю их шаткие движения, когда они всползают, сменяя друг друга, на пронизываемые ветрами дозорные башни, чтобы устеречь, не пропустить врага… И вижу, как они падают, чтобы больше не встать, потому что жизненная сила израсходовалась — вся.

Когда спустя много месяцев шведы ворвались в крепость, из двух тысяч ее защитников было живо меньше ста человек…

Корела, Корела, ты тоже кусочек истории нашей Родины, и хорошо иметь такую историю и такую Родину. Бывает трудно, бывает и Родина неласкова, но как жить без нее?!

. . . . . .

Перед поездкой в Видлицу хотелось разобраться в событиях, к которым я чуть прикоснулась в юности. Борьба за Видлицу, Видлицкий десант…

Есть интересное свидетельство Бонч-Бруевича — не бывшего генерала, а затем начальника штаба Красной Армии Михаила Дмитриевича, о котором я рассказывала в одной из глав, а брата его, Владимира Дмитриевича, большевика, соратника Ленина и бессменного управляющего делами Совнаркома первых лет революции.

Вот что он пишет в связи с Видлицкой операцией 1919 года:

> «Официальное донесение было настолько неожиданное и потрясающее, что Владимир Ильич, словно не веря своим глазам, несколько раз перечитывал подробную телеграмму, сейчас же бросился к карте и разъяснял всем к нему приходившим колоссальное значение этой новой победы, этой замечательной операции.
>
> — И как прекрасно задумана! — восклицал Владимир Ильич, — и как выполнена!»

Видлицкая операция принесла действительно важнейшую победу — интервенты в панике бежали за границу не только из района Олонца — Видлицы, откуда они угрожали Лодейному Полю, а затем и Петрограду, но и с петрозаводского направления — освобождена была вся южная Карелия. Удар был

нанесен умело и точно соединенными усилиями флота и армии. Идея и выполнение были превосходны.

Кто же ее задумал и кто выполнил?

Одного из главных участников операции, командующего Онежской военной флотилией (а впоследствии начальника Морских сил республики) Э. С. Панцержанского, я уже упоминала среди бывших морских офицеров, ставших на сторону Советской власти. Судя по всему, интереснейшая личность! Талантливый, яркий, темпераментный, он по совести и убеждению пошел в революцию и служил ей с воинской храбростью, глубоко и страстно — уж таков характер! — пережил разрыв со своим классом, со своей прежней средой. Об этом, уже в тридцатые годы, он написал пьесу «Девятый вал». Недавно я прочитала ее. Должно быть, в ней немало недостатков, но я как-то не замечала их, потому что она жарко дышит жизнью тех бурных дней. Пьеса явно автобиографична и воссоздает подлинные события. В зверски жестоком адмирале Морене легко угадывается адмирал Вирен, с которым балтийцы расправились после революции. Возможно, драматургии ради конфликт между героем пьесы, его невестой и его товарищем-офицером обострен и доведен до столкновения в боевой обстановке, но ведь в годы гражданской войны однокашники-офицеры часто встречались лицом к лицу в бою — бывшие друзья, ставшие врагами. И уж несомненно правдива десантная операция озерной флотилии, руководимая героем пьесы, — это и есть Видлицкий десант 27 июня 1919 года.

Панцержанский действительно руководил десантом и действиями кораблей флотилии. Ему ли принадлежала сама идея десанта? Нет. В краеведческом музее мне показали портрет молодого военного: высокий лоб подчеркивает сосредоточенную строгость умных глаз, черты лица красивы и мужественны. Машаров Ф. Ф., начальник штаба Олонецкого боевого участка, автор Видлицкой операции. Я начала расспрашивать, кто он такой…

— Федор Федорович? Да вы сходите к нему сами, — сказали мне.

— Как? Он жив-здоров и в Петрозаводске?

— Жив-здоров, в двух шагах от гостиницы, на улице Ленина. Дать вам его телефон?

Вот нежданная удача!

Когда я спешила вниз по улице Ленина к Машарову, я уже знала, что Федор Федорович — бывший офицер-артиллерист, успевший повоевать в первую мировую войну, что он прибыл в Карелию как начальник штаба отряда Петроградских финских командных курсов, что после окончания гражданской войны он

демобилизовался и был лесоустроителем, во время белофинской авантюры в 1921 году был снова призван в армию и как лесничий помогал намечать маршрут для знаменитого лыжного похода Тойво Антикайнена на Кимасозеро, в годы Великой Отечественной войны опять был на фронте… И что уже много лет он работает во Дворце пионеров. «Руководителем военной секции?» — «Нет, шахматной!..»

И вот большая комната в первом этаже, широкое окно выходит во двор, на юг, сквозь молоденькую зелень свободно проникают в комнату солнечные лучи. Тепло, хозяин в белой рубашке, повязанной галстуком, но, впустив меня, торопливо надевает пиджак и застегивает его на все пуговицы — военная привычка к подтянутости. Разговор налаживается не сразу, я вглядываюсь в сухонькое, морщинистое лицо человека, которому перевалило за восемьдесят… Говорит он вяло, будто неохотно… Но вот я спрашиваю напрямик, как зародилась идея Видлицкой операции… И куда девалась вялость? Он бросает на меня исподлобья умный, оценивающий взгляд — дескать, стоит ли об этом с нею, с женщиной, — и уж не знаю: то ли он решил, что стоит, то ли вопрос затронул навсегда дорогие воспоминания…

— Я ведь шахматист, — говорит он, — а потому люблю штабную работу. Разработка плана военной операции очень схожа с разработкой плана шахматной партии. Надо мыслить и за себя и за противника. Пожалуй, в первую очередь за противника, чтобы предусмотреть и возможные ходы, и психологию… да, обязательно психологию, это и в военном деле, и в шахматах имеет огромнейшее значение. Большее, чем иногда думают. Вот поглядите!

Он быстрыми шагами идет к книжному шкафу и достает свернутые рулонами карты. Через его плечо успеваю взглянуть: книги по истории гражданской и Отечественной войн, по военному делу — командирская библиотека. А он уже разворачивает на столе карту, прижимая ее края пепельницей, книжками, пачкой «Беломора». Между двух голубых полукружий Ладоги и Онеги — межозерье с зелеными пятнами лесов и голубыми — бесчисленных озер, с синими штришками болот, с редкими извилистыми линиями дорог и кружками селений. Вот Лодейное Поле у голубой полоски Свири, вот Олонец, Видлица и заштрихованная линия старой финской границы… От Видлицы широкие, постепенно сужающиеся темные стрелы нацелены на восток — к Петрозаводску и на юг — к Лодейному Полю и Петрограду. Им навстречу — подковки с обозначением обороняющихся частей Красной Армии: значки и сокращения, знакомые по картам военных лет.

— Когда доклады приходится делать, карта помогает, — вскользь поясняет Федор Федорович и энергично ударяет тупым концом карандаша по Видлице. — Здесь был их штаб, руководивший обоими направлениями. Кроме того, здесь же были сосредоточены склады боеприпасов и продовольствия. Победа или поражение под Видлицей решали судьбу всего карельского фронта.

Он отворачивается от карты и морщится с досадой, сохранившейся, несмотря на прошедшие полвека:

— Была до нас одна попытка наступления. Я тогда крепко поспорил с начальником штаба Олонецкого боевого участка. Он уверял, что за три дня можно подготовить наступление, я говорил — не меньше десяти дней, надо же прощупать противника разведкой, отвести его глаза от мест прорыва! Ну, он вроде согласился, а затем предложил мне возглавить штаб этой группы. Посмотрел я на него внимательно… Знаете, в шахматах по лицу противника иногда прочитаешь больше, чем увидишь на доске. Вот я и прочитал: уговорит, я соглашусь, а когда назначение будет оформлено, даст приказ наступать через три дня!.. Отказываюсь наотрез. Он спрашивает: почему? Говорю: шахматный опыт подсказал. — Он усмехается, но тотчас мрачнеет: — Провел он все-таки наступление. Неудачное, конечно. Сняли его. А временно исполняющим его обязанности назначили меня. Штаба, в общем-то, и не было. Начали с простого — подробные карты-двухверстки изготовили для командиров частей, чтоб они не блуждали в потемках, разведчиков заслали из местных карел — уточнить расположение частей, артбатарей, складов. Под видом рыбаков разведчики сумели даже промерить глубины реки Видлицы, чтобы узнать, до какого места могут войти десантные суда.

Я вспомнила давнюю встречу с рыбаком, возвращавшимся с Ладоги на лодке, полной серебристой корюшки. И слова моего спутника: «Между прочим, вот этот товарищ был разведчиком, когда готовился десант на Видлицу, самое важное задание они выполнили — промеры глубин…» Прошлое и настоящее сблизились.

— Федор Федорович, вы с самого начала задумали операцию совместно с флотом?

— Не с самого начала, а после учета задачи и возможностей, — четко отвечает он. — Задача была в чем? Нанести удар сразу и по штабу и по войскам, посеять панику и отбросить их за пределы нашей границы. Сил у нас было меньше, чем у них. Значит, нужно было побеждать внезапностью и дерзостью. У нас были на Ладоге и Онеге военные корабли —

правда, переоборудованные из буксиров, но с пушками. А у них не было кораблей. Как не использовать такую выгодную ситуацию?

Он показывает по карте весь план операции: вот на эту линию выйдут корабли, здесь и здесь, в устье рек Видлица и Тулокса, высадка десантов, а отсюда, с суши, армейские части ударяют во фланг петрозаводской группировке…

— Прекрасный план, который вы полностью осуществили?

Он сворачивает карту, педантично укладывает ее на прежнее место, закуривает беломорину и смотрит не на меня, а сквозь меня — в те дни.

— Не я, — говорит он, — все вместе. И больше всех Эйно Рахья. Слышали это имя? Эйно Рахья, один из тех, кто обеспечивал безопасность Ленина летом семнадцатого… Рахья был у нас комиссаром. Именно ему я доложил свой план. И всю подготовку, обработку разведданных, согласование с моряками — все делал он. И на саму операцию пошел вместе с Панцержанским, с флотилией.

По интонациям его потеплевшего голоса чувствую — он не только отдает должное памяти Эйно Рахья, он его глубоко уважал, любил и любит.

— Было одно осложняющее обстоятельство, — говорит Федор Федорович. — В штабе армии сидел предатель. Самые секретные сведения становились известны противнику. Я подозревал одного — полковник, аристократ, швед по происхождению… но, пока не пойман, как утверждать? Потом, кстати, поймали, он целую агентуру развел. А тогда просто пришлось все засекретить, до последней минуты даже армейское и флотское начальство не знало. — Он улыбается воспоминаниям. — Вот с кораблями. Схитрили мы, несколько раз посылали корабли обстреливать побережье от Тулоксы до Видлицы, чтобы финны привыкли — постреляют корабли и уйдут. Финны действительно привыкли, вплоть до высадки десанта ничего не подозревали. А вот штаб Морских сил запротестовал: урон наносите пустяковый, а тратите драгоценные снаряды и суда не бережете. Промолчали, не стали объяснять свою хитрость. И на суше мы схитрили — послали в наступление один Сорок седьмой полк, по дороге переименовали его в Третий, вражеская разведка, конечно, донесла — новый полк подброшен на усиление! Они и дрогнули…

Он смолкает. Рассказывает кратко, а в памяти, наверно, все оживает в подробностях, расцвечивается картинами незабываемыми. Отсветы этих картин проходят по его помолодевшему лицу.

Я спрашиваю о походе Тойво Антикайнена — верно ли, что

он составлял для него маршрут.

— Не маршрут, а несколько вариантов маршрута, — быстро откликается Федор Федорович. — Я лесничим работал, узнал карельские леса. А с белофиннами воевать трудно, они в лесах, на болотах, среди озер — дома. И лыжники первоклассные. Значит, Антикайнену надо было перехитрить их и провести свой отряд там, откуда его никто не ждет. Боевые условия могут быть разные. Поэтому мы и наметили варианты. А в походе он сам решал, как идти. Результат блестящий!

Я уже собралась уходить, когда Федор Федорович спросил свежим, счастливым голосом:

— А вы знаете, что в Отечественную войну был повторен Видлицкий десант? И тоже успешно!

— Да, видела карту с планом операции. Очень похоже! Мне говорили, что в Видлице торжественно отмечали годовщины обоих десантов?

— Да, — как-то вдруг потускнев, ответил Машаров, — пятидесятилетие первого и двадцатипятилетие второго.

И тут выяснилось, что его… забыли пригласить. Во всех музеях, во многих книгах помещены его портреты, биография, сведения о его роли в проведении Видлицкой операции, а пригласить забыли! Правда, девочки из видлицкой школы, красные следопыты, написали ему: приезжайте к нам на празднование годовщин! — но как пускаться в путь в его возрасте по приглашению детей, если организаторы торжеств не зовут?..

— Ну ничего. Может, не думали, что я жив.

Он вышел проводить меня. Прямой, подтянутый, уже преодолевший недолгую горечь. Военный человек с сосредоточенным взглядом шахматиста.

. . . . . .

Лучшая из аудиторий — студенческая, да и вообще молодежная. В зале полным-полно, а тишина — слышно, когда скрипнет стул. Зато уж если скажешь что-нибудь смешное, смех покатится из конца в конец без удержу. А дойдет до вопросов — записки так и летят, и каких только вопросов там нет, в этих листках, вырванных из тетрадей и блокнотов! Тут все — и юное любопытство, и страстное желание докопаться до наиглавнейшей правды жизни, и «учебные» цели (это у студентов филфака), и, уж конечно, несколько вопросов «с подковыркой»: прочитаешь этакую «подковырку» вслух, и вся аудитория замрет — как-то выкрутишься? Но если иной задира перехлестнет, зарвется, сразу поднимется гул неодобрения.

На встрече в Петрозаводском университете все это было, я отвечала и краем глаза поглядывала на председателя встречи,

проректора Михаила Ильича.

Председатели на таких встречах бывают двух родов: одни — я их окрестила «регулировщиками» — настырно руководят порядком, больше всего боятся острых вопросов и, если за ними не следить, иную неудобную записку отложат в сторону; другие радуются, когда собравшиеся ведут себя непринужденно и возникает острый разговор о том, что волнует молодежь.

Михаил Ильич радовался, слушал с интересом, сам смеялся, если по залу прокатывался смех, — он жил вместе с аудиторией. А я все старалась припомнить, почему он мне знаком. По годам юности? Да нет, он значительно моложе. И вдруг сообразила: он представился — Шумилов. Это же тот самый М. И. Шумилов, доктор исторических наук! Он занимался историей революции на Мурмане и выступил в печати с критикой неверной концепции своих предшественников в отношении мурманских организаций, а также роли и обстоятельств гибели моего отца.

— Я давно хочу с вами встретиться, — сказала я после окончания вечера.

— Я тоже, — ответил он, — в Ленинграде собирался позвонить вам, но постеснялся отрывать от дела.

…И вот мы у него дома, он знакомит меня со своей женой, она научный работник, экономист, милейший, жизнерадостный и энергичный человек, трое детей самого неугомонного возраста то убегают по своим делам, то прибегают со двора, похватают чего-нибудь наскоро и убегают снова. Не нужно особой наблюдательности, чтобы понять: тут семья, семья в полном и лучшем смысле слова, с дружбой, теплом к взаимопониманием.

Ужинаем в уютной кухне. За окном — крыши, крыши, а за ними — синеватая полоска Онеги. Под окном гомонят ребята и пощелкивают шарики настольного тенниса. Северная весна все продлевает, продлевает день — уже десятый час, а светло.

Разговор шел на самые разные темы, мне было приятно и интересно с хорошими людьми, и я уже почти наверняка знала ответ, когда наконец-то спросила:

— Скажите, Михаил Ильич, как это вышло, что вы отвергли существовавшую тогда оценку роли Кетлинского?

Он улыбнулся и сказал:

— Понял, что она неверна.

Затем он рассказал: было трудно, когда начал собирать материалы для диссертации, принял то, что писали до него, никаких сомнений не было. Но, читая документ за документом, увидел, что предшественники обходят очень важные документы, представляют события однобоко. Скажем, обнаружил он протокол объединенного заседания Центромура и Совета от 29 ноября 1917

года, где Самохин поставил вопрос о главнамуре. Казалось — находка! Никто еще не заметил этого протокола, полностью опровергавшего утверждения ряда историков!

Михаил Ильич как-то стыдливо поежился:

— А потом увидел, что используют начало протокола и обходят все самое главное: мнение аскольдовцев о Кетлинском, решение оставить его главнамуром…

Долг ученого заставил его проверять, сопоставлять, читать и перечитывать знакомые документы и свидетельства современников… Документы и свидетельства заговорили, события и люди стали проясняться и оказались совсем иными, чем их трактовали, зато гораздо более характерными для революционной эпохи. Так сложилась новая концепция, которую он был готов отстаивать на защите своей диссертации.

— И как прошла защита?

— Разумеется, была и критика моей точки зрения. Но я подготовился к ней. Помогла вся совокупность документов, вы их знаете, они убедительны, и опровергнуть их нечем. — Он улыбнулся. — Правда тем и хороша, что она правда.

Я спросила, выльются ли его исследования в книгу.

— Да, конечно. Пишу, и сроки поджимают. Но… проректорство!

Когда я шла домой по опустелой улице под медленно темнеющим небом, я думала: как хорошо для студентов, аспирантов, преподавателей, что у них такой проректор! И как все же обидно, что Михаила Ильича назначили проректором, отнимает эта работа уйму времени и сил, а ему бы без помех отдаться исследованиям, ведь он обладает главным качеством ученого — он ищет истину.

. . . . . .

Размахнулась Ладога серой шевелящейся громадой почти на всю окружность горизонта, все меньше и дальше полоска берега, ветер порывами, упругими как мяч, щелкает в спину, разгульная волна раскачивает рыболовецкий катерок — хорошо! Моя душа, с детства пристрастная к морю, взыграла, будто Ладога и впрямь море неоглядное, вот и чайки режут воздух белым крылом, барражируя над нашим катером и над приметными то ли домиками, то ли буйками, не знаю, как их называют, эти белеющие тут и там бугорки, обозначающие заброшенные сети. Спросить название не догадалась, а вот что чаек маловато, заметила и знаю почему. Утром побывала в Видлицком звероводческом хозяйстве, где под длиннющими навесами в два ряда крутятся в своих клетушках тысячи норок всех расцветок — белых, рыжих, жемчужных, а над рядами кормушек вьются сотни

чаек — если зазевается норка, утащат ее обед, а то подберут на земле всякие остатки, норок кормят на славу.

— Ничего, — смеется моторист, которому я рассказываю об отхожем промысле чаек, — будем выбирать сети, все тут окажутся. Они за двумя расписаниями следят.

Холодяга жуткая, меня греет только предельная, до отвала, сытость. Такой уж у меня спутник, предупредительный и заботливый Виктор Степанов, олонецкий комсомольский секретарь. На мою удачу, он видлицкий уроженец, привез меня в Видлицу прямо к маме на калитки. Мне очень хотелось снова отведать настоящих карельских калиток, Виктор по телефону предупредил мать, и хлопотливая Александра Степановна напекла их целую гору; это был изысканный вариант калиток, в тесто добавлены белая мука, яйца и молоко, пшенная начинка тоже распарена на молоке, масленая корочка нежна и румяна — то да не то, но до чего же вкусно! Сколько мы их съели, сидя за самоваром, не знаю, но подвижность моя уменьшилась и походка приобрела не свойственную мне степенность. А Виктор хотел после визита к норкам вести меня еще и в столовую — обедать. Но тут и я взмолилась, и Александра Степановна запротестовала:

— Ну какой там обед, в столовой?! Корюшка же пошла! Вон целое ведро корюшки, нажарю сковороду, разве не лучше?

Корюшка пошла!.. И правда, что может быть лучше жареной корюшки, да еще приправленной воспоминаниями!.. Надо ли говорить, что сковорода оказалась громаднейшей. А тут подъехал хозяин дома, Николай Егорович, и, как я ни отговаривала его, слетал на велосипеде в сельпо и привез бутылку вина, правда, из уважения к моему полу и возрасту, красного и сладкого. Но все вместе — корюшка, калитки и вино — было славно, и сама атмосфера дома была славная, и мало что напоминало крестьянские дома, в каких мне приходилось бывать здесь же полвека назад. Дом-то такой же, с крытым двором и пристроенными сбоку сенями-крыльцом, на крытом дворе квохчут куры, но парадная комната дома разделена искусно обработанной раздвижной стеной (два сына хозяев — студенты-строители, архитекторы), на шкафах и книжных полках стоят модели кораблей (Виктор увлекался, когда учился в здешней школе), на стене — портрет старой женщины (один из сыновей нарисовал бабушку, ну как живая — так говорит Александра Степановна). Николай Егорович — человек бывалый, воевал всю Отечественную, дважды попадал в плен и бежал, большую часть войны партизанил в Белоруссии. Теперь он председатель сельпо. И ворчит на потребителей, хотя, видимо, гордится их запросами, и все это высказывается характерным северным говорком, с

частыми «значитца».

— Значитца, раньше покупали велосипеды, а теперь каждый покупает мотоцикл, и не какой-нибудь, а давай ему «Яву». На автомобили тоже спрос, если бы нам отрядили их сюда — продавать, сколько, значитца, отрядили бы, столько б и расхватали в один день. Зарабатывают у нас хорошо, особенно механизаторы и звероводы, у девушек-звероводов после осеннего пушного аукциона большие премии, и каждой, значитца, подавай импортную обувь, разные английские или югославские сапожки. Ну, значитца, купила одна такие щегольские сапожки и пошла на ферму, дождь, грязь, за два дня сапожки, значитца, разъехались, так она прибежала: достань еще такие же!..

После обеда Николай Егорович заторопился на работу, а мы поехали на Ладогу, но по дороге решили завернуть к одной старушке, бывшей комсомолке двадцатых годов, — хотелось выяснить судьбу Терентьевых — Матери, Тани и Гоши.

Я сразу узнала тот ряд домов над рекой, где жили Терентьевы, но теперь в селе не было никого с такой фамилией. Старушки мы не застали дома, принял нас ее старик, ввел в дом, усадил, расспросил, кто да что, но сам ничего не мог припомнить, потому что приехал в Видлицу позже, а про жену с доброй насмешливостью сказал, что она «побежала в обход», как бы за «утренней газетой», и, пока не обегает половину села и не узнает все новости, до тех пор домой ее не жди…

Ждать ее из обхода мы не стали. Присоединившийся к нам председатель сельсовета Алексей Иванович Семенов перебрал в памяти своих сельчан и повез нас на другой конец села к Анне Михайловне Силиной, тоже бывшей комсомолке и одной из главных сельских активисток. Анна Михайловна нянчила внучку и жаловалась, что болят, отказывают ноги, но, когда мы спросили про Терентьевых, сразу вспомнила:

— А-а, Терентьевы! Палоккахат!

Снова это загадочное слово, слышанное еще в юности! Что же оно значит — палоккахат? Оказывается, погорельцы. Но я не помню, чтобы Терентьевы пострадали от пожара, жили они в своем, достаточно старом доме.

— А это не имеет значения, — беспечно откликнулась Анна Михайловна. — Может, погорели деды или прадеды, а кличка прилепилась.

Мать умерла давно. Про Ёшу она ничего не слыхала, а Таня вышла замуж… да, его звали Мишкой, Михаилом, фамилия, кажется, Пиккорайнен или похожая. Из Петрозаводска. Адреса она не знает. Если бы съездить в Петрозаводск, нашла бы по памяти и улицу и дом, а почтовый адрес и точная фамилия были

ей ни к чему… Эх, Таня-Танюша, по таким данным тебя не разыскать, может, сама отзовешься?!

Анна Михайловна хотела, как полагается гостеприимной хозяйке, угощать нас чаем, но мы поспешно откланялись — куда уж еще!.. Промелькнул знакомый путь по окраине села и через лес (именно здесь Подумай-ка с горечью говорил, что равенства в таланте и авторитете быть не может, и о пустомелях, и о том, что «есть совесть, так проверку себе устраиваю: что я такое?»). Дорога пошла петлять среди дюн, поросших соснами, тут и там виднелись домики — покрупней и понарядней прежних, и так же неожиданно, как и раньше, распахнулся темно-серый взбаламученный простор Ладоги, и дунул в лицо разбежавшийся на просторе влажный ветер, а с ним запахи воды, гниющих водорослей, рыбы, мокрого песка — неповторимый запах побережья. Все было такое же, как тогда, и немного другое — ноги вязли в рыхлом песке, но на месте развалин старого завода стал завод рыбоконсервный, где в парной духоте, пропитанной стойкими запахами сырой рыбы, обрабатывают корюшку, лосося и даже получаемых из Мурманска треску и скумбрию. Устье реки Видлицы было так же забито сплавным лесом, и так же сколачивали его в прочные плоты для долгого путешествия по коварной Ладоге. И рыбаки, пришедшие с озера, выгружали трепещущую серебристую корюшку, только ходили они за нею не в старых лодках, а на моторных катерах.

На одном из катеров нас ждали, чтобы выйти… чуть не сказала — в море!.. выйти на Ладогу и оттуда с места, где стояла флотилия Панцержанского, поглядеть, где высаживались десанты. Признаться, мне это не было необходимо, я и на берегу, припомнив карту с обозначениями Машарова, ясно представила себе, где стояли суда, где был белофинский штаб и батареи, где высаживались десантники. Да и не собираюсь же я писать исследование военной операции! А вот выйти на взбаламученный простор Ладоги, подышать ее упоительно-вольным ветром…

— Придется подождать, — почему-то заговорщицким шепотом сказал Виктор.

На катере началась суета, из каюты вымахнул здоровенный парень с грязными мисками и, перегнувшись через борт, начал до блеска отмывать их в реке, другой парень вынес из каюты газету с объедками и смахнул их в воду мгновенно налетевшим чайкам. Моторист катера подошел знакомиться, пригласил отведать ухи из лосося и тотчас юркнул по трапу вниз, в каюту, вероятно, кинуть хозяйский взгляд, все ли там ладно.

Съесть что бы то ни было еще я не могла и попробовала искать защиты у своего спутника, но Виктор в первый и

последний раз зашипел на меня:

— И не думайте отказываться! Обидите! Специально для вас варили!

Уха была прямо-таки из крыловской басни: душиста и жирна, подернута янтарным глянцем, и в каждую миску был положен огромный нежно-розовый, легко расслаивающийся кусок лосося. Я предупредила, что съем только маленький кусочек. Съела. Отломила еще кусочек. И еще. И съела все дочиста. Так что конец вышел не по Крылову.

И вот Ладога.

Мы идем от видлицкого берега прямо на запад, и где-то там, в невидимой дальней дали, — маленькая храбрая Корела, теперь крупный порт Приозерск. Если взять немного южней, в каких-нибудь ста двадцати километрах от него — Ленинград, навеки родной город, земля, с которой вместе мерзла и голодала. Как мы молились в блокаде на Ладогу, как мы бредили ею, защитницей и спасительницей! Вверяли ее волнам и льдам своих матерей и детей — вывези, спаси! Благословляли и хранили как могли узенькую, изрытую бомбовыми воронками, трещиноватую ледовую дорогу среди торосов и сугробов — «Дорогу жизни», по которой страна нам слала все, что могла выкроить для нас, — и снаряды и хлеб, «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам»… В июле 1942-го, вывезя в тыл двухлетнего Сережку, я летела через Ладогу домой, в осажденный Ленинград. Самолет был военный, прямо передо мною торчали ноги стрелка, приникшего к турельному пулемету, а под нами были зловеще-серые волны Ладоги, и на этих волнах покачивались почернелые от огня и дыма обломки баржи, одной из тех, что везла нам спасение — и не довезла. А самолет наш вдруг резко пошел вниз, на бреющем, на бреющем — над самыми волнами, закрутился со своей турелью стрелок, весь напружиненный готовностью к бою, я приникла к окошку и увидела — высоко в небе и чуть поодаль сопровождающие нас истребители ведут бой с несколькими «мессерами» — о, знакомые хищные очертания этих «мессеров»!.. А мы все прижимались, прижимались к бурно дышащей Ладоге, сливаясь с нею… потом совсем рядом — кажется, рукой достанешь! — замелькали верхушки сосен, мы и к ним прижимались, стараясь раствориться в их защитной зелени… Но вот поле, затухающее движение колес по земле — Ленинград. И первый ленинградец, все равно кто, — ленинградец! «Какие новости в Ленинграде, товарищ?» — «Милиционер появился на углу Невского и Садовой в белых перчатках!» Разве такое забудешь?!

Странно, почти немыслимо, но многое, пережитое тогда

среди неслыханных бед, вспоминается как счастье. Счастье преодоления?.. Счастье полного использования всех сил и способностей?.. Счастье безостаточного слияния личной судьбы с общей?..

Вот с этого видлицкого рубежа так и тянет вглядеться в прожитые полвека. Не я ли еще в детстве, тяготясь монотонностью благополучного существования, повторяла как заклинание: «Таких две жизни за одну, но только полную тревог…» Что ж, вот и получила полную тревог, бед, труда, боев, любви, разлук, горя — ну всего, что в целом и есть ж и з н ь. И если не это, что же оно тогда — счастье?! Да разве я променяла бы свою бурную, трудную, со всеми ее тумаками и потерями — на тихую, безмятежную? Нет. Даже теперь, когда я до конца узнала, как это тяжко, изменила бы я хоть что-то в решениях, принятых здесь, в Видлице, в бессонный рассветный час? Нет.

— Глядите, — сказал моторист. — Я ж говорил, за двумя расписаньями следят.

Поглядела — режут, режут воздух белыми крыльями сотни чаек, грудью принимают удары ветра и гортанно переговариваются между собой: пора бы рыбакам выбирать сети, пора бы, пора бы!..

…А вечером была встреча с видличанами в помещении новой школы, в просторном зале, где обычно бегают на переменках, делают зарядку, проводят пионерские линейки. В этот вечер зал тесно уставили скамьями, а для почетных гостей и опоздавших все носили и носили стулья из учительской, из классов, из кабинетов директора и завуча. Впереди сплоченной стайкой уселись мальчишки и девчушки, директор сказал: наш десятый, выпускной класс! Младших школьников пускать не хотели, но разве их выгонишь, если они хотят тут быть — в своей-то школе! Они уместились на подоконниках, на полу — где придется.

За долгую литературную жизнь я привыкла к выступлениям перед читателями, но встреча на встречу не похожа. Бывает, говоришь все то же, а какой-то холодок то ли в тебе самой, то ли в зале, полного контакта нет, и надо перебарывать эту отчужденность — устаешь, как от тяжелой работы. А иногда сразу, с первой минуты, из зала к тебе и от тебя в зал идут добрые токи доверия и сердечности, как они возникают, не знаю, но тогда говоришь легко и с удовольствием, мысль течет свободно и слова для ее выражения приходят сами, без пустот, так что крамольные «так сказать» не срываются с языка. Встреча в Видлице была именно такой, и неожиданно для себя я как бы исповедалась перед теми, кто слушает, и перед собою — давнишней и сегодняшней. Вряд ли кто-нибудь заметил эту

исповедальность, я шутливо рассказывала о шестнадцатилетней комсомолке, добиравшейся в Видлицу по весенней распутице с важным заданием «укрепить работу», в забавных местах рассказа все смеялись, а потом с интересом слушали о том, как та же девчонка поехала в Питер учиться — постигать разные науки, а еще больше науку жизни и борьбы, и как она стала писать о том, чем жило ее поколение, и о людях, борцах и д е л а т е л я х, которые ей дороже всего. Вероятно, ничего особенного я не говорила, но я выбирала темы, нужные мне самой, я отвечала на свои собственные сомнения — те, на набережной Невы в белую ночь, и утверждала свое — да, каждый идет своим путем, каждый таков, каким его сформовала и закалила жизнь, и самое страшное — изменить своему пути и своей душевной сути, тогда конец, тогда лучше лечь и помереть. Кому я говорила? Читателям? Себе? Или вот этим мальчишкам и девчонкам, завтрашним выпускникам, которые — пойдут ли они в звероводы и механизаторы или поедут учиться на агрономов, врачей, педагогов — скоро-скоро начнут постигать главную науку — жизнь?

По окончании беседы, как повелось, прихлынули любители автографов. Растолкав мальчишек, первыми окружили стол девчушки. Моих книг почти ни у кого нет, протягивают что попало — учебник, блокнот, тетрадку по физике… У одной спросила, кому надписать, чтобы автограф не был безымянным, это понравилось, протягивая какой-то листок, вторая сама отчеканивает имя и фамилию, да так бойко и радостно, что я поднимаю глаза от ее листка, — ну и славная же девчушка, ну и бедовая, наверно!

— А лет сколько?

— Шестнадцать! — И, запнувшись, из честности добавляет: — Скоро будет.

Как удары звонкого колокола — шестнадцать! Скоро будет!.. Да неужели ж я была тогда вот такою, как эта девчушка?

Вглядываюсь в ее ребячливое лицо, а в глазах у нее так и прыгают огонечки, веселые чертики. Куда они поведут тебя, девочка? Как бы я хотела заглянуть в твою душу, детскую и уже недетскую, и узнать, как ты прошагаешь по жизни! И о чем уже сегодня мечтаешь и тревожишься, чего хочешь от себя самой, настиг ли уже тебя, шестнадцатилетнюю, беспощадный час переоценок и решений, рассветный час, когда с трезвой ясностью судишь себя? О чем ты думала в этот час, а если он еще впереди — о чем будешь думать, бедовая, в свой рассветный час?

notes

Примечания

1

Здесь и далее все даты по старому стилю. — **В. К.**